

- Истоки мировой духовной культуры
 -
 - ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ АЗИИ
 - ДУХОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА ВОСТОКЕ (КИТАЙ)
 - БРАХМАНИЗМ. БУДДИЗМ. КРИШНАИЗМ
 - ДОСОКРАТОВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
 - СОКРАТ. ПЛАТОН. АРИСТОТЕЛЬ
 - НА ПОРОГЕ НОВОГО ЗАВЕТА
 - БЕСЕДА ПЕРВАЯ
 - БЕСЕДА ВТОРАЯ
 - БЕСЕДА ТРЕТЬЯ
 - БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ
 - БЕСЕДА ПЯТАЯ
 - БЕСЕДА ШЕСТАЯ
 - БЕСЕДА СЕДЬМАЯ
 - БИБЛИЯ И АПОКРИФЫ ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
 - БИБЛИЯ И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
 - БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА
 - БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
 - БИБЛИЯ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
 - БИБЛИЯ И ЗАПАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
 - БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
 - ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА
 - ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ
 - СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ И ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕЦКИЕ
 - РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО
 - ВСТРЕЧА
 - ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ МЕРЕЖКОВСКИЙ И ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ГИППИУС
 - НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРДЯЕВ
 - ОТЕЦ СЕРГИЙ БУЛГАКОВ
 - ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ
 - СЕМЁН ЛЮДВИГОВИЧ ФРАНК

- [ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ФЕДOTOB](#)
 - [МАТЬ МАРИЯ](#)
 - [ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ](#)
 - [НАДЛЕЖИТЬ БЫТЬ РАЗНОМЫСЛИЮ](#)
 - [ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИИСУСА](#)
 - [О ВНУТРЕННЕМ ШАГЕ](#)
 - [ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ](#)
 - [РОЛЬ ЦЕРКВИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ](#)
 - [ПАСХАЛЬНАЯ ТАЙНА ЦЕРКВИ](#)
 - [ВЛАСТЬ ЦЕРКВИ](#)
 - [БЕСЕДА ОБ ИСКУПЛЕНИИ](#)
 - [ВСТРЕЧА С ХРИСТОМ ВОСКРЕСШИМ](#)
 - [ХРИСТИАНСТВО](#)
-

Истоки мировой духовной культуры

Несколько лет назад мне пришлось путешествовать по Средней Азии и перебираться на пароме через Амударью. Паром шел медленно. Голые, поросшие редким кустарником плоские берега, зеленая темная вода. Пока двигался паром, я думал о том, что подобным этой реке был древний Евфрат и вообще все древние реки, где начинались цивилизации. И тогда же я вспомнил, что недалеко от этого места, от Амударьи, немного дальше к востоку, произошло интересное событие, связанное с духовными истоками человеческого рода.

Еще до войны, когда многие из вас еще не родились, а я был ребенком, там, в Средней Азии, по ущельям двигалась небольшая экспедиция, которой руководил известный археолог Алексей Окладников. Он направлялся в труднодоступное ущелье, расположенное между двумя великими реками. Уже давно ходили слухи, что в этом ущелье люди находили удивительные кости, там встречались странные камни, будто бы оббитые чьей-то рукой. И Окладников, обладавший чутьем бывалого полевого археолога, организовал туда летом 1938 г. небольшую экспедицию. Археологи лезли по скалам там, где могли пробираться только горные козлы, и в конце концов добрались до пещеры. Это место называлось Тешик-Таш, по-русски просто «пещера». И когда Окладников со своими помощниками туда добрался, он нашел на почти ровном полу останки человека. Он сразу понял, что это ребенок, в крайнем случае, подросток. Особенно заинтересовало археолога, что сохранился почти весь череп. Окладников собрал и склеил в единое целое сто пятьдесят кусков окаменелого черепа: череп сохранился почти целиком.

Это был череп мальчика совершенно иной расы, нежели человек разумный, *homo sapiens*. И когда очередь дошла до челюсти и надбровных дуг, Окладников определил его как неандертальца, *homo neanderthalensis*, или *homo primigenius*, как иногда его называют. В системе биологической номенклатуры он считался *homo* только по своему роду; его считали предшественником, а некоторые — предком человека. Вопрос о том, в какой степени родства мы находимся по отношению к неандертальцам, до сих пор бурно дебатруется. Эти

люди, или человекообразные существа, жили на огромном пространстве от Северной Европы до восточных берегов Китая, от Африки до Средней Азии. Примерно 40 тысяч лет назад они повсеместно исчезают, их кости больше не встречаются; на смену им приходим мы, род *homo sapiens*, человек разумный. И когда Окладников разбирал, а потом собирал этот скелет, он увидел, что ребенок был похоронен, а не просто брошен; мало того, этот ребенок восьми–девяти лет в своей импровизированной могилке был огражден рогами дикого горного козла. А, между прочим, в Средней Азии, в тех местах и до наших дней, до XX в., сохранился культ горного козла. Окладников сопоставил эту находку с другими, имевшими место в Западной Европе. Несколько раз обнаруживали черепа примитивных людей типа неандертальцев, окруженные камнями одинаковой формы и размера: голова лежала, как солнце, окруженное лучами. Эти скудные, но, на самом деле, впечатляющие признаки указывают на то, что еще до того как человек стал полноценным, стал человеком в полном смысле этого слова, тем единственным видом, который живет сейчас на земле, в нем уже теплились какие-то религиозные представления.

Ученые спорят о том, в какой степени можно относить неандертальца к человеческим существам, но едва ли кто-нибудь из них может доказать свою точку зрения и обосновать ее, потому что мы не можем проникнуть в сознание этого человека, или человеческого существа, или недочеловеческого существа. Все-таки это, скорее всего, другой вид, несомненно низший. В его культуре мы уже находим примитивные каменные орудия, огонь, который поддерживался довольно долго, но не находим искусства, которое является важнейшим спутником всей человеческой истории. А искусство древних людей всегда было связано с духовным, религиозным началом.

Очень многое в современном человеческом обществе теснейшим образом связано с началами человеческого бытия в истории. Проблемы социальные, семейные, сексуальные, культурные, художественные, традиционные, проблемы, связанные с владением территорией, с ксенофобией, — все это уходит своими корнями в жизнь древнего человека, обитавшего на земле за несколько десятков тысяч лет до нас. В нашем подсознании до сих пор живут какие-то мотивы, какие-то

звуки, какое-то эхо, отзывающееся из тех времен. Но человек XIX века, гордый, я бы сказал, упоенный своей цивилизацией, считал, что мир развивался только прямолинейно, что первобытный человек был человеком низшим во всех отношениях, был человеком диким.

Подобную мысль мы впервые встречаем у римского поэта Лукреция Кара, который рассматривал историю человечества как восхождение вверх: от темноты, варварства, невежества и дикости к цивилизации. Правда, Лукреций Кар считал, что потом все развалится и деградирует, но это уже другой вопрос. В XIX в. думали, что никакой деградации не будет. Позаимствовав из христианства идею Царства Божия как цели человеческого бытия, как цели истории, многие мыслители XIX в., и вообще образованные слои общества почему-то уверовали в то, что мир летит ввысь, подобно ракете, и ничто не может остановить его прогрессивного движения. Слово «прогресс» стало чем-то вроде «священного» термина. Когда говорили «прогрессивный», это автоматически означало «хороший». И казалось, что каждое завоевание человека, каждый шаг его на пути усложнения техники или новых открытий в сфере науки содействуют прогрессу, а позади только мрак, мрак темного средневековья. Конечно, был небольшой просвет — в античности, а потом мрак Востока и, наконец, долгий мрак первобытной жизни.

Эту мысль надо было, конечно, чем-то подтвердить, и подтверждения стали искать со времен великих географических открытий, когда европейцы впервые двинулись через океан, когда они открыли Америку, когда они впервые по-настоящему познакомились с чернокожими обитателями Африки, жителями Китая и вообще неведомых дотоле стран. Но тогда же, столкнувшись с людьми, стоящими на низшей стадии материальной цивилизации, многие решили, что это и есть тот самый дикий, древний первобытный человек, и были уверены, что эти новооткрытые люди — существа мало чем отличающиеся от животных. В конце XIX в. последователь Дарвина эволюционист Эрнст Геккель говорил, что у дикарей больше общего с высокоразвитыми животными, такими как обезьяны и собаки, чем с развитым европейским человеком. Когда Дарвин в молодости попал на Огненную Землю, он так описывал огнеземельцев: дикие люди, глаза вылезают из орбит, на лице тупое выражение, на губах пена, — нет ничего человеческого. И это мнение

очень быстро укоренилось и в науке вообще, и, в частности, в зарождавшейся тогда антропологии. Возникла мысль, что у человека все светлое только впереди и чем скорее он освободится от того, что было в прошлом, тем для него лучше. А поскольку все хорошо знали, что у первобытных людей есть какая-то религия, вера, то эту веру торопились принизить, изобразить как просто грубое суеверие, как некое варварство; в общем, хотели показать, что начала религии коренятся во тьме невежества, в страхе человека перед силами природы, в бессилии, ограниченности, иными словами — в чем-то таком, что прогресс может и должен преодолеть.

Такова была идеология XVIII и XIX в. Но постепенно этот миф о низших диких людях стал рассеиваться. Наверное, многие из вас слышали имена знаменитых в свое время (около 100 лет назад) ученых, таких, как Эдуард Тейлор (он был одним из крупнейших специалистов по мифологии и первобытным религиям) и Джеймс Джордж Фрэзер, книги которого, например, «Золотая ветвь», недавно у нас переизданы. Не общаясь с людьми первобытного уровня, с так называемыми дикарями, получая материалы из третьих рук, они создавали свои конструкции о дикости, темноте, наивности и примитивности человека, стоящего на низком материальном уровне развития цивилизации. Но потом многие из них вынуждены были отказаться от такого взгляда. Миклухо-Маклай был одним из первых, кто, пусть и ненадолго, вошел в мир этих людей. И что ему открылось? Что это такие же люди, с такими же переживаниями, страстями, грехами, ошибками, с умением думать логически, ясно. Миклухо-Маклай писал: «Вих верования, в их задушевную жизнь я старался не проникать». Он был человеком очень тактичным; и вообще он считал, что столь малого времени, какое он прожил на гвинейском побережье, недостаточно, чтобы понять душу первобытного человека. Но за Миклухо-Маклаем и другими пионерами-исследователями шли целые армии новых исследователей таинственных обитателей лесов, саванн и прерий. Что же им открылось? Оказалось, что в дебрях Амазонки или в полупустынях Австралии живут люди высокой древней культуры. Она иная, непохожая на нашу. Австралийцы, например, обладают сложной системой взаимоотношений, обрядов; у них огромное количество легенд, сказаний, мифов. Австралийцы определенным образом представляют себе человека, природу и высшее начало и на

основании этих представлений строят общественные отношения, культуру. Стало выясняться, что примитивный человек примитивен только в одном — в технике, цивилизации, а душевно он отнюдь не примитивен.

Один из исследователей говорил: если вы видите так называемого дикаря, который сидит под деревом, неподвижно уставившись в одну точку, не торопитесь думать, что он сидит просто без цели, — этим людям свойственна глубокая внутренняя жизнь. Один из путешественников, долго живший в самом сердце Африки, в дремучих лесах Конго, где до сих пор сохранились древнейшие животные, которые во всем мире уже вымерли, встретившись с пигмеями, отметил, что эти люди обладают душевностью, остроумием, умом, и у них есть целый ряд высочайших религиозных представлений. Нравственный уровень этих дикарей оказался не только не ниже европейского, а намного выше. Это не значит, что примитивный человек непременно добродетелен, тут нет прямой связи. Но низкая цивилизация, первобытный образ жизни не мешают развитию очень тонкой душевной структуры.

В конце концов многие ученые стали приходить к выводу о важности духовного элемента, лежащего в основе этих культур, которые донесли до нас абрис, хотя и неточный, того, как жили наши предки многие тысячелетия тому назад. И если этот абрис хотя бы частично верен, мы должны признать: да, высшее, духовное, священное, религиозное, нравственное было основополагающим в их жизни.

Здесь мы подходим к очень важной вещи. Возьмем, к примеру, причудливый индийский храм, индуистский или буддийский, ступу или мусульманскую мечеть с ее строгими формами, собор св. Петра, храмы Христа Спасителя, Покрова на Нерли, египетские пирамиды, проект Дворца Советов, словом, любое произведение архитектуры или живописи, церковное или светское: каждое из этих сооружений есть внутреннее воплощение того видения, которое есть у людей, того, как они интуитивно осознают сущность бытия, воплощение их веры в широком смысле слова. И если египтянин ощущал жизнь духа как вечность, то и произведения египетского искусства были воплощением вечности. Если древний грек чувствовал, что здесь, рядом с ним, в его небольшом укромном мирке обитают какие-то живые силы

мироздания, он изображал их так по-человечески, так близко, что нимфы, сатиры и боги выглядели его братьями и сестрами.

Когда мы говорим об основах любой культуры, мы должны прежде всего задать себе вопрос не о том, какие материальные формы ее куют, а о том, какой дух лежит в ее основе. И пробегая мысленным взором историю цивилизации, мы всегда можем точно определить, какой дух стоит за культурой. Более того, мы знаем, что когда в духовной сфере у человека начинается дестабилизация, разброд, кризис, то дестабилизация охватывает всю культуру. Вот поэтому мы с вами сегодня хотим заглянуть в историю духовности, в прошлое цивилизации нашей страны и всего мира не из праздного любопытства («а как это было раньше?»), а для того, чтобы понять глубинную и нерасторжимую связь культуры и веры, ту связь, которая была забыта, отброшена, которая сознательно отрицалась. Жизнь, практика подтвердили старую истину: когда подрываются корни, засыхает и дерево, и для оживления корней необходимо понять: в чем они нуждаются? Они нуждаются в живительной влаге и почве. Почва — это жизнь, земное бытие; живительная влага — это дух, который ее питает. Вот почему так важно для нас сегодня задуматься над тем, откуда и к чему идет человек. Разумеется, в учебниках, которые вам приходилось читать, вы часто встречали мысль, что первобытный человек был атеистом или, как нас учили, стихийным материалистом. Довольно трудно принять эту точку зрения уже хотя бы потому, что если от язычника может остаться идол, от фетишиста — фетиш, от христианина — крест или еще какой-нибудь священный знак, то какой материальный знак может оставить после себя стихийный материализм первобытного человека? Это что-то вроде того беспроволочного телеграфа, который, как рассказывается в одной истории, был у древних людей: беспроволочный, потому что в земле не нашли проволоки.

Многочисленные факты полностью опровергают эту точку зрения. Я начал с того, что уже предшественник человека, неандерталец, имел какое-то смутное (не будем пытаться его точно определить) ощущение, что есть какое-то иное бытие. А как только человек становится человеком, он сразу же обретает связь с вечным, то есть у него появляется религия. Фактически искусство, религия и человек — ровесники. Правда, в некоторых учебниках я встречал такое

утверждение, что человек много миллионов лет существовал без религии. У нас был один историк, который даже написал на эту тему несколько книг, одна из которых так и называлась — «Дорелигиозная эпоха». Но он рассматривал в основном австралопитеков и питекантропов, которых вообще нельзя считать людьми в настоящем смысле слова. Биологически они, может быть, и принадлежали к роду *homo*, но этого недостаточно, чтобы быть человеком.

Какое же движение мы можем здесь увидеть? Человек всегда стоял на какой-то духовной платформе. А есть ли развитие? Нет. И вот доказательство. В пещерах Испании найдены рисунки красками: первобытный художник эпохи палеолита нарисовал на стенах стоящих и бегущих бизонов, мамонтов, носорогов. Смелые линии, замечательные краски, дух зверя. Не всякий современный мастер сумеет передать образ животного так лаконично, так вдохновенно, так прекрасно.

Тогда спрашивается: развивалось ли искусство? Нет. Прекрасное в истории человеческой культуры всегда было прекрасным. Да, оно имело историю, то есть были различные фазы, различные типы искусства, духовности, но развития в том смысле, что искусство сначала было примитивным, а потом поднималось все выше и выше, не было. Если вы вспомните классические скульптуры Древней Греции (они воспроизведены в любом школьном учебнике), — не надо думать, что вот они достигли какой-то высоты, а предшествующее искусство было низким. Любой современный художник или искусствовед скажет вам, что в архаическом греческом искусстве была своя особенная красота.

В конце XIX в. писатель и историк искусства Петр Гнедич в своей огромной трехтомной «Истории искусств с древнейших времен» посвятил древнерусской иконописи две страницы, заметив, что древние просто не умели рисовать и поэтому они так писали свои иконы, а потом узнали анатомию и стали писать правильно. Сегодня мы знаем, что это наивный взгляд. Переход к реалистическому искусству вовсе не был прогрессом; это лишь одна из фаз истории. История — это судьба человеческого творчества. В духовном мире, безусловно, есть восхождение, но оно совершается по совсем иным законам, и об этом мы с вами будем говорить в процессе анализа духовной жизни человечества.

Но к этому надо добавить следующее: мы привыкли рассматривать материальные явления и процессы как подлинную реальность, дескать, это и есть реализм. Но откуда мы узнаем о материальной реальности? Из опыта своих чувств. Но ведь те же чувства, которые есть у нас, есть и у шимпанзе, и у собаки. Однако у человека иное восприятие; есть нечто, что поднимает нас над животным миром. Человек — существо духовное, существо, способное иметь иной опыт, нежели опыт чувственный. Этот духовный дар, полученный человеком, является самым драгоценным и самым священным. Это дар бессмертный. И он требует к себе особенного отношения, потому что он в человека посеян, подобно семени, и из этого семени что-то должно вырасти.

Я говорил о примитивных формах предчеловеческих существ. Дело в том, что мы ведь родственники не только им, мы кровные родственники любому живому существу на земле, мы связаны со всеми существами. Как устроена клетка человека? Так же, как клетка любого растения, любого животного. Поэтому мы неотделимы от окружающего нас мира, нас нельзя выкинуть из этого мира — нас всех связывают воздух, пища, вода, гравитация. Я недавно был в Звездном городке, беседовал с космонавтами, и они показывали мне скафандр, в котором выходят в космос. Это совершенно автономное образование, как и космический корабль. Но почему? Потому что человек всеми своими узами привязан к окружающему миру. Человек есть земля. Библия говорит о нем: ты, человек, есть земля и в землю отыдешь. Плоть человека создана по Слову Божию из праха земного, то есть из пыли, из самой материи, из вещества, и мы несем этот прах в себе и возвращаемся в него.

Но человек не только прах. Он родствен и другому измерению бытия, которое нельзя увидеть, и это очень важный момент.

Давайте начнем с простого. Те, кто хотят ограничить мир видимым, оказываются в странном положении наблюдателя, который, заманив в рентгеновский кабинет, скажем, великого художника или великого мыслителя, говорит: да ничего в нем такого нет, посмотрите — позвоночник виден, череп виден, сердце бьется. Где же его гениальность, где его мысль, где его чувства? — Да, все видно насквозь, но не видно главного, и не может быть увидено в принципе. Дело не в том, что это какое-то физическое поле (у нас любят

злоупотреблять этим термином), которое якобы не улавливают наши приборы. Нет. Надо просто признать, что так устроена реальность: у нее два аспекта — видимый и невидимый. Поэтому в первом же члене нашего христианского «Символа веры» сказано о Творце всего видимого и невидимого, то есть двух аспектов бытия. На этом все стоит. Эти два аспекта связаны между собой очень своеобразно, парадоксально; между ними существует обратная связь. То есть, скажем, тяжелое состояние организма может подавлять психику, а она влияет на состояние духа; и, напротив, дух может совершать необычайные вещи. Наверное, многие из вас слышали о хождении по огню, о произвольном управлении своими органами, которого достигают йоги. Я думаю, что умножать примеры здесь не надо. Когда видишь вещи, связанные с гипнозом (а ведь гипноз тоже загадка, потому что слово само по себе ничего не объясняет, и на самом деле это остается загадкой и для пациента, и для гипнотизера), то понимаешь, на что способна эта невидимая часть человека — его дух, какие в нем заложены огромные силы и возможности.

Человек — образ и подобие природы. Клетки цветка, как я уже говорил, такие же, как наши: у них такая же структура, там есть ядро, протоплазма. Но чьим образом и подобием является духовное измерение человека?

Для нас, христиан, как и для всех верующих людей на земле, которых всегда было и остается большинство, человек в своем духовном измерении является образом и подобием Творца. И в этом трагичность, парадоксальность, величие и счастье человека. Известный биолог и медик нашего времени Алексис Карель так и назвал свою книгу «Человек — это неизвестность». В самом деле, еще Альфред Расселл Уоллес, одновременно с Дарвином создавший теорию естественного отбора, задавался вопросом: ну хорошо, человеку нужны определенные свойства для того, чтобы он выжил, скажем, чтобы у него была более благоприятная семейная ситуация, где побеждает сильнейший. А для чего ему нужна потребность в отвлеченном мышлении, для чего ему нужен поиск смысла жизни, бескорыстный поиск истины, почему в человеке главное оказывается сверхприродным? И Уоллес отвечал: причина здесь может быть только одна — эти свойства коренятся в ином, сверхприродном начале, эти свойства особенные. Забвение этого факта, пренебрежение им очень

тяжело сказывается на человеческом роде. Периоды скептицизма и бездуховности всегда были опасны.

Я хочу закончить важнейшей для нас проблемой истоков духовности, проблемой, которая сегодня вопиет, — я имею в виду проблему нравственности. Вы, наверное, читали книгу Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей», но я напомню: разговаривают главный герой и молодая следовательница. Когда он спрашивает: почему у вас такие методы, почему вы так относитесь к людям? — она ему отвечает: да чему вас там учили на факультете? Законность, право, гуманность — это все факультет ненужных вещей. Эта молодая, уверенная в себе женщина повторяла чужие слова, повторяла слова, которые были свойственны целому поколению: ненужные все это вещи. А потом оказывается, что они — самые-самые нужные, потому что без них человек гибнет. Недавно я прочел, что Генрих Ягода перед смертью сказал: «Я столько людей уничтожил и мучил, теперь и на меня нашлась управа. Значит, Бог есть».

Очень жаль, что мы приходим к этим мыслям лишь в критических ситуациях, но лучше поздно, чем никогда. Вопрос заключается в следующем: существует ли нравственный миропорядок, является ли добро чем-то объективным или это нечто выдуманное людьми, некая условная категория? Если это условная категория, то тогда её очень легко отбросить и каждому установить свои собственные критерии, исходить из модели эгоцентрика: добро есть то, что нравится мне; зло есть то, что мне не нравится. Как в известной истории про миссионера, который пытался втолковать язычнику, что такое добро и зло, а потом спросил его: «Вот если у тебя украли корову, это зло? — Да, это зло. — Ну, а если ты украд корову? — То это добро». Мы все стоим на этой позиции, потому что эгоцентризм свойственен человеку. Вы скажете: откуда же он? Почему человек эгоцентричен? Во-первых, мы все родом из детства. Человек в детстве все время получает, все время потребляет: его кормят, поят, баюкают, одевают, и потом он думает, что так должно быть всегда. Это одна из причин. Есть вторая причина, эту причину мы называем первородным грехом человечества. Когда-то Жан Жак Руссо говорил, что Бог создал человека прекрасным, но его испортила цивилизация, его испортили внешние условия. И мы всегда склонны немножко этому поверить. Лев Толстой носил на груди

вместо креста портрет Жан Жака Руссо. Он до конца своих дней верил в то, что человек от природы добр.

Но, положив руку на сердце, так ли это? Евгений Евтушенко, человек во многом благородный, который в трудные годы выступал смело, в одном из стихотворений написал: «Я верю в человека». И там же он разносит всех тиранов, диктаторов, Салазара, Берию. Но ведь они тоже были людьми. В кого же надо верить? Почему мы должны верить в хорошее, а не в плохое?

Я могу понять угрызения совести у Ивана Грозного. Он был человеком, воспитанным в христианских понятиях, и знал, что проливать кровь невинного — грех; он ее проливал, потом каялся, опять проливал, но у него были некие терзания. А какие терзания могли быть, скажем, у Сталина? Он считал, что люди — это просто быдло, так сказать, кратковременные существа, которых убить ничего не стоит; греха нет, зла как такового нет. Для него, как для того дикаря, злом было только то, что мешало ему устанавливать свою абсолютную власть над людьми, а все остальное было глупостью, никаких преград не существовало.

Добро и зло — категории объективные, и следовать принципам добра есть воля и заповедь Творца. И именно потому что это заповедь, мы чувствуем, что это не так легко дается. Нам же не дана заповедь, скажем, ходить на двух ногах — для нас это естественно. А когда Евангелие говорит о том, что мы должны прощать, — это уже заповедь, это значит, что надо бороться, преодолевать себя, потому что для человека это не так естественно.

Но если заповеди даются свыше, то почему же человек их нарушает? Человек нарушил заповедь изначально. Я думаю, вы все помните историю первых людей, которая описана в Библии. Над этой историей достаточно посмеялись, достаточно поглумились, достаточно порисовали карикатур, но забыли главное — о чем в свое время прекрасно говорил протопоп Аввакум: «То, что было тогда, делается и теперь». Он рассказывал в одной из своих проповедей об Адаме и Еве и потом перенес эту драму на современные ему события.

Библия образно, иконописно говорит нам о вечном. Человек стоит перед Богом, и ему открывается все, перед ним распахнуты огромные горизонты, ему дана природа, чтобы он мог (как говорится в Библии) «возделывать и хранить ее». Это означает труд и понимание природы

как какого-то братского начала: ведь человек создан из той же земли, что и зверь, звери его братья и сестры, он их господин, но не тиран, он дает им имена. И есть только одно древо в центре рая, в центре Эдема, которое запрещено для человека, — это древо познания добра и зла. Бог сказал человеку: «Ты умрешь, если вкусишь от него». Конечно, нас может удивить, почему же человек не должен знать добра и зла, ведь как раз в этом и заключается нравственность. Но дело в том, что такое прочтение поверхностно. Библию надо читать очень внимательно, сравнивая различные места. Добро и зло в этом контексте не означают нравственных понятий, это полюса жизни: худое и доброе, полезное и вредное, как у китайцев инь и ян; это все на свете, это идиоматическое выражение тов ве-ра (ивр.) — добро и зло, обозначающее все.

А познание? Ветхий Завет (впрочем, как и Новый) не знает идеи познания в том отвлеченном смысле, в котором его понимает античная мысль. Для античной мысли «познать» значит сделать прозрачным для интеллекта; для библейского мышления «познать» значит овладеть, слиться, ощутить всеми фибрами души. «И познал Адам Еву, жену свою» — этот глагол употребляется для обозначения интимного соединения мужчины и женщины.

Потому древо познания добра и зла — это всемирный символ природы, бытия, над которым человек не должен был захватывать власть — власть недуховную, насильническую, при которой торжествовало бы его самоутверждение. Поэтому здесь и наложено табу.

И разыгрывается вечная драма. Подходит Ева к этому древу, и змей, олицетворяющий все низменное и коварное, спрашивает ее: «Что же, Бог вам запретил вкушать от всех деревьев? (Это такая провокация). — Она отвечает: нет, все наше, кроме вот этого дерева. — А почему вам запрещено есть от этого дерева? — Потому что Бог сказал, что мы умрем, если мы от него вкусим. — Не умрете, говорит змей, не умрете, но будете как боги, знающие добро и зло, владеющие добром и злом» (то есть вы станете соперниками Бога, будете как боги, а вовсе не умрете). И этого было достаточно, чтобы наша праматерь Ева взяла этот плод, посмотрела на него, и он показался ей вожделенным, и она вкусила, а затем — Адам. «Будете как боги, ведающие добро и зло».

Эта попытка человека самоутвердиться, противопоставить свою волю космической, Божественной воле, создать свои нормы, в том числе и нравственные, приписать себе право распоряжаться и природой, и нравственностью лежит в глубине всеобщего грехопадения человечества. Вот почему был неправ Руссо, говоривший, что человек по природе добр. В человеке противостоят добро и зло, и, как говорил Федор Достоевский, дьявол с Богом борется в сердцах людей. Если не сбрасывать со счетов эти важные моменты, мы поймем всю сложность и величие человеческой истории. Мы идем по пути преодоления, мы вовсе не наивные дикари, которых испортила цивилизация. Человек враждует и с самим собой, человек должен подняться над собой. История человечества — путь не развития, а борьбы, с победами и поражениями, — во имя того божественного, что в нас посеяно. Чем ближе мы к своему первообразу, тем ближе к осуществлению нашей задачи. Подумайте о том, что в нас это живет. Не Бог, конечно, живет в нас; было бы дерзновенно и метафизически бессмысленно это утверждать. Мы — ограниченные, «условные» существа, но мы отображаем в себе вечность, «безусловность». И это надо почувствовать, внутренне пережить, ибо здесь — источник духовного роста, который влияет на наше отношение к людям, братьям и сестрам, влияет на процесс нашего труда, на то, что мы творим в жизни. Ведь человек — единственное из всех земных созданий, кто творит, он единственный творец. Мы творим, подражая Богу.

Таким образом, корень духовного становления человека — устремленность в небо, устремленность к вечному, и это касается не только великих творцов, не только эпохи великих творческих взлетов, но и повседневной жизни каждого из нас. Бессмертное не далеко, оно в нас. Оно нам присуще гораздо больше, чем многое другое. И наше счастье, наша внутренняя гармония заключается в том, чтобы раскрыть его в себе. Человек потерял Бога в тот момент, когда он захотел противопоставить Его воле свою. Это было в истории человечества не раз, это продолжается и сегодня. «Вы будете как боги, владеющие добром и злом...» — слова эти повторялись в веках. Но что произошло с Адамом, когда он посягнул на запретный плод? Он увидел, что он наг — вот и вся его божественность. И в таком же положении сегодня мы, люди XX века. XIX век был полон надежд на

то, что XX век действительно станет эрой богов. «Люди как боги», — назвал Уэллс одну из своих утопических книг. Человек-победитель овладевает громом и молнией, он поднимается в космос и спускается на дно океана, погружается в глубины материи, он будет познавать добро и зло — «будете как боги», — и в конце концов, на исходе столетия мы видим, что мы наги, что все это нам не помогло. Наука — вещь прекрасная сама по себе, но она не способна сделать человечество счастливым, потому что наука — только одна из сторон нашего бытия, а человеческое ядро — это то, что связано с вечным. И первобытный человек, который чувствовал биение космического пульса, тайну бытия, и человек Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, и средневековый человек — во все времена — был тем более прекрасен, чем больше он приближался к этому.

В центре человеческих исканий, как на перекрестке всего бытия, стоит Крест. Почему? Что должно было произойти?

Вечность нам недоступна. Я часто вспоминаю книгу пророка Исайи. Бог через пророка говорит страшные слова: «Как небо далеко от земли, так Мои мысли далеки от ваших мыслей. Я Бог, а не человек (по-еврейски Ани Элохим, ве-ло адам)». Бог, Творец — это не человек. Он безмерно превосходит все то, что человек может помыслить. И только самомнение и ограниченность мысли могут позволить нам вообразить, что «Тот, Кто создал мирозданье самовластьем всемогущим и с небес жизнь даровал всем тварям сущим, мир живой нам, людям, отдал многообразно цветущим» (как говорил Шота Руставели), — это человек. Нет, Ему нет названия. Кроме того, что Он открывает о Себе, человек ничего постичь не может. И поэтому чтобы вступить с нами, несущими в себе искорку Божества — отражение Его — в контакт, Он должен был умалиться. «Но Себя умалил, приняв образ служителя, раба», — вот как сказано о Боге, Который явился нам во Христе.

Явление Христа — это не явление новой морали или новой доктрины, или новой философии, а это есть откровение вечности в той полноте, которая только нам доступна. Поэтому история мировоззрений, которую мы с вами проследим на протяжении наших дальнейших встреч, есть путь от Адама, то есть от того пункта, где человек расходится с Богом, — ко Христу. А от Христа два пути: или за Ним, или от Него. Вот в этом и заключается главная сущность

мировой истории. Церковь, созданная Иисусом Христом, повторяет нам Его слова: «Следуйте за Мной, следуйте за Мной». Она повторяет Его слова: «Кто хочет за Мной идти, отвергнись себя (то есть своей самости), возьми свой крест (то есть свое служение) и тогда за Мной иди». А можно идти против Него, возвращаясь назад. Это движение есть возврат, вечное повторение греха Адама, который хотел быть как Бог, а оказался только нагим и бессильным.

ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ АЗИИ

В прошлый раз мы останавливались на проблеме зарождения религиозного сознания и его первоначальных форм. Эта тема очень важная, она непосредственно связана с самыми корнями всей мировой культуры. Мы отметили особенности первобытного религиозного сознания, которое было ориентировано в какой-то степени на статическую модель мира, согласно которой мир как целое подчиняется определенным законам, связан взаимоотношением различных сил, существ, одухотворенных стихий и управляется некими установленными правилами, соединяющими эти силы между собой, а в человеческом обществе подчиняется законам магии. Таким образом, магическое мирозерцание явилось как бы прототипом научных представлений о взаимосвязи вещей и о возможности для человека влиять на ход событий. Тем самым между магией и религией возникла дистанция, которая постепенно увеличивалась, но в то же время никогда не становилась достаточно большой.

Магия всегда паразитировала на религиозном сознании. То высшее благоговение, которое испытывал человек перед вечностью, как бы он ее ни осознавал, то, что было и остается главным импульсом религиозности человека, оплеталось магией, подобно тому, как деревья иногда оплетаются растениями-паразитами. По своей интенции магия противоположна религии и духовно, и мистически, и психологически, потому что маг утверждал свою волю. Он стремился к тому, чтобы человеческая воля в конце концов подчинила, покорила себе все стихийные и божественные начала, чтобы все — и духи, и демоны, и божества — служили человеку.

Но вот мы вступаем в иную эпоху. Пантеистическое чувство, магическое упорство человека в достижении своих целей, грубые суеверия, а также ощущения и представления о запредельном высшем Начале, — весь этот конгломерат составлял многоликую, разнообразную, многоцветную картину первобытного мирозерцания. И на этом фундаменте возникли древнейшие цивилизации, которым мы обязаны письменностью, элементами техники, астрономии, математики, зодчества — всего того, что было

создано в Плодородном Полумесяце древнего Ближнего Востока — между Тигром, Евфратом и Нилом, в восточном Средиземноморье. Все это и сегодня является корнем нашей цивилизации.

Но мы находим в этом культурном и духовном регионе несколько направлений и течений. Одно направление стремится в конце концов найти некую монистическую модель. Имеются явные доказательства, уже письменные (письменность родилась именно в этих древних цивилизациях), того, что монотеизм, единобожие, начинает здесь брезжить, как некие первые предрассветные лучи, но никогда не достигает своей окончательной и полной формы.

Одной из самых ярких страниц в духовной истории движения к монотеизму является попытка реформы фараона Аменхотепа IV, который называл себя Эхнатомом, в XIV в. до Р. Х. (Вы все, вероятно, хорошо знаете это имя, или, по крайней мере, имя его жены Нефертити, образ которой, изваянный скульптором Тутмесом, является общепризнанным шедевром мирового искусства.) Этот фараон провозгласил веру в единое божественное Солнце. Конечно, не надо думать, что древние египтяне были чужды астрономическим понятиям. Они первые на Древнем Востоке вместе с вавилонянами установили основные принципы наблюдения за светилами. Для Эхнатона, насколько мы можем судить по достаточно скудным письменным памятникам, вечный глаз Солнца, который поднимался над горизонтом и потом скрывался где-то в темноте, обозначал высшее единое Божество. Волей фараона начинают истребляться человекоподобные и звероподобные фигуры богов, ликвидируется древняя система, в которой каждая область Египта и каждый ном имели свою систему божеств. Над всем царствует единый Атон (или Итон, как его транскрибирует известный египтолог Ю. Перепелкин). На одной гробнице начертан гимн в честь Атона. Этот гимн поразительно перекликается с некоторыми библейскими псалмами. Это картина природы, которая животворится единой благой волей Божества, изображаемого не с человеческим или звериным лицом, а в виде солнечного диска с лучами, которые завершаются благословляющими руками.

Попытка этого рода была религиозной реформацией, религиозной революцией сверху. Народ не мог принять этой достаточно отвлеченной доктрины. Местные культы и местная магия, необычайно

сильные в Египте, оказали мощное сопротивление Эхнатону, так что в конце своего семнадцатилетнего царствования Эхнатон вынужден был применять суровые меры против жрецов древних богов. Едва он умер, началась бурная реакция и все вернулось на круги своя. Новая столица фараона Ахетатон (небосклон Атона) была заброшена. Вся знать во главе с юным преемником Эхнатона переехала обратно в Фивы. Все стало как прежде.

Впрочем, как установили историки, эта революция не прошла даром, и впоследствии в кругах египетского жречества мы видим упорную тенденцию к постижению Единого Бога. Эта тенденция, конечно, глубоко не затронула народ, но она отражена в многочисленных памятниках литературы.

Наряду с такими попытками идет волна глубокого кризиса, неприятие этого статического мирозерцания. Кризис нашел отражение в знаменитом вавилонском диалоге между рабом и господином. Господин отдает рабу приказание, и тот с готовностью его выполняет; потом господин полностью меняет свое решение, и тот его тоже выполняет; в конце концов господин спрашивает: что же тогда хорошо на свете, если всякое движение в конечном итоге, как мы говорим теперь, амбивалентно. Раб отвечает: «Сломать твою и мою шею и бросить в реку, потому что нет ни добра, ни зла». Есть немало памятников того времени, показывающих, насколько человеку было трудно примириться с тем, что мир — это некая машина, где царствуют неведомые существа, причем неизвестно, благие они или злые. Для Вавилона, который не имел представления о бессмертии души в нашем, христианском, смысле слова, и для которого смерть означала переход души в область мрака, в царство преисподней, — все казалось безысходным и мрачным. Все знакомы, хотя бы по школьным или институтским учебникам, со знаменитым эпосом о Гильгамеше. Человек этот идет искать бессмертия, ищет его и не находит, и, в конце концов, после своих многочисленных приключений возвращается домой, смотрит на стены города и пытается успокоить себя невеселым утешением: вот люди строили, и это стоит, после нас останется память. Но совсем не этого он искал и не для этого отправился на край света. Известный русский философ Вл. Соловьев говорил, что два желания, как два крыла, поднимают человеческую душу и историю: это желание правды и желание бессмертия. И то, и другое мы уже

находим в тенденциях древневавилонской и египетской религии. Правда как некий высший закон была предметом размышления жрецов. Но настоящего развития эти религиозные понятия не получили.

И только позже, примерно с VIII в. до Р. Х. в мире происходит некое таинственное превращение, преобразование, вхождение нового. Известный современный философ и историк Карл Ясперс (умер в 1965 г.) называл этот период «осевым временем», потому что ось культуры до сих пор именно в этой эпохе: тогда были созданы крупнейшие религиозные и философские учения, на которых сегодня стоит многомиллионный мир буддизма, индуизма. Современные философские доктрины опираются на античную традицию. Тогда же появляется иранский дуализм, который оказал огромное воздействие на всю средневековую мысль, в частности через манихейство. Тогда же возникли классические китайские доктрины — конфуцианство, даосизм и другие. Тогда проповедовали библейские пророки. То есть почти весь цивилизованный мир оказался захваченным каким-то особым движением; я бы назвал его движением к Абсолюту.

В этом движении пробудилось исключительное свойство человека, тайна его существа. Человек здесь искал вовсе не того, что было необходимо для его обычной земной жизни. Это звучал голос духа, глубочайшая потребность в высшей истине, в конечной ориентации — потребность найти связь между временным, условным и абсолютным, безусловным.

Мы знаем, что в истории человеческого общества многие движения и силы были направлены на приспособление обществ, групп, этносов, империй к существованию, к отстаиванию своей идентичности, независимости, к защите от врагов, к борьбе с окружающей природой. Но для этого не нужен был взгляд человека в небо, для этого не нужны были ни Будда, ни Сократ, ни Лао-цзы. Однако они появились. Они появились, так сказать, не сговариваясь, ибо только сейчас существует такая связь между народами и культурами, которая позволяет в течение нескольких мгновений передать информацию на другой материк. Тогда информация проходила долгими и сложными путями. Тем более загадочным остается до сих пор феномен «осевого времени». Я думаю, что каждый человек, религиозен он или нет, должен иметь хотя бы самое общее

представление об этом времени и о силах, идеалах и основах духовности и культуры, созданных тогда. Я очень кратко останавлиюсь на том, что дал в этом отношении Восток, преимущественно Дальний Восток, то есть индийско-китайский регион.

В VI–V вв. до Р. Х. жил странствующий мудрец Кун-цзы (латинизированная форма — Конфуций). Китай разделен на княжества, в стране междоусобицы, гражданские войны, старая система порядка разрушена. Конфуций ищет того, что всегда искали люди на земле: как устроить человеческую жизнь, чтобы она была естественной и нормальной. И ему кажется, что в глубине прошлого, в традициях лежит то счастливое время, когда человек жил по велениям тянь, Неба. Именно тогда человек проявлял свою жэнь — человечность, гуманность — и реализовывал ее в виде определенных, устойчивых ли. Это слово переводят обычно как «церемонии», но это нечто более глубокое, это структура человеческих взаимоотношений. Конфуций смотрит назад, во время, которое он, естественно, мифологизирует. В любую эпоху мы находим подобные попытки считать прошлое идеальным временем. Но чем интересен Конфуций? Он ищет корни не в небе, а именно в рациональном, чисто человеческом, в том, что может быть выражено через ритуал, через порядок, через строй. Он называл свое учение «возвращением имен». Он говорил, что если кто-то называется сыном или правителем, то он должен быть сыном или правителем и отсюда вытекают определенные обязанности. Надо вернуть все на свои места, и тогда будет структурно законченное общество. Он считал это осуществимым, все время пытался найти среди князей и правителей какого-нибудь мецената, который позволил бы ему довести до конца его эксперимент. Но это не удалось. У него были ученики, были последователи даже среди власть имущих, но в целом они не хотели слушать своего советчика, и он остался странствующим учителем.

Вольтер и многие другие просветители и рационалисты XVII–XVIII вв. всегда восхищались Конфуцием. Им казалось, что такое рациональное обоснование общественной жизни прекрасно. Но как оно не удалось Конфуцию, так не удалось и последующим поколениям. Оказалось, что человеку недостаточно просто оформить обычаи и традиции, ввести все в разумную усредненную

рационализированную норму, чтобы наступило счастье. Конфуций ориентировался на традиционный социальный идеал.

Его современник Лао-цзы — легендарный человек, и некоторые авторы даже сомневаются, был ли он историческим лицом. Лао-цзы ориентируется на природу как целое. Его главное понятие — дао. Это очень сложное, многоплановое понятие. Дао — это целое, это путь бытия. Человек не должен действовать так, как учил Конфуций, не должен вырабатывать какие-то условности, какие-то порядки. Надо отказаться от искусственного. Идеалом философа было у-вэй («недеяние»). Живите просто и ясно, как природа, отбросьте предрассудки, обычаи, загляните внутрь себя, и вы найдете то естественное и высшее дао, которому нет названия. Он говорил: «Дао, которое имеет имя, уже не есть вечное дао».

Но ориентация на природу была недостаточно глубока, потому что в природе как раз не было главного — не было нравственного начала. Человек не может из природы почерпнуть импульс для этики. И поэтому, несмотря на великолепные достижения (особенно в писаниях философа Чжуан-цзы, которого многие считают настоящим основателем этого учения), даосизм, развивавшийся в элитарном кругу и повлиявший на китайское искусство, на понимание природы, постепенно стал вырождаться в систему магических заклятий, в странный аскетизм. Согласно легендам, даосские мудрецы сидели неподвижно целыми часами, а то и днями, так что на них даже вырастала трава; они уподоблялись части природы, как камни. Вероятно, такой образ освобожденного человека был для многих привлекателен, но это освобождение совершалось за счет утраты самого главного, человеческого: личность растворялась, терялась.

Китай, создавший по-своему замечательную философию даосизма, легко воспринял концепцию буддизма и разработал новые формы буддистского мирозерцания. Удивительно, что в совершенно разных регионах — в Китае и в Индии — мы встречаем общее. Когда Индия всматривается в бытие, она находит там вечное божественное начало. Это Брахман, то, что тоже, как и дао, не может быть определено и названо. В Упанишадах, в частности в Брихадараньяка-упанишаде говорится, что Брахман — не то и не то, и о нем не может быть сказано никакого человеческого слова. Брахман как бы выдыхает из себя вселенную; подобно пауку, который из себя рождает паутину,

он, вечный Абсолют, рождает мир. А что же такое мир? Это что-то призрачное, что-то неустойчивое, даже что-то ненужное и недолжное, потому что, падая вниз из вечного бытия в обычное бытие, мир становится множественным и несовершенным.

Духовные существа, то есть люди, но и боги тоже, — все подчинены неким законам превращения. Умирая, человек попадает в иное тело, потом — снова в иное тело. Неизменный круговорот возвращает все вновь в безмолвную бездну Абсолютного. Индийские брахманы думали, что для того, чтобы раньше вырваться из этого круга, не ожидая, пока пройдет томительная вереница перевоплощений, необходимо подавить в себе все плотское. Отсюда — безудержный эксцентрический аскетизм брахманистской традиции. Он достигал иногда гротескных форм.

Итак, мир не имеет ценности. Жизнь не имеет ценности. Материя не имеет ценности. Все это полупризрак, полувидение. Мир — это тяжелый сон, почти кошмар, который снится вечному сознанию. И счастье, когда оно пробудится и все это исчезнет как дым.

Усилия брахманизма прийти к познанию единого Начала через полное отрешение, через полный отрыв от материального завершились значительно позднее в различных формах йоги. Йога выработала на протяжении многих столетий определенные методы концентрации, сосредоточенности, медитации, целью которых было только одно: освободить человека от бремени материального. Я имею в виду не ту модифицированную современную йогу, в которую уже вошли элементы европейского, даже христианского обучения, не ту интегральную Веданту, которую проповедует Ауробиндо Гхош, а ту, которая была задолго до Рождества Христова; ее принципы во II в. до Р. Х. сформулировал Патанджали. Патанджали уже не помнит о высшем Начале; боги для него лишь участники этой драмы; для него важно не приобщение к высшему, а освобождение, только освобождение как самоцель. Понятие мокши, то есть спасения, становится понятием чисто негативным. Дух освобождается сначала от этического несовершенства, потом от зависимости от физических сил. Он все дальше и дальше уходит от человечности, пока практически уже в этой жизни не развоплощается, не становится чистым. Он витает в одиноком своем освобождении, познав самого себя и одновременно потеряв самого себя. Личности нет, все

растворено в молчании. Каждый из вас, если задумается, легко поймет, какой глубокий соблазн кроется в этом пути, потому что он в нашей жизни, исполненной драм и трагедий, обещает забвение, покой, тишину. Обещает то, чего человек так хочет. И действительно, всевозможными способами и средствами индийские традиции этого достигали, разумеется, в узком социальном поле. Но какой ценой?

Параллельно с йогой развивается иная традиция, которая потом покинула пределы Индии и пошла завоевывать другие страны, включая и часть нашего отечества. Я имею в виду буддизм.

Будда был современником Конфуция, он происходил из семьи раджи и, согласно легенде (неизвестно, насколько она достоверна), в юности, потрясенный зрелищем человеческих болезней, страданий и смерти, решил уйти в лес, чтобы путем самоистязаний победить в себе плоть и стать полностью свободным от бесконечной череды перевоплощений. Многие годы пытается он превзойти прославленных аскетов и в конце концов приходит к неожиданному внутреннему озарению: он отмечает все крайности аскезы и ищет просветления на пути полного угашения трепета жизни в человеке. И когда он этого достиг, то провозгласил, что есть спасение, что оно найдено. Поэтому он стал называть себя Татхагатой, Совершенным.

Будда не собирался основывать новую религию, тем более мировую. Он лишь основал небольшую монашескую общину. Он явился к отшельникам и сказал: «Монахи, путь спасения найден». Мир находится в страдании, это первое; второе, мир страдает потому, что он жаждет жить. Жажда жизни — тришна — это и есть причина страдания. Значит, причина найдена. И, наконец, найдено средство избавления: надо погасить в себе жажду и волю к жизни. Будда не требовал, чтобы человек предпринимал для этого какие-то сверхъестественные усилия, истязал себя. Необходимо только освобождение от всего, что может его связывать: от уз родства, от семьи и брака, от любви, от всевозможных почестей, богатства.

Образуется община нищих монахов, они живут подаянием, проводят жизнь в лесах, на дорогах, ночуют под открытым небом. В одном из древних буддийских гимнов говорится: когда дождь барабанит по крыше, кричат слоны, а монах сидит в пещере и размышляет — что может быть прекраснее? Действительно, они достигали высшего наслаждения в этом отъединении и называли

состояние полного отрешения от всего нирваной. Нирвана — это угасание в человеке жажды жизни. Будда верил и утверждал, что это угасание остановит роковой поток перевоплощений, который казался страшным, тягостным, бесконечным.

Многие ученые, особенно исследователи XIX в., полагали, что буддийская доктрина преимущественно нравственно-аскетическая, но исследования особой части буддийского наследия, Абхидхарма-питаки, показали, что там была и своя метафизика. Мы не знаем сегодня, насколько она восходит к самому Гаутаме Будде, но она достаточно древняя. (У нас нет ни одной биографии Будды, которая была бы написана его современниками. Все, что у нас есть, — это легенды, созданные через столетия после его смерти.) Так вот, мировоззрение Будды строилось на предположении о том, что извечно в мире бушуют и волнуются некоторые первоэлементы, изначальные дхармы. Бесконечный покой Абсолюта, который Будда называл нирваной, нарушается вибрацией дхарм, и они создают весь временный преходящий мир, те иллюзорные единицы, которые мы называем личностями. На самом деле это нечто созданное из элементов, призрачное, составное — и все распадается. Стремление погасить в себе жажду жизни и есть прямой путь к тому состоянию бытия, когда не было волнения дхарм. Будда никогда не объясняет, почему оно возникло и возникло ли оно изначально или в какой-нибудь определенный момент мировой истории.

Для того чтобы прийти к этой освобожденности, буддизм проповедует высокую, достойную мораль: миролюбие, нестяжание, сочувствие людям. Ведь все люди — товарищи по несчастью, все люди попали в этот ужасный мир как заключенные, из него надо выбраться, а выбраться можно только, так сказать, перестав быть людьми, перестав вообще быть живыми существами, отдалившись от всего, что создано вибрациями дхарм, и погрузившись в это состояние. И Будда, как он утверждает, согласно некоторым древним текстам, это состояние пережил. Согласно тем же текстам, дух зла, Мара, пытался увести его в нирвану и говорил: «Войди в нирвану, о Совершенный». Но Будда не согласился: он хотел из сострадания к людям открыть им секрет свободы.

Повторяю, все это очень привлекательно и соблазнительно, особенно для усталых душ, особенно в кризисные эпохи, особенно,

когда мы ощущаем тяжесть своих страстей, своей плотскости, своей телесности, своей обусловленности. Да, покой, нирвана. Но, разумеется, в народные массы учение буддизма вошло в ином облике. Главное, что привлекало, — это разрушение кастовых перегородок, высокое этическое учение. Будда проповедовал долго, умер глубоким старцем, его последние слова, согласно Маха-париниббана-сутте, были: «Монахи, все составное распадается, пекитесь об освобождении, о своем спасении».

Таковы были в самых общих чертах взгляды, выработанные в индийско-китайском регионе. В них была огромная ценность, потому что человек впервые отчетливо осознал, что последняя реальность должна быть найдена (вернее, она должна быть искома) не в осязаемой природе, не в материальном мире, а в мире, который родствен глубинам его духа. Мистическая интроверсия, самоуглубление стало каналом, руслом, по которому шло познание реальности. Поэтому индийский опыт был опытом глубоко духовным. Здесь дух противопоставил себя природе. В противоположность натурализму и магизму, он заявил о себе как о бесконечно ценной реальности.

Но в противостоянии натуралистического магизма и этого сверх-спиритуализма проблема для человечества не разрешалась. Как бы ни был чудесен и привлекателен этот духовный опыт, он все-таки угрожал человеку как таковому, он все-таки отвергал жизнь, а человечество никогда не может пойти на это. На это могут идти отдельные люди или группы людей. Для буддизма идеалом было монашество, безбрачие. И если бы все люди приняли буддизм, человечество прекратило бы свое существование. Кроме того, для рядового человека, который не мог сидеть сутками в лесу, в пещере, проблема должна была решаться как-то иначе. Для него философское понятие об Абсолюте, о высшем Начале было холодным, далеким, безличным. (Кстати, оно таковым и было.) А человек ведь личностное существо, он даже мир воспринимает как некое личностное начало. И этот холодный Абсолют был ему далек и чужд. Примечательно, что в Индии среди множества храмов только два посвящены Брахману. Абсолют даже и почитания не вызывает.

И вот тогда, за несколько веков до Рождества Христова, рождается кришнаизм. Точной даты жизни Кришны-Васудевы мы не знаем. Легенды, которые созданы вокруг него, даже не дают нам возможности

выяснить, существовал ли реально этот проповедник или это только миф, ведь Кришна — имя древнего доарийского бога южных народов Индии. Чем же привлекал кришнаизм? Он привлекал тем, что открыл в вечном, бесконечном, божественном личностное измерение и провозгласил, что самое важное для человека — относиться с благоговением к высшему, бхакти. Он провозгласил также, что безличный Абсолют становится личным, приближаясь к человеку и стремясь ему помочь.

Апофеозом кришнаизма в древности, лучшим и величайшим его священным памятником является Бхагавад-гита. Время ее создания точно не известно. Бхагавад-гита — это часть гигантского эпоса Махабхараты, в котором повествуется о борьбе между двумя древнеиндийскими кланами. В Бхагавад-гите сходятся в сражении две армии. Царевич Арджуна видит, что против него идут врагами его родственники и братья, и он в глубочайшем смятении готов вложить меч в ножны. Но рядом с ним его друг, помощник и возница, это не кто иной как Кришна, который стал здесь, рядом с ним, в виде человека. Арджуна спрашивает у него, что ему делать. Кришна отвечает: иди и сражайся. Кришна раскрывает Арджуне тайны мира, жизни и Бога. Он говорит о том, что неважно, какие формы принимает религия — это всегда обращение к высшему. Какому бы образу ни поклонялись, поклоняются ему, Кришне. Весь сюжет Бхагавад-гиты и есть беседа между Арджуной и Кришной, который учит царевича, что единое высшее Начало помогает человеку, приходит в мир в виде аватары, или воплощения. Но Арджуна говорит: покажись мне, покажи свое лицо, яви мне себя! И в это мгновение возница меняется, он превращается в огромного, сторукого, сверкающего гиганта. Между зубами этого чудовища Арджуна видит трупы. Кришна предстает как всепожирающее время, как огромный дракон, сверкающий ярче тысячи солнц. Этот образ пришел на ум Оппенгеймеру, когда он впервые увидел на испытаниях взрыв атомной бомбы. Ярче тысячи солнц сверкал этот чудовищный и пугающий образ. А потом Кришна снова принял человеческий облик.

Здесь сокрыта глубокая мысль: что божественное тождественно природе, что природа — нечто огромное, пожирающее, внеэтичное — она-то и есть божество, которое страдает человеку, она неотделима от духовного. В конце концов, все перемешано, все судьбы не имеют

значения, все исчезнет в едином духовном, все обнимает Абсолют: убиваешь — убивай, не убиваешь — тоже неважно. Все в конце концов разрешается на сверхчеловеческом уровне. Поэтому, несмотря на прекрасные этические заповеди Бхагавад-гиты, они оказываются лишенными настоящего внутреннего корня, потому что действия человека в этом полупризрачном мире теряют свое значение и направленность.

Вот почему эти высоты духа и философии, выраженные в гениальных великолепных поэмах, в метафизических трактатах и афоризмах, не стали для человечества единой светлой истиной. И не потому, что они ложны. Вл. Соловьев когда-то ввел понятие «отвлеченных начал». Он говорил о том, что различные принципы могут действовать ложно лишь по одной причине: они берут действительность только фрагментарно, они берут какую-то одну ее сторону и поэтому становятся отвлеченными началами. Путь к истине должен быть путем к целокупной истине. Поэтому, с христианской точки зрения, достижения мистики Востока реальны и ценны, но в то же время из-за односторонности этой истины, из-за того, что она обходит и оставляет в стороне жизнь, личность человека, материю, плоть, историю (а история здесь полностью отсутствует, потому что никакого движения нет, все вращается по кругу), — в восточных учениях огромные пробелы, остающиеся и поныне. Тем не менее ступень эта была важной, и в иерархии ценностей мировой культуры она занимает свое место. Надо не презирать эти взгляды, не унижать их с позиций европейских, современных, с позиций христианских, а понять, что здесь человеческое мышление, человеческий дух, мистическое погружение в реальность достигли определенного уровня, который впоследствии должен быть превзойден тем, что новые измерения войдут в человеческое мышление.

Подобный взгляд дает нам возможность рассматривать историю человеческого духа не как историю сплошных заблуждений или истин, а как историю поисков, нахождения, движения дальше с помощью разума, мистического проникновения, коллективных усилий всего человеческого духа. Дальнейшей ступенью мы можем назвать античную мысль, на которой я сегодня останавливаться не буду, потому что это должно быть предметом отдельного разговора.

ДУХОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА ВОСТОКЕ (КИТАЙ)

Хотя мы уже неоднократно забирались в далекое прошлое, я каждый раз старался вам напомнить, что речь идет совсем не о каких-то отживших, умерших, архаичных идеях. Пусть формы иногда не совпадают с привычными для нас, пусть иногда они носят несколько экзотический характер. Однако вечные вопросы всюду остаются вечными. За два с лишним столетия до нашей эры китайский император Цинь Шихуанди приказал сжечь все книги, кроме руководств по сельскому хозяйству, и закопать живьем в землю всех учителей конфуцианства. С одной стороны, эта мера нам кажется чудовищной, злодейской, а с другой, мы чувствуем в этом что-то родное, что-то до боли знакомое, и не только по известным вам аналогиям, а даже по современной истории Китая. Совсем недавно Конфуций был объявлен маоистским правительством врагом номер один или номер два; он обзывался в прессе самыми оскорбительными словами, газета «Жэньминь Жибао» называла его старикашкой.

Между тем Конфуций всегда был не только гордостью Китая, но и как бы олицетворял собой дух этой великой мировой культуры, влияние которой распространялось на значительную часть Дальнего Востока. Появление Конфуция — это был VI в. до Р. Х. — совпало с тем движением, которое я условно называю эрой великих учителей. Знаменитый современный философ и историк Карл Ясперс называл эту эпоху «осевым временем» — временем переворота, временем духовного рождения современного человека. Это явление, по меньшей мере, изумительное, если не сказать, чудесное. Почему?

Сколько лет существует человечество как духовная и культурная величина? Сколько лет ноосфере? Еще недавно мы считали, что около пятидесяти тысяч лет. Сегодня эта цифра удвоена, если не утроена. Находки в Восточной Африке показали, что человек в нашем, полном смысле слова (а не какой-то предок, родственник, прачеловек) появился на Черном материке за сто, сто тридцать, а может быть и более тысяч лет до этого. Теперь представьте себе этот огромный период времени. Мы уже говорили о том, что там существовала

сложная магическая культура, высокое искусство, сложная и по-своему совершенная социальная структура; но она отличалась стабильностью, переходящей в стагнацию, то есть в застой. И вдруг происходит перелом. Можно было понять, что этот перелом связан с какими-то конкретными историческими процессами. В нашей литературе еще совсем недавно его связывали то с кризисом рабовладельческого строя, то с изменением хозяйственных механизмов. Но это все ненаучная фантастика. Никаких радикальных перемен в сфере экономики не произошло. Что касается рабовладельческой формации, то она была придумана так же, как Сталин придумал пресловутую революцию рабов, которая якобы с громом опрокинула Рим. Люди моего поколения помнят, как мы наизусть учили эту фразу. Не было революции рабов, и никакого разрушения Рима с помощью этой революции не было. Сталин истории не знал, а знал некую схему, под которую он подгонял события. Рабовладение только в поздний греко-римский период приняло массовый характер, в том смысле, что рабы начали принимать активное участие в экономической жизни страны. А в те времена, о которых мы с вами начинаем теперь говорить, труд рабов не определял хозяйственную жизнь. Все основные формы труда, которые кормили человека и которые создавали материальные ценности, включая, как я вам уже говорил, и знаменитые пирамиды, осуществлялись преимущественно свободным населением. Это лишь древние греки (Геродот — автор этого исторического мифа) говорили, будто тысячи рабов воздвигали пирамиды. Нет, их строили подданные, которых хорошо кормили и содержали. Это было делом всей нации. Рабы использовались преимущественно как челядь, для домашних услуг, для форм труда, не влияющих на основной профиль экономики. Мало того, рабовладение в период, о котором я сейчас буду говорить, то есть в первое тысячелетие до Христа, было довольно мягким. Те из вас, кто читал Библию, помнят, что Авраам, не имевший детей, по закону должен был оставить свое имущество своему рабу Елизеру; то есть раб фактически считался членом семьи, а вовсе не говорящей вещью, как это потом случилось на совершенно определенном отрезке исторического времени в античном мире. Я не говорю о том, что впоследствии рабовладение в очень тяжелой форме возникало не раз в разных системах, в том числе в XIX в. в США. И там чернокожие рабы

действительно участвовали в экономической жизни страны. Так что та последовательность, которую наше поколение изучало в школе: сначала было тяжелое рабство, потом более легкая феодальная система, потом еще легче — капиталистическая эксплуатация и, наконец, уже совсем хорошо стало, — неверна. Рабочий в Лондоне той эпохи, когда Маркс там писал «Капитал», жил хуже и эксплуатировался хуже, чем средневековый крестьянин или общинник Древнего Египта. История движется гораздо более сложно и зигзагообразно, нежели в тех учебниках, которые нам прежде преподносили как точное отражение исторической действительности.

Я сделал это краткое отступление для того, чтобы показать, что событие, о котором мы будем говорить, не было отражением экономических факторов, ибо оно прокатилось, как некий тунгусский метеорит или как некое вторжение иных миров, от Тихого океана до запада Средиземного моря, от Индийского океана до границ Азербайджана и Афганистана. При слабости тогдашних средств передвижения это было действительно необъяснимым явлением. Сегодня, когда любое явление, любая идея, любое событие с помощью различных средств массовой информации мгновенно могут переходить из одной страны в другую, когда мы тут же узнаем о них, мы забываем о том, насколько изолирован был человек за пятьсот или восемьсот лет до Рождества Христова, как долги были караванные пути, как утлы были суденышки, которые двигались по неведомым морям, как опасны были дороги во всех отношениях. Купцы и путешественники тех времен были подлинными героями культуры, или, как называли их немцы, культуртрегерами — носителями культуры, потому что именно они заносили семена идей, научных открытий, философских проблем с одного конца света на другой. Но это происходило крайне медленно. Между тем, «осевое время» было временем настоящей вспышки. Часто говорят о том, не повлияли ли на него солнечная активность или вспышка сверхновой звезды. Все возможно. Но астрономы не знают никакого важного космического события такого рода, которое могло бы настолько изменить лицо мира. И именно тогда родились мы с вами — наш тип мышления, наша сегодняшняя культура. Это не парадокс, это факт, который вам подробно разъяснит любой историк. Пожалуй, большинство этических концепций сегодняшнего дня, такие явления, как мистицизм, материализм, демократия, партийная

борьба — все это родилось тогда, все было создано в то время. Философское осмысление бессмертия души, цели человеческой жизни, историософия, то есть философия истории, — все родилось тогда. Я уже не говорю о том, что на этой почве «осевого времени» был воздвигнут крест Христов. Основанием христианства было «осевое время». События «осевого времени» имели характер синхронный, то есть они охватывали период между примерно 800 и, скажем, 300–200 гг. до Р. Х. Можно раздвигать эти даты, этот отрезок времени или, наоборот, его сужать — на огромном пространстве многотысячелетней истории это лишь миг. Но зато какой миг!

Война Мао Цзэ-дуна против Конфуция была косвенным доказательством того, что идеи, родившиеся в тот период, продолжают оставаться злободневными и актуальными. Когда-то, много лет назад, когда я был еще подростком, мне попалась книжка о Конфуции, составленная одним из учеников и приверженцев Льва Толстого Павлом Буланже, с переводом изречений Конфуция. И тот, кто заглядывал в антологию, составленную Львом Николаевичем и называемую «Круг чтения», найдет там немало изречений из Конфуция. Значит, Лев Толстой считал, что мысли этого философа отнюдь не принадлежат только прошлому. В XVII и XVIII вв. европейские рационалисты и просветители с огромным интересом обращались к китайской мысли этого времени.

Что известно о Конфуции? Его звали Кун, он был бедным неудачливым человеком. Ученики называли его Кун-цзы, иногда Кун-фу-цзы, что значит учитель Кун. Отсюда латинизированная форма Конфуциус, которая у нас превратилась в Конфуций. Ученики записывали его изречения, составившие книгу «Лунь-юй»; она потом неоднократно переводилась, частями или полностью, на русский язык.

Среди мистиков, ученых, философов «осевого времени» Конфуций занимает совершенно особое место. Для него существовал единый и высший Абсолют, Конфуций называл его традиционным китайским термином тянь — Небо. Но Небо для него было чем-то далеким. И когда его спрашивали о Небе, он отвечал: как можем мы знать о Небе, когда мы еще не разобрались с тем, что существует на земле. Он считал своей главной задачей создать устойчивую и благородную модель человеческих взаимоотношений здесь, в этом мире. Он придавал огромное значение обрядам. Говорят, что он

настолько любил скрупулезно исполнять все традиционные правила, которые он нашел в китайских преданиях и в литературе, что его близкие не выдержали и жена из-за этого его бросила. (Быть может, это было и не так, быть может, Конфуций несколько юродствовал, стараясь подчеркнуть необходимость соблюдения всех ритуалов.) Но тогда мы спросим: а чем же этот человек отличался от носителей первобытной магии, древнего мистического мировоззрения, которое придавало столь большое значение ритуалу? А тем, что Конфуций впервые подошел к нему не как к магии, а как к структуре бытия. Будучи убежден в том, что Небо создало мир на основании определенных законов, и эти законы непреложны, и их необходимо соблюдать, Конфуций утверждал, что подобные законы должны существовать и в обществе. Он видел их в традициях древней китайской культуры, в легендах о древних ванах, царях из старинных преданий. Он показал, что настоящее развитие любой культуры не может висеть в воздухе; оно должно уходить корнями в опыт народа, в опыт истории, в традиции минувшего. Правда, к этим традициям он умел относиться по-своему критически. Вспомним его идею имен и названий. Он говорил: нельзя называть человека мудрецом, если он не мудр, отцом, если он не выполняет функции отца, и царем, если он не выполняет царских обязанностей. Все должны служить, от мала до велика. Вся Тянься, то есть Поднебесная, как назывался Китай, должна быть единым человеческим строем, где каждый должен найти свое место.

«Лунь-юй» — книга бесед Конфуция — наполнена вопросами учеников, которые интересовались различными сторонами жизни. Конфуций всегда говорил, что человек должен жить по заветам предков. Но этого ему было мало. Он хотел это реально воплотить, опираясь на существующую власть. И половина его жизни была занята поисками покровителя среди князей. Эпоха, в которую жил Конфуций, была тяжкой для Китая. Единая империя была уже мифом, княжества распались, шли феодальные усобицы между различными властителями. Конфуций с группой учеников странствовал с одного места на другое, пытаясь найти человека, который бы осуществил его идеал. Иногда, когда мы читаем его рекомендации, они нам кажутся тривиальными, унылыми. Нам представляется, что общество, живущее по-конфуциански, было бы обществом однообразных, подчиненных

бесчисленным церемониям людей. Если бы это было только так, конфуцианство, вероятно, навсегда осталось бы осколком прошлого.

Но у Конфуция была великая идея — жэнь, идея человечности, идея доброжелательности. Он утверждал, что человек только тогда может жить по законам Неба, если он будет культивировать в себе это начало, жэнь. Человечность создает все. Она начинается с мелочей. И каждый из вас может понять Конфуция, говорившего, что не надо слишком высоко взлетать. Помните, Достоевский говорил, что очень легко любить все человечество, а вот соседа любить трудно. То же самое говорил Конфуций. Не надо размышлять о великих вещах, а попытайтесь относиться по-человечески прежде всего к родителям. Говорят, он с детства любил устраивать церемонии в соответствии со старыми традициями, которые освящают память ушедших и умерших. Один человек сказал: «Культура общества измеряется тем, как оно относится к своим умершим». Может быть, слишком сильно сказано, но подумайте как следует, вспомните о своем опыте, и вы поймете, что в этом заключена глубокая истина. Вероятно, наши ритуальные действия нужны не умершим — они уходят из этого мира. Но заупокойный ритуал — любой формы — подчеркивает связь поколений, единство культуры, единство душ. Я помню, когда я впервые попал на кладбище в небольшом литовском городке, меня поразило бережное отношение к каждой могиле, и я подумал, что это образец для всех нас.

Взаимосвязь детей и родителей, человечность, уважение, почитание предков — все эти некогда магические вещи Конфуций трансформировал в этические и социальные понятия. Он превратил магический культ предков, уходящий в далекое прошлое истории Китая, в инструмент связи с минувшими поколениями. Он учил своих современников жить в истории. Правда, следует сказать, что историю, как мы ее понимаем со времен библейских и христианских, то есть как некий целостный целенаправленный процесс, мы напрасно стали бы искать в конфуцианстве. Но бережность к прошлому есть залог сохранности настоящего. И здесь Конфуций был глубоко прав. Усилия его часто разбивались о непонимание; к тому же жизнь оказывалась более жестокой и горькой, чем ему бы хотелось. Был момент, когда он оказался у власти, и ему даже пришлось, как рассказывает легенда,

казнить одного человека, хотя он был противником смертной казни, противником исполнения законов из страха.

Впоследствии в системе конфуцианства, в системе Мен-цзы, развивавшего идеи Конфуция, мы находим мысль о всеобщей, общечеловеческой любви. Такая трудная задача. Но тем не менее, если человек не будет на нее ориентироваться, то рано или поздно темные силы вырвутся на свободу и завладеют им. Один из первых китайских историков, Сыма Цянь, живший в I в. до Р. Х., рассказывает, что однажды Конфуций встретил странного мудреца, про которого рассказывали множество всяких басен и легенд. Говорили, что он родился стариком, с момента рождения изрекал мудрые истины и является защитником увэй, недеяния. Конфуций, который был сторонником деяний, активного созидания культуры, пришел поговорить с ним. В Конфуции не было страсти древнегреческих трагиков, философской глубины Платона, боговдохновенности библейских пророков, пафоса Заратустры, величия Будды — все они были современниками; Конфуций, быть может, среди них наиболее прозаичен. Ледж и другие специалисты по конфуцианству не без основания утверждают, что это была не столько религия, не столько даже философия, сколько некий принцип жизни, но принцип, имеющий глубокий смысл — рациональное устройство общества.

А что же предлагал тот странный старик, с которым беседовал Конфуций? Согласно легенде, его звали Лао-цзы. Иные из историков вообще считают его вымышленной личностью. Некоторые утверждают, что он служил архивариусом и однажды покинул Китай, уехав в неведомую страну. На старинных китайских изображениях мы видим этого старика верхом на быке, который уезжает, скрываясь в тумане. Лао-цзы — китайский антипод Конфуция, величайший из метафизиков желтой расы, как определил его Владимир Соловьев. От него осталась небольшая книга «Дао дэ цзин», книга о дао. Есть мнение, что эти же идеи развивали ученики Лао-цзы (среди них самый крупный — Чжуан-цзы) и что, может быть, они и были создателями учения. Но это проблема чисто историческая. Нам важно сейчас другое — то, что в рамках Китая возникли две жизненные позиции, две модели существования: одна — кропотливое, терпеливое преобразование всех существующих народных, национальных и религиозных традиций в некую структуру, которая помогла бы людям

быть человеческими, трудолюбивыми, исполняющими свой долг, а вторая хотела вернуть человека куда-то назад, в дочеловеческое бытие, в дао, в «Путь Тайны». Китайское слово дао непереводимо, обычно его переводят как «путь». Оно так же многопланово, как греческий термин логос. Дао — это Бытие, Тайна, Абсолют.

Один из марксистских интерпретаторов «Дао дэ цзина», Ян Хиншун, пытался изобразить Лао-цзы философом-материалистом. Я думаю, что это по меньшей мере спорная концепция. На самом деле перед нами один из вариантов свободного мистицизма. Дао — это и Бог, и природа, это нечто, чему нет названия. Человек в своих усилиях создать цивилизацию суетится напрасно. Простота, естественность — вот его идеал. Вот почему Лев Толстой гораздо больше любил Лао-цзы, чем остальных китайских мыслителей, к которым он был так близок. Идея «Дао дэ цзина», увэй (пассивность, непротивление, течение по таинственному пути жизни), была необычайно привлекательна для Льва Николаевича именно родственностью его собственной концепции.

Но если мы обратимся хотя бы к некоторым изречениям «Дао дэ цзина», мы увидим, что здесь особый род мистицизма. Я хотел бы, чтобы вы услышали несколько изречений Лао-цзы (мы будем условно так называть автора; повторяю, не имеет большого значения, был ли он легендарной личностью или нет). Я читаю Лао-цзы в переводе Ян Хиншуна. Есть и другие переводы, в частности, дореволюционный перевод, который редактировал Л.Н.Толстой, написавший к нему предисловие. Было немало переводов и с иностранных языков. Д.С.Мережковский переводил «Дао дэ цзин», кажется, с французского. Текст, переведенный Ян Хиншуном, опубликован в первом томе антологии «Древнекитайская философия».

«Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли». О чем это говорит? О том самом высшем, апофатическом богословии, которое свойственно и византийским, и древнерусским исихастам в христианстве, и брахманизму, как мы увидим позже, и мистику XVII в. Якову Бёме, и Шеллингу, и Владимиру Соловьеву, и многим-многим другим. То есть высочайшее Начало, создавшее мир, никогда не может быть

определено адекватно с помощью человеческих понятий. Если дао может быть как-то названо, оно уже не есть то самое вечное дао.

Кто же может созерцать это безымянное таинственное дао? Тот, кто свободен от страстей и видит его чудесную тайну. Далее. Для созерцающего даоса все человеческие категории вторичны. «Когда все люди узнают, что красивое красиво, появляется и безобразное. Когда узнают, что доброе добро, возникает и зло». То есть полярность возникает лишь потом, а в глубочайшей тайне всё слито. Это очень древнее представление китайской философии о бытии. Я думаю, что многим из вас знаком даже художественный зримый символ этих двух начал — инь и ян. Это шар, который разделяется волнистой линией на две половинки — светлое и темное, соединенные воедино. Впоследствии, через много столетий, христианский мистик Яков Бёме (а мы, я думаю, до него еще дойдем; это был великий человек, повлиявший на Гегеля, Шеллинга, Бердяева) говорил о том, что в самой Божественной тайне скрыты все потенции — и света, и тьмы, хотя евангельское христианство этот тезис не приемлет: «В Боге нет никакой тьмы», — говорит нам евангелист Иоанн.

Что же предлагает созерцательный мистицизм «Дао дэ цзина»? «Мудрый человек предпочитает недеяние и осуществляет учение безмолвно...». Конфуций много трудился, ездил, писал, так сказать, хлопотал о внедрении своего учения. Лао-цзы ищет покоя. «Осуществление недеяния всегда приносит спокойствие...» «Дао — пусто, но действуя оно кажется неисчерпаемым. О Глубочайшее! Оно кажется праотцом всех вещей». Дао молчит, как молчит Абсолютное Начало, но из него рождается все. И не надо ли человеку в своем безмолвии уподобиться этому вечному, неподвижному и в то же время вращающемуся кругу бытия?

Подобно тому как Толстой впоследствии отрицал цивилизацию, для Лао-цзы она тоже представляется излишней суетой. «Когда, — читаем мы в 19-м пункте «Дао дэ цзина», — будут отброшены ум и мудрость, народ будет счастливей во сто крат. Когда будут отброшены жэнь (то есть гуманность) и справедливость, народ вернется к сыновней почтительности и родительской любви». Парадокс? Но он хотел сказать: не надо доктрин, не надо учений — внимайте себе. Лао-цзы говорит: мудрец познает истину не выходя из дома, ему не надо

странствовать и путешествовать. Мудрец, — говорит он, — ничему не противоборствует, поэтому он непобедим в мире.

Он не доказывает существование дао. Это непонятное начало, но тем более оно реально. Он восклицает, глядя внутренним оком на дао: «Дао — вещь неясная и туманная, в нем заключены вещи. О Бездонное! О Туманное! В нем заключены семена». С древнейших времен до наших дней оно не исчезает, оно существует для обозначения всех вещей. «О Спокойное, о Пустотное, одиноко стоит оно и не изменяется». Разумеется, это уже поэзия, но поэзия, исполненная глубокого философского смысла.

Вероятно, такие люди, как Конфуций, возражали: если мы будем лишь созерцать, если мы будем находиться в состоянии такого слияния с единством божественной природы, то мы ничего не достигнем, нас раздавит бег жизни. А на это отвечает Лао-цзы: «Мягкое преодолевает твердое, слабые побеждают сильных». И что-то в этом есть, когда думаешь о корешках растений, которые пробивают себе дорогу через камни. И вся природа — это единое дыхание единого Божества, оно постоянно осуществляет увэй, то есть недеяние, и в то же время таинственным образом действует. В нем нет жажды, стремления. Лао-цзы казалось, что распространение такого созерцательного мистицизма автоматически является орудием для просветления людей, для их счастья.

Любопытно, что даосизм, как называют учение Лао-цзы, не дал мощного религиозного движения. И одна из причин заключается в том, что по-своему более совершенно и более последовательно эти идеи стал развивать буддизм, глубоко укоренившийся во всем индийско-китайском регионе. Однако в Китае остались и даосы. Это были монахи-пустынники, о которых складывались удивительные и порой даже, с нашей точки зрения, странные, вызывающие улыбку легенды. Эти монахи подолгу сидели так неподвижно, что на их теле вырастала трава, их волосы врастали в землю; они сливались с природой, ибо она есть легкое дыхание бытия и человек в ней может раствориться.

Таким образом, перед нами два пути. Это путь активного социального строительства с помощью прочной народной традиции, с помощью сохранения всей системы национально-культурных, художественных ценностей, без особой ориентации на тайну Неба, которая вечно существует над человеком, но как бы за скобками. И

совершенно противоположный путь: отстранение от деятельности и свобода — свобода человека фактически от всего земного. Лао-цзы говорит: «Я подобен ребенку, который не явился в мир. О! Я несусь! Кажется, нет места, где мог бы остановиться». Оба идеала, обе модели безусловно обладают своим очарованием, своей привлекательностью.

Безусловно, какая-то часть населения Китая стремилась осуществить конфуцианский идеал. Но почему же тогда приземленный псевдомарксизм Мао так ополчился на Конфуция? Почему его вновь стали уничтожать, как некогда уничтожали его солдаты Цинь Шихуанди? Потому что для Конфуция система была цельной, она была связана с корнями всей истории народа. Между тем маоизм, как и аналогичные ему доктрины, пытался эти корни вырвать, чтобы в пустом пространстве построить — уже даже не на песке, а на воздухе — какую-то новую цивилизацию. Вот почему даже посюсторонний и трезвый Конфуций оказался не ко двору у Мао Цзэ-дуна.

Когда маоизм кончился, когда «красное солнце закатилось», китайцы вновь вернулись к почитанию Конфуция. Есть его могила, храм над могилой, наконец, его потомки. В этом есть что-то замечательное: прошло две с половиной тысячи лет, если я не ошибаюсь, семьдесят с чем-то поколений, живут еще пра-пра-правнуки и так далее, совершенно реальные люди, предком которых был учитель Кун, Конфуций. Я видел фотографии одного из последних потомков Конфуция: человек с прекрасным, мягким, спокойным лицом, он сидит рядом с портретом своего далекого предка, как бы овеещающий всем своим существом эту идею земного града, земной цивилизации.

Мы не можем считать, что идея Конфуция была чистым заблуждением, ошибкой в истории человеческого духа. Нет, культура есть организм, она тесно связана во всех своих частях, и заслугой Конфуция является некоторая демифологизация старых традиций и превращение их в инструмент человечности, уважения, доброты, справедливости, миролюбия. Ведь Китай — в целом миролюбивая страна, несмотря на события нашего столетия.

Можем ли мы сказать то же самое об антиподе Конфуция Лао-цзы и его последователях, Чжуан-цзы и других китайских философах этого направления? У них тоже была своя правда. Они научили свой

народ любить природу. Любой из вас, кто видел когда-нибудь китайские миниатюры, изображающие бабочек, птиц, рыбаков, отдыхающих на берегу ручья, деревья, распускающиеся цветы, помнит, что этой необыкновенной, неповторимой тонкостью китайское искусство в значительной степени обязано духу даосизма. И действительно, многие из этих художников были даосами или так или иначе испытали на себе влияние сочинений Лао-цзы и Чжуан-цзы.

Уметь видеть в природе вечное, не поддаваться потоку суеты, строить, как писал Антуан де Сент-Экзюпери, цитадель внутри своего существа — это, друзья мои, тоже немаловажная вещь. Я бы даже сказал: в наш суетный век, в котором моды меняются с необычайной быстротой, в котором жизнь проносится лавиной, в которой мы теряем себя каждодневно, чувство тишины, вечности, красоты природы, открытости ко всему, что нас окружает, — это не праздная мечтательность, это не только поэзия, это один из важнейших компонентов нашей сегодняшней современной жизни. Мы проходим по ней, не замечая красоты и не получая того целительного запаса, который содержит в себе тишина. Эту тишину — божественную, неизреченную, непостижимую, но необыкновенно реальную — Лао-цзы называл дао. И поэтому его мысль, его чувства, его заветы — это не просто глава из истории древнего Китая, это ступень в общечеловеческом духовном развитии. А в нем всегда есть вещи, которые поднимаются над временем, которые и сегодня, как сокровища сердца, приносят нам свои непреходящие ценности.

БРАХМАНИЗМ. БУДДИЗМ. КРИШНАИЗМ

Сегодня, дорогие друзья, мы с вами будем находиться на переломе духовной истории человечества, на исключительно важном отрезке духовного бытия. Это имеет отношение к сегодняшнему дню, потому что, как я уже в прошлый раз вам говорил, духовный переворот, начавшийся в первом тысячелетии до нашей эры, прокатился от берегов Хуанхэ до самой Атлантики, то есть фактически прочертил линию по всему Старому свету. Сегодня мы остановимся на наследии Древней Индии, которое и теперь играет роль в жизни многих народов нашей планеты. Разумеется, было бы несколько легкомысленно утверждать, что это колоссальное и глубокое наследие можно хотя бы вкратце обрисовать в ходе недолгой встречи. Однако я все-таки на этот риск иду, потому что собираюсь показать только самое главное, самое существенное. Для тех из вас, кто хотел бы познакомиться с этим вопросом более детально, я могу указать литературу.

Индийская цивилизация — ровесница цивилизаций Ближнего Востока, Вавилона, Египта, Ассирии, хотя, может быть, не самая древняя из них. Она сложилась из двух главных компонентов. Первый компонент — это массив традиционной культуры индийского субконтинента. Мы будем называть его дравидийским компонентом. Дравиды — коренные жители Индии (но, разумеется, там было множество других народов, с разными самоназваниями, например, живущие там по сей день тамилы). Дравиды ближе всего стоят, как ни странно, к австралийскому культурному региону. Представьте себе на мгновение карту, и вы увидите, что между Индией и Австралией существует мост из островов, архипелагов, и, по-видимому, именно с индийского субконтинента люди перекочевали в Австралию. Те австралийские аборигены, которые вам известны сегодня, не автохтонное население Австралии, они пришли из Азии, с полуострова Индостан. Впоследствии геологические изменения и, возможно, геологические катастрофы отрезали этот регион. Вероятно, это происходило не сразу, скорее всего, люди перебирались на лодках, на плотах. О том, что процесс отделения Австралии от Евразии начался

очень давно, свидетельствует специфическая, поразительная австралийская фауна, аналога которой практически нет нигде в мире. Значит, отделение произошло еще в третичный период.

Жители густых лесов Индии обладали очень своеобразными языческими традициями, с представлением о переселении душ, уникальным в истории человеческой культуры, с их сонмом местных богов, обоготворением растений, животных, со взлетом цивилизации. Самое поразительное, что мы даже не знаем названий тех великих культурных центров, которые эта древняя индийская цивилизация создала. Мы называем их Мохенджо-Даро, Хараппа, но это названия позднейших курганов и руин, которые были раскопаны через тысячелетия европейскими и индийскими археологами. Мы находим там города с прекрасной канализацией, ваннами, находим росписи, монеты, указывающие на наличие торговли. Там уже существовала письменность, искусство. Осталось от этого очень мало. Но то, что найдено в Мохенджо-Даро, свидетельствует, что исчезнувшее древнее государство активно торговало с Месопотамией, с Ближним Востоком. Какие изображения сохранились? Таинственная фигура с рогами, сидящая в позе лотоса, фигура полуобнаженной танцовщицы, священный бык, несколько фигурок, изображающих богиню-мать, печать — и это все. Однако город был действительно огромен. Аэрофотосъемка показывает, что это была высокая цивилизация, не уступавшая вавилонской.

Около 2000 г. до Р. Х., когда множество народов и племен пришло в движение, когда семитические племена вторглись в Месопотамию, когда в Египте пришел в упадок «древний мир», или Древнее царство, на границе Индостана появились племена ариев. Слово «арий», вероятно, вам всем знакомо от вульгаризированного представления об арийцах, которое распространяли немецкие нацисты. В их политической мифологии арийцы — высокие люди со светлыми волосами и голубыми глазами. Начать с того, что сам Гитлер был человек достаточно приземистый, черноволосый и не отвечал этому стандарту. И если вы вспомните по фильмам или по фотографиям его сподвижников, включая Геббельса, Геринга, то они еще меньше похожи на этих мифологических персонажей. Это была выдумка. Они взяли за основу тип северной расы. А рас очень много, и арии, древние арийцы принадлежали к индосредиземноморской расе — той же

самой, к которой принадлежали арабы, греки, евреи, сирийцы, ассирийцы, армяне, грузины. Индосредиземноморская раса характеризовалась определенными чертами лица и особенностями культуры. Эти люди двигались на Восток. Часть их осела в современном Иране — отсюда название страны: страна ариев, Арьяварда, Ариана, Иран. Остальные продолжали двигаться на Восток и вторглись в Индию. Продвигаясь по этой стране, они оседали у предгорий, на границе тропического леса, вступали в бои с местными жителями.

Но Индия — одна из самых удивительных стран; она всегда засасывала всех завоевателей. Приходили греки — она их принимала и переваривала, создавался новый греко-индийский стиль в искусстве, в живописи, особенно в скульптуре. Приходили мусульмане — она их тоже усваивала. Наверное, вы все помните изображение Тадж-Махала, знаменитого мавзолея, построенного в XVII в. в Индии. Есть известная картина русского художника Верещагина, изображающая это чудесное здание: белый купол, белые минареты на фоне голубого неба — это индо-мусульманская архитектура.

Что бы туда ни приходило, Индия, как почва, это принимала и переваривала — и создавалось нечто совершенно особенное. Так, из двух элементов была создана индо-арийская культура, в которой соединились, сплелись туземные, дравидийские и арийские элементы. У пришельцев-ариев (скотоводов, конников; они уже освоили к тому времени лошадь) не было представления о перевоплощении. Для них смерть человека означала последний путь, а дальше — царство света или тьмы. У них не было обычая сжигать своих умерших, они их хоронили; обычай сожжения был взят у туземного населения.

Культура Индии, перед которой мы останавливаемся с восхищением, с изумлением, сохранила невредимыми многие свои черты до сих пор; люди хранили её необычайно долго — столетиями и тысячелетиями, тогда как мы в Европе наломали столько дров, что только по старым камням иной раз узнаем, чем мы были раньше. Конечно, не нужно думать, что индо-арийская цивилизация оставила очень много древних памятников. Когда Елена Петровна Блаватская, основательница «Теософического общества», была в Индии в конце прошлого века, она написала свои мемуары «Из пещер и дебрей

Индостана», где с трепетом и восторгом описывала храмы, якобы построенные за пять тысяч лет до Р. Х. Это фантазии. Просто она не знала, что эти храмы построены в XVIII в., в крайнем случае в XVI–XVII вв. Это поздние храмы, но достаточно величественные, они производят впечатление. Я в Индии не был, но видел их на фотографиях, в кинокадрах — они, действительно, кажутся очень древними.

* * *

В начале первого тысячелетия до Р. Х. в Индии кипит жизнь, возникает государство Магадха — довольно большое царство, охватывающее многочисленные племена. Там идут войны, появляются торговые связи, правда, еще не развивается искусство. Удивительно, но настоящее искусство в Индии появилось только после Будды. Буддизм создал искусство Индии, ее пластику, ее живопись. То государство, о котором я упоминал прежде, Мохенджо-Даро, исчезло с лица земли, так что ни имен этих городов мы не можем установить, ни письменности до сих пор не можем расшифровать*.

Чем же примечательна эта древнейшая цивилизация? Представим себе город: глинобитные стены, вокруг пальмы, люди в странных одеждах — моды древних индийцев были довольно непривычны для нас, например, мужчины красили бороды в зеленый и иногда в синий или красный цвет. Они любили пышные зрелища. Они рано одомашнили слона, но он все-таки остался полудиким животным, как, скажем, наша кошка. Слоны с трудом размножаются в неволе, и их приходилось отлавливать в молодом возрасте. Это специальная профессия у индийцев вплоть до нашего времени, в охоте принимали участие и домашние слоны, так сказать, предатели своего племени. Слоны, увешанные красивыми попонами, пышные процессии, странные люди — раскрашенные, одетые в разноцветные одежды.

В древних сказаниях, например, в Рамаяне, мы находим отзвук борьбы между темнокожими дравидами, отступавшими в леса, и индо-ариями. С сюжетом Рамаяны почти все знакомы: темнокожий демон похищает царевну, и ее ищет вместе со своими друзьями принц Рама. Кто же этот демон? Это царь Шри-Ланки — туда, на Цейлон, в Шри-Ланку, отступали многие владетельные князья темнокожих дравидов-туземцев. Но любопытно, что в Рамаяне принцу Раме помогает князь обезьян. Быть может, это тоже легендарное отражение

той помощи, которую индо-ариям оказывали другие местные племена. Известно и сказание о межплеменной борьбе индо-ариев. Особенно популярным в Индии было сказание о великой битве Бхарат — Махабхарата. Эпос могли рассказывать неделю и более, это был особый праздник. Кстати, он существует до сих пор: собирается большая толпа народа и сказители часами наизусть читают эту гениальную поэму — день, второй, третий... Махабхарата частично переведена на русский язык. Основные тексты переведены в серии «Памятники Востока» и, наконец, семь томов перевел покойный академик Б. Л. Смирнов и издал их в Ашхабаде; это был подвиг одного человека. Махабхарата отражает целый пласт истории, и мы не можем сказать, когда она возникла: она создавалась веками. К ней я еще вернусь в связи с замечательным, великим произведением, очень важным в древнеиндийской мистике и философии, — Бхагавад-Гитой.

В какой-то момент индийской истории происходит странное явление. Массы молодых людей покидают свои жилища, поселки, города и уходят в леса, где начинают вести жизнь отшельников. Их называют по-разному: муни — пустынник, архат; саньясин — святой (оттенки для нас сейчас не важны). Откуда это массовое бегство людей от мира — история его до сих пор не знала? Что произошло? Почему начался повальный уход в монашество, выражаясь на нашем, европейском языке? Дело в том, что индийская мысль подошла к великому открытию. Раньше человек искал, и не без основания, божественное в природе, в окружающем видимом мире; созерцатели, аскеты Индии открыли его внутри себя, внутри своего духа. Молчание, концентрация духа, особые духовные упражнения, которым учились, передавая этот опыт из поколения в поколения, привели человека к тому, что он открыл великое внутреннее измерение бытия. Можно сказать, что за сто тысяч лет существования человека это была самая великая революция. Если раньше такие явления были, то они носили локальный характер, они были как бы исключением из общего правила. Цивилизации древнего Востока в большинстве своем всегда были сенситивными, чувственными. Чувственные явления имели первостепенную ценность. Если египтянин, иудей, ассириец благословлял человека, он всегда желал ему благополучия, множества детей, доброго урожая и т. д. — того, чего хочет человек и теперь. Но древний индиец вдруг понял, что есть иной мир ценностей, мир,

который может дать наслаждение и радость неизмеримую, неразрушимую, гораздо менее уязвимую и хрупкую, чем чувственные блага. Это был взрыв, и пример оказался необычайно захватывающим.

Древние тексты рассказывают нам о том, как из леса появлялись эти муні или архаты — с длинными волосами, полуобнаженные (впрочем, для теплой Индии это довольно естественно), с отрешенным горящим взглядом. И все видели, что эти люди — счастливые. Мы ищем материальных успехов, славы, чувственных удовольствий. Индийцы были большие мастера играть в кости, азартные игры страшно захватывали их (древние тексты без конца рассказывают об игре в кости, о состязаниях). И вдруг оказывается, что есть мир бессмертный, неразрушимый, упоительный, как ничто из чувственного и материального. Это перелом в истории духа. О нем свидетельствует великая литература Индии, которая называется Упанишады. Слово упанишады означает «сидеть возле, где-то рядом». Оно происходит от обычая ученика сидеть у ног учителя. Уходя в лес, наставники (гуру) передавали свой опыт ученикам. Это были долгие беседы, которые ученики запоминали наизусть. Сначала это была не метафизика, а практика, она охватывала различные стороны жизни: контроль над дыханием, контроль над пищей, разумеется, отказ от мясной пищи, отказ от сексуальной жизни и от многого-многого того, что было нормальным и естественным в жизни человека. Что получали они взамен? Приближение к царству Абсолютного.

Упанишады — высокопоэтическое, хотя и сложное, загадочное произведение. Они писались на протяжении всего первого тысячелетия до Р. Х. В русском переводе отдельно вышла Брихадараньяка-упанишада, до революции выходила отдельным изданием Катха-упанишада, кроме того вы можете найти отрывки из Упанишад в книге «Антология мировой философии» и в сборнике «Древне-индийская философия» в серии «Философское наследие». Когда читаешь Упанишады, сначала не понимаешь: где тут логика? Авторы их перескакивают с темы на тему, одним и тем же термином обозначают разные вещи. Но потом понимаешь, что это лишь запись сокровенного учения, которое учитель передавал ученику, и это сокровенное учение здесь дано только намеками. Упанишады пришли в Европу в XVIII в. В XIX в. их, так сказать, рекламировал А.

Шопенгауэр. Но настоящее их изучение началось во 2-й половине XIX в., когда их стал изучать Пауль Дойссе и другие ученые-индологи.

Какой опыт открылся авторам Упанишад? Мы о них ничего не знаем. Знаем, что это были риши — мудрецы, поэты. Знаем, что у них были имена — Яджнавалкья и другие. Но биографии их нам совершенно не известны.

Им открывается мир Вечного, который назывался миром Брахмана. Брахман — это настоящая реальность, а все, что мы видим вокруг, лишь всплески Брахмана. С этим вечным сверхбытием совершается нечто странное. Оно ниспадает в нашу жизнь и превращается в растение, в животное, в человека. Единое высшее божественное существо пьет воду и ест пищу — в лице человека; оно встречается с женщинами, оно ведет войну — это все оно. А после этой игры на земле оно возвращается обратно в себя. Как паук вытягивает из себя паутину, — говорят Упанишад, — так вечное Бытие, Брахман, или его начало, Атман, выпускает из себя мироздание. Через огромные промежутки времени все это снова возвращается в недра молчаливого неопределимого Абсолюта. Как о нем можно сказать? Что оно собой представляет? Авторы Упанишад говорят нам, что оно есть нети-нет, то есть не то и не то: божественное нельзя определить ни одним человеческим словом, можно сказать, чем не является божественное. С другой стороны, все, что есть в мире: и обезьяна, прыгающая на ветке, и прекрасный лебедь, плывущий по реке, и паук — все это проявления единого Брахмана. Но в человеке Брахман проявляется особым образом, потому что человек может познать, кто он есть. Самая главная беда у человека — это «обезьяна», т. е. неведение. Это жизнь в состоянии непонимания, когда человек думает, что он есть существо конечное. Нет, он бесконечен! Потому что в нем живет и играет вечный Атман, то есть дух вечного Брахмана. И не ради человека дорог человек, говорят Упанишад, а ради вечного Атмана. Говорят, что для брахманизма, как мы называем учение Упанишад, фактически ничего нет, кроме Бога. На самом деле, вся природа: и низвергающиеся водопады, и неподвижные вершины гор, и пестрый мир живых существ, и тигр, крадущийся по джунглям, и стая взлетающих птиц, и идущий человек — это все сон, сновидение Единого Бытия. Брахман из себя это выпустил, а потом вновь в себя вберет. (Любопытно, что некоторые современные астрономы, касаясь

проблемы космологии, считают, что Вселенная, которая сейчас расширяется — вы все знаете об этом, — когда-нибудь снова сойдется в одну точку, и все будет вращаться по кругу, снова и снова.) Упанишады отвергают кровавые жертвы, но не отвергают традиционных обрядов. Важно почитать Высшее в себе и в людях, чтобы в конце концов вернуться к нему.

Какой к этому путь? Прежде всего — познание. Знать, что внутри тебя содержится некая божественная тайна. Вот притча из одной Упанишады. «Где найти единое?» — спрашивает ученик. И учитель говорит: «Дай мне плод смоковницы». — «Вот он». — «Разломи его». Тот разламывает. — «Что ты в нем видишь?» — «Зерна, господин». — «Разломи одно. Что ты видишь?» — «Ничего, господин». — «Вот это «ничего», невидимое, и есть основание бытия. Его облик невозможно увидеть, никто не видел его глазами. Его воспринимают сердцем, умом, мыслью. Тот, кто знает это, становится бессмертным». Если прекращаются пять знаний — пять чувств — вместе с мыслью, если бездействует рассудок, — это, говорят, и есть высшее состояние. Человек должен быть свободен. Все наши страдания могут быть побеждены, и мы можем найти спасение — мокшу. Мокша — означает освобождение. Но от древних дравидов авторы Упанишад усвоили идею перевоплощения. Оказывается, из этого мира нельзя сбежать, потому что само божество — сам Атман и Брахман — запуталось в сетях мирового закона кармы, ибо все связано закономерностями. И если человек несет в себе злое начало, то, умирая, он вовсе не возвращается обратно в лоно Брахмана, а снова воплощается на земле. И эта жизнь продолжается без конца, и все вращается, подчиняясь железному закону кармы. Это называется сансара, или перевоплощение.

Единственный выход — освободить себя от оков материи. Многие строки Упанишад часто дышат глубочайшим отвращением к плоти. И поэтому многие аскеты и отшельники придумывали изощреннейшие формы самоистязания. Живя в лесах, они часами стояли под палящим солнцем, часто вниз головой, принимали самые неудобные позы. Они действительно себя умерщвляли, потому что зачем тело, когда все это лишь кошмар Единого Духа, который должен в конце концов проснуться и сбросить, стряхнуть с себя этот ужас и марево. Но надо сказать, что нашедшая чудесные философские формы мысль о

непостижимом Единстве — действительно, Бог никак не может быть определен, — мысль, которую впоследствии восприняли и христианство, и ислам, и все важнейшие мировые религии, эта мысль парализовалась мироотрицанием. В конце концов и труд, и жизнь теряли всякую ценность. Они становились недоразумением, бедой, я бы даже сказал, они становились неким грехопадением Бога, который попал в ловушку материи. Кроме того, божественный покой, божественное молчание, божественный мрак — все это рядовому человеку мало что говорило. Философ мог сказать, что Атман — высший, что он превосходит все представления. А человек религиозный, человек, который стремится сердцем к Богу? Где же настоящий лик Бога?

На этот вопрос пыталась ответить замечательная книга, рожденная в той же традиции, правда, значительно позднее, в конце первого тысячелетия до Р. Х. (точной даты мы не знаем), которая называется «Божественная песнь», или «Бхагавад-Гита». Сюжет ее таков: на поле Куру сходятся два войска. Близкие родственники, члены одной огромной семьи идут воевать друг против друга. Главный герой — царевич Арджуна, он на боевой колеснице. Выстроены кони, слоны трубят, звучит сигнал, и два войска бросаются друг на друга. Но принц Арджуна вдруг захвачен печалью: ведь он идет убивать своих родственников, своих братьев. Что делать? А рядом с ним возница, Кришна. На самом деле это не кто иной, как сам Бог, принявший образ человека. Царевич спрашивает его: Как быть? Что мне делать? В чем же смысл жизни? Эта битва на поле Куру становится в Бхагавад-Гите символом всей нашей жизни, где действительно люди идут брат на брата, где царят несправедливость и страдание. Кто их остановит? Как быть? Кришна отвечает своему собеседнику. Их разговор и составляет основное содержание этой книги. Бхагавад-Гита переведена Б.Л.Смирновым достаточно точно.

Существовал ли Кришна как реальное лицо? Это вопрос открытый. Кришна был древний чернокожий бог доарийских народов Южной Индии. Его иногда изображали в виде пастуха в окружении пастушек. Он был богом-покровителем стад, но, согласно гипотезе, подчеркиваю, гипотезе некоторых современных ученых, в первом тысячелетии до Р. Х. действительно существовал некий учитель

Кришна–Васудева, которого потом объявили воплощением бога Вишну и от которого идет традиция бхагаватизма.

Бхакти — это то, что мы по–русски называем благочестием, любовью к Богу. Ведь Абсолютное Начало любить нельзя — можно перед ним преклоняться, можно восхищаться, можно благоговеть. Бхакти — это любовь. Учение Кришны–Васудевы заключалось в том, что можно любить Высшее Начало, что оно к нам обращено каким–то своим ликом. Поэтому мы, христиане, считаем кришнаизм пророческим предвосхищением христианства. То, что совершилось в евангельские времена — в Вифлееме, Назарете, на Голгофе, — эти реальные события имели свои прообразы в древнем мифе о чернокожем боге Кришне. Я приведу вам некоторые строки. Кришна излагает царевичу основы брахманистской веры. «Абсолютное непостижимо. Познать его можно только растворившись в нем». Есть одна легенда, которая даст вам ясное представление о том, в чем тут дело. Жила на свете кукла, сделанная из соли, и она очень хотела узнать, что такое океан. И ей сказали: ты узнаешь океан только тогда, когда в нем растворишься. Она пошла на берег, окунулась в океан, почувствовала себя родной океану и растворилась в нем.

Каждый человек, — учит нас брахманизм и кришнаизм, — единосущен Богу, тождественен Ему. Просто человек этого не знает. А следовательно, ни жизнь, ни смерть в конце концов не имеют значения. Кришна говорит Арджуне: «Иди сражайся. Это не имеет значения».

Познавшие не скорбят ни о живых, ни об ушедших,
Ибо Я всегда был, так же как и ты, и эти владыки народов,
И впредь мы все пребудем вовеки,
Как в этом теле смертном дается детство и юность,
Зрелость и старость,
Так воплощенный сменяет тела, мудрец да не смущается этим.

Фактически тут исчезают даже нравственные критерии, хотя Бхагавад–Гита — высоконравственное произведение. Более того, Кришна объясняет своему совопроснику Арджуне, что он пребывает во всех верованиях.

Все, что мощно, правдиво,
Крепко, прекрасно,
Из частицы Моего могущества возникло.
Но к чему тебе это множество знаний, Арджуна?

Утвердив весь этот мир, преходящей частицей Себя Я пребываю.

Царевичу хочется увидеть, каков же Бог на самом деле. Он просит: «Яви мне Себя». Этот момент в истории литературы и философии называют «преображением Кришны». Кришна, юный прекрасный возница замечательных коней, уступает царевичу. Он мгновенно преображается: это гигантский исполин, с кровавым ртом, с огромными клыками, которыми он терзает тела. Это сама природа, это ужас хаоса. И Арджуна слышит ужасные слова:

Я Время, продвигаясь, миры разрушаю,
Для их гибели здесь возрастая,
И без тебя погибнут все воины, стоящие друг против друга,
В обеих ратях...
Рази не колеблясь!

Кришна предстает здесь как равнодушная природа, как неопикуемая, нечеловеческая, по ту сторону добра и зла стоящая сила.

Это учение поразительно противоречиво. С одной стороны, к божеству приближаются люди чистые, добрые, смелые; с другой стороны, исчезает критерий всех оценок. В конце концов, остается только один Атман, одно единое начало, которое появляется и исчезает вновь. Вспомните море: когда мы смотрим на волны, нам кажется, что вот одна волна взошла и тут же исчезла; вспомните костер, на который люди так любят смотреть: вот взметнулось пламя и тут же исчезло среди других языков пламени.

Познание человека — это осознание Бога в себе и освобождение от всего, что нас ограничивает. Если в Бхагавад-Гите мы находим политические и религиозные толкования этой темы, то в середине первого тысячелетия до Р. Х. в Индии появляются десятки даршан, философских направлений. Мы их называем философскими системами. Даршаны были очень разные, они пытаются интерпретировать Упанишады и Веды. Но к чему они идут? Они приходят постепенно либо к отрицанию божественного начала, то есть, в конце концов, к материализму, либо к утверждению того, что дух царит над материей, но не вмешивается в нее. И начинаются споры, начинается эпоха метафизики, когда религиозный и философский мир Индии приходит в брожение и с недоумением стоит перед неразрешенным вопросом.

Тогда и появился человек, который разрубил гордиев узел, отбросил все: секты, касты, традиции священных книг, Вед, часть Упанишад — и повернул индийскую мысль по-другому. Его родовое имя было Гаутама, личное — Сиддхартха; близкие называли его Совершенным, Татхагатой, или Просветленным, Буддой. Он был основателем мировой религии, которую мы называем буддизмом. Гаутама, прозванный Буддой, родился в то самое время, когда мир переживал великие потрясения, когда жили китайские философы-даосисты, когда появились первые греческие философы, Гераклит создавал свою систему, библейские пророки проповедовали свое ветхозаветное учение, весь культурный мир жил в напряженных исканиях истины.

Биография Будды не сохранилась. Существуют два его жизнеописания. Одно принадлежит поэту Асвагоше, оно есть в русском переводе Константина Бальмонта, изданном незадолго до революции в издательстве Сабашниковых; оно так и называется — «Жизнь Будды». Кроме того, существует сборник «Гирлянда Джатак». Джатаки — это притчи, сказания, которые Будда якобы рассказывал своим ученикам. Они тоже есть в русском переводе. Изречения Будды и краткие эпизоды из его жизни записаны в трех сборниках — питаках, или корзинах: Сутта-питака, Виная-питака и Абидхарма-питака. Виная-питака содержит уставы общины Будды, Сутта-питака содержит его изречения, и Абидхарма-питака — метафизику буддизма. Раньше считали, что Абидхарма — это поздний текст, но после работ Антона Розенберга, одного из удивительных знатоков буддизма (он утонул в Петрограде в 1919 г.), мы знаем, что все три части были довольно древними. Кроме того, есть жизнеописание Будды, которое изложено в стихах писателем Эдвином Арнольдом, — «Свет Азии», — но это только переложение; «Свет Азии» трижды переводился и издавался в России. В издании «Светоч» в 1909 г. он вышел в поэтическом переводе с фотографиями буддийских памятников. Но несмотря на то, что биография Будды написана почти через пятьсот лет после его смерти, основные контуры его учения мы хорошо знаем. Один из самых замечательных его сборников — это «Дхаммапада» (тоже существует в русском переводе). Дхарма (или дхамма) — очень сложное понятие. Это путь, закон, правило жизни, учение.

О Будде рассказывает следующая легенда. Он родился в предгорьях Непала, неподалеку от города Капилавасту. Отец его, местный раджа, очень любил сына и хотел уберечь от всевозможных тяжелых впечатлений. Он построил ему несколько дворцов. Будда в одном из своих изречений пишет, что у него был летний дворец, был зимний, был парк с лотосами. А легенда добавляет: царь скрыл от него, что люди умирают, что люди болеют, старятся. И вот однажды юный царевич Сиддхартха Гаутама отправился со своим слугой Чанной на прогулку без ведома отца. В то время у него уже была жена Яшодхара, родился ребенок. И вдруг ему навстречу попался старик, потом больной человек (кажется, прокаженный) и, наконец, носилки с покойником. И он спросил у Чанны: скажи мне, что произошло с этими людьми? А тот ответил: все мы можем заболеть, состаримся обязательно, а умирает каждый. И эта мысль поразила Гаутаму как громом — потому что он не был подготовлен к восприятию этой трагичности человеческой жизни. Если иных учителей поражали греховность человека, его злобность, нравственные изъязны, — его поразила трагичность нашей жизни, то, что мы смертны. Он сказал себе: «Значит, все не имеет смысла; если я погибаю, то зачем жить». Но Чанна ответил: «Как нас учат учителя, ты умрешь, но ты возродишься в другом теле. Если ты будешь добрым, то возродишься в добром теле — животного или человека». И это еще более повергло Гаутаму в отчаяние. Он спросил: нельзя ли выбраться из этого круга? Когда все это должно кончиться? Никто не мог найти ответа. И вот ночью царевич Сиддхартха решает уйти в лес к отшельникам, к архатам. Он последний раз прощается с женой, с сыном. Они спят, он подходит к ним, смотрит на них. Больше нет цепей, он порвал все узы. Вместе с Чанной они покидают дом. По дороге он меняется с одним охотником одеждой, накидывает на себя желтый плащ и скрывается в лесу. (Впоследствии желтый плащ станет одеждой буддийских монахов.) Он обрил голову, бороду и поселился в Урувельской чаще, недалеко от реки.

Долгое время он проделывал над собой самые жестокие эксперименты: морил себя голодом, довел свое дыхание до нескольких вздохов в сутки. Он стал похож на призрак. Когда приходили крестьяне из соседних деревень, они думали, что это скелет или призрак какого-то умершего человека. И он все ждал, что ему откроется тайна жизни,

тайна мира. Но она не открывалась. Слух об удивительном молодом шакийском отшельнике (он принадлежал к племени шакьев и касте воинов) прошел далеко по округе. И вот пришло несколько молодых отшельников, которые нетерпеливо стали дожидаться, когда же произойдет откровение тайны. Это была замечательная сцена. Гаутама, молодой человек (ему тогда было около 25 лет), сидит и ждет, и лицо его похоже на маску смерти; а отшельники расположились вокруг и ловят его слова... В конце концов, он едва не умер.

И вдруг он понимает, что этими путями он ничего не достигнет, и говорит пустынным, что больше он так поступать не будет. Этот перелом произошел благодаря одной сердобольной женщине, которая, видя, что молодой архат уже умирает, принесла ему пищи и почти насильно накормила. Он ожил и сказал: не нужны человеку такие издевательства над собой, аскеза не самоубийство. Те, кто ждали от него немедленного откровения, были очень разочарованы. Они покинули его, считая предателем их дела. А он предавался аскезе уже более умеренно и ждал, когда наступит момент просветления. И он наступил: под деревом бодхи, «деревом просветления», как его называют, однажды, как молния, его озарила мысль, что найден наконец выход из трагедии мира. Он сформулировал знаменитую «четвертую истину». Он шел из Урувельского леса просветленный, уверенный, что открыл тайну. Легенда рассказывает о том, как его окружали демоны, которые пытались его соблазнить, заставив совсем уйти от людей, но он шел вперед. Навстречу ему попался джайнистский подвижник (они ходили голышом), он спросил: «Почему ты так сияешь?» Гаутама ответил: «Я открыл тайну мира, я теперь Просветленный, Будда». Тот не очень серьезно отнесся к его словам.

Основатель джайнизма Махавира жил в то же время, что и Будда. У джайнистов была титаническая идея: нет божественного начала, которое могло бы помочь человеку, есть лишь единственный дух, тот, который скрыт в нашем теле, и он должен победить тело. Поэтому джайнистские статуи изображают невероятных людей: гигантские обнаженные фигуры, увитые плющом, потому что они потеряли всякую чувствительность. Джинна значит победитель. Победа над плотью, победа над миром — пусть торжествует дух! Но в конце концов дух убивает все вокруг.

Учение Будды было сформулировано им без таких крайностей. Первая истина звучит так: в мире существует страдание, страдание имеет свою причину, и для того, чтобы эту причину устранить, существует средство. (Это напоминает тетрафармакон* Эпикура. Как ни странно, Эпикур, греческий философ, с именем которого мы связываем эпикурейство — готовность жить только в свое удовольствие, — создал почти такое же учение, как Будда.) Когда Будда осознал свое открытие, он захотел встретиться с теми молодыми монахами, которые его бросили. Они пошли к нему очень недовольные, но, как гласит предание, едва приблизившись к нему, были поражены светом, который исходил от его лица. Они сели вокруг Будды, и он сказал: «Вот, о бхикшу (бхикшу — нищий странствующий монах), вот, о монахи, благородная истина о страдании: рождение — страдание, старость — страдание, болезнь — страдание, то есть вся жизнь есть страдание. Вот вторая истина — о происхождении страдания: оно происходит от жажды жизни. Тришна, жажда жизни, тащит человека через все перевоплощения; именно потому, что в человеке не погасла жажда жизни, он, умирая, возрождается вновь. Отсюда дальнейший вывод. Вот, о монахи, благородная истина об уничтожении страдания: полное освобождение от этой тришны, конечная победа над страстями, изгнание, отвержение и оставление их. И вот, о монахи, четвертая благородная истина — о пути, ведущем к угашению скорби, о священном пути освобождения: не радоваться, но и не печалиться, подняться над всем, что есть. И тогда постепенно человек приобретает необыкновенный покой духа, полную свободу. Так надо жить и действовать».

И они пошли. Все надели желтые плащи, обрили головы. Общество их называлось сангха. Европейские ученые переводят это слово как церковь, буддийская церковь. Но это не церковь, это пока еще монашеский орден. Это еще не стало широким мировым учением.

Монахи слагали гимны. Один из них звучит так:

Когда в небе гремят барабаны грома,
И потоки дождя заполняют пути,
По которым следуют птицы,
А бхикшу, укрывшись в пещере, размышляет,
Есть ли в мире большее наслаждение?
Свобода и покой...

Правда, мы должны сказать, что Будда утверждал необходимость нравственного совершенствования. Вырваться из тисков перевоплощения, из этого рокового колеса бытия можно только освобождая себя и от страстей, и от гнева, ярости. Да, Будда не учил любви. Но он учил состраданию, человечности. Потом к нему примкнули и светские люди, то есть не монахи. Он дал им Панчашила, пять заповедей. Ахимса (неубиение), неупотребление спиртных напитков, воздержание от блуда, от воровства, от лжи — вот эти простейшие заповеди. Люди, которые не порывали с миром, но исповедовали буддизм, назывались учениками.

Я не буду подробно рассказывать о долгой жизни Будды, который прожил около 80 лет. Он странствовал по Индии; у него были столкновения с некоторыми местными князьями; были и трагические моменты, когда он попал к себе на родину и отец, в ужасе от того, что его сын, сын раджи, стал нищим монахом, пытался как-то его уговорить, но кончилось тем, что Будда увел за собой и своего сына. Как гласит легенда (впрочем, едва ли достоверная), он был свидетелем того, как враги напали на его отечество. Он пришел ночью на родину и бродил среди трупов, искалеченных после побоища, молча смотрел на них и только повторял: так совершилась их судьба. Его двоюродного брата Девадатту часто неправильно называют Иудой. Он был не Иудой, а соперником, он пытался захватить власть в ордене.

В Дхаммападе есть замечательные изречения, которые волнуют человека и сегодня. Там много чудесного и мудрого. Вот несколько изречений оттуда: «Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью». «Хорошо сказанное слово человека, который ему не следует, столь же бесплодно, как и прекрасный цветок с приятной окраской, но лишенный аромата». Или еще: «Пусть мудрец усилием, серьезностью, самоограничением и воздержанием сотворит остров, который нельзя сокрушить потоком». «Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так и мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал». «Один день в жизни человека, видевшего бессмертную стезю, лучше столетнего существования человека, не видевшего высшей жизни». Будда говорил: «Как неизмеримый океан имеет один вкус — вкус соли, так и мое учение имеет один вкус — вкус спасения». Спасение от этой жизни. Надо сказать, что тот, кто получал отрешение через созерцание и практику буддизма, действительно спасался от горя

этого мира. Можно достичь огромного самообладания. Однажды в Индокитае некоторые буддийские монахи пытались протестовать против разных злоупотреблений, и один из них сжег себя публично. Я видел это на фотографиях, последовательно: вот монах сидит в позе лотоса, его обливают бензином, потом поджигают, а он остается неподвижным; у него горит лицо, и он сидит неподвижно, пока уже сгоревший не падает на землю. Буддизм, хотя и отвергал предшествующую традицию Упанишад, впитал в себя и практику йоги, и многие другие элементы брахманизма.

Какова же цель буддийского самоотречения? Эту цель Будда называл нирваной. Он никогда не разрешал себе давать ей определение. Нирвана — это полное угасание страстей и даже самосознания, угасание бытия. Но не подумайте, что здесь возникает «ничто», подобное смерти. Это просто иное, совершенно иное бытие. Откуда взялось это бытие? Будда предпочитал на этот вопрос не отвечать. У него был список тем, которые он отказывался обсуждать. Но все-таки в третьей части буддийского священного канона мы можем найти набросок его метафизики. Изначально возникло колебание элементов мироздания, дхарм. Это колебание создает мир, создает перевоплощение, природу, человека. И все это — зло. Жизнь — зло, бытие — зло. Все это ненужно, это отрицательное явление, это страдание от начала и до конца. Подобно тому как Лев Толстой, пережив трудности в своей личной жизни, написал «Крейцерову сонату» — о трагедии любви и брака, — где в конце концов привел к тому, что выбросил за борт и любовь, и брак, так и Будда решает вопрос о трагичности жизни таким образом, что подписывает жизни смертный приговор. Жизнь не нужна, это, как бы лучше выразиться, — ошибка природы. Настоящее реальное бытие — это молчание нирваны. Когда оно было нарушено? Будда не отвечает. Скорее всего эта болезнь очень древняя, изначальная. Но она не бесконечна. Человек имеет возможность на своем индивидуальном пути отказаться от жажды жизни, преодолеть все перевоплощения, развоплотиться и уйти в небытие. И, выражаясь уже нашим языком, чем скорее человечество в конце концов от всего этого откажется, полностью освободится от стремления к бытию, тем лучше для мироздания, ибо для него существование есть мука, есть страдание. Великим вкладом буддизма в историю человеческой цивилизации

явилось то, что он показал: при отсутствии веры в личного Бога смысл жизни исчезает. Как бы ни было прекрасно учение об абсолюте, о нирване, если нет Того, Кто откликнулся бы на наш голос, мы приходим к крайнему пессимизму (в философском смысле слова), приходим к мироотрицанию, к выводу, что мир надо уничтожить.

На этом фоне слабеют прекрасные нравственные заповеди буддизма. Мы преклоняемся перед его этическими нормами. Мы преклоняемся перед буддийским искусством (которое возникло вопреки воле Гаутамы Будды, потому что о каком искусстве может идти речь, зачем оно, когда нужно вообще преодолеть жизнь). Но человек не мог ограничиться этим отрешенным сознанием. Дух, который утвердил себя, как бы попирая материю, оказался в таком же трудном положении, как и материя, которая попирает дух. Найти средний путь между духом и материей попытались люди, жившие несколько западнее, чем Индия, в Греции в то время, когда буддизм стал активно распространяться по всей Индии, уже после смерти Будды, который произнес умирая: «Монахи, все существующее преходяще. Пекитесь о своем спасении!» Разумеется, те, кто принимал буддизм, не обязательно принимали его мрачную метафизику. Они принимали его высокую этику и прекрасную убежденность в том, что материальное — это не все, что есть в мире ценного; есть еще другие, духовные ценности. И эту мысль они облекали и в прекрасную поэзию, и в великолепное искусство, которое запечатлелось в Индии в храмах Аджанты и других...

Но потом в Индии буддизм был вытеснен. Иные религиозные взгляды, более живые и более похожие на взгляды кришнаитов, оказались более приемлемы для народа. Буддизм в Индии практически исчез, но он распространился в сильно измененной форме среди миллионов жителей Дальнего Востока: китайцев, корейцев, тибетцев, жителей Шри-Ланки, Индонезии. В нашей стране буддизм был распространен в Бурятии и среди калмыков в Элисте. До революции было около 50 буддийских центров, а в 80-х гг. их осталось только два. Буддизм у нас был почти разгромлен. Но сейчас, я думаю, буддийские традиции возродятся.

Итак, в диалектике человеческого познания истины торжество духа и отрицание материи имело свою очень важную ценность. Но вслед за этим отрицанием нужно было найти синтез духовного и

телесного. Это попытались сделать греческие философы, к которым мы с вами перейдем в следующей беседе.

ДОСОКРАТОВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Обратимся к тому миру, который, казалось бы, всем нам знаком, — к миру древней Эллады, или, как ее называли в старину, беломраморной Эллады. Тысячами нитей связана она с нашей цивилизацией, с нашим искусством, наукой, философией, политической жизнью. И слово «демократия» пришло оттуда, и само понятие демократии пришло оттуда, и те общепринятые, к сожалению, ставшие уже банальными типы архитектуры, на основе которых создаются бесчисленные жилые дома, клубы, здания, вокзалы, — все это так или иначе восходит к античным образцам. И хотя у нас в школах история преподается очень плохо и скудно, для античности делается исключение. Сегодняшние школьники и студенты в большинстве своем очень смутно представляют себе великие духовные культуры Востока, Ближнего Востока и Индии, Библию, Рамаюну, Махабхарату, но античные мифы, по крайней мере, в довольно удачных переложениях знают почти все. Кроме того, чудесные переводы античных поэтов, осуществленные Жуковским, Гнедичем, Вересаевым, Мережковским, Аптом и многими другими, прочно и давно вошли в русскую культуру.

Тем не менее, все это далеко не так просто. Новая европейская культура последние четыреста лет находилась под своего рода гипнозом ренессансного мифа об античности. Этот миф заключался в следующем: жизнь, творчество, мышление, характер древних греков отражали какой-то наивный, почти райский период человечества, это было жизнерадостное, оптимистическое, посюстороннее мирозерцание и мироощущение.

Огромные скалы, рощи, ручьи и белокаменные колонны на берегу заливов. Конечно, все это было, но, в действительности, мы забываем, что Греция — родина трагедии. Едва ли плотский, жизнерадостный народ мог создать этот великий жанр — трагедию, эти мрачные, титанические, скорбные образы, этот жуткий мир, в котором вращаются обреченные герои? Пройдитесь по Музею изобразительных искусств, взгляните в застывшие и как бы отрешенные лица греческих статуй. Это лишь маски. А настоящая суть

греческого духа нередко передается подлинными масками — масками трагических актеров, — жуткими, устрашающими, навевающими ужас. Таким образом мы можем сказать, что была другая Эллада, в чем-то близкая сегодняшнему трагическому времени, — которая разрывалась в поисках истины, искала лучшего социального устройства, которая пережила и кризис деспотизма, и кризис демократии. И когда мы читаем политические трактаты греков, мы как будто бы читаем сегодняшние эссе в «Новом мире» или в «Новом времени». В этом отношении Греция очень близка нам.

Что определяло ее дух изначально? Преклонение перед природой, обоготворение природы и обоготворение человека как особого существа в природе. Но древний грек, как я уже говорил вам в одной из наших встреч, создав первоначально образы олимпийцев, сам по-своему охладел к этим образам — потому что он чувствовал, что эти существа, как они изображены потом у Гомера, Гесиода и других поэтов, не боги, но лишь гипертрофированные люди, облеченные какими-то сверхъестественными свойствами. И поэтому к VII–VI вв. до Р. Х. у греков воцарилась весьма формальная гражданская религия. Она была частью народной традиции, частью политического строя. Почитать богиню Афины значило почитать свой полис, свой город-государство Афины. Но это не давало удовлетворения духовным, глубинным запросам. Гражданская религия как прочная социально-политическая традиция может существовать долго. Но она не может заменить собой религию мистическую, религию истинно внутреннюю и личную.

В поисках восполнения гражданской религии греки пошли двумя путями. Один путь — это преклонение перед Матерью-Землей, Деметрой. О ней слагались мифы и сказания. Недалеко от Афин, в городке Элевсин, стали совершаться таинства, или мистерии, посвященные Земле. Тем, кто участвовал в этих таинствах, было обещано, что они обретут бессмертие. Бессмертие подлинное, а не то жалкое бессмертие, о котором мы читаем в «Одиссее» Гомера, где духи умерших носятся во мраке, как летучие мыши, жалобно стелаясь.

Почему его должна даровать Земля? Потому что человек всегда, из века в век видел, как земля все порождает, как из нее появляются первые побеги, поднимаются травы и деревья; она кормит людей, она есть Мать-богиня. И когда грек смотрел на холмы своей родины,

похожие на холмы нашего Крыма или Кавказа, он воспринимал это как образ многогрудой матери, питающей своих детей. Когда наступали осень и зима (хоть и не наши, а средиземноморские), растения умирали, а потом возрождались вновь. И вот слагались легенды, поэмы, мифы о том, как Мать Деметра, утратив свою дочь, извлекала ее из тьмы смерти, из преисподней.

Что происходило на этих мистериях, которые совершались около тысячи лет, вплоть до первых веков нашей эры? Мисты, участники таинственных обрядов, давали клятву сохранять их тайну, они не имели права никому рассказывать, что там происходило. Тем не менее в течение такого длительного времени что-то все-таки просачивалось. Мы знаем, что особый жрец, мистагог, водил посвящаемого по темным коридорам; тот переживал ужас смерти и потом выходил на свет, и ему давали созерцать сноп пшеницы. В этом пребывании во тьме, быть может, вырабатывалось особенное зрение, которое может выработать каждый из нас: способность видеть и чувствовать силу жизни, которая теплится в семени, в зернышке, в плоде, в каждом растении, в каждом живом существе. Тайна жизни, тайна природы... Но что бы там ни происходило, это было только переживание на фоне обряда, без какой бы то ни было доктрины, без осмысления. Обряд — вещь великая, в том смысле, что человек постигает любую истину, приобщается к ней не только умом, не только сознанием, но всем своим существом, сердцем, эмоциями, телом даже. В Элевсине не было книг, там не создавались священные писания; в конце концов все свелось только к обряду.

Но как бы ни был велик обряд, у него всегда есть особое свойство: в нем кроется опасность стать самодовлеющим, вытеснить все другое, сохраниться в виде формы, лишенной или постепенно утрачивающей свое содержание. Кроме того, обряды приобщения к природе в Элевсинских мистериях не обещали приобщения к тайне бессмертия «здесь и теперь», а только после окончания жизненного пути. А «здесь и теперь» человеку обещало другое направление греческого духа и культуры, связанное со священным именем бога Диониса и возникшее примерно в VII–VI столетиях до Р. Х., в тот период, когда греческие полисы стали рассылать повсюду своих вестников, когда людям стало тесно в этой крошечной стране на юге Балканского полуострова и греческие колонизаторы двинулись на

восток и запад, несмотря на трудности пути, основывая города, фактории, прибрежные поселки. Тогда они основали и нашу Одессу, и Марсель, и многие другие известные города, пережившие Древнюю Грецию.

Жизнь в греческих полисах, городах–государствах того времени была достаточно сложной, устойчивой и определенной. И этот относительно ровный ход истории нарушился двумя событиями. Самое грозное событие — на Грецию стала надвигаться опасность иноземного завоевания. В ту эпоху самым крупным мировым государством был Иран (Персия). Иран сейчас сравнительно небольшое государство, но тогда, за 600 лет до Р. Х. он постепенно разрастался и достиг огромных размеров. Это государство включало в себя Египет, Палестину, Сирию, часть Малой Азии, саму Персию, часть Индии, часть Средней Азии, Азербайджана, то есть это было огромное многонациональное государство. И, как свойственно таким империям, ее распирало, она все время расширялась, хотя, конечно, жизнь граждан от этого не становилась легче. Как правило, расширение империи ведет к ужесточению режима внутри государства. Персы двигались по Малой Азии, а в то время эта страна была заселена греками из племени ионийцев, одним из самых талантливых греческих племен. Они занимались торговлей, промышленностью, создали довольно высокую цивилизацию в союзе с местными племенами древних культур, которые были в свою очередь связаны с племенами и народами Кавказа. Продвижение персов встревожило греков. Иран управлялся тиранически, монархом, а у греков складывалась республиканская форма правления. Во многих греческих городах уже возникли зачатки демократии. Только те города, где правили диктаторы, приветствовали приход персов.

В V в. до Р. Х. начались бурные греко–персидские войны. Это испытание, в котором Греция победила, послужило толчком для необыкновенного, неповторимого взлета античной греческой цивилизации и демократии. А накануне греко–персидских войн как бы зловещим их предвестием стала странная религия Диониса. Дионис не был богом, почитаемым иными народами. Культ его развился в рамках античной греческой религии, по–видимому, на севере Балканского полуострова. С какого–то времени (точно мы его датировать не можем) стали совершаться странные действия, получившие названия оргий.

Впоследствии у нас это слово стало обозначать разнузданную вакханалию. Вакханалия происходит от имени Вакха, это другое имя Диониса. Толпы женщин, очень странно одетых, вернее, полуобнаженных, закутанных в шкуры диких зверей, потрясающих тирсами — палками, увитыми плющом, с дикими криками носились по рощам и священным холмам. Почтенные матери бросали свои очаги, молодые девушки убегали туда, и никто этому не противился. Считалось, что это священный праздник Диониса. А греческая женщина, лишенная не только всех прав, но обычно неграмотная и в высшей степени скованная в своих действиях, вдруг нашла выход своим подавленным страстям. Греческие поэты, драматурги, историки рассказывали, что эти вакханалии, празднества, ночные бегания с факелами и с криками иногда кончались сценами полного безумия (чем-то это напоминает мне события нашего времени: некоторые танцы, некоторые формы рока, когда это переходит всякие границы, уже не контролируемые человеческим духом). Дело порой кончалось тем, что толпа этих женщин, пробегая мимо стад, могла ворваться в стадо и растерзать всех животных, и тут же на месте пожрать их. Бывали случаи убийств. Один поэт рассказывает, что когда вакханки встречали мирных людей, те в ужасе разбегались, потому что они могли даже убить ребенка. Но дело тут не в крайних эксцессах. Это была волна колоссального исступления. Почему греки с уважением относились к таким странным вещам? Потому что считалось, что природный экстаз, когда человек выпускает из себя все силы души и тела, подавленные и спрятанные, — этот экстаз приобщает его, здесь и теперь, к космическому бытию, к природе. Человек возвращается к природе через экстаз. Он забывает, что он разумное существо, что он духовное существо. Он, как оборотень, превращается в волка, в бегущую лань, в поток воды, в шум дерева, сливается в этой безумной пляске с самим мирозданием.

Но все это потерпело крушение — по одной важной причине. Человек не может вернуться обратно к природе. Он вызван из мира природы, и его отношение к ней теперь должно быть совершенно иным. А когда он пытается, пятясь назад, вернуться в звериное обличье, он выпускает уже не зверя, а демона. Ибо зверю такие безумства не свойственны, и в нормальном состоянии звери не бегают и не терзают кого попало и как попало. Я думаю, многие из вас видели,

хотя бы в кино или по телевидению, как ведут себя хищники в присутствии своей добычи. Когда лев сыт, он лежит спокойно, и антилопы, как бы ощущая это, проходят всего в нескольких шагах около него. Животное не кровожадно, животному на самом деле не свойственно буйство агрессии. И поэтому, когда мы говорим о звере в человеке в том смысле, что он совершает зверства, это не совсем точно. Ведь буйства оргий, дионисический разгул подсознательного мира, который черным фонтаном вырывался из человека, — это совсем не зверство, животный мир этого не знает. Это попытка убежать — убежать в бессознательное состояние, попытка повернуть вспять ход человеческого развития.

Появились реформаторы, которые привели все это в некую норму. Праздники Диониса стали более спокойными, он был объявлен богом вина и веселья. Но пьянства греки не любили, очень сурово его осуждали: вино пили всегда смешанное с водой (а ведь у них виноградарские края!), и только отдельные поэты любили ради красного словца поговорить о том, как они топят свою печаль в вине. Но в общем, в тот классический период своей истории греки, окруженные виноградниками и, естественно, пившие вино, как у нас на Кавказе, каждый день, никогда не пьянствовали. И праздники были утихомирены и введены в соответствующее русло.

Таким образом, две попытки вернуться к природе — либо через обряд земледельческий, хтонический, связанный с почвой, либо через экстаз растворения в природе в бешеном танце, не дали нужного результата. Впрочем, в дионисийстве зародилось новое учение, правда, не получившее настоящей богословской и философской осмысленности. Это учение связано с древним героем, легендарным Орфеем. То, что мы знаем об Орфее, связано с легендами о погибающем и воскресающем боге растительности. Существовал такой герой или нет, не имеет значения. А важно, что орфизм учил, во-первых, о том, что дух человека бессмертен и к этому бессмертию можно прикоснуться уже теперь; и во-вторых, через причудливые сказания и мифы орфизм приходил к идее некоего высшего духовного единства, создавшего вселенную, Протогеноса, Первородного. В этой стихии начала складываться греческая философия.

Философия — любовь к мудрости, не надо путать ее, как иногда делают, с засушенным, отвлеченным, рационализированным способом

познания, с чем-то оторванным от жизни, с чем-то входящим в узкий круг проблем познания и его методов. В начале нашего столетия и в конце прошлого научной философией считалась только та, которая скрупулезно анализировала наши способы познания. Но она напоминала в этом отношении бессилие биологической науки, которая никогда не могла постигнуть жизнь иначе, как убив ее, расчленив организм, который больше уже не может ожить. Так и аналитическая философия. Она разрежала человеческое познание, она расчленяла дух, и в конце концов получался труп мысли, но не сама мысль, но не само живое органическое постижение.

Одним из первых, кто пытался сочетать чувство природы, интуитивное восприятие высшего начала с рациональными принципами, был Пифагор, живший в VI в. до Р. Х. Естественно, у всех это имя связано со знаменитой теоремой, и поэтому нам Пифагор представляется одним из родоначальников математики. В какой-то степени это так, но это совсем не главное. Пифагор был современником библейских пророков, современником Будды, Конфуция и Заратустры. Он был основателем оккультного, духовного, теософского общества. К сожалению, у нас нет ни его произведений, ни свидетельств, записанных современниками. Все, что о нем известно, пришло к нам через предания, легенды, поэзию. Тем не менее, передаваемые из уст в уста краткие изречения учителя позволяют нам судить о том, что представляло собой пифагорейство. Пифагор первым указал на духовную подоплеку природного бытия. Он говорил, что мир создан числом, а число есть нематериальная, неосязаемая реальность. Он учил человека развивать в себе способность воспринимать гармонию небесных сфер. Все мироздание представлялось ему неким живым целостным организмом, подчиненным сложнейшим и тончайшим математическим закономерностям. К этому он прибавлял еще развитие в человеке особых форм постижения. Члены его ордена вели аскетический образ жизни; у них были запреты на определенные виды пищи; во многом пифагорейцы напоминают индийских брахманов. Немецкий историк Леопольд Шредер даже предполагал, что Пифагор учился в Индии. Документальных свидетельств этому нет; однако есть один момент, который нас наводит на размышление: Пифагор говорил о том, что души странствуют из тела в тело, а это учение исключительно и

специфически индийское. Однако пифагоров взгляд на метемпсихоз — переселение душ — имел немного иной оттенок, нежели у индийцев с их кармой, с их понятием воздаяния. Для Пифагора это странствование означало вечный круговорот, ибо времени нет, ибо в пространстве бытия единое целое, каким является вселенная, возникает и вновь исчезает, и все повторяется до бесконечности. Вновь звучит гармония сфер, вновь появляются те же самые люди, вновь странствуют души по миру, а потом все снова возвращается в некую тайну.

Но что это за тайна? Об этом думали мыслители и ученые Ионии — греческих городов-полисов в Малой Азии. Особенно известен был среди этих мыслителей Фалес Милетский, живший в портовом городе Милете. От него дошло изречение, что «мир происходит из воды», что архэ, Первоначало всего, есть вода. И наши учебники сразу поторопились ввести его в пантеон предтеч диалектического материализма — потому что он якобы считал, что материальное начало есть основа бытия. В действительности Фалес совершенно иначе смотрел на вселенную. Он говорил: все полно богов. Космические воды для него были образом того таинственного Первородящего Океана, который мы находим в мифах Вавилона, Китая, Египта. Это некая божественная материя, некая богиня, которая все порождает из себя. Подобно Пифагору, Фалес мыслил Вселенную как некое законченное единство. Мы можем назвать его пантеистом, потому что он не находил ясного личностного начала в божественном архэ. А другие ионийские мыслители видели в основе бытия иную стихию — не воду, а огонь, — или неопределенное Беспредельное, Апейрон.

Так или иначе, здесь начинаются и философия, и наука. Но пока они еще теснейшим образом связаны с богословскими размышлениями. Должны ли они противостоять друг другу? Вот вам простой пример, который приводит великий русский мыслитель Владимир Соловьев. Как происходит развитие организма? Возьмем зерно. Если мы его разрежем, мы найдем в нем зачатки и корней, и листьев, и стебля. Потом, когда зерно прорастает, происходит дифференциация: корень, ствол и листья получают особое место. Потом, когда растение приносит плод, все опять синтезируется. Таким образом, без разделения, без временной дифференциации процесс нормально идти не может. Точно так же философия, естествознание,

богословие, религиозная, художественная жизнь в первоначальном мире были как бы в зерне — все было смешано воедино. Потом должно было наступить время, когда каждое находило себе свое место, свои законы, свои принципы. Это естественно и нормально. И только на более высоких ступенях развития духа и мысли начинают сходиться воедино искусство и наука — вы знаете такое выражение ученых: красивая гипотеза, красивая формула, наука и философия — когда естествознание подходит к понятиям предельным, наука и вера — когда они оказываются перед лицом непостижимого рассудком, но постижимого интуицией. Когда все силы человеческого познающего я — и интуиция, и отвлеченное мышление, и эмпирическое познание — равномерно включаются, чтобы познать сложное бытие, вот тогда и происходит синтез.

На каждом витке истории синтез имеет свои особенности. Но у древних греков пока еще было только зерно. Самая главная мысль древнегреческих философов — Парменида, Гераклита, Ксенофана — мысль об архэ, о Боге в конечном счете. Хотя они были в большинстве своем ученые, для них главным было найти то или того, на чем основывается все и что дает смысл миру. Парменид воспринимал его логически, Гераклит интуитивно, а Ксенофан выступил поистине в духе своих современников, израильских пророков. Он был поэтом и странствовал с лирой по городам. Тогда все философы много путешествовали, ведь книг было мало, и информацию о мире можно было получить, главным образом, путешествуя. Все они побывали на Востоке, особенно они любили Египет — как мать наиболее древней цивилизации. Ксенофан первым открыто выступил против политеизма, против язычества, против форм многобожия, которые описаны в различных мифах и сказаниях. К тому времени Гомер и Гесиод были уже как бы канонизированы, и их поэмы, если и не занимали место Священного Писания, то, во всяком случае, считались чем-то в этом роде, то есть книгами о богах. Вы знаете, как выглядели многие из этих сказаний о богах. Кстати, Ксенофан одной из своих поэм вдохновил Пушкина, который написал ее переложение. Вот несколько строк, сохранившихся из поэзии Ксенофана:

Что среди смертных позором слывет и клеймится хулою,
То на богов возвести наш Гомер с Гесиодом дерзнули:
Красть и прелюбы творить, и друг друга обманывать хитро.

Дальше он делится своим опытом встреч в чужих странах со звероподобными идолами и делает такой вывод:

Если б руками владели быки, или львы, или кони,
Если б писать, точно люди, умели они что угодно, —
Кони коням бы богов уподобили, образ бычачий
Дали б бессмертным быки; их наружностью каждый сравнил бы
С тою породой, какой он и сам на земле сопричислен.
Черными пишат богов и курносыми все эфиопы,
Голубоокиими их же и русыми пишат фракийцы.

Таким образом получается, что человек сам создает богов. Но впервые в Греции возникает, хотя и недостаточно оформленная, идея монотеизма. Ксенофан мыслит божественное Начало как некую всеобъемлющую силу, которая пронизывает все мироздание. Человек глубоко связан с этим Началом и может и должен чтить его, но не теми варварскими, вульгарными способами, какими он чтит Зевса и других богов, а совершенно иначе.

Спервоначально должны славословить разумные мужи
Бога в напевах святых, благоречивых словах.
А возлиявши вина, сотворивши молитву, чтоб силу
Дал Он нам правду творить — это ведь лучший удел,
Пить человеку не грех, лишь бы мог он домой возвратиться.

Таким образом, добрый праздник — хороший праздник, а самое лучшее — совершать добро и справедливость.

Пытаясь осмыслить эту идею единого Божества как неотделимого от природы, Парменид старается придать этому логическую форму. У него выходит почти гегельянство: мысль и реальность — это одно и то же. Все — неподвижно, все есть Бог, Он есть Единое, и поэтому мы все в этом Единственном заключены.

Казалось бы, антиподом Парменида был Гераклит, человек, которого называют «плачущим философом». Он тоже жил в Малой Азии, в Эфесе, в городе, где почиталась богиня Артемида. Писал он странно, туманными афоризмами, его называли Скотейнос — Темный (то есть темный философ). Сократ говорил о нем: «То, что я понял из книги Гераклита, прекрасно, но, наверное, самое лучшее — это то, чего я у него не понял». До нас книга Гераклита дошла только во фрагментах. Кстати, сейчас вышел томик древнейших греческих

философов, и там помещены эти фрагменты. Они у нас неоднократно переводились В.Нилендером, Маккавейским и другими.

Гераклит презирал толпу. Он говорил, что для него миллионы людей меньше значат, чем один мудрец. Сам он, когда его сограждане занимались бурной политической деятельностью, уходил в портик храма и играл с ребяташками. И когда его спрашивали: «Почему ты не идешь на собрание?» — он говорил: «Для меня вот эта игра гораздо важнее, чем ваши бирюльки». Зная, как он относился к греческим порядкам, персидский царь пригласил его к себе на службу, но Гераклит отказался, он предпочел быть свободным. Станный, капризный, парадоксальный человек, но он уловил многое, что действительно присуще мирозданию, в частности, то, что мир есть процесс. Панта рей (все бежит, все течет). Всем известно его знаменитое изречение, что нельзя дважды вступить в одну реку, потому что река эта уже через секунду не та река, вода проносится мимо. Все рождается из огня, говорил он, и в огонь уходит, все разменивается на огонь. Наши материалистические толкователи говорили: конечно, Гераклит — диалектик и материалист, потому что для него огонь — это материя. Но на самом деле для Гераклита огонь — это разумное начало, оно управляется Силой, которую Гераклит называл Логосом.

Вот когда это слово названо, произнесено. С того времени на двадцать пять столетий оно прочно входит в философию Востока и Запада. И когда евангелист Иоанн захочет поведать нам о тайне Христа, Божественного Слова, он напишет в первых строках своего Евангелия: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος — «В начале было Слово». Слово — это многозначный символ; для Гераклита — это разумный закон, который управляет всей вселенной. Но несмотря на то, что Гераклит казался антиподом Парменида, считавшего, что все неподвижно, они стояли на почве одной традиции, ибо ни для того, ни для другого истории мира не было. Мир рождался из огня и обратно уходил в него. Был ли он неподвижен или вращался в круговороте, на самом деле мир оставался неизменным, все возвращалось на круги своя. Именно об этом писал позднее библейский Екклесиаст, но писал вопреки библейской традиции. Все возвращается на круги своя. Потом Эмпедокл говорил, что пройдет время, и мы так же будем сидеть и так

же будем беседовать, потому что мироздание огромно и все в нем повторяется.

Такие же мысли рождались и у Демокрита Абдерского, одного из крупнейших ученых Греции V в. Демокрит занимался многими отраслями знания — и математикой, и естествознанием; он первый выдвинул гениальную интуитивную догадку, не подтвержденную тогда экспериментально — о прерывности материи. Он предположил, что материя состоит из элементарных частиц разной формы, которые, сцепляясь между собой, создают все формы жизни и материи. Он назвал их «неделимыми», атомами. Его считали ученым-атеистом. На самом деле, он, как и Гераклит, признавал, что мир не создан никем из богов (у Гераклита есть такая формула: «Мир не создан никем из богов»). Но для Гераклита и боги созданы божественным Огнем — и боги, и люди, и все существа. Кстати, даже для языческого сознания греков, мироздание создали не конкретные боги, а древнее Первоначало, Матерь всех богов. Демокрит считал, что и боги состоят из атомов — из атомов другого типа. Боги почти не участвуют в жизни людей, но могут на них влиять. Есть боги враждебные человеку, есть полезные. И Демокрит молился и даже совершал магические обряды, чтобы ему сталкиваться чаще с благотворными богами. Его механическая вселенная была столь же бесперспективной, как вселенная Гераклита или Парменида.

Великие открытия — того, что мир является огромным целым, что он пронизан духовным, что начало его лежит в духовном, — ослаблялись этим отсутствием идеи о цели становления, идеи творческого акта. Если для древнего индуса рождение мира и человека из недр молчащего Брахмана, Сверхбожества, было игрой мироздания, игрой Божественного Я, то для греков это был как бы непостижимый процесс: для чего-то разумный Огонь, или Вечность, или Апейрон из себя выпускает мир и для чего-то вбирает в себя опять.

Но, подводя итоги развития досократовской философии, отметим очень важную фигуру — Анаксагора, одного из первых мучеников науки (хотя он не был казнен). Этот человек приехал в Афины в период расцвета афинской демократии и искусства, в середине V в. Блестящий Перикл стоит во главе полиса, Фидий создает статую Афины, возводится Парфенон, бессмертное творение греческого гения. Власть принадлежит народу — естественно, только свободным мужчинам. В

этом сравнительно небольшом городе они все собираются на площадь и голосованием — они писали на глиняных черепках свою волю — решают основные проблемы. С чем связан подъем афинской демократии? Внешне, политически — с победой над персами. Когда иранский царь Ксеркс нанес Греции свой первый удар, он не смог пройти через знаменитое Фермопильское ущелье, где его встретил спартанский царь Леонид. У Леонида было всего триста воинов, ущелье было очень узкое, и они все там погибли, но персы пройти не смогли. Но что такое была персидская армия? Это был пестрый сброд всех покоренных народов. Сзади шли люди с плетями, которые гнали солдат на битву, ибо они вовсе не хотели идти воевать. По этому поводу Владимир Соловьев написал стихотворение «Ex oriente lux» — «С Востока свет», — которое начиналось такими словами:

«С Востока свет, с Востока силы!»

И, к вседержительству готов,

Ирана царь под Фермопилы

Нагнал стада своих рабов.

Но не напрасно Прометея

Небесный дар Элладе дан.

Толпы рабов бегут, бледнея

Пред горстью доблестных граждан.

Так и получилось. Происходит великая Марафонская битва, огромная армия персов вынуждена отступить; потом — морская битва при острове Саламине — опять поражение; в конце концов, персы вынуждены уйти. Афины возрождаются.

И вот тогда-то расцветает этот демократический город, этот маленький островок демократии. И туда приезжает Анаксагор, который восхищен разумом человека. Он видит великие творения Фидия, он видит то, что создал человек в социальной области и кое-что уже даже в научной, и он преклоняется перед творчеством и перед мирозданием. Он первый сказал, что солнце — это не колесница Фэтона, а расплавленный огненный шар, что планеты — это каменные глыбы в пространстве. У него было много научных предвидений, он предсказал в какой-то степени теорию эволюции. И от разумного мира он пришел к идее Мирового Разума. Это был очень важный итог досократовской философии. Он называл этот Разум нус, что по-гречески и означает «разум». И хотя прошло с тех пор двадцать

пять столетий, мысль Анаксагора остается актуальной. За это время человек бесконечно глубоко проник в природу вещей. И чем больше мы познаем вселенную, тем больше она свидетельствует о себе как об огромном Творении, как об огромном художественном произведении, как о колоссальном организме, который имеет своим источником Разум.

СОКРАТ. ПЛАТОН. АРИСТОТЕЛЬ

В прошлый раз мы остановились, очень коротко, конечно, на тех мыслителях Древней Греции, которые пытались найти в природе, в целом Космосе последнюю великую тайну — архэ, Высшее Начало, Бога. Они по-своему преуспели в своих исканиях, и, скажем, Анаксагор был среди них тем, кто увидел ясный путь от рационально устроенной природы к Мировому Разуму.

Но что такое космический Разум? Что такое Бог как могущественная и почти безликая сила? Это не Некто, а Нечто — Нечто великое, перед чем можно благоговеть, что может быть предметом созерцания мудреца. Но это Нечто скрыто в единстве природы.

Поворот, даже, я бы сказал, революция и переворот в античном мышлении намечался с появлением афинянина Сократа, сына Софрониска. Недаром греческая философия делится на периоды до Сократа и после.

Итак, перед нами появляется Сократ. Эразм Роттердамский, великий христианский гуманист XVI в., в одном из своих произведений пишет: «Поразительно, что таким мог быть и такое мог познавать человек, который жил до Христа и не знал Его. Когда я читаю о нем, мне хочется сказать: святой Сократ, моли Бога о нас», то есть обратиться к нему с той же традиционной молитвой, с которой христиане обращаются к святым. Что же это был за человек? Я думаю, многие из вас о нем знают достаточно, однако еще раз напомнить не вредно. Один из крупных философов XIX в., Джон Стюарт Милль, говорил, что человечеству полезно время от времени вспоминать, что жил на земле вот такой человек по имени Сократ. Конечно, он не был святым в нашем понимании, но это была поразительная личность. О юности его мы знаем мало. Он был из семьи мастеров-каменотесов. Молодые годы его совпали с блестящим расцветом афинской демократии и афинского искусства, с веком создания Парфенона, с веком Перикла, Фидия, Аспазии, и поэтому Сократ как бы затерялся в этой блестящей эпохе. Служил он и в войске в качестве гоплита, легковооруженного пехотинца.

Он становится известным в Афинах уже на склоне лет, зрелым человеком, а по тогдашним понятиям — будучи уже старым человеком. Один из его учеников, Алкивиад, говорил, что Сократ напоминает ему шкатулку, в которой держат драгоценности или дорогие вина — на этих шкатулках нередко изображался смешной леший, Пан или сатир, — потому что внешне Сократ выглядел несколько комично. Небольшого роста, коренастый, лысый, с курносым носом картошкой, с глазами навывкат, с отвислым животом. А греки так ценили прекрасное и так преклонялись перед красотой человеческого лица, тела и осанки. Но этот странный, чудной человек обладал огромным обаянием. И когда он начал действовать, он оказался духовно более могущественным, чем политические лидеры страны, чем многие завоеватели. Когда мы говорим об этой эпохе, мы говорим: эпоха Сократа.

Сократ поставил во главу угла философии — а его философия была не отвлеченной, а жизненной — знаменитое изречение, которое было начертано на фронтоне Дельфийского святилища: «Познай самого себя». Но там, в Дельфах, это означало: люди, познайте, кто вы есть, — смертные, эфемерные, слабые, временные. Познай, человек, что ты за существо. Сократ перевернул все это. Он как бы молчаливо обратился к ученым, натурфилософам — к тем, кто раньше пытался постичь Бога через природу, — он хотел сказать им, что нечто важное, нечто тайное и глубинное, что находится в Боге, из природы не познаешь. Мы бы теперь сказали: из природы можно познать мощь Бога, Его мудрость, может быть, какую-то божественную эстетику. А Сократ искал другого. И это стало поворотным моментом.

Был ли Сократ официальным учителем? Нет, нисколько. Это был человек независимый, ходил в потрепанном плаще, босиком (впрочем, страна южная, это вполне подходило). Как только открывались ворота города, — он уже в толпе, начинал вести дискуссии, разговоры, споры. Сократ никогда не выступал как оратор. Пророки говорили от имени Божия; греческие трагики через драму говорили о трагичности существования человека перед лицом неумолимой судьбы; а Сократ был добродушный собеседник, открытый, немножко лукавый. Он говорил: «Я никого не учу. Я просто вместе с вами тоже ищу истину». Это было и так и не так. Он, конечно, учил, но метод его был

«акушерский», он так себя и называл: «Я — акушер. Истина уже сидит внутри вас, только надо ее родить, я вам помогаю ее родить».

В то время подобный образ жизни не казался странным. В Афинах люди любили публичные диспуты, обсуждение всевозможных проблем. Конечно, самыми горячими там были политические диспуты. Афины переживали тяжелый момент: демократия пришла в упадок, на ее место приходили другие формы правления. Сократ все это видел. То тирания, то власть клики, то опять демократия. Потом начинаются национальные конфликты (все, как в наше время), на сей раз между южной и северной Грецией, между Спартой с ее тоталитарным режимом и демократией Афин, — бесконечная Пелопоннесская война. Время кризиса и разочарования. Время, когда философию представляли софисты, учителя риторики, в сущности, глубокие скептики, превратившие философию, то есть любовь к мудрости, в любовь к красному словцу, потому что (я обобщаю) они считали истину непознаваемой и, следовательно, поиск ее — игрой.

Сократ совершенно иначе относился к вопросу об истине. При всей его шутливости и некотором даже юродстве, он относился к серьезным вещам абсолютно серьезно, что и доказал во время суда и казни. Итак, он приходил под тенистый портик — под каменными сводами приятно было сидеть в жару — и начинал беседу на какую-нибудь тему. Сначала это был как бы незатейливый спор, а потом вдруг собеседник попадал в железный капкан сократовской логики. Здесь Сократ был непревзойденным.

Его образ дошел до нас не только по античным портретам, но и по описаниям двух его учеников. Один был Ксенофонт, человек, который в основном увлекался лошадьми, торговлей, человек военный, хозяйственный. Для него Сократ был просто наставником житейской мудрости. Другой был Платон, молодой аристократ, поэт, уже написавший трагедию, увлекавшийся искусством, один из величайших творческих гениев человечества. Платон увидел в этом балагуре вождя и учителя, который тянет перед ним нить Ариадны. Он внимательно следил за ходом его мысли и видел, что здесь логика приводит к самой глубокой тайне человека. Сократ не оставил нам ни одной строчки, подобно многим великим мудрецам и Самому Иисусу Христу. Но его образ отражен в диалогах Платона и в воспоминаниях Ксенофонта.

Что обсуждал Сократ со своими собеседниками? Принципы и методы мышления. Он обратил взор человека на его внутренний, духовный мир. И прежде всего он хотел показать людям, что путь к высшей реальности лежит через самопознание, познание своего духовного Я. Что же касается естественных наук и рационального познания мира, то здесь Сократ был очень сдержан. Однажды дельфийский оракул объявил, что самый мудрый человек в Афинах — это Сократ. «Почему, Сократ, тебя называли так?» — спрашивали его. Он отвечал: «Наверное потому, что я сознаюсь в том, что я ничего не знаю, а другие люди воображают, что они знают и не сознают своего невежества».

Человек искал Бога в природе, потом полностью отрицал природу. Сократ пытался найти некую среднюю линию, как-то связать две реальности, но пытался делать это строго логическим, рациональным путем. По существу, начало рациональной логики, к которой мы привыкли, идет от Сократа. Поэтому Ницше проклинал его как человека, загубившего дух Греции. Поэтому русский философ Лев Шестов, иррационалист, считал появление Сократа грехопадением античной мысли. Но ясная мысль и логика — это отнюдь не враги человека, это инструмент, великий и прекрасный, только надо знать, где и когда им уместно пользоваться. Сократ отнюдь не делал его универсальным инструментом. Он часто говорил: «Я ощущаю в себе с юных лет не только голос рассудка, но и голос какого-то существа». Он называл это даймо́нион, демон. Но не думайте, что речь идет о сатанинском начале. Это был некий дух, говоривший в нем. «Никогда этот даймо́нион не подсказывал мне, что я должен делать, — говорил Сократ, — но он меня предупреждал, чего я не должен делать». И у этого рационалиста, человека, который искал истину путем рассудка, были моменты удивительного созерцания. Однажды он, находясь в военном лагере, много часов стоял неподвижно. Все думали, что он сошел с ума. Он стоял и стоял, устремив взгляд в одну точку...

Сейчас у нас уже есть несколько хороших переводов «Диалогов» Платона. Прочитав их, вы сможете почувствовать и представить себе облик этого человека. Непритязательный, спокойный, уравновешенный, ироничный, но при этом благоговейный; простой и ясный, но сокровенно мудрый — таким предстает перед нами Сократ, «акушер истины». Полная независимость. Вот его назначают,

выражаясь по-нашему, судебным приставом. Чтобы проверить лояльность Сократа, его вместе с четырьмя другими должностными лицами направляют для ареста, в сущности, невинного человека, которого осудили на смерть едва ли справедливо. Сократ рассказывает сам о себе: «Когда кончилось заседание, они поплыли забирать этих людей, а я пошел домой». Его нельзя было заставить сделать то, что было противно его совести. Это был пример великого гражданского мужества, совершенно свободного от пафоса, но тем не менее несокрушимого. У него был ученик Критий, который на некоторое время стал диктатором Афин. Но очень скоро Сократ оказался в оппозиции, потому что не личность была ему важна, а справедливое управление обществом. Он первым стал думать о том, что управление обществом должно быть профессией, и не менее, а, пожалуй, и более серьезной профессией, чем любая другая. Эту мысль он передал Платону, который развил ее, а как — поговорим позднее.

После ряда перипетий в Афинах была установлена олигархия, а потом наступил период демократии. Это был конец пятого века, последние его годы. Как перед тираном Сократ «не ломал шапку», так и перед тиранией толпы. А демократия очень часто превращалась, как выражался Платон, в охлократию (охлос, по-гречески, — толпа, то есть безумное, капризное стадо людей). Перед охлократией он также не сдавался. И кончилось тем, что его начали травить. Сначала травили в литературе (это хорошо известно и у нас). К сожалению, этой травлей запятнал себя знаменитый афинский комедиограф Аристофан. В своей комедии «Облака» он изобразил Сократа заводилой шайки проходимцев, которую он назвал «мыслильней». В этой «мыслильне» люди зарабатывают тем, что сбивают с толку молодых юношей, обучая их ложным воззрениям, в частности, отрицанию богов, отрицанию устоев общества и т. п. Это была чистая клевета. Сократ никогда не говорил ничего подобного. Он был человек как раз противоположных воззрений: не в природе, а в духе, в разуме искал он опоры для познания. Сам Сократ иронически относился к этой комедии. Но она ему дорого обошлась.

Кончилось тем, что в 399 г. на него подали в суд. Анит, молодой неудавшийся литератор и общественный деятель, обвинял его в том, что он совращает молодежь инакомыслием, проповедует каких-то

новых богов («новых демонов», так буквально сказано, — это был намек на его даймониона), и вообще, он опасный человек.

Начался суд. Сократ явился вместе со своими друзьями. В те времена в Греции адвокатов не было, а речь в защиту произносил либо сам обвиняемый, либо его друзья. Друзья предложили Сократу выступить сначала самому, и он начал свою апологию. Он жестоко высмеял обвинителей. Он рассуждал спокойно, как будто речь шла не о его жизни и смерти, а о какой-то академической проблеме. Он показал тупость и нетерпимость толпы как главную причину обвинений. «Я просвещаю молодых людей, — говорил он, — а не развращаю их». Судьи потребовали высшей меры наказания — смертной казни. Началось голосование, и когда голоса подсчитали, оказалось, что Сократ приговорен с очень небольшим перевесом голосов в пользу смертной казни. Он выступил и с удивлением сказал: «Я думал, что будет больше за мою смертную казнь. Но вот мое последнее слово. Что, афиняне, назначил бы я себе сам? То, чего я заслуживаю. Я всю жизнь жил в этом городе. Я отдал ему все, я отдал его молодежи все. Я думаю, что я заслужил общественного питания, чтоб меня кормили за государственный счет». Это был вызов толпе, толпа не любит таких вещей. Снова началось голосование. На сей раз число тех, кто голосовал за смертную казнь, сразу удвоилось. Друзья стали умолять Сократа, чтобы он обратился к судьям с апелляцией. По закону можно было просить другую меру наказания и, в частности, штраф. Сократ спокойно обратился к публике и сказал: «Вот, мои друзья говорят, штраф, но у меня есть только это». И предложил им весьма скромную сумму. Друзья сказали, что они внесут за него деньги. А Сократ произнес свои вечные слова: «Я повинуюсь Богу, голосу Бога внутри. Я вас, сограждане мои, люблю и уважаю, но повинуюсь больше голосу Бога».

Это золотыми буквами начертанный манифест свободы совести, который был потом повторен апостолом Петром, первым учеником Христовым. На этом все стоит. Да, мы уважаем законы, мы любим людей, но повинемся больше воле Божией. Сократ не отрицал таинственных сил, которым поклонялись язычники, совершал обряды, которые были приняты в Афинах, но для него высшим Богом был Тот, кого можно было назвать Агатон, — по-гречески, Благо; то есть Бог добр, Бог есть Благо. Это было своего рода внутреннее открытие. Не

сила, не мощь, даже не красота, даже не творчество, хотя все это есть, а Благо. Поскольку Сократ ничего не писал, мы не можем сейчас сказать, видел ли он в Благe личное начало или нет. Но знаем одно: Сократ предпочел умереть, но остаться верным внутреннему голосу, который звал его стоять за истину, остаться верным этому высшему принципу.

Месяц он просидел в тюрьме, ожидая своего дня. К нему приходили друзья; все его оплакивали, а он смеялся и говорил: «Друзья мои, разве вы не знаете, что я уже приговорен, с детства. Я приговорен к смерти тем, что я родился, а раз я родился, значит, должен умереть». Когда пришла Ксантиппа, его жена (о ее скверном характере ходили легенды), она закричала: «Увы, Сократ! Вот друзья твои пришли к тебе в последний раз с тобой побеседовать». Он ответил: «Уйди, Ксантиппа, и не порти нам последнего нашего вечера». А для него ничего не было дороже, чем чаша с вином, разбавленным водой, горсть маслин и за полночь дружеская беседа где-нибудь под портиком или под деревом. Он любил иногда бывать на природе, за городом, но был горожанином до мозга костей — дитя античного полиса, этого маленького мира в себе, маленьких тогда, но великих Афин.

Платон описывает его последние минуты: вот пришел палач, принес чашу с быстродействующим ядом цикуты. «Платон не присутствовал, он был болен», — так пишет о себе сам Платон. Я думаю, что это была не болезнь; он был не в состоянии видеть хладнокровное убийство. Остальные были там и плакали: Критий, Калифонт, все, кто были ему так дороги и близки. Когда вошел палач с чашей, Сократ взял ее и спросил: «Что мне надо делать?» Палач любезно, как у Набокова в «Приглашении на казнь», ответил: «Ничего особенного. Ты выпей, а потом начинай ходить. Когда ноги отяжелеют, спокойно ложись». И Сократ так же спокойно все это проделал, и когда ложился, то сказал рыдающим друзьям: «Не забудьте отдать богу выздоровления Асклепию петуха». По греческому обычаю, когда человек выздоравливал, в жертву Асклепию приносили петуха. Сократ хотел намекнуть на то, что, уходя из жизни, он (уже пожилой, около семидесяти лет) выздоравливал от безумного мира, от некоего мира призраков, уходя в иную, духовную сферу.

Платон, который все это описал, был настолько сильно ранен душевно, что не смог оставаться в Афинах и покинул город. А Сократ никогда никуда не ездил, если только не было необходимости; он сидел на месте и всегда говорил, что он познает мир вот здесь. Платон начинает ездить по Востоку. То он в Египте, то он отправляется на юг в Сиракузы, и нигде не находит покоя, пока в нем не совершается внутренний переворот и — «либо–либо»: если прав Сократ, значит, есть истинный мир; если правы отравители, его убийцы, то мир не стоит того, чтобы существовать. И у Платона крепнет видение двух миров. Кто–то из вас знаком, а кто–то скоро будет знакомиться с книгой о. Павла Флоренского «Столп и утверждение истины». Флоренский был глубоко преданным Платону философом, христианским платоником. В этой книге есть глава «Два мира». Основой философии Платона было понимание двух измерений бытия, двух миров: мира духовного, мира невидимого, и мира видимого, материального. По существу, в истории мысли Платон был первым на Западе, кто говорил о невидимой основе видимого бытия. Он говорил почти тем же языком, что и авторы Упанишад и буддистских трактатов. Здесь сомкнулись Восток и Запад. Но пока до этого еще далеко. Платон еще мечется, но все более и более вызревает в нем это, я бы сказал, откровение: да, прав Сократ, прав, и недаром он так весело шел на смерть! Потому что эта жизнь — только поверхность бытия, а в глубине ее клоочет то самое сокровенное, что является его высшей основой.

Вдохновленный этой идеей, Платон возвращается в Афины. На его портретах, сохранившихся с того времени, мы видим человека с простоватым, немного грубоватым, сосредоточенным лицом. Он не демократ в обращении, каким был Сократ, который легко общался со всеми; Платон всегда сохраняет дистанцию. Он забросил свои политические упражнения, но навсегда остался философом–поэтом. В истории мировой литературы и культуры едва ли найдется философ, который сочетал бы в себе столь блестящее литературное дарование с глубочайшим философским мышлением.

Я не в состоянии здесь, в этом кратком обзоре, показать, какое огромное влияние оказал Платон на всю историю восточной и западной мысли. Английский философ Уайтхед недаром назвал всю историю западной философии лишь комментарием к Платону. На

платоновской философии строили свое богословие значительное большинство Отцов Церкви. Платон органично вошел и в классическую немецкую философию, и в русскую философию конца XIX — начала XX вв., начиная с Соловьева. Платон первым сумел развить аргументацию, показывающую подлинную реальность духовного и, в частности, он первый дал развернутое доказательство бессмертия души, исходя из того факта, что разлагаться может только нечто составное, состоящее из каких-то элементов вещества. Он показал, что не может разлететься в прах то, что нематериально. Мир, который человек видит, это внешняя оболочка сокровенного. Как можно познать сокровенное, невидимое, духовное, подлинную реальность? Для Платона это путь разума; не мистики, — хотя она и присутствует в его мировоззрении, — но разума.

Наверное, все слышали о его притчах. Иногда он чувствовал, что его отвлеченная диалектика, его логика не в состоянии передать многих оттенков его постижения, и тогда он обращался к литературным мифам. Один из его первых мифов — это миф о пещере. Люди, говорил он, похожи на обитателей пещеры, которые сидят прикованные и повернутые к стене и видят лишь отражение того, что происходит снаружи, а не саму реальность, не сам свет и не те фигуры, которые там, а только тени. Вот откуда знаменитые слова Владимира Соловьева:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами -
Только отблеск, только тени
От незримого очами.

В сущности, любовь — незримая вещь; порыв творчества — незримая вещь; молитва — незримая вещь; буря мысли — незримая вещь. Как дойти до этого измерения?

Когда Платону было около сорока лет, он был уже прославленным писателем и мудрецом. Поклонники купили ему небольшой участок, где стояла статуя героя Академа, и община его учеников стала называться Академией. Вот откуда наше слово «академия». В саду Академии проходили занятия по математике, по астрономии, по всем основам наук. Главным было познание истины.

В своем письменном наследии Платон говорил через Сократа. Он писал пьесы, философские диалоги, в которых участвовал Сократ и его

ученики, бывшие сотоварищи, а порой и друзья самого Платона. И эти острые диалоги вводят нас в удивительную атмосферу. Представьте: вечер, трещат цикады, кругом кипарисы, и сидят эти смуглые молодые люди с горящими глазами у ног Сократа. Они беседуют. О чем? О том, как проникнуть в тайну. Вот лист — у него есть определенная форма, вот треугольник на песке — тоже форма. Что это такое? За этим стоит некое понятие — «треугольник». Существует масса похожих вещей, но все они отличаются друг от друга. И мы говорим: это лошадь, это человек, хотя все люди и все лошади разные. Глазами мы видим конкретную лошадь, конкретного человека, конкретный предмет. А есть другие глаза — глаза умозрительные, которые видят иное измерение, глаза обобщения.

Обобщение — это не фантазм, обобщение есть прорыв человеческого интеллекта со всей его мощью в другое измерение бытия, которое Платон называет царством эйдосов, царством прообразов. По-русски слово эйдос переводится как идея. Я здесь это слово не употребляю, потому что для нас оно носит немного иной оттенок. Эйдосы — это прототипы всего того, что существует в мире. И все они вращаются вокруг вечного космического Мышления, которое и создает этот видимый мир. Высшее Благо, Высший Агатон есть Бог, который человеку не открывается, а которого человек открывает. Здесь огромная принципиальная разница между Платоном и библейским Откровением: Платон пытается проникнуть в мир Бога с помощью рассудочного инструмента, а иногда и путем интуиции.

Если для индийской мысли открытие мира духовного означало перечеркивание мира телесного, то для Платона, философия которого стала вершиной, квинтэссенцией греческого мышления, проблема соотношения видимого и невидимого была решена по-своему. Два мира имеют каждый свои законы и связаны между собой. Духовный мир, мир эйдосов проецируется на наш мир. Ведь существуют идеи всего на свете, это как бы мысли Божества, которое создает все, мысли Вечного Архитектора.

Но Платон не индус, он человек Запада, выросший в полисе, в демократическом, полном политических страстей, Афинском полисе. И он задается вопросом: как быть с государственным строем, общественным порядком? Он убежден, что в мире эйдосов тоже есть вечные идеи лучшего государства. И вот в этой попытке проецировать

идеи в реальность Платон терпит одно из величайших крушений в истории мысли. Мне очень жаль, что я не могу об этом рассказать подробно. Владимир Соловьев называл это жизненной драмой Платона. Коротко говоря, Платон опирается на свой точный, блестящий, я бы сказал, бессмертный анализ смены политических систем. Он показывает кризис монархической системы, кризис олигархической системы (когда правит клика, группировка, партия) и кризис демократической системы правления: когда начинает управлять толпа, не готовая к этому, не созревшая, — говорит Платон, — очень легко находятся те, кто ее покупает посулами, изображая из себя народолюбцев. Кстати, недаром в то время шли комические спектакли, где демос, народ изображался в виде дурачка, которого все стараются соблазнить, перетянуть на свою сторону. В конце концов тот, кто изображает самого большого народолюбца, постепенно захватывает власть над умами и легко манипулирует человеческим стадом. И толпа вдруг видит, что совершенно неожиданно для себя она породила чудовище. Но уже поздно. Анализ очень актуальный и вполне понятный.

Нашел ли Платон ответ на вопрос, как быть? Его первый ответ: правящим нужна квалификация. Сегодня мы бы назвали Платона технократом. Он рассуждал так: нельзя доверить корабль человеку, который не имеет опыта вождения кораблей. Как можно доверить ему товары и жизнь людей? Естественно, должен быть опытный кормчий. Тем более мы не можем отдать государство в руки человека, у которого нет достаточной подготовки. Для Платона людьми, которым можно доверить государство, являются философы, — но не в нашем смысле слова, а в античном: то есть люди, обладающие высочайшей эрудицией и высочайшей способностью мыслить. Это логически правильная мысль. Насмотревшись на буйства охлократии, то есть разнузданной псевдодемократии, Платон проникся к ней отвращением.

Но известное изречение гласит: «Любая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Согласно этому изречению, никто, даже философ, не выдержал бы испытания властью. А у Платона властвующие философы становятся бесконтрольными хозяевами. Так что этот вопрос остался не решенным. Но Платон попытался провести свою концепцию в жизнь. Он вошел в контакт с сиракузским тираном, пытаясь внушать ему свои идеи. Заигрывание с

политическим вождем кончилось тем, что тот продал его в рабство. Рассказ об истории их взаимоотношений интересен и драматичен, но привести его здесь нет возможности. Плутарх очень ярко описывает всю историю в одной из своих биографий. Друзья Платона выкупили его. (Кстати, потом эти деньги им вернули, на них они и приобрели земельный участок — Академию.) Были у Платона еще попытки реализации своих планов. У сиракузского тирана был наследник Дион, который тоже хотел создать какую-то новую республику мудрецов. Но все это лопнуло — к счастью для греков, ибо если бы модель Платона, которую он разработал на старости лет, была осуществлена, мы уже тогда имели бы тоталитарную модель государства.

В последней своей книге «Законы» Платон полностью изменяет своему учителю Сократу. Увлечшись идеей умозрительного построения общества, он действительно приходит к тоталитаризму, к власти, которая вмешивается во все, которая разводит и размножает людей, которая контролирует каждый их шаг. Из этого идеального государства изгоняются поэты, инакомыслящие, философы. Если бы Сократ жил в этом государстве, его должны были бы во второй раз если не отравить, то изгнать. Любопытно, что в книге «Законы» Сократ уже вообще не появляется. Платон от него отрекся.

В попытках навязать миру свою идею Платон потерпел крушение. Вскоре он умер.

Платон остается для нас высочайшей вершиной философской мысли, прорвавшейся к невидимому, а в сфере социальной — величайшим предостережением человеческому роду.

По совсем иному пути пошел его ученик Аристотель. Это был не мечтатель, не поэт, это был гигантский ум. Возьмите любой учебник по любой науке. Предисловие всегда начинается так: «Еще Аристотель говорил то-то и то-то». Что ни возьмешь — зоологию, математику, астрономию, физиологию, психологию, искусство, законы театра, эстетику — всюду «еще Аристотель». К сожалению, значительную часть его произведений составляют конспективные записи его учеников. Это действительно конспекты, не всегда внятные. Они у нас изданы. За последние годы у нас, наконец, вышел почти полный Платон в прекрасных переводах и Аристотель — четырехтомник в серии «Философское наследие».

Аристотель был страстным естествоиспытателем. Он занимался науками, создал первую классификацию живых существ; он изучал человеческие эмоции и законы театра; вместо созерцания вечности он строил науку как единую систему. И здесь нужно отметить очень важный момент. Нам все время твердят о некоем научном мировоззрении; к этому мы привыкли с детства. Но это вымысел, научного мировоззрения не существует. Существуют мировоззрения людей, которые используют (или не используют) данные науки для того, чтобы свое мировоззрение усваивать, развивать или отстаивать. Но, скажем, одни системы более открыты к научным концепциям и более тесно с ними связаны, другие — менее. Аристотель, конечно, с ними завязан необычайно тесно. Он идет снизу вверх. Он начинает с жизни минералов, со стихий и приходит к Богу. Но это уже не религиозная философия, это действительно некое чисто рациональное построение. Бог Аристотеля — первичная форма бытия («форма» в аристотелевской терминологии означает «жизненное начало»). Он даже не знает о том, что мы все: люди, звери, живые существа, растения и вообще мир — им созданы. Он как бы порождает все это произвольно. Великий космический Интеллект, он абсолютно одинок, а мы часть его, так сказать, произвольного дыхания. Это тоже чем-то напоминает индийское мировоззрение.

Когда Аристотель пытался найти путь к созданию новой модели общества, он, в отличие от Платона, шел не от каких-то созерцаний; он собрал все конституции того времени, все их описал, сравнил, попытался вычленить наиболее рациональное, но, как и Платон, выхода не нашел. Единственное, в чем Аристотель сохранил наследие Сократа, это уважение к праву, к великому священному праву, и к закону. Насколько он важен для обществоведения, говорить сейчас не приходится, вы это знаете сами. Но Аристотель, хотя и был учеником Платона, жил уже в другое время. Наступает четвертый век до Р. Х. Ученик Аристотеля, сын Филиппа Македонского, мальчик, который завоевал полмира, рвется из маленькой Греции на просторы Вселенной. Здесь уже не до демократии. Мир, пережив поиски социального идеала, совершив полный виток, вновь приходит к идее монархии, священного царя-бога и к централизованной структуре. Почему это случилось, как это повлияло на духовную жизнь и что это

значило для Востока и Запада, которые соединились под эгидой Александра, — об этом в следующей беседе.

НА ПОРОГЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Итак, сегодня мы подходим к рубежу христианской эры, к эпохе перед Рождеством Христовым. Конечно, как вы понимаете, у нас с вами не было возможности погрузиться в детали, увидеть бесконечно интересные и многообразные оттенки мысли духовной поэзии древности. Меня спрашивали о греческих трагиках. О них ничего не было сказано. Потому что говорить о них надо отдельно, это целая глава в истории духа. Трагики не просто принадлежат истории литературы и являются наследием культуры, они не просто сегодняшнее наше богатство — они ставят вечные вопросы, вопросы, которые не устарели и сегодня. Поэтому и «Антигона», и «Электра», и «Медея», и другие драмы сегодня продолжают идти и интерпретироваться на сценах театров и на киноэкранах. Таким образом, духовное, как я всегда хотел вам показать, — это не только прошлое, но и сегодняшнее, и именно в этом измерении, в сфере искусства, соединяются минувшее и настоящее, вечность входит в быстротечный бег времени.

Итак, мы подошли к эпохе, особенно близкой нам, которая была зачата волей Александра Македонского. История этого молодого человека, который за тринадцать с небольшим лет изменил политическую и культурную карту значительной части Старого света, кажется неправдоподобной. Перед нами какой-то таинственный феномен — человек, рожденный для того, чтобы распахнуть двери мира. Да, конечно, он был завоевателем, он вел войска на чужие земли. Но одновременно он был создателем идеи человечества. Он был одним из первых (хотя и не первым, конечно), кто, присоединяя к своей державе другую страну, с уважением относился к ее культуре, с благоговением (пусть, возможно, и показным) относился к ее верованиям. Он неизмеримо расширил воздействие греческой цивилизации; маленькое государство на юге Балканского полуострова он распространил до размеров гигантской империи, граничившей с Индией, простиравшейся и на Среднюю Азию (где было построено немало городов, носящих его имя: ведь Александрия была не только в Египте; в Средней Азии также было несколько Александрий). Иран,

Азербайджан, Афганистан — всюду было его влияние, всюду проходили его войска. А был он совсем юным. Он проявил свой полководческий гений, когда ему не было еще двадцати лет.

Что двигало им? Никто никогда этого не узнает. Импульсы, которые воздействуют на историю, — тайна. Наука может искать здесь загадочный феномен; Лев Гумилев называет это пассионарностью, то есть явлением внутри цивилизации таких людей, которые стремятся создавать нечто новое, стремятся до искреннего самоотвержения. Вы спросите: какое же самоотвержение было у Александра Македонского? Конечно, это было настоящее самоотвержение. Эти чудовищно утомительные походы через пустыни, в отдаленные фантастические жаркие страны, эти предприятия, которые сегодняшнему полководцу показались бы необыкновенно трудными, — были им осуществлены, и, в конце концов, он пал их жертвой, потому что в этих странах он подхватил лихорадку и умер тридцати трех лет в Вавилоне, древней столице среднеазиатской цивилизации. Перед этим он устроил в Вавилоне грандиозное празднество: свадьбы между греческими солдатами и вавилонскими девушками.

Исподволь начинает распространяться греческое искусство, конечно, не в виде лучших образцов, но в виде ширпотреба, в виде моды, в виде, говоря сегодняшним языком, дизайна, в виде товара, который приходит с купцами. Купец идет вслед за завоевателем, и он уже является, с точки зрения культуры, священной фигурой: он несет с собой мирные контакты между людьми — обмен товарами, обмен идеями, обмен знаниями. Недаром учителем Александра был Аристотель. Александр был человеком всепоглощающей страсти к познанию мира. И если бы не бунт солдат в Индии, в Пенджабе, куда он привел их, — он, пожалуй, продолжил бы свой поход на юго-восток и далее.

Вероятно, вы знаете знаменитые индийские статуи, которые репродуцируются во многих книгах. Изображение Будды с мягким просветленным лицом, с волнистыми волосами, с таким шиньоном наверху — это произведение гандхарской культуры, которая является синтезом индийского и греческого искусства. Собственно, с этого момента и начинается интенсивное развитие индийской пластики. Огромные здания, которые строились в Сирии, например, Баальбекский храм, — это продукт синтеза Запада и Востока.

Многочисленные сооружения в пустынях, в горах — все это памятники грандиозной культуры эллинизма. Эллинизм есть синтез Запада и Востока; с одной стороны, — вестернизация Востока, с другой — ориентализация Запада.

После смерти Александра его держава распалась, вернее, была поделена между его преемниками — диадохами. Один из них, Селевк, получил Сирию и часть Ирана; Птолемеи получили Египет. Империю как бы разделили по регионам. Но уже нельзя было разделить этот дух, несколько нивелирующий цивилизации. Нам сейчас это очень понятно, потому что, приезжая в любой город Европы или Америки, мы узнаем там в культуре многое, что нам привычно: скажем, мужской костюм, который теперь повсюду почти одинаков; многие правила общежития всюду одинаковы; несколько международных языков, например, английский, на котором говорят миллионы; развитие ремесленничества, то есть массового производства, — не того, что было в древности, когда предметы искусства были уникальными, — а создание бесконечных копий на продажу, на потребности уже новых людей, которые хотят обставить свои дома. Все это уже присутствовало в эллинистическую эпоху. На греческом языке говорят от Инда до Гибралтара; это особый греческий диалект, который получил название общенародного языка — койне. Начинают прививаться греческие одежды, постепенно вытесняя иранские. Иранцы носили брюки (уникальный случай в древности), а греки любили просторные туники и хитоны. Брюки вытесняются, хотя потом они добились своего реванша, победили туники и твердо вступили на все континенты и уже, по-видимому, надолго. А вначале это было экзотическое, совершенно уникальное явление моды.

Преемником этих эллинистических держав станет впоследствии Рим, постепенно набирающий силу. Сначала это небольшой поселок, созданный полуразбойничьей вольницей, потом маленькая республика дисциплинированных, воинственных, аскетичных, суровых людей, которые ничем не выделялись в области искусства и творчества, но у которых была глубокая преданность своему городу (*civitas*) и обычаям предков. Их город был как военный лагерь. Он постепенно начинает набирать силу и ко второму столетию до Р. Х. одно за другим подчиняет себе эллинистические государства. В 30 г. до Р. Х. Рим становится почти полным преемником империи Александра, но он

простирается не на Восток, а на Запад. На Востоке у него оказывается мощный соперник в лице иранской державы парфян. А на запад Римская империя простирается до Испании. Это произошло уже тогда, когда Рим перестал быть республикой: когда во главе его формально еще стоял принцепс (президент, сказали бы мы), но на самом деле это уже была настоящая монархия с тоталитарным уклоном.

Создателем ее был Юлий Цезарь, который погиб в 44 г. до Р. Х. от руки убийцы, погиб лишь потому, что не до конца был тираном и сумел простить своих политических противников. Ведь если встать на путь деспотии, надо всех противников уничтожать, а он не уничтожил и пал от их руки. Наследником его стал приемный сын Октавиан Август, который постепенно (нам это в XX веке очень хорошо знакомо) убирал с дороги своих соправителей, бывших друзей, и к 30 г. стал единовластным господином всего Средиземноморья. В 30 г. он нанес последнее поражение своему сопернику Антонию, который контролировал Египет, очень важную страну, богатую хлебом. Наверное, вы помните, у нас шел фильм «Антоний и Клеопатра»; конечно, в нем много фантастического, но все-таки он дает представление о том, что тогда происходило. Все было полностью подчинено Риму.

Вот такова была, в двух словах, картина — с того момента, когда юный Александр Македонский разбил огромную, но неповоротливую армию персов и заставил царя Дария бежать (это было в 333 г. до Р.Х.), — до 30 г. до Р. Х., когда Август один царствует и поэты приветствуют его царствование, величая это царствование тысячелетним. (Нам известен этот термин. Как вы знаете, «тысячелетней империей» называлась держава Гитлера.) Люди прославляли императора за то, что он установил мир, кончил войны — и внутренние, и внешние. Более того, император понимал, что необходимо создать какую-то объединяющую всех религию, а поскольку в империю входило множество народов, множество людей разных вероисповеданий, то он решил всех сцементировать единой государственной религией, а именно поклонением гению самого императора. Вскоре после победы над Антонием на востоке появляются первые храмы в честь Августа. Его прославляют как живого бога, как вечного властителя. Он все это пусть осторожно, но неуклонно проводит в жизнь, и в момент явления Христа то, что мы

теперь стыдливо называем культом личности, расцветает пышным цветом.

Но что же происходило в это время в сфере человеческого духа? Как это здесь проявлялось и отражалось? Как политические и культурные события были связаны с духовным развитием? Пожалуй, единственный способ показать, что там происходило, — пройти по карте, начиная с Востока и двигаясь на Запад.

В Китае по-прежнему развиваются две основных традиции: конфуцианская и даосская. Это как бы две души Китая: с одной стороны, порядок, обряд, закон, добродетель, гуманность, позитивизм, а с другой — созерцание, красота природы, единение с природой, духовное исчезновение различия между добром и злом, слияние с космосом. Кроме того, там развивается концепция фацзя-законников, которые пытаются создать жесткую, тоталитарную систему управления. Конфуцианство сопротивляется этому, потому что все-таки в основе учения Конфуция лежала идея гуманности, и ее невозможно было соединить с казенным, жестким, казарменным духом, который был у законников. Но как раз в период Александра Македонского там происходит военный переворот, который мы могли бы сравнить с культурной революцией времен Мао. Китайскую империю объединяет Цинь Шихуанди. Он действует в духе фацзя-законников и очень жестоко расправляется с учеными, мудрецами конфуцианцами: зарывает их в землю, уничтожает всю конфуцианскую литературу, кроме учебников по сельскому хозяйству, вводит исключительно жесткий режим. Это был губительный момент для истории китайской цивилизации — но все-таки она не погибла, как не погибла и во времена Мао Цзэ-дуна. Сейчас в Китае происходит возрождение конфуцианских ценностей. То же происходило в Китае после жестокой тирании Цинь Шихуанди.

Индия также объединяется в довольно мощное государство. Там происходит всплеск и угасание буддизма. Почему же это произошло? Меня часто спрашивают: если Иисус Христос явился в Израиле, почему не все израильтяне стали христианами? Так же и Будда: он явился в Индии, но буддизм из Индии исчез. Это не единственный случай в истории. Вначале буддизм явил мощный всплеск. В эллинистическую эпоху буддизм был принят великим царем Индии Ашокой. Ашока — святое имя в анналах человечества. В истории всех

народов это был один из немногих правителей (их можно на пальцах перечесать), кто сделал свое правление настоящим служением человеческому роду. Приняв буддизм, он прекратил агрессивные войны. Он необыкновенно много сделал для людей, даже старался облегчить участь животных (это вообще свойственно Индии). Ашока строил приюты, больницы, старался, чтобы дхарма, буддийский закон сострадания, милосердия, чистоты, входил в жизнь людей. Конечно, Ашока мало вникал в тонкости буддийской философии, и, конечно, его мысль была далека от мироотрицающей философии Гаутамы Будды. Ашока говорил, что его цель — сделать благословенной жизнь людей в этом мире. И оказалось, что буддизм содержит в себе мощный этический потенциал, который помог Ашоке, пользуясь буддийскими идеями, создать прекрасное правление, может быть, одно из лучших правлений, которые когда-либо знал древний мир. Но постепенно, уже после смерти Ашоки, буддизм начинает переживать большие трудности.

При Ашоке был созван один из первых буддийских соборов. Монахи решали, какие книги должны считаться каноническими; формируются трипитака, или «три корзины» — три основных священных части буддийского канона. Буддизм создает архитектуру, живопись, пластику Индии. Основная часть известных нам произведений зодчества, ваяния, живописи в Индии этого времени — буддийские ступы, то есть храмы. Эти храмы великолепны, они включают в себя уже такие далекие от буддизма мотивы как прославление природы, красоты мира. Храм Аджанта содержит в себе фрески, которые могут быть названы гимнами посюсторонней жизни, то есть духовный опыт буддизма не сохраняет мироотрицающего, устремленного в запредельность нирваны духа. А потом, уже в начале средних веков, складывается иное мирозерцание, которое включает в себя все духовные соки старинных сект, школ, направлений, которое собирает под одной крышей утонченную пантеистическую философию, популярные народные суеверия, верования разноречивых племен, населяющих индийский субконтинент, — и все это образует огромный конгломерат, который мы сегодня называем индуизмом. В отличие от буддизма индуизм не стал мировой религией. Буддизм пошел проповедовать миру: в Индокитай, Шри-Ланку и далее — в III в. мы находим буддийских миссионеров в Александрии. А в самой

Индии разрастается эта местная, «туземная» религия. Индуистом нельзя стать. Стать можно христианином, буддистом, мусульманином, а индуистом можно только родиться. И когда появляются доморощенные индуисты в Москве или в Лондоне, они должны понимать, что все это несерьезно. На самом деле, строгая система индуизма допускает только людей, родившихся в данной конкретной касте.

Об этом, кстати, очень интересный для нашего времени роман Рабиндраната Тагора — об индийском патриоте, националисте, молодом деятеле по имени Гора (роман так и называется «Гора».) Он действует в конце прошлого века и старается развивать национальные начала, он радеет за возрождение культуры Матери-Индии. И все это было прекрасно до того времени, когда он, интеллигент, решил принести жертву на алтарь, как делали его предки. И тогда его мать и отец со смущением говорят ему, что он не имеет права это делать, ибо на самом деле он ирландец: что во время мятежа его родители погибли, а они его приютили. И этот патриот Индии понял, что он в ней чужой. Роман, правда, кончается оптимистически, потому что Гора становится защитником и радетелем Индии, но уже на каком-то новом уровне, его миросозерцание расширилось. Он индус, пусть не по крови, но по духу. Но все-таки индуизм — я говорю не просто о культуре, а о религии — замыкается в рамках (пусть и довольно обширных) тех народов, что населяют эту большую страну.

Чем же характерен индуизм? Он характерен отказом от отказа. Во всяком постижении необходим элемент отказа (это относится и к науке). Должно быть что-то такое, над чем человеку необходимо подняться. Полная всеядность и полное всеприятие мешают продвижению. Индуизм же пошел по пути безграничного впитывания всего. Все традиции, какие только были, оказались соединенными в его храмах. И древние обряды, связанные с сексом, плодородием, и утонченные философские концепции, которые развивал в раннем средневековье Шанкара — все это каким-то образом объединяется индуизмом. Индуисты гордятся тем, что принимают в себя все. Но, как вы сами знаете, иногда все — это почти ничего. И мы лучше понимаем Будду, который отвергал касты, библейских пророков, которые отвергали идолопоклонство, мусульман, которые также стоят за единство Бога, чем индуизм. Это не терпимость, а всеприятие,

приводящее к аморфности, утрате всяких границ. Кстати, отсюда сохранение в индуизме довольно мрачных аспектов древних религий. Мрачный аспект почитания черной Богини–Матери — Кали, которая требует чуть ли не человеческих кровавых жертв, мрачный аспект в образе Шивы, бога разрушения. Шиваизм иногда выглядит (конечно, с нашей, европейской точки зрения) почти демонопочитанием. Почему? Потому что здесь воздается почитание богу, который наделяется атрибутами бури, тьмы, зла и разрушения.

Но в это же время в Индии развивается система, о которой вы все много слышали. Это йога. Слово йога очень старинное, даже происхождение его неясно. Чаще всего его производят от «йудж», что значит «прилагать усилие, упражняться». У нас есть все основания полагать, что еще в доарийской Индии, то есть в III тысячелетии до Р. Х. йогическая практика уже существовала у туземных дравидийских племен. По крайней мере, в Мохенджо Даро можно найти печати с изображением фигур в позе лотоса. Йога практиковалась почти во всех индийских школах: и в школе джайнистов, и у буддистов. С йогической практикой, конечно, были тесно связаны брахманизм и кришнаизм. Великий кришнаистско–индуистский памятник «Махабхарата» содержит множество йогических текстов. Но есть классический текст йоги, довольно краткий в отличие от гигантской по объему Махабхараты. Этот текст называется «Йога–сутра», то есть йогические изречения.

Согласно преданию, «Йога–сутра» была создана в эпоху эллинизма, во II в. неким мудрецом, по некоторым сведениям — филологом и философом, Патанджали. Это очень скупые, краткие афоризмы. Они существуют в русском переводе: они были приложены к книге Свами Вивеканды «Раджа–йога», которая вышла у нас до революции, в 1902 г., с его комментарием, и потом, уже в советское время, эти сутры несколько раз переводились и издавались. Для несведущего они кажутся малопонятными, и поэтому давно уже стали предметом комментирования. Но в кратких изречениях Патанджали закодировал целую сумму практических приемов, для того чтобы человек познал свое внутреннее я. Патанджали исходит из системы Санкхья, которая рассматривает божественное начало как отделенное от человеческого. Вот в этом и вся загвоздка. Это не пантеизм, который мы находим в Упанишадах, а некий дуализм: человек обладает духом,

и все мировое целое обладает духом, но нет той глубочайшей связи между нашим я и космическим атманом, которую мы находим в брахманизме.

В чем же цель классической йоги? Очистить человеческое я от всего наносного и преходящего. Когда человек хочет идти по этому пути, начинается движение по ступеням. Первые ступени — это очищение этическое, нравственное. Здесь много общего со всеми религиозными учениями. Человек, который не освободился от эгоцентризма, от алчности и т. д., не сможет подниматься ввысь. Постепенно освобождая себя от чувственности, от желания владеть чем-то, от гнева, от радости, от печали — от всего, — человек движется к овладению своим эмоциональным и физическим миром, то есть всем психофизическим комплексом. Этому помогает система асан. Асаны — особые положения тела, способствующие развитию тех жизненных, энергетических узлов, которые находятся внутри человеческого организма и сосредоточены, главным образом, вдоль позвоночного столба. Центром этого энергетического целого является сгусток силы, который называется в йоге кундалини. Это как сжатая пружина: если человек начинает беспокоить кундалини, эту своего рода змею, он рискует погубить себя, потому что может вырваться огромная неуправляемая энергия.

Задача занимающихся йогой — научиться контролировать (только с помощью учителя, а не по книге; тот, кто занимается по книге, никогда не сможет этому научиться) не только дыхание, положение тела, гибкость его членов, но также и главный энергетический узел своего биологического существа. Бесспорно, практика показала, что это вещь достижимая, что йоги безусловно могут духовно контролировать психофизический мир, — сейчас никто из серьезных исследователей в этом не сомневается. Контроль доходит до власти, которую дух приобретает над рядом органов, не подчиняющихся волевым устремлениям. Мы знаем, что мышцы руки подчиняются волевому приказу, а мышцы сердца — нет. У нас множество мышц, которые подчиняются только подсознанию. Йогическая практика дает возможность управлять и этим, отсюда возможность остановки сердца и включения его снова — то, что раньше казалось невероятным. Значит, доходя до этой черты, мы можем сказать: да, хотя йог отказывается от всех жизненных радостей, страстей и всего того, что

привлекает обыкновенного человека, — он как бы переходит за черту обычного человеческого состояния и достигает состояния бесстрастия, — он делает это ради очень важной цели: дух его становится настоящим господином тела и психофизического целого — континуума.

Знаменитый религиовед нашего времени Мирча Элиаде (он родом из Румынии, но работал в основном в Америке) путешествовал в Гималаях и много раз беседовал с теми подвижниками, которые занимались йогой годами. Он находил таких, которые могли в течение дня сделать всего несколько вдохов и выдохов: а вдохнув, они могли очень долго не выдыхать, и наоборот; они питались, кажется, одной горсточкой риса в день. Но, конечно, такая ущербная жизнь очевидно все-таки ведется ради чего-то. И вот тут мы подходим к самой существенной стороне йогического восхождения. В чем оно заключается? Пока это физическое упражнение — это может быть полезно; пока достигается свобода духа — это даже прекрасно. Правда, это все уже почти вне жизни, потому что идеал человечества не может состоять в том, чтобы люди дышали тридцать раз в день и питались горсточкой риса, — трудно себе вообразить такое человечество. Но что же дальше? Дальше начинается восхождение йога, и это восхождение — не к Богу. Напрасно в популярной теософской литературе мы часто читаем, что вот это и есть созерцание единого, созерцание божественного. Ничего этого нет, поскольку в системе санкхьи нет Создателя, человек не тождественен Божеству. Это не созерцание в брахманизме, когда человек познает свое единство с божественным Я. Ничего подобного в классической йоге нет. В конце концов йог становится совершенно независимым — от мира, от бытия, от богов, от непостижимого Высшего Разума, который, в конце концов, не имеет к нему никакого отношения. Он парит в холодном, но счастливом блаженстве над миром, над собой, над Богом.

Что обретает человек в этих упражнениях? Он обретает не Бога, не истину, а только себя. Идет работа негативного плана. Человек очищается от власти страстей: сначала от власти греха, потом от власти плоти, потом от человеческого и, наконец, вообще от бытия. И он становится свободным, но свободным вообще от всего. Таким образом, древнее чаяние освобождения, которое было и в буддизме, и в брахманизме, здесь превращается в побег человека и от человечности,

и от божественного — от всего. Происходит не только развоплощение человека, но и полная его дегуманизация. Элементы этого мы находим у греков: у них есть понятие атараксии — безмятежности, отсутствия страстей.

Когда мы движемся далее на Запад, мы сталкиваемся с целым рядом замечательных учений эллинистической эпохи. Прежде всего они не метафизические, а практические. В это время появляются Эпикур, Пиррон, Диоген. Имя Эпикура для нас связано с представлением о веселом малом, который любит жить в свое удовольствие — эпикурейце. Но это неправильно. Сам Эпикур — великая личность. Он призывал к освобождению от всего, к чему мы стремимся, так как ничто не дает нам полного удовлетворения на земле. А следовательно, высшее наслаждение — это отказ от всяческих наслаждений, спокойствие, невозмутимость духа. Это лекарство от всех страхов и тревог он называл так (был такой коротенький стишок): «Будь спокоен, над всем поднимись, от всего откажись». Это напоминает буддийское представление о том, что страдание в мире есть, источник страдания найден и можно преодолеть его, освободившись от жажды жизни.

Другой путь ищут Диоген и философы-кинники. Их девиз: вернемся к природе. И киники начинают жить так, как многие молодые люди нашего времени — ходят с длинными волосами, в рваной одежде, ночуют где попало, отбрасывают все условности человеческого общества. Это от них пошел такой девиз: что естественно, то непостыдно. Поэтому они не стеснялись и публично справлять свои естественные нужды, говорили, что надо жить свободно. Сам основатель кинизма, Диоген, был большим чудаком и, как известно, жил в огромном глиняном кувшине и был очень доволен (конечно, в условиях средиземноморского климата такое возможно). Диоген любил днем разгуливать с фонарем и, когда его спрашивали, что он ищет, он отвечал: я ищу человека днем с огнем — намек на то, что не так-то легко найти человека среди людей. И, как рассказывает предание, Александр Македонский, зная об этом мудром человеке, который отбрасывал все условности, навестил его. Диоген так поразил Александра своей свободой и раскованностью, что тот сказал: «Я царь, мне подчиняются многие народы. Чего ты хочешь? Я могу выполнить любое твоё желание». А старик выглянул из своей бочки и сказал: «Я

тут греюсь на солнышке. Вот если б ты немножко посторонился, чтобы оно на меня падало, это было бы мое самое большое пожелание». И, видя эту неприхотливость обитателя горшка, Александр сказал: «Если бы я не был Александром, я бы хотел быть Диогеном». Ему ничего не было надо, все было его.

Вот такие пути искала греческая мысль — искала эксцентрично, искала парадоксально, но ведь это были живые люди.

Пиррон был основателем скептицизма. Он тоже жил в эллинистическую эпоху. Скептицизм утверждал, что человек ничего не может познать: за что бы человек ни взялся, все как бы сгорает, все остается для него тайной.

И, наконец, самым влиятельным учением был стоицизм. Основатель стоицизма Зенон был финикийским купцом. Зенон прибыл в Афины, мечтая там поучиться, и остался в городе. Когда у него сложилось собственное представление о жизни, о задачах человека, он стал руководителем школы, расположенной в Стоа Пойкиле — расписном портике (отсюда название стоицизм). Стоицизм удивительно напоминает буддизм или брахманизм: в основе мира лежит некая таинственная огненная субстанция; время от времени она созидает Вселенную; потом Вселенная опять погружается в этот таинственный мир. Все то, что происходит в мире, разумно и неизменно. Природа человеческого бытия также неизменна. Правда, считали стоики, его можно улучшить. Пытаясь несколько улучшить структуру человеческого общества, они опирались на Платона, на его горький опыт. Стоики создали теорию космополиса — мирового государства, где права у всех людей были бы одинаковы. Впоследствии, в эпоху Римской империи, в Риме было немало стоиков — Эпиктет, Марк Аврелий, Сенека. Стоическое учение о человеческих правах совпадало с юридическими нормами Римской империи. Если человек получил римское гражданство, то всюду — в Риме, в Британии и в Африке — он пользовался одинаковыми правами. Например, его не могли посадить без суда и следствия, — а ведь это не всегда соблюдалось даже в XX в.

Стоицизм пережил несколько этапов. Это очень интересное учение, не столько само по себе, сколько благодаря личности его создателя. Самое драгоценное в стоицизме — это мудрость жизни, которую разрабатывали блестящие философы-стоики. Это, например,

Посидоний, от текстов которого сохранились только отрывки, Сенека, приближенный императора Нерона, живший в I в. по Р. Х., — от него сохранились трагедии и замечательные письма, и, конечно, Марк Аврелий, чья книга «Наедине с собой» — шедевр стоической мудрости (она у нас сравнительно недавно была переведена еще раз; я всем советую прочитать эту книгу, потому что в ней много жизненной мудрости, независимо от стоического мировоззрения).

Двинемся дальше. Продвигаясь по берегам Средиземного моря, мы попадаем в довольно пестрый мир. На юге, в Африке, создается мощная культура финикийцев. Когда-то, спасаясь от преследования ассирийцев, они туда переселились и создали свой «Новгород» — Карт-хадаш, по-финикийски, или Карфаген. Там развивается своеобразная африканская цивилизация, которая в конце концов во II в. до Р. Х. будет разрушена Римом.

Постепенно греческие божества начинают завоевывать все Средиземноморье. В 204 или 205 г. до Р. Х. римляне принимают пантеон греческих богов, и туда приплывает восточная богиня Кибела, Богиня-Мать. Раньше у римлян не было статуй (если и были, то этрусские); они предпочитали богов в виде фетишей — например, почитали бога войны Марса в образе копья. Это была цивилизация совсем не изобразительного типа. И вот теперь у них появляются греческие изваяния.

И когда эллинистическая цивилизация стала завоевывать берега Средиземноморья, она натолкнулась на Иерусалим. В это время римляне еще не завладели Передней Азией, и там правил Антиох Епифан, сирийский царь, большой грекофил. Сам он был по происхождению грек и считал себя воплощением Зевса. Это был странный человек, очень оригинальная эксцентрическая личность; он, по-видимому, действительно верил в некую свою божественность. Понимая, что необходимо каким-то образом унифицировать верования, как теперь говорят, вверенной ему державы, он повсюду распространял эллинистические религию и обычаи. И пока дело касалось только обычаев, среди иудеев, подчиненных сирийскому монарху, было много грекофилов, любителей всего греческого. Греческие спортивные состязания, греческий дизайн, греческое просвещение, наконец, греческая наука и литература — все это увлекало молодежь и создало целую партию, которая стремилась как—

то соединить собственные народные традиции с модными западными веяниями.

Но мирное течение эллинизации было прервано около 170 г. до Р. Х. Антиох пытался укрепить свои позиции на Востоке и двинулся в Египет — через Израиль. Но в Египте его встретил римский консул со своими войсками и сказал, что здесь ему придется остановиться. Когда Антиох, необычайно раздосадованный, понял, что наткнулся на стену, и сказал, что ему нужна неделя на размышление, то римлянин, как всегда немногословный, взял меч, начертил вокруг Антиоха круг и сказал: «Думай здесь» (то есть, не выходя из этого круга). Пришлось думать. И думать было о чем: надо было сниматься и уходить обратно. Весьма раздосадованный, раздраженный и, в общем, опозоренный, Антиох, конечно, не решался вступить в конфликт с Римской державой, которая поставила на колени Карфаген. Он вернулся в Иерусалим. И тут он увидел, что нет его портретов на улицах города, нет изображений богов, которым поклоняются во всей его империи. Он стал выяснять, в чем там дело. Ему ответили, что здесь не признают портретов, даже царских, и не признают никаких богов, кроме Единого Бога, Творца и Создателя неба и земли. Антиох отреагировал на это очень резко, сказав, что он Зевс для всех своих народов и не позволит, чтобы кем-то его правила нарушались.

Я не буду входить в подробности этой религиозно-политической борьбы. Она кончилась репрессиями. Иерусалим был практически захвачен заново, в храме был сооружен алтарь Зевсу, экземпляры Библии отыскивались и немедленно уничтожались; всех, кто соблюдал обычаи древней израильской веры, библейской веры, казнили без разбора, невзирая на возраст и пол, причем, как скупко пишет летописец, матерей вешали вместе с детьми. Начались жесточайшие преследования. В истории цивилизаций это было одно из первых преследований на религиозной почве. Сначала народ был просто в страхе и значительная часть людей бежала из города, рассеявшись в пустыне. Но потом, придя в себя, под руководством священника Маттафии люди собрали отряды и начали вооруженную борьбу. Во главе этих отрядов стал сын Маттафии Иуда Маккавей. Маккавей значит «молот». Он и его братья скоро превратили свои отряды в настоящую армию, и на протяжении нескольких лет, в 60 гг. II в., они оттеснили войска Антиоха по всему Израилю, потом выкинули

оставшихся из Иерусалима и в конце концов провозгласили независимость страны. Эта война, которая происходила в середине II в. до Р. Х. (она подробно описана в 1 и 2 Маккавейских книгах Библии) имеет для нас немаловажное значение. потому что в этот момент была поставлена на карту судьба религии Откровения. Тогда появились мученики (о них говорится в этих книгах). В Русской Православной Церкви есть праздник, который называется Первый спас; в этот же день вспоминаются мученики Маккавейские.

К тому времени библейское Откровение содержало уже писания пророков, которые говорили о приходе в мир Избавителя, законодательные книги, носившие имя Моисея. Теперь к ним прибавились назидательные книги Иова, Песни Песней, Экклесиаста — все это создавалось в эллинистическую эпоху или время, близкое к ней. В это время появляется великая книга пророка Даниила — манифест религиозной свободы. В сказаниях этой книги повествуется о людях, которых заставляли поклоняться идолам, но они не поклонились. Очень драматичный момент, когда царь Навуходоносор ставит гигантского идола и все народы падают перед ним, и только Даниил и его друзья отказываются; и их наказывают, бросают в огненную печь, где ангелы спасают их, посылая им воду и воздух. Потом царь приказывает, чтобы никто не молился своему богу, а молился только ему. Это, конечно, намек на Антиоха Епифана. Но Даниил продолжает молиться каждое утро Богу; его бросают в ров со львами, но он остается невредимым. И в конце книги дается апокалиптическая таинственная картина мира. В ней впервые открывается во всей полноте библейская философия истории. Мир не статичен, говорит пророк, мир движется и развивается. Он движется по направлению к полному торжеству Божественных замыслов, к тому, что древние пророки могли бы назвать Малхут Элохим, Царство Божие. Но в то же время, параллельно Царству Божию, раскрывает свою силу и его антипод, его антагонисты — царства демонические, царства мира сего. Они представлены в книге Даниила как чудовищные существа, монстры, драконы, у которых уродливо перемешаны все черты — орлов, барсов, медведей. Они появляются из моря, которое символизирует собой демоническую богоборческую стихию. В любом древнем соборе вы найдете эти четыре царства

зверя — всегда на картине Страшного суда. Во Владимире, в Успенском соборе есть такие фрески работы преп. Андрея Рублева.

Но когда эти чудовища начинают царствовать и торжествовать, пророк видит, как по облакам (это символ небесных сил) идет Некто, подобный Сыну Человеческому. Он идет навстречу Царству Божию, создает это новое царство. Что значит Сын Человеческий? Это просто человек. Этим драконам и монстрам, этим, как говорил Даниил Андреев, «уицраорам», демонам великодержавной государственности противостоит человек. Он олицетворяет Царство Бога на земле. Заметьте, что эти два понятия — «Царство Божие» и «Сын Человеческий» — станут краеугольными в Евангелии. Когда Христос начнет свою проповедь, Он скажет о том, что наступило Царство Божие. И Себя Он будет называть Сыном Человеческим. Но как готовиться к этому царству? Как встретить его?

Люди ищут пути... Одни, фарисеи, стараются соблюдать все правила, которые сохранила традиция, они, как наши традиционалисты, старообрядцы, считают, что ничего из того, что дошло до нас от отцов, не должно быть изменено, все скрупулезно сохраняется.

Другие, подобно нашим протестантам, говорят: не надо нам народных преданий, обычаев, надо сохранить, главным образом, то, что написано в наиболее древних частях Писания, в законе Моисеевом; это саддукеи.

Иные говорят: приблизим Царство Божие своими силами, не будем просто созерцателями; это ревнители — зилоты. Они поднимают меч и всегда готовы поторопить историю.

И, наконец, была еще одна группа, которая называла себя ессеи, то есть, по-гречески, благочестивые. Они говорили точно так же, как многие у нас сейчас: мир все равно погибнет; Бог, когда явится на земле, уничтожит все это грешное нечестивое племя. Выход один — уйти из этого мира, спрятаться от него, проклясть его, потому что живут в нем только «сыны тьмы», а мы будем «сынами света». Мы — истинный Израиль. Евреи, язычники — все негодяи; все погибнут, когда явится Избавитель, потому что Он сокрушит голову змея, а этот змей олицетворяет весь человеческий род. Вожди движения покидают Иерусалим и другие города, где они были, и скрываются в уединенных безводных пустынях на берегах Мертвого моря. Это происходит

примерно за 120–140 лет до Р. Х. Возглавляет их человек, имени которого мы не знаем и о котором мы узнали лишь недавно — в середине нашего столетия. Последователи именовали его уважительно: Учитель праведности, или Праведный учитель. Они поселяются около Мертвого моря и стараются порвать по возможности все связи с окружающей жизнью. Это замкнутый полумонашеский орден. Они говорят: мы те самые, о ком предсказывал пророк, — голос вопиющего в пустыне. А надо вам сказать, что за пять с лишним веков до Р. Х. один из библейских пророков предвидел, что Бог придет на землю, чтобы помочь человеческому роду двигаться дальше. Он писал так: «голос глашатая кричит в пустыне (или, по-церковнославянски, «глас вопиющего в пустыне»): приготовьте путь Господу, выровняйте холмы и долины поднимите».

Ессеи, жившие у берегов Мертвого моря, толковали Писание и говорили: это мы — тот голос глашатая, и мы — те избранники, мы — истинный народ Божий среди всех, который и будет спасен. С нами заключит Бог тот Новый Завет (Брит Хадаша), который Он обещал древним пророкам.

И вот перед вами сейчас панорама всего мира. Высокая наука, высокое искусство, Евклид, Архимед, инженерное искусство, философия, биология, Аристотель, военное искусство римлян, строгое римское право, буддийское стремление к спасению. На рубеже новой эры среди буддистов возникает верование, что скоро должен явиться новый Будда — Майтрейя, Победитель, он откроет нечто новое. В индуизме возникает поверие о том, что явится новое воплощение бога Вишну — Калки, который грядет на белом коне. В Иране среди приверженцев зороастрийского культа также говорят о пришествии Избавителя — Саошианта. Весь мир в напряженном ожидании. Какой избрать ему путь? Или быть холодным, не радующимся и не страдающим, отрешенным от мира, или бежавшим от мира в монастырь, как ессеи, или ушедшим в себя и очистившимся от всего, как йоги, или почитающим природу, как индуисты или киники, или погруженным в изучение природы, как Евклид, Архимед и Аристотель? Где найти путь? Что явится путеводной звездой? Я бы сказал, что эта ситуация очень напоминает наше время, потому что мир, хотя и движется вперед, повторяет прошлые этапы. Эту мысль можно развивать долго, я не буду сейчас на ней останавливаться. Когда

должен был родиться Христос, многие уповали и на власть царя—бога. По повелению Августа, в его честь были устроены священные игры. Люди воспевали императора и славили вечное царство властителя, который взял на себя то, чего люди не смогли понести.

Во всем многообразии человеческих поисков мы должны уважать и любить вот эту открытость человека тайне. Пусть тут было много ошибок, зигзагов, но в каждом из этих этапов был свой важный элемент, своя цель, своя находка. Потому что та великая гора, на которой потом воздвигнется Крест, подобна любой горе: в ней есть пояса с различными формами растительности, она объединяет в себе очень многое. Потому что, когда зазвучали на галилейских холмах слова Иисуса Назарянина о покаянии и близости Царства Божия — это было ответом на все загадки, над которыми ломали головы философы, на все те тайны, к которым стремились мистики, на все те проблемы, которые мучили государственных людей, толпу и мудрецов. Это был переломный момент. Ибо до сих пор человечество только задавало вопрос. А дальше должен был прийти ответ. И этот ответ заключался в слове, в коротком арамейском слове Бесора, по—гречески Эвангелион, — Радостная Весть, которую возвестил Сын Человеческий и Сын Божий.

БЕСЕДА ПЕРВАЯ

Каждый из вас, если зайдет в какой-нибудь из христианских православных храмов во время литургии, может отметить, что в какой-то момент службы хор перестает петь и поют все люди. Эта древняя традиция была возрождена сравнительно недавно, в первые годы революции, по инициативе патриарха Тихона. Инициатива эта была не случайной: поется Никео-Царьградский Символ веры — по мысли святителя, он должен был остаться в памяти людей на тот случай, если они будут лишены всего, даже писаного текста. А сам этот Символ для христианской Церкви исключительно важен; каждый христианин должен знать его наизусть и понимать его смысл. Поэтому для тех людей, которые готовятся к принятию таинства крещения, для тех людей, которые были крещены в детстве, но не были воцерковлены, для тех людей, которые хотят познакомиться с основами христианской веры, для тех людей, которые хотят знать основы мировой европейской и русской культуры, заключенные в христианстве, знание главных пунктов и сущности Никео-Царьградского Символа необходимо. Для историков, литературоведов, искусствоведов, писателей, поэтов, людей самых различных творческих специальностей, работающих в разных областях гуманитарного знания, также необходимо знание этого фундаментального Символа. Поэтому, кратко излагая вам его смысл, я буду ориентироваться на всех людей: и на готовящихся к крещению, и на тех, кто был крещен, и на тех, кто хочет посмотреть на это просто глазами культурного человека. Мы ничего не навязываем — Церкви чужда идея агитации, — мы просто свидетельствуем.

Во-первых, что такое Никео-Царьградский Символ веры в буквальном смысле этого слова? Никея — старинный город в Малой Азии, где в 325 г. при императоре Константине Великом был собран всеимперский съезд епископов христианской Церкви для решения важнейших духовных и организационных проблем. Он назывался Вселенским Собором — первым по счету. Вселенная, ойкумена, в то время была синонимом Римской империи. Собор — это старое церковно-славянское слово, которое обозначает собрание людей,

собрание представителей Церкви. И вот на этом I Вселенском Соборе в 325 г., то есть через несколько лет после того, как император Константин Великий провозгласил в своей империи свободу вероисповедания, было зафиксировано краткое исповедание веры, которое человек, вступающий в Церковь, должен был произносить при крещении, в процессе того обряда, который крещению предшествует. Обряд этот мы называем оглашением, когда человек, получивший наставления в основах веры, свидетельствует не только о своем желании, но и о своем сознательном стремлении вступить на путь, к которому призывает Христос. Дополнения к Символу веры были сделаны спустя полвека, в 381г., на II Вселенском Соборе в Константинополе. В Древней Руси этот город называли Царьградом, и потому это исповедание веры стало кратко называться Никео–Царьградским символом.

Почему символ? Символ — очень емкое и полисемантическое слово. Символ есть знак, обозначающий некую стоящую за ним реальность (на этом было построено целое литературно–философское течение — символизм). В конце концов, и наш язык, и наше искусство, и очень многое из того, что пронизывает человеческую цивилизацию и духовную культуру, невозможно себе представить без символов. Перечислять я не буду, но обращу ваше внимание только на одно. Не говоря о знаках, эмблемах, всевозможных условных обозначениях, возьмем только слово. Слово — это удивительная вещь. Это сигнал, который одна душа передает другой душе. Сигналы, которые подают друг другу животные, — это простые сигналы: опасность, призыв, предупреждение, констатация факта, что, скажем, место занято — здесь мое гнездо. Таковы сигналы (или мы можем сказать «символы», но — в кавычках) в мире животных. Человеческие символы — иные. Они являются таинственными связями между отдельными островами–душами. Потому что каждая душа живет в особом мире. И недаром Тютчев говорил: «Мысль изреченная есть ложь». Легко себе представить, насколько трудно передать подлинные глубинные переживания. Переживания тайны мира, переживания любви, переживания полноты жизни или отчаяния совсем не укладываются в слова. Но я прошу вас обратить внимание на одну замечательную вещь. Когда Федор Иванович Тютчев сказал: «Мысль изреченная есть

ложь», — он ведь эту мысль все-таки изрек, и в прекрасной поэтической форме.

Как бы ни был несовершенен наш язык, как бы мало он ни был способен охватить таинственные пласты бытия, он все-таки нам нужен. Вот элементарный пример. Когда человек говорит, что он любит другого человека, каждый из нас вкладывает в эти древнейшие слова нечто свое, неповторимое, и все-таки он говорит те же слова, что говорили его отцы, деды, далекие пращуры. Оказывается, эти слова продолжают работать тогда, когда за ними стоит определенная душевная и духовная реальность.

Итак, любое слово — это символ. Но символы особенно важны для нас там, где мы соприкасаемся с реальностью невыразимого, с реальностью того, что выходит за пределы легкопередаваемых событий и фактов. Музыка существует для того, чтобы по-своему передать эти переживания. Поэзия — тоже. Но заметьте, что подлинная поэзия, когда она говорит о высочайшем, о таинственном, о духовном, о божественном, только тогда достигает своей цели, когда говорит косвенно, намеком. Те, кто более или менее знакомы с поэзией, вероятно, согласятся со мной, что когда поэт, даже крупный, пытается в лоб говорить о вещах, превосходящих наш обычный уровень, его покидают силы. Всегда вспоминаются заключительные строки «Божественной комедии» Данте. Когда он, описывая все мироздание, приближается к тайне вечного двигателя мира, Первопричины мира, Творца, он пытается охватить, осознать это и говорит, что здесь изнемог взлет его духа. Он уже ничего не мог сделать. Поэтому наиболее адекватна здесь символическая духовная поэзия, которая говорит с нами намеком, которая сигнализирует от души к душе лишь слегка, чтобы тот, кто может понять, понял, кто не понял — мимо.

Кстати, так же построена и иконопись. Она вовсе не претендует на адекватное изображение какой-то вещественной реальности. Это сумма символов. Вспомните новгородскую икону Илии-пророка в Третьяковской галерее с ее кроваво-красным фоном: этот напряженный цвет — символ бури, грозы, того внутреннего огня, который сжигает пророка. Вспомните мягкие, плавные линии «Троицы» преп. Андрея Рублева, таинственный круг, который можно прочертить, глядя на эти три фигуры. Это символы. Иконописец

отнюдь не притязает на то, чтобы изобразить неизобразимое, изобразить Бога; это было запрещено в Библии, потому что Божественная Вечность абсолютно превосходит все земное. И вот истинный художник дает нам символ. Что изображено на иконе Рублева? Воплощенная любовь. Трое, ведущие молчаливую беседу. Между ними — эти узы, это поле любви. Они похожи друг на друга и в то же время они разные; они одно и одновременно отличаются. Их связывает тайна любви — любви отдающей. Стол с жертвенным животным обозначает жертву Вечности, которую Бог приносит для того, чтобы приблизить мир к Себе и спасти его.

Впоследствии, в эпоху упадка духовного и художественного вкуса, стали изображать так называемую новозаветную Троицу, где одно лицо Божества изображалось в виде старика, другое в виде Иисуса Христа (каким Он был воплощен) и третье — в виде голубя. Это уже не символическое изображение. Это крайне неудачная попытка реалистического изображения.

Духовная литература, древняя священная мудрость Библии, догматы Церкви построены на принципах символизма. Они являются знаками, передающими людям Высшую реальность, которая открылась им во всей своей парадоксальности. Иногда спрашивают, почему Бог Один — и в трех лицах. Не проще ли было сказать, что Он просто Один? Наверное, рассуждая логически, это было бы так. Но духовный опыт христианства был иным, и пришлось жертвовать рассудочной логикой и создать догмат антиномичный, парадоксальный или диалектический, как бы это ни называть. Так же в отношении догмата о Христе. Кто Он? Человек? Да, отвечает Церковь, подлинный Человек. Значит Он — не Бог? Нет, говорит Церковь, Он — подлинный Бог, истинный Бог. Парадокс, противоречие? Проще было бы убрать одно из утверждений, чтобы все сошлось логически? Но нет. На самом деле Высшая реальность открылась как сверхлогическая тайна. И ничего не оставалось делать, как принять ее в парадоксальном виде, как она открылась.

Постигая законы мироздания, человек постепенно пришел к выводу, что и природа в глубине своей тоже построена на парадоксах. Возьмем хрестоматийный пример.

Анри Бергсон говорил, что наша элементарная логика есть логика твердых тел, то есть каких-то простейших соотношений. Между тем,

уже физика знает столько парадоксов, что наше рассудочное мышление как бы останавливается перед ними. Мы знаем, что существуют другие системы математики. Для простой рассудочной логики параллельные линии никогда не сойдутся, но для неевклидовой геометрии они сходятся; для логики вещь является либо непрерывной, либо прерывной — для физики частицы одновременно являются и непрерывными волнами.

Иными словами, человеческое мышление не может охватить целиком всю реальность. Поэтому физики создали так называемый принцип дополнительности. Это очень важный научный принцип. Он полностью подходит и к догматике, более того, — принцип дополнительности был употреблен в догматах Церкви задолго до Нильса Бора и других, кто этот принцип выдвигал в науке. Он заключается в том, что значительные и фундаментальные явления действительности могут быть описаны только в противоречивых терминах; соединяющего их интегрального описания невозможно найти в принципе — его не существует.

Отец Павел Флоренский, один из выдающихся христианских мыслителей XX в., говорил, что целокупная истина, падая с неба, как бы разбивается на отдельные части, и мы видим ее в таком расколотом состоянии. Еще Гегель отмечал, что Никео–Царьградский Символ веры изложен не в умозрительной форме, то есть это не философская или богословская система, — это цепь образов. Я бы сказал, художественных, емких образов, намекающих на ту реальность, которая стоит за этими словами.

Первое слово, которое произносит читающий Символ веры, — Верую. Часто это слово употребляется в негативном контексте, например — «слепая вера». Мы решительно протестуем против такого определения. Наоборот, вера является не слепой, а ясновидящей. Каждое познание требует определенного подхода. Как говорил русский философ Иван Ильин, один из крупнейших метафизиков XX в., необходимо осуществить «правильный акт» (у него было такое выражение). Он говорил, что если человек хочет увидеть картину, он должен иметь глаза — слепой или человек с завязанными глазами картину не увидит. Если хочешь слушать симфонию Бетховена, надо, чтобы у тебя были уши, слух. Если хочешь познать любую вещь — мельчайший объект, для этого нужны микроскоп и другие

приспособления; для отдаленных объектов — радио-и другие телескопы. Для того чтобы постичь высшую реальность, духовную реальность, инструментом служит наш собственный дух. И когда люди говорят, что им надо «пощупать Бога руками — где Он, покажите!» — то здесь содержится некое недоразумение: ведь самые важные на свете вещи пощупать нельзя. Покажите мне человека, который когда-либо пощупал совесть, любовь, вдохновение, мудрость. То, что делает человека человеком, то, что является главной особенностью нашего человеческого бытия, основано на вещах, которые нельзя пощупать.

С определенного времени в истории, лет 300–400 тому назад, у человечества стало возрастать искушение придавать самое большое значение вещам, которые можно пощупать, измерить и взвесить. Никто не возражает — эти вещи существуют, и изучать их, и пользоваться ими, и создавать их человеку необходимо. Но когда возникало увлечение ими, когда уже ничего не оставалось, кроме чувственного мира, человек ступил на ложный путь развития. Потому что он тем и отличается от животного мира, что в нем возможно развитие сверхчувственных сил и способностей. Познание, любовь, свобода — это все сверхчувственные вещи, сверхвременные. Подчеркиваю, они потенциально заложены в человеке как способные стать сверхвременными. Но перед нами огромное искушение. Человек ставил себе задачу: иметь как можно больше пищи, одежды, хорошие материальные условия личной жизни. Хорошо это? В принципе, да, — но только при условии, если человеческое в нем также будет развиваться. Ибо иметь как можно больше жилья, одежды и так далее — это не человеческое, это у нас общее со всеми живыми существами. И птица должна иметь гнездо, и звери должны иметь нору, и антилопа должна иметь место, где она будет пастись, и каждая птица имеет свой охотничий регион, где она может питаться. Это общебиологическая закономерность, борьба за существование. Конечно, она есть и у растений, и у животных, и у человека.

Но человек стал человеком тогда, когда в нем появилось особенное начало, которое над всем этим возвышается. Если мы возьмем лучших — подчеркиваю, лучших представителей человечества: великих мудрецов, святых, поэтов, художников, героев, — то мы сразу увидим, что ради своего внутреннего мира, ради своих принципов, идей, убеждений они часто шли вразрез

потребностям тела. Они могли не спать ночами, долго обходиться без пищи, жертвовать удобствами, семьей, комфортом, даже жизнью. И когда человек устремлялся только на материальное, он начинал душиТЬ в себе эти высшие потребности.

И возникли две модели. Одна модель — реальное стяжательство. Реальное стяжательство означает, что человек целиком устремлен на материальные блага. Эта болезнь до сих пор существует во всем мире. Чем она кончается? Катастрофой, особой катастрофой, потому что человек здесь обманывает свою природу и, пресыщенный, начинает бесноваться. Вот откуда в высокоразвитых странах возникают самоубийства, наркомания и прочее.

Вторая модель — утопия, когда материальное благополучие не дается, но без конца обещается. И поэтому люди к нему стремятся в течение десятков лет, через всяческие жертвы, как к некоей недостигаемой цели, и в конце концов не достигают ни духовного, ни материального. Все это тоже кончается глубоким нравственным, социальным и хозяйственным кризисом.

Только гармония между духовным, физическим и психическим в человеке может обеспечить нормальное, гармоничное развитие.

Вера есть стержень, в котором человек обретает единство собственного «я». Поэтому потенциально каждый человек, даже воинствующий атеист, в подсознании своем является верующим. Неверующих людей не существует — потому что дух человека запрограммирован на бессознательное стремление к Высшему началу. История XX в. доказала нам это с необычайной наглядностью. Недаром Мао Цзэдун перед смертью говорил одному из журналистов, что он понял значение тайны Бога, только раздумывая над собственным культом. Он понял, что человек, лишенный представления о Боге, в конце концов будет обоготворять все что угодно. И это оказалось совершенно очевидным.

Во всех странах, где так или иначе пытались уничтожить понятие о Божественном начале, его немедленно подменяли чем-нибудь другим, гораздо более вульгарным, гораздо более ничтожным; создавался идол, в роли которого оказывались либо отвлеченные социальные призраки, либо политические деятели, из которых больше половины были негодьями — всегда, во все века.

Итак, вера есть бессознательное стремление человека к высшему смыслу бытия, его принятие. Более того, вера есть состояние человеческого духа, которое достигается этим бессознательным восприятием смысла бытия. Если смысл есть — стоит жить. Когда смысл полностью уничтожается, у человека как бы выпадает стержень жизни и он заживо гибнет. Есть вера осознанная — такова христианская вера. Она осознана, к чему человек стремится и почему. Она — то и говорит нам о едином Боге Отце, Вседержителе, Творце неба и земли.

Это первый пункт Символа веры. Бог — единый. Почему? Потому что человек всегда ощущал за многообразием духовных и физических начал нечто единое. И наука оказалась на том же пути. Падает метеорит. Ученые изучают его состав. Оказывается — те же элементы, что и на Земле. Спектральный анализ проникает в глубины звезд, открывает их состав — там та же таблица Менделеева. Всюду действуют общие законы, все как бы подчинено некоему единому замыслу. Недаром знаменитый английский астроном Джеймс Джинс говорил, что Вселенная сегодня больше похожа на огромную мысль, чем на огромную машину.

Что стоит за этим совершенством Вселенной? Откуда эта закономерность? Когда нам говорят, что нет чудес, я сразу думаю о том, что самое большое чудо — существование мира, причем чудо, которое человек может познать.

Аристотель говорил, что всякое познание, и научное в том числе, начинается с удивления. Человек изумляется тому, что он видит. Вторя ему, Альберт Эйнштейн писал, что тот, кто потерял способность изумляться, душевно мертв. Знать, что существует сокровенная реальность, которая является как высшая мудрость и совершенная красота, — это знание, это убеждение есть ядро подлинной религиозности.

В эпоху создания классической механики, которая предшествовала эйнштейновскому пониманию мира, один из основателей небесной механики, Иоганн Кеплер, говорил: «Когда я изучаю законы мироздания, я как бы прикасаюсь к Богу руками».

В XVIII в. шведский ученый Карл Линней, создавший классификацию животных и растений, которой мы до сих пор пользуемся, закончив свою работу, написал: «Бог прошел мимо меня, я

видел Его в Его творениях». Основатель экспериментальной науки Фрэнсис Бэкон писал: «Лишь поверхностное знание уводит от Бога, глубокое познание, напротив, опять к Нему возвращает».

Несколько лет назад в Москве вышла книга «Диалоги». Там, в частности, помещена статья физика Чарлза Таунса, одного из создателей мазеров, нашего современника. Статья эта называется «Единство науки и религии».

Как наука постигает материальную часть мира, так вера познает его духовную основу. Но и та и другая теснейшим образом связаны между собой — потому что и та и другая познают в конце концов Творца и Тайну. Удивительно, что человек способен ощутить Творца просто интуитивно. На самом деле наше глубинное интуитивное познание — это и есть тот орган, который может постичь «Отца всяческих».

Когда человек смотрит на жизнь не поверхностно, когда он не скользит по вещам, когда он задумывается над чудом атома, клетки, расцветающего цветка, сложностью собственного устройства, то чем больше он проникает в это, тем сильнее его бесконечное изумление.

Вселенная — гигантский организм. Любая вещь, созданная человеком, требует усилий, искусства, таланта и разума. Но насколько велик и необъятен должен быть тот разум и тот гений, который стоит за всей Вселенной! К нему подводит нас все то, что нам известно о мироздании.

Разумеется, я не буду останавливаться на примитивных аргументах, которые вытаскивали из пыльных ящиков лет тридцать назад, когда я еще только начинал служить. Я помню, тогда был плакат с изображением спутников. И там была забавная надпись от лица спутников, что они всю Вселенную обошли — нигде Бога не нашли. Конечно, вызывало сомнение само это утверждение, что они обошли всю Вселенную. Надо иметь некоторое представление о том, что такое Вселенная, чтобы понимать, насколько такое утверждение бессмысленно.

В связи с этим вспоминается притча, написанная Солоухиным о том, как один карась решил выяснить, что происходит «по ту сторону». Выпрыгнув из воды на несколько сантиметров, он плюхнулся обратно и заявил: «Ну, там никакой жизни нет, конечно, там вообще жить

нельзя». Так вот, человек поднимается над своей планетой не больше, чем этот карась — над своей.

Но в пространстве Божественное начало вообще искать нельзя. Бог не находится ни тут, ни там. Он здесь или всюду, Он пронизывает всё. И когда человек постигает Его, он постигает не вещь, которую можно сфотографировать или измерить, — он открывает Его своим внутренним взором. В свое время было принято говорить, что эта вера, которую мы называем религиозной, уводит человека от жизни. Между тем только она и наполняет смыслом нашу жизнь. Значит, для чего-то мы созданы, значит, для чего-то создана Земля, для чего-то создана вся природа, к какой-то цели Высший разум ведет и человека, и жизнь. И тогда Он дает нам вдохновение, тогда мы не просто пузыри, которые лопаются на поверхности кипящей жидкости, а каждый из нас является образом и подобием Творца.

О Боге Символ веры говорит как об Отце и Творце неба и земли. Что это значит? Понятие отец подчеркивает, что это не безличная стихия вроде той, которую изобразил Карел Чапек в романе «Фабрика Абсолюта». Там, в этом фантастическом романе, герои выделили из материи некий сверхъестественный элемент. Нет, это не стихия, Отец — это личностное начало. Потому и человек — личность, что он отображает в себе высшее личностное начало Божие — Творца неба и земли.

Что такое небо и земля? Это очень древнее обозначение Вселенной. Еще за шесть тысяч лет до нас древние шумеры называли Вселенную Ан-ки, что значит «небо и земля» — два полюса бытия. Так же и Библия начинает свое повествование словами «В начале сотворил Бог небо и землю», то есть все основные параметры Вселенной.

И еще два параметра указываются в Символе: Видимым же всем и невидимым. Он — Творец всего видимого и невидимого. Эти слова приводят нас к идее двойственности всего мироздания, двойственности нашей природы. И человек, который является микрокосмосом, то есть маленькой вселенной, соединяет в себе все. В наших тканях, в наших костях живут минералы. В каждой клетке нашего организма заложены те же принципы, что и в клетке любого растения. В нашей физиологии заложено все то, что есть в физиологии высших животных. Но, кроме этого, у нас есть еще и невидимое

начало, то самое начало, которое мы называем духом. Душа, если говорить строго, является связующим звеном между духом и телом.

Дух отличается прежде всего творчеством. Только дух творит. В животном мире творчества нет. Поэтому человек похож на Бога. Дух познает нравственные ценности, выбирает между добром и злом. Дух свободен, потенциально свободен — поэтому человек несет ответственность за свои поступки. Дух не материален, он не имеет цвета, формы, веса, не занимает пространства, поэтому он и неразрушим. Почему разрушима материя? Потому что она из чего-то создана: из молекул, атомов, элементарных частиц, которые двигаются в пространстве. Что такое движение? Это изменение местонахождения в пространстве. Творчество, сознание, любовь не находятся в пространстве, поэтому материальное движение им недоступно, и разрушение тоже. Душа человека внутренне обогащается, она может расти, но рост ее не материальный. Растет дерево, растет организм. Растет и дух — но совсем по-другому. Все свойства духа суть динамические величины. Я подчеркиваю, динамические величины, то есть они могут увеличиваться и уменьшаться. Можно закопать талант в землю, можно его развить; можно учиться любить, а можно подавить в себе это стремление, и т. д. То есть не надо думать, что этот дар нам дается в готовом виде, что он появляется, как Афина из головы Зевса, и больше ничего не надо добавлять. Нет, вся человеческая жизнь является развитием духовных свойств. Библия называет эти свойства образом и подобием Творца.

Человек является образом и подобием природы, я уже говорил об этом. А как творец, как познающий добро и зло, как мыслящий, охватывающий всю Вселенную, он — подобие своего Создателя. В этом отношении он бесконечно возвышается над всем. Блез Паскаль, знаменитый физик и философ, писал, что человек — былинка, тростинка, что ничего не стоит уничтожить его, малой капли достаточно, чтобы его убить. Но если вся Вселенная обрушится на него, он будет выше ее, потому что она обрушится на него бессмысленно, бездумно. Только он один будет понимать, что он погибает.

Человек явился в последний миг истории мира. Для нас остается тайной, создан ли он только на Земле или и в других мирах. Практически сегодня мы говорим пока только о нашем, земном

человечестве. Могут быть два варианта: либо Бог заселил Вселенную другими человечествами, либо наше человечество является эпицентром, откуда со временем пойдет разумное заселение всей Вселенной. Но важно другое, то, что мир, согласно Библии, согласно Священному Писанию, — это не готовая вещь, а некая заданность, призвание человека. И когда человек изменяет своему призванию, он начинает разрушать мир. Вместо того чтобы его преобразить, одухотворить, он его загаживает. Вместо того чтобы развивать способности духовного познания, он тупеет. Вместо того чтобы углублять братство и любовь, он звереет. И это в конце концов приводит к тяжким последствиям.

Не надо думать, что Божественное наказание есть наказание уголовное. Часто меня спрашивают, почему говорят: «Бог наказал» и прочее. Нет, Бог не уголовная инстанция. Но Он создал определенный нравственный миропорядок, и в этом нравственном миропорядке посеянное зло в конце концов оборачивается против того, кто его посеял. Человек несет ответственность за то, что он создал, причем эта ответственность связана с глубокой солидарностью людей. Люди связаны между собой, и когда мы творим зло, то это не наше личное дело — это всегда распространяется вокруг.

Таким образом, первый пункт Символа веры касается главного пункта любой религии. То, о чем я сейчас говорил, является догматом и ислама, и иудаизма. И даже язычники, которые почитают Божество в отдельных явлениях природы, все-таки знают, что за отдельными явлениями сокрыта Высшая реальность. Поэтому первый пункт Символа веры вводит нас только в преддверие христианского вероучения. Пока это еще религия в самом широком смысле этого слова. Является ли это отвлеченной теорией, метафизикой, богословием, философией? Нет, и богословие, и философия лишь осмысляют ее.

На самом деле для каждого человека существует возможность глубочайшей таинственной личной встречи с Высшей реальностью. Человек может и должен всегда искать к ней путь. У нас никогда не будет полноты жизни или того, что мы называем счастьем, если мы будем отрезаны от этой реальности. Мы никогда не будем по-настоящему счастливы, если будем подменять ее идолами: рано или поздно идол упадет, и мы увидим, что он бессилен и бесславен.

В течение ста тысяч лет, с того момента, когда человечество осознало себя, оно всегда было устремлено к Небу, всегда искало Бога. Как говорит нам Библия, Бог создал человека, и человек Его ищет — а на самом деле Он не далек от каждого из нас. Так сказано в 17-й главе книги Деяний апостолов. История человеческого духа и культуры — это история богоискания. И только на отдельных отрезках истории как бы вспыхивало черное пламя бездуховности — попытка отказаться от стремления к Вечности. Таковы были попытки материализма в Древней Индии, Древнем Китае, Древней Греции и в нашем столетии. Но это аномалии духовного развития. Нормальное духовное развитие всегда проходило под знаком веры, под знаком того, что мы называем религией.

Слово «религия» происходит от латинского релиigare — связывать. Мы — отдельные люди, и есть тайна, которая нас связывает друг с другом, связывает нас с Высшим, связывает нас с целью бытия и каждому в отдельности придает непреходящий смысл. Мы больше не песчинки, мы больше не мусор и не осенние листья, которые падают на землю. Каждый из нас бесконечно драгоценен, как жемчужина, извлеченная из волн. Каждая душа — это жемчужина. Все зависит от того, как она обработана. А обработка — это и есть духовная жизнь, духовное усилие.

Таков первый пункт Символа веры. Дальше мы будем двигаться по основным темам Символа. Разумеется, я не могу охватить эту неисчерпаемую проблему во всей полноте. На некоторые вопросы я попытаюсь ответить позже. А сейчас я благодарю вас всех. Я был очень рад, что вы собрались здесь, чтобы услышать древнее и вечно юное слово Церкви — тот Никео-Царьградский Символ, на котором стояло христианство в течение столетий и будет стоять неизменно, все время открывая в нем новые и новые глубины, все время постигая его, ибо здесь — путь, не имеющий конца, путь в бесконечность. Это открытая модель, модель полета и путешествия к свету.

Спасибо.

БЕСЕДА ВТОРАЯ

Бог открылся человеку как Бог живой, как Бог, говорящий с ним. Познание Бога — не односторонний процесс, как познание природы; это — встреча. Поэтому здесь мы употребляем слово Откровение, но не открытие. Открытие в сфере природы всегда есть нечто одностороннее — человек познает природу. Когда человек познает Бога — они встречаются. Это встреча двух личностей. Это диалог.

Слово Отец завещано нам Самим Иисусом Христом. Он вкладывал в это слово и эмоциональную теплоту (Отец как заботящийся, как любящий), и таинственный смысл, связанный с Его личностью. Он наш Отец, и Он — Его Отец, но совершенно по-разному. Мы подойдем к этому впоследствии, когда будем говорить о личности Христа.

Мы называем Его также Вседержителем. Вседержитель — это тот, кто постоянно поддерживает бытие. Бытие нам не принадлежит, мы его получаем и можем утратить. В 103-м псалме сказано: когда Бог лишает мир Своего Духа, все превращается в пыль, «в персть свою возвращается». Значит, таинственное имя Божие — Сущий, которое, вероятно, звучало как Яхвй, означает: «Тот, Кто имеет Бытие», «Кто есть». И когда пророк Моисей спросил Его: «Кто Ты?», Он ему ответил: «Я — Тот, Кто существует». Таково определение Бога.

Он — Вседержитель, Творец неба и земли. Не излияние, не эманация, не единосущность человека и Бога или природы и Бога, а нечто совершенно иное. Между абсолютным Творцом и творением — нами и всем остальным, что создано, — лежит пропасть, потому что мы суть тварь, творение. И это — одна из особенностей христианского видения бытия. «Да будет свет», — говорит Бог. Да будет — Он создает из ничего. И это не значит, что ничто есть какая-то сущность; просто бытия не существовало, и Он дал ему начало.

Обратимся ко второму тезису Символа веры, который звучит так: И во единого господа Иисуса Христа, Сына Божия.

Для того чтобы понять эти слова, необходимо обратиться к Библии, к Священному Писанию, потому что без него мы не поймем ни одного из этих слов. Ибо Иисус — земное имя Бога, открывшегося

в человеке, Христос — это понятие, означающее «царь», «помазанник». Почему «царь» и что означает Сын Божий — об этом мы будем говорить далее.

Итак, Бог Священного Писания, Бог Библии, — это тот Бог, Который говорит человеку. И Откровение Его, то, что Он вкладывает в человеческое сердце, записано мудрецами и пророками древнего Израиля, а уже в новую эру — апостолами, которые составляли Евангелие и другие книги Нового Завета. Не следует думать, что боговдохновенность Священного Писания заключается в том, что авторы его писали как бы в трансе, писали как бы под диктовку. Уже Отцы Церкви показывают нам, что такое мнение — а оно существовало — ложно. Ибо каждый из библейских авторов пишет в своем стиле, у него есть свой язык, свои литературные приемы, свой характер. И даже если мы возьмем четырех евангелистов (Евангелие наиболее доступно, многие из вас его читали), сразу же можно отметить глубокое различие между скупым, лаконичным, немного простонародным языком Евангелия от Марка и языком Евангелия от Иоанна с его длинными периодами, обилием диалогов, с его совершенно иным построением. Поэтому мы можем говорить о боговдохновенности Библии как о некоей Богочеловеческой тайне, как о пересечении двух миров: души человека — сына своего времени, человека, который пронизан идеями своей эпохи, с особенностями своего языка и страны, — и потока Духа, который через него протекает.

Образно это можно выразить так: как солнце, проходя через кристалл, через цветное окно витража, меняет свой цвет и свет, так и Откровение, проходя через душу пророка или апостола, передается по-разному. И поэтому необходимо помнить: хотя мы иногда говорим, что Библия имеет одного автора — и это Бог, но в то же время у нее много авторов — это люди, и люди совершенно разные. Вопрос о том, как отделить в Библии то, что является центральным и существенным, от преходящего, временного, частного, и составляет как раз предмет одной из дисциплин обширной библейской науки. Но каждый человек, который открывает Священное Писание не только из любопытства, а для того чтобы услышать голос, обращенный к нему, услышит этот голос через века, через особенности языка, стиля и конкретного мышления.

Библия делится на две части: Ветхий Завет и Новый Завет. Что связывает их? Одно слово, одно понятие, одна реальность, одна сила. Мы определяем ее как Христос.

Христос — значит «Царь». О Нем говорит Новый Завет, его предвосхищает Ветхий Завет. Но почему «Царь»? Что значит для нас это Царствование и откуда этот термин?

Для начала я скажу вам о Завете. Когда человек, обуянный гордыней, бросает вызов природе и Богу, он хочет действовать сам. И хотя такие порывы часто кажутся нам возвышенными, они обречены на поражение. Когда человек склоняется перед Богом как перед деспотом, как перед давящей и беспощадной, деспотичной силой, он подменяет истинного Бога — Бога свободы и любви — идолом. Против всего этого выступает, этому противостоит центральная библейская идея Завета. На древнееврейском языке это слово звучит как брит, по-русски — союз, а по церковно-славянски — завет. Это союз между Богом и человеком.

Вы спросите, может ли быть союз между преходящим, несовершенным, эфемерным существом, каковым является человек, и Божественной вечностью, «Тем, Кто создал мирозданье, Самовластным, Всемогущим», — как говорил Шота Руставели. Оказывается, это возможно. Почему? Та же Библия учит нас, что Бог поднимает человека. Он создал его из праха, из пыли, но вдохнул в него дыхание жизни от Самого Себя. Таким образом, тайна человеческого двуединства, тайна парадокса человеческого существования заключается в нашей сопричастности как природе, обреченной на изменение и умирание, так и небесному, духовному, Божественному.

Человек призывается быть сотворцом, соучастником Бога. Он как бы становится Его подобием на земле. И Библия прямо употребляет этот термин — человек есть образ и подобие Творца. господь говорит: «Сотворим человека по образу и подобию Нашему». А если так, то человек — потенциально свободное существо, человек — творящее существо, человек — существо мыслящее, самосознающее и постигающее нравственные истины, существо этическое. И поскольку человек несет в себе образ и подобие Божие, он выше всего в мироздании, он сразу вырастает над миром, он становится исполином — по сравнению с природой, но не по сравнению со своим

Творцом. Но зато он может быть с Ним соотнесен. И поэтому Бог осуществляет свои замыслы через нас, людей: через всех вместе и через каждого отдельно.

Библия учит нас тому, что в этом мире замысел Творца не господствует, не торжествует, не царствует, что в этом мире, который открыт свободе, буйствуют демонические силы, противящиеся гармонии мироздания, противящиеся конечным целям Божества; Иисус Христос называет сатану «князем мира сего». И в свете этого мы можем понять библейский термин «Царство Божие», или Царствование Бога. Это — цель мироздания, та песнь гармонии, та полнота бытия, то бесконечное совершенствование, которое открывается перед природой только тогда, когда она сама выберет этот Божественный путь. Но как природа может выбрать, если она не имеет свободной воли? Она имеет ее в нашем лице: потому что человек есть природа, осознавшая саму себя. Человек есть венец природы, и мы несем ответственность за животных, за растения, за всю планету — мы от ее лица предстоим Богу.

Апостол Павел говорит, что вся тварь (то есть все творение) «стенает и мучается», ожидая откровения сынов Божьих. Это мы — сыны Божьи, дети Божьи, мы должны ими быть. И когда человек отступает от этого призвания, он становится угнетателем природы, ее растлителем, разрушителем; он поворачивается спиной к собственному Творцу, он разрушает свою душу. Вместо гармонии и полноты, симфонии жизни он создает чудовищную какофонию зла, распада и гибели.

Вы можете спросить: а как же Творец этого не предвидел? Это наивный вопрос, который умаляет Творца и изображает Его в виде какого-то мастера, изготавливающего робота, который потом выходит из-под контроля. Это совсем не так.

Если мы свободные существа — значит, для нас открыта потенциальная возможность избрать ложный путь. Но когда мы получим те последствия, которые влечет за собой этот выбор, мы не должны говорить, что повинен Бог: ибо Он через своих мудрецов и пророков и, наконец, через Евангелие Христово предупредил нас об этих последствиях. «Вот, — говорит Он через пророка Моисея, — Я полагаю перед тобой два пути: путь жизни и путь смерти». Тогда вы спросите: «А почему же человек так часто выбирает путь смерти?»

Рационального, философски отвлеченного, логически обоснованного ответа на этот вопрос нет и принципиально быть не может.

Великий русский мыслитель Николай Бердяев подчеркивал, что до конца объяснить волю ко злу — значит его оправдать и рационализировать, то есть сделать его разумным, а воля ко злу — это слепой порыв. И мы из своего личного опыта способны почувствовать эту абсурдность, эту чудовищность, это безумие зла. В истории человечества зло, как правило, было иррационально. Если мы бросим взгляд хотя бы на события нашего XX столетия, мы увидим здесь столько настоящего безумия, что невольно возникает вопрос о массовом сумасшествии людей.

Ничего по-настоящему рационального не было в деяниях диктаторов, угнетателей, тиранов. Что толкнуло Адольфа Гитлера на войну против нашей страны? Разве рассудок, разве здравый смысл? Что толкало Сталина на войну против собственного народа? Разве здравый смысл? Если бы здесь был здравый смысл, Сталин понимал бы, что истреблять миллионы людей, причем лучших из них, — это значит через пару поколений поставить страну на грань катастрофы. Но он был в безумии и был окружен безумными людьми, такими же, как Гитлер. Только у Гитлера это безумие было очевидным, у Сталина же о нем было известно лишь Бехтереву и другим психиатрам, которые ставили ему диагноз паранойя.

Итак, зло — это безумие, в глубину которого мы с вами никогда не погрузимся и никогда не поймем, что это такое. Только поэты, люди, интуитивно чувствующие и изображающие реальность, могут намекнуть на эту бездну. Но она существует.

И когда человечество противится Богу, Он не бросает его. В этом смысл библейского сказания о потопе. Многие люди начинают рассуждать, как два генерала у Салтыкова-Щедрина: был потоп или не был. А это аллегория. Разве вы думаете, что Библия описывала это событие просто потому, что была такая катастрофа? Да мало ли было глобальных катастроф на Земле, извержений, наводнений? Для чего в Священной книге понадобилось говорить об этом? Для того чтобы показать нам, что когда человечество изменяет своему призванию, мир теряет смысл и снова возвращается в водный хаос, то есть в первобытное состояние.

И вот Бог не дает погибнуть всему и все-таки находит среди нас тех, кто будет продолжать соучаствовать в Его труде. Здесь и возникает Завет — Завет Древний, или Ветхий. Первый его этап — Завет с Авраамом.

Почти за две тысячи лет до Р. Х. кучка людей покидает Месопотамию (современный Ирак) и движется на запад. В то время переселялись многие народы. Но эта группа людей, возглавляемая Авраамом, шла не просто в поисках новых пастбищ или новых земель. Причины переселения были религиозными. Бог призвал Авраама и сказал: «Иди, оставь дом своего отца, оставь язычников, оставь свою землю, иди в другую землю, куда Я тебя поведу». Серен Кьеркегор, знаменитый датский философ XIX в., писал: «Авраам стал героем веры, потому что он пошел навстречу неведомому, потому что он полностью доверился этому таинственному голосу, который его призывал». Авраам — герой веры, потому что он шел вопреки всему. Бог обещал ему потомство, через которое благословятся все народы и племена земли, — но жена его была бесплодна и в преклонном возрасте. Бог обещал ему землю — но он был странником и чужаком. Он ничего не имел — кроме полного доверия к Богу. Он сказал высшему Бытию: «Да. Вот я, я иду за Тобой».

Поэтому апостол Павел две тысячи лет спустя говорит об Аврааме как о нашем всеобщем отце, отце всех верующих, прототипе человека, который доверяет Богу. Слово «вера», в древнееврейском языке — эмуна, имеет тот же корень, что слово амун — надежный, верный. Он Ему поверил и поверил в верность Бога Своему слову. Бытие, которое нас окружает, может казаться нам страшным, угрожающим, может казаться мрачной силой, и тогда оно таким и будет. Авраам был подобен другим язычникам, которые знали о демонических силах, окружающих мир, но он посмотрел выше и сказал: «Да, я иду». «Поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность», — читаем мы в книге Бытия. Заметьте, обратите внимание: не сказано, что он поверил в Бога; поверить в Бога, в конце концов, суждено каждому человеку, а он поверил Богу, он Ему доверился, он поверил, что это слово есть действительно Высшее слово. И он не стал спрашивать: «Как же у меня будут потомки, если жена моя не может родить ребенка?» Он не спрашивал: «А как через моих детей благословятся

все племена и народы земли?» Он ни о чем не спрашивал — поднялся и пошел. И Бог заключает с ним первый Завет.

Второй Завет будет заключен через несколько столетий, ок. XIII в. до Р. Х. Отдаленные потомки Авраама, небольшой клан, которые называли себя сынами Израиля, поселяются в Египте. Там им приходится терпеть притеснения фараона, и тогда Бог посылает им пророка, воспитанного среди египтян, носящего египетское имя Моисей. Он призывает их идти на свободу, зовет заключить с Богом Завет в пустыне — не в богатом Египте, где хотя и приходилось работать подневольно, но они были всегда сыты, имели кров и относительную безопасность, а в пустыне, где нет ни воды, ни жилья, где обитают демоны.

И Моисей с огромным трудом поднял этих людей, за долгое время укоренившихся в неволе, косных, и они шли за ним — в постоянном ропоте и оглядываясь назад, на дом рабства. Это становится вечным архетипом, потому что каждый человек — раб зла, которое в нем сидит. И для того чтобы вырваться из рабства, необходимо совершить подвиг веры и пойти навстречу неведомому.

И вот они приближаются к горе Синай на юге Синайского полуострова, и там Бог через Моисея дает им десять заповедей. Из этих десяти заповедей только четыре относятся к Богу: полное Его почитание, отвержение всяких идолов, благоговение перед именем господа, посвящение одного дня в неделю Богу. А все остальные относятся к человеческим отношениям.

Какой отсюда вывод? Это означает, что согласно Моисееву Откровению, служить господу можно в первую очередь тем, что ты служишь людям, братьям и сестрам твоим. Моисей принес эти заповеди на двух каменных досках—скрижалях; наверное, вы все помните их по репродукциям микеланджеловского Моисея, который держит эти каменные доски. Он дает две основные заповеди, которые впоследствии Иисус Христос определит как главные заповеди, на которых строится весь Ветхий Завет: возлюби господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоею, и ближнего своего, как самого себя. Вот две заповеди.

Что это означает? Мы можем понять, что значит любить ближнего. В конце концов, Бог устроил так, что природа учит мать любить своего ребенка, мужчину — любить женщину, женщину —

мужчину и т. д. в узком семейном кругу. Но из этой естественной любви возрастают и более широкие связи — дружеские связи; можно любить свое отечество, можно любить своих единомышленников, единоверцев. А как любить Бога? Между тем апостол Иоанн в Новом Завете скажет: «Кто не любит брата, тот не любит Бога». Значит, это неразрывно связанные между собой заповеди. Конечно, вопрос этот решается только во внутреннем христианском опыте, вообще во внутреннем религиозном опыте.

Любовь к Богу начинается с благодарности. Ведь мы необычайно неблагодарные существа, и что бы у нас в жизни ни происходило, добро мы принимаем как должное. А вот представьте себе на минуту, что мы ведь действительно ничего не заслужили из того прекрасного, что есть в жизни. Блестящий снег, голубое небо, осенний лес, звуки музыки — вся жизнь, вся красота жизни, полнота жизни, которая нам дана и которой мы так плохо пользуемся, — часто ли мы благодарим за это?

Здесь мне хочется напомнить стихотворение Дмитрия Мережковского, который как раз об этой благодарности и писал:

О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю...
Везде я чувствую, везде
Тебя, господь, — в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.
Пока живу — Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру — с Тобой сольюсь,
Как звезды с утренней зарей.
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала.
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть — благодарю...

Благодарность за все. Один французский писатель в прошлом веке незадолго до смерти писал в своем дневнике: «У меня была прекрасная жизнь, я не знаю, кого благодарить, но я благодарю от всей

души». Это искреннее признание дорогого стоит. Подумайте об этом. Можем мы любить солнце, ночь, звезды, любить воду, которую мы пьем, пищу — все, что нам дается? Подумайте о бытии, в которое мы включены, — сколько счастья в это вложено, хотя мы этого не заслужили и его отравляем и портим. Чьи это руки нас объемлют? Вот тогда вы вдруг ощутите, что Бога можно любить и что на самом деле можно любить только Его. Потому что все то, что мы любим на свете и кого мы любим, — все это через Него, в Нем, с Ним. Поэтому древнейшая заповедь о любви к Богу есть начало религии. В этой любви — и удивление, и восхищение, и, прежде всего, опять повторяю, благодарность.

Ветхий Завет содержит в себе важнейшее открытие: нравственное состояние общества теснейшим образом взаимосвязано с судьбой этого общества, и человек должен не просто в мечтах, а в реальной жизни осуществлять правду, добро и справедливость.

Когда дальнейшие события показали, как слабы и недостойны люди, явились пророки — великие писатели, создатели основных книг Ветхого Завета (за исключением Моисеевых), которые провозгласили: «Завет нарушен, и будет возмездие общине Ветхого Завета, древнеизраильской Церкви», — возмездие, потому что зло порождает зло.

Прежде всего, был соблазн язычества. Иной раз мы удивляемся, почему люди так тянулись к язычеству. Так происходило, потому что язычник обоготворял войну, плодородие, секс, золото — все это представляло в виде богов, властителей, или, как их называли на Востоке, ваалов, которым поклонялся народ. Это осталось и теперь, только носит другие названия.

Пророки выступали против тирании, несправедливости, угнетения, против религиозного формализма, против обрядоверия, против национального превозношения и шовинизма, против войн и насилия. По этой причине мы можем сказать: прав был Петр Чаадаев, который писал, что учение пророков — это не что-то ушедшее в прошлое и дорогое для нас лишь потому, что пророки предсказывали явление Христа, но это учение, которое актуально и сегодня.

Но пророки предсказывали также, что Бог заключит с Остатком Церкви (это особое понятие — Остаток, то есть те, кто сохранил верность) Новый Завет, по-еврейски Брит Хадашб, и предсказывали,

как это свершится. Воля Творца, Царство красоты, полноты, гармонии, симфонии мира явится через Того, Кто будет истинным Царем человечества — не победоносным монархом, проливающим кровь и наступающим на голову врага, не диктатором и тираном, а Тем, Кто Сам придет к людям и будет страдать их страданиями, болеть их болезнями и примет на Себя грех мира, как бы примет на Себя тот удар возмездия, который неизбежно падает на мир, напоенный ядом зла.

Он принесет на землю Царство Божие.

И вот мы на пороге Нового Завета. Вы все знаете о празднике Рождества Христова, который воскрешает в нашей памяти великое событие — явление на земле истинного Царя.

Царь в древности назывался помазанник, по-еврейски — машъах (в греческой транскрипции — мессия); это слово сохранилось впоследствии и в русской терминологии. Происходит этот термин от обряда помазания. В глубокой древности, когда вождь, царь или пророк шли на свое служение, на их голову возливали чашу освященного елея — масла оливы, — который издревле символизировал сохранность, ограждение от дурного. По-гречески слово «помазанник» звучит как Христос.

Таков Царь Нового Завета. Один из поэтов прошлого века написал трогательную песенку: «Он родился не в палатах и не в убранных домах, там не видно было злата, где лежал Он в пеленах». Само рождение Христово происходит в убогой обстановке. Он рождается на задворках дома, там, где держат скот, и Его пеленают не в колыбельке, а в кормушке для скота. Христос приходит не как учитель, имеющий санкцию от авторитетных людей своего времени, не как завоеватель, не как жрец, не как философ, окруженный мудрыми учениками. Он приходит к людям как простолюдин, плотник из провинции. Он скрывает Свою тайну и открывает ее только тем, кто, увидев Его, узнал в Нем Божественное присутствие.

Для чего все это было нужно? Для чего это нужно и теперь? Для того, чтобы человек принял Его свободно, добровольно, чтобы не было никакого насилия над духом и совестью людей. Бог-громовержец, Бог-властелин в какой-то мере является проекцией наших затаенных мечтаний, нашего подсознания. Когда мы хотим иметь такого господина, в нас живет раб, в нас живет тот, кто ищет «твердой руки».

А мы видим другую руку — руку Христа, пронзенную и прибитую ко кресту. В Нем нет никаких проекций наших мечтаний. Он принял в своей судьбе всю горечь человеческого существования: и труд, и непонимание близких, и горечь отвержения, и предательство, и неправый суд, и пытку, и смерть — все. Он вошел и спустился на дно нашего бытия, и призвал к Себе тех, кто сумел Его разгадать, разглядеть эту искру во мраке.

«Свет во тьме светит», — говорит нам апостол Иоанн. Евангельский свет светит во тьме. Это Новый Завет. Ветхий Завет заключен с Авраамом и Моисеем. Новый Завет заключен на Тайной вечере.

И здесь — уже совсем уничиженное состояние Христа: не храм, не торжественный зал, а темная комната, где при лампадах собрались ученики, и Христос совершает таинственный обряд, и хлеб и вино перед ними.

Так был заключен Новый Завет — союз сердца, союз любви. Он продолжает жить и сегодня. Мы живем в трудную, но прекрасную эру Нового Завета.

Христос соединил Небо и землю, поэтому Он — единый господь. Иисус — Его земное имя, по древнееврейски Йешуа, по-гречески и по-русски — Иисус; Христос — это Царь, Царь нашего сердца, Царь грядущего мироздания, Царь, который противопоставил Свое Евангелие всем царствам мира сего.

Он принадлежит Небу, хотя пришел на землю. Поэтому мы называем Его Сыном Божиим. «Сын» на языке Библии означает «тот, кто принадлежит». Христос принадлежит Божественности. Он одновременно наш брат и наш Бог.

Огромные просторы Вселенной, бесконечные черные провалы космоса, таинственные процессы, которые совершаются в капле воды и в атоме, — все это находится в руках Творца незримого. И перед Ним стоим мы.

Для того чтобы мы слышали Его голос, Он должен был стать одним из нас, войти в человеческий мир. И Он открыл нам величайшую тайну. Его мудрость и мощь открылись в природе и мироздании через Иисуса Христа и через Его предтечей — пророков. Открылась Его воля. Воля Его в том, чтобы человек учился любви, учился открывать сердце, учился служению. В природе, в мироздании

мы этого не найдем. Зато мы найдем это в слове Божиим, в Священном Писании, в двух Заветах, которые показывают нам трудный путь человека от трепета, восхищения, страха, противления и борьбы — к принятию Христа.

Как совершилось принятие, каков был этот торжественный момент близ города Кесарии Филипповой? Христос идет с учениками. Он отверг толпу, которая хотела провозгласить Его Царем. Он стал странником в чужих местах. И вот Он идет усталый, плащ Его покрыт пылью. Идет по дороге — и молчат ученики, в страхе, в непонимании. Глубокая любовь приковывает их к Нему. Но в то же время они не могут не задавать вопросов: почему Он отверг восторженную толпу, почему не возглавил поход против язычников, не сверг иго тирании, — Он, Который мог совершать чудеса?

Он о Себе молчит. А потом вдруг, как бы косвенно, спрашивает их: «Кем Меня считают люди?» Они начинают говорить: пророком, может быть, даже ожившим пророком, пророком, пришедшим из прошлого. И тогда Он спрашивает их, впервые недвусмысленно и прямо: «А вы за кого Меня принимаете?» И Петр говорит: «Ты — Христос, Сын Бога Живого».

И отвечает ему господь: «Блажен ты, благословен ты, Симон Петр, потому что не человек тебе это открыл, не плоть и кровь, а Отец Небесный. Ты — Петр (что по-гречески значит «камень, скала»), и на этом камне Я создам Свою Церковь, и врата адовы не одолеют Ее».

Когда же Петр произнес эти слова? Не в момент земного успеха Спасителя, а в момент, когда Он как бы терпел полное поражение, когда уже ничего нельзя было ожидать, когда Он был почти что изгнан. Вот тогда-то Петр увидел в этом Страннике, Изгнаннике, идущем по дороге, Христа — Сына Бога Живого.

Это был акт свободы и выбора, акт веры и верности. Вот на этом и стоит Символ веры. И эта его часть — для нас главная, потому что Бога Творца почитают и в других религиях — мусульмане, иудаисты и многие другие. Но для нас есть Откровение Божие в Иисусе Христе, которого нет ни в одной религии.

Всегда надо помнить, что во всех верованиях есть прекрасное искусство и музыка, колокола и четки, традиции, философия, богословие. Но Христос — только у нас. И поэтому не случайно мы все, миллиард с лишним человек на Земле, называемся христианами.

А потом Символ веры вводит нас более глубоко в тайну Иисусову.
Об этом — в следующий раз.

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

Я не побоюсь повториться: в великих мировых культурах и религиях есть свои храмы, песнопения, колокола, четки, трактаты, монастыри и многое другое. И главное отличие христианства от других мировых религий заключается в Евангелии, в личности Иисуса Христа.

Этой Личности, этого Откровения нет нигде. И как бы ни была велика личность Будды, основателя буддизма, его установки, его поучения, его принципы гораздо более существенны для буддизма, чем личность самого Гаутамы Будды. В конце концов, если бы и не было на свете Магомета, а просто кто-то неизвестный выдвинул бы эти важнейшие догматы: единый Бог, покорность Богу, молитвы несколько раз в день и т. д., — то ислам был бы таким, каков он есть и теперь.

А вот христианство без Иисуса Христа лишается своей сущности — самой последней и важнейшей.

В предсмертной повести Владимира Соловьева, которая называется «Краткая повесть об Антихристе» (теперь вы уже можете ее прочитать, поскольку она издана у нас) есть такая сцена: всемирный президент, властитель Земли, собирает представителей главных христианских Церквей. Он обещает католикам построить особо пышные храмы, православным — создать необычайно ценные музеи древнего церковного искусства, протестантам — основать новые институты для изучения Священного Писания, теологии. Казалось, все в восторге. Но три руководителя Церквей — папа Петр, старец Иоанн и профессор Паули — ставят перед ним вопрос напрямую: как он относится к Иисусу Христу? «Ты все нам предлагаешь, кроме Него». Это христианство без Христа. Это эстетика, наука, традиция, богослужение. Но нет главного! Нет Сына Человеческого, распятого и воскресшего! И по этому признаку старец Иоанн, папа Петр и доктор Паули избличают во всемирном президенте антихриста. Это принципиально важный момент, показывающий, как Владимир Соловьев смотрел на тайну христианства.

И надо сказать, что с его времени ничего не изменилось. И с того времени, когда было написано Евангелие, в этом смысле ничего не

изменилось. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», — говорит господь Иисус. А когда мы читаем древнейшие, хронологически древнейшие тексты Нового Завета, мы находим там слова апостола Павла, который говорит, что человек спасается, то есть приобщается к Богу, не через закон, не делами закона, а верою в Иисуса Христа.

Что это значит? Закон есть некая система жизни. Закон есть религия, являющаяся частью человеческой культуры. У этой культуры, естественно, как у нас любят говорить, «земные корни». Это все важно и необходимо. Но совершить перелом, совершить прорыв это культурное наследие не может, потому что в нем слишком много человеческого, только человеческого. И только тогда, когда человек открывает для себя бессмертного, вечно живого Христа, тогда свершается то, что на специфическом библейском языке называется спасением — то есть приобщением человека к подлинной Жизни, о которой тоскует душа, к которой она стремится. Вот почему проповедь Свою Сам господь Иисус назвал бесорб, что значит «радостное известие», по-гречески эвангелион. И мы это называем Радостной Вестью, Евангелием или Благой Вестью. О чем же эта Весть?

У бедуинов есть такой обычай: когда рождается мальчик, женщина, которая приняла такого мальчика, приходит к отцу и говорит: «Я возвещаю тебе великую радость — у тебя родился сын». И вот, открывая Евангелие от Луки, мы читаем там эти слова: ночью пастухи стерегут свои стада, и вдруг является им Слава господня. На библейском языке это означает явление Тайны в этом материальном мире. И они слышат: «Я возвещаю вам великую радость — ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Помазанник, господь». (О том, что такое помазанник и царь, мы с вами говорили в прошлый раз.) Пришел Царь царствовать, но родился, как нищий.

Спустя 30 лет после рождественских событий на берегу реки Иордан произошел интересный диалог: два рыбака нашли своего друга, который также находился на берегу реки в толпе, и сказали ему странные слова: «Мы нашли Мессию». Рыбак сказал: «Кто это?» — «Это Иисус, сын Иосифа из Назарета». Он, конечно, не поверил. Тогда они сказали ему просто: «Пойди и посмотри». Это было главным доказательством, которое и сегодня мировое христианство приводит тем, кто хочет с ним познакомиться. Оно говорит эти два слова: «Пойди и посмотри».

И вот мы всматриваемся в образ Того, Кто перед нами начертан в Евангелии. Образ, который не потускнел за двадцать столетий. Какой великий гений мог создать такой образ? Недаром Жан Жак Руссо говорил, что тот, кто изобрел бы Христа, был бы еще более удивителен, чем Он Сам. говорят о коллективном народном творчестве. Я думаю, что такого творчества не существует. Есть анонимное творчество. Тем не менее, показательно, что Евангелие написано не одним человеком. Если бы это было одно Евангелие от Иоанна, мы сказали бы: «Вот был великий гений Иоанн, и он создал такой образ». Но евангелистов четыре. И каждый со своей точки видит образ Христа.

У писателей есть прием, который используется для того, чтобы придать образу большую рельефность, жизненность и правдоподобность. Для этого надо отметить недостатки, показать слабости героя, наложить тени на этот портрет. Евангелисты на образ Христа теней не накладывают. Тем не менее Он поразительно жив, поразительно реален и ощутим.

Прошли те времена, когда Евангелие считалось книгой, написанной в позднее время, через много-много поколений после жизни Иисуса Христа. Сейчас мы уже хорошо знаем, что все четыре Евангелия были написаны в том самом столетии, когда евангельские события происходили. Существуют древние манускрипты Евангелия, которые восходят к раннехристианскому времени. Самым поздним было Евангелие от Иоанна, написано оно около 90 г. I в. И фрагмент рукописи этого Евангелия, датируемый примерно 130 г., был найден в Египте — то есть кто-то его уже переписал и привез в Египет. А ведь тогда не на самолетах летали, все это происходило очень медленно. О том, что эта книга была хорошо известна и распространялась с раннего времени, свидетельствуют тысячи древних папирусов и пергаментных манускриптов. Сотни из них принадлежат раннехристианскому времени. От античных писателей — и римских, и греческих (Гомер, Тацит, Вергилий) — не осталось такого количества древних рукописей. Большинство из них относится к эпохе Возрождения.

Кто и когда написал Евангелие? Как полагают, самым древним было не дошедшее до нас в оригинале Евангелие от Матфея, написанное на еврейском или арамейском языке. (Матфей был сборщиком пошлин, значит, вероятно, был наиболее грамотным среди

учеников. По свидетельству епископа Папия, жившего во II в., Матфей написал свое Евангелие и потом его перевели на греческий.) То, что мы сегодня имеем как Евангелие от Матфея, — это уже греческая версия, составленная позднее, между 70 и 80 годами. В начале 60-х годов написано Евангелие от Марка; евангелист Марк считается создателем жанра Евангелия.

Заметьте важный момент: Евангелие — это не просто биография Иисуса Христа. В то время прекрасно знали, что такое биография. Вы знаете, что древнеримские и греческие писатели увлекались биографиями. И Плутарх в скором времени опубликовал свои «Сравнительные жизнеописания». Но Евангелие — это не биография и не проповедь, и не собрание изречений, и не характеристика личности. Это нечто совершенно новое. Это особый жанр, созданный евангелистами, быть может, именно евангелистом Марком.

Марк не был писателем. Он происходил из священнической семьи, жил в Иерусалиме. Когда происходили евангельские события, Марк был юношей, совсем почти мальчиком. А потом дом его матери становится домом апостола Петра и других учеников Христовых. Они туда приходят, они там чувствуют себя спокойно. Мать Марка была матерью первоначальной общины. Потом, когда апостол Павел начинает свою проповедь язычникам, он берет с собой Марка как помощника. Но, испуганный, по-видимому, трудностями пути, или по каким-то другим причинам, Марк оставляет Павла с его спутником Варнавой и возвращается в Иерусалим. Это была даже как бы некая размолвка, потом они примирились, и Марк сопровождал апостола Петра. Вот тут-то и произошло главное. Целый ряд современных историков и специалистов поражаются одной странной особенностью Евангелия от Марка. Как писал один современный французский ученый, кажется, что это греческая калька с другого языка, что это добросовестный и буквальный перевод. А не было ли так: Петр рассказывал о том, что с ним было и что он видел, а Марк записал это, — но Петр греческий знал плохо и, конечно, говорил по-арамейски или по-еврейски, а Марк записал по-гречески?

Происходило это в Риме. Каждый из вас, кто захотел бы представить себе тот момент в истории человечества, когда Марк впервые сел писать эту книгу, пусть возьмет роман польского писателя Генрика Сенкевича «Куда идешь?». Сенкевич подолгу жил в Риме,

прекрасно знал латинскую литературу и историю и воссоздал картину жизни в тот момент, когда христианство впервые заявило о себе. Это начало 60-х годов I в. Тирания кесаря Нерона, коррупция чиновников, напряженная ситуация в империи, разложение различных слоев общества, кризис, и вот появляется маленькая струйка — христианская община. Роман этот (кроме главных героев) дает вполне достоверную картину событий. Там есть такое место: юноша-аристократ Виниций ищет свою невесту Лигию, которая от него скрывается. Через своих шпионов он узнает, что она стала христианкой, и тайно проникает на кладбище, где собираются христиане. Там, в толпе, он видит, как поднимается старик, которого все ждали. Старик — верховный жрец христиан, как представлял себе юноша. Это был просто рыбак, который рассказывал о том, что он видел и что пережил. Это был Петр, возвещавший Евангелие жителям Рима. Вот этот рассказ и был записан — не как мемуары, а как свидетельство веры. Потому что Петр и другие ученики открыли во Христе то, чего не было ни в одном пророке, ни в одном учителе. И это стало нашим вторым Евангелием.

У апостола Павла был спутник по имени Лука, единственный грек из авторов Нового Завета. Он был врачом и, согласно легенде, также художником. Вероятно, молодым человеком он присоединился к Павлу и в 51 г. первого столетия впервые вступил вместе с Павлом на европейский континент. В Европе проповедь Евангелия началась именно с этого времени, если не считать Рима. Лука неоднократно путешествовал с Павлом; он бывал и в Палестине, он знал многих апостолов, знал предания древней Иерусалимской церкви — первоначальной христианской Церкви. И уже в пожилые годы он написал свое Евангелие и «Деяния апостолов», главным героем которых является Павел.

А сейчас мы подойдем к самому таинственному Евангелию — Евангелию от Иоанна. Оно полностью отличается от первых трех — по стилю, по языку, по характеру мышления. Это драгоценно, потому что человек иного склада, иной духовной закалки увидел Христа своими глазами. Согласно преданию, этим человеком был любимый ученик Иисусов — Иоанн, сын Зеведеев, тоже рыбак из Галилеи. Современные ученые считают, что это Евангелие написал не лично Иоанн, а что он постоянно рассказывал его, и в его кругу, так сказать, в его школе, оно и было записано. В любом случае это Евангелие очень

древнее; есть прямые доказательства того, что автор прекрасно знал страну до ее опустошения римлянами в 70 г., после падения Иерусалима.

Итак, четыре Евангелия. О чем же они говорят? Они говорят о тайне Того, Кто был Сыном Человеческим на земле и явил Себя Сыном Божиим. Мы с вами уже говорили о том, что в древности, в Ветхом Завете, понятие «сын человеческий» было двойственным. Оно означало и просто смертного человека, и одновременно некое таинственное существо, которое грядет в мир, чтобы обновить его. Вот почему Иисус Назарянин предпочитал Себя называть Бар энбш, что означает на арамейском «Сын Человеческий».

Остается тайной, как прошла Его жизнь в Назарете. И вы, наверняка, уже слышали, а некоторые из вас задавали мне вопросы о том, не был ли Он в это время на Востоке, в Индии (а теперь уже и Японию прибавляют, правда, в другом контексте). Могло ли быть такое? Вы знаете, у людей есть таинственная особенность: всем хочется, чтобы Христос одновременно родился в разных местах. В Америке есть такое движение мормонов, или христиан последнего дня. В своей книге они утверждают, что в то время, когда Христос родился и жил в Палестине, одновременно таинственным образом Он явился в Америке и создал новое движение. Нечто подобное рассказывали и в Японии. И, наконец, так называемое «Тибетское Евангелие» говорит о том, что Христос приходил в Тибет и в Индию. Достоверность «Тибетского Евангелия» ничтожна, там полно анахронизмов. Это позднее произведение, конечно, апокриф. Возможно, Христос и мог быть там. Но это не имеет никакого значения хотя бы по одной простой причине. Великие культуры Востока, в частности индийская, имели свои особые, специфические философские идеи — и ни одна из них не отразилась в проповеди Христа. Ни одна. Среди этих идей я могу назвать хотя бы две: ахимса, что значит неубиение (вегетарианство). Христос этого не требует. И вторая — перевоплощение, специфическая индийская концепция. В Евангелии этого нет. Кроме того, сами форма, фразеология, стиль Евангелия связаны только с Ветхим Заветом — не с греческой и не с индийской традициями. Таковы факты истории. Для каждого непредубежденного человека это очевидно.

Но тайна Христа вовсе не в том, что Он Сын Своего народа, времени и века. Тайна Христа в том, что Он обращается к каждому человеку. Здесь мы видим соприкосновение двух измерений бытия. Учитель ли Он? Да, Учитель. Но это совершенно особенный Учитель, ибо Он пришел тогда, когда Ветхий Завет, эта священная книга, почиталась как «Слово Божие», и Он Сам называл ее священной. А что же сделал Он?

Он говорил так: «Древним сказано — не убий. А Я говорю вам, что и гнев является грехом». То есть Свое Слово Он ставил наряду с Писанием и выше Писания.

В Ветхом Завете ради того чтобы оградить общину от влияния язычников, была создана сложная система пищевых запретов. Христос говорит: не то, что входит в человека, его оскверняет, а то, что исходит из него, — злоба, ненависть, коварство — все это в человеке и из него исходит. Те ритуальные запреты, которые тогда существовали, Он считает вчерашним днем. То есть Он поступает со Словом Божиим как господин, как Владыка, имеющий право это слово менять: А Я говорю вам...

Да, у Него человеческий лик и характер. Мы можем заметить в Нем целый ряд удивительных особенностей, но они вполне земные. У Него есть друзья. Он особенно любит Своего ученика Иоанна. Он очень любит семью Лазаря и его сестер. Он не относится ко всем одинаково, как бы безлично. У Него удивительный взгляд; когда будущие апостолы ловили рыбу, Он подходит к ним и говорит: «Оставьте все, следуйте за Мной». И сказано: они тотчас — тотчас! — оставили все и пошли. Несколько раз евангелист Марк подчеркивает силу Его взгляда. Иногда Он тяжело вздыхает, когда чувствуется, что Он преодолевает человеческую косность. Ему не чужды парадоксы речи. Кто это сказал, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие? Кто это сказал про фарисеев, что они отцеживают комара и проглатывают верблюда? Кто это сказал, что самое маленькое зерно вырастает в самое большое дерево? Это Его слова, это Его индивидуальный стиль речи. Если вы вчитаетесь в текст Евангелия (я думаю, что оно скоро уже будет доступно многим), вы можете почувствовать там яркую, лаконичную, образную, насыщенную метафорами речь, которая сразу узнается. «Истинно, истинно говорю вам» — Аминь, аминь глаголю вам, как в славянском

перевод. Аминь — это значит «точно». Это Его оборот. Его речь всегда определена, колебаний никогда нет. Он меньше всего похож на булгаковского Иисуса, Иешуа га-Ноцри. Ничего общего, кроме имени и смертной казни через распятие, там нет. Тот — такой милый фантазер, бродячий философ. Христос всегда говорил как власть имеющий. Он ни у кого не спрашивал совета.

Но от земной силы и земной славы Он отказался. Более того. Тот знаменитый момент, отмеченный всеми четырьмя евангелистами, когда Иисус идет по морю, — что это было? Это было бегство от короны! Бегство от земной славы. Он был заперт толпой, которая хотела насильно сделать Его царем. И вот спускается ночь, и Он, не имея возможности уйти от этой толпы, отправляет учеников вперед, а потом уходит на гору, незаметно спускается к морю и настигает учеников, идя по воде.

Когда Он стоит перед лицом неправедных судей, Синедриона и Пилата, Он почти не говорит с ними. Он почти не оправдывается, потому что Он знает, что для них нет истины. Она их не интересует. Ведь Пилат, спрашивая: «Что есть истина?», произнес это риторически, как бы заранее зная, что ответа нет, что никакой истины нет.

Один раз в Евангелии от Иоанна сказано, что Христос устал; Он сел у колодца, потому что Он утомился — знойный день, долгая дорога. Но на самом деле мы видим Его могучим — Он постоянно проходит по много километров, ночуя иногда под открытым небом, не имея где преклонить голову. Напряженная борьба, трудническая жизнь могли быть только у сильного человека.

И вот образ Его прорисовывается все четче. Бесконечная доброта, бесконечная открытость к людям — но никакой сентиментальности, никакого компромисса со злом!

У Булгакова Иешуа га-Ноцри говорит: «Все — хорошие люди», «добрый человек» и прочее. Христос же говорит, обращаясь к власти имущим: «Змеи! Змеиные отродья!», а Ирода он называет «шакалом», «лисицей». Он мог быть очень резким и очень суровым: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Он бросал слова обвинения самым авторитетным духовным кланам и группировкам.

Я всегда напоминаю людям, читающим Евангелие, замечательные слова Гилберта Честертона о том, что Христос не был бродячим

проповедником. Совсем иначе было бы, если бы Он бродил по свету и растолковывал истину. Его жизнь была скорее походом. «На суд Я пришел в мир, — говорит Он, — Ныне суд миру сему».

Что же Он открывает для человека? «Заповедь новую даю вам — любите друг друга, как Я возлюбил вас... Кто хочет за Мной идти, отвергни себя», «отдай себя» — так тоже можно перевести. «Возьми свой крест (то есть свое служение людям) и тогда иди за Мной».

Ученики долго Его не понимали. Им казалось, что Он действительно, как Помазанник, Мессия, должен воцариться над миром. Люди так любят земную силу и земную славу. Но Он от этого отказался. А как Ему, наверное, было горько в тот момент, когда они в последний раз приближались к Иерусалиму и ученики начали делить, кто где будет сидеть у Его престола, когда Он станет Царем. А Его через несколько дней ждало лобное место... И тут можно спросить: а почему же Он к Себе таких учеников привлек, которые так плохо Его понимали?

А как вы думаете? Если бы Он собрал великих мудрецов, людей железной воли, твердости, бесконечного мужества, высокого образования — не имели бы мы право тогда сказать: «Конечно, то были апостолы, то были титаны; а мы кто, мы — муравьи»?

Поэтому Он взял обыкновенных, простых людей, рядовых, таких, как мы, которые могут и испугаться в критическую минуту, и колебаться, и ошибаться могут. Евангелисты подчеркивают эту особенность апостолов. Все они рассказывают об отречении Петра, о предательстве Иуды, о бесконечных вопросах учеников, которые показывают, насколько превратно они вначале понимали Его служение и слова. Раз это были обычные люди, у нас уже нет права говорить, что они титаны. Титанами сделала их вера и Дух Божий. А были они простыми людьми, «не книжными и простыми», как говорит апостол Лука. Это не значит — неграмотные: в Иудее грамотными были практически все, с детства людей учили читать и писать. Но — «не книжные и простые», и по характеру многие из них были порывистыми и неустойчивыми, как все обыкновенные люди.

Христос открывает великую тайну: в Ветхом Завете Бог указал людям на то, что такое грех, что такое зло, — а дальше надо идти к величайшему добру. Основа этого, как Он Сам говорит, — тоже в Ветхом Завете. главные заповеди Писания — «Возлюби господа Бога

твоего и ближнего твоего как самого себя». Из этого и вырастает евангельская мораль: мораль любви, отдачи — потому мораль счастья. Тот, кто любит, тот счастлив. Кто отдает себя, тот счастлив. Кто живет для себя, тот несчастлив.

Могли ли быть счастливы Иван грозный, Сталин, Берия? Да какие же это счастливые люди? Это уроды; и, конечно, они были несчастны. А человек, который живет для других, находит особое, несокрушимое счастье. Но вы скажете: да, это прекрасное учение, прекрасные слова, но ведь в Ветхом Завете уже было сказано о любви к ближнему, как к самому себе, о любви к Богу и еще некоторые великие вещи. Что же тогда заключается в Евангелии? Вот это-то и есть, друзья мои, опровержение того взгляда, будто Евангелие сводится к этике, сводится только лишь к морали. Оно имеет и другое, более глубокое содержание.

Иов, герой библейской ветхозаветной книги, страдал от того, что он невиновен перед Богом, но терпит от Него, что Бог несправедлив к нему, и вызывал Бога на суд, но когда Тот явился ему, он пал перед Ним и сказал: «Я о Тебе только слышал, а теперь я Тебя вижу», — и все разрешилось.

Так человечество всегда хотело прикоснуться к Священной Тайне, прикоснуться, чтобы обрести жизнь в ее полноте. Поэтому учили мудрецы, поэтому изводили себя индийские аскеты, поэтому ученые пытались прочесть в звездах и в законах природы ответ на эту волнующую, единственную, самую важную загадку. Платон говорил: «Трудно постичь Отца всяческих». А поскольку люди всегда чувствовали, что они потому лишь братья, что у них есть Отец, и жизнь их потому имеет смысл, что она к какому-то небесному смыслу привязана, — поэтому ученики спросили однажды у Иисуса: «Покажи, яви нам Отца Небесного. И этого будет нам довольно, нам больше ничего не нужно». И это, пожалуй, говорит Ему все человечество: «Покажи нам Отца». И Он отвечает, как и тогда Он ответил Своему ученику Филиппу: «Сколько времени Я с вами, Филипп, и ты не узнал Меня. Видевший Меня видел Отца».

Тем самым Он открывает тайну, которую Символ веры выражает греческим словом омоусиос — единосущный Отцу. Он Сын Его не в том человеческом смысле, который мы употребляем, а в смысле глубочайшего онтологического, бытийственного причастия. Сын —

значит плоть от плоти. И поэтому Символ веры говорит: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна. Как пылающий костер, если от него зажечь ветку, не уменьшится от этого, но будет новый огонь, свет от света. Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу. Единосущного. Не человек единосущен Отцу, а только Он, Единственный.

Все великие святые сознавали себя грешниками. Просмотрите все биографии, жития. Недавно переиздали «Исповедь» бл. Августина — гениальная, великая вещь. Этот великий человек клянет себя, клеймит, кается. Как говорит одно православное сказание, святые видели свои грехи как песок морской. И это понятно, потому что при ярком свете всякая пылинка видна. Единственный в истории, Кто никогда не говорит о Своих грехах, — это Иисус Назарянин. Он — Единственный, Кто никогда не смотрит на истину снизу вверх. Будда — основатель буддизма — постигает истину путем длительных размышлений, он годами упражняется, годами ждет просветления, он как бы штурмует Небо. Ничего подобного в личности Христа нет. Он приходит с этим.

Он относится к нам, как Небо к земле. Он — голос Вечности, который начинает звучать в мире. Потому что безмерное не может говорить с ограниченным, потому что Божественное подавляет человека. Вот вам литературный пример: когда Фауст вначале вызывает духа земли и пылающий дух земли оказывается перед ним, Фауст падает замертво — он не может перенести явления этого духа. А ведь это только дух земли. И мы можем это понять. Когда смотришь на бесконечное небо, когда смотришь на огромные пространства — иногда живые, иногда мертвые (я переживал это в горах и в тайге) — человек в этом безмерном теряется, как пушинка. А уж про космос не приходится и говорить. Кто такой человек, со своими машинами, аппаратами, когда он вращается вокруг своей маленькой Земли?

У Вечности не может быть имени, она бесконечна, безгранична. Поэтому и Бог в Ветхом Завете говорит, что Он — Огонь посядающий. И когда Он говорит через пророков, Дух временно овладевает пророками, а потом они приходят в себя и даже противятся тому, что Бог им говорил. Это подобно тому, что писал Пушкин: «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется...» Помните: «пока не

требует поэта к священной жертве Аполлон», он, поэт, — обычный смертный.

И вот здесь происходит то, что связывает Бесконечность с конечным. «Я возвещаю вам великую радость»: родился Тот, Кто будет говорить с вами, Кто становится ребенком, юношей, взрослым человеком, Кто трудится Своими руками, Кто приходит к людям, Кто живет с ними, Кто ест и пьет с ними, Кто до тридцати лет проводит жизнь обычного человека — самую обыкновенную, незаметную жизнь. Не нужно Индии, не нужно гималаев — есть маленькая хижина, где Он работает, согнувшись над верстаком. Вот Его Назарет, вот Его тайная жизнь — столь тайная, что даже соседи думали, что Он всего лишь плотник, и когда Он стал проповедовать, они решили, что Он обезумел.

И тогда Он начинает говорить — сначала как Учитель, а потом все более и более приближаясь к главному. Он говорил вещи странные, вызывающие, которые коробили ортодоксов, тех, кто считал, что они поставлены охранять церковные правила.

И вот наступает момент в Его жизни, когда они ополчаются на Него. Он уходит из страны, уходит в Ливан, ходит там не признанным никем и, возвращаясь, однажды спрашивает учеников: «За кого Меня почитают люди?» И, как вы помните, они отвечают: «За пророка», а Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого...» Вот здесь основа христианского исповедания. Поэтому Петр назван камнем, фундаментом, на котором строится Церковь.

А второй фундамент — Его победа над смертью. Нужна ли, необходима ли была Его смерть? Он постоянно говорил о том, что так должно было свершиться. Почему? — спросите вы. Как сказано в одном из посланий: почему, вместо подлежащей Ему радости, Богочеловек встретил на земле страдание? Потому что мир, как говорит нам Библия, во зле лежит. И если Божественное, светлое и прекрасное приходит в этот мир, к нам, и соприкасается с нами, оно не может не страдать. Страдания Христа, Его искупительные страдания начались не ночью в гефсиманском саду, не на голгофе, а в ту ночь, когда Он родился. Он страдал каждый день и каждый час, живя с людьми. И однажды у Него даже вырвался вздох: «О, род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас! Доколе буду с вами!» Его

страдание было нужно нам — потому что либо Он приходит к нам и страдает, либо Он освобождается от страданий, но уходит от нас.

Христианство становится богочеловеческой верой. Не трепетом человека перед Богом и не гордым восстанием, а союзом, новым союзом — Новым Заветом человека с Богом. И когда Иисус умирает на кресте, оставленный всеми, то есть переживший все и выпивший чашу унижения, предательства, злобы, несправедливости, жестокости до дна, — Он как бы впитывает в Себя все зло мира. Недаром пророк за несколько веков до Него говорил: «Он был изъязвлен за грехи наши, и мучим за беззакония наши, наказание мира сего было на Нем, и язвами Его мы исцелились».

И вот Он похоронен. Это полное крушение, конец всему. И никакой историк, никакой ученый не может проникнуть в эту тайну. Историк знает лишь одно: горсточка обезумевших от страха людей, которая вчера еще, запершись, боялась пошевелиться, вдруг выходит на площади Иерусалима и возвещает всем: «Христос воскрес! Он жив, Он явился всем нам, Он послал нас проповедовать Евангелие всему миру». Быть может, они сошли с ума? Быть может, у них была галлюцинация? Быть может, они приняли желаемое за действительное? Если бы это было так, то из такой чепухи, из таких эфемерных временных явлений не могло родиться могучее древо христианства, не могло получить начало то течение, та мощная река, которая до сих пор течет вопреки всем порогам, камням и препятствиям.

Апостол Павел говорил знаменательные слова, и говорил их, опираясь на опыт: «Иисус Христос вчера, сегодня и завтра Тот же».

Христос не оставил нам ни одной написанной строчки, чтобы мы не обоготворяли букву. Он не оставил каких-то скрижалей, знаков — ничего не оставил. Но Он сказал: «Я буду с вами во все дни до скончания века».

Вот где источник силы Церкви. Вот где источник силы христианства.

Он действительно живет с нами и в нас, и вовсе не потому, что христиане — какие-то особо хорошие люди. Так же как и апостолы, мы слабые люди. Но Он обладает Своей великой силой, которая совершается в немощи.

И если иные учения уводят человека от мира, иные делают человека добрее, а иные делают его мудрее, концентрированное, сосредоточенное, то здесь — не учение, здесь — Завет, живая связь с Богочеловеком. История становится богочеловеческой, и все временное сочетается с вечным. В этом феномен Евангелия.

И если бы мы из Символа веры убрали и начало, и, может быть, даже конец, он бы все равно остался Символом веры.

Первоначально людей крестили во имя Иисусово — и только, потому что через Него открылся Отец Небесный, Творец, и Дух Божий. Символ веры прибавляет слова, не совсем понятные нам: Имже вся быша, то есть через Него все было создано. Это особая тайна, она относится не к земной жизни Христа, а к Его запредельной, трансцендентной, таинственной сущности. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз.

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ

Сегодняшняя тема в каком-то смысле узловая, потому что, как я уже вам говорил, первая часть Символа веры о Творце мира — общая у нас с иудаизмом, исламом и другими монотеистическими религиями. А специфика христианства начинается со второго раздела — с веры в Иисуса Христа. Потому-то мы и называемся христианами — не просто верующими, а христианами, — что для нас высшее Откровение осуществляется в личности Иисуса Христа.

Я уже говорил вам о том, что означает Его имя Иисус — это историческое, личное, человеческое имя. Потом мы с вами говорили, откуда происходит слово Христос, что значит помазанник, царь, мессия. Окинули беглым взглядом более пятнадцати веков ветхозаветной истории и подошли к самому важному.

В чем заключался смысл ветхозаветного провидения? В том, что мир не статичен, мир имеет историю, мир имеет цель, мир движется к высочайшему Откровению Бога. Этого не знала ни одна из великих религий мира. Все они так или иначе представляли себе бытие в принципе неизменным. И вот пророкам открылось, что бытие — как стрела, пущенная в некоем направлении, что полнота Божиего присутствия — это не данность, а некая цель. И поэтому они говорили о Царстве Божием. Ибо сегодня Бог не царствует полностью. Совершается физическое и нравственное зло. Смерть и преступление — это не есть царствование Бога, это есть царствование стихий и злой воли человека. Царствование Бога означает полную реализацию Его благих замыслов. Древний основатель ветхозаветной Церкви Авраам принял Бога как благо, и Моисею Он открылся как многомилостивый (по древнееврейски рав рахамъм значит «полный милосердия», полный любви и сострадания к миру). А в мире не это совсем осуществляется. Отсюда вывод, что Царство Божие есть нечто ожидаемое, грядущее. Но для этого должно было произойти высочайшее Откровение Бога миру, так чтобы Он Своей абсолютной непостижимой Личностью соприкоснулся с личностью человека. Это казалось немислимым, казалось неместимым! Как может человек — смертный человек, ограниченный человек — познать бессмертное и

безграничное? И вот это происходит в опыте пророков. Но их опыт заключался не только в том, что через них Бог говорил миру, и не только в том, что Он открывал Свою волю и открывал им нравственный закон как форму служения Всевышнему; этот опыт давал им также возможность увидеть грядущее, увидеть приближающееся явление Сущего.

В книге пророка Исайи мы читаем: «О, если бы Ты разверз небеса и сошел!»

Это напряженное ожидание, что Бог придет в мир, что Он откроется миру, что Он принесет миру Свое величайшее Откровение, когда все народы притекут к Нему, — оно либо не осуществилось и было иллюзией, обманом, либо осуществилось. Но если оно осуществилось, то мы знаем, где и когда.

Сколько бы мы ни просматривали историю, свершившуюся на Земле с тех времен, когда жили пророки, сколько бы ни было великих мудрецов, подвижников и святых, мы находим только одну—единственную Личность, в Которой это Откровение действительно реально осуществилось.

Он — единый, так учит нас Символ веры. Единый господь Иисус Христос.

Он — Сын Божий. Что это означает? Разумеется, когда мы говорим о Непостижимом, о Божественном, мы употребляем земные, человеческие термины. На человеческом языке сын — это тот, кто рожден от отца. Мир, Вселенная, человек не рождены от Бога, они Им созданы. Из небытия Бог дал им бытие — не из Себя, а как бы из ничего. На небытии Он построил бытие. Это очень важный момент. И в нашей Литургии, в Литургии Василия Великого и в Литургии Иоанна Златоуста, повторяются великие слова: «Ты из небытия в бытие всех привел». Логическая пропасть, духовная пропасть, реальная пропасть лежит между созданным, тварным — и Абсолютным, Божественным.

И для того чтобы эта пропасть была перейдена, необходимо Откровение Божие, необходим какой-то шаг.

Если мир — это творение Божие, то явившийся в мир Иисус Христос — это не Божие Творение. Он родился от Бога. Родился в глубинном, мистическом, таинственном, божественном смысле. В Библии (как и вообще в восточных языках) слово сын означает «причастный», непосредственно причастный. Человек, который

внушал надежды, назывался сыном надежды. Человек, исполненный греха и зла, назывался сыном погибели. Гости на брачном пиру назывались сынами брачного чертога. Ученик пророка (и сам пророк) назывался сыном пророческим. То есть понятие сын обозначало не просто рождение по плоти, а духовную внутреннюю причастность. И когда Евангелие от Марка — самое древнее, как полагают историки, — говорит об Иисусе Христе Сыне Божиим, оно открывает нам великую тайну: этот земной человек, который разделил с нами рождение и смерть, страдание и усталость, чувство голода, сострадание, радость и печаль, — Он одновременно принадлежит миру Божественному. Он не сотворен, а рожден от Высшего. «Я и Отец — одно», — говорит Он. И это не просто одно из излиятий Бога, а нечто уникальное в своем роде. Поэтому — Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век. Прежде всех век — означает, что это рождение не есть событие во времени, что когда-то Его не было и когда-то Он возник. Прежде всех век — то есть тогда, когда не было времени, когда слова «до» и «после» не имели смысла. Рождение происходит вечно, вне времени.

Конечно, это величайшая тайна, но тайна, связанная с тем, что Бог есть Любовь. Не просто любовь к кому-то, хотя бы к своему творению. Он есть Сама Любовь, реализующая себя внутри. Для того чтобы почувствовать тайну Божественной любви, вспомните икону Рублева «Троица», где трое сидят за столом и ведут молчаливую беседу. Единство связывает Их; Они — трое, но одновременно Они — одно. Сокровенное, непостижимое, безусловное и абсолютное.

Бог не может быть назван ничем — ни Творцом, ни Создателем, ни Разумом, — ничем, потому что все в Нем скрыто в глубине и превосходит нашу мысль. Но в тот момент, когда Творец создает мир, Он выходит из Своего тайного для нас Бытия, Он становится Богом действия, Богом-Словом. «В молчании Бог произносит Свое слово», — говорит один из средневековых мистиков. Слово Божие в Библии обозначает одновременно действие Божие.

Древнееврейское давар и древнегреческое логос означают и разум, и смысл, и деяние одновременно. Когда Бог действует, действует Его Слово, Его второе Я, второе Божественное Я. И Оно уже постижимо для нас в большей степени, потому что второе Я Бога — это и Творец, это и Любовь, и многое другое. Поэтому, когда Сущий творит, Он

творит через Свое Слово. Поэтому в Евангелии сказано: «В начале было Слово». Это начало не во времени. «И Слово было у Бога. И Бог был Словом. И через Него все создано», — говорит апостол Иоанн, и Символ веры повторяет: Имже вся быша, то есть через Него все стало существовать. Когда Логос в мировом сверхбытии рождается вечно, через Него возможно все остальное в мире.

Составители Символа веры, Отцы Церкви, зная, что для многих людей казалось более понятным, рассудочно более объяснимым, через здравый смысл более прозрачным представление о том, что было время, когда не было Логоса Божиего, подчеркнули, что Он — омоуσιус (по-гречески это означает «единосущный») Отцу. Это не другой Бог, это не низшее по отношению к Творцу существо, это тот же Бог, единый по существу.

И это постигается через символы, через образы. Недаром гегель говорил, что наш Символ веры изложен не в умозрительной, не в теоретической, не в отвлеченной форме. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу. В чем заключается этот образ? Когда горит огонь и мы зажигаем от него другой огонь, то первый не убывает, и оба они принадлежат одному огню. Вот что означает Света от Света. Оба огня, оба костра, когда один зажжен от другого, представляют собой одну огненную Божественную природу. Точно так же рожденное в недрах Божественного Бытия Слово принадлежит природе Бога. Это очень трудно было вместить людям. И на протяжении нескольких столетий возникали учения, которые пытались это как-то изменить. Долгая борьба, которая велась вокруг Вселенских Соборов, показывает, насколько это действительно трудно вмещалось людьми.

Что же не вмещалось? Не вмещалась и вторая тайна Христа: что в Нем не только Божественное начало, но и человеческое. Вот последовательно идущие отступления от христианской веры. Арианство. I Вселенский Собор был созван в 325 г. в борьбе с александрийским учителем Арием, который говорил, что Логос когда-то не существовал. Потом возникает учение о том, что Христос был человеком, на которого просто сошел Дух Божий. Тем самым Бог и человек разделяются во Христе. Так думали люди, которые группировались вокруг константинопольского патриарха Нестория. (Впрочем, сам Несторий, может быть, не очень был в этом повинен.)

А потом иные люди — православные, чтившие Христа высоко, — отодвинули Его человеческую природу и сказали, что в Нем была только одна природа, Божественная, а человеческое в Нем — это что-то такое второстепенное, маловажное. Между тем, для Церкви это не просто немаловажно, это центрально — то, что Он один из нас! Он не призрак, Он не какое-то божественное видение. И Священное Писание подтверждает, что Он был подлинным человеком и что подлинным Богом остается перед нами.

И, наконец, после этого монофизитского учения, отвергнутого на Халкидонском (IV Вселенском) Соборе в 451 г., возникает более тонкое учение, монофелитское. греческие богословы пытаются доказать, что Христос был и человеком и истинным Богом, но воля у Него была одна — воля Божественная. Но как же можно так считать? А разве не молился Он в гефсиманском саду перед смертью? Разве не молился Он Отцу: «Да минует Меня эта чаша»? Значит, Его человеческая воля сопротивлялась тому, на что Он шел, и была борьба внутри. Значит, нельзя считать, что у Него была только одна Божественная воля. Значит, Он уникальное существо, полностью человеческое и полностью Божественное. И спасение, приобщение к высшей жизни, к нам пришло через Того, Кто одновременно принадлежит двум мирам. Вот в чем сущность исповедания о Христе в Символе веры. Почему главная книга христиан называется Радостной Вестью, по-гречески Евангелием? Потому что это весть не о том, что нас спас какой-то ангел или какой-то обитатель космических миров, или какое-то высшее существо, а о том, что спасти нас пришел Сам Создатель, Сам Творец в лице Божественного Логоса. «В мире был, и мир Его не познал, — говорит евангелист. — Но свет во тьме светит, и тьма его не объяла».

Свет Христов светит в мире. Человек всегда стремился расширить свою душу, ему всегда было тесно в своих рамках, он хотел слиться с толпой, с народом, с природой. В этом стремлении есть что-то великое (хотя есть и отрицательное). Великое потому, что мы с вами гораздо более таинственные и объемные существа, чем нам кажется. И нам действительно оказывается тесно в этих рамках — только индивидуальных. Человек стремится к соборному охвату — и братьев, и сестер, и природы. И прежде всего человек стремится соединиться с Богом, слиться с Божественным — во всех формах.

Может быть, некоторые из вас читали американского поэта Уитмена, который думал, что он постиг Божественное, растворяясь в дыхании прерий, чувствуя себя единым с травой, которая растет под ногами, с облаками, которые несутся по небу. Многие люди, переживая слияние с природой, чувствуют, что в них происходит что-то священное, что-то необыкновенное и яркое. Быть может, многим из вас такое чувство знакомо. Какие это особые моменты! Слияние с красотой, слияние с полнотой жизни в глубоком священном молчании. Многие произведения поэтов, живописцев, писателей говорят об этом. Есть строки из «Войны и мира», которые вам всем хорошо знакомы. Есть стихи множества, множества поэтов, которых я не буду даже перечислять. Единство со всем. У Флобера есть философская драма «Искушение святого Антония»; мне кажется, она не очень удачная, но там есть такой эпилог: этот пустынный, подвижник, который боролся со страстями в своем сердце, вдруг чувствует, что вся природа вошла в него, что он летает вместе с птицами, что в нем живут и развиваются все существа, что в нем дышит вся Вселенная. Это чувство не случайное. И, разумеется, мистики древней Индии, мистики Ирана, суфии и множество мистиков всех времен и народов жаждали этого слияния. Рассказывали такую притчу (кажется, она индийского происхождения) — о том, как жила на свете некая одухотворенная куколка, фигурка. Но ее плоть состояла из соли. Она все время хотела узнать, что такое море, что такое океан. И ей сказали: ты можешь это узнать только войдя в его воды. И вот она вошла в воду и стояла там, и постепенно соленые морские воды ее омывали, и она познала океан, только полностью в нем растворившись. От нее ничего не осталось, но она растеклась в соленых просторах морских вод.

На первый взгляд кажется, что эта жажда растворения присутствует и в Библии. В 41-м псалме сказано: «Как олень стремится к источнику, так душа моя стремится к Тебе, Боже». Но на самом деле человек ветхозаветных времен отдавал себе отчет в том, что прикоснуться можно только к сиянию Бога, к тому, что в Библии называется Кавуд — Слава Божия, то есть излучение Его, растекающееся по всей Вселенной. Но это не Он, это только корона Его, как бывает корона на Солнце. (Когда бывает затмение Солнца, вокруг него возникает корона; это не Солнце, а аура вокруг него.) А с самим Богом слиться человеку нельзя. Когда пророк Исайя увидел

Славу Божию, он сказал: «Я должен умереть, потому что я видел лицо Бога» — лицо в условном смысле. Вот как понимал Ветхий Завет встречу с Богом. Встреча — да, послушание — да, любовь — да, конечно, ибо первойшая заповедь Ветхого Завета говорила: «Возлюби господя твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим». Но также говорит господь у пророка Исайи: «Как небо далеко от земли, так Мои мысли далеки от ваших мыслей». Это очень важное место, оно звучит, как гром, в Священном Писании. Потому что все народы — особенно на Востоке, но и на Западе, в Вавилоне, в греции, в Египте — представляли себе богов человекообразными или, по крайней мере, природообразными. Поэтому большинство изваяний и фресок, кто бы это ни был — Осирис, Зевс или вавилонский Мардук, всегда изображали человека. А в Библии мы слышим грозный и суровый голос Творца: «Я Бог, а не человек». И вот только тогда, когда Бог Сам приближается к нашему бытию, когда Он входит в нашу жизнь, когда Он становится для нас человеческим и близким, — тогда возможно слияние. Только тогда.

Вот почему апостол Павел учит нас, что спасение, то есть приобщение к Богу, возможно только через Иисуса Христа. И вера в Иисуса Христа означает слияние с Ним, принятие Его в сердце, означает, что мы вместе с Ним. Апостол говорил: «Я сораспялся Христу»; то есть мы вместе с Ним страдаем, вместе умираем, вместе можем воскреснуть. Таким образом, человечность Бога открывается через Богочеловека. И Богочеловек уже не провозглашает той страшной и грозной истины: «Я Бог, а не человек». Он говорит: «Я человек, Я ваш брат».

Человеческое лицо Бога — вот что такое Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Это Бог для нас, это Бог наш, это то Лицо Бога — как мы говорим, второе Лицо Святой Троицы, — Которое обращено к человеку, к твари, к мирозданию, Которое и приходит к нам во имя любви.

В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Значит, в глубинах Божественного бытия лежит величайшая любовь к творению, и Бог приходит в наш мир. Мы говорим «нисходит», потому что тот мир — высочайший,

непостижимый. Он приходит в наш обычный мир, в повседневный мир для того, чтобы нас приобщить к Себе. Не знающий страдания познает страдание, не знающий ограничений становится ограниченным в пространстве и времени, Всемогущий ограничивает Свое всемогущество. Вы помните стихи Пастернака:

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь как смертные, как мы.

Да, во время короткого периода Своего земного служения Христос проявлял как бы высшие Свой тайны: исцелял людей, мог совершать иные чудеса, — но Он сам же сказал, что это не есть знак Его Божественности, Он сказал: «Вы, ученики, будете совершать большее». Человек может делать все это, когда дух его находится под воздействием Божиим. А Божественность Христа проявилась в чем-то непостижимом, в том, что мы увидели в Нем Славу Божию, явление Творца.

Но тогда у многих из вас может возникнуть вопрос: почему же это явление не было каким-то торжественным, космическим, почему Сын Человеческий и Божий не явился среди людей при звуках небесных громов и каких-то космических знамений, чтобы все они постигли Его силу и славу? Здесь возникает центральная проблема христианской жизни, этики и учения, связанная с тайной свободы.

Человек подобен Богу, а значит, он свободное существо. Он не хочет быть свободным, он противится свободе, он бежит от нее, но это его природа; он может ее исказить, унижить, но именно свобода делает его богоподобным. А раз свобода, значит, никакого принуждения, значит, никакого насильственного явления, которое заставило бы людей отступить в страхе и бессилии.

Любое чудо Христово можно было истолковать как-то иначе. говорили, что Он научился колдовству, фарисеи говорили, что Он изгоняет болезни с помощью бесов. Так и должно было быть, и Иисус недаром говорит нам, что если и мертвые воскреснут, не поверят. Почему? Потому что вера есть готовность духа слушать Его, открыться Ему. Вера — это полет души навстречу Богу. Если этого нет, то все становится одномерным, костенеет, умирает, голос Божий не слышен. Потому что вера есть богочеловеческая тайна. Хотя она

дается нам как некий дар, но этот дар мы должны уметь принять. Ведь без принятия со стороны человека она не реализуется. Этому учит нас вся Священная история, вся Библия и весь многовековой опыт Церкви: нужно принятие. И вот для того, чтобы это принятие было добровольным, посланник Неба, Бог, явившийся во плоти, должен был прийти без знаков земного величия. Вот почему уже пророки предчувствовали, что Он придет, действуя только силой духа. А в книге пророка Исайи, в 53-й главе мы находим образ Царя страдающего, изгнанного за правду, униженного перед народами, и цари земные восклицают: «Мы думали, что Он был наказуем и поражаем Богом, а Он взял на Себя грехи каждого из нас».

Он вошел в этот мир, а значит, Он должен был страдать. В нашем мире, в мире падшем, греховном, не страдать нельзя, и чем более совершенна личность, тем больше она страдает. И я уже говорил вам, что голгофа для Христа началась с момента Его рождения, когда Он вошел в наш мир, полный зла. Это соприкосновение со злом было для Него страданием постоянным, всегда. Иногда от этого страдания у Него даже вырывался вздох. Как в Евангелии от Марка: «Он вздохнул и сказал: О род неверный и развращенный! Доколе Я буду с вами, доколе Мне терпеть вас?» Это вырывалось в Нем человеческое чувство. Ему было тяжело, Ему было мучительно. Но вот это и был Его Крест.

И принять Христа люди должны были свободно и добровольно. Когда император Константин сделал христианство государственной религией, принимать христианство стало выгодно, ибо его исповедовал сам император и придворные, — совсем другая ситуация. А Господь Иисус пришел из маленького, никому не известного городка, Он не был поддержан никакими авторитетными школами духовных учителей, Он не имел никаких влиятельных лиц в своем окружении. Он был просто Учителем из Назарета. И надо было услышать Его слова, понять их вещей, вечный, священный смысл, принять Его сначала как учителя, и тогда открывалась Его Божественная тайна.

Недаром Он ученикам ее открыл не сразу, и даже не открыл, а она сама открылась в них, и это было при обстоятельствах удивительных.

Был момент, вы все его помните, когда земная слава пришла к Иисусу: когда Он умножил хлеб и накормил голодных, толпа решила сделать Его вождем своего восстания, провозгласить царем —

насильно, даже против Его воли. И Он бежал от них, Он скрылся — настолько стремительно, что пошел по воде, чтобы только уйти от них. Вы все, конечно, помните евангельский эпизод хождения по водам. И многие люди рассуждают: мог ли Он ходить по воде или не мог? Не только Христос, но и некоторые подвижники, святые, даже нехристианские, это могут, есть свидетельства. Но дело совсем не в этом. господь Иисус шел по воде не для того, чтобы продемонстрировать кому-то Свою собственную силу, совсем не для этого, — а для того, чтобы толпа не захватила Его насильно. Напомню вам еще раз это известное место. Вечер. Люди встали: «Вот это наш истинный вождь». Он тихо говорит ученикам: «Идите в лодку, садитесь и плывите на другой берег». Они отплывают. А Он как бы остается с народом. Ликующая толпа зажигает костры, спускается ночь. А Он уходит на гору молиться. И вот, когда уже никто ничего не подозревает, Он спускается с горы, стремительно движется за учениками и настигает их, идя по воде. Это была форма бегства. Он скрылся от царской короны — потому что Ему это было не нужно: Ему не нужна была ни земная сила, ни слава — Его слава была в другом.

Когда Ему пришлось уйти из Израиля совсем, Он странствовал по соседней Финикии, современному Ливану. И возвращаясь оттуда, Он однажды спросил учеников: «За кого почитают Меня люди?» И они стали говорить, что за пророка, еще за кого-то. «А вы за кого Меня почитаете?» И Симон Петр за всех ответил: «Ты Христос — Сын Бога Живого».

Что это означало? Это означало: Ты устал, на Твоих ногах и одежде пыль, Ты изгнанник, у Тебя нет не только короны, но даже дома. Птицы имеют гнезда и лисицы норы, а Тебе, Сыну Человеческому, негде приклонить голову. Ты отвергнут религиозными учителями и мудрецами. Над Тобой посмеиваются богатые и власть имущие. Переменчивая толпа судит о Тебе по-разному. Быть может, Ты уже потерпел поражение. Ты был в родном городе Назарете, откуда Тебя изгнали, едва не хотели убить. Ты ушел из прибрежных городов, из Капернаума и Хоразина, которые не услышали Твоего слова. Ты Тот, Кто потерпел поражение, и поражение ужасное. И мы все равно, несмотря на это, принимаем Тебя как Царя, как Мессию, как Сына Бога Живого.

Вот в том-то и заключается подвиг апостола Петра, что он признал в Христе Мессию не в момент Его торжества, хотя бы и временного, а в момент самого горького Его одиночества и отвержения. И поэтому Спаситель сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо это не человек тебе открыл, а Отец, Который на небесах». (Буквально Он сказал: «Не плоть и кровь»; плоть и кровь в Библии — синоним человека.)

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес. Иногда спрашивают: «С каких небес сошел господь, почему Он сошел — разве Бог не всюду?» Я уже говорил вам, что Небо есть величайший зримый символ божественного, бесконечного. Он пришел из бесконечного в конечное, в наше.

И воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Что это значит? Это значит, что Он вочеловечился, стал настоящим человеком, и что Мария Дева является тем звеном в единой человеческой семье, через которое каждый из нас становится родственником, сродником по плоти Иисуса Христа. Иные из вас, кто впервые открывает Евангелие, удивляются, зачем там приводятся эти длинные списки имен. Это родословие Христа, оно дается, чтобы показать Его связь с древними библейскими праотцами и царями, а также чтобы показать связь с нами. Он Тот, у Которого есть человеческая родословная. Он наш брат по крови, по человеческой крови: воплотился от Марии Девы.

Я сегодня в конце беседы покажу вам несколько слайдов о Деве Марии, чтобы вы еще раз подумали о Ней. Ее место уникально в церковном сознании, в нашем богослужении, в церковном искусстве. И, конечно, вокруг Нее всегда создавались легенды, сказания. Образ Ее украшался подобно тому, как украшались драгоценностями Ее иконы в старинных храмах Востока и Запада, Москвы, Петербурга и других городов, у нас и за рубежом, будь то Париж или любая другая столица.

Так вот, почему здесь присутствует Дева? Почему Христос должен был родиться от Девы? Подумайте об этом — и вы поймете, что нужна была особенная душа, нужна была исключительная личность, которая призвана была стать Матерью Богочеловека. В своей религиозности, по своему духовному уровню Она должна была превосходить всех людей, живших до того. А значит, Ее горение к Богу должно было быть столь высоко, что немыслимо было бы представить

себе, что Она эту Свою любовь к Богу могла делить хотя бы с кем-нибудь, что Она могла принадлежать кому-нибудь кроме Бога.

Мы знаем, что в истории человечества — от первых веков до нашего столетия — было множество великих женщин, которые отдавали всю свою душу людям и Творцу, которые совершали монашеский подвиг до жертвенности, до полной самоотдачи, до смерти. Это великие мученицы, великие подвижницы. Они отказывались от семьи, от дома и даже от жизни, для того чтобы принадлежать господу. Так неужели Матерь Его была ниже их, неужели Ее любовь к Богу, Ее всецелая поглощенность Богом могла быть меньше их любви? Больше, конечно, больше. А если так, то Его рождение неминуемо должно было стать рождением девственным.

Что касается законов природы — тот человек, который мне скажет сегодня, что он знает все законы природы, может оспаривать реальность того или иного чудесного феномена. Но боюсь, что таких людей нет и долго еще не будет; я уверен, что их никогда не будет. Достаточно вспомнить о размерах Вселенной. Следовательно, у нас нет никаких прав ограничивать власть Творца в природе. Младенец рожден от Духа Святого. А что это такое? Дух Святой действует уже в Ветхом Завете. Мы видим, как пророк говорит силой Духа, как на царя, который послан Богом, действует сила Духа; Дух овладевает теми, кто говорит от лица Бога. Это переворот внутри, это совершенно неповторимый опыт. Поэтому при рождении Богочеловека должно было быть особенное воздействие того Духа, Который говорил через пророков, Который входил в человечество уже не раз.

Распятого же за ны при Понтийстем Пилате — распятого за нас при Понтии Пилате. Почему, для чего заурядный чиновник древнего мира, человек исключительной низости, который многих казнил без суда и следствия, который в течение десяти лет своего правления вызывал одно только возмущение, попал в скупые строки Символа веры? Это не случайно. Тут ничего случайного нет, ни одного слова. Дело в том, что древний мир не знал одного календаря, одного летоисчисления. И в то время, когда создавался Символ веры, единого летоисчисления также не было. Скажем, в Риме вели счет от основания города, в греции считали по Олимпийским играм, на Востоке — по царям и т. д. Поэтому указание на этого человека, на Понтия Пилата, есть указание на точку в истории: что Христос воплотился не в

воображении людей, не в мифологическом времени, а в конкретной исторической и географической точке — при Понтийском Пилате, пятом прокураторе Иудеи, который правил Иудеей, как мы теперь знаем, с 27 по 37 г. I в. после Р. Х.

И страдавша и погребенна. Когда мы говорим о страданиях Христа, невольно возникает мысль: разве не страдали мученики, разве не погибали они на крестах, на кострах, не умирали во время пыток? Разве мы не знаем того величайшего мужества, с которым шли на смерть свидетели Христа? Почему Его страдание вызвало у Него содрогание и скорбь смертельную — «Скорбит Моя душа до смерти»?

Исключено, чтобы здесь было просто страдание плоти, исключено даже просто с человеческой точки зрения, даже если мы себе представим, что Иисус Назарянин — это просто человек; давайте тогда подумаем: что же, Он слабее своего последователя Яна Гуса, который шел на смерть не дрогнув, слабее десятков других? Это невероятно. Почему в таком случае не Сократ является величайшим из учителей, а Христос — ведь Сократ умер не дрогнув? Правда, он был уже старым, но вы знаете, что старость не уничтожает неприятия смерти. Мало кому хочется умирать, независимо от возраста. Значит, дело совсем в другом. Надо над этим задуматься.

Страдания Христа — искушение. Потому евангелист и говорит, что сатана оставил Его до времени: он искушал Его в начале Его пути, а теперь искушает снова. И когда Христос говорит: «Пронеси чашу», Он говорит не просто о коротких минутах агонии, не просто о ночи пыток. Если вы хорошенько подумаете, то поймете, что это не так, что в Нем, повторяю, чисто по-человечески должен был быть заряд мужества, безмерно превосходящий возможности многих людей. Значит, здесь есть некая тайна. Она заключается в том, что Христос в этот момент воспринял в Себя всю сумму зла человеческого. Он как бы выкупил человечество, взяв на Себя все то, что накопилось в нем. Все то черное облако, которое тысячелетиями сгущалось над грешным человеческим миром, сконцентрировалось на Нем. И Он как человек мог это принять, а мог это отвергнуть. Кроме того, Он мог ощущать, что не того Он ждал от людей. Как говорится в Послании к Евреям: «Иисус Христос вместо подлежащей Ему радости претерпел крест», претерпел страдания, то есть, когда Бог явился людям, это должно было быть величайшим торжеством человечества. Но произошло иное.

Поэтому Он страдает и за род человеческий, отвергший Его. глубже мы никогда не дерзнем проникнуть, но мы знаем только, что это было Божественное страдание, что человеческое начало во Христе могло принимать все мужественно. Божественная Его воля должна была принять то, что Божеству не свойственно: зло и тьму. «Он изъязвлен был за грехи наши, изранен за наше беззаконие, наказание мира сего было на Нем и язвами Его мы исцелились». Так говорит древний пророк. Вот это и происходило в страданиях Христа.

И воскресшаго (восставшего) в третий день по Писанием; «по Писаниям» — это слово здесь относится не только к Воскресению, но и к страданию и погребению.

И восшедшаго на небеса и сидяща одесную Отца. Опять—таки, повторяю, что здесь перед нами икона, перед нами символ. Восхождение Христа — то, что мы празднуем в день Вознесения Христова, — это не есть полет Его. Я помню, лет двадцать назад у нас с группой богословов велась длительная оживленная переписка на эту тему. Пытаясь как-то объяснить Вознесение, один из богословов говорил, что Христос летел через все слои атмосферы, чтобы освятить космос. Я не думаю, чтобы в таком понимании был какой-то смысл. Восхождение к Богу означало и означает, что Его бытие Богочеловека стало полностью иным. Оно стало таким же универсальным, вселенским, как бытие Божественное.

Иисус Назарянин во дни Своей земной жизни был ограничен в пространстве и во времени. Вы помните, в Евангелии от Иоанна: Он ушел, Он удалился, Он нуждался в пище... И если Он был в Иерусалиме, то значит, Его не было в Назарете. А после Вознесения Он одновременно пребывает повсюду, Он обретает, как Он Сам сказал, явившись ученикам, всякую власть на небе и на земле. «Дана мне всякая власть», — говорит Он. Дана — значит, до этого Он ею не располагал, а теперь Он управляет миром, управляет Вселенной, которая проникается духом Христовым. С Его пришествием начинается постепенное одухотворение мира. Недаром Тейяр де Шарден, известный ученый—богослов нашего времени, говорил о космическом Христе, говорил, что вся плоть мира стала плотью Христовой, что все тварное материальное мироздание стало Его плотью. И в этом тайна Вознесения. Поэтому, когда Тейяр де Шарден находился в экспедиции в пустыне и, будучи священником, должен

был совершать литургию, а у него не было ни чаши, ни хлеба, ни вина, так как это происходило в глубинах Азии, в Монголии, он поднялся на одну из голых скал до восхода солнца и наблюдал, как пробуждается жизнь, как приходит свет на небосклон, как оживает пустыня, как уходит серп луны и поднимается солнце. И он переживал эти события как космическую литургию. Подобно Святым Дарам поднималось солнце, и он так и чувствовал, что это есть Святые Дары. Потому что вся тварь — и воздух, и горы, и живые существа — становится Божественной плотью.

Вот почему наша Евхаристия — это космическое таинство. Потому что хлеб и вино — это есть природа. Это кровь винограда, питающаяся соками земли. Это пшеница, которая есть символ рождения. Это то, что входит в нас и дает нам жизнь. С этого момента природа перестает быть безразличной.

Сейчас часто говорят об экологической этике, и справедливо говорят. Но основа экологической этики может быть заложена только тогда, когда мы почувствуем сердцем, что природа — это Божественная плоть, что Христос освятил ее, освятил небо и землю. Он, Кому это дано как власть.

И наконец, Он завершает историю: И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым. Это находится за пределами истории. Думаю, что нам имело бы смысл остановиться на этом позднее. А сейчас я только еще раз хочу повторить, что то окрыляющее соединение с Небесным, которое для нас было бы невозможно, возможно теперь через Христа. Апостол Павел говорит нам: «Не я живу, но живет во мне Христос». Его сердце, Его глаза, Его любовь... Это—то и является главным для христианства, для внутренней индивидуальной жизни христианина. Тот, кто не принял в себя Христа, тот еще стоит в притворе, на пороге христианства, тот еще делает первые шаги. главное — это принятие Христа. При таинстве крещения поются такие слова: «Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь», то есть когда мы крестимся во Христа, мы в Него одеваемся, Он нам близок. И ощущение Его близости становится залогом того, что с Его помощью мы будем преображать собственную личность и собственную жизнь. Он говорил о том, что каждому, кто верит в Него, будут даны великие силы. И это не фокусы, это не «феномены», это сила внутренняя, это сила, которую мы должны не

только возвращать в себе, но и нести в мир. Мир всегда нуждается во Христе — всегда нуждался и будет нуждаться. И нести Его людям можем только мы — те, кто в той или иной степени принял Его в свое сердце, несет Его, отражает Его свет в своей душе.

БЕСЕДА ПЯТАЯ

Мы переходим к тайне Божественного Духа, или Духа Божия, о котором Символ веры говорит так: Верую [...] в Духа Святаго, господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Перевожу на русский язык: в Духа Святого, господа, Который животворит, Который исходит от Отца, Которому мы поклоняемся так же, как Отцу и Сыну — единому Божеству, — Который говорит через пророков.

И в самом деле, уже в Ветхом Завете, в древности, когда обыкновенным человеком, призванным на служение, вдруг овладевала таинственная сила, он шел на проповедь, как пошел великий пророк пастух Амос, который не был ни священнослужителем, ни служителем Храма, ни, так сказать, присяжным пророком по должности. Он был просто пастухом и земледельцем. И вот однажды Дух Божий нашел на него, и он впоследствии писал:

Когда лев рычит, кто не вздрогнет,

Когда господь говорит, кто не будет пророком.

То есть это некая преобладающая сила; сила, которая действует таким образом, что человек способен делать больше, чем он может.

Когда мы говорим «дух», то часто под этим подразумеваем что-то такое бесплотное, почти бессильное. Напротив, на языке Библии еврейское слово рэах или греческое пневма означает мощь, бурю, ветер, ураган, дыхание. А дыхание — это жизнь. Дух — это жизнь, это сила.

Сила Божия, или Дух Святой. Слово «Святой» есть эквивалент слова «Бог». Должен в двух словах пояснить. В Библии, в Ветхом Завете, слово «святой» часто передавало не наше представление о человеке праведном, а представление о том, кто является особым, стоящим выше этого мира, священным, даже, можно сказать, неприкосновенным. И поэтому прежде всего Бог назывался Святым — в этом смысле. Он — иной, нежели мир, абсолютно иной. И человек должен помнить, что Бог радикально отличается от всего того, с чем мы сталкиваемся. Так вот, когда говорят «Дух Божий» — это

равнозначно словам «Дух Святой», Рэах Кадуш. Является ли Дух безличной силой? Нет. В первых строках Библии мы читаем, что когда господь создал Вселенную, «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной» («тьма» обозначает первичную материю, первичные структуры мироздания) и Дух Божий как бы парил, в русском переводе — носился над водой. На самом деле этот глагол означает «согревал». Его употребляли, когда говорили о птице, которая витает над своим гнездом или высиживает яйца, или греет птенцов. Дух животворит Вселенную.

Если Бог как Отец является первоосновой всего, Бог как Логос, как Слово (все тот же Бог), является Творцом всего созданного, то хранителем и непрестанно пребывающей и поддерживающей силой является Бог как Дух. И эта сила, безусловно, Божественная, личностная.

Когда пророки выступали под воздействием Духа, они сами поражались, что им открывается такое, что не только непостижимо для них самих, но даже противоречит их задушевному мыслям и чувствам. И происходили трагические сражения, сражения между волей пророка и голосом Духа Божия. Сражения — потому что в библейском Откровении личность пророка никогда не подавлялась, она не растворялась в океане Абсолютного. Пророк стоял перед Богом как личность перед сверхличностью, и здесь происходила драма, борьба и добровольное согласие. И вот человек принимает Дух Божий в себя. Поэтому Он — «глаголавший пророки».

Можем ли мы сказать, что пророки исчезли с тех давних пор? Нет. Достаточно вам напомнить, что в начале XIX столетия святой Серафим Саровский, один из прославленных святых России, говорил, что главная цель христианской жизни — это приобретение внутри себя Духа Божия (или, как он выражался, «стяжание»). Значит, это возможно для человека. И мы знаем великих мудрецов, подвижников, праведников, деятелей — они могли быть и безграмотными, и великими писателями, — которые действовали как пророки, через которых открывалась воля Божия. Они становились гигантами нравственной силы, общественного протеста, они шли против течения. Что им помогало? Воздействие Духа Божия на историю. Вероятно, многие из вас знакомы с историософской концепцией Льва Николаевича Гумилева, который зафиксировал, что рождение новых

этносов, новых образований в человеческом роде неизбежно связано с появлением так называемых пассионарных групп, которые оказываются как бы раскаленным эпицентром: они состоят из таких личностей, которые идут навстречу риску и даже гибели и двигают развитие истории.

У нас есть основания думать, что это импульсы Духа Божия. Дух Божий очень таинственно и очень причудливо проявляется в талантах и дарованиях. Мы не всегда понимаем, откуда это приходит. И история человечества свидетельствует, что время от времени народам, цивилизациям, отдельным людям дается этот дар Духа, и все зависит от того, как они это воспримут и как они это реализуют. Это может быть реализовано в совершенно ложную сторону. Вот тут–то человеку должны помогать и разум, и совесть, и ясное, отчетливое сознание. Потому что человек, одержимый Духом Божиим, не есть сомнамбула, пифия, обезумевшее существо. Нет, Дух Божий не гасит человеческого разума, а наоборот, просветляет его. А если человек не дает разуму хода и думает, что можно жить только на иррациональном, интуитивном порыве, то он способен заблудиться. И свой талант, так сказать, духовной пассионарности он может развеять, погубить или направить совсем не в ту сторону.

Я думаю, вы можете примерно себе представить, как это бывало в истории. Были люди, как бы одержимые идеей спасти других, помочь другим, скажем, русские революционеры XIX в. Безусловно, в них была пассионарность, безусловно это был порыв нравственный, высокий порыв, но они не удосужились обдумать, как все это можно осуществить. И кинулись вслепую. Их порыв был слепой, безумный, разрушительный. «К топору зовите Русь!» Ну и призвали к топору, и результат был весьма плачевным. И потом они уже сами превращались в новых душителей и рабовладельцев.

Поэтому духовное постижение требует трезвого анализа. Поэтому апостол Иоанн говорит: «Братья мои, не всякому духу верьте». Могут быть такие «псевдоморфозы» духа.

Нам очень важно знать и помнить: Христос, говоря ученикам, что Он лишь видимо уходит из этого мира, обещал им, что Дух Божий будет продолжать Его миссию на земле. Он будет Заступником, Ходатаем общины, Церкви, Параклитом. Параклит по–гречески значит «заступник, ходатай», Утешитель, как Его называют. «Я умолю Отца, и

даст вам другого Утешителя, Он наставит вас на всякую правду». Таким образом, Церковь создается силой Духа Божия.

Здесь перед нами трудная проблема: что называть Церковью?

Маленькая филологическая справка: русское слово церковь происходит от греческого слова кириакон — «дом Божий», отсюда немецкое кирха, английское черч и т. д. Другое греческое название церкви — эkkлeсия, что означает «народное собрание». Таким термином перевели древнееврейское слово кахбл — община, или арамейское кехала — община людей. От эkkлeсия происходит французское слово эглиз и испанское иглезия. Что же это такое? Когда вы читаете художественную литературу, публицистику или какую-то историческую литературу, слово церковь нередко встречается там как обозначение какого-то института, какого-то учреждения типа партии. И, так сказать, по образцу того, что мы привыкли видеть в течение нашей жизни, мы думаем, что эта партия должна спускать какие-то директивы, иметь какие-то идеологические обоснования или идеологические оценки всего на свете. Поэтому меня часто спрашивают, когда я беседую с людьми: а как Церковь смотрит на НЛЮ или на что-то еще? — как будто бы Церковь имеет некий «мозговой трест», который разрабатывает идеологическое отношение ко всем явлениям мира, включая явления космические. Такое представление об идеологическом аппарате, представление о некой, так сказать, властной структуре, которая может быть свергнута, а потом может вернуться к своей власти, не случайно. В этом повинны и сами христиане. Потому что в какие-то периоды истории христианская община действительно претерпевала «склеротические» изменения и начинала напоминать такой прообраз идеологической партии — естественно, со всеми вытекающими отсюда последствиями: с подавлением инакомыслия, с фанатизмом, с довольно мощной бюрократией, с неподвижностью, неповоротливостью всего этого аппарата, с большой долей консерватизма.

Но когда мы читаем в Символе веры про Церковь, которая Духом Божиим движима, то Символ абсолютно не имеет в виду эту историческую реальность. Согласно христианскому взгляду, Церковь есть Богочеловеческий организм, или Тело Христово, как учит нас апостол Павел.

Это некая духовная общность, в которой Христос продолжает действовать, в которой живет Дух Божий, которая существует этим Духом. Как она родилась? Христос ее создал, но не формализовал, Он не дал ей никакой структуры. Он только говорил: «Вы — Мои, вы — Моя община»; каждый член ее должен был быть носителем Его Духа. И вскоре после евангельских событий происходит еще одно важное событие — рождение Церкви.

А дело было так. (Это описывается в книге Деяний апостольских.) Ученики Иисусовы по Его повелению из Галилеи собрались в Иерусалиме и молились там вместе. Это был иудейский праздник Шавуут, или Пятидесятница, как мы его называем, потому что он справлялся через 50 дней после Пасхи. До этого времени ученики держались тихо, быть может, даже боязливо. Они не выступали как какая-то новая духовная религиозная сила. Они также со всеми ходили в храм молиться, они жили своей маленькой полудомашней общиной (там было несколько сот человек; может быть, вся Церковь была не больше, чем мы, здесь собравшиеся). И вот однажды, когда праздник был в разгаре, эта группа апостолов-учеников вышла на улицы города и стала славить Бога странным образом.

Они говорили и как бы пели. Это было поразительное славление! Они говорили на каком-то непонятном языке. Но, с другой стороны, люди, съехавшиеся на богомолье со всех концов земли, понимали эту речь. Каким образом? Мы не знаем. Но смысл доходил до всех. Это был необычайный феномен. Одни решили, что они просто пьяные, другие не могли понять, в чем дело. Тогда выступил Петр и сказал: «Нет, братья и сестры. Это не безумие, и не пьяные они».

Дух Божий сошел на апостолов и повел их вперед, на проповедь Евангелия. С этого момента рождается Церковь, проповедующая и возвещающая Христа распятого и воскресшего.

Она подобна своему основателю Богочеловеку Иисусу Христу. Но есть и огромная разница. Если в Нем человеческое начало было свободным от зла и от греха, то человеческое начало Церкви — земное, оно не свободно от греха. Церковь состоит из таких же людей, как и все. Но она является семенем, зачалом, как бы ядром будущего человечества, которое должно соединиться в духовном единстве, в величайшем многообразии, в величайшей открытости, в величайшей свободе.

От чего страдает человек?

От отчуждения, от одиночества, от задавленности толпой или самим собой.

Церковь — это не толпа. Это духовное единство, когда все прозрачны друг другу. И в то же время это то, что русские философы прошлого века называли соборностью: то есть, в отличие от коллективизма, в котором личность исчезает, и индивидуализма, в котором личность гипертрофируется, под соборностью в богословии понимается единство, которое не убивает личность. Это одно из особенных свойств Церкви.

Церковь есть продолжение жизни, дела и свидетельства Христа на земле. Она несет в себе Его сокровища, рассеивает их, как семена, по миру. Но мы всегда должны понимать, что как только члены Церкви отходят от духа Христовой любви, они автоматически перестают быть ее представителями. Поэтому совершенно ясно, что сами по себе церковные институты — так сказать, вся эта структура — не гарантируют автоматически верности Христу.

Конечно, иные из вас могут спросить: а зачем был нужен институт? Почему не оставить свободные общины без всякого иерархического строя?

Видите ли, любой организм, чем более он совершенен, тем более дифференцирован. Только у простейших ничего нет кроме ядра и протоплазмы. Совершенный организм отличается сложностью составляющих его элементов. Апостол Павел говорил: «В теле разные части и органы, и все они служат единству». И поэтому, будучи одновременно не только духовным, но и общественным организмом, Церковь должна быть какой-то социальной структурой. Иначе она не может жить. Это просто необходимое условие для любого сообщества, и для Церкви также.

Теперь обратимся к ее определениям, вернее, ее характеристикам, которые мы находим в Символе веры. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Сегодня это наша главная тема.

Прежде всего: почему Церковь единая? Потому что мы взираем на единство Божие. И это таинственное единство.

Вы думаете, напрасно людям открылась тайна Божественного Троиинства — что Бог открывает Себя как Творец, как Логос и как

Дух? Нет, отнюдь. Это имеет прямое практическое значение для нашей жизни. Это не отвлеченная метафизика, не отвлеченная догматика.

Я еще раз напомним вам, как это глубоко поняли Андрей Рублев и преподобный Сергей, его духовный учитель. Когда Древняя Русь находилась в тяжком состоянии, во время ордынского ига и междуусобиц князей, духовного кризиса и упадка, что можно было противопоставить этому распадающемуся миру? Любовь. А какую любовь? Прежде всего любовь Божественную. И вот преподобный Сергей назвал свою маленькую церковку в честь Святой Троицы (это была первая Троицкая церковь на Руси). Почему? Потому что, как говорит древний текст, святой хотел, чтобы люди, взирая на единство Святой Троицы, побеждали злобное разделение мира.

В ночь Своей Тайной вечери, перед смертью, Христос молился: «Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино». То есть единство Божественной любви в Первоначале, в Троице есть прототип для нас, для нашего единства, взаимопроникновения, взаимопроницаемости, взаимооткрытости, когда люди способны быть, выражаясь философским языком, имманентны друг другу. На самом деле мы друг другу трансцендентны, то есть каждый — закрытая система. Даже любящие друг друга люди с трудом проникают от сердца к сердцу. Бог призывает людей на новый путь — открытости, взаимопроникновения. И когда Рублев писал свою «Троицу», он изобразил пластически — красками и линиями — эту незримую тайну любви, этот круг, который как бы манит и призывает человека изменить свою модель мира.

Агрессивному, озлобленному, распадающемуся существованию человека — стае волков, но одиноких волков (это только кажется, что они настоящая стая; каждый из них одинок) — противопоставляется соборность любви Святой Троицы. Поэтому, как един Христос, как един Бог, как един Дух Божий, так едина Церковь. И когда Христос заговорил о Церкви, Он сказал Петру: «Я создам Церковь Мою на скале, на камне, на тебе, и врата адовы не одолеют ее», потому что Петр первым открыто исповедовал Его Мессией. Врата адовы — значит, силы преисподней, силы смерти. И Он сказал не «Церкви Мои», а «Церковь Мою» — как некую единую субстанцию.

Но вы тут же можете меня спросить: какая же она единая, когда из тех более 1,5 млрд. христиан, которые есть на земле, около 950 млн. —

это католики, около 200 млн. — православные, а остальные — протестанты. И протестанты делятся на бесчисленные группы — лютеране, евангелическая церковь, баптисты, пятидесятники и т. д. где же тут единство? Это вопрос очень сложный. Но не нужно думать, что механическое единство может заменить единство духовное. Те разделения, которые происходили в Церкви на протяжении столетий, не связаны с природой самой Церкви. Они отразили культурные, политические, национальные, психологические барьеры, которые люди не способны были преодолеть. Скажем, когда Римская империя пыталась отождествить себя с христианским целым, восточные провинции противились этому. И они откололись, образовались так называемые дохалкидонские Церкви — Церкви коптов, эфиопов, сирийцев, малабарцев (которые из Сирии бежали в Индию) — потому что они не хотели государственной Церкви. Поводы для отделения были догматические, но на самом деле это была реакция восточных окраин на имперскую идею.

Но все-таки до X в. Церковь оставалась единой, неразделенной. Всюду были свои главы церквей, папы (по-гречески паппас значит отец) — в Александрии, в Риме, в Константинополе, в Антиохии и других крупных центрах. Но после того, как пала Западная Римская империя, в «половинках» бывшей империи возникли разные общественные, культурные, социальные условия. На Востоке сохранилась императорская, абсолютистская власть, сохранились все старые структуры (рабовладение и т. д.), и церковное руководство, церковная община, церковная структура находились под жестким контролем государства. Это участь Восточной Церкви на протяжении полутора тысяч лет — и до сего дня.

На Западе империя рухнула. Варвары затопили Италию. И осталась единственная структура из всех — власть церковная — как основа для возрождения культуры в будущем. Римская Церковь ощущала себя независимой от государства, потому что государства вообще не было, а были нарождающиеся варварские королевства, которые воевали между собой, рушились, снова возникали.

И Западная Церковь стала, так сказать, мужественной, воинственной. Когда византийские императоры пытались ее захватить и подавить, подчинить своему авторитету, римский первосвященник обратился к варварскому королю Пипину от лица апостола Петра. Тот

выдвинул свои отряды к Риму и не дал захватить и подчинить Рим, а потом выделил для римского первосвященника, папы, часть земель в центральной Италии. Для какой цели? Чтобы никакой император или король не мог голыми руками взять под контроль римского епископа.

Так возникло папское государство, которое существовало до 1870 г. Потом оно было упразднено в результате восстания гарибальди и восстановлено в 1929 г., но уже не в прежних размерах, а символически, всего на 44 гектарах. Но зато это территория, не подчиняющаяся никакому правительству.

Я был на территории Ватикана. Когдаходишьтуда,тебя встречает пограничная стража в старинных костюмах, созданных еще Микеланджело, и ты пересекаешь государственную границу.

Такова была судьба Западной Церкви. Но Восточная Церковь, подчиненная императору, все более и более от нее отдалялась. Происходила дивергенция, разные культурные пути. Конфликт между Востоком и Западом повлиял на Церковь и кончился тем, что в 1054 г. патриарх Константинопольский отлучил от Церкви папских легатов, передавших патриарху папскую буллу, в которой патриарх предавался анафеме. Это считается формальным началом разделения церквей. Правда, сегодня, спустя 1000 лет, патриарх Константинопольский и папа воспроизвели этот документ и публично сожгли его — в знак того, что этого конфликта более не существует. Но, увы, за 1000 лет раздельного существования накопилось много догматических и других особенностей, которые делают единство Западной и Восточной Церквей сложной проблемой.

Потом в Западной Церкви произошел раскол, появились протестанты, которые, в свою очередь, начали дробиться.

Что же является Церковью? Ответ может быть таким. Церковь есть некое сложное образование. Прежде всего, это та Церковь, которая основана Христом, — значит, идущая от апостолов непрерывно. Таковой является наша Православная, Восточная Церковь. Таковой же является и Католическая, Западная Церковь. По практике Православной Церкви мы признаем иерархию и таинства Католической Церкви, т. е. признаем ее Церковью, хотя и отделенной от нас. Они, в свою очередь, также называют нас «отделенными братьями». То же самое, по-видимому, можно сказать и о древних Восточных Церквях — Армянской, Эфиопской, Коптской. Сложнее с

протестантами. Но, конечно, в широком смысле слова можно считать Церковью уже любую общину, которая исповедует Иисуса Христа, пришедшего в мир, воплотившегося, распятого и воскресшего.

История конфликтов и дискуссий показала, что когда люди спорят, то они только ожесточаются. Богословы—спорщики не сумели сблизить позиции Церквей. Сближало их иное. Сейчас, когда на Востоке больше знают о Западе и Запад больше знает о Востоке, сближение идет по совсем другим каналам. Например, Западная Церковь начинает чтить наших святых. Я видел огромную литературу о русских подвижниках прошлого и нашего времени. В каждом католическом храме в Италии я видел изображение Владимирской иконы Божией Матери и другие православные иконы. Они к нам относятся очень открыто и, в общем, как бы постепенно отходят от идеи разделения.

В нашей Церкви есть на этот счет разные точки зрения, начиная от полного неприятия, которое было сформулировано Алексеем Степановичем Хомяковым; он считал, что христианство — это только Православная Восточная Церковь, а Католическая — это уже не христианство. Но Православная Церковь этой точки зрения не разделяет: если католического священника принимают в нашу церковную юрисдикцию, он становится православным священником, и его никто не рукополагает во второй раз. Считается, что его священство действительно, и все таинства крещения, все причащения, все священнодействия, которые он совершал, были действительны. Отсюда логический вывод, что мы это признаем. Только хорошо знакомясь друг с другом, мы можем понять причины разделений и часто видим, насколько они были далеки от подлинной духовности и церковности.

Итак, единая Святая, Соборная, Апостольская Церковь. Что это значит? Что она состоит из святых? Да, во времена апостолов все верующие так и называли себя — святыми, но не в том смысле, как мы теперь употребляем это слово, а в том смысле, что это посвященные Богу, особенные люди. Хотя Церковь живет в мире и целиком в него погружена, с другой стороны, она есть корабль Божий, плывущий по морю, ковчег; все—таки христианин отделен от мира, в чем—то отделен. Есть тут такая сокровенная диалектика: и в мире, и не от мира сего; и открытость, и закрытость.

Объяснить это просто так невозможно, это можно понять только на практике. Только на практике вы поймете, что это значит — быть со всеми как все, а в то же время быть отдельно, быть внутри своего ковчега.

И еще одно: посвященность Богу означает подражание Христу. Христос был целителем, Христос был жертвой, Христос был сердцем, которое отдано людям, и Он был свидетелем об Истине: «Я пришел для того, чтобы свидетельствовать об Истине». Такова и Церковь. Если члены Церкви изменяют этому, они перестают быть выразителями Церкви. Иногда спрашивают: а не похоже ли это на ситуацию с партией — тоже говорят, что вот, исказили идеал партии, был идеал, а в жизни стало по-другому? Нет, не похоже. Не существует таких фактов в политической истории, которые дали бы нам право сказать: вначале пришли люди, которые хотели уважать культуру, уважать всех людей, достоинство личности, свободу вероисповедания, совести, печати. Не было такого. Как только у нас началась революция, все это рухнуло в одночасье. И если мы посмотрим в прошлое, в XIX в., когда создавались марксистские кружки, в них тоже не было «излишней» демократии. Нет, это отнюдь не было их свойством. Не надо тут говорить об искажении, все было так, как задумано, все шло в определенном направлении и дало свои плоды. Другое дело, что плоды—то оказались горькими для всех, в том числе и для тех, кто их вырастил. Но это уже не относится к нашей теме.

Между тем, дистанция между Евангелием и каким-нибудь религиозным фанатиком-инквизитором бесконечна. Здесь ничто несравнимо. И внешние регалии этого инквизитора означают не больше, чем кресты на крыльях фашистских самолетов, потому что это только внешний знак. Содержание абсолютно другое.

Во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Соборная — это церковно-славянский перевод греческого термина кафоликъ, кафолическая церковь. Кафолическая — значит Вселенская, собранная со всего мира; не какая-то отдельная, эпохальная, национальная, древняя или современная, а Вселенская — то есть, на самом деле, ее место всюду. Нет никакой преграды, никакого ограничения. Создавая национальные культуры или влияя на них, Церковь остается сверхнациональной, сверхнародной,

сверхчеловеческой, обнимая все, — Вселенская Церковь в своем изначальном замысле.

Мы можем, конечно, спросить: ну, а как понимать то, что есть «Русская Православная Церковь», «Грузинская Церковь» и т. д.? Это все национальные воплощения Церкви. Нужны ли они? Да, конечно. Церковь влияет на творчество человека, на нравственные, социальные, художественные сферы. Христианская религия лежит в основе мира людей, и в том числе народов. Творчество народов есть великое призвание перед Богом. Но творить может только определенный народ. Вы знаете, когда обезличивается цивилизация, она перестает быть творческой. Поэтому в каждой культуре должно создаваться свое преломление христианства. И чем более оно многогранно, тем более полно выражает себя Церковь Христова. Если мы посмотрим на африканские христианские храмы, мы увидим там узоры, свойственные народной традиции африканцев, черные лики Мадонн, изображение Христа из эбенового дерева. В индийских церквах, напоминающих пагоды, — изображения Христа, сидящего в позе лотоса. Каждая культура, включая культуру индейцев Северной Америки и эскимосов, создает свой облик Церкви. И это нисколько не мешает ее единству. Это было промыслительно подготовлено еще в социально-культурном единстве Римской империи. Христианство проповедовалось в Римской империи, а Римская империя охватывала множество народов, которые, в общем, не теряли своей идентичности, но в то же время были связаны между собой межнациональным греческим языком койне и римскими законами, понятиями о римском гражданстве.

Наконец, Апостольская Церковь. В упрощенной форме это представление связано с идеей того, что апостолы поставляли своих преемников, преемники — последующих, совершалось рукоположение, и так до нашего времени.

Фактически это так. Если и не было какой-то в прямом смысле слова передачи апостольских прав (историки спорят об этом), то живая преемственность сохранялась всегда. Она была до того, как возникли книги Нового Завета. Она была основой Церкви, основой для того, чтобы выбрать из разных книг именно те, которые отвечают традиции апостолов. Устное Предание было тем потоком, по которому все шло. Значит, Церковь основана на апостолах — двенадцати и семидесяти.

Христос недаром взял число двенадцать. Согласно Библии, двенадцать — это число избранных. В древности было двенадцать патриархов, основателей израильского народа, который тогда был ветхозаветной Церковью. И как бы в продолжение этой линии Христос избирает двенадцать апостолов, родоначальников новой, новозаветной Церкви Христовой. Поэтому на плечах апостолов, как изображает это Апокалипсис, как на камне, стоит вся Церковь. И еще одно свойство Церкви сюда входит. Апостол — значит посланник, посланник Христов. Церковь должна быть посланницей Христовой в мире. Когда она осуществляет это, тогда она действительно — Его голос, она — проповедующая Церковь. Проповедующая в том смысле, что она свидетельствует о том сокровище, которое ей вручено, — о живом Христе, о Его присутствии в мире, о живом Духе Божиим, Который присутствует здесь. И не потому, что в Церкви собрались самые мудрые или самые сильные люди, а потому, что через них говорит Дух Божий, потому что Он есть главная, порой сокровенная, а порой явная сила в этом мире. И когда бы ни происходили события, как бы далеко ни отстояла Церковь от главных перекрестков истории, она всегда служила этим самым голосом. Но ее Предание, то есть традиция, ведущаяся от апостолов, одновременно является критерием проверки того, что в Церкви реальной, эмпирической, земной принадлежит Христу и Богу воистину, а что является наносным, привходящим, извращенным, человеческим.

Что же такое Предание Церкви? Это прежде всего главные ее догматы. Их очень немного. Многие люди, недавно обратившиеся, полагают, что есть колоссальное количество догматов. Нет. Догматами является то, что было высказано на Вселенских Соборах. Остальное уже свободно принимается или отвергается кем угодно.

Что является осью Предания? Записанные догматы и записанное Откровение Божие — Священное Писание, Библия. Поэтому не надо воображать, что Библия есть что-то противостоящее Преданию. Она и есть зафиксированная традиция Церкви, и через Библию мы проверяем, насколько мы отступили или насколько мы согласуемся с волей Христовой и с Духом Божиим. Вопрос здесь решается именно так.

Таким образом, человек, вступая в Церковь, живя в ней, получает не только пристанище, но и призвание. Быть христианином — это

призвание, «профессия», выражаясь обычным языком. Это значит — делать в мире что-то особенное, делать что-то для вечного. И хотя жизнь наша эфемерна, хотя она коротка и часто бывает ничтожна, причастность к Вечности, прикосновенность к ней делает жизнь полной непреходящего содержания.

Входя в Церковь, мы находим там Христа и Дух Божий, Который в ней действует. И подобно тому, как господь Иисус был похоронен и на гробе Его стояла печать, но Он победил смерть, подобно этому Церковь неоднократно, казалось, была разрушена или внешними врагами, или внутренними — недостойными христианами, которые оскверняли ее суть, унижали, извращали; но она каждый раз воскресала вновь и будет воскресать всегда.

В Апокалипсисе апостола Иоанна Церковь называется Невестой. Невеста — это образ, взятый из Ветхого Завета. Невеста — это община, которая ждет своего Божественного Жениха. А значит, основа всего здесь — любовь. Любовь есть жизнь, любовь есть величайшая тайна. И мы, приближаясь к Богу, открываем Его внутри Церкви как бесконечную Любовь, как смысл всего нашего бытия, как красоту Его, как Его полноту.

И последнее, о чем я хотел вам сказать. Не раз меня спрашивали: «Учение Христа прекрасно. Евангелие — это великолепно. Но при чем тут Церковь? В ней было столько негативного». Да, негативное было, но прежде чем так сказать и отвергнуть понятие об общине, мы должны вспомнить о том, что ведь это Его Церковь. Он ее основал 2000 лет назад, Он сказал, что врата адовы ее не одолеют, Он в ней присутствует во все дни до скончания века.

И еще одно. Если это так, значит, Он не захотел, чтобы мы постигали Истину в одиночестве, каждый у себя в каком-то отдельном изолированном мирке, а хотел, чтобы мы это делали вместе. Пусть это трудно, пусть всякая, любая человеческая общность содержит в себе опасности искушений, трений, соблазнов. Он так хотел. Еще раз повторяю: это была Его воля, Его Церковь, Его Дух, Который в ней присутствует и сегодня.

БЕСЕДА ШЕСТАЯ

Сегодня мы приближаемся к концу Символа веры и в следующий раз будем говорить о его последних строках. Сегодня я остановлюсь на словах: Исповедую едино крещение во оставление грехов. Что это значит?

Слово крещение в оригинале, по-гречески, звучит как баптисма — омовение. Священное омовение с глубокой древности означало перелом в жизни человека, смывание с его души и тела каких-то темных стихий, и физических, и духовных. Вода здесь употреблялась как символ чистоты. Между тем, сегодня мы знаем, что вода — это чудо мироздания; только благодаря воде на Земле существует жизнь. Безводные пустыни Луны или других планет Солнечной системы безжизненны. Подумайте над тем, что сама жизнь пропитана водой, что наш организм на 70 процентов, если не больше, состоит из воды. Жизнь зародилась в воде; особая молекула, особым образом устроенная, придает стихии воды исключительные свойства, необходимые для жизни. А теперь мы знаем еще, что она не только помогает созидать жизнь, но и каким-то таинственным образом может содержать в себе информацию. Вода обладает какой-то своеобразной памятью. Так что интуиция народов, которые употребляли воду в священнодействиях, в омовениях, была не ошибочна.

Во времена Ветхого Завета возник такой обычай: когда язычник, иноплеменник обращался к вере в Единого Бога, он проходил через обряд священного омовения. Часто это совершалось в реке Иордан или в Силоаме — источнике, бассейне, который существовал близ иерусалимского Храма. Часть его существует и до сих пор.

Почему омовение совершалось в Иордане? Иордан с древности считался священной рекой и одновременно как бы границей Святой земли, отделяющей ее от гор Моавских и пустынь восточных. Это священное омовение было знаком приобщения язычника к истинной вере. Потом появился Иоанн Креститель, о котором вы все знаете. Он призвал народ совершать священное омовение (евр. тевилб) — на реке Иордан. Он это предлагал делать уже не язычникам, а правоверным израильтянам, потому что подчеркивал, что наступление новой эры

Духа, когда Сам господь приходит на землю, требует от людей, даже выросших и воспитанных в правоверии, перелома во внутренней жизни — покаяния, обновления и осознания себя настолько недостойным, что ему надо пройти через священное омовение, как это делали язычники.

Священное омовение практиковали и современники Иисуса Христа — полумонашеский орден ессеев. Они совершали его несколько раз в день. И сам Христос Спаситель использовал обряд водного омовения как знак таинства вхождения в Церковь Христову.

Это вхождение может произойти только один раз — поэтому мы и говорим: исповедую едино крещение во оставление грехов. То есть взрослый человек, приходя к крещению, должен понимать его как примирение с Богом, как вхождение во Святую землю правды, добра, чистоты, верности. Поэтому крещение не повторяется, оно уникально.

Как совершается это таинство? Прежде чем сказать об этом, я должен пояснить, что означает слово «таинство». Среди священнодействий Церкви есть некоторые, особенные, когда вся Церковь призывает Дух Божий, чтобы Он пришел сюда, к собравшимся. И из множества подобного рода священнодействий Церковь на Западе в XIV в. выбрала семь главных.

Почему именно семь? В Библии семь — это символ полноты. А значит, это намек на то, что таинств на самом деле больше, чем семь; семь — это самые узловые. В XIII в. это впервые сформулировал Фома Аквинат, потом это было принято и в Восточной Церкви. И сегодня наша Церковь признает именно семь таинств.

Первое, как бы вступительное таинство — это крещение.

В любом таинстве есть два момента, два элемента: это дар Божий, сила Господня, которая сходит на нас, а с другой стороны — наш ответ. Поэтому таинство есть явление Богочеловеческое, как бы пересечение двух миров, как бы присутствие Божества с нами и нас с Ним. Соприсутствие, соединение.

Более того, таинство есть освящение человека и природы в целом, потому что человек и есть сама природа; человек есть голова природы, ее мысль, духовный центр, средоточие всего творения. И при освящении воды, которой совершается таинство крещения, освящается сама жизнь, чудо жизни. А ведь это удивительное чудо. Оно не может не затронуть людей, пытающихся отрицать чудеса. Посмотрите, как

раскрываются деревья, как весной эти окаменелые, казалось бы, высохшие на морозе ветки вдруг наливаются соком, как поднимаются травы из земли, как зарождается жизнь. Как зреет, как рождается птица из яйца, как рождается человек, как все творится. Почему это происходит? Почему до сих пор не бушует на земле просто гелиевая плазма, какая-то убивающая жизнь буря? Что произошло? Кто сдвинул с места тысячи законов и правил для того, чтобы они сошлись воедино, дабы создать на земле жизнь и человека? Это — чудо.

Но есть и второе чудо — духовное рождение. Христос сказал, что тот еще не вошел в веру, кто не пережил нового рождения. Однажды должна лопнуть кожа, броня, которая окружает нашу душу, спрятанную внутри, заикленную в себе, свернутую, как будто младенец-эмбрион. Разрывается эта пелена — и раскрывается душа, как крылья у бабочки, выходящей из кокона.

Многие люди были недалеко от этого, но потом испугались потрясения души и попятнулись в обыденность, в повседневность, опять вернулись на круги своя. Бог стучится к каждому человеку, и это самое великое мгновение жизни. И наша задача в тот миг — открыть Ему дверь, чтобы Он не прошел мимо.

Итак, в крещении встречаются воля человека войти в ограду Церкви, получить освящение, прощение — и Божий знак: «Приди ко Мне».

И, наконец, вода как символ жизни человеческой.

Крещение разделяется на две части: оглашение и собственно крещение. Обычно их совершают вместе, но когда я крещу одного человека, отдельно, я часто это разделяю.

Оглашение — чин, который предшествует крещению. Священник спрашивает у человека, готов ли он к крещению, хочет ли он соединиться с Христом, отрекается ли он от сатаны и дел его, от всякого зла демонического — всякое зло есть демонизм. И потом новокрещаемый читает Символ веры.

Я отделяю оглашение, потому что оно должно сопровождаться беседами, чтением Священного Писания. Но поскольку мы с вами уже несколько раз встречались, то это как бы и заменило нам оглашение как подготовку.

Потом идет само таинство крещения — человек принимается в лоно Церкви, Вселенской Церкви Христовой. Но вы спросите: а

почему крестят детей — ведь дети не приходят по вере? Так исторически сложилось. Христианство, отвергнув языческий обычай посвящения младенца, вхождения его в общину людей, в жизнь, как бы не создало аналогичного достаточно важного обряда, и матери стали приносить детей, чтобы их покрестить. Это было примерно в V в.

Как государство дает ребенку гражданство — принимает его в свое лоно, хотя ребенок об этом пока еще не подозревает, как он становится любимым членом семьи, хотя он еще этого не сознает, потому что только что родился, так же младенец принимается и в семью Христовой Церкви. Это как бы крещение авансом, впрок. При этом присутствие крестных знаменует, что его обязуются воспитывать в христианской вере, что выбор сделан, пусть не им, но его родителями; ведь в этом возрасте человек от родителей еще неотделим.

Второе важное таинство — таинство причащения. Я думаю, что после крещения мы с вами еще несколько раз встретимся, и я вам расскажу о церковном богослужении, чтобы вы имели общее представление. Тогда и поговорим подробно о причастии. Сейчас я скажу лишь о его сути.

Это жертва, но жертва в особом, таинственном смысле. Это соединение с Христом. Когда человек в древности приносил жертву, он тем самым призывал Бога стать соучастником его жизни. Человек призывал Бога на трапезу, ибо любая жертва была одновременно и трапезой, которая объединяла членов общины и соединяла их с Божеством. Поэтому древние израильтяне, собираясь на священную трапезу Пасхи, так называемый сйдер, вместе вкушали хлеб, пили вино, и это была молитвенная трапеза, которая соединяла их воедино, в ветхозаветную Церковь. Христос взял этот обряд и сделал его знаком Своего реального присутствия среди людей. Вечная трапеза длится — как у Мандельштама: «И Евхаристия, как вечный полдень, длится».

Евхаристия, благодарение — это новая Пасха. То есть там было освобождение от рабства, а здесь — спасение, которое дается тем, что Христос приходит к нам. Надо почувствовать и пережить, что вот Он здесь, что Он с нами, бесконечно недостойными Его, далекими от Него, — но Он открыт нам.

И каждый раз, когда совершается Евхаристия, чаша и хлеб напоминают нам о Тайной вечере. Он оставил это нам как знак и обряд, сказав: «Сие творите в Мое воспоминание». В ночь перед Своей крестной смертью Он взял чашу и хлеб и сказал: «Вот трапеза — это Мои Тело и Кровь», то есть это Я сам.

В древнем способе выражения это Я сам означало: «Я Себя отдаю людям, и когда вы будете вместе за этой трапезой, Я буду с вами, всегда». Поэтому древнейшие свидетельства о христианах всегда неотделимы от этого таинства. Оно называется «Благодарение», по-гречески Евхаристия, потому что там читается благодарственная молитва. Это таинство совершается во время литургии (греч. «общее действие»), или обедни (это просторечное название, означающее то, что совершается до обеда). К Евхаристии в настоящее время принято приходить натошак — из благоговения. Каждый день она совершается в городских церквях, и каждое воскресенье — в сельских. Земля вращается, и сначала в одном месте планеты поднимается Святая Чаша, потом в другом — всегда, во всех странах, всюду Чаша вознесена в любое мгновение, в любой час. В ней — жизнь.

Ибо это хлеб — плоть мира; зерна пшеницы, кровь винограда — то вещество, которое питает нас. Когда человек питается, он причащается природе. Стихия природы, жизнь мироздания входит в нас через процесс питания, ассимилируется, отождествляется с нашим организмом, и тем самым энергии природы, ее тайные и явные силы, входят в наше тело, и оно растет, оно существует, оно набирается этих сил. Вот почему принятие пищи всегда было актом священнодействия, всегда сопровождалось молитвой. И до сих пор мы всегда перед принятием пищи стараемся перекреститься и прочесть молитву.

Человеку свойственно благоговейное отношение к пище. И поэтому Христос самое сердечное Свое таинство — в котором Его сердце нам отдано — делает трапезой. Первые христиане совершали ее действительно за столом; это была молитва-трапеза. Но когда численность людей в Церкви возросла, этот стол превратился в престол, который стоит на возвышении в алтарном пространстве, там находятся чаша и дискос с хлебом, совершается освящение, и люди приобщаются Святых Тайн.

Святые Тайны — это Божественная трапеза Христова. Как удивительно, что Он оставил нам не какое-то философское учение, не

доктрину, не какие-то афоризмы, а Он оставил Себя через эту простую трапезу, символизирующую жизнь, пищу, без которой человек жить не может. И это было не только в последнюю ночь перед Его крестной смертью, это было и в другой раз, когда Он накормил голодных в пустыне, а потом скрылся от них, желавших провозгласить Его царем. И когда они Его искали, Он сказал: «Я — хлеб небесный, Который пришел к вам, чтобы вас напитать. Кто будет питаться Моей Плотью и Кровью, тот будет иметь жизнь вечную». Они, конечно, не поняли этого выражения. А плоть и кровь, повторяю, — это сам человек. Значит, Он — наша пища, по аналогии с природой, Он питает наше существо, как природная пища питает каждого из нас.

Третье таинство (порядок не имеет значения, его можно менять) — таинство покаяния, или исповеди. Это, условно говоря, второе крещение. Поскольку само таинство крещения не повторяется, а человек, получив через него прощение, часто и естественно вновь возвращается в греховную жизнь, — необходим какой-то знак, что он вновь прощен, что он может подойти к Святой Чаше, и вот этим знаком является отпущение грехов в таинстве покаяния.

Мистически оно совершается всей Церковью, но в присутствии священника, который наедине принимает исповедь человека. Вы можете спросить: зачем же свидетель, неужели я не могу каяться перед Богом, так сказать, сам в себе или где-то в душе? Но на самом деле тут не будет подвига преодоления, потому что человеку самому себе сказать о том, какой он дурной, не так-то трудно, а вот сказать в присутствии свидетеля, тем более знакомого свидетеля, — это тяжело, через это надо переступить, но вот при этом-то и ломается корень зла. И еще: некоторых людей смущает, что, рассказывая священнику о своих недостатках и грехах, можно упасть в его глазах. Это глубокое заблуждение. Я могу по себе сказать, что когда-то мальчиком я думал: как же священник может общаться с людьми, когда он знает всю их подноготную? Получается, как в сказке Гофмана: если он знает все мысли, так и жить невозможно. Но став священником, я увидел, что Бог действует чудесным образом и заставляет меня забывать все эти грехи, о которых я слышал, и общаться с людьми, как будто я не слышал от них ничего. Какая-то таинственная, властная рука стирает из моего сознания и памяти все то, что я слышал от них на исповеди. И это нас подводит к следующему таинству — таинству священства.

Церковь — это община людей. Хотя господь Иисус обращается к каждой душе отдельно, воля Его в том, чтобы мы шли к Нему вместе. Он так хочет. Он так создал человечество, чтобы люди могли жить только вместе. И Церковь есть новый вид общения, идеальная модель для человечества. Но создание Церкви — вещь трудная, как вы знаете. И будучи великим социальным организмом, она нуждается в распределении различных форм служения. Это просто объясняет нам апостол Павел. Он говорит, что человек, имея тело, одновременно имеет в нем разные органы, у которых различные функции. То есть организм — это не монотонное разнообразие каких-то частей, агрегатов, а полиморфное соединение, имеющее различные аспекты. Он говорит нам также: «Все ли апостолы, все ли учителя, все ли имеют дары исцелений?» Нет, конечно. И взаимосвязь между людьми на это опирается. Потому что когда одному дано одно, а другому другое, мы можем служить друг другу. Если бы мы все были одинаково одарены всеми дарами, то мы бы друг в друге не нуждались. Мы нуждаемся друг в друге именно потому, что дары распределены неравномерно. Как очень трудно склеить гладкие плоскости, гораздо легче склеить плоскости, имеющие какие-то впадины и выступы, так и в обществе людей.

И вот, есть форма служения Церкви — это прежде всего предстоятель, то есть тот, кто говорит за общину во время совершения таинства Евхаристии. Он является голосом общины, ее руками, он, выражаясь на вульгарном языке, ее «полномочный представитель». Вначале это были апостолы. Потом апостолы получили название епископов. Почему? Епископ по-гречески означает «надзиратель», «управитель». Руководитель общины стал не только предстоятелем за таинством, но и руководителем жизни общины, в том числе и хозяйственной жизни. Так он стал епископом, а священник лишь помогал ему совершать все таинства, кроме таинства священства.

Таинство священства совершает только епископ. Почему оно называется рукоположением, по-гречески хиротонией — возложением рук? Это древний ветхозаветный обычай — передавать какой-то духовный дар или силу через обряд возложения руки или рук. Это таинство вы можете видеть в тех храмах в Москве, где служат епископы, например, довольно часто священников рукополагают в Новодевичьем монастыре. Это таинство тоже является чудом, потому

что мы, священники, действуем не по своей силе, мы такие же немощные и грешные люди, как каждый из вас. Но если мы что-то можем делать больше обычного, то только в силу этого дара, этой хиротонии, этой благодати священства. Я всегда отлично сознаю, насколько она действует больше, чем действую я сам.

В одном институте, где я читал лекцию, меня спросили, чувствовал ли я перемену в своем мироощущении, когда стал священником. Я подумал и вспомнил; вспомнил дни своей юности и понял, что тогда у меня было в десять раз меньше сил, чем потом, когда я стал уже пожилым человеком. В десять раз меньше сил. Откуда это? Человек, которому двадцать пять или пятьдесят пять — разница? Но в пятьдесят пять я способен делать на несколько порядков больше. Это действует благодать Божия, а не я. В это время надо бы уже угасать. Я даже помню, что первые дни, когда я служил в храме, я возвращался и после этого должен был лечь на кровать, отдохнуть. Сейчас мне это и в голову не приходит, хотя служу я во много раз больше. Таким образом, это не человеческое, а Божие. Наша же задача, служителей Церкви, это все воспринять, усвоить.

У вас может также возникнуть вопрос (он возникал еще в средние века): а что если таинство совершает недостойный священник? Во-первых, скажу вам, что мы все недостойные. Во-вторых, что имеется в виду, когда Церковь говорит о том, что таинство действительно, реально совершается, если совершает его священник, независимо от его нравственного уровня? Это не магия, не фокус, не механическое совершение таинства, а великое учение Церкви о том, что это таинство, допустим, крещение, совершает вся Церковь. Совершает по вере своей. И Бог откликается на голос Церкви, а не на произвольное слово священника. Вот почему, если он недостойн, но достойна община, молящиеся, Церковь, то она, община, и совершает это таинство, хотя и его руками. Ну, разумеется, приятнее, когда, так сказать, руки чистые. Но все-таки надо об этом помнить. Потому что некоторые люди говорят: это мне не подходит, то не подходит. Это все неверно. Кто хочет пить, выпьет и из консервной банки, если там налита вода.

Есть еще таинство, которое мы называем соборованием. Это таинство елеопомазания, или елеосвящение. Оно, как и любое другое, требует веры, но здесь — особой, специфической веры: это таинство

исцеления. Оно должно совершаться над больным человеком, чтобы он либо выздоровел, либо умер: иногда смерть бывает выздоровлением. Я знал людей, которые действительно были открыты действию таинства, и оно поднимало их прямо из могилы. Или наоборот, люди умирали. То есть это как бы лакмусовая бумажка, как какой-то рычаг. Но очень важна субъективная сторона, потому что здесь участвует сам человек. Название этого таинства происходит от того, что с апостольских времен был обычай помазывать больного освященными маслами, елеем.

Надо только не путать таинство елеопомазания, или соборования, с миропомазанием. Почему оно называется соборованием? Потому что, по старинному обычаю, собираются несколько священников — собор, — и они молятся над одним больным. Помните, в фильме «Война и мир», когда умирает отец Пьера, там стоят священники со свечами. Это его соборуют перед смертью. Я сослался на кинофильм, потому что теперь такого соборования не бывает никогда. Бывает все наоборот: приходит масса больных и священник (или двое священников). Мы поменялись местами, так что собор уже не наш, а ваш, собрание больных. Да, исцеляться может каждый. По-настоящему исцеляться, в самом прямом, физическом смысле. Если этого не происходит, это просто от нашего маловерия. Кто готов — получит исцеление в соборовании и вообще по молитве.

А миропомазание — это таинство, которое у нас оказалось, к сожалению, как-то отодвинутым на задний план. Это таинство присоединения крещеного человека к реальной жизни Церкви через призывание и нисхождение силы Духа Божия. В Западной и вообще мировой церковной практике это таинство совершается уже над взрослыми, над подростками или детьми, которые сознательно, после крещения в раннем детстве, входят в общину, и Дух Божий сходит на них. У нас это таинство совершается тут же при крещении младенца, без перехода, и оно как бы сливается с крещением. Из ста человек едва ли один знает, что кроме крещения было еще и миропомазание. Я думаю, что со временем это вернется в Церковь. Я знал одного священника, известного зарубежного богослова, который, крестив свою дочь, сказал: «Когда ты подрастешь, ты поедешь в Россию и там тебя миропомажут». И вот она ко мне приехала уже будучи взрослой девушкой. Мы собрались, молились и совершили над ней таинство

миропомазания. Но ее отец был специалистом по богослужению, ученым с мировым именем, он один из немногих знал, насколько важно это таинство само по себе. Из-за нашего пренебрежения им наши братья — протестанты—пятидесятники — сделали какой-то крайний акцент на принятии Святого Духа и считают, что эта тайна должна совершаться в сопровождении каких-то феноменов, что человек должен ощущать это просто как потрясение, он должен «говорить языками», то есть молиться каким-то странным образом. На самом деле это не обязательно. Это зависит от человека, от его настроения. Иногда можно пережить все очень глубоко, но при большой внутренней сдержанности. Такая реакция пятидесятников возникла из-за того, что тайну Духа Божия отодвигали куда-то на задний план. Так исторически сложилось.

И наконец, последнее таинство, которое на самом деле является первым, — таинство брака. Как подчеркивает православный русский богослов С.В.Троицкий, это единственное из семи таинств, которое было основано не Христом Спасителем, а изначально присутствовало в Ветхом Завете. Когда Бог создал любовь между мужчиной и женщиной, Он и создал это таинство. Оно заключается в том, что человеческий дух устроен таким образом, что возможно некое таинственное, можно даже рискнуть сказать, мистическое, соединение двух существ, которые становятся имманентными друг другу. Прошу прощения за философский термин. Библия выражает это простыми словами: «Да будут двое плоть едина». Плоть едина, то есть не только дух, но все существо. Это некое поразительное единство.

Сатана — сила разрушения, распада, аннигиляции. Бог есть сила соединения, творения, гармонии. Поэтому и сказано, что брак, это соединение, есть величайшее чудо. Апостол Павел так и пишет: «Тайна сия велика есть». И древние пророки, а за ними апостол, сравнивали это удивительное слияние душ со слиянием человека с тайной Божией, с отношением между Божеством и человечеством. В Библии ничего не сказано про деторождение как часть этой тайны; целью является именно сама любовь, а не деторождение. Заповедь «плодитесь и размножайтесь» обращена к живым существам, к животным и к человеку в равной степени, это у них общее. И размножение возможно без любви. А вот любовь возможна и без размножения. Это подчеркивал Владимир Соловьев: очень сильная

любовь двоих не обязательно увенчивается рождением человека, тем более — рождением какого-то гениального человека. Это, в общем, разные вещи. Вы можете спросить: но разве это не в идеале только, разве это бывает в жизни? Или Бог это создал, а мы испортили? Я говорю о том, что есть в реальности и одновременно дано нам как манящий идеал. Легко быть циником и говорить, что этого не бывает, очень легко. Но циник — он и есть циник, он видит только на поверхности. А в конце концов задумайтесь над тем, что все величайшие произведения человеческого гения в музыке, поэзии, прозе, живописи, ваянии так или иначе были связаны с великим переживанием любви, а совсем не с размножением. Подумайте об этом. Я даже приводить примеры не решаюсь. Потому что на самом деле это охватывает все, что создавало человечество, от гомера и Шекспира до наших дней. В самой Библии есть Песнь Песней — гимн любви.

Если мы любовь затоптали, опошлили, то это наша вина, а не вина любви. Если мы не умеем любить, то это значит, что мы отходим от заповеди. Правда, иные говорят: ну, а возможна любовь, так сказать, вечная? Конечно, возможна. Но ведь один и тот же человек в конце концов приедается, надоедает? Только безлюбивые глаза могут сказать, что перед тобой один человек. Каждый год перед тобой другой человек. Если ты любишь, то ты всегда открываешь в нем все новые и новые черты. Твоя жена такова, как ты к ней относишься. Физиономии наших близких, наших мужей и жен — это зеркало наших отношений к ним. Христос потому и ставит перед нами этот идеал, что он — источник полноты жизни, счастья, он — норма, как бы мы его ни топтали. И, наконец, последнее, что можно к этому прибавить. Один врач, опять-таки циник, мне говорил: милый мой, это все гормоны, гормоны. Это верно, гормоны ведь тоже не посторонняя нам вещь, они в нас работают. Но только ли гормоны? Я приведу лишь один пример, с моей точки зрения, самый яркий.

Вспомните эпилог «Старосветских помещиков» гоголя. Афанасий Иванович, высохший старичок, какие уж там гормоны, давно вдовец, — и только он вспоминает имя своей Пульхерии Ивановны, как разражается рыданиями. А она давно умерла. Что же связывает их — ведь они оба жили полуживотной жизнью, ели да пили, да спали? Была любовь. И она оказывается такой, что когда у человека

высыхает все гормональное кипение, она может остаться. И, наоборот, человек может быть полон физической жизни, а любовь вдруг раз — и проходит. С гормонами все в порядке, а с любовью плохо. Значит, тайна здесь в другом. И надо искать причины, почему любовь у нас не получается. Конечно, односторонне это трудно, разумеется, здесь нужно быть вдвоем. Но здесь есть одна важная вещь. Человек по природе эгоистичен, и Бог создал любовь как первое и сильное естественное лекарство против эгоцентризма. Когда человек перестает считать свое «я» единственной абсолютной точкой мироздания и когда он находит эту точку в другом «я» — здесь начало этого чуда и этой тайны.

Таким образом, мы видим, что система церковных таинств обнимает жизнь во всех ее проявлениях: и связь с природой, и пищу, и любовь, и, соответственно, труд — раз природа, виноградная лоза и зерно — вино и хлеб, это же труд. Хлеб ведь не растет просто так, и вино тоже не бьет из ключа. Это результат человеческого труда. Все здесь соединено: община, братство, взаимопомощь, Церковь. Поэтому когда мы говорим: Исповедую едино крещение во оставление грехов, то при этом вспоминаем и о прочих шести таинствах, которые составляют вместе с крещением единую жизнь Церкви, единую тайну, в которую мы можем войти и в ней пребывать.

Ну, а в следующий раз мы будем говорить о заключительных словах: Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века.

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

Чаю воскресения мертвых — надеюсь на воскресение мертвых и жизнь будущего века. Иногда думают, что речь идет о бессмертии души. Но это не так. Человек задолго до христианства имел представление о том, что смерть — не конец всего.

В древних захоронениях людей, в каменном веке, мы находим следы того, что человек знал истину — «Весь я не умру»... Древний египтянин, который был куда цивилизованнее, чем люди каменного века, который знал уже и астрономию, и основы математики, и архитектуру, человек, принадлежавший к великой цивилизации, создавшей пирамиды, храмы, фантастические лабиринты, секрет которых до сих пор до конца не разгадан, никогда, ни на мгновение не сомневался в том, что у человека есть бессмертная часть. Вы можете подумать, что речь идет о некоем утешении, к которому стремится человек. Но на самом деле это не так. Иногда посмертное бытие представлялось как ущербное, темное, полусознательное, страшное. Вероятно, опыт людей, встречавшихся с какими-то таинственными феноменами, с какими-то знаками присутствия духа умершего, и рождал те страшные сказания, которые мы читаем в «Одиссее» Гомера, в «Гильгамеше» у древних вавилонян. Мрачный мир призраков обитает в этих сферах.

Так же думали и греки в течение долгого времени. Но когда у них появилась философия, философы впервые поставили этот вопрос на уровень профессионального и серьезного обсуждения. Они поставили вопрос так: если мир состоит из неких частей, как говорили древние греки, атомов, то является ли душа человека, мысль человека чем-то, состоящим из атомов? Это предположение выдвинули древние материалисты в лице Демокрита и его последователей. Но взгляд их не был принят большинством философов, потому что они прекрасно понимали, что распасться может только агрегат, который состоит из каких-то частей. Распад неизбежно требует движения. А может ли двигаться дух? Если предмет движется, то он сначала находится в этой части пространства, потом в той и так далее. Сознание человека не находится ни в какой точке пространства, в ней могут находиться лишь

органы, которые мышление использует. Но само оно обладает способностью быть непространственным, нефизическим, нематериальным. А следовательно, раз оно не находится в пространстве, оно неподвижно, а раз оно не может двигаться, значит, оно не может распадаться. Его бытие совершенно особенное. Во всем известном нам мироздании ничего подобного не существует. А человеку сегодня известно уже очень многое. Все, что открывается сегодня наукой, показывает, что любое природное явление может быть измерено, либо взвешено, либо увидено глазами или прибором. Оно обладает такими свойствами, которые позволяют его фиксировать. Например, даже если мы не видим полет элементарной частицы, мы видим след, который она оставляет. Между тем, во всем мире только сознание, только «я», только дух не оставляет следов, не улавливается никаким прибором или аппаратом. Иногда говорят, что излучение, открытие биотоков мозга как раз и есть след нашего мышления. Но должен вам сказать, что любая ткань в той или иной степени имеет биотоки, и мы можем найти их и в лапке лягушки. Биотоки сопровождают физическую и физиологическую жизнь клеток мозга, а не являются мышлением.

Таким образом, мышление есть чудо, в том хотя бы смысле, что мы можем удивляться ему, поскольку оно полностью иноприродно всему остальному. И если все в мире разруσιμο и преходяще, то мышление, «я», дух, личность — этот центр неразрушим и непреходящ. Это вовсе не значит, что жизнь нашего «я» все время однородна, что там нет возрастания, углубления каких-то возможностей. Напротив, если растение живое, оно вырастает из маленького семечка, если дух человека посеять, из него может вырасти что-то, а может не вырасти. Таким образом, человек уже в древности пришел к мысли, что судьба нашего сознания находится в прямой зависимости от того, что происходило с ним на протяжении земной жизни. Наше тело — это орган мышления, инструмент духа, рука, глаз действующего «я».

Подобно тому, как локатор улавливает вибрации Вселенной, тончайшая, до сих пор неизученная структура мозга становится носителем духа. Подобно тому как глаз улавливает свет, собирает его в себе, наша центральная нервная система аккумулирует в себе духовное начало.

Человек видел, что умерший молчит, его глаза закрыты, он отрезан от бытия. Но у древних хватало логики, чтобы понять простую вещь: если в соседнюю комнату вход замурован и мы не можем общаться с тем, кто там находится, если стена достаточно толстая, чтобы даже стук туда не дошел, — это вовсе не значит, что за этой стеной уже ничего и никого нет. Если прервался наш контакт с умершим, если его тело перестало ему служить, он не может нам передать своего сигнала о своем «я» с помощью своего тела, то это не значит, что душа его испарилась.

Я всегда в этом случае вспоминаю: в юности меня поразило одно выражение французского писателя Мопассана в его рассказе о женщине, которая погубила себя. Там сказано, что она упала, бросилась в колодец, а душа ее — то, что называлось ее душой, — угасла на дне колодца. Это звучало очень мрачно: «угасла». Но тогда же я (все-таки я был школьник, когда читал эту новеллу) уже понимал, что «угасание» — это не аннигиляция, это процесс перехода из одного состояния в другое, и если было столь мощное явление, как душа, как сознание, как «я» в человеке, оно не может аннигилировать, оно переходит в другую форму существования.

Самое высокое из созданий Творца, которое мы только имеем в мире, — это личность. Все стихии безличны. В животных проявляются первые зачатки индивидуальности. Но творящая личность — только человек. Об этом говорил Паскаль в своей бессмертной книге «Мысли». Обязательно посмотрите эту книгу. Она легко читается, потому что это афоризмы. И мы не знаем ответ на вопрос: откуда это чудо? Можно понять, откуда наша способность дышать. Спросите у биолога, и он вам расскажет, как процесс усвоения кислорода начался у первых животных, и мы их наследники. Мы знаем, почему мы поддерживаем свою жизнь с помощью пищи. Эти энергетические процессы совершенно ясны химику, физику, физиологу, биологу. Мы знаем, откуда все в нашей телесной жизни. Только не знаем, откуда появилось духовное «я», творящее, мыслящее, выбирающее между добром и злом, меняющее облик планеты.

Священное Писание открывает нам эту тайну. Оно говорит, что человек в его духовности создан по образу и подобию Самого Творца. Вот где отгадка. Вот почему мы иноприродны. Вот почему человек, который дышит, ест, пьет, размножается, как любое другое существо,

качественно отличается, духовно отличается от всей природы. Потому что он отражает в себе всю созданную Богом Вселенную: царство минералов — элементы таблицы Менделеева, царство растений — ведь каждая клетка нашего тела повторяет модель клетки любого растения, царство животных...

Но дух наш — гость в этом мире. И не просто гость: перед ним поставлена определенная задача возрастания. Дух, учащийся здесь. Он соединен с материальными силами не благодаря парадоксальной прихоти; это происходит, потому что для изменения бытия вещественное, материальное, стихийное соединились через человека с духовным, чтобы духовная сила пронизала все материальное бытие. Одухотворение Вселенной, созданной Богом, — вот высочайшая цель, которая здесь задана. И человек был пущен в мироздание с этой целью. Но он еще эту цель не осуществил и очень мало в этом участвует. Вот одна из разгадок того, почему врачи, физиологи, ученые говорят вам: человек не использует своих возможностей на тысячную долю. Правильно, потому что в нас заложено бесконечно много. На самом деле эта неудача человека не является неудачей, потому что, когда люди умирают телесно, продолжается работа всего человечества. Вот образ для вас: текут реки, моря, поднимается утренний пар, и вот земная вода в виде пара восходит вверх, белые облака уже кружатся над землей. Какое огромное значение имеют облака для жизни! Они несут в себе живительную влагу в те пустынные места, над которыми раскинулось лишь беспощадное голубое чистое небо, в те пустынные места, где так мало жизни. История духа имеет свои живительные облака — потоки душ, восходящих вверх, то есть вверх не в пространстве, а в ином измерении; эти облака — бессмертная сокровищница человеческих душ. Мы называем это высшим измерением жизни, иные называют его потусторонним, посмертным бытием, в котором тоже есть развитие, движение, жизнь, но иная жизнь. То, о чем я говорю теперь, является общечеловеческим представлением, понятием, которое разделяют люди от одного океана до другого. И те, кто сознательно пытаются убедить себя и других, что личность самосознающую ожидает впереди небытие, все равно в глубине своего существа не верят в свое полное уничтожение. Такой глубокий наблюдатель человеческой психики, как Зигмунд Фрейд,

писал, что в действительности никто в свою смерть, то есть уничтожение, аннигиляцию, не верит в глубине своего существа.

Но христианство говорит нам о чем-то большем. Оно говорит нам не просто о естественном бессмертии каждого человеческого «я» в ином измерении, а о новом этапе космической эволюции — о жизни будущего века. В оригинале, по-гречески, здесь стоит слово эон; оно означает равное протяжение во времени, которое почти выходит за пределы истории. грядущий эон, жизнь грядущего эона. Это уже взгляд в отдаленное вселенское будущее, взгляд, который проникает за завесу того, что может сегодня представить ограниченный человеческий рассудок. Это не просто естественное бессмертие души, вернее, духа. Здесь я сразу должен оговориться. Речь идет всегда о духе, потому что душа — это психика, которая есть и у животных, и, по-своему, у растений, реакция организма на окружающую среду. Дух — это то, что творит, то, что является неповторимым, личностным, обладающим свободой. Все религии и философии, так или иначе, говорят о бессмертии духа, а христианство открывает нам эту сверхъестественную истину — чаю воскресения мертвых и жизни будущего века.

Это упование и эта вера родились не на пустом месте, а родились они в таинствах Пасхи Нового Завета, когда Иисус Христос победил смерть.

Мы говорим о людях, оставивших нам великие произведения искусства, литературы, науки, как о по-своему бессмертных. Поэтому и Пушкин пишет: «Весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет». Но все это временно, нет бесконечной памяти у человечества. Вечной остается жизнь, погибают отдельные организмы. Но для человека, для его сферы, то есть для сферы духа, важен каждый человек, каждая личность. И когда Христос явился перед учениками, это не была память о Нем. Такая память была о пророке Исае, о великих учителях человечества, о великих философах. Христос вовсе не жил в памяти, Он явился им Живой. Вот что было важно. Бессмертие в легендах и памяти было у Моисея, но никто не говорил, что он явился живым. Наконец, бессмертны в памяти наши великие христианские святые, и многие из нас видели их во сне, имели с ними внутренний контакт, но все-таки мы знаем, что они умерли и гробницы их и мощи их — явное об этом свидетельство.

Христос не «ожил», а изменился. Поэтому святой апостол Павел говорит, что «мы все изменимся». Это трансформация, мутация, новая ступень эволюции, но не для тех, кто придет только после нас, а мы уже не нужны будем, а для всех душ, которые когда-либо были созданы в мире. «Мы все изменимся», — говорит апостол. И тогда нам вновь будет возвращено телесное бытие. То телесное бытие, которое открылось ученикам в явлении Воскресшего. Апостол Павел говорит: «Есть тело душевное, а есть тело духовное». Тело духовное — некое иное тело, которое не подвержено в такой степени жестким, неумолимым законам мертвой и живой природы, тело, которое подчиняется духу, поэтому не знает ни старости, ни усталости. Опыт учеников, видевших Воскресшего, был особенным. Это не было смутное видение. Он пришел к ним и сел за стол, и показал им знаки на своих руках, и ел с ними. Но никому из них не пришло в голову, что Он, может быть, очнулся, ожил, — потому что лицо Его изменилось. Они узнавали Его не сразу, потому что Он не входил к ним в двери, а появлялся сразу в комнате; для Него не существовало более тех преград, которые существовали прежде. И поэтому Он сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Он стал иным, и апостол Павел продолжил Его мысль. Он учит нас, что Христос в этом отношении явился «первенцем» — первенцем не как Богочеловек, а как человек, обретший новую жизнь. Он первый обрел духовное тело, первый вошел в вечность в духовно-душевно-телесном единстве личности. Это и есть то, чего чает христианство.

Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Смерть побеждается, небытие и грех побеждаются, наша душа, скомканная, маленькая и жалкая, вырывается на колоссальную свободу. И между нею в ее нынешнем состоянии и тем огромным разворачиванием, которое ее ожидает, такая же гигантская дистанция, как между молчаливым эмбрионом в утробе матери и гением, скажем, Леонардо да Винчи или Эйнштейном, который из этого эмбриона родился.

БИБЛИЯ И АПОКРИФЫ ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В мировую литературу всегда вовлекаются самые важные, наиболее волнующие людей темы, сюжеты и образы. И поэтому неудивительно, что искусство и литература многократно обращались к Священному Писанию. И мы с вами сделаем лишь очень беглый обзор этого замечательно интересного и во многом поучительного процесса: как преломлялась Библия в творчестве поэтов и писателей, неведомых и знаменитых.

Самые ранние попытки художественно интерпретировать Библию, как бы дополнить ее беллетристическим образом, мы называем апокрифами. «Апокриф» — слово двойственное. С одной стороны, это слово означает книгу «спрятанную», «потаенную». Почему возникло такое название для этих произведений? Потому что они очень рано стали восприниматься как неортодоксальные, гонимые, неугодные тем или иным церковным направлениям; поэтому их уничтожали, а те, кому они нравились, их прятали, и получалась «потаенная» литература. Но есть и другая причина этому названию. Значительная часть апокрифов была создана людьми, которые предполагали, что в Библии, которую мы читаем, запечатлелось лишь общенародное учение, так сказать, экзотерическое, а эзотерическое, тайное, глубинное учение спрятано в особых откровениях, которые они называли «апокрифы». В Древней Руси апокрифы назывались «отреченными книгами».

Поразительна живучесть этой литературы. Трудно даже поверить, что апокрифы, созданные за десятилетия и даже столетия до нашей эры на древнееврейском, арамейском и греческом языках, были потом переведены на армянский, грузинский, эфиопский и жили — имели долгую жизнь — в древней Руси! Через тысячелетие! Эта литература продолжала свое существование в самых разных культурах и цивилизациях.

Апокрифы стали появляться и в более позднее время. Мы знаем апокрифы XIX, XX века: «подложные» книги, те, которые выдавали себя за древние писания, которые их сознательно имитировали. Чтобы

не заблудиться в этом море литературы, разделим все это на ясные, четкие рубрики.

Дохристианские ветхозаветные апокрифы: это были книги, которые создавались преимущественно анонимными, неизвестными для нас авторами. Первые древние ветхозаветные апокрифы появляются где-то около 190-го — 170-го года до Рождества Христова, до нашей эры. Многие апокрифы погибли. Многие сохранились до нашего времени только во фрагментах. Некоторые уцелели лишь в более поздних переводах. Но все-таки это довольно богатая литература.

Что же представляют собой ветхозаветные апокрифы? Это книги, которые пытаются дополнить библейское сказание, развернуть то, что как бы скрыто и спрятано в Библии. Тут работает и человеческое воображение, и глубокая любознательность, и какие-то новые доктрины, которые пытались себя как бы присоединить к потоку, к библейскому учению. Достаточно бросить взгляд на некоторые из этих апокрифов. Перечислять их все я не буду. Важнейшие из них — это апокрифы Еноха (это цикл апокрифических книг), «Книга юбилеев», «Завещание двенадцати патриархов», «Псалмы Соломона», «Кумранские псалмы». Множество апокрифов было найдено на берегах Мертвого моря в пещерах Кумрана и других поселках древних аскетов есеевского типа.

Что же такое апокрифы Еноха? Древний библейский писатель, который нам создал, так сказать, «построил» Книгу Бытия, хотел показать людям связь между поколениями и народами с помощью традиционного метода генеалогии (родословия). И вот этот писатель взял одну из древнейших генеалогий, которая имелась в Месопотамии, и построил на ней связь поколений допотопного мира. Среди этих предков именуется Енох. О нем сказаны загадочные слова, что Бог «взял его», взял его «от земли». В поисках ответа на эту загадку толкователи обратились к древним легендам Месопотамии, и выяснилось, что там один из царей был вознесен в чертог бога Солнца и ему было показано строение Вселенной. Вот этот древний образ и отразился в образе библейского Еноха. Но библейский автор не вдается в эти подробности, он как бы походя упоминает, что вот такой-то человек имел какую-то удивительную судьбу. Все! Это деталь, она проскакивает в повествовании. Иное дело автор апокрифа.

Апокрифов Еноха имеется несколько. Наиболее древний называется «эфиопский», потому что сохранился в эфиопском переводе. Но он также имеется и в армянском, в греческом и в других переводах. А есть славянский апокриф Еноха, краткий, который сохранился в древнерусской версии.

И вот мы обратимся к этой славянской версии. О чем она говорит? Праведный Енох поднимается Богом куда-то на седьмое небо — весь мир как бы построен в виде ступеней или же концентрических кругов. Заметим, что это напоминает нам Вавилонские башни — с семью ярусами. И там он видит структуру Вселенной! То есть то, что Библия не хотела давать людям, в апокрифе дается.

Библия не хотела, не хочет давать человеку познание научное, рациональное, потому что для этого познания человеку достаточно иметь разум и опыт. Для этого не нужно откровений, для этого не нужно Священное Писание. Для этого нужны естествознание и другие отрасли науки. А автор «Еноха» хочет (это одна из ранних попыток) превратить восхождение древнего человека на Небо в некоторого рода небесную космическую географию. Там излагается устройство семи небесных сфер, Енох созерцает и ангелов, и звезды, видит, где праведники, где грешники. Таким образом, енохическая литература является предтечей Данте и других средневековых сказаний о загробном мире.

Но, я уже подчеркнул, что вот эта любознательность идет вразрез со Священным Писанием. И поэтому не случайно и не удивительно, что эта книга, которая выдавалась за произведение древнего Еноха (а кто тогда мог отличить древнее от нового? И сейчас-то историки не всегда могут разобраться), была отвергнута. Не потому, что она показалась анахронической или являющейся исторически сомнительной, а потому, что она входила в те области, которые Священное Писание обходило. Это была устаревшая космология, которая представляет для нас теперь только некий ретроспективный интерес.

К тому времени канон Священного Писания был сформирован уже почти полностью. Первые пять книг Библии — Тора, или Закон, или Пятикнижие по-славянски — уже были твердо зафиксированы. Книги пророков, в том виде, как они существуют, тоже были канонизированы. Но третья часть, Агиографы или Писания Мудрецов,

куда входит и Псалтирь, и другие книги (мы их в церковно-славянской традиции называем «учительными книгами») — этот сборник еще не сформировался, и апокрифы претендовали туда войти. Но они не были туда пущены, и это вовсе не придирка книжников, слишком щепетильных, а некое таинственное чутье, которое точно определило, чему не надлежит быть в Священном Писании.

А вот еще одна тема из Книги Еноха, но уже другого, так называемого «эфиопского». (Напоминаю, что он был написан на арамейском или еврейском, но мы имеем его в эфиопском переводе.) Это тоже примерно второй — первый век до нашей эры. Там дается беллетристическое толкование одного странного места в Книге Бытия, о котором я уже рассказывал. В 6-й главе Книги Бытия, когда говорится о катастрофе человечества, о его нравственном падении, сказано, что ангелы, сыны Божии, полюбили дочерей человеческих. И от брачного союза между ними родились Гиганты, Исполины. И вот эти Исполины создали некую цивилизацию, которая оказалась настолько... гнусной, что в конце концов потоп все разрушил. Кратко сказано, всего несколько строк. И уже тогда людей волновало, что же это за сыны Божии, которые пришли к дочерям человеческим? Когда мы с вами будем говорить о литературе XIX века и Библии, мы коснемся мистерии Байрона «Небо и Земля», где как раз драматически интерпретируется этот рассказ в свете и Библии и, главным образом, Книги Еноха.

Книга Еноха пытается дать свой ответ на извечный вопрос о начале зла, о первопричине — кто первый захотел стать спиной к Богу? Ведь зло — это не какой-то предмет, какое-то начало, какая-то стихия; зло — это когда существо, имеющее волю, поворачивается от жизни к смерти, от бытия к небытию, от добра к противлению. Где начало? Библия говорит об этом всегда очень коротко, очень скупое... И это, наверное, не случайно. Автор Книги Еноха (эфиопского) рассказывает нам целую эпическую историю о том, как ангелы, небесные существа, стали спускаться на землю, учить людей магии, учить их выплавлять железо, открывать естественно-научные секреты. Они полюбили женщин, вошли в контакт с людьми — что-то подобное Прометею есть вот в этих сынах Божиих, которые как бы похитили с неба огонь, принесли на землю, чтобы благодетельствовать людей, но вместо этого научили их злу, потому

что сама их воля была направлена на нарушение божественной заповеди: начало магии и есть источник зла, грехопадения человечества. Так рассказывает нам Книга Еноха.

В апокрифических книгах Ветхого Завета колоссальное напряжение эсхатологии, колоссальное ожидание конца света! Это было время, когда мир, подобно сегодняшним дням, ждал мировой катастрофы, думал, что история заканчивает свои круги, что течение истории закончилось. И возникают целые поэмы: «Вознесение Моисея», «Апокалипсис Баруха», «Книга Адама и Евы», — все они говорят о том, что человек оказался совершенно непригодным творением Божиим и что скоро все закончится, разрушится и восторжествует только правда Божия.

В этой апокалиптической поэзии есть много волнующего, много подлинного, есть предчувствие того, что скоро наступит новая эра! И ведь, действительно, приближалось явление Христа. Но они представляли себе это в виде каких-то грозных катаклизмов! И вся эта апокалиптическая литература, она волновала народ, вызывая в нем ожидание страшных дней конца...

Но произошло совсем иное: явился Господь, не потрясая небо и землю, а пришел, как предсказывали пророки, «не имея ни вида ни величия», не действуя насилием, не привлекая ложными или просто эффектными чудесами. Наступает эпоха Радостной Вести — Благой Вести, евангельской.

Подобно библейским книгам, новозаветные книги написаны с такой же лаконичностью, с таким же целомудрием, такой же осторожностью. Мы не найдем в описаниях смерти Христа возгласов народного поэта, который бы сказал: «О Ты, умирающий на древе...». То, что мы находим в народной поэзии, ничего этого в новозаветных книгах нет — никаких украшений, никаких преувеличений, никаких попыток проникнуть за завесу тайны непостижимой.

Войдя сегодня в любой храм, вы увидите за престолом и в алтаре икону Воскресения. Эти иконы появились с ренессансного времени, когда художники стали изображать воскресшего Христа. А ведь в древности Его не изображали. Потому что это была тайна, и она остается тайной. Евангелисты, ни один из них, не изобразил этого. Это очень важно. Древнерусские иконописцы всегда дают нам символическую картину сошествия во ад, но не воскресение, не выход

Христа из могилы, как мы находим это в западном искусстве, а потом в русском искусстве нового времени: разверзся гроб, Христос выходит из гробницы. Это натуралистическое изображение далеко стоит от бережности Евангелия по отношению к тайне. Но не так было с апокрифами. Апокрифы создавались, повторяю, любознательностью, воображением, творчеством людей.

Новозаветные апокрифы. Нередко в антирелигиозной литературе и вообще в исторической литературе можно найти следующие замечания: что Церковь сурово расправлялась с раннехристианскими Евангелиями, апокрифами, уничтожая их и отбирая только те, которые соответствовали ее взглядам. В какой-то степени это верно. Да, отбирали. И отбирали то, что соответствовало. Но давайте посмотрим, что же получилось в результате этого отбора.

Вот перед нами апокрифические Евангелия. Они все-таки сохранились. Более того, они бесконечное количество раз переводились почти на все древние языки, на все языки, на которых говорили в Средние века. Весь цивилизованный мир Старого Света читал эти апокрифы на своих языках! В библиотеке Соловецкого монастыря ученые еще в прошлом веке нашли огромное собрание этих апокрифов, и оказалось, что, кроме ветхозаветных апокрифов, о которых я уже говорил, там масса новозаветных, написанных в первые века христианства. Те самые, которые назывались «отреченными», которые считались неканоническими, псевдописаниями. Однако их любили и их сохранили. Потому что это была — литература. Это была древняя художественная литература.

Самое раннее из них — Евангелие Иакова. Его иногда называют протоевангелием, потому что ученый, обнаруживший эту книгу, считал, что это Евангелие самое древнее. Евангелие Иакова написано в Египте, по-видимому, где-то в середине или начале II века.

Существует египетская рукопись этого Евангелия, которая принадлежит 200-му году, а может быть, и раньше. О чем она повествует? О том, о чем молчат евангелисты. О юности Девы Марии, о Ее родителях — об Иоакиме и Анне (Евангелия не называют имен Ее родителей). Рассказывает о том, что Иоаким и Анна были бездетными, а это считалось тогда знаком Божьего гнева. И вот однажды Иоаким пошел в храм приносить жертву вместе со всеми, а его оттолкнули и сказали: «Ты последний грешник, у тебя и детей нет». И он настолько

огорчился этим, что не вернулся домой, а пошел в пустыню, сидел и плакал там. И тогда ему явился ангел и сказал: «Не плачь, потому что у тебя родится дивная Дочь». Слух об этом событии в храме дошел до Анны, она была дома. Убитая горем, она вышла в сад, и тут (а была весна), как назло, перед ней дерево, а на дереве гнездо, а в гнезде птенцы, и птицы их кормят. И она сказала: «Господи, даже птицы имеют своих детей, а я — бездетная!». И вот, когда она плакала, явился ангел и сказал: «Анна, не плачь! Ваша молитва услышана, терпение ваше вознаграждено: у вас родится Дочь, вы назовете Ее Марией. Она будет самой великой и прекрасной из всех! И вы должны посвятить Ее Богу».

И рождается у них девочка. Называют Ее Марией. И отдают в храм. Согласно апокрифу, тогда при храмах существовали что-то вроде монастырей. Ничего этого не было в истории, это беллетристика, но беллетристика, которая пыталась увидеть за Евангелием то, о чем там не сказано. Девочка остается в храме. Причем, в тот день, когда родители повели Ее (Она была трехлетним ребенком), Ее подвели к ступеням, ведущим к зданию храма, и оттуда вышел священник Захария. И девочка, вместо того чтобы побежать от чужого человека, поднялась по ступенькам к нему навстречу. Он Ее взял и, по велению Божию, повел внутрь святилища, куда никто, кроме священнослужителя, никогда не входил. А потом ввел Ее в Свята Святых, где обитал невидимо Дух Божий, где некогда стоял Ковчег Завета, — за завесу. Конечно, простой священник не мог туда войти, первосвященник входил туда только раз в год и, конечно, он не мог туда никого ввести. Но для нас это неважно. А важен смысл легенды. Потому что Дева Мария является как новый Божественный храм! И Она уже Сама становится Святая Святых! Она входит туда, потому что Она имеет право, ибо Она — будущая Мать Избавителя.

А потом Ее оставляют при храме, где Она расшивает драгоценные завесы. И однажды Ей является ангел, и совершается тайна Благовещения: ангел вещает Ей, что у Нее должен родиться Сын по имени Иисус, Который принесет спасение миру. Но Она должна выйти за кого-то замуж, чтобы не быть в глазах людей униженной. Кто-то должен стать нарицательным отцом Ее Ребенка. И вот священник собирает народ, и люди решают, кто же это будет. И по древнему обычаю, метают жребий: ставят посохи, и посох плотника Иосифа,

старца из Назарета, расцвел. Из сухого дерева появились живые побеги. Он—то и стал мужем Марии (хотя у него были взрослые дети, среди них был Иаков, от лица которого ведется повествование).

Вся эта история наконец насытила и любопытство и воображение и, так сказать, желание заглянуть туда, в эту тайну, куда евангелисты нас не пустили. Здесь работало воображение людей. Это литература. Это литература, которая потом отразилась на другой огромной литературе — на нашей древней церковной православной поэзии, и потом на христианской поэзии всех Средних веков. И, наконец, на искусстве. Потому что те из вас, кто помнит произведения Дионисия, Джотто и многих других мастеров, знает, что они шли по той канве, которую им подсказал апокриф «Евангелие Иакова». Более того, наш праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы построен на этом апокрифе. Пусть он и не принят Церковью в число Писаний как произведение богодухновенное и достойное доверия, но это была не осужденная книга, а книга, являющаяся частью христианской литературы, частью христианской культуры: богослужение, поэзия, живопись, пластика, немало есть средневековых скульптур на эту тему.

От «Евангелия Иакова» перейдем к другому Евангелию, которое называется «Евангелие Фомы Израильянина» или «Евангелие Фомы — израильского философа». Оно тоже было написано в Египте около II века нашей эры. И тоже стремилось заглянуть туда, куда евангелисты нас не особенно пускали, — в детство Иисусово. Угадать, увидеть, каким Он был. Как сказал один философ, каждый человек есть дитя своего детства. Все мы в конце концов возвращаемся к своему детству. То, что в нас закодировано изначально, в детстве, то, в общем, с нами всегда и будет. И поэтому так интересно, так важно было узнать: каково же было детство Самого Христа. Так манила эта загадка, эта тайна! Каким Он был?

Увы, писатель, создавший книгу «Евангелие Фомы—философа», обладал, по-видимому, воображением не возвышенным. Перед нами появляется отрок... очень жестокий, превозносящийся перед своими сверстниками. На каждом шагу он делает чудеса, иногда совершенно нелепые. Например, в субботний день, который считался днем покоя, отрок Иисус лепит на берегу ручья из глины птичек. И когда ему старшие говорят, что это безобразие, что ты нарушаешь закон, он хлопает в ладоши и эти птички улетаю. Неоднократно он очень

сурово наказывает своих обидчиков или тех, кто, как ему показалось, его обидели: у одного засохла рука, другой упал мертвым на месте. Все в Назарете были терроризированы этим отроком. Автору этого весьма популярного, к сожалению, произведения не приходило в голову: почему же все-таки жители Назарета были так потрясены, когда Господь Иисус вышел на проповедь! Почему они сочли Его безумным и хотели вообще скрутить Ему руки и увести Его? Почему они не хотели верить Ему, если Он с детства поражал всех Своими чудесами? Очевидно, автор этой книги над этим не задумывался. Ему хотелось видеть, что Христос всегда умел за Себя постоять и, когда Его обижали сверстники, Он мог им так ответить... что от них пыль оставалась. Все это говорит не о Христе, не о Евангелии, а о характере этого писателя, потому что каждое произведение, естественно, связано с душевным миром автора.

По-видимому, такого типа душевный мир — не редкость, иначе эта книга осталась бы незамеченной или, по крайней мере, не дожидаясь бы до нашего времени. А ее переписывали, переводили, распространяли по всему миру в те, догюттенберговские, времена, так что она дошла и до Кавказа, и до Руси, и до нашего времени. Более того, с нее писалась масса всевозможных подражаний. Было много Евангелий детства, но все они доверчиво повторяли сказки вот этого первого Евангелия Фомы.

Подчеркну, что под таким же названием, «Евангелие Фомы», была другая книга, где содержались древние изречения Христа. Это произведение совсем иного типа.

Далее. Появляются и другие книги, в которых мы находим сборники изречений Христа. Но это не совсем беллетристика. Это уже серьезные притязания дополнить Евангелия. И дополнить не воображением, не художественными, в кавычках, подробностями, а какими-то серьезными, этическими, доктринальными моментами. Так появляются «Евангелие Фомы», «Евангелие Филиппа», «Истины» и множество других Евангелий.

Вероятно, некоторые из вас сейчас хотят спросить, а существует ли все это в русском переводе? — Существует. Эта литература изучалась не только за рубежом, где ее изучали знаменитые специалисты по апокрифам, но и в России тоже были специалисты по апокрифам. Ветхозаветные апокрифы изучал протоиерей Александр

Васильевич Смирнов из Казани; новозаветные апокрифы выходили в переводах некоего человека, укрывавшегося под псевдонимом или эмблемой «Вега» (это примерно период Первой мировой войны); известный специалист по древнерусской литературе Порфирьев собирал и издавал древние апокрифы, которые находил в библиотеках монастырей. Сейчас, в настоящее время, апокрифы переводит Сергей Сергеевич Аверинцев, наш известный замечательный историк культуры; новозаветные апокрифы готовит к изданию Ирина Сергеевна Свенцицкая, доктор исторических наук. Пока отдельные из них напечатаны в «Науке и религии», в журнале, который в значительной степени изменил свой прежний заливчатский и разоблачительный характер и стал печатать более объективную информацию о культуре и религиозной жизни. Там уже напечатано несколько апокрифов. К тому же Свенцицкая написала книгу «Тайные писания древних христиан», где есть очерк о новозаветных апокрифах. Эта книга вошла в ее труд «Раннее христианство», который вышел в 1987 году. Так что любой из вас, кто пожелает, может ознакомиться с апокрифами в русском переводе.

Должен подчеркнуть, что, когда ученые стали сравнивать изречения Христа в Евангелии с теми, что находятся в этих сборниках изречений (их называют «Логии», «Слова»), то оказалось, что в них нет ничего качественно нового: в большинстве случаев это явно вторичная литература, перепевы того, что уже есть в Евангелиях. Встречаются только отдельные яркие изречения, например, Христос в одном из таких Евангелий говорит: «Мир — это мост», то есть через него надо пройти. Или Он говорил: «Кто близ Меня — близ огня, но кто далек от Меня, — далек и от Царства». Слова хорошие.

История с богатым юношей (я надеюсь, она знакома вам всем), дополняет евангельский текст: когда богатый юноша говорит, что «я соблюдаю все правила закона», а Иисус ему отвечает, что «ты в своем дворце живешь, а бедные люди, дети Авраама, живут в нищете, и ты считаешь, что соблюдаешь все заповеди? Иди, раздай все нищим и следуй за Мной как праведник». Это поворот, действительно, может быть, взятый из древнего устного предания. Вот эти «Евангелия изречений», они важны, потому что в них мы можем найти отголоски древних преданий.

Известный русский писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский, автор нашумевшей трилогии «Христос и Антихрист», знаменитой работы «Лев Толстой и Достоевский», человек, сочинения которого перед революцией уже насчитывали свыше двадцати томов, к сожалению, на долгое время спрятанный от нашего читателя, а сейчас, я надеюсь, он снова вернется в нашу литературу, в начале 30-х годов написал книгу «Иисус неизвестный», большую книгу о жизни Христа. И он тщательнейшим образом (а это был человек огромной культуры и знаний!) исследовал вот эти изречения Христа не канонических, а апокрифических Евангелий. И пытался сделать что-то такое неведомое. «Иисус неизвестный» — это как бы новое лицо Христа через апокрифы. Попытка не удалась. Надеюсь, мы с вами еще доживем до того времени, что многие из вас смогут прочесть эту книгу. Она издана в Белграде в 32-м году очень небольшим тиражом и больше не переиздавалась.

Не удалась она потому, что наши четыре канонических Евангелия бесконечно, я бы сказал, абсолютно превосходят всю апокрифическую литературу вместе взятую. Какой литературный вкус! Какое поэтическое чутье! Какие научные данные могли руководить церковным сознанием того времени? Ничего этого не было! А было действие Духа, который безошибочно подсказал им, что является бессмертным.

Один из крупнейших ученых, который исследовал апокрифы, писал с удивлением: непонятно, как такие литературные плевелы могли расти почти одновременно с нашими Евангелиями? Уникальность новозаветной литературы, подлинной, канонической, уникальность Евангелий еще более ясно предстает перед нами, когда мы сравниваем их вот с этой, околоевангельской литературой, парабиблейской литературой тех времен.

Конечно, многое создавалось не просто от графоманского зуда или от желания беллетризировать ситуацию, как-то представить ее более конкретно. Были и глубокие идейные мотивы. В то время, в конце I-го — начале II-го века, в христианстве и вокруг христианства появились многочисленные гностические теософские учения. Их обобщала, так сказать, соединяла, при всей их разнообразности, одна идея: что материя, плоть, природа, мир, — это все от дьявола. Что от Бога только Дух. И вот они-то, гностики, и начали (они называли себя

гностиками, знающими), они-то и начали перекраивать и переписывать Евангелия заново, на свой лад. В древнейших апокрифических «Евангелиях Страстей» мы читаем, что Он страдал на кресте, но это только казалось, потому что Он не страдал. И вообще у Него не было плоти, это только казалось! И вообще, говорил один из гностиков II века, Он не рождался, как рождаются все дети: Он просто сошел с неба в город Капернаум в 15-й год правления Тиберия. И чтобы это доказать, автор просто отрезал первые две главы Евангелия от Луки и начал с третьей, вот с этих слов: «В 15-й год правления Тиберия вышел Иисус...» Значит, не надо плоти, не надо жизни, не надо истории, не надо предыстории, не надо Ветхого Завета, а только проповедь Духа — Духа, Который себя потерял, блуждая в материи, и надо вернуть его обратно. И вот этот гностический Христос с призрачной плотью, с призрачным страданием, который пришел в мир только открыть людям, что в этом мире вообще не стоит жить, а лучше как можно скорее его покинуть через духовное созерцание, — Он-то является главным героем большинства апокрифических Евангелий.

Некоторые из них звучат красиво. Некоторые из них очень напоминают нам Евангелия. Но они не соперники им, потому что гностические Евангелия все главное берут из наших канонических и легким поворотом (талантливым, я скажу, поворотом) пера они эти изречения настраивают на другую волну. Вместо Богочеловеческого святого явления в этом обычном мире, призыв к бегству... призыв к развоплощению! Христианство и Евангелие, утверждающее инкарнацию, воплощение божественного в природе, здесь подменяется развоплощением, уходом. И тот факт, что эта тенденция продолжала играть огромную роль в европейской истории литературы, этот факт объясняет нам, почему эта литература не только сохранилась, а была столь популярна. Ибо, когда гностики исчезли как организованные группировки, им на смену пришли организации другого типа — это были альбигойцы в Европе, манихеи в Персии, павликиане в Болгарии, это были волхвы древней Руси.

Не думайте, что волхвы — это были просто древние маги и язычники. Нет, они были дуалистами, они усвоили манихейское учение, взятое из Болгарии, там оно называлось «богомилство». Ведь вы знаете, что в христианство на Руси очень многое занесено из Болгарии. Не только из Греции, но из Болгарии. Но оттуда же пришло

и дуалистическое мирозерцание, отрицающее плоть и мир. И вместе с этим отрицанием шли вот эти тексты. Шли, находили своих переводчиков, внимательных трудолюбивых переписчиков и многочисленных читателей.

Сегодня мы можем сказать, что апокрифическая литература является ярким и интересным, волнующим эпизодом в истории духа. От тех древних битв, когда за 170 лет до нашей эры люди Ветхого Завета стремились сохранить свою святыню перед лицом наступающей цивилизации эллинизма, до того периода, когда соблазны дуализма, спиритуализма пытались проникнуть в недра христианства и увести его со столбовой дороги, — все эти духовные столкновения, духовные поиски, духовные проблемы так или иначе были отображены в апокрифической литературе.

Я еще раз подчеркиваю, что апокрифы, созданные уже сознательно, в новое время, я не упоминаю. Я буду говорить о них тогда, когда мы будем касаться XIX и XX веков. Я говорю сегодня о древних апокрифах. Они есть создание культуры. Они отражают только сознание людей, поиски людей, фантазию людей. И когда мы ставим их рядом с каноническими Евангелиями, мы видим, что в этих Евангелиях есть и история, и авторские особенности, и элементы авторского воображения, язык. Но они — несравнимы. Ибо в отличие от апокрифов, которые отразили историю человечества, настоящие четыре Евангелия отразили Христа, отразили Богочеловека, отразили тот свет, который идет от Него. И поэтому они оказались настолько непохожими, настолько превосходили всю ту литературу, которая как бы копошилась вокруг них. Они подлинны. Еще Гете говорил, что для него Евангелие подлинно потому, что в нем, как в солнце, светит образ Христа. В апокрифах он так не светит, он очень приглушен, очень затемнен.

Вот почему, дорогие мои, когда мы с вами из любопытства или в поисках каких-то действительно сокровенных знаний, какого-то тайного христианства (сейчас часто говорят об эзотерическом христианстве) начинаем обращаться к этой литературе, мы должны помнить, что эта литература есть только памятник, только свидетельство о человеческих поисках. Она содержит в себе блуждания и заблуждения, вопрошания и ошибки человека. А Евангелие содержит в себе ответ. Ответ ясный. Не предназначенный

для узкой аудитории избранных, ответ, который предполагает избранным любого человека, у которого есть искреннее желание постичь истину, у которого сердце открыто к ней.

Естественно, человек может быть более продвинутым или менее продвинутым. Но нет людей, для которых истина была бы закрыта полностью. Поэтому все то, что в Евангелии кажется нам тайной, рано или поздно, если мы будем двигаться по его пути, станет ясным. Здесь нет никаких секретов, а есть только бесконечное приближение к прекрасному, священному, божественному, воплощенному в нашем земном человеческом — в литературе евангельской, подлинной, в душах евангелистов, в том, как мы встречаемся с ними, а через них — с Тем, Кто изображен в Евангелии. Спасибо.

БИБЛИЯ И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Дорогие друзья! Сегодня мы начнем небольшой разговор о Священном Писании в русской литературе. Вы знаете, что вместе с христианством во время процесса крещения Руси на нашу землю пришла и великая книга, которую часто называют Книгой книг. Это было очень важное событие, потому что на Руси в первое десятилетие после крещения было немало грамотных людей. Распространение духовности не могло идти только через устное слово и через внешний символ. Нужна была книга. И вот эта книга пришла.

Большим благословением и счастьем явилось то, что уже за столетие до традиционной даты крещения Руси Библия была переведена на церковнославянский язык. Не полностью, не целиком, но в тех ее главных частях, которые употреблялись во время богослужения. Существовали три типа библейских сборников: это были паремийники, включавшие в себя ветхозаветные тексты, которые читаются за всенощным бдением, это были апракосы, то есть тексты Нового Завета, расположенные в том порядке, в каком их читают в течение всего церковного года (а не в том порядке, как они были написаны и входили в канон). Вот такие апракосы, паремийники и псалтирь — это были первые важнейшие части Библии, которые были переведены.

Мы не знаем в точности, кто были переводчики. Кирилл и Мефодий начали это дело. Вернее, Кирилл начал, после его кончины Мефодий продолжил, а потом неведомые нам труженики продолжали эту работу. И поэтому в X веке существовала уже почти полная славянская письменность. Приход ее означал вхождение в сознание людей целого мира веры, надежд, идей, культурных горизонтов, исторических перспектив и воззрений. И естественно, что это не могло оставаться без последствий для развития литературы.

Распространение Библии было особенно важным в связи с тем, что крещение киевлян произошло сравнительно быстро — это была настоящая ломка. От первых, рассеянных по Киевской державе небольших групп христиан до торжественного крещения жителей

Киева при Владимире процесс происходил подспудно, постепенно, но потом он стал набирать необычайную скорость. Очень скоро после крещения Руси, при Ярославе Мудром, в Киеве уже стоит собор, который может соперничать с лучшими соборами восточной Европы. Есть уже огромная библиотека, множество книжных людей, идет интенсивная культурная работа. Это произошло почти на протяжении жизни двух поколений, и эта стремительность требовала обязательно Книги, писаного Слова.

Что же мы находим в этой Книге важное для литературы и истории? Прежде всего особый, духовный, мистический историзм — восприятие жизни человечества как некой драмы, цельной драмы, драмы, которая имеет завязку и направление. Об этом свидетельствует очень древний текст, который условно называется «Речь философа». Этот текст вставлен в Лаврентьевскую летопись в связи с рассказом о так называемом выборе веры князем Владимиром. В нем рассказано о том, как князь Владимир размышлял, какую религию сделать государственной в Киевской державе. «Речь философа» содержит в себе удивительную по выразительности, лаконизму и глубокой насыщенности краткую схему всей библейской истории.

Надо было владеть немалым литературным мастерством, чтобы огромный эпос Библии изложить на двух–трех страницах. Там говорится и о самом принципиальном — основании мира: Бог творит мир в течение определенного периода. Бог создает человеческий род. Он создает его как кровное единство.

Заметим, что «Повесть временных лет» начинает свою историю не просто с какого–либо события отечественной истории, а начинает с библейского родословия народов. В десятой главе Книги Бытия, первой книги Библии, вы найдете скучную для непосвященного таблицу, где перечисляются различные–различные народы, преимущественно древнего Востока и Средиземноморья. Зачем в священной, религиозной книге мы видим вот эти бесчисленные, причудливые для нас имена, названия племен, колен, городов, народов? А это особый прием, свойственный языку Библии. Это знак, сигнал о том, что человечество есть одна целостная семья и что группы народов, которые здесь перечисляются, происходят от трех братьев — Сима, Хама и Иафета. И дальше библейские авторы

перечисляют множество народов, которые потом входят в пролог «Повести временных лет».

Для повествования преподобному Никону Печерскому (мы не всегда точно знаем, кому из летописцев принадлежит текст) было важно начать не просто, скажем, с начала основания Киева, а начать с предыстории народов. И указать, что семьдесят два народа лежат в основе человечества. Это условная священная цифра — в Библии многие священные цифры условны. Семь значит полнота. В иерусалимском храме до его разрушения в определенные дни приносилось семьдесят две жертвы — за каждый народ земли. Несмотря на разделения, конфликты и взаимонепонимания, эта идея единства человечества была очень древней и исключительно смелой.

Крупнейший русский специалист по древнему Востоку Борис Александрович Тураев писал в своей книге, что Библия дает уникальный образец сознания единства человечества в ту эпоху, когда почти каждый народ называл человеком представителя своего племени, а иные люди — это были уже потомки дьявола или дети каких-то злых богов. Это вполне понятно, потому что человеку на первобытной стадии свойственна боязнь чужого. И вот эту смелую библейскую идею о том, что все мы, люди, кровно связаны между собой, древний летописец делает преамбулой к истории своего княжества, славянских племен, своего государства и народа.

Я рекомендую каждому из вас найти «Повесть временных лет» — она у нас издавалась неоднократно, она вошла и в сборник Библиотеки Всемирной литературы, издающейся под редакцией Д.С.Лихачева, и во многие другие, — и прочесть «Речь философа» перед князем Владимиром. Конечно, он излагает это не философским языком, это даже не просто картина, а, я бы сказал, икона истории: там все слегка упрощено, но это то, что западает в душу, которая начинает искать истину.

В чем же тут смысл? Для древних греков, для древних индийцев, для многих языческих народов истина была великой тайной (и остается поныне). Это тайна, которая скрыта за миром явлений, но Библия открывает нам, что история имеет священное значение для человека, что история есть то лоно, в котором замыслы Божии осуществляются. Поэтому она не безразлична, не маловажна, она — не

что-то преходящее, а то пространство, где осуществляется великий диалог между человеком и Творцом.

Историзм Священного Писания... Удивительно, что отцы истории, такие как Геродот, Фукидид, этого не знали. Они были почти летописцами, потому что просто изображали цепь событий, которые цеплялись друг за друга, а иногда казались изолированными. У них не было представления о том, что история имеет вектор.

Почему так было? Потому что человек ориентировался в древности на природу, а в природе нет вектора. В природе все вращается, все приходит на круги своя. Вот сейчас желтеют осенние листья, мы с вами знаем, что приближаются зимние холода. Потом опять будет весна, потом опять лето, и вновь, и вновь... Древний человек видел это неизменно почти на любом поясе земли. Даже в тех регионах, где климат сезонно не очень колеблется, двигались светила, утром всходило солнце, вечером оно обязательно садилось, менялись фазы Луны: все было статичным или вращалось по кругу. И поэтому весь мир естественно воспринимал бытие на земле как статическую картину. И только Библия пробивает здесь брешь. Не потому, что ее писали какие-то особые философы, которые додумались до иной модели — так сказать было бы неверно. Они приняли это как Откровение, как прорыв чего-то иного, что было им самим не очень понятно. Но уже усвоив и приняв эту концепцию, они пронизали ею все дальнейшие Книги, и, можно сказать, что от Бытия до Апокалипсиса Библия разворачивается как великая историческая поэма. Поэтому «Речь философа» — это не афоризмы, не статичные догматы, а это эпос, рассказ, это сюжет.

Творение мира — благодать Божия. Противление человека, который благодаря своей свободе может повернуться к Нему спиной, катастрофы, которые этим порождаются... Постепенно Бог выводит человека из этой темноты и ведет его к свету. Откровение, данное Аврааму... Авраам еще ничего не знает, не знает, что произойдет. Он только призван на таинственное какое-то дело, но именно потому, что он верит Богу, он закладывает основание ветхозаветной церкви. Это великая фигура, которая потрясала многие столетия, которую изображал Андрей Рублев. Авраам вошел в неведомое, но знал, что есть какая-то цель, и история Ветхого Завета становится подготовкой к явлению Христа.

Христос является в мир как осуществление тысячелетних надежд. Для чего? Для того, чтобы дать человеку, слабому и немощному, новые силы для движения к полноте бытия, к Царству Божию. Человек не так легко на это поддается, человек этому сопротивляется. Он борется с Богом, и Бог его побеждает... Это святая победа, радостная победа. Но свобода — остается. Потому и приходит Христос без меча, без силы и славы внешней. А принять Его человек может только свободным актом. Узнать Его! Почувствовать Его! А потом идет развязка, и над ней размышляет князь Владимир в «Речи философа»: что же произошло в двух мирах, прошлом и новом, что нового принесло христианство?

Для некоторых людей — это мысль о какой-то иной морали. Нет, это не совсем верно. Значительную часть этических принципов христианства мы найдем у стоиков, в буддизме, в Ветхом Завете. В чем же особенность? Почему два мира? Над этим размышляет еще один древнерусский писатель той же эпохи, знаменитый Иларион.

Знаменитый, но неведомый. Человек, о котором очень мало знали, первый из русских, назначенный митрополитом киевским по желанию князя Ярослава Мудрого. Обычно митрополиты назначались из Византии и были греками; и вот, собрались у князя духовные лица — высшая иерархия — и провозгласили, очевидно, независимо от Константинополя, этого человека митрополитом. «Муж книжный», честный, постник, образованный человек. Мы очень мало о нем знаем. До сих пор неточно атрибутированы его произведения. В XIX веке профессор нашей Духовной академии прот.Александр Васильевич Горский сумел доказать, что «Слово о законе и благодати» принадлежит ему. Оно включает в себя также и исповедание веры и молитву.

«Слово о законе и благодати» написано между пятидесятыми и шестидесятыми годами XI века. В это время в Болгарии, в Византии и во многих других восточных странах распространялось учение манихейства. Манихеи учили, что все материальное, все природное создано низшим богом, а истинный Бог создал только дух. Вы понимаете, насколько для сознания простых людей это было понятным и объяснимым? Наши болезни, смерть, трудности, голод, жажду, старение, — все то, что угнетает нас в материальном мире, — все это одним росчерком относилось к злым силам. А единственной

ценностью становился дух. Получалось как бы два творца: злой и добрый.

Эта религия пришла из Ирана, из древней персидской религии Заратустры. Ее усвоили гностики, манихеи, христиане; манихейство распространялось неудержимо. В Европе манихеи назывались альбигойцами или катарами. Наверное, многие из вас даже помнят со школьной скамьи знаменитые Альбигойские войны, которые бушевали во Франции именно в это время, в XII–XIII веках. Альбигойцы захватили почти всю южную Францию, захватили в прямом смысле слова, то есть к этой доктрине склонились могущественные феодалы, у которых были замки, войско, и шла война.

В России источником дуализма была соседняя Болгария. Там это учение называлось богомилством. Богомильская литература проникала очень быстро на Русь, и не всегда люди, особенно не богословы, могли отличить книги подлинно церковные от еретических.

Может показаться, что митрополит Иларион, когда он писал о резком противопоставлении старого закона и новой благодати, находился под влиянием вот этой богомильской ереси. Но это не так. Это очень сложное произведение, очень трудно толкуемое с богословской точки зрения, причем автор пишет: я же пишу не неграмотным, не детям, а людям, которые в этом разбираются. Значит, у него уже тогда была изощренная богословская аудитория, для которой он мог написать такую сложную и спорную вещь. Для того, чтобы отклонить мысль богомилов (или катаров, или альбигойцев) о том, что два завета — это завет дьявольский и завет Бога, Иларион начинает с такой преамбулы: «Благословен Господь Бог Израилев, Бог христианский, за то, что посетил и дал избавление людям Своим». То есть Бог Ветхого Завета для него тождествен Богу Нового, и здесь никаких сомнений не может быть. «Кто есть великий для нас Бог? Он один, творящий чудеса, установил закон, предваряющий истину, и благодать, чтобы в нем пребывало человеческое естество, от многобожия отходящее к вере в единого Бога, чтобы человечество, как сосуд скверный, но омытый, словно водою, законом и обрезанием, восприняло молоко благодати и крещения. Ибо закон предтечей был и слугой благодати и истины».

Концепция закона в Ветхом Завете здесь рассматривается под углом зрения, если хотите, эволюции, подготовительной стадии. Люди

находятся во мраке идолопоклонства. Бог дает им закон, чтобы из этого состояния выйти и, когда является Христос, закон отступает, по образному выражению Илариона, как уходит луна, когда восходит солнце, и торжествует благодать.

В чем принципиальная разница между законом и благодатью? Антитезис закона и благодати впервые сформулировал апостол Павел. Я постараюсь передать вам самую суть. Закон — это кодекс этики, это принцип, правило, закон — это ограда. Наконец, закон — это обряд.

Нужен ли обряд? Да, конечно, потому что он выражает наше духовное состояние. Нужна ли ограда? Да, потому что она формирует человеческое общество и самого человека. Нужны ли кодексы: не нарушай! не поступай! не убивай! не кради! и так далее? — Да, конечно. Так мы поступаем с ребенком, когда мы начинаем его учить. Мы ему сначала говорим, чего не следует делать. Мы учим его обуздывать себя, мы говорим: нет! Начинать приходится с негативных моментов.

А что такое благодать? Это возможность для человека воспринять уже силу божественную, которая будет помогать ему позитивно преобразовывать свою личность.

Закон как бы сажает человека на цепь, чтобы он не ушел далеко. Благодать открывает человеку свободу, чтобы он нашел силу в своем внутреннем мире, изнутри. Чтобы любовь к человеку, самоотвержение, правда, — все то, что является для нас главным в жизни, — не осуществлялись под давлением какого-нибудь кодекса, в который мы заглядываем со страхом, как в уголовный кодекс, а изнутри. Изнутри. Кстати сказать, уголовный кодекс тут очень даже причем. Я много раз беседовал с представителями правоохранительных органов, милиции, и спрашивал, сильно ли действует на преступников ужесточение наказания? Ни один не сказал, что да. Все они говорили, что, если есть у человека совесть, тогда что-то получается. Но как ни пугай их всеми мерами, в том числе высшими, ничего не действует. Если не действует благодать, никакой закон, даже уголовный, не помогает. Это реальный психологический и исторический факт.

Каждая культура создается в рамках обряда. Это естественно, это драгоценно для нас. Потому что обряд есть форма, национальная и культурная форма выражения чувств человеческих. Если мы все это ликвидируем, это все равно, что разбить стакан и пытаться пить воду.

Конечно, стакан — не вода. Но для того, чтобы вода держалась, необходима форма. Это еще один элемент закона. Но у обряда есть одна особенность: поскольку он понятен и свойствен психике человека, то у обряда есть тенденция захватить все, захватить и не принадлежащие ему сферы. Эта проблема была, есть и будет острой.

По вопросу об обряде были сражения: в XVI веке в Европе — Реформация, в XVII веке на Руси — раскол. И до сих пор внутри христианства есть разделение по поводу обряда. Скажем, баптисты от нас отделяются, потому что не признают нашего обряда. Многие, многие конфликты внутри христианства были с этим связаны.

Для традиционного архаичного сознания и для средневекового сознания это было еще более важным элементом. И, конечно, древняя Русь сначала приняла христианский обряд, а потом уже углубилась в сущность христианства. Подобно тому, как мы маленького ребенка сначала учим налагать на себя крестное знамение, и лишь потом он понимает глубину этого знака, так и начинающий язычник шел от обряда.

Но что поразительно: очень скоро, так же скоро, как возникла библейская историософия («Слово философа»), понимание того, что мы называем историческим провиденциализмом, то есть то, что существует нравственный миропорядок, — это проходит красной нитью через всю летопись. Иларион говорит, что историческое возмездие существует. И не потому, что Бог является жестоким карателем, а потому что есть связь, глубокая связь между событиями и деяниями человеческими. И когда оскудевает добро, наступает экологическая катастрофа духа. Экологическая катастрофа духа. И это есть возмездие.

В XII веке, вскоре после крещения Руси, незадолго до своей смерти, уже «сидя в санях», как тогда выражались (на санях везли покойника знатного), князь Владимир Мономах пишет свое «Поучение». Он пишет его не только своим потомкам, но также и всем, кто, как он выражается, «хочет понять и прочесть». Это удивительная книга. В мировой средневековой литературе это памятник, в каком-то смысле равный по значению пророческим писаниям Библии. Начинается она с того, что он сидит и переписывает Псалтирь: строчка за строчкой, фраза за фразой... Мы чувствуем, что престарелый князь не может остановиться, потому что каждая фраза для него — живая. И

мы видим, как перекликается душа христианина XII века с древними сетованиями и хвалой псалмопевцев, живших задолго до нашей эры.

В чем для него самая суть христианской веры? «Прежде всего, — говорит он, — Бога ради и души своей страх имейте Божий в сердце своем». Подумайте, человек понял что-то духовное, глубокое, и вдруг — страх, вдруг какая-то зловещая нотка. Над этим много размышлял Павел Флоренский; свои известные лекции о философии культа он начал с лекции о страхе Божиим.

Слова эти взяты из Библии. Должен вам пояснить, что в Библии есть два термина, которые обозначают страх: один обозначает страх, когда человек боится грозы, молнии, дикого зверя, а второй — это страх, когда он боится Бога. Это совсем другой страх. Мы не должны переводить его страхом в прямом смысле слова. Это трепет, это благоговение, это, как говорил один горец в Гималаях, когдаходишь к большой горе, то надо уметь к ней подходить. Знаменитый историк религии Рудольф Отто писал о том, что человек переживает перед Богом и обычный страх, и надежду, и радость, и любовь, но есть особое чувство — это потрясение души, это трепет перед особой тайной, нечеловеческой тайной, чувство ноуменального (от «ноуменус» — божество). Вот что такое страх Божий.

Не надо думать, что Бог — это картинка, что Бог — это отвлеченное понятие, а вспомним прежде всего слова пророка Исаии, у которого Господь говорит: «Как небо далеко от земли, так и ваши мысли далеки от Моих. Я Бог, а не человек». И когда мы в простонародном разговоре начинаем говорить: а почему Бог — это, а почему — то? как будто мы говорим о соседе, как будто мы говорим о начальнике какого-то большого общепланетного министерства — почему он не досмотрел там? почему не досмотрел тут? — мы забываем о страхе Божиим, мы забываем, что это Бог, а не человек. Что это иноприродное нам начало, что это Личность, лицо, но совсем особое, и поэтому без благоговения, без трепета подойти к Нему нельзя: все потускнеет, все исчезнет, Он Себя не откроет.

Это понимает и князь Владимир, когда напоминает библейские слова о том, что начало мудрости — это страх Божий. Надо сохранять это. Далее он говорит: «Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем», научись, по евангельскому слову, «очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению,

гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради; лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый — терпи, хулимый — молчи, умертви грех». И дальше он говорит удивительные слова: «Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех (он имеет в виду дела милосердия), не тяжки ведь они; ни затворничеством (обращаю ваше внимание!), ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию».

Разумеется, Владимир Мономах совсем не отрицает аскетических подвигов (аскетизм занимает очень важное место в Евангелии), но в то же время князь уловил, сохранил главное, что есть в Евангелии: что все-таки Богу важнее милосердие к ближнему. И затворничество и голодание не могут быть выше, чем действенная любовь. Это говорит нам человек XII века, повторяя слова еще более древние, в то время как многие столетия спустя люди понять это оказывались не в состоянии. Духовную часть «Поучения Владимира Мономаха» я вполне мог бы дать современному человеку, скажем, моему прихожанину, как краткий конденциум православного, христианского, евангельского учения. Оказывается, в древней Руси это понимали и умели формулировать, умели возвышенно и благоговейно.

А теперь мы сделаем сразу огромный скачок в истории. Мы перейдем через эпоху феодального распада, ордынского ига, возвышения Москвы (вы понимаете, что в одной небольшой беседе невозможно охватить всю эту огромную тематику) и подойдем к протопопу Аввакуму, человеку XVII века.

Здесь мы найдем удивительный контраст. Я не буду говорить и напоминать вам о том, что протоиерей Аввакум Петров был одним из ярчайших писателей своего времени, что он был борец за дело сохранения старых традиций, деятель действительно огромного масштаба. Это такая личность, которая в истории рождается, может быть, раз в полвека.

Я хочу обратить внимание на роль Библии в его творчестве. Он писал, уже находясь в Пустозерске, в суровейших, в ужасных условиях, которые и сейчас для людей трудны, когда у нас есть и радиосвязь, и электричество. В конце XVII века его за инакомыслие сослали туда и потом казнили жестоким образом (вы наверное знаете, что он был сожжен в срубе). Это был человек непреклонный.

Протопоп Аввакум писал толкования на священные книги, толкование на Библию, на отдельные части Ветхого и Нового Завета. У него мы находим совершенно иной стиль, иной подход. Величественного, византийского, благоговейно–возвышенного стиля мы у него не найдем. Этот человек пишет, как будто рубит топором, грубыми народными словами, которые он слышал в своей нижегородской юности.

Вот, скажем, он описывает драму первого человека, Адама. Для него это не просто история, для него это вечный архетип состояния человека перед Богом, и в этом он прав. Сказание об Адаме, которое обнимает всех нас, — это сказание о своеволии. Я думаю, что вы все помните, что в молитве «Отче наш», единственной молитве, которую непосредственно дал нам Господь Иисус, есть слова: «Да будет воля Твоя». Это великая молитва и великие слова. Только открывшись высшей воле, человек осуществляет себя, осуществляет подлинное свое «я». Чтобы проверить это: вот здесь красный свет! Но он говорит: да будет воля м о я! И змей, который олицетворяет все низменное и темное, сатанинское, демоническое, говорит: можно, вы будете, как боги, владеющие добром и злом — всем миром.

Я должен пояснить это идиоматическое выражение: на древнееврейском языке слова «добро и зло» обозначают «все на свете». «Ведать» это не означает научного, философского, теоретического познания, а обозначает владение, обладание, поэтому, скажем, к мастерству музыканта или к супружеским отношениям прилагается этот же глагол «знать». «И познал Адам Еву, жену свою» — значит, он вступил с ней в союз любви, плотской любви. Так вот, «познать добро и зло» значит управлять всем. Это как раз для науки современной, науки нового времени: встать у пульта и вертеть вселенной, как будто бы это все игрушки. Так захотел сделать первый человек. И когда он вкусил от запретного древа, он увидел только одно: что он голый, что он беспомощный. И спрятался от Бога. Вечный образ... Первое движение — убежать.

Бог спрашивает: «Где ты, Адам? Почему тебя не вижу?» — все так образно, как в натуре. Это сделано специально, чтобы люди любой цивилизации, любого уровня, пятилетний ребенок и семидесятилетний старик, поняли: ты где, Адам? Помните, у Генриха Белля есть такая книга «Где ты, Адам?» А он говорит: «Я спрятался.» «Почему?» «Я

вижу, что я голый.» «Откуда ж ты узнал это? Не вкусил ли ты оттуда?» Это момент для совести человека, когда он может сказать: да, я преступил Твою заповедь. Но нет, он говорит: «Это женщина, которую Ты мне дал, это она меня соблазнила». Бог спрашивает женщину: «Как же ты вкусила от запретного?» И она не кается, она говорит: «Это змей». И так идет цепочка. Все это настолько бессмертно, настолько передает основную модель искушения в любое время, что мы начинаем понимать, почему протопоп Аввакум мог писать об этом в таких словах.

Я не люблю на беседах много цитировать, потому что все вы люди грамотные, сами прочтете. Вот он описывает драму Адама и потом говорит: «...Оне упиваются, а дьявол смеется в то время. Увы невоздержания, увы небрежения Господни заповеди! Оттоле и доднесь творится так же лезть в слабоумных человеках. Потчивают друг друга зелием не растворенным, сиречь зеленым вином процеженным и прочиими питии и сладкими брашны. А опосле и посмевают друг друга, упившегося до пьяна, — слово в слово, что в раю бывает при дьяволе и при Адаме.

Бытия паки: «и вкусиста Адам и Ева от древа, от него же Бог заповеда, и обнажистася». О, миленькие! одеть стало некому; ввел дьявол в беду, а сам и в сторону. Лукавый хозяин накормил и напоил, да и с двора спехнул. Пьяной валяется на улице, ограблен, а никто не помилует. Увы безумия и тогдашнева и нынешнева!»

Подобного рода иронический, шаржированный, гротескный подход мы находим почти всюду в толкованиях протопопы Аввакума. И может показаться, что у этого человека как бы ослабел страх Божий, если он подходит к священным предметам иронично. Нет! Это большая тонкость литературного гения, который, употребляя вульгаризмы, даже почти сквернословие, сохраняет дистанцию. Этот подход прочно укрепился в мировой литературе. Мне даже приходилось читать книгу «Юмор в Библии».

Да, в Библии много юмора, потому что юмор — это человеческое свойство, дар Божий. Ведь у животных юмора фактически нет. И юмор, и даже сарказм был в обилии у пророков. И в Евангелии... Вы скажете, такая серьезная книга, какой же там может быть юмор? Есть! И очень много. Просто мы разучились читать свежими глазами. Почти все притчи Христовы произнесены с улыбкой. Вот вам пример

хрестоматийный. Господь говорит о том, что в духовной жизни необыкновенная настойчивость. В стремлении, в молитве человек не должен думать, что быстро все получится. И чтобы подтвердить эту мысль, он рассказывает про некоего судью, который Бога не боялся, людей не стыдился. Приходит к нему вдова (очевидно, дальняя предшественница чеховской женщины, слабой и беззащитной), приходит и начинает его донимать: ты мое дело разбери. Сначала он ее куда-то отсылает. Потом видит: нет, это не та женщина, и в конце концов говорит: да, хотя я Бога не боюсь, а людей не стыжусь, но что же со мной будет, если я не решу ее проблемы? И он идет ей навстречу. Господь привел вот этот как бы смешной случай, но для серьезной цели. И многие притчи именно таковы, потому что человеку свойственно смеяться. И видеть несоответствие между идеалом и действительностью свойственно человеку.

Как-то в Москве одна замечательная женщина Надежда Николаевна Ладыгина воспитывала обезьянку шимпанзе. А потом у нее родился сын, и она написала прекрасную книгу, которая вышла перед войной, «Дитя шимпанзе — дитя человека». Там, в одной из таблиц она сравнивает, что общего у них, что отличает их. Чувство юмора у ребенка пробуждается, у шимпанзе — нет. Когда шимпанзе смеется, это просто рефлекторная реакция на удовольствие, на щекотку.

Поэтому свежий, новый, острый подход к библейской фактуре в древнерусской литературе вполне оправдан, и он заставлял людей, которые слушали и читали протопopa Аввакума, свежими глазами увидеть тексты, которые к XVII веку, начиная со времен крещения Руси, уже стали чем-то привычным, они как-то уже перестали замечаться.

Подобную же цель преследовал современник протопopa Аввакума, но человек совершенно иного склада, Симеон Полоцкий. Симеон Полоцкий хотел открыть Библию заново, вскрыв ее поэтические свойства. Симеон Полоцкий был родом с Запада, из Белоруссии, служил при Алексее Михайловиче, был прославлен как поэт, как создатель придворных пьес. Он написал парафраз к Псалтири. В предисловии он пишет, что псалтирь — это поэтическое произведение, что это поэзия, поэтому он имеет право переложить ее на стихи, точно и близко к подлиннику. Знаменитый художник Симон

Ушаков сделал гравюры к этой книге. Она вышла и пользовалась на Руси большой популярностью.

Но в другом отношении Симеон Полоцкий приближался к протопопу Аввакуму — своему антагонисту по идеологии. Потому что старообрядцы и западники были достаточно чужды друг другу. Это были разные миры внутри древнерусской культуры. Симеон Полоцкий отнюдь не одобрял старообрядцев.

Он писал пьесы на библейские темы. Их ставили при дворе Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. В частности, пьесу-комедию о блудном сыне. Евангельская притча превращалась в актуальное событие. Как-то я видел западный фильм о блудном сыне. В этом фильме отец — почтенный современный бизнесмен в прекрасном костюме, в замечательном домике. Сын его — искатель приключений, может быть, хиппи, идет автостопом, ищет себе приятелей, потом он в каких-то там ночных кабаре... Все на современном плане. Это то же самое, что делал Симеон Полоцкий в своих пьесах, которые ставил в XVII веке при царском дворе. Для чего это нужно? Чтобы вечный смысл Писания все время перевоплощался в какие-то новые формы, национальные и эпохальные формы, соответствующие эпохе, и чтобы люди всех сословий и званий могли понять великую весть, которую нам несет Библия. Спасибо.

БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Итак, мы с вами продолжаем наше путешествие по векам и по жанрам, в которых отражалась библейская традиция на протяжении истории.

XVII-й век! Это был потрясающий, грозный, чреватый многими великими и трагическими событиями век. Это был век протопопы Аввакума, патриарха Никона, Ришелье... В России его называли «бунтарчным» веком — век Кромвеля, английской революции, смутного времени в России, век, когда жил еще Шекспир (в XVII веке был написан «Гамлет»); век, когда эпоха Ренессанса уже пережила свой кризис и чувствовалось приближающееся веяние иных, трагических перемен; век, когда начало бушевать барокко, с его тревожной динамикой и подвижностью. И естественно, что именно этот век сумрачного Тинторетто, этот век был очень чуток, особенно чуток к Священному Писанию, к тем его грандиозным страницам, которые, подобно фрескам, навсегда врезались в сознание и память человечества.

Три имени хочу я сегодня напомнить вам... Среди них первый — Гуго де Гроот, голландец, который был известен как Гуго Гроциус (латинизированная форма его имени), или просто Гроций, человек, имя которого и сейчас является важнейшим в том смысле, что он заложил основы международного права. Его книга о международном праве есть на русском языке и издана тридцать лет назад, в 56-м году, книга «О праве войны и мира».

Но мало кто знает, что Гуго Гроций был одним из крупнейших исследователей Библии, человек, который по-своему начал новую эпоху в библеистике.

Судьба его была удивительна. Это поистине был вундеркинд, человек, родившийся в Нидерландах в семье образованного муниципального, впоследствии университетского, деятеля. Он окончил университет уже в четырнадцать лет! Владел множеством тогдашних наук, языков и степень докторскую получил в шестнадцать лет. И в это же время Гуго Гроций написал свое первое художественное произведение на библейскую тему: «Адам в

изгнании». Это была юношеская драма, трагедия, написанная по образцу любимых Гроцием трагедий римского философа и писателя Сенеки: философские трагедии, в которых было мало действия, много размышлений, длинные монологи. Гроций не включил в свои собрания сочинений эту юношескую поэму, однако она оказала огромное влияние на всю литературу XVII века и на важнейших ее представителей — на Йоста Вондела и Мильтона.

Гроций был человеком, в чем-то похожим на Дон Кихота. Даже на портретах этот художавый человек с острокопечной эспаньолкой напоминает нам Дон Кихота. И жизнь его была похожа на приключения странствующего рыцаря. Он становится адвокатом, когда ему еще не было двадцати лет и совершенно юным получает огромную популярность в Нидерландах. Изучает различные науки, занимается философией, богословием, филологией, юриспруденцией.

В это время в Нидерландах бушует религиозно-политическая война. В то время эти войны охватили всю Европу, включая Россию. Не надо думать, что раскол, старообрядчество и определенным образом связанное с ним восстание Разина и другие мятежные события XVII века, что все это какие-то изолированные факты истории, скажем, принадлежащие только нашей стране. Нет. Тогда колебались основы всей христианской Европы. И религиозные войны, которые бушевали на Западе, по-своему имели место и в России.

В Голландии быстро распространялась строгая кальвинистская доктрина. Дело в том, что, когда пошатнулась старинная, исконная, выверенная, но уже ставшая несколько склеротичной, система церковная, католическая, когда пришли на ее место вольные течения протестантизма, после первого глотка религиозно-церковной свободы стало быстро наступать отрезвление. И стало ясно, что человек в массе своей нуждается в церковной структуре. Разрушив старую, отказавшись от нее, необходимо было строить новую. И вот с этим замыслом и с этой практикой выступил Жан Кальвин, женеvский религиозный диктатор. Если кто-либо из вас знает о нем мало, найдите недавно вышедшую книгу Стефана Цвейга «Совесть против насилия» (она вышла в переводе, по-моему, в прошлом году). Там дается, правда, я бы сказал, несколько утрированный, омраченный, и без того сумрачный образ Кальвина.

Да, он, конечно, был диктатор. Но недостаточно сказать, что он был просто диктатором. Иначе не было бы у него таких масс последователей — и до сих пор ведь существует довольно обширная Реформатская церковь. Все это было определено Кальвином. Потому что он взамен старой, отвергнутой церковной системы, которая была свойственна католической церкви, предложил новую систему, достаточно жизнеспособную. Но для свободных людей, для просвещенных людей, таких, как Гроций, эта система оказалась тесной. И поэтому он примкнул к последователям другого голландца, Якоба Арминия.

Арминий был замечательный человек, который выступил с богословской полемикой против Кальвина, утверждая, что тот несправедливо, неверно, неадекватно истолковал апостола Павла, приняв буквально его учение о предопределении, рационализировав его. И получилось, что все люди жестко запрограммированы либо на вечное совершенствование, либо на вечную гибель.

Эта мрачная, я бы сказал, доктрина была подвергнута Арминием критике. Но полемика по поводу сущности человека и его свободы переплеталась все время с политической борьбой. И оказавшись втянутым в эту борьбу, Гроций оказался в тюрьме, в пожизненном заключении. Но через три года жестокий режим в тюрьме ослабел. Ему стали давать книги. Его жена, необычайно энергичная дама, постоянно носила ему книги целыми корзинами (видите, какие в то варварское время были способы держать людей в тюрьме). И корзины были часто столь большие, что у жены Гроция возник смелый план, который она и осуществила. Однажды ее слуги вынесли из тюрьмы большую корзину с якобы прочитанными книгами, но в этой корзине был ее муж. Таким образом, пробыв три года в тюрьме, он покинул свое узилище.

Гроций уехал во Францию, потом в Швецию — такой человек всюду был нужен, потому что он владел множеством различных полезных знаний. Он стал послом Швеции во Франции (правда, с Ришелье ему не удалось установить хороших отношений).

Тогда он написал свои замечательные научные комментарии к Ветхому Завету. Это был один из первых опытов комментировать Священное Писание на основании сравнительного метода. Это метод, который был применен в той же Голландии, в том же столетии, но уже

в более развернутом виде известным философом — пантеистом Барухом Спинозой.

Хотя Голландия и изгнала своего сына Гроция, но мир его признал. Его трактат о международном праве вышел тогда же множеством изданий. Гроций продолжал писать и на богословские темы. Любопытно отметить, что его книга против атеистов, в защиту христианской веры, была переведена на русский язык вскоре же и была издана у нас в XVIII веке — «Рассуждения против атеистов».

Я не буду останавливаться на всех перипетиях судьбы Гроция. Умер он вскоре после тяжелого морского путешествия, где едва не погиб — корабль потерпел крушение. Гроций вернулся домой больным и умер сравнительно молодым.

У него был друг, единомышленник, Йост Вондел, который был младше его всего на два года (Гроций родился в 1585, а Вондел — в 1587 году). Но Вондел прожил почти девяносто лет и был свидетелем бесчисленных потрясений, которые тогда происходили в Европе.

Драматическая поэма Гроция впервые позаимствовала материал не только из Библии, но связала его с народными апокрифическими мотивами. Тогда, в эпоху расцвета бурных драм и трагедий, всех волновала проблема первопричины — где начало, как началось зло, которое терзает человеческий род? Поэтому тайна Сатаны, тайна Люцифера, тайна падения прачеловека Адама была в центре внимания. В Средние века не раз на народных празднествах устраивались спектакли — сказания об Адаме и его падении. Это было и на Руси времен Алексея Михайловича, и на Западе. Этот опыт сказаний с вольной интерпретацией Библии использовал Гуго Гроций.

Должен вам сказать, что Библия не содержит рациональной теодицеи. То есть, иными словами, в Библии нет строго логического последовательного объяснения природы и причины зла. Библия учит нас о том, что зло реально существует и человек должен противостоять ему, бороться с ним. Она не рационализирует, не раскладывает по полочкам, не дает какой-то теории, оставляя человека перед тайной, навстречу которой он должен всегда идти, набравшись смелости, веры и твердости духа. Но есть в Библии слова, как бы брошенные вскользь, что сперва дьявол согрешил. Эти слова заслуживают внимания. Потому что многие люди, читая Библию, полагают, что зло пришло с человеком, что до него все было благополучно. Но оказывается, по

словам апостола Иоанна, зло уже вошло в мир до человека, и когда человек повернулся в сторону зла, то есть вопреки Богу, он уже имел кем-то проторенную дорогу.

И еще одно. В Библии есть образ, фигурирующий как бы на заднем плане, — это образ гигантского морского чудовища, символ хаоса, символ мятежной стихии, которая все разрушает. Это Сатана (Шайтан по-древнееврейски, что значит «противный»). Бог есть торжество света. Как говорит поэт Алексей Константинович Толстой:

Бог один есть свет без тени.
Нераздельно с Ним слита
Совокупность всех явлений,
Всех сияний полнота.
Но усильям духа злого
Вседержитель волю дал,
И свершается все снова
Спор враждующих начал.
В битве смерти и рожденья
Основало Божество
Нескончаемость творенья,
Мирозданья продолженье,
Вечной жизни торжество.

Свобода предоставляет возможность зла, и битва начинается до появления человека. Гроций пытается эту битву изобразить в лицах, он ее конкретизирует, мы бы сказали, — мифологизирует. А я бы даже сказал: чрезмерно очеловечивает. Он рисует царство каких-то существ, духов (которых он называет ангелами), но это совсем не таинственные духовные существа в понимании современного человека, а это обитатели каких-то иных миров. Более всего они похожи на инопланетян, на неких братьев по разуму. И надо так их и трактовать.

Однажды, когда я смотрел известный фильм «Star Wars» («Звездные войны») и читал этот, такой смешной, детский роман, как в космосе сталкиваются светлые и темные силы, мне это очень напомнило поэмы Мильтона, Вондела и Гроция. Потому что схватки в космосе, показанные в этом фильме, очень близко напоминают то, что пытались изображать эти великие писатели.

Итак, некое царство обитателей иных миров в некотором пространстве во вселенной. И вдруг они узнают, что Творец сделал

царем вселенной обитателя Земли — малой планеты! Более того, Он этого обитателя хочет в конце концов размножить и предоставить его потомкам всю вселенную. И это вызывает ненависть, зависть, мятеж главы этих существ — Люцифера — «носителя света» (Люцифер — «светоносный»). Он восстает против Бога, происходит сражение, он терпит поражение и, пытаясь нанести победителю урон, отравляет сознание, соблазняет человека. Человек оказывается, хотя и ненадолго, на стороне Люцифера, который объясняет ему, что если он соединится с ним и восстанет против власти Бога, они вместе будут царствовать в творении. Разумеется, это был обман, и люди не стали, как боги. Гроций изображает момент нарушения запрета как помрачение ума у Адама и Евы, у первых людей — они становятся безумными! И потом, когда они приходят в себя, они понимают, что перешли какую-то мистическую линию, какую-то черту — и наступила катастрофа. Трагедия такова, что выхода нет, но, следуя Писанию, Гроций указывает на будущее спасение человечества. Человек не отвергнут.

Иначе подошел к этой теме Йост Вондел. Это был человек другой судьбы. Он был очень разносторонним, как Гроций: ученый, поэт, прозаик, драматург, — и страдал оттого, что христианский мир раздирается войнами.

Родился он в семье ремесленника. Его не устраивала жесткость реформаторов, он искал полноты церкви, более свободной, более многогранной церковной жизни. И уже в зрелом возрасте, когда ему было за пятьдесят, он воссоединился с католической церковью.

Библия была неразлучным спутником жизни и творчества Йоста Вондела. Через нее он воспринимал события своего времени. В драме «Пасха» он описывает освобождение израильтян из египетского рабства, и мы чувствуем в ней гимн свободе Нидерландов, которые боролись с Испанией за свою независимость. Он обращается к различным сюжетам библейской истории, к истории Иосифа Прекрасного, Давида, который взлетел на высоту славы и потом из-за неблагодарности и измены своих детей находился в изгнании и страдал.

Вондел учился уже не у Сенеки, а у греческих трагиков. В его произведениях дышал дух Эсхилла и Софокла. Могучие характеры, грандиозные столкновения воли и сил! Сейчас, впервые с XIX века, мы имеем в переводе всю библейскую трилогию Вондела, которую он

назвал «трагедией трагедий», началом всечеловеческой драмы. Этот небольшой томик блестяще переведен. Сюда входят «Люцифер», «Адам в изгнании» и «Ной». То есть восстание демонов (ангелов), восстание Адама и восстание исполинов. В прекрасном переводе Витковского, который блестяще овладел языком, духом и стилем той эпохи.

Что нового появляется у Вондела? Он видел пафос борьбы, знал могущество демагогов, знал, как они вовлекают массы на ложные пути, запутывают их в сети. Таким предстает у него Люцифер. Это истинный демагог, который обольщает толпы... люциферистов. Вслед за ним они безумно идут навстречу своей гибели, потому что они хотят изменить мировые законы и восстают против Бога. А потом битва, космическая битва. Все это начертано эпически грозно. Вы, может быть, помните, есть картина художника Тинторетто «Архангел Михаил поражает дьявола»: сумрачные тона, длинное копье, и вниз катятся темные силы. Вондел, конечно, знал эту картину. Во всяком случае, она очень созвучна ему.

И вот на сцене появляется человек... Идеальный человек! Адам и Ева — это гимн человечности, гимн любви. Единство с природой, единство мужа и жены там даны в совершенной гармонии. И все это на фоне сказочного леса, первичного сада эдемского. Появляется соблазнитель. Он пытается вовлечь в грех Адама как разумное начало, но Адам не поддается. Тогда он обращается к Еве и обещает ей знание. Знание или равенство с Богом! Ева соблазняется, поддается, несет плод Адаму, который ужасается (Вондел все это передает очень драматично). И вдруг она понимает, что она от него оторвалась, она погибнет, а он не хочет оставлять ее одну. И вот вместе они совершают это нарушение, вкушают плод, и тут начинается внутреннее разрушение их души. Сначала впервые между ними возникает конфликт: они начинают обвинять друг друга! Небесный голос взывает к ним — это конец... Но это конец не полный. А перед тем как уйти из Эдема, они слышат пророчество о том, что Бог не покинет их и весь человеческий род.

Потом следующая драма — «Ной». Мир населен исполинами, гордыми титанами, которые бросают вызов небу. На землю обрушивается потоп. Вондел был ученым, историком; в предисловии к

драме «Ной» он подробно пишет о свидетельствах народов, древних мифов и легенд о том, что потоп действительно был.

Если вы сейчас захотите познакомиться с этим, то вы можете обратиться к книге Кондратова, нашего известного писателя, популяризатора, который пишет на тему геологии и истории. У него есть несколько отличных книг, посвященных вопросу о потопе. Одна из них — «Великий потоп — миф или реальность?». Но, поверьте мне, для Священного Писания этот материал имеет лишь второстепенное значение. Для Вондела он был важен: его вдохновляло, что он пишет о событиях реальных, действительных. Но нам важно совсем иное.

Сколько было в истории человечества катастроф, наводнений, извержений и других бедствий! Для Библии важно другое. Она хочет нам сказать, что природа имеет своим главой и царем человека; она вышла из бездны, бездны моря — начальная стихия, согласно поэтике библейского сказания о сотворении мира. И если человек оказывается недостойным своего звания, если человек разрушает все, то разрушается и вся природа — она возвращается в исходное состояние первичного водного хаоса. Природа жива! Она реагирует на зло, воздвигаемое человеком. И это вечный и важнейший для нас урок сегодня: человек ответственен перед Богом за себя и за окружающий мир.

Вондел хочет показать, что восстание зла становится все меньше и меньше и последствия его смягчаются. Если восстание Сатаны — это абсолютная чернота и он выбрасывается за пределы божественных замыслов, то восстание Адама получает как бы прощение и надежду в будущем. А Ной вообще не погибает, а сохраняется и дает начало будущему человечеству.

Вот такие размышления о судьбах человечества были в Нидерландах. И в скором времени мы находим великий образец тех же размышлений над теми же сюжетами в Англии времен английской революции, низвержения Стюартов, диктатуры Кромвеля.

Джон Мильтон. Человек, родившийся уже в XVIII веке, в 1708 году. Тоже трагичная судьба. Интеллектуал, с юности зарытый в книги, до тридцати лет ничем, кроме интеллектуальной работы, не занимавшийся, он оказывается втянутым в великую борьбу пуритан. Он сторонник Кромвеля, помощник его, он составляет латинские тексты для международной борьбы восставшей Англии. Но он

убеждается, что те, кто подняли знамя свободы, свергнули и казнили короля, они оказались столь же деспотичными и столь же жестокими, как и представители старой династии. Оказывается, диктаторство, насилие, зло — не только в структуре общества, но и в самой природе человека!

Потом, когда началась реставрация и королевская власть вернулась, Мильтон едва избежал казни. К тому же он ослеп. Одиноким, всеми брошенный, еще достаточно молодой (ему еще не было пятидесяти), он начинает диктовать свою великую поэму «Потерянный рай».

Сюжет все тот же. Мы его видим на этот раз уже не в драме, а в огромном, грандиозном эпосе. Образы поразительные и в то же время внушающие изумление и недоверие. Опять инопланетяне! Опять какие-то совершенно плоские существа, восставшие против Бога, которые убралась в некое царство, там они строят огромный дворец Пандемониум (то есть «собрание всех демонов»), там они замышляют все свои мятежи против Неба, пока глава их, Сатана, не решается нанести Богу удар через человека. И вот, космическая картина: Сатана, подобно черному грифу, распростер исполинские крылья и через звездные сферы несется к шару Земли. Бог видит, что эта черная тень приближается к Земле. Но победы Сатана не достигает. Он проходит через всевозможные космические препятствия, бури, туманы, скалы... И вдруг мы чувствуем, что этот Сатана вызывает у нас симпатию! Что это мощный герой, отважный космический путешественник, который способен преодолеть (пусть ради мести, ненависти), но преодолеть гигантские пространства. Он вторгся на нашу планету, идет по ней и достигает... райских садов — великолепных джунглей, где он блуждает в унынии, в отчаянии, находит людей — и совершается опять все та же самая драма.

Почему Сатана у Мильтона выглядит симпатичным? Потому что в процессе поэтического творчества он перестает быть Сатаной. Он становится просто героем борьбы за какую-то цель. И здесь Мильтон вложил в него часть своей души — души негибаемого борца! Пушкин восхищался именно Мильтоном, его стойкостью, верностью принципам до конца жизни! На самом деле, конечно, это уже не дьявол, не Сатана — это поэтический образ, отражающий душу человека, автора.

Замечательный момент: в конце, когда Адам и Ева должны покинуть рай, ангел говорит им, что они найдут другой рай, они не будут жалеть об этом, покинутом. Есть рай: это любовь, это милосердие. Это будет рай внутренний. Внутренний рай! И он будет лучше, чем вот этот земной, внешний.

Во второй поэме, написанной вскоре, которая называется «Возвращенный рай», Сатана уже лишен полностью черт героизации. Очевидно, сам поэт почувствовал героические черты в своем черном герое и изображает его иначе.

Он встречается с Иисусом Христом. Он уже богатый владелец всех соблазнов земли! Он предлагает будущему Избавителю мира пойти по пути славы, силы, удовлетворения всех желаний. Но Иисус побеждает все его искушения, и Сатана отступает. Отступает потому, что у него нет главного — нет величия духа. Есть все соблазны мира! нет величия духа.

В конце жизни Мильтон пишет драму «Самсон — борец». Всей силой своей страсти прикидывает он к той главной библейской истине, что подлинная вера есть свобода! Христос говорил: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». С самого начала, когда Моисей провозгласил народу: «Выходите из дома рабства!», начинается в Библии поход из рабства: из рабства греху, из рабства злу, рабства самых серых, цепляющихся за человека начал. Свобода! Самсон выступает как народный герой. Его образ даже глубже, чем в эпосе библейском, потому что тоньше показаны его переживания, его, так сказать, всевозможные искушения. Он ослеплен врагами, приведен в цирк на посмеяние, и он стоит там, думая о том, что он отступил от Бога и вот он теперь у них в руках, ему выкололи глаза, он бессилен. Но вдруг он вспоминает, что у него отросли волосы, которые давали ему необычайную силу. Он двумя руками сдвигает столпы-колонны, на которых держится все здание, и обрушивает их на себя и на врагов. Он предпочитает умереть, чем оставаться в рабстве. Этот пафос свободы взят из Библии и помножен на пафос борьбы! борьбы духа в тот смутный, великий и тревожный XVII век.

Все это напоминает нам грандиозные картины, мощные фрески, все это остается в памяти. Я думаю, не случайно мы можем возвращаться к этим темам, потому что это вечные проблемы — они всегда были великими проблемами. А драма Адама — это драма наша

общая! Человек выбирает свой путь. Он выбирает сегодня! Адам живет в нас и мы живем в Адаме, — в первом человеке, в прачеловеке, в едином и единственном человеке. И то, что происходит в истории сейчас — между народами, внутри государства, внутри обществ, городов и семей — это все та же драма человека и драма Адама.

Бог дал нам свободу, чтобы мы выбрали настоящий путь! Он не принуждает нас выбрать путь истины, но Он его открывает нам и указывает. И все зависит, как и тогда, от решения человека. В тот момент, когда Бог призывает нас, когда истина призывает нас, когда добро призывает нас, мы должны принять это решение, должны принять здесь и теперь, пока еще не поздно. Потому что само Священное Писание говорит нам о горьких и тяжких последствиях, которые влечет за собой отвращение от истины и поворот в сторону лжи. И если раньше люди могли сомневаться в этих грозных предупреждениях, то сегодня мы с вами стали мудрей. Сегодня мы уже знаем, что ничто не остается безнаказанным в истории мира. И что ошибки отцов падают впоследствии на детей. Все, что было посеяно, сегодня просто выросло.

Адам — библейский образ ответственности за все человечество, за всех людей. Великий закон солидарности людей накладывает на нас эту ответственность. Если мы будем забывать об этом, последствия будут жестокими. Так было, так и будет! Если мы будем об этом помнить, то развитие мира, развитие духа, путь истории будет выправляться. Я уверен, что это возможно! Я уверен, что еще не поздно! «Встань, спящий!» — говорит нам Священное Писание в Посланиях апостолов. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых! И воскресит тебя Христос!»

БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

В России XVIII век — время очень противоречивое. Жестокая петровская реформа ломала старые традиции, сокрушала устоявшиеся формы искусства, литературы, ломала социальные структуры. Сопровождалось все это острым церковно–религиозным кризисом, жестокими преследованиями старообрядцев, усилением скептицизма, материалистических тенденций, различного рода хаотически–анархической мистики. Противоречивое время, но если бы не было этого времени, то не было бы всей замечательной культуры XIX и XX веков в России.

Несмотря на мрачный колорит петровской и непосредственно послепетровской эпохи, одна такая фигура как Ломоносов доказывает, что ломка эта была не зря, хотя есть основания думать, что и без этих варварских процессов открытость к мировой культуре в Московском царстве неизбежно должна была наступить, ибо ни искусство, ни наука, ни культура в целом не могут развиваться за железным занавесом, в изолированном мире.

В средневековье широким миром для Русской Православной Церкви и для культуры Киевской Руси была связь с Византией, с Болгарией, с христианским Востоком. Но вот наступает московская эпоха. В это время христианский Восток терпит жесточайшее поражение со стороны турок, мусульман, и христианский Восток не то чтобы совсем гибнет, но он почти сломлен, Византия захвачена, собор св.Софии превращен в мечеть. Болгария и Греция — под игом полумесяца. И в силу этого обстоятельства невольно происходит замыкание культуры в России, опасное замыкание.

Дело не в том, что Европа была каким–то спасительным местом, откуда должна была хлынуть сама истина живительная, а дело в другом: в нормальном мировом культурном организме необходимо кровообращение, необходим обмен идей, необходимо столкновение мнений — это очень важно для науки, для философии — для всего. И вот благодаря окну, прорубленному в Европу Петром I, это стало возможным. Это и родило новую литературу в России в XVIII веке и дальнейшее бурное развитие науки, искусства, поэзии и так далее.

Какую же роль в литературе этого сложного периода играла Библия? Надо сказать, что в XVIII веке на Западе отношение к ней у многих писателей стало негативным. Если в XVI–XVII веках были такие поэты как Мильтон, Гроций, Вондел и другие, то XVIII век — это век скептиков или же создателей новой мифологии типа Жан-Жака Руссо, мифа о том, что все было прекрасно до тех пор, пока не пришла техническая цивилизация, или что человечество неукоснительно и обязательно идет вперед, к прогрессу.

Теория прогресса, которая была создана французским историософом аббатом Тюрго и подхвачена и развита Кондорсе, человеком, которого потом смолотила машина революции, живет и теперь как на Западе, так и в нашем сознании здесь. Однако для русской мысли и для русской литературы все это было не так просто, так как произошло столкновение, встреча многовековой исконной веры и новой науки, пришедшей в Россию, условно говоря, вместе с Ломоносовым и его окружением. Разумеется, было очень много и других людей, но Ломоносов как бы олицетворяет в себе их всех.

Кроме того, возникли новые социальные воззрения, а именно: если в прежние времена социальное деление было жестким, исконным, то с петровского времени, когда появились многочисленные парвеню, так сказать, люди, вышедшие из низов (напоминаю вам хотя бы Меншикова и других), когда появляется новое дворянство, не имевшее знатных предков, все меняется. И вот одним из первых на это реагирует поэт Антиох Кантемир.

Антиох Дмитриевич Кантемир — сын известного молдавского господаря. Вы все знаете, что он был сатириком, что он писал, можно сказать, первые в России забавные вирши, весьма ядовитые, он одним из первых в России начал клеймить охранительные тенденции, которые пытались остановить движение науки, литературы. Один из таких охранителей говорит в его произведении: «Расколы и ереси науки суть дети, больше врет, кому дано больше разумети».

Антиох Кантемир был большим знатоком Библии. Вместе со своим учителем Ильинским он составил первую в России симфонию к части Библии. Должен вам сказать, что симфония, или конкорданция, — это такой словарь, по которому можно найти в Библии любое слово. Скажем, «вода», и вы находите, где всюду, в любой Книге Библии употребляется слово «вода». Очень удобно для

изучения Библии, для углубления в нее. Так вот Кантемир сам составил одну из таких симфоний, а Ильинский ему помогал.

Кроме того, Кантемир опирался на библейское учение о человеке в развенчании сословного чванства. Для него это чванство было совершенно неоправданным, потому что Библия учит нас, что человек един. Вот слова Кантемира:

Адам дворян не родил, но одно с двух чадо
Его сад копал, другой пас блеюще стадо;
Ное в ковчеге с собой спас все себе равных
Простых земледетелей, нравами лишь славных;
От них мы все сплошь пошли, один поранее
Оставя дудку, соху, другой — попозднее.

То есть здесь отрицается Кантемиром роковое значение происхождения: все люди происходят от Адама, а потом — от Ноя. Я не буду здесь останавливаться на теме Ноя и всемирного потопа. В прошлый раз мы уже с вами говорили, что с Ноя Нестор—летописец начинал русскую историю. Образ Ноя и его семьи — это образ нашей человеческой общности, святой образ, хотя он иногда вызывает улыбку у людей поверхностных.

Далее. Когда мы переходим к другим библейским темам, то мы находим, что почти все крупные писатели, поэты XVIII века в России так или иначе отзывались на эти темы. Скажем, Василий Кириллович Тредиаковский. Он написал парафраз Песни Моисея, из Второзакония. Второзаконие — пятая Книга Торы, или Пятикнижия. Очень интересный древний текст. Чем он интересен? Все сказители античных времен, восточные сказители, говоря об истории, о прошлом своего народа, всегда останавливались на победах, триумфах, успехах — это было приятно вспоминать и об этом люди любили рассказывать из поколения в поколение. Естественно и понятно. Но вот Слово Моисея.

Когда Моисей с израильтянами перешел Ханаан, чувствуя свою смерть, он произнес пророчество. Это пророчество называется Песня Моисея. Он не восхвалял народ, а он обличал его. Он обличал его, как любящий отец обличает пороки сына. И в дальнейшем в традиции пророков, которые пошли от Моисея, мы находим этот неизменный мотив. Пророки не льстят толпе, они говорят всегда самые горькие истины. Естественно, поэтому их нередко встречают камнями. Но кто был для народа важнее: пророки или те, кто сулили людям

процветание, победы, мир? Пророки видели причины исторического зла, им был открыт нравственный миропорядок: нравственное состояние общества — это не просто что-то безразличное к миру; что сеет человек один или все общество в целом, то они и пожинают.

Тредиаковский перелагал стихами Песнь Моисея не случайно, не просто ради забавы, для него это было поводом для раздумий над судьбами народа и историей. Он принял библейскую концепцию суровой любви к своей отчизне. Суровой, смотрящей правде в глаза. Это не с XVIII века пошло. Если вы помните, я вам рассказывал в прошлый раз о митрополите Иларионе, первом русском митрополите XI века. В своем «Слове о законе и благодати» он обращается к киевлянам с горькими упреками, это боль души, это настоящая забота о народе.

Если мы обратимся к Ломоносову, то исключительно интересна не только его поэзия, но и его взгляды как ученого. Мне кажется, все вы смотрели сериал «Михайло Ломоносов», который недавно шел по телевидению. Там есть момент, когда ученый смотрит в телескоп и видит прохождение планеты, и по очертаниям он впервые ощущает, что это шар. Со священным трепетом смотрел Михайло Васильевич на этот маленький шарик, который медленно продвигался по светящемуся диску солнца. И тогда в нем возникли мысли, которые и сейчас живут в сознании наших современников: а есть ли на этом шаре жизнь? А есть ли там разум? Существуют ли там люди, подобные нам?

Над этим Ломоносов задумывался с богословской точки зрения. Он говорил: вполне возможно, что во вселенной есть человечество, но с иной историей. Возможно, это человечество не находится в падшем состоянии, как наше. При всем том, — говорит он, — вера Христова стоит непреложно. Нужно ли проповедовать Евангелие инопланетянам? Только если у них история была такой же трагичной, как у нас. Иначе все будет по-другому.

В этой же статье «О явлении Венеры на Солнце» Ломоносов пишет, что Творец дал нам две Книги: первая Книга — это природа, и в ней Он отразил Свою мудрость, вторая Книга — это Библия, в ней Он выразил Свою волю. «Неправо, — говорит Ломоносов, — думают те, которые хотят изучать науку по Псалтири». Михайло Васильевич первым в России, следуя своим предшественникам, великим ученым XVII века, основателям современной механики, физики, астрономии,

провел ясную демаркационную линию между рациональным научным познанием и откровением веры. У него наука не мешала вере, а вера не препятствовала науке.

Ломоносов приводит суждение святых отцов, толкователей библейской истории миротворения, и говорит о том, как восхищались они сложностью природы. Он ссылается на книгу «Шестоднев» Василия Великого и других авторов аналогичных книг. «Шестоднев» — это комментарий к первой главе Книги Бытия, где рассказывается о шести днях творения. И Ломоносов говорит, насколько больше люди почерпнули бы данных из современной науки и насколько больше они прославили бы Творца. Чудесно то, что для Ломоносова вся природа была свидетельством о Боге. Он всегда подчеркивал, что между верой и знанием нет вражды, разве только кто-либо по неразумению будет клеветать, «склеплет», как он выразился, либо на науку, либо на веру. Таким образом, хотя у нас в «Философском словаре» 60-х годов его называют материалистом, он таковым никогда не был. Объективно это совершенно не соответствует действительности.

Я думаю, что хотя бы половина из вас читали его великие прекрасные стихи «Вечерние размышления о Божием величестве» и «Утренние размышления о Божием величестве». «Вечернее размышление» прекрасно, оно связано для него с чисто научной проблемой — это проблема северного сияния. Однажды над Петербургом, как это бывает, правда, довольно редко, вспыхнуло северное сияние, и вот ученые стали биться над вопросом, что это? Разогревшийся пар? Какие-то лучи, идущие откуда-то? И Ломоносов кончает это стихотворение известными, я думаю, всем словами:

Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Несведом тварей вам конец?
Скажите ж, коль велик Творец?

У Ломоносова есть удивительная интерпретация к Книге Иова. В двух словах я остановлюсь на содержании этой Книги, чтобы вам было понятно. Я думаю, что большинство из вас ее читали или знают содержание. Но тем не менее повторю еще раз. Священный автор

Книги Иова ставит перед читателем проблему невинного страдальца. Иов — человек, который ничем себя не запятнал перед Богом. И вот, когда с ним случились все несчастья, которые только могли случиться с человеком, — он потерял дом, имущество, родных, здоровье, — к нему пришли друзья, сели молча, сидели три дня, а потом Иов воскликнул: будь проклят день, когда я родился! И начинается драма.

Иов говорит о том, что он не понимает, что произошло: его учили на протяжении долгого времени, что беда — это Божья кара, но за что же карать его, человека невинного? Автор Книги вводит другой пролог, пролог в небе (который потом использовал Гете в своем «Фаусте»). Там иконоподобным образом изображено небесное царство: Творец сидит на троне, вокруг Него стоят сыны Божии, ангелы, как мы бы теперь сказали. И среди них — один, который все подвергает сомнению: кажется ему, что род человеческий — довольно ничтожное образование. А Бог ему говорит: а ты видел Моего служителя Иова? Но ангел скептик (шайтан, так он называется по-древнееврейски, или сатана по-русски, но это пока еще не дьявол в обычном смысле) говорит, что он же не даром такой, у него же все есть: множество детей, любящая жена, куча верблюдов, — все, о чем может мечтать человек. И вот происходит спор между этим ангелом и Богом. Конечно, вы должны сразу понять, что этот спор намеренно изображен автором в почти гротескной форме, чтобы мы не думали, что Бог может действительно заключать сделку с сатаной — все это не надо понимать буквально. Бескорыстно предан Богу этот человек или нет — вот в чем вопрос.

И вот Иов лишается всего. Автор Книги громоздит одно несчастье на другое и, наконец, Иов лежит уже на свалке, на помойке, и жена ему говорит: «Прокляни Бога и ты умрешь». А он говорит: «Бог дал, Бог взял». Стоит твердо, как стоик. Но когда к Иову приходят друзья, происходит взрыв. Любопытно, что Достоевский, тот, кто поднял проблему невинного страдальца наиболее остро в русской литературе, прошел мимо этого момента. Он заметил только терпение Иова. Дело в том, что в церковном чтении читается только пролог Книги Иова, а дальше не читается. И как-то получилось, что от Федора Михайловича ускользнуло то, что Иов восстал против Бога, восстал и вызвал Его на суд, и друзья, которые у него сидели, были в ужасе. Они говорили: ты греховен, ты просто не знаешь своих грехов, ты не помнишь их, Бог не

может быть несправедлив. У них были старые, но четкие богословские понятия: зло карается, добро вознаграждается. Как в старых сказках, как в романтических повестях.

Вот они спорят, и спор доходит до полного накала, когда Иов говорит: я не хочу слушать ваших пустых слов, посмотрите, что делается вокруг, насколько отвратительна жизнь: справедливости нет, господствуют люди безумные и злые, человек живет так недолго на свете. Там есть прекрасные слова о краткосрочности нашей жизни, о трудности человеческого бытия.

Друзья Иова в конце концов умолкают. Потом является Бог. Из тучи раздается Его голос. Он говорит: «Где этот человек, который вызывал Меня на суд? Препоясай свои чресла и отвечай Мне!» Но что же отвечает Иов? — Он молчит. И Бог спрашивает его: «Где ты был, когда Я полагал основание небу и земле? Знаешь ли ты?...» И далее идут прекрасные поэтические яркие описания природы, животных, растений, каких-то чудовищ сказочных и совершенно реальных живых существ, картинки из жизни египетских животных: бежит страус, бежит конь, дикий бык, который в нашем переводе называется единорогом. Он говорит: «Можешь ли ты управлять? Как ты можешь решать тайны провидения?»

Иными словами, автор Книги устами Бога не отвечает на загадку. Это глубоко целомудренный факт. Почему не отвечает? Ответ приходит потом — в явлении Бога в Новом Завете, когда Он страдал вместе с людьми.

А что же Иов? Он сказал: «Я Тебя звал, я столько о Тебе слышал, и вот Я тебя вижу! И теперь я раскаиваюсь и от всего отрекаюсь». Вдруг все вопросы у Иова исчезли, потому что он прикоснулся к Богу, он Его увидел. И в этом — непостижимая развязка этой Книги.

Ломоносов эту тему парафразирует по-своему. Он следует речи Бога в Книге Иова, но основная мелодия там несколько иная: она проще, она не столь мистична, как в Книге Иова. Я думаю, любой любитель природы может это легко понять. Когда я в детстве читал эти стихи, мне казалось, что Ломоносов уловил что-то очень важное.

О ты, что в горести напрасно
На Бога ропщешь, человек,
Внимай, коль в ревности ужасно
Он к Иову из тучи рек!

Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая
И гласом грома прерывая,
Словами небо колебал
И так его на распрю звал:
Сбери свои все силы ныне,
Мужайся, стой и дай ответ.
Где был ты, как Я в стройном чине
Прекрасный сей устроил свет;
Когда Я твердь земли поставил
И сонм небесных сил прославил
Величество и власть Мою?
Яви премудрость ты свою!

Далее идет парафраз картин природы, а кончается все моралью, которой нет в Книге Иова, она принадлежит уже самому Михайло Ломоносову:

Сие, о смертный, рассуждая,
Представь зиждителю власть,
Святую волю почитая,
Имей свою в терпении часть.
Он все на пользу нашу строит,
Казнит кого или покоит.
В надежде тяготу сноси
И без роптания проси.

Этого, повторяю, Бог не говорит в Книге. А почему так написал Михаил Васильевич? Потому что для него самого зрелище природы, как откровение Божией мудрости, очищало душу, возвышало, и человек на лоне природы, перед звездным небом и перед чудесами мироздания, забывал о своем горе, о своем малом горе земном. Он вдруг чувствовал величие вселенной, и на этом фоне ему дышалось легче и просторнее. Вечность звучала здесь. Это особый опыт ученого, это опыт многих других ученых, которые черпали свой религиозный энтузиазм из созерцания природы.

А теперь, двигаясь по XVIII веку, я мог бы остановиться на ряде писателей, которые писали парафразы на псалмы, но это не особенно типично и характерно. Парафразы на псалмы появлялись всегда, и в XVII–м (я вам говорил уже о Симеоне Полоцком), и в XIX–м и в XX–м веке. А что было оригинального? Оригинальное и замечательное дал

великий украинский мудрец Григорий Саввич Сковорода, человек, который заповедал написать на своем надгробном камне: «Мир меня ловил, но не поймал». Вечный странник... И в Киеве учился, и за границей, кажется, побродил, ходил всюду с котомкой, в ней была только Библия и несколько любимых книг античных авторов.

Образованнейший человек и в то же время народный человек, уникальная личность, воспринимавшая все иначе, чем кабинетный ученый. И вот он пошел дальше Ломоносова. Ломоносов только декларировал: вот здесь знание и наука, а здесь вера, Священное Писание. Они идут параллельно друг другу, не мешая, только поддерживая друг друга.

Григорий Саввич Сковорода смело подошел к труднейшим библейским вопросам. Надо сказать, что он начал читать Библию поздно. Сам он пишет, что обратился к ней только в тридцать лет.

В нем было что-то мистическое, но в то же время он был сын рационального XVII века. Это был ярчайший украинский самородок и одновременно гражданин вселенной. Если такого автора перевести на какой-то международный язык, он всюду был бы чтим и понят, потому что проблемы, которые он ставил, социальные, нравственные, философские, литературные, — волновали все европейское человечество.

У Сковороды есть несколько книжек, которые специально посвящены Библии. Я хочу остановиться на их главном содержании. Первая книга, более общая, называется «Начальная дверь к христианскому добронравью», то есть нравственности. Здесь мы находим понятие о вере в очень широком смысле слова. Григорий Саввич вовсе не считал, что язычник — это просто дикарь заблуждающийся, он очень тонко понимал, что вера — это отзвук в человеческом сердце истинного Бога. Отзвук не всегда точный, но все-таки отзвук. Вот как он говорит: «Как теперь мало кто понимает Бога, так не удивительно, что и у древних часто публично ошибкою почитали вещество за бога и затем все свое богопочитание отдали на посмеяние». Он имеет в виду идолов (вещество). Текст немножко трудный, это своеобразный язык Сковороды, это и не церковнославянский, и не украинский, это особый язык. «Однако же в то все века и народы всегда согласно верили, что есть тайная некая по всему разлившаяся и всем владеющая сила. По сей причине для чести

и памяти его по всему шару земному общенародно были всегда посвящаемы дома, да и теперь везде все то же». И дальше немножко ироническое сравнение: «И хотя, например, подданный может ошибкою почесть камердинера вместо господина, однако ж в том никогда не спорят, что есть над ним владелец, которого он, может статься, в лицо не видывал. Подданный его есть всякий народ, и равно каждый признает пред ним рабство свое. Такова вера есть общая и простая». Поясню: человек может по ошибке воздать должное низшему, но на самом деле он воздает должное самому высокому чину, и если язычник почитает стихии, то в конечном счете здесь стремление человека к высочайшему началу, к высшему Творцу и Богу.

Далее он дает нам толкования на десять заповедей. Краткие, прекрасные, хочется все это зачитывать подряд. Глава пятая Десятословий: в чем смысл десяти заповедей? В том, что служение Богу более важно в нравственной сфере, нежели в ритуальной. Это очень важная мысль. Она была провозглашена Библией за тринадцать веков до нашей эры, и до сих пор люди не совсем ее понимают. А вот как прекрасно понимал это уже Григорий Саввич Сковорода: «Вся десятословия сила вмещается в одном сем имени — любовь. Она есть вечный союз между Богом и человеком. Она огонь есть невидимый, которым сердце распаляется к Божиему слову или воле, а посему и сама она есть Бог. Сия божественная любовь имеет на себе внешние виды, или значки; они-то называются церемония, обряд, или образ благочестия. Итак, церемония возле благочестия есть то, что возле плодов лист, что на зернах шелуха, что при доброжелательстве комплименты. Если же сия маска лишена своей силы, в то время остается одна лицемерная обманчивость, а человек — гробом раскрашенным. Все же то церемония, что может исправлять самый несчастный бездельник». То есть внешнюю сторону веры самый несчастный бездельник может выполнять, но главное в ней — это дух.

Далее. Он пишет книгу «Икона алкивиадская». Довольно странное название, не всем понятное. В одном из «Диалогов» Платона в разговоре Сократа с Алкивиадом Сократ сравнивается со шкафчиком, на дверце которого вырезан немножко смешной такой уродливый селен (леший), и Сократ, который был внешне человеком забавным, — лысый, маленький, нос картошкой, — выглядел как селен. Но это был кладезь мудрости. И вот этот образ алкивиадов (это

Алкивиад о нем так сказал) и послужил названием для небольшой книги Сковороды. Подзаголовок у нее «Израильский змий».

Что же такое «Икона алкивиадова» или же «Израильский змий»? Это Библия. Сковорода подчеркивает, что часто внешние литературные формы Библии могут казаться нам странными, гротескными, может быть, вызывать протест разума, но напрасно думают люди, что она исчерпывается лишь этим. Как древний змий, обладающий мудростью, Библия содержит в себе великие сокровища, надо только уметь их найти. Тот, кто рассматривает Писание с внешней стороны, для Сковороды сторонник суеверия.

Он ненавидел суеверие. Он всегда об этом писал резкими горькими словами: «Нет вреднее, как то, что сооружено к главному добру, а сделалось растленным. И нет смертоноснее для общества язвы, как суеверие — листвие лицемерам, маска мошенникам, стена тунеядцам, подстрекало и поджог детоумным. Оно возъярило премилосердную утробу Тита, загладило Иерусалим, разорило Царьград, обезобразило братнею кровью парижские улицы, сына на отца вооружило. И не напрасно Плутарх хуже безбожия ставит суеверие».

Для того, чтобы отбросить суеверный подход к Библии, необходимо, — пишет он, — «благочестивое сердце между высыпанными курганами буйного безбожия и между подлыми болотами рабострастного суеверия, не уклоняясь ни вправо, ни влево, прямо течет на гору Божию и в дом Бога Иоаковского». То есть читатель Библии не должен идти ни по стопам суеверия, ни по стопам безбожия, а следовать Священному Писанию.

Он дает методы, очень тонко показывая, что литературная фактура Библии была взята из древнего Востока. Вот его слова буквальные: «Мойсей, ревнуя священникам египетским (то есть подражая жрецам египетским), собрал в одну громаду небесных и земных тварей и, придав род благочестивых предков своих, слепил книгу Бытия, сиречь мироздания... Сие заставило думать, что мир создан 7000 лет назад. Но обительный мир касается тварей. Мы в нем, а он в нас обитает. Мойсейский же, символический, тайнообразный мир есть книга». Библия есть книга-символ, и извлекать из нее точные даты истории мира, как и сейчас делают люди, бессмысленно. Вот чему учит нас в

XVIII веке Сковорода. Меня подмывает читать все подряд, но это невозможно.

«Сей есть природный стиль Библии! Исторической или моральной лицемерностью так сплести фигуры и символы, что иное на лице, а иное в сердце. Лицо, как шелуха, а сердце есть зерно...» Сердце есть зерно.

Есть одна книжка его небольшая, которая называется «О чтении Священного Писания или жена Лотова». Вы все знаете, кто такая жена Лотова. Примерно за четыре тысячи лет до нас в результате некоей геологической катастрофы на берегах Мертвого моря произошло опускание суши. Там была группа городов, союз городов: Содом, Гоморра и другие. Они погибли, провалившись в асфальтовые ямы и, как рассказывает Писание, огонь шел с неба. До сих пор там эти асфальтовые ямы сохранились. Озеро это, Мертвое море, настолько соленое, что там не может жить никакая рыба. Эта история с Содомом дала священному автору повод поднять вопрос о тайнах Промысла Божия, рассказав одну из первых в мире историй чудесного Посещения. К истории божественного посещения обращались многие писатели, скажем, Михаил Булгаков. Пришел Воланд и его компания в Москву... посмотреть на нас, какие мы стали. Или у Герберта Уэллса прилетел ангел, которого пастор подстрелил, посмотреть, какова жизнь в викторианской Англии. Вот такой образ: приходит гость с неба, чтобы посмотреть на нас. К Аврааму приходят три странника. Он их принимает и вдруг понимает, что это странники небесные и что идут они... куда же? В нечестивый Содом! Город, который уже тогда стал символом самых чудовищных преступлений. Идут проверить, действительно ли пришла пора этому городу погибнуть. А в Содоме жил Лот, племянник Авраама. И когда эти три странника отправились в город, Авраам побежал за ними, упал на колени и сказал: «Господин, а может быть все-таки в этом городе найдется несколько десятков праведников? Не погубишь Ты их вместе?»

Вы все знаете, эта сцена — три странника — легла в основу знаменитой иконы «Троица». Иногда ее изображают с Авраамом, а на иконе, которая называется рублевской «Троицей» и приписывается кисти великого художника преп. Андрея Рублева, она без Авраама, как бы внеисторическая.

Так вот, Авраам произносит слова (это древний человек, четыре тысячи лет назад!): «Ты не погубишь праведника с грешниками?» И этот таинственный странник говорит: «Нет, конечно, если там найдется хотя бы такое-то количество добрых людей, город будет пощажен». И путник идет дальше. Но Авраам быстро сообразил, что едва ли столько найдется. «Господин мой, — кричит, — может быть, там хоть десяток найдется?» — «И если десяток будет, то город останется». То есть Бог ждет до последнего. Вот отсюда три праведника, на которых стоит мир.

Помните, солженицынский «Матренин двор» кончается тем, что земля стоит на праведниках? Но оказалось, что в Содоме их не нашлось. Был один только Лот, племянник Авраама. И Бог сказал, пусть Лот покинет этот город, но идет, не оборачиваясь. Это огромный символ: сзади грохот, горит город, погружается в озеро, но ты иди и не оборачивайся — символ большой глубины. И вот сказано в Писании: и обернулась жена Лота и превратилась в соляной столб. Почему она обернулась? Ей было сказано: иди вон, стремись скорее вперед, но что-то ее там влекло. Для Сковороды это огромной важности образ — жена Лота. Не будь, как жена Лота, помни о ней, не обращай в Писании внимания на второстепенное. Вот почему так странно называется эта книга — «Жена Лотова».

Только тот, кто будет смотреть в Библии на священное, поймет ее. «Две страны имеет библейное море. Одна страна наша, вторая — Божия. На нашем берегу колосья пустые, а коровы худые, по другую же сторону моря и колосья добрые, и юницы избранные. Наш берег и беден и голоден, заморский же есть Доброй Надежды гавань, лоно или залив Авраама, место злачное, где весь Израиль пасется и поживает, оставив на голодной стороне содомлян. «Кто перейдет на ту сторону моря?» А вот кто: «И полечу и почию». (Это слова псалмопевца.) «Я уснул, и спал, и встал. Вот и девица: «Под сень его пожелал и сел». (Это слова девушки из Песни Песней, она бежит к возлюбленному.) «Вся тварь, то есть все мироздание, есть сень привидения». Заметьте, он говорит это в том же столетии, в котором Гете написал «Фауста». Вы помните, как кончается «Фауст»? — все преходящее есть только символ. Это было написано через несколько лет после смерти Сковороды. А он пишет: вся тварь есть только привидение. «Вся тварь есть сень привидения, а Бог есть дух видения. Вот тебе два

Хвалынского моря берега: северный и южный. Поминайте же жену Лотову!»

И наконец мы подходим к рубежу XVIII века — Гавриле Романовичу Державину. Он прожил сложную жизнь, пережил в старости войну 1812 года, видел в юности расцвет Екатерины, увлекался ею, думал, что она идеальная государыня, и пережил жестокие разочарования.

Гавриле Романовичу Державину принадлежит небольшая поэма о Творце мира, которая навеяна не только первыми стихами Библии, но и всеми псалмами, которые говорят о мироздании как о явлении премудрости Творца. Это великая ода. Она переведена на десятки языков, только на французский, по-моему, пятнадцать переводов ее, десять — на немецкий, есть перевод на японский. Я бы сказал, что по своей популярности эта ода, называемая «Бог», может почти равняться с «Божественной комедией» Данте, хотя она неизмеримо короче.

Далеко не всякий богослов, не всякий философ и уж тем более не всякий поэт мог рискнуть взяться за такую тему. О чем только не писали люди! И о любви, и о природе, и о войнах, и о царях, и о нищих, и о птицах, и о «древах», но вот этот человек, служивый человек, чиновник при Екатерине, написал о Боге так, как, пожалуй, никто из поэтов потом не сумел написать.

В Петрограде в 1922-м году мало кому известный физик Александр Фридман написал небольшую книжку «Мир как пространство и время». Эта книга, мало замеченная в свое время, совершила переворот в космологии. Опираясь на теорию Эйнштейна, Александр Фридман впервые создал модель горячей вселенной, расширяющейся вселенной, создал теорию большого взрыва, вселенной, которая родилась из точки благодаря большому взрыву. Даже Эйнштейн не мог сначала принять этой модели, потом, через несколько лет она была подтверждена бельгийским священником, астрономом, математиком Леметром и прочно вошла в современное естествознание. Сейчас ее уже не клянут, как кляли в дни моей студенческой молодости. Говорили, что это буржуазное изобретение: мракобесные рассуждения Эйнштейна и прочих. Про Фридмана вообще забыли, кто он такой, забыли даже, что это он придумал эту теорию, но сейчас она является наиболее распространенной и ее принимают самые выдающиеся физики мира. Более того,

альтернативная теория пульсирующей вселенной имеет гораздо меньше последователей и, как говорили мне специалисты, она менее обоснованна.

Так вот, многие спрашивали меня, а какое же было мировоззрение у Александра Фридмана? Кто он был — материалист, идеалист? Это осталось загадкой. Умер он достаточно молодым, все это унеслось водой времен, но есть симптом: он приводит слова из Библии и кончает словами из оды «Бог». Такими словами:

Измерить океан глубокий,
Сочечь пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, —
Тебе числа и меры нет!

Кому — «Тебе»? Читатель в 22-м году не сразу мог догадаться, может, он к вселенной обращается? Но это были слова Гаврилы Романовича Державина, обращенные к нашему Создателю. Итак, читаю, хотя и не полностью:

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движении вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог.
Измерить океан глубокий,
Сочечь пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, —
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает, —
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Далее он спрашивает, а что такое человек по сравнению с Творцом?

Как капля в море опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия.
Но что мой зримая вселенна?
И что перед Тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, — и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною;
А я перед Тобой — ничто.
Ничто! Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! Но жизнь я ощущаю,
Несытым неким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно, есть и Ты! /.../
Ты есть! — природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайняя степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.
Твое создание я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие Твое!

Двести с лишним лет назад написаны эти строки, но они живут и сегодня, несмотря на архаический язык.

А потом, спустя более четырнадцати лет, Державин написал еще одну оду. Он написал ее почти перед смертью. Эта ода называлась «Христос». Написана она была более сложным языком и уже не носила того космического характера, а была связана с тайной человеческой души. Надвигалась новая эпоха, когда человек волновался уже не столько проблемами космоса и мироздания, а волновался трагедией своего бытия.

Вот уж поистине квинтэссенция библейской интерпретации! Конец не космичен, а интимен. Поэт обращается к Христу, Который извлек человека из первородного падения:

Христос — нас Икупитель всех
От первородного паденья;
Он — Свет, тьмой неотъемлем ввек;
Но тмится внутри сердец неверья,
Светясь на лоне у Отца.
Христа нашедши, все находим,
Эдем свой за собою водим,
И храм Его — святы сердца.
О Всесвятый, Превечный Сый!
Свет тихий Божеские славы!

Пролей Свои, Христе, красоты
На дух, на сердце и на нравы,
И жить во мне не преставай;
А ежели и уклонюся
С очей Твоих, и затемнюся, —
В слезах моих вновь воссияй!
Услышь меня, о Бог любви!
Отец щедрот и милосердья!
Не презрь преклоншейся главы,
И сердца грешна дерзновенья
Мне моего не ставь в вину,
Что изъяснить Тебя я тщился, —
У ног Твоих коль умилился
Ты, зря с мастикою жену.

Кто такая «жена с мастикой»? Когда Христос пришел в дом фарисея, одна грешная женщина в знак покаяния драгоценными благовониями полила ноги Христа, упав к Его ногам. И вот покаяние свое Гаврила Романович излагает так.

И наступило время его смерти, и он сосредоточился на главном. В уединенном имении умирал уже не бывший министр юстиции, не тайный советник, а просто раб Божий Гавриил. И холодеющей рукой он стал писать свое последнее стихотворение, и оно в чем-то даже проникательнее надежды великого Александра Сергеевича Пушкина, который надеялся, что «весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет...» Нет, старый Державин понимал, что не переживет, и на аспидной доске он написал последние строки:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей,
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

И тут стило падает из его рук, и, когда приходят к нему утром, находят эту запись. Державин умер. Свеча еще горит. Державин хотел написать о Боге в последний раз...

Ходасевич, который написал о нем лучшую биографическую книгу, тонко замечает, что первым словом маленького ребенка Гаврилы Державина было слово «Бог», и последним словом было тоже «Бог». Но он успел написать только о бренности преходящего, подражая Экклезиасту, великому библейскому автору, а когда этой бренности хотел противопоставить небесный свет, то уже не смог.

Тот, кто видел лик Божий, должен умереть, — говорит Священное Писание. И мне кажется, что здесь произошло нечто подобное тому, что произошло с Данте, когда он заканчивал свой «Парадиз» («Рай») в «Божественной комедии». Когда он пытался созерцать Бога, он вдруг пишет, что его высокое воображение иссякло — «здесь изнемог высокий духа взлет» — и в это время «волю и дух его уже стремил, как если колесу дан ровный ход, любовь, что движет солнца и светила». Данте умер вскоре после того, как он написал эти строки. Потому что это было высочайшим переживанием, это было выходом из временного в вечное.

Только великие праведники, великие провидцы, великие мудрецы достигают такого мгновения — и уходят в это мгновение. И я верю, что последний великий писатель XVIII века России, уже вступившей в XIX век, приветствовавший великого Пушкина, знавший Карамзина и всех, кто начинал эту литературу, был таким мудрецом, таким праведником. Он переложил на новый русский поэтический язык священные слова древней Книги и так переложил, что по прошествии двухсот лет они продолжают жить и волновать нас сегодня. Потому что вечность стоит над преходящим, вечность касается нас и она делает нашу эфемерную жизнь причастной к бессмертию здесь и теперь. Спасибо.

БИБЛИЯ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

Беседа первая

Итак, дорогие друзья, мы почти заканчиваем наш краткий и беглый обзор. В последние наши встречи он будет особенно кратким, потому что, как ни странно, именно в XIX и в XX веках духовная проблематика и библейские сюжеты особенно прочно входят в ткань европейской, русской и всей мировой культуры. Если бы попытаться только перечислить названия стихотворений, поэм, драм, повестей, которые за истекшие двести лет были посвящены библейской проблематике, то подобное перечисление заняло бы очень большое время, даже без характеристики и цитат. Но наша задача не исследовать все тщательно, а поговорить лишь об основных вехах.

В свое время Оноре Бальзак, подводя итог «Человеческой комедии», отмечал, что вся эпопея написана им в духе христианской религии, христианских законов и права. Но на самом деле в огромном, многотомном произведении Бальзака христианского духа мало. В нем есть многое, это действительно панорама человеческой жизни, но жизни приземленной, погруженной в быт, страсти, порой мелкие, и взлетов мы не видим. То же самое можно сказать и о Густаве Флобере, и о многих других западных писателях, у которых жизнеописания заслоняют вечные вопросы. Такова была динамика развития литературы на Западе в XIX веке. В XX веке картина меняется и начинаются вновь поиски вечного.

Русская литература XIX века в этом отношении выгодно отличается от литературы западной. Потому что от Василия Жуковского до Александра Блока она всегда была сосредоточена на жгучих нравственных проблемах, хотя и подходила к ним с разных точек зрения. Она всегда волновалась этими проблемами и редко могла останавливаться только на бытописании. Писатели, которые ограничивались житейскими сложностями, оказывались оттесненными к периферии. В центре читательского внимания всегда были писатели, тревожащиеся проблемами вечного.

Не освещая эту тему во всей полноте, отметим лишь несколько вех.

Первая из них — В.А.Жуковский. Он подходил к Священному Писанию с кротостью и простодушием старинного человека. Человека, находившегося под влиянием немецкого благочестия, который перелагал, не мудрствуя лукаво, библейские сюжеты.

Совершенно иначе подходил к ним А.С.Пушкин. В начале творчества — период насмешек, вольтерьянства, скепсиса, отрицания. Поэт был тогда под влиянием модных в конце XVIII столетия вольнодумных произведений деистов и атеистов. Не задумываясь над тем, в чем содержится вечный источник человеческой жизни, юный Пушкин был способен написать кощунственную поэму «Гавриилиада», подражая, конечно, Вольтеру. «Гавриилиада» есть русский вариант «Орлеанской девственницы».

Озорной, живой, огненный Пушкин вовсе не думал кощунствовать. Его просто несло течением жизни, как может нести юношу, которому всегда кажется тяжким гнет людей слишком серьезных и строгих. Как чопорная цензура, для него это символ всего мертвящего. Потом он от «Гавриилиады» отрекся. Отрекся не из страха: если взглянуть на его внутренний путь, то мы увидим, что это было вполне серьезным шагом.

Перелом в его мировоззрении и внутренней жизни хронологически связан с женитьбой и с каким-то поворотом, о котором он говорит в своем стихотворении «Пророк».

«Пророк» — стихотворение, которое часто интерпретируют только в поэтическом смысле. Как призыв к поэту. Может быть. Но оно — почти дословное повторение начала VI главы Книги пророка Исайи.

О чем рассказывается в этом эпизоде библейской книги? Почему, по Пушкину, серафим должен был произвести такую болезненную операцию с человеком? Потому что человек, соприкоснувшийся лицом к лицу с Богом, должен погибнуть, исчезнуть, раствориться. Пророк Исайя так и говорит: горе мне, я человек грешный, с грешными устами, живущий среди грешных людей. И Бог, когда посылает его на служение, вовсе его не утешает, не ободряет и не убеждает: «ничего подобного, ты останешься целым». Да, Бог молчаливо признает, что прикосновение к Нему для грешного человека смертельно. И чтобы не

произошло этого обжигающего, опаляющего соприкосновения, огненный серафим меняет сердце, человека, его уста, очищает его всего. И тогда человек становится проводником Божьей воли.

Пушкин дополняет пророка, он передает ему свой внутренний опыт. И не просто опыт поэта — опыт ясновидца. У Исайи не сказано: «И внял я неба содроганье. И горний ангелов полет. И гад морских подводный ход. И дольней лозы прозябанье». Пушкинское космическое чувство, когда душа становится проводником всех влияний мира, всех нитей, которые связывают мироздание: божественное начало, природу живую и неживую, — это опыт уникальный. И каждый человек в какой-то степени, в какой-то момент своей жизни его переживает или к нему прикасается. И пушкинское «Восстань, пророк, и виждь и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей», — это по-библейски, это согласуется с Ветхим Заветом: Бог повелел Исае и другим пророкам жечь сердца людей, вести их к покаянию и богопознанию. Но тут, я еще раз подчеркиваю, мы встречаем включение линии самого Пушкина, его интимного переживания. Это уже не парафраз поэтических строк пророка, а то, что Пушкин сам пережил.

Пушкину было тридцать лет. Тот возраст в жизни человека, когда очень часто, особенно у людей одаренных, заметных, происходит как бы столкновение с иной реальностью. Один известный канадский психиатр, доктор Бекк, в конце прошлого века занялся исследованием биографий великих основателей религий, мистиков и философов и установил, что внутренний переворот происходил у всех примерно в том же самом возрасте, как у Пушкина. Даже Христос, как мы знаем из Евангелия, вышел на проповедь, когда Ему было около тридцати лет. Значит, этот возраст не случайный, а важный во внутреннем становлении человека.

По свидетельству Смирновой, Пушкин специально стал изучать древнееврейский язык, чтобы читать Ветхий Завет в подлиннике. У него возникла мысль перевести Книгу Иова. Он начал писать поэму о Юдифи. «Юдифь» — это включенная в Библию героическая сага о женщине, которая спасла свой осажденный город, проникнув в лагерь, в становище врага. В нескольких строчках, которые сохранились от этого наброска, написанного незадолго до смерти, уже намечается

образное видение Пушкиным двух миров: «притек сатрап к ущельям горным» — он идет снизу, а наверху, в вышине стоит Ветилуйя, город, который не сдается, город, который заперт и готов встретить удар врага.

Незадолго до смерти Пушкина в Петербурге вышла книга итальянского писателя Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». Александр Сергеевич написал к ней предисловие. В нем он высказал свое отношение к Евангелию. Каждый из вас, кто хочет понять перемену, происшедшую в Пушкине к концу его великой, бурной и трудной жизни, должен прочесть эти строки о том, что есть одна книга, каждое слово которой истолковано, много раз прочитано, изучено, книга, о которой сказано, казалось бы, уже все, но каждый раз, когда ее берешь вновь, она вселяет в душу мир и обладает такой силой, что успокаивает наше волнение и тревогу. Читая ее, человек обретает духовный мир.

Вскоре тема пророка возникает у М.Ю.Лермонтова. Вы помните его стихотворение «Пророк».

С тех пор, как вечный Судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все близкие мои
Бросали бешено каменья.
Посыпал пеплом я главу,
Из города бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи;
Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.
Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите, вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

Почему это так? Разница глубокая: у Пушкина было ясновидение Бога и мира, мгновение, которое переживал пророк; у Лермонтова другая тема: ясновидение человеческого греха. Горький дар, который отравляет пророку жизнь на земле. Это тоже соответствует библейской модели, потому что пророки видели зло мира и обличали его беспощадно.

Не нужно думать, что пророки к этому подходили спокойно — они глубоко страдали от необходимости видеть зло и бичевать его. Иные думают, что пророки со своим обличением были просто людьми мрачными и неуживчивыми, но нет: многие были страдающими, ранимыми, тонкими, многие буквально сопротивлялись Божьему повелению идти и жечь глаголом сердца людей. Им не хотелось говорить людям истину, но, подчиняясь Богу, они продолжали говорить. Все эти фигуры для нас бессмертные, классические, известные. А сегодня я хотел бы остановиться на личности, которая не всем в равной мере известна, но очень значительна, на человеке, который тоже прожил не очень долгую жизнь. Это Алексей Степанович Хомяков.

Он родился пять лет спустя после Пушкина и умер в 1860 году. Был он талантливый живописец, оригинальный богослов, философ, историк, острый публицист, создатель специфической теории раннего славянофильства (не надо путать с поздним, светским, это было раннее церковное христианское славянофильство). Человек, оцененный всеми, даже противниками, которые очень уважали его, даже любили, например, А.И.Герцен пишет о нем с восхищением. Однако, несмотря на свою открытость к людям, Хомяков был плохо понят, его богословские сочинения были отвергнуты церковной цензурой, большинство из них издавалось в «тамиздате», то есть на Западе, еще при жизни автора.

Хомяков был сельским хозяином, увлеченным помещиком, который изобретал различные новшества, он был универсальным человеком. В какой бы области ни брался он за дело — всюду проявлялась его талантливость. Он немало изучал Библию, много писал о ней в своих публицистических историсофских, богословских работах, он даже перевел с греческого языка некоторые Послания из Нового Завета, писал рецензии на библейские труды, выходившие на Западе. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на два–три его стихотворения. Думаю, что немногие из вас знают эти стихотворения, очень глубокие и интересные.

Первое посвящено Ветхому Завету, оно называется «По прочтении псалма». Хомяков рассматривал Священное Писание не как книгу о далеком прошлом, а как книгу о сегодняшнем дне. Он взял Псалом 49–й и написал парафраз его. А в скобках стоит: «На освящение Исаакиевского собора». До сих пор не установлено точно, действительно ли сам Хомяков поставил такое посвящение, но я думаю, что что–то серьезное в этом есть. Кто из вас бывал в Ленинграде, знает, что Исаакиевский собор, подобно собору святого Петра в Риме, — колоссальное сооружение, с огромными малахитовыми колоннами, с грандиозными светильниками, окнами, мозаиками, фресками. Он производит подавляющее впечатление. После освящения храма Хомяков, читая Библию, 49–й псалом, написал такое стихотворение:

Земля трепещет; по эфиру
Катится гром из края в край.
То Божий глас; он судит миру:
«Израиль, Мой народ, внимай!
Израиль, ты Мне строишь храмы,
И храмы золотом блестят,
И в них курятся фимиамы,
И день и ночь огни горят.
К чему Мне пышных храмов своды,
Бездушный камень, прах земной?
Я создал небо, создал воды,
Я небо очертил рукой!
Хочу — и словом расширяю
Предел безвестных вам чудес,

И бесконечность созидаю
За бесконечностью небес.
К чему Мне золото? В глубь земную,
В утробу вековых скал
Я влил, как воду дождевую,
Огнем расплавленный металл.
Он там кипит и рвется, сжатый
В оковах темной глубины;
А ваше серебро и золото -
Лишь всплеск той пламенной волны.
К чему куренья? Предо Мною
Земля, со всех своих концов,
Кадит дыханьем под росой
Благоухающих цветов.
К чему огни? Не Я ль светила
Зажег над вашей головой?
Не Я ль, как искры из горнила,
Бросаю звезды в мрак ночной?
Твой скуден дар. — Есть дар бесценный,
Дар, нужный Богу твоему;
Ты с ним явись и, примиренный,
Я все дары твои приму:
Мне нужно сердце чище злата,
И воля, крепкая в труде;
Мне нужен брат, любящий брата,
Нужна Мне правда на суде!..»

Размышления над Библией вызвали стихотворение «Звезды». Стихотворение посвящено Новому Завету. Новый Завет — произведение галилейских рыбаков — он сравнивает со звездами. Стихотворение было очень известно в прошлом, любой сборник, хрестоматия включали его. Оно написано не случайно, это не игра воображения. Каждый, кто читал строки Нового Завета, знает о волшебном свойстве этого текста. Я читаю его уже много лет, даже десятилетий, и каждый раз открываю в нем новое и новое: такое впечатление, что читаешь впервые.

Волновала Хомякова и еще одна тема — сила духа и сила власти и насилия. Он всегда думал о том, как изображен Христос. Он

победитель в Новом Завете, но победитель, который не унижает, не сокрушает, который сохраняет человеческую свободу. Величайший дар, который отличает нас от животных, это свобода, и Бог бережно подходит к ней. Поэтому явление Христа происходит без насилия над личностью и совестью человека. Христос всегда оставляет человеку возможность повернуться к Нему спиной. Так было, поясняет Хомяков, в те древние времена, когда Христос явился на земле. И так это совершается и теперь. Стихотворение, которое я хочу вам прочесть, не имеет названия, его называют «Широка, необозрима» — согласно первой строке. Начинается картина с входа Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ приветствовал Его.

Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Из ворот Иерусалима
Шла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжеством,
«Ты идешь во имя Бога,
Ты идешь в свой царский дом!
Честь Тебе, наш Царь смиренный,
Честь Тебе, Давидов Сын!»
Так, внезапно вдохновенный,
Пел народ. Но там один,
Недвижим в толпе подвижной,
Школ воспитанник седой,
Гордый мудростию книжной,
Говорил с усмешкой злой:
«Это ль Царь ваш, слабый, бледный,
Рыбаками окружен?
Для чего Он в ризе бедной,
И зачем не мчится Он,
Силу Божью обличая,
Весь одеян мрачной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землей?..»
И века прошли чредою,
И Давидов Сын с тех пор,

Тайно правя их судьбою,
Усмиряя буйный спор,
Налагая на волненье
Цепь любовной тишины,
Мир живет, как дуновенье
Наступающей весны.
И в трудах борьбы великой
Им согретые сердца
Узнают шаги Владыки,
Слышат сладкий зов Отца.
Но в своем неверье твердый,
Неисцельно ослеплен,
Все, как прежде, книжник гордый
Говорит: «Да где же Он?
И зачем в борьбе смятенной
Исторического дня
Он приходит так смиренно,
Так незримо для меня, А нейдет, как буря злая,
Весь одеян черной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землей?..»

Два идеала четко намечены. Они были в евангельские времена, они остаются и сегодня. Это один из главных стержневых моментов Библии — свобода и насилие. И Хомяков точно их определяет.

И, наконец, стихотворение, написанное незадолго до смерти, о душе, на мотив Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря. Стихотворение так и называется «Воскрешение Лазаря».

О Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно Ты сказал, —
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.
Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь: «встань!» душе моей, —
И мертвая из гроба встанет
И выйдет в свет Твоих лучей;
И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас

Тебе — сиянью Отчей славы,
Тебе — умершему за нас.

Вы, конечно, помните, что И.С.Тургенев, хотя он и не был христианином, нередко задумывался над тайной Евангелия. Он был дружен с замечательной русской женщиной Бахметьевой, писательницей для юношества, написавшей во второй половине прошлого века блестящие книги по истории русской церкви, по истории древней церкви, по библейской истории. Стихотворение, посвященное ей, вошло в его роман «Дворянское гнездо». В стихотворениях в прозе есть маленькое эссе «Христос». Напомню вам его. Герой стоит в храме, в толпе, и вдруг остро ощущает, что рядом с ним стоит Христос. Он поворачивается и видит человека: борода, простое, обычное лицо, обычная одежда. Не может быть! Он отворачивается и снова чувствует, что это Он! И так несколько раз. И потом он говорит себе: а почему же я сомневался? Ведь, может быть, действительно Он должен выглядеть так, как все. Без помпы, без декоративных украшений. Простой и незаметный, как все. С великой силой!

Образ Христа внутренне стоит в центре творчества Ф.М.Достоевского. Среди его бумаг, дневников есть запись: «написать роман об Иисусе Христе». Роман он не написал, но можно сказать, что всю жизнь он его писал. Достоевский пытался воссоздать образ Христа в современной обстановке в романе «Идиот». Можно спорить с ним, но он увидел Его таким, как князь Мышкин. Евангельский Христос не таков, однако что-то великому писателю удалось уловить. Святой юродивый — в нем всегда есть печать света, но реальный Христос не был юродивым. Решил эту проблему Достоевский гениально, как никто из писателей.

Вспомните Легенду о великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых». Инквизитор говорит о счастье человечества, о будущем: миром будут управлять люди, которые обретут счастье, но у них будет отнята свобода. Старик-инквизитор говорит, а Христос молчит. И ощущаешь подлинность образа Христа, и это потому, что Он молчит. Когда, помню, я в первый раз читал этот роман, я думал: вот сейчас Он скажет слово, и погаснет все очарование присутствия, реальности, сразу ощутится, что это имитация. Но нет, Он не произнес ни слова. Не сказал ни единого слова, как и тогда, стоя перед Пилатом

в последний момент. И это дивная реальность, именно Божия реальность.

У Достоевского в том же романе есть замечательная глава «Из записок старца Зосимы» — глава о Библии, о Священном Писании в жизни старца Зосимы. Пересказывать ее бесполезно — надо прочесть ее. Но я только напому вам слова, которые произносит писатель устами своего героя: «Горе народу без слова Божьего! Что за чудо, это Священное Писание — вся жизнь человеческая в нем отражена!» Найдите, прочтите, я думаю, что у большинства из вас «Братья Карамазовы» есть.

И для Алексея Константиновича Толстого, замечательного русского поэта и деятеля, тоже, как мне кажется, недостаточно оцененного, библейский идеал был идеалом свободы, борьбы за правду, за человеческое достоинство и справедливость. Его поэма «Грешница» не взята непосредственно из евангельского текста, а из легенды, которая сложилась вокруг евангельской истории. Те, кто бывал в Русском Музее, могут помнить картину Семирадского «Грешница». Согласно этой легенде, некая весьма распушенная особа, узнав о проповеди Христа, сказала, что на нее-то Его слово не подействует, а когда ее спросили: «Можно Он придет к тебе, Он часто приходит к людям, которых все презирают," — она ответила: «Ну что ж, я сразу преподнесу Ему бокал вина». И, как рассказывает предание, она действительно так и попыталась поступить. Когда Иисус из Назарета вошел в ее дом, она взяла бокал, но, когда Он взглянул на нее, она уронила этот бокал и в ней произошел перелом. Эта поэма говорит о влиянии слова Божия на внутренний мир человека.

Но более всего духовный мир писателя, понимание им основ христианского мирозерцания отражено в известном стихотворении «Против течения». Недавно многие из вас смотрели телепередачу об А.И.Цветаевой и ее подругах — в ней это стихотворение цитировали.

Почему оно связано с Библией? Потому что Авраам, отец верующих, шел против течения. Потому что Моисей, дарователь законов, шел против течения. Потому что пророки Божии шли против течения. И Сам Господь Иисус и Его апостолы шли против течения. В поэме он связывает это с современной ему борьбой утилитаристов против искусства, выступает против литературы, утилитаристов, которые призывали писать только на практические гражданские темы.

В оные ж дни, после казни Спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово Учителя,
Книжники так говорили надменные:
«Распят Мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли, убогим идти галилеянам
Против течения?»
Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить вас своею гордынею -
На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верую в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!

Так понимал Толстой один из центральных мотивов Священного Писания.

Мы не можем, конечно, обойти и его великого однофамильца, графа Льва Николаевича Толстого. Когда Лев Толстой преподавал в школе, он писал, что не надо детям пересказывать Библию: это книга человечества, ее надо читать такой, как она есть. Но потом он не устоял — слишком был творческий человек. И он начал создавать свою религию, свое Евангелие. Ветхий Завет он отбросил, потом отбросил Послания апостолов, потом из Евангелия выкинул все то, что не умещалось в рамки рационального, поверхностно объяснимого, научно объяснимого (хотя он сам науку презирал, но тут под гипнозом научности он сдался). И получилось поразительное явление: книга, написанная непрофессионалами (евангелисты были), оказалась несоизмеримо выше того, что написал великий мировой гений литературы, ибо Евангелие Толстого так же мало похоже на подлинное Евангелие, как бледная тень на великий шедевр.

Помню, я когда-то просматривал книгу XIX века по истории искусства. Тогда еще не было фотогравюр, а были контурные рисунки. Там я впервые увидел Сикстинскую Мадонну контурами. Представляете себе, что такое контурный рисунок Сикстинской

Мадонны и сам подлинник? Это чуть–чуть напоминает то, что сделал Толстой с Евангелием.

Я надеюсь, что в скором времени будут издавать религиозные книги Толстого. Почему я говорю, что надеюсь? Потому что истина не боится, не боится встречи лицом к лицу со своими оппонентами. И поэтому то, что Толстого с религиозным учением долго прятали, означало, что их боялись. До революции цензура была одна, у нас — другая, впрочем, до революции религиозно–философские книги Толстого все–таки печатались, пусть с огромными купюрами, причем на месте купюр ставили точки, чтоб каждый грамотный человек понимал, что здесь выключено такое–то количество страниц. В наше время эти труды вошли в академическое издание Толстого в 90 томах, которое практически было и остается недоступным для широкого читателя.

Таким образом, у Толстого нет Евангелия, а есть искажение Евангелия. Евангелия — не сборники поучений, а неподражаемый, в несколько мазков написанный образ Христа, волнующий людей уже двадцать столетий. У Толстого это исчезло, а остались пресные назидания морального характера, которые были и у Сенеки, и у Марка Аврелия, и у Конфуция. И Толстой, когда потом составлял толстый том «Круга чтения», поместил в нем их изречения, причем он поступил с ними так же свободно, «творчески», как и с Евангелием. Поэтому их учения оказались похожи на учение Толстого, будь то Конфуций, будь то Евангелие, будь то Талмуд или Ларошфуко...

Беседа вторая

Вторая половина XIX века ознаменовалась творчеством многих великих русских писателей. Охватить их всех в одной лекции нам не удастся. Я хотел бы остановиться сегодня на трех основных именах в литературе этого периода: на Федоре Достоевском, Льве Толстом и Владимире Соловьеве.

Достоевский давно задумал книгу, посвященную главной библейской теме. Среди его черновиков, планов, набросков есть такие строки: «Написать книгу об Иисусе Христе». Книга не была написана. Однако все творчество Достоевского так или иначе было об этой главной теме христианства, о трагедии столкновения христианской истины с жизнью, историей, мировым злом.

Достоевский имел совершенно особенное, исключительное отношение ко Христу, такое, что, если бы истина была не на стороне Христа, он предпочел бы остаться с Ним против истины. А споры о Христе были еще в юности, когда Достоевский примыкал к группе петрашевцев — которые полагали, будто изменив общественную структуру, они могут изменить души человеческие, создать некий рай на земле.

У Достоевского впоследствии в «Сне смешного человека» библейский образ рая трансформируется, как и образ грехопадения. Как вы помните, гармоническое состояние человека, которое описывает Библия, нарушается искушением Змея, который предлагает ему стать как Бог. В «Сне смешного человека» мы видим уже последствия грехопадения: невозможность людей жить гармонично и радостно, вирусы, микробы зла распространяются и все способны погубить.

Когда мы говорим о библейской тематике в творчестве Достоевского, конечно, первое, что приходит на ум, это «Преступление и наказание». Когда мы говорим о Божьем наказании, то оно в расхожем лексиконе часто представляется в виде некой карательной инстанции. Тем не менее это совсем не так: есть нечто таинственное, внутреннее, что Достоевский и хотел показать.

Раскольников убивает, проливает кровь, идя против библейской заповеди: «Не убий». Он ставит под сомнение ее абсолютность. С точки зрения расхожего представления, мы думаем, что вот он убил — и пришла внешняя кара. Но внешней кары нет. Родион Раскольников прекрасно мог уйти от ответственности и фактически ушел — никто не мог доказать его причастность к убийству старухи-процентщицы. Но вы все помните, что он говорил потом: «Я же не старуху убил, я себя убил. Так-таки себя и ухлопал навеки». Оказывается, убийство — это выстрел в себя. Заповедь «Не убий» — не механический заслон, а глубочайший нравственный миропорядок, который дан человеку. В этом смысле важны слова Писания: «Мне отмщение, и Аз воздам», которые, как вы помните, Толстой поставил эпиграфом к «Анне Карениной».

Отмщение приходит к Раскольникову как внутренний процесс, внутренняя катастрофа и потребность очищения изнутри, то есть

покаяния. Кстати сказать, сам процесс покаяния Достоевский не раскрывает. В этот момент он описывает Раскольникова уже извне.

А рядом с ним Соня Мармеладова — живая иллюстрация к евангельским словам о блудницах, которые идут впереди праведников. Нам кажется, что эти слова Христа парадоксальны, но вот перед нами живой, конкретный образ святой женщины, которая является при этом профессиональной проституткой. Только великий мастер слова, знаток человеческих душ мог показать чистоту сердца этой женщины, ее жертвенность, самоотдачу, сводящую на нет мрачную и печальную профессию, на которую Соню толкнула жизнь. И когда Родион Раскольников просит Соню прочесть ему из Евангелия о воскрешении Лазаря, и она читает, Достоевский пишет: «вот убийца и блудница сошлись над этой вечной книгой». Но все дело в том, что он не простой убийца, а человек, который хотел испытать — действительно ли эта заповедь абсолютна. Именно в то время перед несчастным Фридрихом Ницше стояла проблема: можно ли человеку идти по ту сторону добра и зла, можно ли выбросить за борт священные заповеди. Достоевский показывает героя, который понял, что он не может это сделать.

Перед нами человек сложный, думающий, несчастный. В сущности, ничего от убийцы в нем нет. Он не пронизан ненавистью. Он убил эту женщину, старуху, вовсе не потому, что у него был аффект человеконенавистничества. У него была идея, как у многих героев Достоевского. В конце романа Достоевский не описывает подробно, что же с ним происходит, но в Сибири Соня дает ему читать Евангелие и Раскольников берет его с собой. С ним он будет жить. Он надеется, что жизнь к нему вернется после покаяния и искупления...

Вы помните, как в «Бесах» умирающий старик говорит: «О Боже, я же читал только Ренана, я никогда не читал самого Евангелия». Очень многие интеллигентные люди того времени могли сказать так, как сказал Верховенский. Евангелие для тогдашней интеллигенции часто было просто открытием.

Мысль изобразить Христа перед обществом наиболее полно воплотилась в романе «Идиот». Это образ таинственного князя, который приходит в мир, в присутствии которого людям становится отраднее, легче, в присутствии которого им не хочется делать зло и причинять боль друг другу. Многим из вас, вероятно, не раз

приходилось задумываться, если вы читали Евангелие — а что такое «Будьте как дети»? Что это значит? Это что, инфантилизм, примитивность какая-то? Надо быть глупым, чрезмерно доверчивым? Трудно ответить на этот вопрос. Это нечто почти невыразимое. Конечно, Спаситель Иисус Христос не имел в виду инфантилизм, примитивность, а он имел в виду нечто, что сумел изобразить Достоевский в князе Мышкине: какая-то открытость, чистота, простота, наивность, но совершенно без глупости, прозрачное сердце, а главное, сердце, отзывающееся на чужую боль, даже на чужой стыд. Бывало ли вам когда-нибудь стыдно за другого человека, когда тот совершает зло? И вот то, что за него так стыдно, это уже — детская открытость, ибо взрослый человек постепенно покрывается сначала иммунной корой, а потом толстой непробиваемой броней — и его уже не возьмешь ничем.

И наконец, «Братья Карамазовы». Там есть специальная глава «О Священном Писании в жизни старца Зосимы». И есть там такие проникновенные слова: «Горе народу, — говорит герой, а его устами и сам писатель, — горе народу без слова Божия». Найдите это место в романе «Братья Карамазовы». Я думаю, у многих, почти у всех, есть этот роман. Посмотрите там эти проникновенные строки: «Горе народу без слова Божия!» Под словом «народ» он имел в виду вовсе не только простолюдинов или малограмотных людей. Народ для него — это все люди, вся нация сверху донизу, и она должна жить на основании высочайшего идеала. Пусть он сегодня недостижим, но он притягивает к себе, как магнитом, он выстраивает пирамиды человеческих ценностей, он становится притягательной силой и двигателем нравственного прогресса, прогресса любви. Любовь созидает, любовь творит, любовь делает жизнь счастливой, потому что она превращает одного человека в драгоценность для другого. Вот почему мы считаем ее источником счастья, а Евангелие говорит о том, что Бог есть Любовь. И это не просто привязанность, открытость, а это чудо, которое рождается в человеке, может родиться, но может и не родиться. У Достоевского есть такое определение ада: «Ад — это неспособность любить».

В этом же отрывке Достоевский восхищается эпической мощью Священного Писания. Живые образы, история Иосифа, который

проходит через все испытания, сохраняя себя перед Богом, история Иова...

Но тут происходит нечто странное, я бы сказал, загадочное, в творчестве и личности Достоевского. Если уместно так сказать (вы меня поймете), книга Иова является прообразом той части «Братьев Карамазовых», которая называется «Бунт». Иван Карамазов восстает против зла, бушующего в мире, он возвращает Богу «Его билет», он бушует, сидя перед братом Алешей. Достоевский должен был бы впитаться в книгу Иова, потому что она как раз о том самом: бунт за две с половиной тысячи лет до Ивана Карамазова был поднят Иовом, а Достоевский этого не знал. Это парадоксально, странно, необъяснимо. Он пишет с восторгом о красоте этой книги, вспоминает, как звучат слова начала ее первой главы: «Жил человек в земле Уц, имя его Иов...»

У нас в храмах Великим Постом, когда по старинной традиции людей готовили к крещению, читалась Библия. И именно начало книги Иова в те дни читается за литургией Преждеосвященных даров: «Жил человек в земле Уц, имя его Иов...» И говорится в этом начале о терпении его, когда он твердо и мужественно выносил ниспосланные на него несчастья и говорил: «От Бога я принимал добро, приму и зло, буду терпеть». «Терпение, Иов, ли свыше» — говорится в одном из канонов церковных. Но Библия говорит о другом: терпение Иова и его торжество, «хэппи-энд» всей его истории — лишь рама для самой главной картины, сама же эта картина — тяжба Иова с Богом, такая же, как у Ивана Карамазова.

Что отвечает Алеша на бунт Ивана? Он не развивает ему какую-то стройную и сложную богословскую теорию, а смотрит на него с глубокой любовью, с большим состраданием, сопереживает ему. Оказывается, человека можно просто понять сердцем и этого будет уже достаточно, потому что в глубинах мироздания все решено гораздо более стройно, чем наш ограниченный интеллект может себе представить.

И вот Иван Карамазов разворачивает перед своим братом легенду о Великом инквизиторе. Легенда эта построена на том, что Христос отвергает искушения Сатаны, но вот является инквизитор и хочет осуществить то, что Христос отверг.

В истории литературы, как и в иконописи, мало есть действительно убедительных и ярких образов самого Иисуса Христа. Недаром Достоевский, задумав написать книгу об Иисусе Христе, не смог ее написать. Художественно воплотить это оказалось не по силам, но образ Христа в его легенде о Великом инквизиторе поразительно убедителен, чувствуется Его реальное присутствие. Но только потому, что Он молчит.

Христос молчит, а инквизитор перед Ним развивает свои теории. Он говорит: мы исправим Твой подвиг, мы дадим людям хлеб, мы дадим им счастье, насильственное счастье. А Христос — молчит. Так же, как Алеша Карамазов не возражал своему брату, так Христос не возражает безумствующему перед Ним старику инквизитору, и под конец подходит и целует его. Целует за великое страдание. Как старец Зосима поклонился Мите Карамазову, предчувствуя великое страдание его жизни и души, так Христос поцеловал этого безумного старика за его страдания, потому что он тоже — двойственная фигура, потому что в нем, в этом очерствелом палаче скрыта любовь к людям, только это любовь ложная — она хочет навязать людям счастье насильно. «Железной рукой загоним человечество в счастье!» — был такой лозунг в 20-е — 30-е годы в нашей стране. Вот этот лозунг он хотел осуществить.

Достоевский рисует инквизитора в виде средневекового католического прелата, но, конечно, настоящим римским инквизиторам, настоящим прелатам католическим и в голову не приходило кого-то загонять в счастье. Это более широкая идея, это идея антиевангельская, ибо спасение человека от зла предусматривается как нечто совершающееся без человека, вопреки его воле, автоматически. Мне всегда вспоминается известный ответ Бердяева, когда его спросили (был такой антирелигиозный софизм): может ли Бог создать камень, который Он сам не в силах сдвинуть? Имелось в виду, что, если Бог всемогущ, то как Он его не сдвинет? А если не может сдвинуть, значит, не всемогущ. Но Бердяев мгновенно ответил: да такой камень есть, и имя ему — человек.

Бог дал человеку свободу и без свободы его не спасает. Так, для Достоевского Евангелие и Библия в целом были вестью о свободе человека, и поэтому-то Христос противостоит Великому инквизитору.

Рядом с Федором Михайловичем мы видим другого исполина литературы XIX века, тоже подходящего к проблеме человеческого счастья и тоже ищущего в Евангелии и Библии ответов на эти вопросы. Это Лев Николаевич Толстой.

Многие люди недооценивают его религиозных исканий. Они, несомненно, глубоко искренни, мучительны, но то, что человек, почти в течение тридцати лет считавший себя проповедником Евангелия, оказался в конфликте с христианством, даже отлученным от Церкви, показывает, что Толстой был очень сложной фигурой, трагической и дисгармонической. Он, воспевавший такие мощные гармоничные характеры, сам был человеком, страдавшим от глубинного душевного кризиса.

Те из вас, кто хоть немного знаком с его биографией, должны вспомнить тот ужас, который он переживал в Арзамасе. Это был ужас смерти, и даже хуже, чем ужас смерти. Сначала, когда он обращался к Священному Писанию, его, как и Достоевского, пленяла эпическая сила Библии. Он писал, в частности, в своей статье «Яснополянская школа», что для детей читать Священное Писание — дело святое, потому что это книга детства человечества. Поскольку статья эта малоизвестна, несколько строк я вам приведу. «Мне кажется, — пишет он, — что книга детства рода человеческого всегда будет лучшей книгой детства всякого человека, заменить эту книгу, мне кажется, невозможно, изменять и сокращать, как это делают в учебниках Зоннтага и прочее, мне кажется вредным. Все, каждое слово в ней мне кажется справедливым, как откровение, справедливым, как художество. Прочтите по Библии о сотворении мира и по краткой Священной истории, и переделка Библии в Священной истории вам представится совершенно непонятной. По Священной истории нельзя иначе, когда учишь наизусть, по Библии ребенку представляется живая величественная картина, которой он никогда не забудет». Интересная мысль, хотя во все века люди все-таки старались перелагать Библию, в частности, для детей.

Толстой погружается в Ветхий Завет, даже изучает древнееврейский язык, чтобы читать его в подлиннике, потом все это бросает. Он обращается только к Новому Завету. Ветхий Завет для него, оказывается, просто одна из древних религий. Но и в Новом Завете его многое не удовлетворяет. Апостол Павел и его Послания

кажутся ему церковным извращением истины, и он приходит к четырем Евангелиям. Но и здесь, оказывается, ему все не то, и он идет как бы на конус, уменьшая и уменьшая все то ценное, что есть в Библии. Сначала Он выбрасывает из Евангелия все чудесное, сверхъестественное, а затем — не только это, но и высшее богословское понятие: «В начале было Слово», Слово как божественный космический Разум. Толстой говорил: «В начале было разумение». Славой Христовой, то есть отражением вечности и личности Христа, для него было Учение Христа.

Почему произошло так, что он странным образом искажал евангельский текст? Причина одна. Еще в молодые годы он записал в своем дневнике: «У меня есть цель, важнейшая цель, которой я готов отдать всю свою жизнь: создать новую религию, которая бы имела практический характер и обещала бы добро здесь, на земле». И Евангелие оказалось для него всего лишь подтверждением его собственной религиозной концепции. В чем она заключалась?

Безусловно, существует некая таинственная высшая сила. Едва ли она может считаться личной: скорее всего, она безличная, потому что личность — это нечто ограниченное. Заметьте, Толстой, создавший великолепные образы человека, бывший сам ярчайшей личностью в мировом масштабе, был принципиальным имперсоналистом, то есть не признавал ценности личности. Отсюда и его представления о ничтожной роли личности в истории — вы помните, как все это отразилось в «Войне и мире». Так вот, по Толстому, это некое высшее начало, которое каким-то непонятным образом побуждает человека быть добрым.

«Верю ли я в Бога? — писал Толстой в 1900 году, — не знаю, но я верю в то, что надо быть добрым и это есть высшая воля». «Добро по отношению к людям — заповедь всех верований с древнейших времен», — писал он. Разумеется, в чем-то он был прав. Но это же есть не только в христианстве, но и в буддизме, и вообще всюду.

По Толстому, Христос проповедовал разумную здравую жизнь: разумно быть добрым по отношению к людям, разумно отбросить груз цивилизации, которая угнетает человека, разумно трудиться своими руками. «Христос учит нас, — пишет он, — не делать глупостей». Вот эта фраза Толстого (я не говорю, что она такая примитивна, нет) показывает ясно, что он хотел сказать, что только здравый смысл —

вот что является основанием Евангелия. Вот эта фраза в книге «В чем моя вера?», что Христос учил не делать глупостей, — это радикально отличается от Евангелия. Совсем не в этом его суть. Христос приходит к нам, чтобы открыть Свое сердце, а через него — весь мир, чтобы открыть личностную тайну Божества, которая отражается в бесконечной ценной личности каждого из нас. Именно поэтому все время говорится во всех Евангелиях: Он пришел, чтобы спасти каждого, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Не какое-то коллективное человечество, не какая-то безликая масса, а каждый. «Я стою у двери и стучу», — говорит Христос. Он стоит у двери сердца каждого человека! Этот глубочайший персонализм Евангелия был чужд умственному миру Толстого (хотя как художник он его изображал).

И вот Толстой пишет свое Евангелие. Многие из вас, может быть, впервые и познакомились с Евангелием через толстовское переложение. Вы должны помнить, что это, во-первых, парафраз, то есть совершенно свободное изложение. Во-вторых, парафраз, сознательно искажающий смысл в духе учения Толстого. В-третьих, это не Евангелие, а это фрагменты Евангелия, скомпонованные в некий связный текст, из которого изгнаны почти все моменты, обрисовывающие личность Иисуса Христа. Там присутствует только учение. Недаром Максим Горький после встречи с Толстым писал, что о Будде он говорит возвышенно, а о Христе как-то сентиментально, видно было, что он не любит Его, хотя, может, и восхищается. И это можно проверить, если посмотреть некупированные издания философских произведений Толстого: о Спасителе он говорит там часто грубо, вульгарно, даже кощунственно. Так он не сказал бы о дорогом существе, например, о родной матери.

Свое Евангелие Толстой пытался представить как истинное христианство. Между тем это была религия, более близкая к стоицизму или конфуцианству. Она связана с философской традицией от Лао-цзы до Жан Жака Руссо, портрет которого Толстой носил на шее вместо креста с юных лет. Руссо был убежден, что все зло от цивилизации, он думал, что дикарь был лучше нас. Жизнь показала, что и цивилизованный дикарь и нецивилизованный — равны друг другу: человек всегда есть человек. Дело не в цивилизации, мы напрасно корим ее. Виновен человек. В тех трагедиях, экологических,

скажем, которые сегодня мучают весь мир, повинен только он. Если бы люди относились иначе к природе и друг к другу, и к земле, то техника не была бы столь человекоубийственной.

Толстой видел трудности и в семейной жизни и так же, как с цивилизацией, он поступил с ней сурово. Фактически он отрицал любовь, брак, пол — он, человек, который до седых волос мог с упоением писать о любви и страсти. Вспомните «Воскресение». Местами занудно-дидактическая книга, но страницы любви Нехлюдова написаны так, что нельзя даже представить себе, что это писал старик, — их словно бы писал юноша!

Конечно, у вас теперь вопрос: был ли прав Синод, отлучив его? Все-таки был прав. Во-первых, надо сразу сказать, что вот эти сентиментальные истории о том, как анафематствовали Толстого, или как некий дьякон должен был провозгласить ему анафему, а вместо этого вскричал «Многая лета» — досужие домыслы. Просто был обнаружен весьма краткий и, в сущности, сдержанный в выражениях текст Определения Синода, в котором говорилось, что Лев Толстой, всемирно известный писатель, учит некой религии, которую он выдает за христианство, и при этом ведет яростные нападки на церковь. Кстати, он, сторонник непротивления и любви, был крайне груб и несдержан, даже ожесточен, я бы сказал, переходил все границы. В определении сказано, что этот человек считается находящимся вне Церкви, что было правдой. Сам Толстой в своей брошюре «Ответ Синоду» писал: да, совершенно справедливо, что я отпал от Церкви, которая считает себя православной. Это была констатация факта. Никому в голову не приходило отлучать от церкви нехристиан, скажем, буддистов, живших в России, или мусульман, которых было очень много. Потому что они были не христиане. Толстой же утверждал, что он исповедует христианство, и Синод должен был во всеуслышание сказать, что его христианство не совпадает с христианством Евангелия и Церкви.

Хотя Толстой говорил, что в Евангелии мистическая сторона — наносная и является искажением, мы должны помнить, что эта сторона была главной в Церкви еще до того, как были написаны Евангелия. Никаких напластований! Сначала открылась тайна Христа, потрясшая всех. Не учение! Рассуждений на тему морали было много у самых разных философов и мудрецов — иудейских, греческих, римских,

каких хотите. Тайна Христа была совсем в ином — через Него вечность заговорила с человеком. И уж потом люди стали записывать Его нравственные поучения. Здесь дистанция огромная.

И все же мы можем сказать, что Толстой был прав в чем-то, потому что он обратил внимание христианского общества на пренебрежение какими-то важными элементами учения Христа. Он обратил внимание на равнодушие публики. Вскоре после его смерти выдающийся богослов С.Н.Булгаков писал, что Толстой проповедовал в эпоху духовного кризиса и был призван всколыхнуть совесть общества. Поэтому, несмотря на искажения, которым подверглась Библия в его учении, серьезный подход Толстого к Евангелию вызывает не только уважение, но и заслуживает того, чтобы учиться у него.

Они много спорили с Владимиром Соловьевым, молодым тогда философом. Один из очевидцев рассказывает, как спорили Соловьев и Толстой. Обычно Толстой в спорах побеждал, но тут коса нашла на камень. Соловьев, закованный в броню философской диалектики, так наступал на Льва Николаевича, что всем стало как-то неловко, ибо Толстой впервые не торжествовал и был вынужден сдаться. Правда, не признал себя побежденным, но всем было видно, что он не знает, что возразить.

Для Владимира Соловьева, который родился позже Толстого, а умер раньше (1853–1900), Священное Писание было основой всего его бесконечно разнообразного творчества — поэтического, философского, богословского, публицистического.

Я думаю, что многие из вас теперь уже слышали о Владимире Соловьеве, иные читали его произведения, но я хотел бы обратить ваше внимание на несколько строк, которые вообще не были у нас никогда опубликованы. Владимир Соловьев говорил так: вера моя в Богочеловеческий характер Писания значительно выиграла в сознательности и отчетливости благодаря знакомству с новейшею критикою, преимущественно отрицательной школы. То есть он сказал, что научная критика Библии его не только не смутила, но и помогла ему глубже подойти к Писанию.

Соловьев после Хомякова был одним из первых, кто главный христианский догмат о Богочеловечестве приложил к Библии. Во Христе, подлинном Человеке, живет подлинный Бог. Так и в

Писании — автор сохраняет свои человеческие особенности, хотя на него действует Дух Божий. «Как в живом Логосе, — пишет Соловьев, — Божество нераздельно–неслиянно соединено с человечеством, так нераздельно и неслиянно соединены божественные и человеческие стихии в писаном Слове Божиим. И как во Христе человеческая природа представляется не одной только внешностью, так и в Священном Писании элемент человеческий состоит не только из внешнего материала, языка, письмен, а распространяется на все содержание, обнимая самую душу и разум Писания».

Владимир Соловьев написал своеобразное толкование на Ветхий и Новый Завет. Это книга «История и будущность теократии». Толковал он по оригиналу. Греческий язык он хорошо знал с юности, был переводчиком Платона, но он изучил также древнееврейский язык и все цитаты из Библии приводил в собственном переводе с подлинника.

Соловьев рассматривал библейскую историю как историю утверждения божественных принципов не только в душах человеческих, не только в личной жизни, а и в обществе. Теократия означает боговластие как высший идеал, чтобы в общество проникала священная идея солидарности, братства, духовности, ибо без духовности общество будет деградировать.

Библия навеяла Соловьеву целый ряд стихотворений и частично «Повесть об Антихристе». Умирая накануне XX столетия, предчувствуя, подобно пророку, грядущие катастрофы, которые ожидали наш тревожный век, он в книге «Три разговора» создал «Повесть об Антихристе», своеобразную антиутопию, где вселенский диктатор готов сохранить и христианство, но только чисто внешнее, без Христа. Памятники, иконы, искусство, научные, богословские мнения, но — без Христа. Все реалии этого повествования взяты из Апокалипсиса апостола Иоанна. Так завершилось творчество Соловьева через отражение Библии.

Если взять поэзию Соловьева, то есть два стихотворения, на которые я хотел бы в заключение обратить ваше внимание. Одно стихотворение называется «Кумир Небукаднецара». (Он как филолог произносил имя Навуходоносора как Небукаднецар. Так правильно — так его в древности называли. Навуходоносор — это грецизированная форма имени). Согласно библейскому сказанию, Навуходоносор (он

жил в VI веке до нашей эры) сделал реформу богослужения, чтоб все видели идола и падали перед ним ниц. Но Библия, рассказывая о поклонении этому истукану, отнюдь не останавливается на каких-то исторических реалиях. Было много всяких событий, религиозных реформ, но Соловьеву важно было, что это символ мятежа человека против неба.

Он был велик, тяжел и страшен,
С лица как бык, спиной — дракон,
Над грудой жертвенною брашен
Кадильным дымом окружен.
И перед идолом на троне,
Держа в руке священный шар,
И в семярусной короне
Явился Небукаднецар.
Он говорил: «Мои народы!
Я царь царей, я бог земной.
Везде топтал я стяг свободы, —
Земля умолкла предо мной.
Но видел я, что дерзновенно
Другим молитесь вы богам,
Забыв, что только бог вселенной
Мог дать богов своим рабам.
Теперь вам бог дается новый!
Его святил мой царский меч,
А для ослушников готовы
Кресты и пламенная печь».
И по равнине диким стоном
Пронесся клич: «Ты бог богов!»
Сливаясь с мусикийским звоном
И с гласом трепетных жрецов.
В сей день безумья и позора
Я крепко к Господу воззвал,
И громче мерзостного хора
Мой голос в небе прозвучал.
И от высот Нахараима
Дохнуло бурною зимой,
Как пламя жертвенника, зрима,

Твердь расступилась надо мной.
И белоснежные метели,
Мешаясь с градом и дождем,
Корою льдистою одели
Равнину Дурскую кругом.
Он пал в падении великом
И опрокинутый лежал,
А от него в смятенье диком
Народ испуганный бежал.
Где жил вчера владыка мира,
Я нынче видел пастухов:
Они творца того кумира
Пасли среди его скотов.

Восстание против тирании, против культов — для Соловьева это была очень важная тема. Она отразилась в стихотворении, которым я завершу нашу сегодняшнюю встречу. Соловьев видел в Библии соединение Востока и Запада. Восток, — это, с одной стороны, жестокая деспотия, а с другой — свет Вифлеемской звезды, звезды Христовой. Запад — это активность человека, мужество, гражданство, демократия, свобода. Они столкнулись за пять веков до нашей эры, когда войска иранского деспота Ксеркса вторглись на Балканы, пытаясь подчинить демократические Афины. Огромные армии наемников двинулись и встретили оборону у Фермопильского ущелья. Всего триста человек с царем Леонидом во главе отразили огромную армию в узком горном проходе.

Для Соловьева это старинное историческое событие стало образом того, как свобода, гражданственность, мужество и демократия противостоят тирании и азиатской деспотии. Стихотворение называется «Ex oriente lux» («Свет с востока»).

«С Востока свет, с Востока силы!»
И, к вседержительству готов,
Ирана царь под Фермопилы
Нагнал стада своих рабов.
Но не напрасно Прометея
Небесный дар Элладе дан.
Толпы рабов бегут, бледнея,
Пред горстью доблестных граждан.

И кто ж от Инда и до Ганга
Стезею славною прошел?
То македонская фаланга,
То Рима царственный орел.
И силой разума и права -
Всечеловеческих начал -
Воздвиглась Запада держава,
И миру Рим единство дал.
Чего ж еще недоставало?
Зачем весь спор опять в крови?
Душа вселенной тосковала
О духе веры и любви!
И слово вещее — не ложно,
И свет с Востока засиял,
И то, что было невозможно,
Он возвестил и обещал.
(Имеется в виду свет Вифлеемской звезды — А.М.)
И разливаясь широко,
Исполнен знамений и сил,
Тот свет, исшедший от Востока,
С Востоком Запад примирил.
О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята:
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Этот вопрос для Соловьева был очень важным, потому что он считал, что библейская история не кончена, что борьба света и тьмы продолжается, что в истории народов сталкиваются не только экономические интересы, не только политические страсти, а подлинные духовные полярности. Поэтому так важно, чтобы отдельные люди и духовные движения, и целые народы принимали участие в становлении духа, в его борьбе против порабощения, косности, безразличности, бездуховности, смерти, черноты во всей жизни. Чтобы Дух шел, как борец! Спасибо.

БИБЛИЯ И ЗАПАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

В XIX веке, в его начале, бури потрясали душу европейского человека. Рушились вековые основы многих представлений. Радикально менялась одежда, которая была привычной для людей в течение столетий, менялся уклад семьи, быт, представления о многих вещах, самых элементарных и самых грандиозных. Начали рушиться монархии, Великая Французская Революция привела к еще большей тирании, чем то было раньше. Но потом все—таки история и разум человеческий уравнивали анархию, этот ужас, и мир начал развиваться под знаком новых горизонтов.

В литературе, живописи, поэзии возникает течение, которое принято называть романтизмом. Европа открывает для себя не только древний классический мир, как в XVIII веке, но открывает средневековье, христианскую культуру Запада, свою же собственную культуру. В литературе на первом месте стоит Шатобриан, французский поэт и прозаик, который подходит к христианскому наследию, прежде всего к Библии, с эстетической точки зрения. Он хочет показать, что именно со Священным Писанием в Европу пришло новое эстетическое мироощущение. Да, — пишет он, — прекрасен Гомер, которого мы все любим, прекрасен Вергилий, прекрасны принципы античной поэтики, но вы не думайте, что когда на смену им пришли христианские книги и христианская культура, то пришли варварство и мрак. Горделивое сознание людей эпохи Просвещения третировало христианскую культуру, для них только античность была эталоном.

Шатобриан пишет поэму в прозе. Если у Пушкина был роман в стихах, то Шатобриан, его старший современник, пишет поэму в прозе. Она называется «Мученики». Там происходит встреча юных любящих душ, молодого человека и девушки, на фоне борьбы молодого христианства с угасающим язычеством. И язычество в диалогах влюбленных выступает как вечная красота, как носитель самых совершенных форм гармонии пластической, архитектурной, живописной, поэтической. И можно было думать, что оппонент начнет

говорить, что все это суэта, дело не в красоте, а дело в добре и вере. Но ничего подобного. Христианство, в лице юного существа, отвечает тоже своего рода художественным манифестом. Юноша говорит: да, прекрасны мифы Греции, да, прекрасны произведения Гомера, но столь же прекрасны герои Ветхого Завета, столь же прекрасно и бессмертно Евангелие, именно с художественной точки зрения.

Шатобриан в других своих книгах сравнивает язык, поэтику античности и Библии и показывает, что их огромное различие вовсе не означает, что одно есть совершенство, а другое — варварство. А просто в древнюю кровь языческого Запада вливается новая, но тоже древняя кровь христианского Востока. Шатобриан останавливается на конкретности, лаконичности, поразительной образности древнееврейского библейского языка, который, конечно, уступает греческому в способности передать тонкие повороты мысли, но обладает лаконизмом латинского языка и как бы живет: каждое слово в нем — живое существо, оно очень многогранно, многопланово, многолико.

Начало XIX столетия — период «Бури и натиска», период Наполеона, великих потрясений и войн, период героики и разочарования в тиранах. Поэтов, драматургов, прозаиков очень привлекает Ветхий Завет благодаря его титаническим, мощным образам.

Прежде всего я хотел бы остановиться на Байроне. Байрон с детства читал и любил Библию. И вплоть до самой гибели его в Греции Библия была с ним неразлучно. Он постоянно над ней размышлял, находил в ней мотивы, близкие своей душе, горькой, трагической, иногда озлобленной и в то же время способной познать величие истины. Байрон был очень сложный человек. Его творчество нельзя трактовать односторонне. Недаром его так глубоко любил и ценил Пушкин. Если бы он был просто мизантропом и гулякой, как его видело современное ему английское общество, едва ли Александр Сергеевич так высоко бы его ценил. Конечно, на Байрона была мода, и в кабинете Онегина — «и лорда Байрона портрет», неременный аксессуар всякого скучающего денди. Но ведь мода — это вещь не простая.

Еще мало кто занимался философией и историей моды. Мода — это вульгаризированное, упрощенное выражение глубинных

процессов, серьезных основательных процессов, которые происходят в обществе. Пускай отражение почти карикатурное, но все-таки отражение.

Мода на Байрона — не случайность. Это отражение трагизма жизни людей, переживших величайшую духовную катастрофу. Какую же? А дело в том, что в течение XVII — XVIII веков всевозможные просветители, энциклопедисты, утописты обещали людям, что, если только они свергнут монархов и разгонят и перебьют феодалов, сразу начнется красота жизни. Свершилось. Казнили одного бездарного короля, казнили другого короля... Короли-то лишились голов, но общество продолжало терзаться многочисленными тяжкими недугами. И глубоко чувствовавшие и мыслящие люди стали догадываться, что не так-то все просто решается. Это вызвало напряженный поиск, болезненное разочарование и горечь.

Байрон создал три произведения на библейские темы. Первое — в расцвете своих лет, в 1814–1815 годах; он назвал его «Еврейские мелодии». Это цикл стихов, который предназначался для создания музыкальных произведений на библейские темы. Тут и мрачный Экклезиаст, который показывает, что человек напрасно обольщает себя, тут и невеста из Песни Песней, тут и скорбная дочь Иеффая, которая приносит себя в жертву ради своего отечества, тут и рухнувшие амбиции завоевателя в стихотворении «Ассирийцы пришли, как на стадо волки».

Стихотворение это прекрасно переведено Алексеем Константиновичем Толстым. Это тот момент, который описан у пророка Исая: Иерусалим находится в полной катастрофе, он осажден, вся земля захвачена, и царь, уже обессиленный, идет к пророку и спрашивает: что делать? Открыть ворота? Сдаться? И вдруг пророк, который всегда говорил о том, что нужно прекратить войну, отвечает: нет, город устоит, потому что вера у вас есть, и Господь через меня посылает вам знамения. И потом сказано, что посланник, вестник Божий проходит по стану ассирийцев, и они убираются вон. До сих пор никто не знает, что там произошло. По одним свидетельствам, это была чума, по другим — мятеж в ассирийском лагере, так что царю пришлось вернуться. И Байрон изображает это как торжество духа Божия над человеческой военной силой.

Мы с вами уже касались трагической судьбы Саула, печального героя Книги Царств. Царь Саул привлекал внимание Байрона. Он без конца перечитывал сцену последних его часов, когда он вызывает дух своего умершего учителя Самуила, который предсказывает ему гибель. Одно из стихотворений о Сауле перевел Лермонтов, это прекрасно. Оно называется «Душа моя мрачна». Это слова, сказанные от лица Саула, когда он в припадке глубокой меланхолии зовет юного Давида и просит его взять в руки арфу и играть, чтобы успокоилась его душа.

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!

Вот арфа золотая:

Пускай персты твои, промчавшись по ней,

Пробудят в струнах звуки рая.

И если не навек надежды рок унес, —

Они в груди моей проснутся,

И если есть в очах застывших капля слез, —

Они растают и прольются.

Пусть будет песнь твоя дика.

Как мой венец,

Мне тягостны веселья звуки!

Я говорю тебе: я слез хочу, певец,

Иль разорвется грудь от муки.

Страданиями была упитана она,

Томилась долго и безмолвно;

И грозный час настал — теперь она полна,

Как кубок смерти, яда полный.

Байрон всегда был тираноборцем. Он любил свободу и умер за свободу Греции, как вы знаете. Умер, а Библия была у него на столе. Его особенно привлекала Книга пророка Даниила, этот библейский манифест свободы совести. Эта Книга о тиранах, которые хотели заставить людей отречься от Бога, и о тех, кто предпочел стоять насмерть: погибнуть на огне, в печи вавилонской. Даниила бросают в львиный ров, но львы его не трогают. Даниила извлекают из этого рва, и, когда царь веселится и пирует, уже подходят его враги, и на стене внезапно появляются три огненных слова, которые чертит невидимая рука. Это пир Валтасара, последнего вавилонского принца. И, конечно, Байрон не мог пройти мимо такого замечательного эпизода, когда пирует тиран, а под ним уже трещит его престол.

Царь на троне сидит;
Перед ним и за ним
С раболепством немым
Ряд сатрапов стоит.
Драгоценный чертог
И блесит и горит,
И земной полубог
Пир устроить велит.
Золотая волна
Дорогого вина
Нежит чувства и кровь;
Звуки лир, юных дев
Сладострастный напев
Возжигают любовь.
Упоен, восхищен,
Царь на троне сидит -
И торжественный трон
И блесит и горит...
Вдруг — неведомый страх
У царя на челе
И унынье в очах,
Обращенных к стене.
Умолкает звук лир
И веселых речей,
И расстроенный пир
Видит (ужас очей!):
Огневая рука
Исполинским перстом
На стене пред царем
Начертала слова...
И никто из мужей,
И царевых гостей,
И искусных волхвов
Силы огненных слов
Изъяснить не возмог.
И земной полубог
Омрачился тоской...

И еврей молодой
К Валтасару предстал
И слова прочитал:
Мани, фекел, фарес!
Вот слова на стене,
Волю Бога с небес
Возвещают оне.
Мани значит: монарх,
Кончил царствовать ты!
Град у персов в руках
— Смысл средней черты;
Фарес — третье — гласит:
Ныне будешь убит!..
Рек — исчез... Изумлен,
Царь не верит мечте.
Но чертог окружен
И... он мертв на щите!..

Таков первый ранний библейский цикл у Байрона. В начале 20-х годов он пишет две мистерии на темы из Книги Бытия.

Одна, мрачнейшая, передает состояние безнадежности его души — это мистерия «Каин». Каину дьявол показывает весь мир и убеждает его, что мир — бессмыслица. Затем идет мистерия «Небо и земля», о потопе. Это грандиозная и мрачная вещь. Как вы знаете, Пролог Книги Бытия полон сумрачных вещей, потому что он дает нам модель человеческой жизни, модель ответа человека на божественную благодать, ответа очень жалкого. Человек в Книге Бытия изображен мятежником, но не гордым мятежником, а рабом, который не может подавить в себе рабства и восстает. Это бунт, бунт раба. Все это мучительные и трудные коллизии, которые Байрону были очень близки. Он пишет сцены предпотопного периода. Сейчас для нас это так важно, потому что на самом деле он показывает ситуацию предкризисную, когда наступает общая экологическая катастрофа, когда мир возвращается в хаос и дикие темные духи ликуют и злорадствуют, что наконец этот гадостный человек будет убран с лица земли, что он не сумел жить на земле. Предупреждениям люди не внимают, и сколько бы ни стремились сыновья Ноя остановить их, люди продолжают жить как прежде, продолжают на что-то надеяться,

на что-то рассчитывать. И небо ясное — ничто не предвещает потопа, но уже где-то собираются тучи, которые обрушатся на землю грандиозным ливнем. Все эти романтические картины переходят в поэзию следующего поколения, но уже с некоторой иронией. Та серьезность, с которой молодые люди времен «Бури и натиска» говорили об этих вещах, исчезает. Появляется ядовитая насмешка.

Таков, например, Генрих Гейне. Был он и другом Карла Маркса, увлекался социальными идеями и уже в первой своей книге «Книга песен» писал о любви, о сердце сентиментально и одновременно уже иронично. Но в какой-то момент его жизни с ним произошло превращение. Он пишет, что жрецы атеизма с удовольствием сожгли бы его теперь, но у них, к счастью, нет другого оружия, кроме перьев. Но пусть себе пишут... А я вернулся к Богу, — говорит он. Но оставаясь верным себе, он писал об этом с иронией. Я прочту вам несколько слов из его признания на эту тему. «С тех пор, как я признался в перемене своих воззрений, многие люди с христианской настойчивостью делали мне запросы, каким путем снизошло на меня наиболее убедительное просветление духа? Благодетельные души, по-видимому, жаждут услышать от меня о чуде. Они были бы рады узнать, не осиял ли меня свет, подобно Савлу на пути в Дамаск или не ехал ли я, по примеру Валаама, на упрямой ослице, которая внезапно заговорила? Нет, верящие умы! Никогда я не ездил в Дамаск и ничего толком не знаю о Дамаске. Точно также никогда не видел я осла, который говорил бы человеческим голосом, тогда как встречал достаточно людей, говоривших по-ослиному. Действительно, никакое видение, никакой экстаз серафима, ни глас неба, ни вещий сон, никакое иное чудесное явление не привело меня на путь спасения. Я просветился просто благодаря тому, что я читал одну книгу. Книгу? — Да. Это старинная простая книга, скромная, беспритязательная, как солнце, согревающая нас, как хлеб, которым питаемся, книга, которая смотрит на нас так сердечно, с такой благодатной добротой, как старая бабушка, ежедневно читающая эту книгу милыми трясущимися губами, и книга эта так и называется просто Книгой — Библией. По справедливости называют ее сверх того Священным Писанием. Кто потерял своего Бога, тот может найти Его снова в этой Книге. А кто никогда Его не знал, на того повеет оттуда дыханием божественного глагола».

Так писал Генрих Гейне в конце своей жизни. К нему вернулся тот образ, который он видел в начале своего творческого пути.

Наверное, некоторые из вас видели католические статуи Христа с сердцем посередине. Вот он видел где-то этот образ и в одной из своих поэм изобразил мир как некое царство, освещаемое солнцем. Это солнце есть сердце Христа. Этот свет горит в центре. И люди идут по блаженной стране, идут просветленные, мужественные, радостные, и каждый раз, когда они глядят на солнце, которое льет свои лучи, как кровь, они видят сердце Иисусово и говорят друг другу: хвала Иисусу вовеки!

Так писали поэты. А в это время разрушительная критика пыталась низвести Христа с Его пьедестала. Но, по справедливому замечанию одного современного американского ученого, чем больше развенчивали Христа, тем больше к Нему приковывалось внимание литераторов, поэтов, исследователей. Самым показательным примером здесь является Эрнест Ренан.

Французский писатель, востоковед, беллетрист, историк, Эрнест Ренан в 1845 году в последний раз, еще в семинарской сутане, спускался по ступенькам школы святого Сульпиция в Париже. Перешел улицу, снял с себя сутану и с тех пор больше не возвращался в семинарию. Человек, родившийся в старинном бретонском городке, среди монастырей и набожных христиан-рыбаков, сам сын рыбака, он, благодаря своим необычайным дарованиям, был отправлен на учебу в Париж.

В бретонской глуши каждый священник для него был колдун, и вдруг он попадает в Париж, Париж эпохи Жорж Занд или Виктора Гюго. Он сам писал в своих воспоминаниях, что какой-нибудь дикарь или индийский факир, во мгновение ока перенесенный на шумный парижский бульвар, меньше бы удивился, чем он, из своего набожного бретонского захолустья попавший в этот мир. Но с соблазнами он справился. Все-таки мать привила ему крепкую нравственную закваску.

Но он не справился с другим, и это мать очень удивляло. Она потом говорила: почему надо изменять своей вере, если какая-то книга была написана позже, чем считалось раньше? И в самом деле: Эрнест Ренан стал в семинарии заниматься филологией, преуспел необычайно — талантливый был очень человек. И стал читать

немецких критиков, которые ему показали, что традиционные представления об авторах священных книг неточны, что не Давид писал все псалмы, что Книга пророка Исайи была написана несколькими авторами, жившими в разное время, и так далее. И это его поразило! Когда он обращался к своим наставникам, о которых он вспоминает в мемуарах очень тепло, они говорили: католическая церковь так учит, и ни вправо, ни влево. Тогда существовал очень серьезный догматизм, потом, спустя сто лет, преодоленный, но в то время он стоил тяжелого духовного кризиса Эрнесту Ренану, великому французскому мыслителю, писателю, эссеисту. В конце концов ему надо было выбирать между верой и наукой, и он предпочел выбрать науку. Он говорил: здесь, по крайней мере, истина. Кризис привел его к решению отказаться от служения Церкви и заняться восточной филологией.

Через сто лет в любом учебнике, в любом журнальчике, в руководстве для детей все те научные истины или научные теории о времени происхождения библейских книг уже получают гражданство и никого не будут смущать, потому что нельзя путать духовный смысл Писания с чисто научными проблемами датировки, хронологии, авторства. Как сказал мне один мой покойный коллега: если не Моисей писал все пять Книг, то тогда рушится вся богодухновенность. Чего же она стоит, богодухновенность, если она рушится от таких вещей? Но так рассуждал Ренан. И все же он не мог оторваться от Библии. Он посвятил себя ей, можно сказать, дал, как он сам говорил, «назорейский обет» — на тридцать лет, с 1863 по 1892 год, когда он умер.

Ренан писал книги на библейские темы. Первая из них была «Жизнь Иисуса». Сначала он хотел написать историю идей — влияние немцев, гегельянцев. Но в это время Наполеон III отправил на Восток экспедицию для раскопок финикийских памятников. Ренан, как уже известный семитолог, поехал туда со своей сестрой Генриеттой, женщиной эмансипированной, давно отошедшей от веры. Она влияла на Ренана довольно сильно. Они странствовали по Ливану. У него была с собой лишь маленькая кучка книг, и он начал писать о жизни Иисуса. И вдруг он увидел, что эти холмы, эти маленькие оливковые рощи, тропинки у вод — это же пятое Евангелие! Вся страна сохранила в себе тот аромат, который идет от Евангелия. Подлинные,

достоверные события, описанные у четырех евангелистов и в Деяниях, перед ним ожили, и он стал лихорадочно писать, имея под рукой только греческий текст Нового Завета, Иосифа Флавия и пару пособий. Он переписывал каждый лист, Генриетта читала, одобряла, делала замечания. Это был самый счастливый момент его жизни. И он говорил, что его любовь к Иисусу все возрастала, он хотел отбросить из его жизни все сверхъестественное. Чудеса? — самообман! Или даже, может быть, благочестивый обман. Воскресение? — Мария Магдалина была очень возбужденная женщина, и Ренан говорит, что любовь галлюцинирующей женщины дает миру воскресшего Бога. Как будто мало в мире нервных женщин. Если бы каждый раз результат был таков, что было бы делать на свете! Простые вещи, с которыми мы сталкиваемся повседневно, рожают у Ренана мировые события. Но эпоху он почувствовал, внимательно ее изучил и сумел нарисовать замечательную картину. Собственно, он писал роман, хотя это оказалось историческим исследованием.

Когда работа над книгой заканчивалась, Ренан, находясь в Ливане, тяжело заболел местной лихорадкой, потерял сознание. Заболела и Генриетта, и, когда через довольно длительный промежуток времени Ренан пришел в себя, Генриетта была уже мертва. Он был в отчаянии, едва не умер от горя, но все-таки его спасли. Он вернулся в Европу.

В 1863 году вышло первое издание «Жизни Иисуса». Верующие люди, богословы считали эту книгу произведением антихриста, атеисты, которые еще не потеряли любви к христианской традиции, воспевали, называли ее новым Евангелием. При массе недостатков книга эта осталась все равно классической.

У Ренана множество спорных гипотез, но он сумел нарисовать великолепное обрамление, вызолотить и вылепить раму для этой картины. И картину написал он неплохо. Мы видим живыми всех этих людей: и порывистого Петра, и Анну, и Кайафу, Иуду, Иисуса. Но кто же этот Иисус? Это очень запоминающаяся личность, четкая. Это наивный молодой человек, простодушный, религиозный, восторженный, который ходит среди цветов и лилий по Галилее, проповедует блаженство и счастье, беззаботность, а потом он встречает мрачного аскета Иоанна Крестителя, который подталкивает его на поиски какого-то более энергичного влияния на мир. Он отправляется в мрачную Иудею, скалистую, безводную, отправляется в

Иерусалим, где сидят замшелые талмудисты и ученые. Конечно, они его враги. Природа иудея и галилеянина противопоставляется художественно очень четко, хотя утрированно. Это стилизация. Все слова Христовы из Евангелия, которые содержат что-то суровое, Ренан относит к последнему периоду жизни Христа. Их говорит мрачный гигант, который предъявляет огромные требования к людям, возбудимый, эгоистичный, нервный. И потом Ренан очень тепло, с волнением описывает последние дни жизни Христа. И, заканчивая сцену Распятия, он пишет: покойся же отныне, божественный учитель, твоя божественность утверждена, ты создал истинную религию, и никогда все это не поколеблется.

Хаос, который царил в голове Ренана, позволял ему писать не то, что он думал, и думать не то, что он писал. Его мировоззрение стало как бы клубком противоречий. Он без конца говорит о Боге, явно понимая Его не так, как понимают христиане. Он говорит о науке, но он большой скептик и не верит в ее полную силу. Он говорит о великом будущем, когда Бог родится на земле (книга «Будущее науки»), но в то же время сомневается, есть ли у человека будущее. Он верит только разуму, только рассудку! Он втискивает все явления вот в это прокрустово ложе, но в конце концов не верит и сам себе. Как писал о нем один философ, Ренан постоянно боялся быть обманутым и в конце концов перехитрил сам себя.

И вот с таким мировоззрением он попытался увидеть Иисуса, и чудо произошло: он все равно Его любил и видел, но он изобразил такого человека, который не мог бы создать и жалкой секты, а не то что христианство. Это слабый, легко поддающийся влиянию персонаж, который отдаленно не напоминает евангельского Христа. Того Христа, Который никогда не советуется, не колеблется, всегда действует совершенно ясно и определенно. А у Ренана все построено на колебаниях. Он перенес в Него свою колеблющуюся душу и психологию. И настолько читателей того времени поразила эта книга, ее художественные достоинства, ее историческая несостоятельность, что вокруг нее вот уже более ста лет вращается вся библейская новозаветная литература во всех странах. Кто бы ни начинал писать, так или иначе зависит от Ренана: либо полемизирует с ним, либо подражает ему. Его великие друзья, французские писатели XIX века — а он дружил со многими писателями — чутьем ощущали его главный

промах: что главное лицо у него не вышло! То есть оно вышло, но это совсем не то лицо. Это не настоящий Христос, это муляж.

И вот начинается литературное кружение вокруг образа Иисусова. Вскоре после Ренана пишет Флобер. Он пишет повесть «Иродиада». Первым ее перевел Тургенев. Христа там нет. Там есть тетрарх Ирод Антипа, Иоанн Креститель, воины, ученики Крестителя и ученики Иисусовы, но Христос где-то там за сценой, за кадром. Флобер нагромоздил в книге массу археологических подробностей, перещеголял Ренана, но к чему эти подробности, если, в сущности, непонятно, зачем эта повесть написана.

Анатоль Франс, который считал себя даже учеником Ренана, известный всем вам писатель, делает ход более интересный. Он пишет новеллу «Прокуратор Иудеи». События происходят через несколько лет после Распятия. Понтий Пилат, уже в отставке, беседует со своим приятелем, и тот ему напоминает казнь некоего Иисуса Назарянина. Пилат говорит: «Я не помню такого».

— Да помнишь, ты служил в Иудее, там это происходило, ты подписал, но считал, что он невиновен.

— Нет, ничего не помню. Да, я служил в Иудее.

— А ты помнишь, там была красавица Мария Магдалина, такая гетера, куртизанка. Помнишь?

— Помню, конечно, помню. Да, да, да...

— Ну вот, а Иисуса помнишь?

— Нет, нет. Ничего не помню...

И точка. На этом рассказ кончается. Он очень емкий. С одной стороны, может быть, Анатоль Франс хотел показать, что само событие было незначительным, что его Пилат и не запомнил. Но скорее всего, психологически более верно, что Пилат его не хотел помнить, боялся об этом вспоминать. И это очень глубоко и тонко.

В то же время, немного позже, Оскар Уайльд пишет драму «Саломея». Опять на тему об Иоанне Крестителе, о его смерти, о Саломее, о пляске ее. Оскар Уайльд — эстет, у него обязательно присутствие эротики. Саломея, дочь Иродиады, влюблена в Иоанна Крестителя, но он ее отверг, и она подстраивает эту месть ему, она пляшет, добивается его головы и со сладострастной удовлетворенностью тащит эту голову к себе, лобызая ее. Но это уже черты декаданса. И заметьте, опять нет Христа. Чутье художника

подсказывает, что неизображаем Он. То есть урок Ренана не прошел даром.

Когда Оскар Уайльд сидел в тюрьме, он много читал Евангелие по-гречески, размышляя над ним, полюбил его и вдохновлялся образом Христа. В посмертно изданной книге он писал: я верю, верю в то, что когда Иисус сидел за трапезой, простая вода становилась вином, что одно Его прикосновение могло оживить душу. Я верю, что люди могли слушать Его, забыв о голоде. Я во все это верю... И тут же он ссылается на Ренана и называет его книгу «чарующим пятым Евангелием», Евангелием от Фомы, то есть Евангелием от скептика. Никуда деться от него он не мог.

Даже писатели-христиане XIX века тоже побаивались этой темы. И не удивительно. Наверное, некоторые из вас смотрели фильм «Бен-Гур». Это остросюжетный приключенческий фильм, основанный на романе американского писателя Лу Уоллеса. Написан он в конце XIX века, в 80-м году. Главный герой его — молодой иудейский военачальник, князь Бен-Гур, который узнает об Иисусе, хочет стать Его приверженцем, когда узнает о Его аресте, хочет Его освободить. Потом все его планы рушатся, он становится христианином, вступает в длительную борьбу. Дальше идут уже приключения иные. Христос там только виден на мгновение, когда Его ведут на казнь. Хотя дух, образ Его, слово Его господствует над всем романом и, в какой-то степени, над фильмом.

Теперь обратимся к Генрику Сенкевичу, писателю, который всем вам хорошо знаком. В конце XIX века он пишет рассказ «Пойдем за Ним» о римлянине, который обратился в христианство. Там есть сцена Распятия. Ясно, что Сенкевич пользовался материалами Ренана. Но опять-таки, Распятие происходит где-то вдали. Видно как бы с точки зрения человека, стоящего на расстоянии ста метров, не слышно ни одного слова, все отодвинуто. Таким образом Сенкевич прямого показа Христа избежал. И наконец в своем знаменитом романе, который, собственно, и принес ему мировую славу, а потом Нобелевскую премию, в романе «Quo vadis» или «Куда идешь?», иногда его называют «Камо грядеши?», Христос стоит в центре, но опять-таки это не беллетризация Его образа.

Сенкевич начинает с того момента, когда кончается Новый Завет. В 61–62 году апостол Павел приезжает в Рим. Обрыв. Конец

хронологических рамок Нового Завета. И именно с этого года начинается повествование Сенкевича. Он дает яркую многоплановую панораму Римской империи. Тут и вольноотпущенники, и рабы, и патриции, и царедворцы, и сам император, и чиновники, и сенат. И вот на этом фоне, за парадным фасадом могучей державы, мы чувствуем гниение, кризис духовный, политический и даже экономический. И вот появляется христианство, как малое русло, как малая речушка, и ему принадлежит будущее, потому что в нем заложены семена духа, семена веры, семена нравственности. Сенкевич вовсе не идеализирует христиан. Он показывает, что и среди них есть люди разного пошиба, есть и фанатики, и добрые, и глупые, и образованные — всякие. Но ведет их Христос. Поэтому они выдерживают самый тяжкий напор империи, они идут навстречу массовым гонениям, погибают, и во главе их погибают апостолы Петр и Павел.

Мы находим Евангелие в этой замечательной книге не непосредственно, а через призму апостолов. Апостол Петр рассказывает о Христе, дух Христов живет в этой общине, в самой Церкви.

Таким образом, литература XIX века показала нам, насколько грандиозен этот предмет, насколько притягателен он для художника, писателя, насколько трудно им овладеть. Как кружили и кружили вокруг него великие мастера слова, не решаясь переступить грань, и все-таки они не могли оставить этой темы.

На рубеже XIX и XX веков знаменитый философ, музыкант, музыковед, впоследствии врач и гуманист Альберт Швейцер написал книгу, в которой он стремился доказать, что все попытки беллетризировать Евангелие и по-своему интерпретировать его субъективны. И, как тогда говорили, он похоронил все эти притязания. Но что удивительно! Ровно после этих похорон на книжный рынок стремительно обрушились лавины книг на библейские темы, в том числе, на евангельские сюжеты. И эта лавина не останавливается до наших дней!

БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Беседа первая

Добрый день, друзья! Тема наша сегодня — очень сложная и, безусловно, трудно охватить все. Я на это и не претендую. Но это наш век, наш двадцатый век, и поэтому для нас особенно важно, интересно, дорого — как он отразился в Священном Писании? И как Библия отразилась в нем? Я не буду придерживаться хронологической канвы, а просто сделаю небольшой общий обзор.

Кто из писателей задумывался над начальными страницами Библии, над Книгой Бытия? Многие. Большинству из вас известна книга, многотомный толстый роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». В этом романе очень интересно соприкоснулись Писание и литература.

В Библии жизнь Иосифа не несет в себе глубинной духовной, мистической нагрузки. Это история почти светская, в том смысле, что там разыгрываются драматические события, которые прочно врезались в память людей, которые действительно похожи на роман с приключениями, победами, узнаванием. Я думаю, что сюжет известен вам всем, так ведь? Или не совсем? В таком случае очень кратко, в двух словах...

У патриарха Иакова, праотца древних израильтян, который кочевал в Ханаане, нынешней Палестине, было двенадцать сыновей, но самым любимым был Иосиф. И братья ему завидовали, что он любимчик, что отец ему сделал красивую одежду. И однажды Иосиф, который был не лишен, по-видимому, хвастовства и гордыни, сказал, что ему приснился сон, будто одиннадцать снопов поклонились двенадцатому — это ему. Ну, и братья постепенно не только невзлюбили, но просто возненавидели его. Однажды, когда он пришел в уединенное место, в долину, где они пасли стада, они решили с ним расправиться.

Грубые, первобытные пастухи — все это происходит исторически примерно в 1700 году до нашей эры, то есть 3700 лет тому назад. Сначала они вообще хотели его убить, бросить в пустой колодец в пустыне, чтобы он погиб, но потом, увидев караван кочевников—

торговцев, они решили его продать в рабство. И продали, а одежду Иосифа испачкали в крови козленка, принесли отцу и сказали: «Вот это все, что мы нашли в пустыне». Иаков страшно убивался, что погиб любимый сын. Библия подчеркивает различное отношение братьев к этому преступлению: один брат хотел бросить его в колодец, но потом тайно спасти, другой мучился совестью, в общем, это была неоднозначная реакция.

А потом дело развернулось таким образом. Иосиф был продан в Египет, стал слугой у египетского вельможи, но, когда жена этого вельможи попыталась его соблазнить, он, сохраняя этические нормы, которые он вынес из общения с отцом, сказал, что он не может: твой муж мне, как отец, для меня это будет большим преступлением. Она решила ему отомстить и устроила инсценировку, как будто он пытался ее изнасиловать. Разгневанный господин, когда узнал об этой истории, бросил его в тюрьму... в тюрьму бросил, не убил, хотя раба можно было убить.

В тюрьме Иосиф познакомился с двумя царскими вельможами, которые попали по капризу фараона за решетку. И однажды они рассказали ему свои сны, а Иосиф обладал даром угадывать по снам будущее. И он предсказал одному, что вскоре его постигнет тяжкая участь — он будет казнен, а другому сказал, что вскоре царь вернет ему свою милость и вернет его во дворец. «Вспомни тогда обо мне, ибо я невинный здесь томлюсь». И рассказал ему свою историю. (На эту тему есть картина в Русском Музее.) Предсказания Иосифа сбылись: одного казнили, другой вернулся во дворец и, конечно, его забыл. Все это характерно, хотя и написано в глубокой древности, но это типично для человеческой жизни. Забыл его в своем счастье, в своей радости, что снова вернулся и стал царским виночерпием, то есть подавал вино при царских пирах — это считалось большой должностью.

Но однажды фараону приснились странные сны: он видел во сне коров (в Египте коровы считались священными), они выходили из Нила, и сначала вышли тучные, толстые коровы, а потом за ними тощие, и тощие набросились на тучных, съели их, но остались такими же тощими. Фараон, который считал, как это было принято в Египте, что сны открывают божественные истины, пытался выяснить, что это значит. И тогда виночерпий вспомнил: «Да, со мной сидел там человек,

иноплеменник, еврей по происхождению (тогда это слово употребляли только, говоря о чужеземцах и означало оно «странник», «скиталец»), вот он здорово угадывает сны, он мне предсказал, что ты мне возвратишь свою милость».

Послали за Иосифом, Иосиф сказал, что эти сны означают: сначала будут времена плодородия, а потом наступит несколько лет голода, постарайся заранее запастись зерном. А фараон сказал, что тогда ему нужен человек, который будет всем этим распоряжаться, и предложил Иосифу заняться этим. Иосиф стал распорядителем по зерноснабжению. Он устроил большие государственные амбары, туда свозили все излишки зерна, и, когда действительно наступил голод, он смог спасти страну от бедствия.

Тем временем голод охватил не только дельту Нила, но и проник в Ханаан, место, которое теперь у нас называется Израиль, Палестина. И старик Иаков, оказавшись на грани голодной смерти, решил отправиться в Египет, где, как он слышал, продают для иноземцев хлеб, пшеницу, зерно. Сам он был стар и не смог это сделать, но отправил туда своих сыновей. Они приехали в Египет и оказались у дома Иосифа, и он узнал их, а они, разумеется, не узнали в важном египетском вельможе своего брата, который, как они считали, давно погиб.

И вот Иосиф начинает с ними сложную игру. Он продает им хлеб, потом возвращает их и говорит: «А сколько вас братьев у отца?» Они отвечают: «Нас двенадцать, но одного не стало». «А как зовут вашего отца?» Он все время спрашивает их, и они понимают, что внимание его какое-то подозрительное, они боятся его. Иосиф сажает их за стол, но сажает по старшинству, по возрасту. И они говорят: «Господин все знает про нас». Потом он их отпускает... Несколько раз они приходили и уходили, а в нем идет внутренняя борьба: это и горечь обиды и в то же время жалость. И в конце концов он не выдерживает, просит всех посторонних выйти, и когда они остаются одни, он вдруг говорит: «Это я, Иосиф, ваш брат. Жив ли еще мой отец?» Они все в ужасе упали перед ним на колени, а он заплакал. И так совершилось это примирение — он их простил. И потом он сказал слова, важные библейские слова: «Вы сотворили зло, но Бог и зло обратил в добро». Так часто бывает в истории. Потом Иосиф смог взять отца и всю семью в Египет, и они спаслись от голодной смерти.

Такая история не могла не привлекать поэтов, художников, писателей. В XX веке, в период очень трудный и кризисный, во время войны, Томас Манн пишет большой роман «Иосиф и его братья». В целом он придерживается библейского сюжета. Но священный библейский писатель, который составлял Книгу Бытия, привел этот драматический, приключенческий, можно сказать, рассказ, чтобы показать, какими удивительными путями, какими, казалось бы, сложными, иногда парадоксальными, путями, где сталкиваются случайности, неожиданности, ведет Бог своих избранных, как Он все равно сохраняет то, что задумал, и как человек, попавший в совершенно чуждую ему ситуацию, может сохранять в сердце свои устои, духовные и нравственные заветы.

Томас Манн пишет медленно, подробно, как вообще свойственно ему. Это медитации, размышления на тему обо всем: и о Иакове, отце Иосифа, и о его предках. В романе намешано очень много материала из исторических исследований, но вы разочаруетесь, если будете искать там действительную историю. Машинистка Томаса Манна, когда он закончил роман, говорила: теперь я знаю, как на самом деле все было, — но едва ли все было так. Томас Манн захотел сделать эту историю поводом для размышления над духом человеческим, над его стремлением к вечности, поисками тайны Бога — человечество бесконечно ищет Бога. В библейском рассказе об Иосифе этого нет, но в том-то как раз особенность и парадокс, что Томас Манн, отталкиваясь от библейского сюжета, идет в сферу религиозных исканий.

Для многих эта книга явилась откровением, многие люди говорили мне, что они смогли понимать Библию, только прочтя книгу «Иосиф и его братья». Однако там слишком много построено на человеке. Получается так, как будто человек придумал эти божественные тайны, он как будто родил их из себя, что Иосиф представлен чуть ли не как некий религиозный мыслитель, и что его нравственные, религиозные поиски создавали некий образ Бога и взаимоотношений человека с Богом. Это не так. Поверьте мне: эти простые пастухи ничего не могли придумать. Если уж живущие рядом с ними, образованнейшие для того времени жрецы Вавилона и Египта не смогли додуматься до истины единобожия, то где уж было вот этим людям, неграмотным, не имевшим своей письменности, которые

кочевали со стадами, где им было додуматься до чего-то. Поэтому конструкция Томаса Манна отрывается от реальной библейской истории — она есть лишь размышление на эту тему.

Далее. Если посмотреть, что в XX веке привлекало людей в Библии, то это, конечно, узловые моменты. Во время Первой мировой войны Стефан Цвейг пишет драму «Иеремия», о пророке Иеремии, который пытается остановить военные приготовления, но его считают предателем. На него обрушивается гнев народа и гнев властей, и он стоит перед обществом, как изгой. Из всего общества только один он любит свой город и свою страну и желает им добра! Но он считается предателем. Вот эта драма привлекла Стефана Цвейга в тот период, когда шла борьба за прекращение войн, — девятнадцатый год, когда Европа стояла на распутье.

Разумеется, не обошлось без попыток изобразить Евангелие как знак революционный. В 25-м году Анри Барбюс пишет книгу «Иисус», она у нас выходила, кажется, не совсем полностью и называлась «Иисус против Христа». Он хотел доказать в этом романе — полуроман, полуисследование — что Иисус был революционером и даже атеистом, но что учение Его исказили. И это очень трогательно, потому что Анри Барбюс, как и многие другие, все равно хотел найти оправдание, поддержку у Христа. Извращенного абсолютно, искаженного, но все-таки у Христа. Разумеется, ни малейшего основания в Евангелии нет для того, чтобы считать так: Христос никогда не поддерживал насилия, насилия для того, чтобы изменить общественный строй, а Барбюсу хотелось, чтобы было именно так. И у него нашлись последователи не только в художественной литературе, но также среди историков, которые конструировали события именно так.

В прошлый раз я вам рассказывал, как писатели XIX века как бы разбивались о стену, пытаясь изобразить Христа. Некоторые так на этом и остались. Скажем, Морис Метерлинк пишет драму, такую взволнованную драму «Мария Магдалина». Героиня ее Мария Магдалина, которой римский военный предлагает вернуться вновь к распутной жизни и обещает за это освободить осужденного Христа. Но она предпочитает остаться верной Его заветам. Эта такая драма парадоксальная, но Христа там нет.

Также нет Его у Оскара Уайльда — это уже на рубеже века. Герхарт Гауптман, немецкий писатель, попытался пойти по тому же пути, что и некоторые немецкие художники конца XIX века и начала XX века, — представить себе Иисуса Христа в нашем современном обществе. Эти художники писали картины на тему Евангелия именно по этому принципу: вокруг Христа были люди, одетые в одежду XIX–начала XX века. И Гауптман пишет роман, который он назвал «Юродивый во Христе Эммануэль Квинт».

Это очень странный роман. Это жизнь проповедника из народа, который спонтанно вышел говорить о Царстве Божием в захолустном немецком городке. Этот проповедник встречает своего Крестителя, это суровый протестантский пастор, который кричит всем: «Покайтесь!» И он тоже совершает некое крещение в речушке около сада. Герой романа Эммануэль (имя его Эммануэль, «с нами Бог») приходит к нему, у него появляются последователи, апостолы, есть там и свой Иуда. Правда, кончает он не Голгофой. В романе есть изгнание торгующих из храма, когда Эммануэль Квинт пришел и разогнал их в храме, разбил алтарь. Но он подвергся общественному остракизму после ареста и скитается по городам. В конце концов он решил, что Христос живет в нем, что Он воплотился в нем. Когда он стучится в дома, спрашивают: «Кто там?» И он отвечает: «Христос». — Двери моментально захлопываются. И Гауптман пишет: по всем городам шум этих дверей, он мог бы разбудить небо: Христос стучится в дверь, и все захлопывают двери. «И какое счастье, — пишет он, — что это был не Сам Христос, а просто бедный Юродивый, а то бы ведь столько военных, чиновников, епископов, бургомистров подверглись бы суровому осуждению». А потом прибавляет: а что если это был действительно Христос, Который под видом несчастного юродивого пришел проверить, насколько созрело посеянное Им семя?»

Эммануэль Квинт погибает в горах, тайна остается скрытой, в руках у него зажата бумажка, на которой написано «Тайна Царства» — и вопросительный знак. Благодаря этому роман получился как бы двусмысленным: это и о жизни Христа на фоне современного общества, и в то же время всегда можно было сказать, что это не Он. Действительно, Гауптман изобразил только юродивого, и ничего подобного Евангелию, с его внутренним могуществом, в романе нет.

Если мы перейдем к русским писателям, то вы все, наверное, читали повесть Куприна «Суламифь» (вышла в 1908 году). Она извлечена из «Песни Песней» — таинственной книги о страстной любви, о чувственной любви — и она почему-то вошла в Священное Писание. Внешним поводом этому, по-видимому, было то, что гимны эти пелись во время свадеб, во время брачного, венчального ритуала.

Есть попытка рассмотреть эти песнопения как некий драматический диалог. Голос невесты, голос жениха, голос хора... В XIX веке некоторые библеисты истолковывали это таким образом, что это девушка из народа, которая любит жениха — пастуха. Ее запирают в гарем к царю (там ведь о царе Соломоне, хотя это и называется «Песни Песней Соломона», говорится в третьем лице и не всегда, так сказать, положительно), ее запирают туда, но она убегает. Девушка бежит по ночным улицам, ищет своего любимого, солдат, патруль, ее остановил: «Куда ты идешь?» — «Я ищу своего любимого». Некоторые толкователи думали, не есть ли это драма, направленная против царя, против судьбы тех женщин, которые находились — их было около тысячи — в гареме Соломона. (По восточным обычаям, считалось, что чем больше жен, тем авторитетнее царь.)

Значит, антицарская. Свободная любовь к другу, к пастуху любимому, побеждает вот этот гарем, эту жизнь, как бы сладкую, но на самом деле ничего в ней нет отрадного для души. Любовь выше царской роскоши. Куприн все это перевернул. Он взял традиционную модель и изобразил это как любовь царя к юной девушке Шуламиде (шуламитянка, то есть этническое, племенное название превращено у него в имя Суламифь).

Конечно, самое важное, что всегда привлекало в этой вещи и Пушкина, и многих других, кто перелагал «Песни Песней» — это глубочайшее понимание силы любви. «Сильна, как смерть, любовь», сказано в «Песни Песней», и это очень важно. Мне кажется, что важно не то, каким образом мы истолкуем — против царя или за царя — а важно, что Библия, которая говорит о смерти, о вечности, о дружбе, о войне и мире, о голоде и победах — обо всем, — она, конечно, должна говорить и о любви. И то, что Церковь эту книгу восприняла в Священный канон, говорит о священности самой тайны любви. Недаром у нас из семи церковных таинств одно является таинством брака, таинством любви.

В те же годы писал Леонид Андреев. У него есть библейская повесть «Иуда Искариот и другие». Многие из вас ее, наверное, читали, недавно она была переиздана. Это, конечно, слабое произведение. Если вы взгляните в образ Иисуса там, он ничтожен, бледен, а образ Иуды глубоко надуман. В конце концов читатель даже не понимает, в чем дело, почему у Иуды было такое раздвоенное отношение ко Христу? В евангельской реальности все было проще, и в то же время сложнее. Проще потому, что любой человек, любой апостол, в том числе и Иуда, когда они пошли за Христом, в их движении было много своекорыстного, даже не в грубом смысле, а просто по-человечески: они думали, что пока Он еще в тайне, но Он явится открыто, и тогда все они окажутся на гребне волны. Когда этого не случилось, апостолы испугались и разбежались, но один Иуда полностью утратил к Нему любовь и веру. А Леонид Андреев там намешал каких-то — это была эпоха декаданса — каких-то странных, противоречивых чувств. Настоящих внутренних оснований поступка Иуды у него нет.

Разумеется, нельзя обойти попытки изобразить Христа у разных писателей Востока и Запада. Но как все это охватить? Вот мы видим немецкого писателя Френсона, который пытается на основе научных данных написать роман о Христе. Получается роман ни о чем, потому что тот Иисус, который там фигурирует, проповедует некое великое могущество, которое приведет человечество к раю на земле.

Писатель Франсуа Мориак (я думаю, многие у нас с ним знакомы) в 36-м году написал книгу «Жизнь Иисуса». Это очень тонкая, очень бережная книга, ведь Мориак — это классик. Он ничего не добавляет от себя. Христос в этой книге не говорит ни одного слова, которого бы не было в Евангелии. Там нет подробностей окружающей Его обстановки, лишь скупые штрихи, которые может делать блестящий мастер прозы, и в какой-то момент мы видим воочию все это. Вот, я только могу привести одно место, которое меня всегда потрясало. Вот дом в Назарете, Мать и Сын. Он трудится. Она всегда хранит в сердце то, что Ей было открыто, но как это трудно было Ей делать! Ведь Ему было обещано нечто великое, и вот уже тридцать лет, а вместо царского престола у Него только верстак в комнате. Но Она хранит это в сердце... Писатель говорит, что вокруг идет обычная жизнь, но бывают мгновения, когда Мать и Сын остаются вдвоем... И Мориак

ничего не додумывает, ничего не домысливает, он не изображает каких-то диалогов между Марией и Сыном Ее, но он только намек делает, как замечательный писатель, намек: они остаются вдвоем, вечером, за столом, и писатель предоставляет нам вдруг ощутить атмосферу Этих Двух... Так построена вся книга, и когда ее кончаешь читать — она небольшая, — остается ощущение встречи с Ним.

Иначе делает писатель Ян Добровичинский, польский романист. Он сам пережил личное горе — у него умер сын. Он пишет от лица Никодима. Никодим — член верховного совета старейшин в Израиле, был тайным учеником Иисуса. О нем мы знаем очень мало, из Евангелия от Иоанна. Романист приводит письма, которые Никодим после всех евангельских событий отправляет в Рим своему другу. Там описываются все перипетии евангельской истории, в которых он участвовал. Там есть все: и пейзаж, и исторические подробности, и попытка все это увидеть. Насколько она привлекательна, доказывает то, что этот роман был переведен на все европейские языки и до сих пор перепечатывается, до сих пор пользуется популярностью, хотя, в общем, написан он... это не первоклассный мастер. У Никодима больна Рут (Рут — это женское имя, «Руфь» по-русски). Кто она ему: дочь ли, жена ли, сестра ли, читатель так до конца и не узнает, и это неважно. И он все время думает, как привести ее к Иисусу, чтобы Он исцелил ее, но она умирает, и вот это его страдание превращает книгу во что-то очень личное, даже волнующее. Я делал такие попытки: некоторым людям, которые плохо воспринимали Евангелие, я давал переведенные кусочки из этой книги, и на них это производило впечатление. Называется книга «Письма Никодима», но по-русски она не существует.

В те же, пятидесятые, годы Добровичинский написал роман «Варавва» — у нас он переведен. Если Никодим идет к вере и в конце концов находит во Христе свою духовную пристань, то Варавва (это тот, кто, как вы помните, был отпущен, когда Иисуса Христа осудили на распятие), грубоватый, тупой человек, верит только насилию, слоняется, шастает по городу, не может понять, зачем он и что он. Он становится каким-то страшным двойником Христа, потому что он попадает в среду христиан, и они говорят: «Это тот, вместо которого распяли Учителя», — и вокруг него сразу образуется стена.

Потом девушка, к которой он был привязан, возвещает людям о том, что Христос воскрес. Для Вараввы это все сказки, басни, девушку побивают камнями, а он после долгих скитаний попадает в Рим и там встречается с христианами. И вдруг город начинает гореть, и вот только тогда Варавва говорит: «Вот Он пришел, мой Христос, Он поджег Рим, и я Ему помогу!» Он берет пылающую головню, идет и поджигает дома. Потом его хватают солдаты, и он умирает на кресте. Умирают на кресте и другие христиане, но они умирают с надеждой, с верой, а Варрава умирает просто так, отдавая свою душу тьме, бессмысленно. Повесть не очень, может быть, глубокая, но в ней трагическое столкновение человека, который живет примитивной системой ценностей, с высоким духовным путем.

Недавно в Москве вышла аналогичная книга польского писателя Генриха Панаса «Евангелие от Иуды». Там Иуда — образованный человек из Александрии (очевидно, покойный Панас во многом изображал себя), скептик, ему все уже надоело, он все познал, все читал, все изучил, ни во что не верит, богат, у него есть все, но вот он полюбил женщину, Марию Магдалину (бедной Марии Магдалине всегда достается, ее во всех романах эксплуатируют самым беспощадным образом). Но она, оказывается, является любовницей какого-то римского офицера. Как вырвать ее из лап завоевателя? Иуда подстраивает как бы покушение на нее, на самом деле желая ее спасти. Но он опоздал, ее освободили другие люди, это оказались ученики Иисуса. Она примыкает к ним, и бедный Иуда — она уплыла у него из рук — должен идти к ученикам Иисуса. Он встречается с Иисусом и ходит с Ним. Он все время думает про Марию Магдалину. И так призрачно и вяло проходит евангельская история по страницам этого романа.

Иисус оценил его ум и тонкость. Оказывается, ученики Его затеяли мятеж, восстание, Иисус хочет погибнуть с ними, потому что дело безнадежное, но уйти было бы нехорошо. Иуду Он ценит — умный человек — и поэтому во время того, что в романе является Тайной Вечерей, Он говорит ему: «Ты уходи, делай свое дело». Иуда уходит, думая, что в конце концов после гибели Иисуса и Его учеников он Марию Магдалину все-таки заполучит. Но и в этом он разочаровывается, потому что она приходит к нему и говорит: «Я Его видела после распятия, я видела Его живым». И она уходит, а Иуда

остается ни с чем. Это тоже столкновение человека с духовной реальностью, но другого типа: там это грубый, примитивный человек, который делает ставку на насилие, а этот — как бы умный, как бы всезнающий — человек, который решил, что он довольно почерпнул истины, больше ему ничего не надо.

Все эти романы показывают бессилие человека перед задачей изобразить Христа. А если мы посмотрим, наконец, на Булгакова... Однажды Солженицын задал мне вопрос: почему Булгаков, который в своей пьесе «Последние дни» (я думаю, что многие из вас читали или смотрели эту пьесу) понимал, что Пушкина не надо изображать, что его невидимое присутствие лучше, чем если бы по сцене бегал загримированный под Пушкина какой-то шумливый актер, — и это действительно так, потому что в пьесе есть достоверность реального присутствия подлинного Пушкина, — почему Булгаков не понял этого и попытался вывести Христа вместо того, чтобы поступить, как поступил Константин Романов? (Константин Романов был мало известный, но даровитый поэт, писавший под псевдонимом К.Р., — ему не хотелось выставляться перед всеми, что он прямой родственник царя. Он написал драму «Царь иудейский» — о событиях последних дней в жизни Христа: Страстная неделя и Воскресение. Ни Христа, ни апостолов в драме нет, все происходит рядом.)

Почему Булгаков поступил не так? Конечно, ответ на это трудно найти, но, мне кажется, он все-таки сделал нечто подобное — по-своему, а именно: ведь он не изобразил Христа, не изобразил... Всем известные слова о том, что «Мастер и Маргарита» — это Евангелие от Воланда, ничего не означают. Булгакова волновала проблема предательства, проблема того, как люди, его современники и в нашей стране, да и в любой другой (это же общечеловеческое), предавали других и себя. И Мастер чувствовал, чувствовал, что он себя предает. Это тема измены, предательства, умыывания рук — вот главная тема.

Наш XX век — это век «умыывания рук». Люди «умывали руки» на протяжении всего столетия. И когда была Бурская война, и Первая мировая война, и страшные события в Берлине и в Москве в тридцатые годы, и когда была Вторая мировая война. Это «умыывание рук» было трагичным, и остается таким до нашего времени. Это волновало Булгакова, он хотел изобразить Пилата как воплощение вот этого «умыывания рук». А для этого нужно было, чтобы перед Пилатом

стоял Христос. Булгаков изобразил совершенно иную личность, абсолютно не похожую ничем, кроме имени, на Христа.

Те из вас, кто хоть раз читал Евангелие, прекрасно знают, что булгаковский бродячий философ, говоривший, что настанет царство истины, что все люди добрые, называвший каждого «добрый человек» — как он не похож на евангельского Христа! Мы знаем, что Он мог сурово сказать: «Порождение ехидны», или мог назвать Ирода лисицей, а вовсе не называть всех подряд «добрыми людьми». Поэтому Булгаков намеренно переделал и сюжет событий, поэтому он ввел Левия Матфея, который якобы все исказил. Таким образом, перед нами просто другая история. И ничего общего нет. Это художественный вымысел, это другой человек. И только в конце каким-то странным образом он имеет прямое отношение к власти над миром. Он определяет судьбы мира.

Здесь что-то не вяжется, концы с концами не совсем сходятся, но они и не должны сходиться. Это же внутреннее видение самого поэта, самого художника. Писатель не обязан отвечать на вопросы — он должен их ставить. Вы можете удивиться, но этот роман напомнил мне вовсе не Евангелие, а Книгу Бытия.

В Книге Бытия рассказывается о том, как Бог в виде трех странников посетил Содом и Гоморру, чтобы посмотреть, действительно ли эти города настолько уже разложились, что пора их отправлять в тартарары. Этот сюжет неоднократно повторялся в истории, в христианских легендах и вообще в мировой литературе. Последний раз он был в романе Герберта Уэллса «Чудесное посещение», где рассказывалось, что ангел пришел на землю во плоти и посмотрел, как живут англичане в наше время.

Здесь произошло то же самое: приходит вся шутовская компания во главе с Воландом, и ее приход вскрывает ситуацию в Москве в лице всех этих лиходеевых, варенух и других персонажей — весь этот маскарад берлиозов. Она вскрывается только через столкновение с гостями. А то, что речь идет не о дьяволе — я в это верю — а о посещении в каком-то более глубоком смысле, это чувствуется... в незабываемом, великолепном, я бы сказал, проникнутом духом мистицизма описании их обратного полета, когда они летят луне навстречу, и шутовские карнавальные маски с них слетают, и уже нет

ни кота, ни Коровьева, а какие-то совершенно иные существа. Они посетили землю, чтобы посмотреть, как живут люди.

И в самом деле, тема чудесного посещения характерна для многих книг Библии. Она характерна и для нашей жизни, потому что каждый из нас переживает чудесное посещение в какие-то особые мгновения нашей жизни.

Если же говорить о поэзии, то здесь невозможно охватить даже самую малость, потому что не было поэта в России (я беру только Россию), который не обращался бы к библейским и особенно евангельским сюжетам.

Я думаю, что теперь вы все уже прочли «Доктора Живаго». Вы помните страницы, посвященные явлению Христа в тот древний мир Римской империи, где была давка богов в три этажа. Но вот пришел Христос и возвестил человека. Человека... И началась новая история.

Что касается евангельских стихов, которые приложены к «Доктору Живаго», то вы должны были заметить, что многие из них навеяны картинами старинных мастеров, а события Священной истории разворачиваются не в одеждах и обстановке древности, а нового времени.

Рождество в стихотворении «Рождественская звезда» описано, как на иконе или современной картине: тут и холод, тут и снег, и все новое. И в стихотворении «Магдалина» Мария Магдалина поливает миром из ведерка — не из старинного кувшина, как это было в Евангелии, а у нее в руках ведерко, как у женщины сегодня, и она видит Того, Кто простер многим руки с креста, как объятия.

У людей пред праздником уборка.

В стороне от этой толчеи

Омываю миром из ведерка

Я стопы пречистые Твои.

Шарю и не нахожу сандалий.

Ничего не вижу из-за слез.

На глаза мне пеленой упали

Пряди распустившихся волос.

Ноги я Твои в подол уперла,

Их слезами облила, Иисус,

Ниткой бус их обмотала с горла,

В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновидением сивилл.
Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.
Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.
Брошусь на землю у ног распятия,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.
Для кого на свете столько шири,
Столько муки такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?
Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.

Проблема внутреннего видения Священного Писания у Пастернака тема сложная. Он не считал себя ортодоксальным христианином, у него были какие-то свои восприятия, но Воскресение он переживал. Воскресение — значит присутствие Христа. Не просто жизнь кого-то когда-то. И поэтому в одном из стихотворений звучат вещие слова от лица Самого Христа (мало кто из поэтов умел говорить от Его лица):

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,

Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.

Они плывут до сих пор. Мир непрестанно судится. Многие из вас нередко спрашивают о Страшном Суде, о конце мира — все это продолжается сейчас. Христос сказал: «Ныне суд миру сему», сказал две тысячи лет назад.

Итак, друзья мои, я мог бы говорить вам и о пророческих прозрениях Волошина. В грозные двадцатые годы он более других понял, что происходит, и писал от лица пророка Иеремии, писал о Лазаре, восстающем из гроба, о надежде, что и страна встанет из гроба. Многие наши современники писали на эти сюжеты. Каждый пытался найти что-то свое, и так будет всегда. Потому что для художника и поэта творчество есть его жизнь, а жизнь судится только перед лицом вечности. Если вечности нет, то мы, как саранча, которая проносится и исчезает в воздухе, не оставив после себя ничего, кроме голой земли.

Сейчас наше время полно тревожных событий и сообщений. Мы видим, как злые стихии, скрытые в человеке, вырываются наружу. Никакая сильная рука не может этого остановить — только Дух может упорно и терпеливо работать над тем, чтобы человек преобразился. Если мы не будем стремиться к этой цели, то внешние преобразования мало что дадут. И поэтому неудивительно, что лучшие мыслители, если взять хотя бы Россию XX века, и многие писатели XX века неизбежно обращались к Священному Писанию тогда, когда они хотели выразить, казалось бы, самые далекие от него истины...

Мне вспоминаются сейчас «Двенадцать» Блока и «Ответ Демьяну Бедному» Есенина. Есенин выступал там против берлиозов своего времени в защиту Христа как борца за справедливость. Что ж, он увидел в Нем что-то близкое себе. А Блок увидел Его впереди двенадцати...

Их не случайно двенадцать. Это двенадцать апостолов. Двенадцать апостолов новой веры, впереди Иисус Христос. Но так ли это? Я думаю, что здесь что-то зловещее и таинственное. Блок хотел, чтобы там шел Другой (с большой буквы). Он сам об этом говорил. А почему-то поставил Христа. Загадка эта вызывала много споров. И до сих пор вопрос не решен, и, я думаю, никогда не будет решен.

Почему Блок желал поставить Другого, а невольно поставил Христа впереди? Самый простой ответ — это то, что он верил, что эти двенадцать выполняют благую вселенскую миссию. Но это спорно, потому что они не верят в Христа, они идут без креста. И я думаю, что это был не библейский Христос, не реальный Христос. Любой из вас пусть обратится к Евангелию и подумает, можно ли представить себе Иисуса Назарянина в «белом венчике из роз»? Нет, нет. Это тень, призрак. Это пародия. Это то раздвоение сознания, которое ввело в заблуждение наших отцов.

Блок писал, что он ходил по темным петроградским улицам и видел, как кружились метельные вихри и ему виделась там та фигура. Это был не Христос, но ему казалось, что так хорошо, так прекрасно. Вы помните сцену, которая описана у Маяковского. Но это было не хорошо. Это была трагедия. Блок это понял, к сожалению, поздно. Значит, не было там Христа. Не было.

(Голос из зала: «Блока поправили — впереди идет матрос!» В зале смех.)

Если бы там был только матрос, все было бы просто, но в том-то вся и беда, что он написал, что впереди Иисус Христос!

В чем же ответ? Блок как пророк — многие поэты являются инстинктивными, стихийными пророками — он почувствовал веру людей в то, что мир можно перекроить кровавым образом и что это будет во благо. Поэтому у него Христос это псевдохристос. Я думаю, что в «белом венчике» и заключается бессознательное прозрение — это изображение псевдохриста. А когда он обернулся, оказалось, что это Антихрист.

И мы знаем, что в истории произошло именно так. Было сказано много красивых, прекрасных слов, но жизнь пошла иначе. Многие люди, особенно из старшего поколения, верили... Мы не должны их огульно осуждать и злорадно говорить им: где вы были, почему вы молчали, когда творилось беззаконие? Нет, ведь мы все хорошо помним искренность, убежденность многих людей, не просто конформистский страх, а искреннее убеждение, что все идет хорошо, что впереди, несмотря ни на что, идет Христос. Но Его впереди не было...

В этом-то и задача человечества — найти ту дорогу, где Он будет идти впереди. Только тогда дорога будет вести к храму. Я вовсе не

имею ввиду механическое обращение в христианство всех людей. Нет. Но можно быть верным духу Христову, даже оставаясь мусульманином, агностиком, буддистом. Сам Господь будет судить о людях, кто Ему принадлежит, а кто — нет.

Напомню вам в заключение слова Христа: «Многие скажут Мне в тот день: не от Твоего ли имени мы пророчествовали... не Твоим ли именем многие чудеса творили... и делали все?» Но Он сказал: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное... Я никогда не знал вас, отойдите от Меня...» Значит, все здесь и сложно, и одновременно просто, ибо Он говорит нам: «То, что вы делаете для Моих братьев меньших, вы делаете Мне». Здесь мы подходим к тайне, что Христос реально присутствует там, где имя Его может и не произноситься. И напротив — там, где, казалось бы, Он назван по имени и идет, может оказаться, что это не Он, Его антипод. Так не раз бывало в истории.

Спасибо, дорогие друзья!

Беседа вторая

Дорогие друзья! В прошлый раз мы с вами остановились на странном феномене «Двенадцати» «...впереди Иисус Христос». Некоторые в записках меня спрашивают, что же хотел сказать Александр Александрович этим образом? Те из вас, кто знаком по воспоминаниям, дневникам и письмам, с биографией и творческой лабораторией Блока знают, что этот вопрос ему задавали уже его современники. Некоторые даже перестали подавать ему руку. Эта поэма (в сущности, прекрасная, одно из сильнейших его произведений) вызвала бурю гнева и возмущения. Знаменитая книга Николая Александровича Бердяева «Философия неравенства», хотя и не касалась непосредственно поэзии, внутренне была нацелена против Блока и тех, кто был с ним.

Блок признавался, что сам не понимает, каким образом впереди оказался Иисус Христос. Нужно, чтобы был Другой, «Другой» — с большой буквы, что-то вроде Антихриста. Так или иначе, но библейская схема налицо: Христос и за Ним идут двенадцать апостолов новой веры.

Мне кажется, что здесь может быть много различных интерпретаций и нужно обратиться к наиболее простой. Блок —

человек, глубоко тяготившийся жизнью, которая его окружала (если вы вспомните поэму «Возмездие»), чувствовавший, насколько предгрозовой была атмосфера в стране на рубеже столетий. Он разделял чувства многих людей, которые вылились в один горьковский вопль: «Пусть сильнее грянет буря!» Долбя в школе это стихотворение, вы, наверное, часто забывали о том, что люди начала века чувствовали, читали и переживали его с большим пафосом. Они действительно жили в чем-то затхлом — назревала новая эпоха, яйцо должно было треснуть, должно было родиться нечто новое.

Они чувствовали и переживали это по-разному. Помните «Скучную историю» Чехова? Иногда, когда наша жизнь становится слишком тревожной, угнетающей и хочется, чтобы она была другой, когда возникает ностальгия по более спокойной жизни, я рекомендую людям в качестве противоядия Чехова. Стоит как следует вчитаться в мир этих людей, которые только говорили: «В Москву, в Москву...», а сами в конце концов никуда не шли, ни для чего ни жили, ничего не делали, находились в состоянии стагнации. Надо внутренне перенестись в их состояние, чтобы ощутить человеческую правоту этого крика: «Пусть сильнее грянет буря!» И, конечно, никто толком не понимал, какую форму эта буря примет. Все это были мечты, фантазии.

Но была во все времена русская и не только русская, традиция в литературе и искусстве — некие вечные, крупные, волнующие темы передавать языком Библии, независимо от того, каким было отношение к Библии у данного писателя или художника. Даже «Старуха Изергиль» несомненно несет на себе смутные черты библейских мотивов. Данко, вырвавший свое сердце и освещающий путь людям, это псевдохристос. Многие художники-передвижники, изображавшие Христа, вкладывали в этот образ свои мысли, я бы сказал, часто посторонние мысли, не библейские. Крамской прямо писал, что хотел изобразить человека, который находится на перекрестке своей жизненной дороги, на развилке путей. Но если бы он изобразил просто мужичка, который присел отдохнуть на развилке, люди посмотрели бы и прошли мимо, но он изобразил Христа в пустыне в решительный момент Его земного пути, и это сразу же как магнитом привлекло внимание тысяч зрителей — и до сих пор привлекает.

Чтобы показать правоту той истины или ситуации, которую художник хочет изобразить, надо связать ее с Библией и с образом Христа. Безусловно, Блок хотел сказать: да, идут бандиты, на них бубновый туз (вы знаете, что пришивали каторжным), но они идут на правое дело, они апостолы некоего нового мира, грядущего после катастроф революционной бури, которая сметет весь старый мир: и интеллигента-витию, и Учредительное собрание, и «товарища попа», который пытается что-то лепетать, — все будет сметено этой бурей.

Надо сказать, что и сам Блок тоже принадлежал к категории людей, которых смела эта буря. Едва ли он был настолько наивен, чтобы не понимать этого. Я думаю, не стоит вам напоминать ту знаменитую сцену, для меня очень значимую: ночью в революционном Петрограде Блок стоял у костра, к нему Маяковский подошел, и он рассказывал: да, Шахматово сожгли, библиотека погибла, хорошо, хорошо... Почему хорошо? Да потому, что Блок жил вне этических представлений. Напивавшись некими ницшеанскими идеями, он был в экстазе от «музыки революции». Я могу пояснить это таким примером. Однажды я был на пожаре. Горел соседний дом. К счастью, никто не пострадал, все успели выйти, вызвали пожарных. Была зима, как сейчас. Собирались люди, и все смотрели. И я заметил, что смотрят с восторгом: гудение ясного пламени зимой, когда воздух чистый, непрерывные выстрелы взлетающих головешек, буря — ведь дом рушится! — но все равно зрелище катастрофы обладает магическим притяжением, подобно пене за кормом корабля или пляске огня в костре.

Однако в поэме есть одна маленькая «тонкость»: Христос идет с кровавым флагом, в каком-то странном белом венчике из роз, которого вообще не знает христианская иконография. Не знает. Христианская иконография Запада и Востока изображала Христа в терновом венце, в сиянии ауры, нимба (нимб рисовался по-разному в зависимости от традиции), но никогда, а я видел тысячи картин у нас и за рубежом, никогда ни один протестантский, католический или православный художник не изображал Христа в венчике из роз. Такой венчик — античный символ пиршества, на пиру древние римляне украшали себя венками из цветов. Это совершенно чуждое образу Христа украшение. Тем более кровавый флаг. Но поэт всегда немножко провидец: ему хотелось сказать, что впереди идет правда и ее хотелось изобразить в

виде Христа. Но получился образ фальшивого Христа, псевдохриста. Блок изобразил Другого. Это и был действительно Другой, тот самый, со своими двенадцатью апостолами, которые вполне его стоили.

Рядом стоят еще два поэта той эпохи: Есенин и Андрей Белый.

Андрей Белый был человеком, оторванным от действительности, жившим в вымышленном мире. Период времени перед революцией он провел в Швейцарии, где знаменитый в то время основатель антропософии Рудольф Штейнер устроил Центр этой гностической школы.

Штейнер был, по-моему, достаточно одаренной и симпатичной личностью, типичным порождением поздней австрийской культуры на рубеже прошлого и нашего века. Его задача была любопытной: он попытался перестроить индуиствующую теософию на христианский лад, окрасить ее по-христиански. Он говорил, что индийский менталитет, и не только менталитет, но и вся индийская астральная структура — иная, нежели европейская. Я не уверен, что это так, но культура действительно иная. И он попытался создать свой вариант гностицизма, то есть тайного знания, с ориентацией на христианские символы.

Когда я думаю о Штейнере, читаю его книги (я читал очень много его произведений) или читаю о нем, я мысленно оплакиваю его. Мне всегда хотелось, чтобы такой человек служил истине, христианству. Очень жалко и обидно, что он пошел по оккультному пути. Если я не ошибаюсь, я вам говорил, в чем отличие оккультного от мистического: мистическое поднимается вверх, оккультное идет в боковые параллельные вселенные, а поскольку они обманчивы, то человек может всю жизнь проплутать среди этих образов, среди блуждающих огоньков болота, создать целые системы мирозданий, астральных миров, коридоров, иерархий и завязнуть в этом бесконечном вращении тварного мира.

Я заговорил на эту тему потому, что Андрей Белый — человек ранимый, неприкаянный, трагически не понявший церкви. Я должен вам сказать честно, церковь была в этом частично виновата: такие хрупкие люди как Андрей Белый нуждались в особом подходе. Как говорила одна умная пожилая женщина, это овцы стада Христова, но тонкорунные овцы, их так просто нельзя взять. Белый был тонкорунной овцой.

Может быть, кто-нибудь из вас читал «Серебряного голубя», роман недавно переиздали. Белый в нем описывает путь интеллигента начала века, который пошел в дикую хлыстовскую секту, где его и убили. А начинается роман с того, что герой появляется в городе, идет в храм, где идет служба, где все скучно, все покрыто плесенью быта. Для тонкорунных овец, изощренных в Канте, неокантианстве, выросших в символизме, все это было чуждо.

Белый воспринял антропософскую идеологию. Согласно ей, Христос — реальная, действующая в мире личность. Но он (я буду говорить упрощенно) не что иное, как дух Солнца. Каждая планета, согласно антропософии, населена своими духовными мирами и существами, полуфизическими, полудуховными. В какой-то момент истории солярный дух, дух Солнца, стал двигаться к земле, чтобы изменить духовную оболочку земли, ее ауру. А поскольку на рубеже столетий действительно в мире что-то менялось, эта концепция казалась очень убедительной и привлекательной. Штейнер раскапывал древние тексты, находил там места, свидетельствующие, что некие ясновидцы видели ночьюдвигающееся Солнце (на самом деле все совсем не так — они имели в виду другое). Так или иначе Штейнер говорил: Христос — это духовное Солнце, пришедшее на землю и изменившее ауру. В мировых событиях Андрей Белый видел это изменение ауры.

Какие же это события? Он приехал из прекрасного далека во время мировой войны и написал поэму «Христос воскрес» — полный аналог «Двенадцати». Любопытно, что именно три столпа символизма: Брюсов (но тот был просто труженик пера), Белый и Блок восприняли эти события исключительно восторженно. Должен сказать, что у Андрея Белого восприятие переворота оказалось гораздо более глубоким, чем у Блока. Это был некий гимн, восторг библейского созерцания. И форма острая, такая же смелая, как у Блока. Я зачитаю несколько строк, поскольку не все вы, наверное, читали эту поэму.

В глухих
Судьбинах,
В земных
Глубинах,
В веках,
В народах,

В сплошных
Синеродах
Небес — -
Да пребудет
Весть: —
Христос Воскрес!
Есть.
Было.
Будет.
Преисполнило этого человека,
Простирающего длани
От века до века — -
За нас; -
Когда что-то
Заряло
Из вне-времени,
Пронизывая Его от темени
До пяты...
И провеяло
В ухо
Вострубленной
Бурею Духа:
«Сын,
«Возлюбленный -
«Ты!»
Заря
Огромными зорями
В небе
Прорезалась
Назаря...
Жребий -
Был брошен.
Толпы народа
В Иордане
Увидели явственно: два
Крыла.
Сиянием

Преисполнились
Длани Этого
Человека...
И перегорающим страданием
Века
Омолнилась голова.
И по толпам
Народа
Желтым
Маревом,
Как заревом,
Запрядала разорванная мгла, —
Над, как дым,
Сквозною головою,
Веющею Верою,
Кропя
Его слова, —
Из лазоревой окрестности
В зеленеющие
Местности
Опускалось что-то световую
Атмосферу...
Прорезывался луч
В новозаветные лета...

Это картина перемены ауры Земли. Происходит соединение Христа с Иисусом, потом Христос умирает и воскресает. Поэт дает сцену, которая навеяна не только Евангелием, но и напоминает картины известного немецкого художника Грюневальда, который изобразил Распятие в страшной форме — в той ужасной форме, где физическое страдание доведено до предела, где кончается искусство и начинается натурализм.

Измученное, перекрученное
Тело
Висело
Без мысли.
Кровавились
Знаки,

Как красные раны,
На изодранных ладонях
Полутрупа.
Эти проткнутые ребра,
Перекрученные руки,
Препоясанные чресла -
В девятнадцатом столетии провисли: —
«Господи!
«И это
«Был -
«Христос?»
Но это -
Воскресло...

Вспомните «Идиота» Достоевского, вспомните ужас Достоевского перед картиной мертвого Христа. И вот, доведя изображение до последнего предела ужаса, Белый подводит нас к тайне Воскресения.

Труп из вне–времени,
Лазурей
Пронизанный от темени
До пяты,
Бурей -
Вострубленной
Вытянулся от земли до эфира...
И грянуло в ухо
Мира: —
«Сын,
«Возлюбленный -
«Ты!»
Пресуществленные божественно
Пелены,
Как порфира,
Расширенная без меры,
Пронизывали мировое пространство,
Выструиваясь из земли.
Пресуществленное невещественно
Тело
В пространство

Развеяло атмосферы,
Которые сияюще протекли.
Из пустыни
Вне времени
Переполнилось светами
Мировое дно, —
Как оно -
Тело
Солнечного человека,
Сияющее новозаветными летами
И ставшее отныне
И до века -
Телом земли.
Вспыхнула вселенной
Голова
И нетленно
Простертые длани
От Запада до Востока, —
Как два
Крыла
Орла,
Сияющие издалека.

Своеобразное видение смерти и воскресения Белый переносит на трагедию первой мировой войны, на судьбу России и свою надежду, которой у Блока, в сущности, нет. В «Двенадцати» надежды нет, а последнее его стихотворение «Пушкинскому дому» вообще говорит о другом: «Но не эти дни мы звали, а грядущие века». Для Белого все иначе, все мистично.

Россия,
Страна моя -
Ты — та самая,
Облеченная солнцем
Жена,
К которой
Возносятся
Взоры...
Вижу явственно я:

Россия,
Моя, —
Богоносица,
Побеждающая
Змия...
Я знаю: огромная атмосфера
Сиянием
Опускается
На каждого из нас, —
Перегорающим страданием
Века
Омолнится
Голова
Каждого человека.
И слово,
Стоящее ныне
Посередине
Сердца,
Бурями вострубленной
Весны,
Простерло
Гласящие глубины
Из огненного горла: —
Сыны
Возлюбленные, —
«Христос Воскрес».

Это было написано весной 1918 года. Это интерпретация либеральная, условная. У Блока — все равно добро, все равно Христос. Вторая интерпретация — мистическая: в бурях совершается рождение нового человека.

Следующая интерпретация принадлежит уже Есенину. Она тоже навеяна Библией, но здесь уже настоящий мрак и восстание. Есенин говорит то, чего другие говорить не решались.

Я думаю, что многие из вас знакомы с этими текстами, тем не менее неплохо нам их сейчас вспомнить. Если Блок лишь намекал, что впереди должен идти Другой, то Есенин сказал об этом открыто. Есенин — человек огромной поэтической отзывчивости, стихи его до

сих пор затрагивают струны нашего сердца, потому что он очень человечен, прост. Это не символист Белый — для избранных. Это и не Блок, который, может быть, и старался прийти к народу, но все же был избранным, элитарным поэтом. Есенин мог бы стать элитарным поэтом, но сознательно им не стал. Он был начитанным, образованным, интеллигентным человеком — он только играл под простачка. Это была его, так сказать, роль среди столичных интеллектуалов.

Есенин сжился с традиционной церковной, библейской символикой, она была для него языком таким же естественным, как образы природы или образы, связанные с любовью, весной, закатом, осенью. Но когда он увидел это восстание, он его пережил как восстание Антихриста, самое что ни есть настоящее! И сказал об этом прямо, со свойственной ему игрой в библейскую «грубость». Вот несколько строк из поэмы «Инония».

Не уstraшуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое приspело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело
Выплываю изo рта.
Не хочу воспрять спасения
Через муки Его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Я иное узрел пришествие -
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.

Прекрасные слова, блестящие! Сам Антихрист о себе не сказал бы лучше! Поэты ведь не от себя говорят, недаром Пушкин называл поэта эхом. Это в значительной степени бессознательное творчество.

Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех.
Не хочу я небес без лестницы,

Не хочу, чтобы падал снег.

Даже все родное, церковное, что всегда было связано для него с пейзажем, с детством, с матерью, наконец, — все это становится ему противно. Никогда оно не было противно Есенину, до конца дней не было противно, но здесь он говорит, как одержимый:

Лай колоколов над Русью грозный -

Это плачут стены Кремля.

Ныне на пики звездные

Вздыбливаю тебя, земля!

Заметьте, уже не музыка, а лай колоколов. Он восстает на Бога, он произносит кощунства, он проклинает те слова, которые поколениями были священны для людей, даже самых грубых, те слова, которые поколениями были священны в древнецерковных традициях. В нашей церковной истории: в Византии, Древней Руси, Болгарии, на Востоке, как и в западной церковной истории — было немало темных пятен, и мы этого не скрываем. Но и на Западе, и на Востоке всегда существовала мысль, что Бог охраняет малый остаток, что в церкви грешников всегда есть оазис, остров праведников. В старинной русской традиции этот оазис назывался Градом Китежем, скрытым Градом. Но Есенин пишет:

Проклинаю я дыхание Китежа,

И все лощины его дорог.

И хочу, чтоб на бездонном вытяже

Мы воздвигли себе чертог.

Языком вылижу на иконах я

Лики мучеников и святых.

Обещаю вам град Инонию,

Где живет божество живых!

«Божество живых» — это, по-моему, не требует даже комментариев. Старая Русь, столь любимая Есениным, невольно оказывается противоположностью новой.

Плач и рыдай, Московия!

Новый пришел Индикоплов.

Все молитвы в твоём часослове я

Проклюю моим клювом слов.

Чтобы не читать всю эту псевдобиблейскую, хотя и безусловно сильно написанную поэму, я закончу ее эпилогом. Поэт впадает в

пророческий экстаз, он видит новый град:

По тучам иду, как по ниве я,
Свесясь головою вниз,
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонкоклювых свист.
В синих отражаюсь затонах
Далеких моих озер.
Вижу тебя, Инония,
С золотыми шапками гор.
И дальше поется песня нового мира:
Слава в вышних Богу
И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи прободил.

Вы знаете, что согласно евангелисту Луке, эту песнь пели ангелы, когда родился Христос. Это была древняя песнь о Спасителе, которую поют уже много поколений людей: «Сияние Бога на небе, но оно же и на земле среди людей доброй воли».

Слава в вышних Богу
И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи прободил.
Кто-то вывел гуся
Из яйца звезды -
Светлого Иисуса
Проклевать следы.
Кто-то с новой верой,
Без креста и мук,
Натянул на небе
Радугу, как лук.
Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне
Вызрел Назарет.

Опять библейские ассоциации: есть пророчество, что Христос въезжает в Иерусалим на осле — осел знаменовал мир, и пророк

Захария говорит: «Ликуй от радости, дочь Сиона, и Царь твой грядет к тебе... кроткий, сидящий на ослице».

Новый на кобыле

Едет к миру Спас.

Наша вера — в силе.

Наша правда — в нас!

И «Спас» пришел, вернее, приехал, только не на кобыле. Как ни странно, Иосиф Джугашвили, будучи горцем, почему-то не любил ездить на лошадях, а предпочитал другие способы передвижения. Но его прозревали и ждали, и он пришел. Такие слова не рождаются просто в фантазии поэта. Я в третий раз подчеркиваю, что Есенин здесь выступил медиумом, почти бессознательным медиумом, проводником какой-то демонической силы, которая заставила его произнести эту библейски-кошунственную поэму.

В то же время жил и трудился у себя в Коктебеле Максимилиан Александрович Волошин. В прошлый раз я вам говорил о том, что из всех поэтов того времени он глубже всех понял ситуацию, лучше всех осознал огромную историческую перспективу происходившего. Он не увидел тут рождение апокалиптического нового мира, которое виделось Белому, или некое восстание Антихриста, как у Есенина, или абстрактные принципы добра и справедливости, выступающие в образе Христа, как у Блока. Он видел все в огромном масштабе, с точки зрения всей истории, а он знал ее лучше их всех. Для него период 1612 года, Лжедмитрий, события Французской революции, перевороты, которые совершались в мире, были уроками, и он смотрел на события двадцатых годов с этой точки зрения. Проникая в самую суть событий, он часто выражался на языке библейской эсхатологии: «Народу русскому я грозный ангел мщенья».

Почему «ангел мщенья»? Потому что он видел нечто закономерное в катастрофе, которая произошла. Дело в том, что уже тогда, начиная с 1917 и в 1920-е годы, многим людям казалось, что негативные явления, связанные с революционными процессами, были случайностью, их могло и не быть. Нет, все это имело свои глубочайшие причины. Они уходили далеко в историю и глубоко в душу человека. Недаром Волошин писал поэму о святом Серафиме Саровском как об идеале русской святости, о протопопе Аввакуме, о трагедиях русской и европейской истории — он мыслил глобально.

Сторонник индийских воззрений сказал бы, что он мыслил кармически. Я не очень люблю употреблять эти термины, но могу сказать так: он ощущал осмысленность мирового процесса. И не интуитивно, а на основании колоссальной своей эрудиции и глубокого проникновения в суть вещей.

Он был не просто поэтом. Я никогда не забуду, как его вдова рассказывала мне о тушении пожара. Она была достаточно скептической дамой, чтобы что-то выдумать. Загорелся дом, и Макс, как все его дома называли, подошел, сделал так руками и медленно двинулся на огонь — и огонь отступил, он дистанционно погасил пожар.

Один из исследователей личности и творчества Максимилиана Волошина — Владимир Петрович Купченко, человек, который в молодые годы приехал с Урала в дом Волошина, к его вдове, жил там долгое время, проделал колоссальную работу по изучению биографии и наследия, потом попал под колесо застойных времен, был выброшен из музея, оклеветан, едва избежал судебного преследования. Сейчас он, можно сказать, реабилитирован. Он собрал последний том прозы Волошина «Лики творчества», там есть его серьезные комментарии, надеюсь, они будут и дальше появляться. Он собрал целый томик стихов Волошина на библейские сюжеты, я ему помогал их комментировать.

На эту тему мы могли бы говорить несколько часов подряд, ибо каждое библейское стихотворение Волошина содержит в себе глубочайший смысл. Подчеркиваю, я не литературовед и не разбираю чисто художественные аспекты. Некоторые люди считают, что Волошин был слабым поэтом, я согласиться с этим не могу, но нас сейчас интересует совсем другая проблема.

Я бы очень хотел обратить ваше внимание на то, что у Волошина была глубокая интуиция: катастрофа, происшедшая у него на глазах, не конец, не полная катастрофа, а испытание для многих людей, причем испытание, которое можно пережить с достоинством. Вы, вероятно, знаете пластинку «Голоса поэтов», которая была выпущена сравнительно недавно, там он читает свое стихотворение «На смерть Гумилева и Блока». Да, действительно, это было страшное время, и он мог ждать каждую минуту расправы над собой, но замечательно, что

он писал о своей стране: «Но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекись».

Это был человек, абсолютно лишенный какого-либо национализма, шовинизма, он был естественным, здоровым патриотом, хотя по матери и немец. И среди его стихотворений есть одно — пророческое, навеяно темой Достоевского.

Вы помните, что, когда Достоевский писал «Бесов», он взял за основу одну из самых странных, загадочных историй в Евангелии. Толкователи до сих пор не решили вопрос, что там произошло. Однажды (я напомним тем, кто не читал) Христос прибыл на лодке в пустынное место, где жили язычники, — в восточной стороне моря Галилейского. Там, среди пещер и гробниц жил бесноватый. Он выскочил с диким криком, но Христос его остановил и избавил от беса. И тут произошло нечто странное. Темная сила, корежившая этого человека, вдруг всколыхнула стадо свиней, которое там пасли язычники, и стадо, обезумев, бросилось в воду.

Повторяю, тайна этого места не расшифрована. Достоевский расшифровал его исторически: свиньи — это нигилисты, революционеры, демоны разрушения войдут в них, они бросятся в воду истории и потонут. Но история рассудила иначе: бесы в них действительно вошли, но бросились они не в воду, а на людей, так что все несколько более трагично. Волошин берет тот же сюжет и рассматривает его как пророчество.

Был к Иисусу приведен
Родными отрок бесноватый -
Со скрежетом и в пене он
Валялся корчами объятый.
«Изыди, дух глухонемой!» -
Сказал Господь.
И демон злой
Сотряс его и с криком вышел.
И отрок понимал и слышал.
Был спор учеников о том,
Что не был им тот бес покорен...
А Он сказал:
«Сей род упорен:
Молитвой только и постом

Его природа одолима». Не тем же ль духом одержима Ты — Русь глухонемая? Бес, Укрыв твой разум и свободу, Тебя кидает в огонь и в воду, О камни бьет и гонит в лес. И вот взываем мы: «Прииди!» А Избранный вдали от битв Кует постами меч молитв И скоро скажет: «Бес! Изыди!...»

Волошин думал и надеялся — и мы эту надежду разделяем, что демоны разрушения, ненависти, зла, демоны глухонемые, как называл их Волошин (это реминисценция из Тютчева), не навсегда поселились в душе нашего народа, в нашей стране. И что есть средство против них: молитвой и постом. Я думаю, друзья мои, что это средство не устарело, оно продолжает сохранять свою действенность и поныне. Что касается демонов, то у них есть одна особенность: они все время меняют облик и, выступая под разными знаменами, продолжают свое разрушительное дело.

Я хотел вам зачитать стихи некоторых других наших современных поэтов, но чувствую, что это бесконечно... Вот киевский русский поэт Вышеславский написал небольшое стихотворение «Поэт», по-своему понимая образ Христа. Оно изображает Христа как поэта среди прозы жизни. Вы скажете: что за пошлость! Это не пошлость. Для Леонида Вышеславского поэт — это значит святой, тот, кто видит красоту мира, а Христос нам показывает ее.

Что у нас есть из прозы? Я вижу здесь четыре главных произведения: «Доктор Живаго», «Мастер и Маргарита», «Плаха» Айтматова и, конечно, роман Домбровского. Есть и более мелкие, но мы остановимся на этом.

В первой части «Доктора Живаго» родственник матери главного героя, бывший священник Николай Веденяпин, рассуждает о жизни. Это прекрасные строки. Он говорит, что Христос принес в мир благоговение перед личностью, что раньше была давка в три этажа: боги, люди, рабы, которых скармливали рыбам. «Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн». И вот приходит Христос, приходит человек, который совсем не звучит

«гордо». Он приходит просто и приносит человечность и мир. Именно вокруг этого вращается мир, и поэтому герой Пастернака говорит о необходимости быть верным Христу. Даже если человек не понял Христа до конца как Богочеловека, но чтит священность личности, он уже сохраняет какую-то верность Христу. Мысль достойная и глубокая, хотя далеко не исчерпывающая.

Надо сказать, что религиозность Пастернака была очень туманной, так сказать, необязательной. Он был крещеным человеком, в кругу друзей высказывался как человек, принимающий религиозное мировоззрение... Он учился в Марбурге и занимался философией, но не был ни философом, ни теологом. Однако его стихотворения на евангельские темы обладают удивительной особенностью: они чем-то напоминают древние иконы, древневизантийские, древнерусские. Средневековые западные иконы очень часто актуализировали события, то есть изображали их на фоне действительности, знакомой человеку любого времени.

Я не буду вам цитировать стихотворение «Рождественская звезда». Вы все помните его: «Стояла зима. Дул ветер из степи. И холодно было Младенцу в вертепе на склоне холма». В истории было не так: около Вифлеема в то время было достаточно тепло, так что пастухи на ночь даже не загоняли овец и они всю ночь находились под открытым небом, значит, это было весной или летом. Но это неважно: снег, льды — это наше обрамление Рождества. И стихотворение про Марию Магдалину: «Поливаю миром из ведерка я стопы пречистые Твои...» Когда я услышал это впервые лет тридцать назад, меня даже немножко покорило: что за ведерко такое? Но потом, вчитываясь, я понял простоту, бытовизм этих стихов, напоминающих иконы. На иконе фигурируют детали быта, знакомые средневековому человеку. И хотя это были события первого века нашей эры, но события эти вечны, в них участвуют народные массы, богослужение и сама природа.

Есть одно свойство Пастернака: природа — участница и герой всех его произведений, особенно «Доктора Живаго». Вспомните, как переживают за него окружающие деревья, как, описывая драмы в жизни доктора и его друзей и близких, Пастернак с таким же энтузиазмом описывает, как наступает весна — это тоже для него было событие. Стихи о пасхальной службе — одно из самых прекрасных стихотворений о православном богослужении: «Еще кругом ночная

мгла, еще так рано в мире...» Вспомните, как там деревья участвуют в богослужении, как они расступаются, приближаются — «Они хоронят Бога». Природа, человек, снег, богослужение, Псалтирь или Апостол — все это сливается в удивительную вязь. Или вот стихотворение:

Большое озеро, как блюдо,
За ним — скопление облаков.
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.
По мере смены освещенья
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоты покрыт.

Кажется, что он смотрит на храм, на храм в его душе, потому что то реальное озеро, которое он описывает, на самом деле маленький прудик, раза в два шире, чем это помещение, но поэт воспринимал его как картину мира, и на этом фоне совершались события духовные:

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.
И, наконец, стихотворение о свете, тоже из «Доктора Живаго»:
«Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора...»

Что значат эти слова? Почему «в этот день»? Потому что Церковь верит, что события прошлого, великие события жизни Христа вырываются из потока времени. Поэтому мы поем на Рождество: «Дева днесь Пресущественнаго рождает...» Дева родила Его не две тысячи лет назад, хотя так и было на самом деле, а рождает сегодня, для нас это актуально сегодня. В этом торжество: здесь, сегодня это происходит. Поэтому актуализация оправдана, одухотворена и позволяет многое видеть тем из нас, кто, как доктор Живаго, герой романа, открывает, оживая после обморока, Его Завет, Завет Христа. Ведь все мы живем как в обмороке и, слушая слова Христа, можем очнуться, когда приходит Воскресение.

Пастернак дерзает сказать прямо, от лица Христа, внутреннее чувство поэта позволяет ему это:

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.

Образ снова взят не из библейской истории, а из того, что Пастернак подглядел, скажем, на Волге или еще на каких-то реках, где сплавляют бревна. Но он увидел в этом символ истории: столетия плывут ко Христу, являющемуся их стержнем.

Человек другой культуры, Чингиз Айтматов поражает нас еще большей смелостью. Ибо Пастернак вырос на библейской и европейской культуре, в музыке, поэзии, литературе, философии, а Чингиз Айтматов провел суровую юность в совершенно ином культурном климате — мусульманском, в тяжких условиях: отец его был репрессирован, и сам он занимался не музыкой, не философией, как Пастернак, а был зоотехником, это мало способствует занятиям литературой. Для вас, горожан, это звучит не совсем понятно, но я проходил в свое время ветеринарию, поверьте мне, это малоромантическое занятие.

Айтматов затронул в своем творчестве глубокие нравственные катастрофы нашего общества, и это ставит его в один ряд с ведущими российскими писателями, в русло традиции, которой двести-триста лет. Он пишет не для того, чтобы написать, как скажем, Флобер, который часто писал для того, чтобы написать, потому что сказать ему было особенно нечего, он мог только что-то рассказать... Между тем Айтматов создает совсем новый мир. Он знакомит нас с миром природы, упорно уничтожаемой в наше столетие, он входит в детскую душу, в романе «Плаха» он ставит апокалиптическую, я бы сказал, для нас тему наркомании. Это вам не алкоголизм. Чтобы стать алкоголиком, надо «поработать», а наркоманом можно стать с одного раза, такова психофизическая природа человека.

Этому миру отбросов, черных людей он хочет противопоставить носителя добра. И все трагично. Какой-нибудь Николай Островский повел бы туда, к этим гонцам в Среднюю Азию, юного идейного большевика типа Павки Корчагина, который попытался бы вылавливать их и истреблять. Но Айтматов прошел другую школу, он уже знает, что ни к чему хорошему такое не приводит. Ему захотелось найти какую-то новую точку отсчета для новой шкалы, и, будучи

человеком в общем внерелигиозным, он обратился к христианской традиции.

Его спрашивали, почему именно христианской, ведь он мусульманин по культуре. Он ответил, что христианство в духовном и нравственном смысле лидирует сегодня в мире. Он признал это как объективный факт и захотел изобразить современного Христа. Я не могу сказать, что мне лично образ студента Авдия импонирует. Конечно, он напоминает мне скорее князя Мышкина в современном варианте. Достоевский хотел сделать князя Мышкина новым Христом. Это не получилось. Христос Евангелия — другой.

В чем трагедия Авдия? Этот юноша скорее похож не на православного, а на баптиста. У нас баптисты — самые рьяные христианские проповедники, что вызывает глубочайшее уважение и симпатию, но в силу ряда причин они не ищут общего языка с окружающим миром, а бьют сразу напропалую. Кто их услышал — хорошо, кто нет — нет. И герой романа Айтматова настолько чужд среде уголовников, что говорит с ними, как на китайском языке, диалога никакого нет, это пустое занятие, попытка с негодными средствами. Осуждать героя нельзя, такие люди есть, я их видел. Авдий — не вымысел. Но на Христа он не похож. Хотя Айтматов вовсе не ставит между ними знак равенства, но параллель явно проводится: Христос стоит перед Пилатом, который Его не понимает. Но на самом деле между Пилатом Айтматова и Христом Айтматова гораздо больше понимания, нежели между бедным Авдием и этими уголовниками. Здесь просто бездна лежит, и разговор состояться не может.

В вымышленном диалоге между айтматовским Пилатом и айтматовским Христом проскальзывают молнии, там иногда есть даже очень интересные мысли. «Когда Ты вернешься к нам?» — спрашивает Пилат. И Христос отвечает: «Когда вы ко Мне придете?» Над этим стоит задуматься. Я не уверен, что Айтматов богословски это осмыслил, но что-то водило его рукой. На вопрос, почему он так изобразил Христа, он честно признался, что Христос — это целый космос, и каждый писатель берет от Него только небольшую грань. Эти слова очень важны. Может быть, стенограмма нашей встречи в Западном Берлине все-таки будет где-нибудь опубликована и сохранятся для людей слова Айтматова: «Христос — это целый космос, и никто не может Его объять».

И, наконец, Домбровский. Настоящий герой нашего времени, настоящий человек, смелый, эпатирующий озорник, в нем немножко от Солженицына, но больше юмора, больше озорства, чем у Солженицына. В его романе «Факультет ненужных вещей» некий полоумный бывший батюшка создает книгу о Христе (всех прямо тянет к этой теме). Так вот, он пишет книгу о Христе, и отрывки из нее фигурируют в романе.

В чем здесь смысл? Смысл этой попытки интерпретировать историю Христа — сугубо советский, я бы сказал даже, сталинистский. Автор книги о Христе подозревает, что был еще один предатель, кроме Иуды. В самом деле, согласно старому закону (впрочем, и у нас он действует), нужны были два свидетеля, чтобы подтвердить показания. В одном из древних текстов сказано, что Иисус был обвинен при двух свидетелях. Герой Домбровского задает вопрос: кто же это был? Он делает многозначительные намеки: значит, кто-то из двенадцати? Не сам ли Петр, который отрекся?

Стукачебоязнь — типичная болезнь нашего времени. Обвинять наше поколение в этом нельзя, потому что люди прошли через такую школу гнусности, что уже не доверяли даже самим себе. То, что среди двенадцати еще был стукач, — это единственный в своем роде вариант, это, так сказать, апофеоз советской интерпретации евангельской истории.

Время неумолимо бежит, но я все-же не могу пройти мимо Михаила Афанасьевича Булгакова.

Здесь мы попадаем в еще более сложную ситуацию. Когда книга впервые была издана, очень многие люди приходили ко мне и спрашивали: это что же, Евангелие от Воланда? Надо сказать, что такая интерпретация ничего не означает, это пустые слова. Во-первых, начнем с того, что Воланд в романе Михаила Афанасьевича — не дьявол. Дьявол — начало разрушительное, это попрание всех эстетических и этических ценностей. А Воланд, несмотря на грязную рубашку, копыта и всякие фокусы, исходит из принципов здоровой, нормальной морали. Он, несомненно, в нравственном отношении превосходит советских москвичей двадцатых годов. Давайте вспомним, как он снисходительно говорит о людях: они такие же, как сто лет назад... Разве так говорит дьявол? Считать Бегемота дьяволом, пусть даже второго ранга, совершенное безумие: это просто душка. У

Гоголя даже карикатурный дьявол никогда не вызывает симпатии, а тут — кот, который сидит и починаят примус! Даже довольно мерзкий Коровьев — не дьявол. Давайте вспомним, что роман не дописан, что он написан как-то по-особому, что это скорее вдохновение, а не художественно сформулированная идея.

Что же было в романе? На что он похож? На Евангелие? Нет, не на Евангелие, а на Книгу Бытия. Может быть, вы удивитесь, это действительно может показаться странным, но я попытаюсь вам это в двух словах объяснить.

Разумеется, Творец пребывает повсюду. И нет места во Вселенной, где бы не было Его присутствия. Там, где Его нет, небытие. Но для развития человеческого духа необходимы особые кризисы, которые мы в библейской традиции называем «Господь посетил». Вдумайтесь, слова эти антропоморфные, то есть человекоподобные. Что значит «посетил»? Я могу посетить своего друга, потому что я человек, находящийся во времени и пространстве. Могу к нему прийти, могу уйти. Но как может посетить Бог? Это образ, конечно. Это значит, что Он поставил нас перед определенным испытанием. История Авраама и трех странников — это история чудесного посещения. Бог пришел проверить, в каком состоянии находится мир, в данном случае Содом и Гоморра. Надо сказать, что библейский автор не был столь наивен, чтобы полагать, будто Богу оттуда, простите меня, не видно, что творится в этом гнусном городе, чем там занимаются содомиты. Но это некий кризис, некая проверка, некий стук в дверь, напоминание — именно отсюда берут начало сюжеты чудесного посещения.

Их в истории литературы много. Классическим сюжетом было посещение тремя странниками Авраама, а если ближе к нашим временам — история, описанная в «Фаусте», еще ближе — у Герберта Уэллса есть чудесное посещение: пастор подстрелил ангела во плоти, и тот попал в викторианскую Англию и стал смотреть, как живут люди. Изумление и трагедия этого ангела показали тупость и дикость нашей жизни.

Так вот, «Мастер и Маргарита» — тоже книга о чудесном посещении. Некто посылается из иных миров, чтобы испытать нас, Москву, и вот что происходит: все приходит в движение, все эти лихоедеевы, варенухи, вся Москва приходит в движение. Весь портрет

ее выплывает, портрет неоднозначный: тут и любовь Маргариты, и драма Ивана Бездомного, и трагедия Мастера, и гнусности всех алоизиев могоарычей и так далее, то есть вся гамма жизни. И вспомните, что под конец, когда свита Воланда покидает землю, шутовской наряд с них слетает.

Поскольку в этот период люди предавали других и самих себя, то в романе нужно было поставить еще одну тему — о предательстве. Как ее сделать вечной, надвременной темой? Путь традиционный: надо ее изобразить через Евангелие. Но у Булгакова было желание создать что-то новое, что свойственно любому писателю.

В те годы, когда он писал «Мастера и Маргариту», появилось огромное количество литературы, в которой доказывалось, что, во-первых, Христа не существовало, во-вторых, если и существовал, то о Нем написано все неверно, в-третьих, ни одного подлинного Его изречения до нас не дошло и так далее, и так далее. Я всю эту литературу читал от корки до корки, от первых книг, которые вышли еще в 1919 году, вплоть до конца 1930-х, когда всех этих ревнителей атеизма пересажали, перестреляли и все они нашли свой печальный конец. Впрочем, как и других, их брали ни за что. Было тогда кооперативное издательство «Атеист», оно пыталось стать самоокупаемым и закрылось из-за того, что не смогло окупить себя. Какой только белиберды они не издавали! Там были десятки названий (я, повторяю, все это читал), где на разные лады варьировалась одна и та же тема.

Хронологически это как раз совпадает с тем моментом, когда Булгаков работал над «Мастером и Маргаритой». Мировоззрение Булгакова до сих пор достаточно неясно, и мы не будем строить никаких гипотез. В письме к Сталину он назвал себя мистическим писателем. Он решил создать совершенно новый вариант евангельской истории.

Должен вам сказать, что не все детали романа целиком им изобретены. Существовало несколько апокрифов, довольно поздних, из них он кое-что взял. Но дело не в этом. Он решился изобразить Христа. А ведь у него было огромное чутье великого мастера! Некоторые вещи художественно изобразить невероятно трудно, но он рискнул.

Солженицын как-то мне говорил: почему Булгаков понял, что нельзя изображать Пушкина (вы помните, что у него есть пьеса «Последние дни», Пушкина там нет, только тело его проносят после дуэли; он все время где-то рядом, но в пьесе огромное чувство его присутствия), а что Христа не надо изображать, этого он не понял? На что я тогда ответил Александру Исаевичу, что он вовсе не изобразил Христа! У того персонажа, который именуется Христом, Иешуа Га-Ноцри (так действительно звали Христа, это Иисус Назарянин по-русски) совершенно другой характер. Это другой образ, немножко простоватый, немножко наивный, очень милый, честно говоря. Тот из вас, кто читал Евангелие, знает, что Христос никогда не был м и л ы м в обычном смысле этого слова. Персонаж Булгакова говорит палачу Марку Крысобою: «Добрый человек!» У него все добрые люди, просто их, как говорится, среда заела. Но Христос никогда так не говорил. Он говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи! Горе вам, порождение ехидны!» (по-нашему, змеиное отродье). Когда Ему сказали, что Ирод (Ирод Антипа), сын Ирода Великого, который избивал младенцев, хочет Его увидеть, Христос сразу понял, что не увидеть он хочет, а арестовать, и ответил: «Скажите этой лисице...» или «Скажите этому шакалу...» (можно и так перевести это слово).

Ясность, властность, дух вождя присутствуют в Христе. При всей Его кротости, при всей Его любви к людям никогда ничего розового в Нем не было. Я хочу еще раз напомнить вам слова Сергея Сергеевича Аверинцева, весьма справедливые слова, что в Древней Руси (кстати, как и в Византии) было два образа Христа: суровый, новгородский — сдвинутые брови, «Спас — ярое око», и мягкий «Спас Звенигородский», который, по преданию, приписывали Рублеву. Сергей Сергеевич пишет, что оба эти образа соответствуют Евангелию, это две грани неисчерпаемой личности Христа. А у Булгакова — что-то третье. Такой милый, добренький человечек, бродячий философ... Христос никогда не был «философом», и уж тем более бродячим.

Гилберт Честертон говорит: меньше всего Христос выполнил бы Свою миссию, если бы Он бродил по свету и растолковывал истину. Его жизнь была, скорее, как поход, как военная кампания, она имела цель, а не была блужданием, как будто Он не знал, куда и к кому Он идет. А в романе — милый, трогательный образ Иешуа Га-Ноцри,

невинного страдальца, такого двойника Христа, очень удаленного от Него.

Но вдруг с ним что-то происходит. Я думаю, что, даже создавая псевдохриста, любой человек невольно начинает к Нему приближаться. Вдруг, вопреки логике, как говорится, рассудку вопреки, в конце романа кто-то распоряжается судьбами людей! Тот бродячий философ? Он назначает место и Мастеру, и Пилату, и Маргарите, и всем. Он вдруг переходит в другое измерение, уже и Воланд должен считаться с Ним. Впервые в тихой, маленькой, камерной мелодии пострадавшего философа вдруг звучат органные трубные звуки, и за этим образом проглядывают подлинные очертания Великого Христа.

Я думаю, что, если бы прошли еще годы, Булгаков свел бы в романе все воедино. Но пусть это остается именно так, пусть эти противоречия несоединимы, пусть это псевдохристос. Это доказательство того, что, приближаясь к Его теме, даже косвенно, даже почти по ложным путям, мы в конце концов оказываемся к Нему ближе, чем думаем. Ибо, как говорил апостол Павел, «Он недалеко от каждого из нас».

Спасибо, друзья!

Беседа третья

Дорогие друзья! Мы подходим к концу нашего путешествия, в котором Священное Писание раскрывается нам на фоне литературы нашей страны прошлого, а теперь уже настоящего. Сегодня я коснусь литературы преимущественно дореволюционного периода. Именно в начале XX века раскрылись новые необычайные дарования в Петербурге, в Москве и в Киеве.

Именно тогда возникает русская библейская историческая школа, основателем которой был академик Борис Александрович Тураев. Этот чудесный человек, проживший короткую жизнь (он умер в 1920 году от голода), человек, стоявший в первых рядах исследователей древнего Востока, свободно владевший чтением иероглифов, клинописи, создавший целую школу востоковедения, был членом Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 года. Митрополит Евлогий Георгиевский вспоминает о нем, что это был святой человек, знавший богослужение лучше духовенства.

Борис Александрович Тураев первым решительно внес в изучение Библии новейшие по тогдашнему времени методы литературной и исторической критики, при этом оставаясь строго православным. Он доказал целому поколению богословов, что научное, литературно-критическое и литературно-историческое исследование Священного Писания, поиск подлинной датировки той или иной части Библии, не легендарно-традиционной, но именно подлинной, не противоречит нашему благоговейному отношению к Библии как к Слову Божию. В этом выдающийся деятель мировой и русской культуры XX века сомкнулся с высказываниями о Священном Писании, которые мы находим в более ранние времена, уже у Максима Грека и Григория Сковороды.

Вы помните, что мы с вами еще при первых наших встречах говорили о концепции, разделявшей литературно-историческую плоть Библии, в чем-то преходящую, от вечного ее содержания. Но, как правило, охватить эту великую тайну — двойственную богочеловеческую природу Библии — далеко не всем писателям, мыслителям, поэтам было под силу. И поэтому все время наблюдался крен либо в сторону божественной священности, и тогда в Библии считали боговдохновенной каждую запятую, либо смотрели на нее просто как на произведение древней литературы. И то и другое — неверно. Это напоминает нам споры об уникальной Личности Спасителя Христа, которые происходили в эпоху первых вселенских соборов: одни видели в Нем только человека, другие — только Бога, как, например, еретики типа монофизитов. А тайна христианства — в Богочеловеческом синтезе. Эта тайна отражается и в Библии.

В качестве образца чисто человеческого толкования Библии мы можем взять понимание книги «Песнь Песней». Вокруг нее давно велись споры. Еще в ранние античные времена многие говорили, что это просто книга про любовь, и пытались вычеркнуть ее из библейского канона, когда канон Библии еще не был зафиксирован. Но один из иудейских учителей сказал, что тайна этой книги столь велика, что, может быть, никогда от сотворения мира не было сказано столь великих слов, не все это поняли, но авторитет этого учителя был высок, и поэтому споры прекратились.

В IV веке христианский толкователь Феодор Мопсуетский, житель Сирии, друг Иоанна Златоуста, выступил с такой концепцией: «Песнь

Песней» — не больше, чем любовная лирика. Но его концепция была отвергнута всеми раннехристианскими толкователями и осуждена на У Вселенском соборе. В том же IV веке святой Григорий Нисский дает мистическое толкование этой книги. В XIX веке один из основоположников русской библейской исторической школы и русской филологии протоиерей Герасим Павский пишет, опять-таки, что это книга о любви. Как же понимать его?

В 1908 году была опубликована повесть Куприна «Суламифь». Наверное, многие из вас читали ее. Куприн попытался интерпретировать библейскую книгу в духе не то чтобы историческом, а чисто земном.

Те из вас, кто хочет познакомиться с текстом самой книги «Песнь Песней», легко может это сделать, взяв перевод Дьяконова, уже несколько раз опубликованный. Наиболее известное издание — «Библиотека Всемирной Литературы», первый том. Был также довольно известный перевод Эфроса, изданный в 1909 году в Петербурге. Мне он больше нравится; впрочем, всякий перевод есть только перевод.

Библейская «Песнь Песней» как бы не имеет сюжета. Это возгласы любви, это восторженные и, я бы сказал, странные описания природы и восхваления то жениха, то невесты, то хора, который им вторит. Из этих разрозненных гимнов «Песни» Куприн выстраивает повесть о великой любви царя Соломона и девушки по имени Суламифь. Она пылает любовью к юному и прекрасному царю Соломону, но ее губит ревность, ее губят интриги, и в конце концов она погибает, и об этой гибели говорят строки библейской поэмы «Песнь Песней»: «Сильна, как смерть, любовь». Это могучие, вечные слова.

Надо сказать, что у Куприна не было никаких исторических оснований для такого сюжета, все это чистый вымысел. Если бы речь шла не о красивой новелле, я бы сказал, что все это вздор. Как художник он имел право создать такую картину, но и только.

«Песнь Песней Соломона» (что значит «самая замечательная песнь соломонова») написана не от лица Соломона. Древний библейский царь упоминается там в третьем лице, причем явно недоброжелательно. И если попытаться вычленить оттуда какой-то единый сюжет, то речь идет совсем о другом: девушка любит пастуха.

«Где ты, мой возлюбленный, пасешь своих овец?» — спрашивает она. Ночью она убегает из дворца, стража ловит ее на улице, а она не хочет идти во дворец, в гарем Соломона. Как у всех восточных царей, у Соломона был гарем — в древности считалось, что чем больше гарем, тем значительнее царь. Иметь большой гарем было престижно, как, к примеру, теперь собирать коллекции. Я бы сказал, что при такой интерпретации библейская книга — антисоломонова, это книга протеста против псевдолюбви, против психологии сераля, где собраны девушки со всех концов света, живущие совсем без любви. И это легко понять.

Мне приходилось быть в гареме — в бывшем гареме в Хиве. Это огромное здание, целое общежитие, и гид, который нас сопровождал, даже сказал мне без всякой иронии, что нужен был «отдел кадров», потому что учреждение слишком огромно. Конечно, невозможно даже себе представить каких-либо личных отношений эмира с женщинами, которые там жили. Это уже даже не многоженство, а просто какая-то толпа. И Соломон, вероятно, не мог запомнить своих жен даже в лицо — согласно библейскому преданию, у него было семьсот официальных жен.

Естественно, что человек, воспитанный на древней еврейской традиции, в которой говорилось о том, что Бог создал двух и что «да будут двое плоть едина» (плоть не в отвлеченном смысле, а именно вот эта самая плоть, единая плоть), воспринимал это как надругательство над любовью, что вызывало скрытый религиозный, сердечный и нравственный протест. Вот почему толкователи разных веков пытались интерпретировать эту книгу как драму, изображавшую пленение девушки из крестьянской семьи, которую за красоту притащили в гарем к Соломону. На нее смотрят дочери иерусалимские, а она черна, потому что загорела под солнцем...

Суламифь — это не имя. Она суламитянка, Суламита — от названия местности, а имя ее в Библии не упомянуто. Есть предположение, почему она названа уроженкой Суламитской области. Когда отец Соломона, царь Давид, одряхлел (а он очень рано, по нашим понятиям, стал старым и дряхлым — слишком бурной была его жизнь), к нему была приставлена девушка-наложница, которая должна была согревать умирающее тело царя. Она была суламитянка. Хотя и считалось весьма престижным быть наложницей умирающего царя, я

думаю, едва ли ей это было очень приятно. Как бы то ни было, Суламиту привозят во дворец, и она оттуда бежит, она ищет своего возлюбленного по горам, и он весной встречает ее — свою единственную любовь. Единственную. «Одна ты у меня, голубица, — говорит он, — одна-единственная». Такова природа любви, потому что по-настоящему можно любить только одного человека. И тогда мы с вами скажем: ну что ж, если Куприн и был не совсем прав в том, что касается истории, он все равно был прав, как и те толкователи Библии, которые утверждали, что «Песнь Песней» — это книга о любви.

Как же попала эта книга в Библию и для чего она туда попала? Величие Библии в том, что она приняла в свое лоно книгу о любви. Среди человеческих чувств одно из самых сильных и прекрасных — это любовь мужчины и женщины. Если мы эту любовь извращаем, топчем, карикатурируем, унижаем, то виновата не любовь, а мы сами. Это подтверждается одной особенностью библейской символики: многие пророки говорили о Боге как о муже религиозной общины. Он — господин и любящий супруг. Таким образом, союз любви, где двое — плоть единая, связывался со священным союзом между общиной верующих и Творцом.

Этот символ, глубокий и емкий, повторялся впоследствии в Посланиях апостола Павла. Например, в Послании к ефессянам, где говорится о муже и жене, мы читаем его при совершении таинства брака, венчания. Апостол говорит, что муж и жена — это одно тело, и что хотя муж — глава жены, но он должен так же любить и переживать за нее, как человек за свое тело. «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, — говорит апостол, — но питает и греет ее». И дальше он продолжает: «Тайна сия велика, я говорю о Христе и о Церкви». То есть апостол переносит это на отношение Христа и Его общины. Тем самым и апостол, и авторы Ветхого Завета бесконечно возвеличивают саму любовь. И «Песнь Песней» становится книгой полисемантической, многоплановой: это и книга о любви, и книга об общине, о Церкви, это книга мистическая.

Недаром многие мистики, начиная с Григория Нисского, а на Западе за ним последовали испанский поэт Хуан де ла Крус, французский мистик Бернар Клервосский и другие, пишут мистические толкования на «Песнь Песней». Оказывается, в этих

строках скрывается очень много содержания. Это не просто лирика, а вечная красота. Там есть одна тайна, которая до сих пор не разгадана.

Поэт неведомый, священный, библейский прибегает к так называемой концептуальной символике. Концептуальная символика в литературе означает систему образов, которые нельзя передать пластически. Я приведу хрестоматийный пример. Когда апостол Иоанн пишет Апокалипсис, он изображает явившегося ему космического Мессию такими чертами: из уст Его исходит огненный меч, ноги Его подобны колоннам, раскаленные волосы как лава... Альбрехт Дюрер, немецкий художник, в своих гравюрах к Апокалипсису пытается изобразить все дословно, как написано, и получается абсурдная картина: этого нельзя изобразить.

Второй пример: пророк Иезекииль пишет, что небесная колесница несла Божью Славу, и в этой колеснице движущими силами были четыре существа, символизирующие мир пернатых, скота, полевых зверей и человека. И сказано, что они шли на четыре стороны. Можно ли представить себе такую колесницу, где четыре животных бегут одновременно на четыре стороны? Вот это и есть концептуальная символика. Она вся насквозь парадоксальна. Изобразить ее можно только условно, языком иконы, но не языком реалистической живописи или гравюры.

Такой же странной символикой насыщена «Песнь Песней», где жених говорит о своей невесте, о ее красоте. Что можно сказать о прекрасной девушке? Что она, как весна, что у нее прекрасные глаза... Но ничего подобного: в «Песни» такие странные сравнения, что у русского толкователя прошлого века Олесницкого возникло сомнение, о женщине ли здесь вообще говорится? Сравнивается, например, нос ее с башней, обращенной к Дамаску.... Боюсь, что комплимент этот звучит несколько странно. Жених разбирает каждую часть ее тела и дает сравнения: эта часть похожа на стадо овец — тоже довольно сомнительно. Профессор Киевской Духовной Академии Олесницкий высказал предположение, что речь идет о Святой Земле, что невеста олицетворяет Святую Землю, поэтому она так странно и описана. А раз Святую Землю, значит, Церковь, сначала ветхозаветную, а потом и всемирную новозаветную. Олесницкий очень подробно развил и аргументировал свою точку зрения. Таким образом, мы видим, что Библия начинается с простого (и это позволило Куприну дать такую

незатейливую трогательную интерпретацию), но если углубляться дальше, мы придем к мистической тайне единства между людьми и Творцом. Одно другого не исключает. Более того, когда автор «Песни Песней» говорит: «Сильна, как смерть, любовь», — он говорит и о нашей любви к женщине или мужчине, и о любви ко Христу, к Богу, потому что и то, и другое есть любовь, могущественная, как смерть.

В начале века, в те же годы, почти одновременно, появляется в русской литературе другая библейская интерпретация, с ней теперь вы можете познакомиться. Это повесть об Иуде Искарите, написанная Леонидом Андреевым. Она вошла в один из сборников Леонида Андреева, который издан два года назад. Я бы сказал, это крайне слабая книга, крайне слабая. В ней есть попытка создать атмосферу значительности, атмосферу каких-то странных намеков, но в конце концов они лопаются, как мыльный пузырь. Образ Христа абсолютно не удался. Образ Иуды — надуманно-декадентский. Он такой же истеричный и бестолковый, как и многие герои той эпохи. Это игра в Достоевщину: Иуда якобы так любил Христа, что в конце концов Его возненавидел. Это упрощение концепции Достоевского, и все звучит крайне неубедительно.

Я думаю, что некоторые из вас читали эту повесть. Прочсть ее, быть может, стоит, но она ничего не даст вам... Совершенно ложная концепция. Иуда, который совершает предательство из каких-то утонченных, крайне запутанных соображений, Иуда, который хочет славы Учителя, который хочет толкнуть Его на крест, чтоб всегда быть рядом с Ним, вечно... Мы, люди конца XX века, отлично понимаем, что для того, чтобы понять предательство, не нужно всей этой извращенной псевдопсихологии. Мы слишком часто с ним сталкивались в самой трудной, тяжелой, элементарной форме.

Иуда так же, как и другие апостолы, думал, что пошел за будущим великим царем, и искал для себя чести и славы. Вспомните, апостол Петр, который больше всех любил Христа, сказал: «Вот, мы оставили все, что нам за это будет?» Простой человек... Так же рассуждал и Иуда. Но все-таки в Петре и в других апостолах победила любовь, когда они увидели, что ничего им не будет, наоборот, над ними нависла угроза опасности. А Иуда, увидев это, почувствовал себя обманутым, понял, что дело проиграно, и стал на сторону победителей. Поспешил стать. Разве это не понятно? Разве для этого нужна патологическая

личность? Или извращенная психология? Тысячи и даже миллионы людей в последние десятки лет торопились стать на сторону победителей. Разве для этого нужны какие-то особые объяснения?

Я знаю, что для многих людей фигура Иуды кажется притягательной, недаром о нем столько писали, недаром к нему столько раз возвращались. Меня это, откровенно говоря, удивляет. Быть может, в розовом XIX веке, среди узкого круга аристократов, которые старались отгородить себя от реальной жизни, или в викторианской Англии, в тех кругах, где старались не видеть окружающего, фигура Иуды казалась монстроидно-чудовищной. Но для нас она вполне нормальна. К сожалению.

Кстати, Леонид Андреев написал на библейскую тему не только эту неудачную вещь. У него есть другая, более удачная. Она называется «Самсон» — о библейском герое Самсоне. Но, насколько я знаю, она была издана лишь за рубежом, я читал ее в зарубежных изданиях.

В те же годы к библейской тематике обращается Дмитрий Сергеевич Мережковский.

Это был странный человек, составлявший как бы одно целое со своей замечательно умной женой Зинаидой Николаевной Гиппиус. Человек, заставший еще Достоевского, — он ходил к нему в детстве. Человек, умерший, когда уже бушевала Вторая мировая война. Человек, писавший много о России, решительно не принявший революцию и до конца сохранивший абсолютное отрицание того, что произошло. Антибольшевизм супругов Мережковских был наиболее бескомпромиссный, последовательный до конца. У них не было никаких колебаний и уступок. Поэтому в эмиграции, куда они бежали, тайно перейдя через границу с Польшей, они были почти в изоляции.

Мережковский — удивительная фигура. Еще до революции его переводили почти на все европейские языки. Автор романов, пьес, огромных критических исследований, публицист, переводчик греческих трагиков, создатель блестящей серии биографий, среди которых есть даже жизнеописание Иисуса Христа, «Иисус Неизвестный», вышедшее в Югославии в 1931 году. Последняя книга Мережковского, если мне не изменяет память, вышла у нас в 1918 году. Это — «14 декабря». Потом вышла еще одна книжка о Некрасове и Тютчеве, потом — эмиграция, и больше его книги здесь не выходили.

Он был историком культуры, обладавшим странным видением мира, и поэтом классического типа. У него есть целый ряд стихотворений, посвященных Библии. Его книга о Христе «Иисус Неизвестный» занимает особое место в русской литературе, и я коснусь ее в нашу последнюю, завтрашнюю встречу, потому что она написана после революции. Сегодня я хочу затронуть только те произведения, которые были написаны в дооктябрьский период.

В молодости Мережковский был знаком с Надсоном, когда-то популярным, рано умершим поэтом, но влияние это постепенно преодолел, хотя частично оно и него и осталось. Он сделал первое полное стихотворное переложение книги Иова — после Ломоносова он был первым. Довольно интересный и яркий перевод, где он отметил драматическую, идеологическую структуру этой книги. В частности, вот как он передает самую горькую страницу книги, когда Иов постиг вдруг, что праведность не спасла его, что Бог от него отвернулся, что правды нет, что он брошен в объятия рока. Стихотворный перевод Мережковского почти дословен.

Да будет проклятым навек

Тот день, как я рожден для смерти и печали.

Да будет проклятой и ночь, когда сказали:

«Зачался человек».

Теперь я плачу и тоскую:

Зачем сосал я грудь родную,

Зачем не умер я: лежал бы в тишине,

Дремал — и было бы спокойно мне,

И почивал бы я с великими царями,

С могучими владыками земли, —

Победоносными вождями, —

Что войны некогда вели,

Копили золото и строили чертоги...

Я был бы там, где нет тревоги,

Где больше нет вражды земной,

Где равен малому великий,

Вкушают узники покой...

Здесь уже есть сомнение в том, что возможно посмертное воздаяние и справедливость.

И раб свободен от владыки.

На что мне жизнь, на что мне свет?
Как знойным полднем изнуренный,
Тоскуя, тени ждет работник утомленный,
Я смерти жду — а смерти нет.
О, если б на меня простер Ты, Боже, руку
И больше страхом не томил, —
Чтоб кончить сразу жизнь и муку,
Одним ударом поразил.

Очень близкое к тексту переложение, скорее перевод Священного писания.

Подобную же попытку перевести Библию стихами мы находим в стихотворении «Иеремия»:

О, дайте мне родник, родник воды живой!
Я плакал бы весь день, всю ночь в тоске немой
Слезами жгучими о гибнущем народе.
О, дайте мне приют, приют в степи глухой!
Покинул бы навек я край земли родной,
Ушел бы от людей скитаться на свободе.

Почему Иеремия говорит так горько? Дело в том, что Господь призвал юного Иеремию на пророческое служение и послал его в Иерусалим, чтобы он провозгласил гибель городов и трагедию народа, потому что правда Божия торжествует и возмездие неизбежно. А Иеремии не хотелось этого делать. Ему было горько произносить такие слова, но огонь Божий горел в его сердце, и он должен был говорить — против своего желания. Это уникальное явление — двуединство пророческого сознания — и проявилось в деятельности пророка Иеремии.

Зачем меня, Господь, на подвиг Ты увлек?
Открою лишь уста, в устах моих — упрек...
Но ненавистен Бог служителям кумира!
Устал я проклинать насилье и порок;
И что им истина, и что для них пророк!
От сна не пробудить царей и сильных мира...
И я хотел забыть, забыть в чужих краях
Народ мой, гибнущий в позоре и в цепях,
Но я не смог уйти — вернулся я в неволю.
Огонь — в моей груди, огонь — в моих костях....

И как мне удержать проклятье на устах?
Оно сожжет меня, но вырвется на волю!..

Когда вы будете читать библейские пророческие книги, вы увидите эту великую драму и трагедию пророков, которые находились в конфликте с самими собой. Приятно говорить радостные вещи народу, людям, но каково было человеку, которого обвинили в предательстве! Во время вражеской осады Бог повелел Иеремии идти и провозгласить необходимость капитуляции города, иначе он погибнет. Пророк был арестован, выставлен в колодках как предатель народа, потом брошен в яму, откуда его спас один добрый царедворец, и он стал свидетелем того, как враг ворвался в город, сжег храм и пленил царя. И последний момент драмы — завоеватели вывели Иеремию из тюрьмы, поскольку он был как бы на их стороне, и пророк оказался теперь не только в роли предателя, но и коллаборанта. Драма Иеремии передана в этом стихотворении очень сильно.

Теперь я хочу остановиться на Максимилиане Волошине.

Первые его стихотворения написаны до войны и до революции. Они содержат очень много библейских мотивов. Волошин буквально жил библейскими образами. Они пронизывали его поэзию. Ученик французских поэтов, человек, много скитавшийся по Западу, он в свою душу, огромную душу человека-мыслителя (Волошин был не столько поэт, сколько мудрец) впитал всю Библию, которую читал постоянно.

Его вдова рассказывала мне, как часто он обращался к слову Евангелия, как легко это слово передавалось им в кругу людей, я бы сказал, довольно легкомысленных, которые в Коктебеле толклись в его доме. И на рубеже революционных лет он видел в библейских образах предвестие грядущей катастрофы.

В следующий раз я прочитаю вам стихи, написанные во время революции. Ни один русский поэт не поднялся до такой ступени проникновения в события, как Максимилиан Волошин. Иллюзии, в которых захлебывался Андрей Белый, писавший поэму «Христос воскрес», чувства, которые были у Блока, «слушавшего музыку революции» и написавшего «Двенадцать», историко-поэтические размышления Брюсова, — все это не идет ни в какое сравнение с огромным, уникальным для России и для всего мира историческим охватом, который был свойствен творчеству и мысли Максимилиана Волошина. Библия давала ему огромный материал.

В апокалиптических образах он воспринял и цивилизацию XX века, и мировую войну, а затем революцию и гражданскую войну, в которой он занял особую позицию. Я думаю, вы все знаете, какую позицию занимал Максимилиан Волошин: «Молюсь за тех и за других». Вдова показывала мне место, куда она прятала — за картину — то красных, то белых. И это было не приспособленчество и не равнодушное стояние над схваткой, а глубинное понимание всечеловеческих процессов, роковых процессов столкновения добра и зла. Поистине нужна была огромная мудрость, чтобы это понять.

Во время Первой мировой войны Волошин написал стихотворение о Страшном суде. Оно вошло потом в его цикл «Путями Каина», уникальный в мировой литературе. Я не берусь оценивать художественную сторону произведений Волошина. Я не литературовед и не эстет. Меня интересует духовное содержание, смысл и суть произведений. А Волошину всегда есть что сказать. Меня несколько удручают поэты, которые хорошо владеют формой, но у которых нет мысли, нет духа, нет тех сокровищ, которыми поэт делится с нами, как это делали Ломоносов и Пушкин. А у Волошина есть мысль и дух.

Изобразить Страшный суд, написать икону Страшного суда (не надо думать, что это реалистическое изображение) может только очень смелый поэт и человек. Я думаю, не все знают это стихотворение, поэтому я его прочту.

Праху — прах.

Я стал давно землей:

Мною -

Цвели растения,

Мною светило солнце.

Все, что было плотью,

Развеялось, как радужная пыль -

Живая, безымянная. И

Океан времен

Катил прибой столетий...

Вдруг

Призыв Архангела,

Насквозь сверкающий

Кругами медных звуков,

Потряс вселенную,

И вспомнил себя
Я каждою частицей,
Рассеянною в мире.
В трубной вихре плотью
Истлевшие цвели в могилах кости.
В земных утробах
Зашевелилась жизнь.
И травы вяли,
Сохли деревья,
Лучи темнели, холодело солнце.
Настало
Великое молчанье.
В шафранном
И тусклом сумраке земля лежала
Разверстым кладбищем.
Как бурые нарывы,
Могильники вздувались, расседались,
Обнажая
Побеги бледной плоти.
Пясти
Ростками тонких пальцев
Тянулись из земли,
Ладони розовели,
Стебли рук и ног
С усиьем прорастали,
Вставали торсы, мускулы вздувались,
И быстро подымалась
Живая нива плоти,
Волнуясь и шурша.
Когда же темным клубнем
В комках земли и спутанных волос
Раскрылась голова
И мертвые разверзлись очи, — небо
Разодралось, как занавес,
Иссякло время,
Пространство сморщилось
И перестало быть.

И каждый
Внутри себя увидел Солнце
В Зверином круге...

.....И сам себя судил...

Только на древних фресках в храмах, на западной стене, где изображается Страшный суд, мы находим такие образы. Волошин вдохновлялся ими, а также строками из пророка Иезекииля, увидевшего поле, покрытое костями. Это церковь, повергнутая во прах. По полю проносится ветер Духа Божия, и поднимаются тела, и воскресают все. Все христианство построено на принципе Воскресения. Камень, который завалил гроб Христов, упал для того, чтобы все видели: Его здесь нет! И с тех пор христианство постоянно хоронится, постоянно погребается, на эти гробницы ставят свою печать разные власти, но сломаны печати, открыта гробница, и снова раздаётся голос: «Что вы ищете Живого среди мертвых? Он восстал, Его здесь нет». Таков Господь, таково и христианство.

И в заключение несколько слов о дореволюционном Иване Бунине. Это был человек не символического склада, как Максимилиан Волошин, а реалист, созерцатель природы, и через природу, свежий ветер и теплоту камней увидел он Священное Писание. Он путешествовал по Востоку, был в Египте, в Сирии, в Малой Азии. Был в Иерусалиме и прошел по всем местам, где жили Дева Мария и Христос. И он описал это в своей книге «Храм солнца», которая вышла в 1917 году.

Очень осязаемо он пишет, как всегда. Вот он идет по Назарету... «Назарет — детство Его. Там, в тишине и безвестности, протекало оно, такое человеческое, такое земное. Там огорчали и радовали Его игры со сверстниками, там ласковая рука Матери чинила Его детскую рубашечку, там таинственно нисходила в Его душу недетская мудрость, и ясное галилейское небо отражалось в очах, задумчиво устремленных в синь зеленых долин Эздрелона, на лилии полевые и птицы небесные. Ветхие пергаменты Назарета остались во всей своей древней простоте. Но скудны и чуть видны письма, уцелевшие на них! И великую грусть и нежность оставляет в сердце Назарет. Помню темные весенние сумерки, черных коз, бегущих по каменистым улочкам, тот первобытно-грубый каменный водоем, к которому когда-то приходила Она, помню Ее жилище: маленькое, тесное, пещерное,

полное вечерней тьмы, пустующее уже две тысячи лет... Как полевой цветок, мало кому ведомый, выросший из случайно занесенного ветром семени в углу покинутого дома, расцвела и здесь легенда, может быть, самая прекрасная, самая трогательная: без огня, по бедности родителей, засыпал божественный Младенец; Мать сидела у Его постельки, тихо заговаривая, убаюкивая Его, а чтобы не было скучно и жутко Ему в наступающей ночи, светящиеся мушки по очереди прилетали радовать Его своим зеленым огоньком...

А страна Геннисаретская, где прошла вся молодость Его, все годы благовествования, все те дни, незабвенные до скончания века, для них же и был Он в мире, — она и совсем не сохранила зримых следов Его. Но нет страны прелестнее, и нигде так не чувствуется Он!

Как над всей Святой Землей, почиет и над нею великое запустение. Многолюдные города и селения, все многообразие древней галилейской жизни, а среди этого многолюдства — Он, юный, неустанный, вдохновенный, окруженный любимыми, — вот что оставляют в воображении Евангелия, история».

Ивану Алексеевичу Бунину хотелось передать и в стихах свое впечатление о Галилее, о Иерусалиме, о детстве Христа. Он пишет поэму «Мать», где все просто, все человечно, но через эту земную простоту, как в «Песни Песней», светится бессмертное и божественное. Вот несколько строк:

Поклонялся я, Мария,
Красоте Твоей небесной
В странах франков, в их капеллах,
Полных золота огней,
В полумраке величавом
Древних рыцарских соборов,
В полумгле стоцветных окон
Сакристий и алтарей.
Там, под плитами, почивут
Короли, святые, папы, —
Имена их полустерты
И в забвении дела.
Там Твой Сын, главой поникший,
Темный ликом, в муках крестных.
Ты же — в юности нетленной:

Ты, и скорбная, светла.
Золотой венец и ризы
Белоснежные — я всюду
Их встречал с восторгом тайным:
При дорогах, на полях,
Над бурунами морскими,
В шуме волн и криках чаек,
В темных каменных пещерах
И на старых кораблях.
Корабли во мраке, в бурях
Лишь Тобой одной хранимы.
Ты — Звезда морей*: со скрипом
Зарываясь в пене их
И огни свои качая,
Мачты стойко держат парус,
Ибо кормчему незримо
Светит свет очей Твоих.
Над безумием бурунов
В ясный день, в дыму прибоя,
Ты цветешь цветами радуг.
Ночью, в черных пастях гор,
Озаренная лампадой,
Ты, как лилия белеешь,
Благодатно и смиренно
Преклонив на четки взор.
И к стопам Твоим пречистым,
На алтарь Твой в бедной нише
При дорогах меж садами,
Всяк свой дар, приносим мы:
Сирота—служанка — ленту,
Обрученная — свой перстень,
Мать — свои святые слезы
И певец — свои псалмы.
Человечество не помнит,
Как творит оно легенды,
Как им спета Песня Песней -
Отчего возведена

На престолы горней славы,
Красоты неизреченной
Позабывая, простая
Галилейская жена.
Человечество, венчая
Властью божеской тиранов,
Обагривая руки кровью
В жажде злата и раба,
И само еще не знает,
Что оно иного жаждет,
Что еще раз к Назарету
Приведет его судьба.
Содрогался я от счастья
У святых его преддверий:
О, Мария, сладко сердцу
Вспоминать и понимать,
Что, блуждая, все мы ищем
Преклониться пред любовью,
Галилейской нищетою
И сладчайшим словом: Мать.
Это Мать послала Сына:
— Дай им мир и радость в мире.
Встань, иди. Скажи, как нежно
Я люблю свое дитя,
Как устал, как добр Иосиф,
Как он ноющей, дрожащей
Оттирает пот рукою,
Улыбаясь и шутя.
— Расскажи о Назарете,
О простом и бедном быте,
О колодце, где я мыла
Твой заплатанный хитон,
И о том, что, если будешь
Ты хотя владыкой мира,
Багряницы и виссона
Будет мне дороже он.

Вот так история, философия, размышления, путешествия — все сливается в едином созерцании библейской тайны, которая выражена в великих словах апостола Иоанна: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины».

Спасибо!

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

Скоро 90 лет, как умер великий русский философ Вл.С.Соловьев. В начале этого года я вел телерепортаж из комнаты, где он скончался. Он умер в имении князя Сергея Трубецкого, тоже замечательного философа и публициста, ректора Московского университета, близкого друга Владимира Сергеевича Соловьева. Сейчас эта комната превращена в бильярдную, и до этого я туда приходил украдкой, чтобы служить панихиду на месте смерти великого мыслителя. И вот во время репортажа, мы подняли вопрос о том, чтобы эта комната была превращена в мемориальную. Вы, вероятно, знаете, что «Узкое» принадлежит Академии наук, там находится дом отдыха Академии наук, так что от этой организации зависит и решение вопроса о мемориальной комнате. Когда в 1920–е годы решался вопрос о том, кому будут ставить памятники в Москве и Ленинграде, то в списке философов было имя Соловьева, правда, потом его вычеркнули.

Трудно сказать, кем был Соловьев. Он был философом, он при этом был богословом, социологом, критиком, политиком. Универсальная личность! И в этом отношении он действительно похож на Пушкина. Как будто бы произошел какой-то творческий взрыв в его лице.

Но как Пушкин появился не на пустом месте, так и Соловьев имел большую предысторию. Как Пушкину предшествовали протопоп Аввакум, Сумароков, Фонвизин, Державин, Ломоносов, так и Соловьеву предшествовало развитие философских и религиозных идей в течение конца XVIII — XIX века. Он суммировал многое из того, что было там найдено, открыто. Но поскольку об этом периоде уже написано довольно много, я буду говорить об этом кратко.

Владимир Соловьев положил основание оригинальной, я бы сказал, неповторимой русской религиозной философии XX века, которая включает в себя такие имена, как Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Семен Франк, Павел Флоренский, Николай Лосский и многие-многие другие. Опять-таки взрыв! Опять-таки целая плеяда, опять-таки огромное течение, которое было прервано бурными

событиями войны и революции. Большая часть участников этого движения оказалась за рубежом. И сейчас их имена к нам возвращаются. Итак, что же из себя представляет русская философия, почему она удивляет до сих пор мир. Почему нам необходимо ее знать или, по крайней мере, иметь о ней какое-то представление.

Итак, три элемента: те, кто предшествовал Соловьеву, сам Соловьев, и те, кто из него вытекает, как из истока реки. Сегодня я остановлюсь на предшественниках Соловьева. Прошу у вас извинения за то, что буду краток, потому что тысячелетнюю историю мысли охватить в небольшом объеме довольно трудно.

Уже при первых шагах древнерусской киевской культуры у ее писателей, проповедников, мыслителей проявились первые попытки осмыслить сложнейшие проблемы бытия.

В XI-м веке митрополит Илларион ставит острейшие богословские вопросы. В частности, вопрос о «законе и благодати». Это очень важный вопрос. Все религии древности так или иначе ориентировались на закон. Закон — это система, это структура, это запрет, это повеление. Так мы начинаем учить детей, мы говорим им: это нельзя делать, а вот так надо делать. И поэтому закон как форма религиозной жизни неизбежен в начале развития культуры. Но, наступает такой момент, когда открывается иной мир. Закон повелевает и запрещает. А в благодати открывается источник новой силы. Здесь уже нет запрета, который сажает человеческую волю на цепь или ставит ей барьер, а здесь есть имманентная внутренняя сила, которая побуждает его к творчеству, к добру, к красоте, к самоотвержению. Это та антитеза закона и благодати, которую потом так блестяще раскрыл Соловьев в своей книге «Основы духовной жизни», и о ней рассуждает митрополит Илларион еще в XI веке, то есть лет через 70 после крещения Руси в «Слове о законе и благодати». Книгой это нельзя назвать, это «слово», небольшое эссе по-нашему. Он писал там, что он обращается не к невежественным людям, а к людям, которые понимают суть вопроса, к людям образованным. То есть у него уже тогда была серьезная аудитория, с которой он мог говорить о таких сложных вещах.

В дальнейшем русская религиозная мысль выражалась преимущественно в нравственном русле, через блестящие проповеди, образцом которых служили творения Византии, проповеди Смолятича

или Кирилла Сурожского. В них ставились вопросы, самые важные для человеческой жизни, о том, что есть добро и что есть зло. Вопросы, которые актуальны всегда.

Вы, наверное, помните фильм Тарковского «Андрей Рублев». Перед всеми трагедиями русской жизни и простой крестьянин, и князь невольно должны были задумываться: каково призвание человека, где правда, а где ложь, на что ориентироваться. И когда мы думаем, что они относились слишком легко к этим вопросам, то мы заблуждаемся. Они понимали это не хуже нас, а лучше, потому что наш век, в конце концов, пришел к безумной идее (безумной в дурном смысле слова) о том, что нравственность, этические нормы — это нечто традиционное, что люди их просто придумали, договорились, что вот это хорошо, а это плохо. Но при такой релятивизации нравственности она быстро начинает разрушаться, и вдруг оказывается, что все общество стояло на этом фундаменте, и оно шатается, оно падает.

Все мы свидетели сегодня этого ужасного процесса. А люди Средневековья (как теперь говорят, «глухое темное средневековье») понимали, что, когда человек переступает через заповедь Божию, он не просто нарушает какой-то договор, а он нарушает нравственный миропорядок, объективный нравственный миропорядок, он идет, как говорили в старину, «против рожна». Они понимали, что человеку даны заповеди...

Я хочу обратить ваше внимание на то, что заповеди эти даны именно потому, что они призывают к лучшему, что есть в человеке. Они предусматривают возможность в людях иных, темных стихий. Ведь у нас нет заповедей «ешь», или «пей», или «ходи вперед-назад», потому что это для нас естественно. А вот поступать так, чтобы сеять добро, чтобы избежать подлости, — это не врождено человеку.

История XX века, когда были разрушены нравственные ценности, показала, до каких низин озверения может упасть человек, у которого отняли принципиальную заповедь Божию. Вот об этой заповеди шла речь у древнерусских мыслителей. Все они не были теоретиками, а если мы посмотрим на их биографии, то увидим, что они боролись реально, в реальной жизни, в истории, в контексте истории, за осуществление этих нравственных принципов.

Великий историк Ключевский называл преподобного Сергия «благодатным воспитателем народного духа». И в самом деле, народ,

который находился многие десятилетия под пятой иноземного завоевателя, конечно, получил чувствительные удары в сфере нравственной; был период упадка, и преподобный Сергей своим подвигом, своим примером, своим духом (а ведь дух — это то, что распространяется!) содействовал возрождению. Возрождение проявилось потом в действии многих его учеников и в творчестве одного из великих иконописцев Андрея Рублева, который, наверняка, знал преподобного Сергия; во всяком случае, он посвятил ему свою икону «Троица».

Потом наступает период Московского царства. Печальный итог: борясь с азиатским натиском, с натиском азиатских деспотий, Московское царство само в какой-то степени усваивает методы и принципы азиатской деспотии. И тут против нее выступают деятели духовного просвещения. Митрополит Филипп (XVI век)... Это был человек, которым может гордиться история любого народа. Некоторые из вас, наверное, видели фильм «Иван Грозный» Эйзенштейна, вторую серию, где митрополит Филипп представлен в роли некоего честолюбца, который хотел захватить власть над душой царя. Это вымысел. Недостоверный, недостойный вымысел! Филипп был монахом и никогда не хотел занимать первосвятительской кафедры в Москве, он стал митрополитом (главой Русской Церкви) только при условии, что получит право ходатайствовать за репрессированных, почетное право «печаловаться». И Филипп не вмешивался в дела государства, но он непрерывно обличал царя с глазу на глаз и публично. Он считал это своим долгом. И он отлично знал, чем все это может кончиться (вам не надо объяснять, какая атмосфера царила в то время при дворе и в Московском царстве). Митрополит Филипп умер как мученик, потому что был низложен, арестован, заточен в монастырь, где его потом удушил Малюта Скуратов. И смерть его была не случайной.

Грозный шел на Новгород, чтобы задавить последний оплот, я так назову, российской демократии. Историк Георгий Петрович Федотов подчеркивал, что деспотия, воплощением которой был Иван Грозный, отнюдь не единственная традиция в древней русской истории. Север, Новгород содержал в себе зачатки народовластия, причем довольно уже развитые зачатки. И не случайно поэтому войско Ивана Грозного шло туда, как на врага, чтобы стереть с лица земли. Даже колокол

новгородский, собиравший Народное Собрание (Вече), был оттуда вывезен! Так вот, по дороге Малюта Скуратов заехал в монастырь, где находился митрополит Филипп, и просил у него благословения на поход. Святитель отказал и был удушен этим палачом Ивана Грозного.

В ту же эпоху, при Иване Грозном, у нас в Троицкой Лавре был заточен Максим Грек, один из крупнейших богословов XVI века, переводчик, филолог, полемист, писатель, получивший гуманистическое образование, живший в Италии, в монастыре святого Марка, слушавший проповеди знаменитого флорентийского вождя — монаха Джироламо Савонаролы. Он приехал на Русь исправлять книги и оказался втянут в борьбу между двумя церковными партиями.

Эти две партии тоже имеют прямое отношение к становлению русской религиозной мысли. Одна партия называлась «иосифлянами» (от Иосифа Волоцкого). Иосифляне ратовали за социальную эффективность церкви, за ее тесную связь с государством, за позволительность для нее использовать репрессивные методы — методы подавления. Между тем «нестяжатели» (их так называли, потому что они выступали против монастырского землевладения), во главе которых стоял святой Нил Сорский, совершенно отчетливо высказывали мысль, что никакие казни инакомыслящих не должны быть допускаемы. И вот между этими течениями возникает конфликт. Максим Грек, естественно, становится на сторону нестяжателей. Его судят, его подозревают в ереси, его держат в застенках. Процессы, клеветнические доносы — и он умирает в Лавре, в Сергиевском Посаде, где сейчас находится его гробница.

Максим Грек принес на Русь первые элементы понимания Священного Писания. Для христианской религиозной мысли это очень важно, потому что и до сих пор люди часто, открывая Библию, начинают читать ее просто, как обыкновенную книгу, и думают, что на поверхности ее лежит весь мир. Между тем святой Максим показывал, насколько полисемантична структура Библии, насколько многослойна, насколько она требует к себе различных подходов. В общем, любое глубокое произведение тоже полисемантично, но Библия — особенно.

В XVII веке начинается встреча с Западом. Но, как и в наши дни, часто эти встречи происходят не на научном уровне, не наиболее высокие ценности культуры выходят наружу, а элементы бытовые, технические. Заезжие купцы, какие-то политические связи тому

способствуют — это не была пока еще встреча духовных элит. Напротив, духовные элиты русские и западные находились в серьезном отчуждении.

И вот Петр I совершает ломку — грубую, сокрушающую древние традиции, нанесшую огромный вред культуре. Тем не менее создается новая эпоха, новая культура, и мы не имеем права ее третировать и презирать. Ибо, если не было бы этого петербургского периода, петербургской Российской Империи, то мы не могли бы себе представить ни Ломоносова, ни Пушкина, ни Достоевского, ни Толстого, ни Блока.

В XVIII веке перед русскими мыслителями встает проблема веры и знания. В XVII веке произошел взрыв наук. XVII век стал веком создания классической физики, поэтому философу необходимо было найти синтез между научными открытиями и видением духовным. Синтез этот был не только возможен, но органически входил в мышление основоположников классической физики. В частности, для Галилея не было никакой проблемы в том, как соотносятся Писание и астрономия и математика. Он прямо говорил, дословно: «Библия учит нас о том, как взойти на Небо, а не о том, как вращается небо». То есть он отделял чисто научные, рациональные проблемы от духовных. Точно так же говорил Кеплер. Он говорил, что тот, кто хочет в Библии найти данные естествознания, просто злоупотребляет священной Книгой, которая написана совсем для других целей. И эта же проблема еще более остро встала в XVII века, когда интенсивно развивался скептицизм и материализм, материализм Дидро, частично Вольтера, хотя он не был материалистом в полном смысле слова.

Это все приходило в Россию. Но не только это! Ломоносов нашел в Западной Европе не один скепсис, а нашел в ней и людей, в частности, философа Вольфа, которые умели сочетать знания и веру в едином синтезе. Ломоносов писал, что Творец дал человеку две книги: в одной из них Он проявил Свою мудрость это книга — Природа, во второй — Он открыл Свою волю это книга — Библия. Далее он говорил: не здраво рассуждает математик, который хочет по Псалтири узнать законы мира. И в самом деле, разум дан человеку, и человек должен постигать мироздание, а Откровение обращено к таким измерениям бытия, которые неподведомственны чисто рациональному анализу. Борьба между разумом и интуицией, между разумом и

верой — явление ненормальное. Это конфликт, разрушающий целостность человека! Ибо человек создан двуединым. Человек создан как существо, которое живет и сердцем и умом. Отбросьте что-то одно — и образ человека будет искажен. Задача гармонизации. Физиологи установили, что этими двумя путями познания и жизни управляют два полушария, и когда сбалансированность между их действиями нарушается, происходит искажение человеческой психики. «Сон разума рождает чудовищ», сон сердца — то же.

Единство в человеке воли, разума, чувства — это идеал, и идеал не только повседневной жизни, но идеал в познании и в науке. Вот к этому и стремился Ломоносов, постоянно отражая атаки псевдобогословов, которые его упрекали в том, что он пытался проникнуть в тайны природы. Иронически он писал: какой смысл ученым на вопрос о том, как устроено то или иное или как происходит тот или иной процесс, отвечать: «Бог так сотворил» — и все. Для Ломоносова было ясно, что Бог так сотворил, но ведь он хотел знать, как это устроено, как Он сотворил. И чем больше он проникал в тайны материи, чем больше он их познавал, тем больше приходил к мысли о Творце и Создателе. Наверное, вы все помните хрестоматийное его стихотворение «Вечернее размышление о Божием величии при случае великого северного сияния».

Ломоносов приводит в этом стихотворении несколько гипотез о том, что такое северное сияние и что вообще происходит на небесных телах. И он говорит, что древние святые отцы, Василий Великий и другие, писали по разуму, который заложен в природе (как мы бы теперь сказали — закодирован в природе), и замечает по этому поводу: а насколько более бы они имели право так говорить, если бы они обладали нашими инструментами, нашими теориями, нашими методами! Продолжая мысль Ломоносова, я могу сказать, что от XVIII века мир продвинулся еще дальше, и Вселенная, которую мы познаем теперь, стала намного более сложной и, следовательно, она требует гораздо более объяснения себе. Ибо, чем она сложнее в наших глазах, тем таинственней ее первооснова.

Одновременно с Ломоносовым жил другой мыслитель, замечательный человек (тоже очень одинокий), странник божий — Григорий Саввич Сковорода, украинский мудрец. На его гробнице написано: «Мир меня ловил, но не поймал». И монахи его хотели

заманить, и в Академию его брали, но он был вольный человек, отовсюду уходил, скитался со своим мешком и книгами, писал свои вирши, размышления, рассуждения. (Кстати, среди его потомков был и Владимир Сергеевич Соловьев.) Если для Ломоносова четкое, ясное мышление, рациональное постижение мира было достаточным для того, чтобы постигнуть последнюю реальность, то Сковорода почувствовал, что этого недостаточно, что нужно иное (он не употреблял слово «интуиция»), что нужен иной — глубокий, духовный подход. Что реальность Божья, она открывается в мире как бы иными путями.

И он уличил, изобличил тех людей, которые, подобно Емельяну Ярославскому (уже в наше время), брали внешнее из Библии и говорили: пустое занятие! Все это было предвидено, предсказано у Григория Саввича Сковороды.

XIX век наступает. И в это время болезненный кризис потрясает российскую цивилизацию. Вернее сказать, элиту цивилизации, предтечу российской интеллигенции (тогда это в основном были люди аристократического слоя). Они чувствуют, что официальная государственная Церковь, которая при Петре I порабощена, была прикована к государственному механизму, их не удовлетворяет. Почему? Потому что свободолюбие уже пустило глубокие корни в народе, и это свободолюбие воплотилось в духе мыслящих людей. Хомяков, Радищев (конец XVIII века) — они уже уязвлены страданиями человечества. И они начинают искать пути внецерковные, пути внецерковной философии, внецерковной мистики: в оккультизме, в теософии, в масонстве, в различных юродствующих... Напряженные искания!

Вы помните, в «Войне и мире» есть сцена, когда Пьер Безухов вступает в масонскую ложу. Это не случайно у Толстого! Пьер был одним из многих, кто искал внецерковных путей. Можно понять этих людей. Потому что церковь как институт находилась в тяжелейшем состоянии, опутанная со всех сторон цепями государственных служб. И это недоверие к ней стало огромной трагедией, внесло раскол между церковной традицией и зарождающейся интеллигенцией.

В начале XIX века начинается поиск кантактов с философскими течениями Запада. Кто повлиял на русскую философию XIX века? Прежде всего, Шеллинг. В течение всего XIX столетия влияние его

было огромным, и прямым и косвенным. Шеллинга отлично знал Петр Яковлевич Чаадаев, Шеллингу привержен был Тютчев. На Шеллинге основывался Владимир Соловьев. Из Шеллинга исходил, возможно, Булгаков.

Было и другое влияние, может быть, менее заметное, — влияние Гегеля. Надо сказать, что Гегеля воспринимали очень искаженно, его в общем никто никогда не мог понять. Гегель говорил так: «Меня понял только один мой ученик, и тот неправильно». Когда ему говорили, что «есть факты, которые противоречат Вашей теории», он отвечал: «Тем хуже для фактов». Это был своеобразный человек, своеобразный мыслитель, и его влияние на русскую мысль было, пожалуй, скорее отрицательным. В нем находили то, чего, казалось, в нем не было. Белинский очень увлекался Гегелем, не прочтя ни одной строчки (ведь Гегеля не переводили на русский язык в прошлом веке, а Белинский немецкого языка не знал).

В первой половине XIX века зарождаются два течения, представителей которых условно принято называть «славянофилами» и «западниками». Здесь уже надо сказать, что настоящая религиозная мысль начинает себя осознавать. Ранние славянофилы (Хомяков, Киреевский) выступают против уклона в рационализм и говорят о мистических корнях философских. При этом они считают, что такое постижение истины — интуитивное, глубинное, нерациональное — возможно только в славянской культуре. Они создают особую философию славянского народа, ищут ее в древности, Хомяков пытался набросать философию истории в этом ключе, но не завершил труд. Напротив, западники, справедливо считая, что Россия — часть Европы, фактически отрицают все предшествующее им и ориентируются на прогресс, просвещение, науку, технику. Белинский, который был типичным западником, как рассказывают, в выходной плелся на площадь (которую мы теперь называем Комсомольской) и смотрел на «великое творение века» — там строили Николаевский вокзал (нынешний Ленинградский). В этой стройке ему чудилось, так сказать, дыхание грядущего индустриального века, и он наслаждался этим зрелищем.

Западники были соблазнены утопией прогресса. Среди них был Герцен, романтик и утопист, который глубоко разочаровался в своей собственной утопии. Дальше скептицизма и Фейербаха он не пошел.

Но в какой-то момент он вдруг понял, что свободная личность в этой утопии — миф, прогресс социальный — Молох, который пожирает своих детей, и конца этому движению не видно. И в конце концов он говорит: почему... глупо верить в Бога? А почему надо тогда верить в человека? Почему надо верить в прогресс? И он, великий утопист и романтик, потерпел тяжелое нравственное поражение. У него был блестящий философский дар, но философской системы он не создал, он собрал обломки материалистических доктрин, и на этом все кончилось.

Кто соединил эти два пути? Один из величайших мыслителей России первой половины XIX века Петр Яковлевич Чаадаев. Когда он начал писать свою книгу «Философские письма», первая статья (или первая глава, или первое письмо) была опубликована в журнале, и вы, наверное, знаете, какая его постигла судьба: журнал был закрыт, редактор сослан, а сам Чаадаев объявлен сумасшедшим, только что в психушку его не отправили. Почему так получилось? Да этой главой он хотел разбудить сознание своих читателей. Он написал горькие, суровые слова о застое, который охватил общество!

Чаадаев был великим патриотом. Он не считал, что Запад есть абсолютный идеал, но и не считал, как некоторые, что надо вернуться в патриархальную русскую старину... Чаадаев стоял на принципе сбалансированности, гармонии: он говорил, что страна, находящаяся между Азией и Западной Европой, между Востоком и Западом, способна соединить в себе два пути познания, и не только познания, но и осуществления идеала на земле. К своей книге он написал эпиграф из молитвы «Отче наш»: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя как на Небе и на Земле». Он считал, что христианский идеал не абстрактный, не загробный, не заоблачный, а земной! Христос принес его на землю, чтобы люди его осуществили! И Чаадаев утверждал, что это возможно лишь при соединении в едином потоке западной активности и восточной глубины созерцания. И этот синтез, он полагал, возможен именно в его стране. Книга в России не была издана. Она вышла за рубежом, а полностью ее издали только два года назад. С 1830 до 1987 прошло много-много лет. Но сейчас, когда читаешь этот том, поражаешься глубине прозрения мыслителя. Одна из основных его идей, очень глубоких, заключается в том, что любая цивилизация, если она хочет быть здоровой и развивающейся,

обязательно должна иметь духовное, религиозное обоснование — тот импульс внутренний, который будет ею руководить. Цивилизация, построенная только на светских, на материальных условиях неизбежно будет деградировать. Правота этих слов, я думаю, с каждым поколением подтверждается. И у нас, и во всем мире.

Чаадаев является одним из самых непосредственных предшественников Соловьева. Он жил в Москве, на Басманной, и умер, окруженный ореолом сумасшедшего, чудака, завсегдатая Английского клуба. Он был, как вы знаете, другом Пушкина, и очень хотел привлечь Александра Сергеевича к вопросам историческим, к немецкой философии, к религиозной философии Шеллинга.

А дальше идет новый раскол. Культура теряет свое религиозное обоснование и переходит в светскую фазу. Это уже светский национальный и философский подход. Западники теряют свой романтизм и превращаются в проповедников социальных утопий. Это и Добролюбов, и Чернышевский, и Писарев. Начинают действовать Нечаев, Бакунин.

Бакунин — материалист. Бакунин — атеист. Его философия разрушительна. Но он все равно тянется к свободе. И надо сказать, что семя анархической модели в русской философии было серьезным, и не только такие безумные люди, как Бакунин (это был человек странный, с очень трагической судьбой), но и люди глубокие, возвышенные, такие, как Петр Кропоткин, усвоили эту истину.

Где ее истоки? Еще Хомяков говорил, что всякое государство — зло, всякая власть — насилие. Хомяков учил, что царская власть получает свое право от народа. Это была нетрадиционная точка зрения. Он говорил, что на самом деле основа христианства — это свобода, единство людей, что Церковь — это есть соборность, духовное единение. Конечно, это был идеал. Конечно, это не была реальность эмпирическая, земная. И неудивительно, что книгу Хомякова в России цензура не пропустила. Тем не менее идеи о свободе, ценности личности, соборности, возможности реализации на земле христианского идеала оставались живыми и находили все время своих последователей.

Нужно сказать, что многие из русских утопистов выходили из семей священников, из семинарий. Утратив веру под влиянием вульгарного, примитивного материализма (типа Бюффона, Молешотта)

и повторяя слова Базарова, что «природа это не храм, а мастерская, и человек в ней работник», они сохраняли огромный нравственный пафос. Наверное, многие из вас читали Набокова «Дар». Это книга, которая включает в себя сатирическую биографию Чернышевского. И когда читаешь ее, немного обидно становится за Николая Гавриловича, потому что Набоков — человек, лишенный духовности, хотя и обладающий большим дарованием, очень мелок в сравнении с этим несчастным Чернышевским, который имел какие-то фантастические идеи и за них держался во всех испытаниях с большим героизмом.

Все эти противоречия и создавали предпосылки для рождения Владимира Сергеевича Соловьева как философа. В него вошли: и идея синтеза от Чаадаева; и свобододолюбивая идея от Чернышевского; и убеждение в том, что социализм в каких-то формах возможен; и абсолютное неприятие материалистической доктрины (это он взял от славянофилов, от всей христианской философской традиции); и идея об особой роли России, которая находится на пересечении восточного и западного миров; о возможности и необходимости стремиться к тому, чтобы христианский идеал не был абстрактным, отвлеченным, чтобы он стал жизненной, житнетворящей силой.

Этот пафос, свойственный Владимиру Соловьеву, был подготовлен всем развитием русской религиозной мысли, вплоть до того времени, когда в 1874 году в аудитории Московского университета молодой длинноволосый человек защищал свою магистерскую диссертацию по философии. Она называлась «Кризис западной философии», подзаголовок «Против позитивизма» (то есть практически против материализма). Против Соловьева выступал рой оппонентов, все они были материалистами-позитивистами, он их блестяще всех отверг! И они были вынуждены, восхищаясь энергией и четкостью мысли молодого диссертанта, присвоить ему звание и дать возможность занять кафедру в Московском университете. Так началась деятельность Владимира Соловьева. Она открывает совершенно новый этап в истории русской религиозной мысли.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ

Прошло почти 90 лет со дня смерти Соловьева (1853–1900). Прошло 70 лет с тех пор, как у нас в последний раз издавали его произведения. Его теоретические труды были изданы во время первой мировой войны, и всё! Потом, мизерным тиражом стихи в 1921 году. Потом стихи уже в более поздние годы — в «застойное» время. И только сейчас вышел двухтомник. Боюсь, что едва ли процентов пять от присутствующих здесь смогли этот двухтомник раздобыть...

У Владимира Соловьева были предшественники, которые рассматривали разные стороны жизни, человеческих проблем, но он один, подобно Ломоносову, соединил в себе все. Он был незаурядным поэтом, замечательным переводчиком. Он был человеком, который освещал проблемы знания, писал о природе, любви, о социальных и политических проблемах. Он был острым и беспощадным литературным критиком, публицистом, общественным деятелем, церковным писателем. Он был толкователем Библии, переводчиком Платона и библейских, ветхозаветных текстов. Он был автором книг, которые можно считать настоящим введением в христианскую жизнь. Я имею в виду, в частности, его книгу «Основы духовной жизни» — лаконичная, ясная, четкая, лапидарная, она является как бы квинтэссенцией целых томов об основных началах христианства. И одновременно он — деятель, он — предтеча экуменического движения — движения к сближению Церквей.

Он был человеком необыкновенной серьезности и в то же время любившим шутку, писавшим пародии, каламбуры, сатирические стихотворения. После него осталось двенадцать объемистых томов произведений плюс четыре тома переписки. И до сих пор все еще обнаруживаются какие-то вещи, которые не вошли в собрание сочинений. А умер этот человек всего 47 лет (старше Пушкина на 10 лет). И начал он свою деятельность совсем молодым, бросив вызов целой культурной и философской традиции.

Родился Владимир Сергеевич в семье знаменитого историка. Надеюсь, вам всем известно имя Сергея Соловьева, он похоронен на Новодевичьем кладбище, и на могиле его написаны слова апостола о

том, что он совершил свой подвиг, свой путь, и веру сохранил, и теперь ему готовится венец. Сергей Соловьев был человеком, всецело погруженным в свою работу. Собственно говоря, ничего больше у него в жизни не осталось, кроме грандиозной работы: лекции в университете и писание той обширной многогранной книги, которая получила название «История России» (она у нас переиздавалась недавно). Семья Соловьевых была очень талантливая, с интересными корнями. По матери он происходил частично от польских предков, частично от украинских и состоял в родстве с известным украинским странником, мудрецом Григорием Саввичем Сковородой (XVIII век). А отец его был попович, то есть происходил из духовного звания. Дед Владимира Соловьева, Михаил, священник, служил, был приходским священником, и память о нем прочно хранил будущий философ.

Вл. Соловьев пережил кризис атеизма, кризис богоборчества. Будучи мальчишкой, он выбросил в окно свои иконы. (Надо понять, какое это было время!)

Он родился в 1853 году. Его сознательная юность пришлась на эпоху шестидесятников, на эпоху Чернышевского, Добролюбова, увлечения Писаревым. И известен случай, когда за обеденным столом юный Владимир Соловьев заявил своему отцу, что он читал книгу Фейербаха «Сущность христианства», «как он там разделявает христианство!» Но отец не стал вступать с сыном в полемику, просто сказал: «Тебе надо надрать уши». Почему он так сделал? Скорее всего, он решил, что мальчик сам до всего дойдет. И угадал. Угадал, потому что вскоре этот худой, длинный юнец, с волосами, падающими на плечи (он отпускал длинные темные волосы в знак вольнодумства, революционности), обратился к изучению философии. Острейший ум проявляется у него очень рано! И свою блестящую диссертацию он написал, когда ему было немногим больше двадцати лет.

Вл. Соловьев изучает философию Спинозы, Шопенгауэра, крупнейших мыслителей Европы. И у него очень быстро создается собственная концепция развития философской мысли. Прежде всего, он отбрасывает материализм... Но я сказал «отбрасывает» — и выразился неточно. Дело в том, что Владимир Соловьев с юных до последних лет своей жизни следовал принципу, который когда-то был высказан философом и математиком Лейбницем. Лейбниц говорил: человек всегда не прав, когда он отрицает, особенно философ; и

каждая доктрина, каждое учение наиболее слабо именно в том, что оно отрицает. Это был главный принцип жизни и мышления Соловьева.

На что бы он ни обращал свое умственное внимание: на социализм или учение о революции, на развитие старообрядчества или судьбу России, — он всегда брал оттуда нечто ценное, он понимал, что ничего нет на свете бесплодного и бесполезного, его мышление проходило под знаком того, что он сам называл «всеединством». Слово это многозначное, но в данном случае оно может означать для нас великолепное умение Соловьева созидать, синтезировать. Да, он много полемизировал, много выступал со статьями, даже целыми книгами против своих идейных противников. Но ни один из противников, которого он сразил, не оставался для него мертвецом, — он всегда заимствовал у него то, что считал ценным. Таким образом, очень быстро создавался синтез мысли. Это была открытая мысль, и это поразило университетских профессоров.

В то время, в 70-е годы XIX века, господствовал позитивизм, то есть учение, близкое материализму, хотя и не целиком тождественное с ним. Это учение о том, что последние истины, последняя тайна (тайна Бога, бессмертия, духа) для человека непознаваемы, что человек познает только природу, и природа — это единственная реальность, доступная нам, а развитие мысли и философии заключается в конечном счете в развитии естествознания. Все, что было до того, позитивизм считал отжившим. И вот, окончив университет, юный Соловьев бросает вызов профессорам. Сначала он занимался в университете с естественным уклоном, его интересовало естествознание, но как мыслителя (уже тогда в нем зрел мыслитель) его притягивали главные тайны мира, а естествознание было только одним из кирпичиков огромного здания, которое он создавал.

Он появляется на кафедре. Темно-голубые, глаза, гутые черные брови, вытянутое худое лицо, падающие, как я уже говорил, на плечи волосы, несколько иконописное лицо, длинный, немного нескладный юноша, производивший загадочное, странное впечатление! В те годы, когда он учился, он приезжал в нам, в Сергиев Посад, и там слушал некоторые лекции по богословию, философии (как свободно посещающий). И даже там, где люди с длинными волосами были отнюдь не редкостью, он производил какое-то таинственное впечатление. Несколько раз он бывал в этом городе, жил в Лавре, и ему

там нравилось... Богословы и монахи его любили, а студенты уже позже, когда он был знаменитостью, полублагоговейно, полуиронически раздавали в бутылочках воду, в которой он мыл руки, и говорили: это «вода Владимира Соловьева».

Что же заявил Соловьев в своей диссертации? Она имела подзаголовок «Против позитивистов» («Кризис западной философии» — название этой книги). И такова была сила его мысли (но, надо сказать, и такова была объективность философов, преподавателей университета в начале 1870-х), что, несмотря на критику их позиций и несмотря на то, что они оппонировали ему, звание ему было присуждено, а большинство его идейных и философских противников восхищались его мыслью, его методикой, его ясным, кристальным языком.

В двух словах, о чем эта книга. Он объяснил, почему западная философия пришла к кризису к концу XIX века. Потому, что она взяла в качестве инструмента познания только рассудок, все более и более придавая познанию односторонний характер. Сначала Соловьев показывает, как в Средние века разум освобождается от теологии, освобождается от Церкви. Потом он становится автономным, а затем он занимает все большее и большее место, и в конце концов переходит пределы, которые ему доступны. И начинается распадение. В той юношеской книге, в которой уже предчувствуется новый духовный синтез, он показывает, как в философии Шопенгауэра и других философов, которые потянулись к священным книгам Востока, сухой рационализм начинает себя изживать. Он все это предсказал. В этой книге — уже предчувствие того синтеза, который Соловьев наметил. Он называл это «отвлеченными началами».

Что такое «всеединство»? — Всеединство это дух, который связывает элементы природы и духовные миры, который связывает общество, нас — с высшим единым Началом. И когда люди берут какую-либо одну часть бытия всеединого, ограниченного и выделяют ее, получается то, что он называл «отвлеченным началом». Поэтому рассудочное познание, ставшее отвлеченным, оторванным, отрезанным от бытия, в конце концов терпит поражение. Эмпирическая наука, которая перестает считаться с опытом внутренним, духовным и с выводами отвлеченной метафизики, — тоже в конце концов заводит в тупик. И Соловьев подвергает критике

все основные «отвлеченные начала», это стало содержанием его докторской диссертации.

Это был человек непростой. С ранних лет (ему еще не было 10 лет) у него начался особый, мистический (или, если хотите, оккультный) опыт. Он стал видеть какое-то женское существо космического характера и переживал встречу с ним, как встречу с Душой Мира. Больше никогда Вл. Соловьев не верил, что мироздание — это механическое, что это агрегат вещества. Он видел Душу Мира! Первый раз это было в детстве, в церкви Московского университета. Вторым раз он сознательно стал искать ее, он просил, чтобы она явилась. И это произошло во время заграничной командировки, когда он посетил Западную Европу после защиты диссертации. Он жил в Лондоне, работал в знаменитом Британском музее. Там он изучал древние тексты, старинные мистические учения (Якоба Беме и других). И во время напряженнейшей работы в библиотеке он вдруг увидел лицо, то самое женское лицо, космическое, которое явилось ему в университетской церкви, когда ему было 8 лет. Это особый опыт. Он пытался писать его в стихотворении «Три свидания». Стихотворение написано с иронией, с само-иронией, потому что он был человеком чутким, целомудренным и ранимым. Несмотря на все свое остроумие, несмотря на то, что он, казалось, был закован в латы какие-то, — на самом деле душа его была странницей, она очень зябко чувствовала себя в холодном мире. И когда он говорил о самом дорогом для себя, он намеренно говорил об этом с иронией.

Вл. Соловьев решил, что в Египте, в древнем отечестве мистерий, великих религий, гностической теософии, он увидит все то, что составляет Душу Мира. И в Каире он уходит однажды из гостиницы и бредет по голой каменистой пустыне. В цилиндре, в своем европейском одеянии, он идет (и попадает там в руки бедуинов), бредет наугад. Куда он шел, он сам не мог этого сказать, он заснул на холодной земле. И когда он проснулся, вздрогнув, он вдруг увидел (в тот момент, который называют фазовым состоянием, когда человек переходит от сна к бодрствованию) другой мир, совсем иной. Как будто бы с окружающего его мироздания сняли пелену. Вот почему он писал в одном из своих стихотворений: «Милый друг, иль ты не

видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами». Это было его главное внутреннее переживание.

Когда он был в Египте, он был уже сознательным христианином. Более того, в эти юные годы у него возникает смелое и совершенно отвлеченное решение: создать систему, в которой вечная истина христианства была бы изложена на языке современной ему философии и науки. Возможно ли это? Возможность этого он видел в самом своем методе. Он начал писать книгу «Философские начала цельного знания», он не отбрасывал в ней ни науку, ни технику, ни экономику, ни метафизику, ни богословие — все это выстраивалось в огромное синтетическое целое. На элементарном уровне — научные знания: тут экономическая наука, естественная наука, потом отвлеченное знание — метафизика, и потом мистическое знание. Все переплетается, как в самом человеке! В человеке живет: вещественное, телесное, биологическое, в нем живет отвлеченная мысль; и в нем живет нечто иное, глубинное, интуитивное, что порождает силу, именуемую верой. А вера есть способность человека воспринимать Божественное Откровение.

В это время Соловьев задумал написать историю религии. Своей невесте он говорил, что хочет написать историю религии, которая бы показала место христианства в мировом религиозном становлении. Но план этот не был выполнен.

Что было главным в его дальнейшем труде? Он стал свободным писателем и философом в 1881 году. Каким образом? Он, наследственный ученый, сын знаменитого Соловьева; он, магистр, а потом доктор, — не ему ли преподавать философию в университете? Но ведь он еще был и христианин, и политический и общественный мыслитель! Когда был убит Александр II, он пишет царю Александру III письмо. Он выступает с речью, в которой говорит, что царь как христианин должен отказаться от смертной казни цареубийц, тех людей, которые убили Александра II. Именно как христианин. Не отрицая того, что это было преступление. Но на убийство отвечать другим — это для христианина не решение вопроса. И надо сказать, что это как-то сразу создало вокруг Соловьева нездоровую ауру и ему пришлось бросить университет. И вот с тех пор, с 1881 года по 1900, когда скончался, он ведет образ жизни, может быть, немного похожий на образ жизни своего далекого предка, Григория Саввича Сковроды.

Он жил чудовищно! Я удивляюсь только, что он не умер раньше. У него не было дома, он питался как попало, жил по гостиницам, кочевал из города в город, из страны в страну. Как он мог писать столько?! — это остается до сих пор тайной. Он писал в каких-то номерах, иногда на обрывках бумаги. У него было много друзей, в частности он дружил с семьей покойного поэта Алексея Константиновича Толстого. В этой семье он встретил женщину, которую любил больше всех в течение многих лет. Но она была замужем, а когда муж ее умер, что-то в их отношениях надломилось, так он и остался один.

Он вел аскетический, спартанский образ жизни. Но в этом не было ничего наигранного, ничего вымышленного, наоборот, он любил добрую компанию, любил, чтобы в этой компании было и вино. Разумеется, он не одобрял пьянства, но для интеллектуальных людей, говорил он, поднять свой дух за бутылкой вина — это только на пользу, здесь он ссылался всегда на пример героев платоновских диалогов, особенно платоновского диалога «Пир». И вот этот человек — у него ни кола, ни двора, все деньги, которые он зарабатывает, раздает тут же кому попало, ходит в одежде иногда с чужого плеча... Его часто принимают то за епископа, то за священника, а однажды мальчик в гостинице сказал: вот Боженька идет — Соловьев шел в старой шубе, у него была уже длинная борода, длинные волосы. Он был близорук — глаза, смотрящие в пространство. Иконописное лицо. Таинственный человек!

Очень остро его описывает Андрей Белый, поэт, который видел его в детстве. Современники оставили массу воспоминаний о нем: его глазах, которые меняли свой цвет, и его смехе, который одним казался гомерическим, радостным, а другим казался каким-то демоническим; противоречиях его жизни, любви его к каламбурам.

И этот человек, загадочный, странный, бездомный, пишет книгу, которую он назвал «Великий спор». Он говорит о том, что Запад с Востоком уже давно спорят! Упрощенно говоря, восточное познание — человек ничто, Бог все! Бесчеловечный, грозный Бог! А на Западе — безбожный человек, духовно вытесняется человеческое «я» вперед. И христианство, Евангелие, есть, согласно Соловьеву, синтез и Востока, и Запада. «И свет, исшедший от Востока, с Востоком Запад примирил» — писал он в одном из своих стихотворений. И, показывая панораму истории Церкви, блестяще анализируя борьбу ее с

ересями, он впервые задумывается над проблемой, которая потом стала содержанием его жизни: почему все-таки антагонизм победил? Почему, когда христианство соединило Восток с Западом, они потом опять распались, и уже на сей раз под христианскими знаменами? Получился христианский Восток, христианский Запад.

Затем Соловьев пишет книгу «Духовные основы жизни», о которой я вам уже говорил. Он пишет о вере, любви, посте — три элемента. И как пишет? Просто, ясно. На языке, который не был специфически клерикальным, каким-то архаичным, церковным в кавычках, на том самом языке, на котором он писал свои кристально ясные философские книги, свою публицистику. Как говорили многие современники, иные люди (а их было немало) начинали свое знакомство с традицией Святых Отцов, с писаниями Святых Отцов именно с книги Владимира Соловьева «Духовные основы жизни».

Он читает в Петербурге лекции о Богочеловечестве. Богочеловечество — еще одна родная ему мысль! Для материализма, позитивизма история мира и природы — это все земное, человеческое. Для тех, кто отрицает значение земного, для спиритуализма, для крайней духовности — все это ничтожно. Христианство не отвергает материю и плоть, природу, оно освящает ее, потому что это творение Божье, и Бог воплотился в мире. А раз Он воплотился в мире, значит, весь процесс мироздания — это процесс Богочеловеческий, в котором участвует Богочеловек.

Но Соловьев смотрит и более глубоко: человек страдает от своей противоречивости и живет ненормальной жизнью. И мы сегодня это все признаем! В чем дело? Что произошло с человеком? И он отвечает: мир распадается. Мир распадается! Теряются узы любви, взаимопонимания, братства. Теряются узы и в материальном мире. Все распадается! Творец — это единство, это полнота гармонии. Полнота, триумф замысла единства. Это картина, созданная Богом вне времени. А что же противоположное? Что бросает мир куда-то в яму? Свобода, — отвечает он.

Соловьев говорит, что природа имеет единую душу. Его опыт встречи с Душой Мира привел его к мысли об одухотворенности космоса, об одухотворенности всего мироздания. Он ищет и находит имя этого Начала — имя это (софия — по-гречески мудрость). Уже в Библии говорится о Божественной Мудрости. Божественная

Мудрость — это на нашем современном языке информация, которую Бог закладывает в природу. А для Соловьева это некое духовное средоточение мира, которое ищет свободу. И мир отпал, в силу этой свободы, от своего гармоничного состояния. И дальнейшая история мира (и сейчас она такова) — это возвращение нас к вечной гармонии, к вечной Божественной симфонии, которой протовостоит распад, дезинтеграция. Всякая ненависть, всякая сила, которая разделяет, разрушает мысль, чувство, тело, природу, — это противное Богу начало. Сегодня, в эпоху экологического кризиса, национальных конфликтов, геополитических конфликтов, этот призыв Соловьева, его мысль о том, что Божественное соединяет, а все, что разъединяет — сатанинское, — в высшей степени актуальны.

Естественно, после этого он задумывается над проблемой, о которой я уже упоминал: над проблемой единства христиан. На первый взгляд, эта проблема проста. Для тех из вас, для кого она не ясна, я использую элементарную притчу. Вот, скажем, умирает какой-то человек. Его дети безумно любят его. И расстаются с ним со слезами. Они говорят: «Отец, какая твоя последняя воля? Все, что ты скажешь, — мы выполним». Это естественно и совершенно закономерно. И он говорит: «Дети, у меня к вам только одна просьба, чтобы вы жили в единстве между собой, не оскорбляли друг друга, не отделялись друг от друга. Чтоб вы сохранили семью». Отец умирает. А у детей находятся объективные причины, может, вполне серьезные... Почему они все перессорились? Почему они ненавидят друг друга? Почему они не хотят знаться друг с другом? Время от времени кто-то из них вспоминает, что отец ведь нам заповедал другое... И вот тогда-то дети и видят, что они его оскорбили. Они нарушили его завет, его волю. Предсмертный завет Христа нам, христианам, хорошо известен. Каждый в Библии прочтет эти слова, когда Господь Иисус молится перед смертью: «Да будет все едино: как ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня». Как Отец и Сын едины, так чтоб все были едины. Вот мысль Христа. Это Завет Его. Но Завет нарушен, нарушен совершенно очевидно. По объективным причинам. Все виноваты, каждый по-своему. Может, больше виноваты одни, может, больше виноваты другие... Люди Запада говорят, что больше виноват Восток в своей

гордыне, люди Востока говорят, что виноват больше Запад в своем властолюбии, и так далее. Но что нарушен Завет — это уже очевидно.

Вот так размышлял Соловьев и... задумал найти путь для преодоления христианского разделения. Но сначала он поставил перед нами, перед христианами, весьма важный вопрос. Он сказал: а что такое наша вера христианская? Что это — идеология? Отвлеченная философия? Или что-то для личного употребления? Ни в коем случае! Тогда бы она не была частью всеединого замысла Божьего. Это касается нашей жизни во всех ее аспектах и проявлениях, в том числе и в социальном. Люди должны научиться жить на земле по-Божьи. Подчиниться Божественному зову — это и есть теократия, боговластие. Но как они могут это сделать, если они все во вражде и разобщении? Соловьев изучает Библию, изучает древнееврейский язык (греческий, латинский он уже знал). Он читает Ветхий Завет. Он переводит значительные его куски заново. Он объясняет, что замысел Божий о том, чтобы люди жили по-Божьи на земле, восходит к самому началу, что не просто для утешения сердца дан завет Господний и не просто для того, чтобы успокоить надорванное сердце, а для того, чтобы и в обществе в конце концов начинали проявляться и осуществляться высокие Божественные предназначения.

Конечно, нельзя отрицать, что у Соловьева, тридцатилетнего молодого Соловьева, здесь был элемент утопизма. Ему казалось, как свойственно юности нетерпеливой, что это возможно хоть завтра! В частности, он придумал такой проект. Он считал, что самая мощная власть на Востоке — русский царь, самый мощный духовный центр на Западе — римский папа. Вот если они протянут друг другу руки, если Московское царство (или Петербургское) окажется в духовном единстве с всемирным церковным государством, с Римом, то христианство будет неодолимо, и будет возможно строить на земле вот такую теократию. Соловьев не только писал об этом — он даже пытался предпринимать практические шаги. Много ездил по западным странам, сблизился со сторонниками соединения Церквей. Он не хотел оставлять эту идею в отвлеченном виде, как некую мечту, а пытался осуществить ее.

Идея Соловьева... Папа римский сказал об этом: прекрасная идея, но нужно только чудо для того, чтобы она осуществилась. Надо сказать, что Соловьев был абсолютно одинок в этом и на Востоке. Его

православные собраты стали относиться к нему с крайним недоверием. Его статьи и книги (касающиеся богословских вопросов) перестали печатать, цензура их не пропускала, ему пришлось издаваться за рубежом. А на Западе его считали мечтателем, хотя относились к нему с любовью. Говорили: как можно соединить (два мира, расколовшихся полностью, восточно–православный мир и западно–католический!.. Соловьев оказался пророком, потому что спустя несколько десятилетий после его смерти совершенно независимо началось, хотя и не уверенно, но упорно, движение к взаимопониманию христиан разделенного мира.

В отношении социальном он был всегда сторонником демократии и справедливости. Его блестящие статьи в защиту свободы совести актуальны полностью и сегодня. Он считал, что христианство православное унижено, унижено у нас в стране тем, что его защищает (христианство защищает!) цензура, государство. Соловьев выступал против гонений на старообрядцев, против гонений на сектантов. Он говорил, что если истина действительно реальна и настояща, если люди, которые ее исповедуют, верят в нее, то разве нужно прибегать к цензуре, насилию, подавлению. К цензуре, насилию, подавлению прибегает только тот, кто в глубине души не верит в свою идею. Он, кстати, говорил и о «правде социализма» (это буквальные его слова). «Правда социализма» — частичная правда. Слово «социализм» он понимал очень широко, считал, что да, необходимо добиваться лучших экономических условий для жизни человека. Но он же был убежден (и доказывал это), что одних экономических преобразований совершенно недостаточно. Что на самом деле человек не может быть счастлив, если он материально обеспечен, а духовно нищ и обделен. Все попытки решить частным образом вопрос: либо–либо, либо материально, либо духовно, вызывали в нем протест. Крайний аскетизм, который говорил: будем восходить на небо и махнем рукой на землю, находил в его лице резкого противника. Свобода. Труд. Любовь. Деятельность. Созидание, активное участие человека. Что такое идея богочеловечества? Бог не один творит мир, а человек участвует в мировом творении. Колоссальная ответственность здесь возникала. И слово «Богочеловечество» для него не случайно, оно ведь взято из церковного обихода. Ибо для нас Иисус Назарянин есть Богочеловек, а раз Он Богочеловек, значит Он освящает самым фактом

Своего пребывания (Бога) на Земле, земной труд, земную жизнь, земную человеческую личность.

Размышляя о судьбах своего отечества, которое Соловьев очень любил, и, полемизируя со славянофилами, он хотел для своей страны не просто силы, мощи государственной, а чего-то иного. Об этом Соловьев говорит в своем стихотворении, которое называется «Свет с Востока». Начинается это стихотворение картиной столкновения двух миров: на Грецию движутся (около 500-го года до Р. Х.) войска завоевателя Ксеркса, огромное войско. Греческое войско немногочисленно и не может ему противостоять в открытом бою, но греки хитростью заманивают воинов Ксеркса в узкое Фермопильское ущелье. Персы не могут в нем развернуться во всей своей мощи, и там их встречает царь Леонид со своими воинами (их всего было 300 человек). Молодежь, я думаю, смотрела, у нас лет десять назад шел фильм о них «Триста спартанцев». Греки не дали пройти гигантской армии Ксеркса, они умерли все в этом ущелье, и Ксеркс, не зная, сколько там еще стоит воинов противника, вынужден был повернуть. И вот для Соловьева это историческое событие двух с половиной тысячелетней давности стало символом столкновения двух миров.

«С Востока свет, с Востока силы!

И, к вседержительству готов,

Ирана царь под Фермопилы

Нагнал стада своих рабов.

Но не напрасно Прометея

Небесный дар Элладе дан,

Толпы рабов бегут, бледнея,

Пред горстью доблестных граждан».

И стихотворение о борьбе Востока и Запада Соловьев заключает призывом к отечеству: «Русь! в предвиденье высоком ты мыслью гордой занята; Каким ты хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса или Христа?» Востоком деспотии, насилия, подавления, хотя и при внешней мощи, — или духовной силой в первую очередь? Для него это было очень важно, потому что духовная сила всегда стояла впереди.

Трагически развиваются события общественно-литературной жизни В.С.Соловьева. Он выступает с докладом на тему о средневековом мировоззрении. Доклад вызывает бурную реакцию, в газетах его поливают грязью! Богословы его считают почти

отступником от христианства. Начинается отвратительная травля. Казалось бы, ну что такого могло быть страшного в докладе о средневековом мирозерцании? А дело вот в чем. Соловьев впервые ясно сказал: не думайте, что Средние века — время торжества христианства! Средневековый строй был ублюдком, который соединил в себе христианские формы и языческие понятия. В силу этого обстоятельства, когда нехристианская мысль стала говорить о свободе, о достоинстве личности, о том, что унижение человека — это зло, она, отвергая христианство, на самом деле служила его идеалу... И Соловьев бросил смелую мысль, он говорил: кто отменил пытки? кто запретил инквизицию? — христиане или нет? Нет, не христиане. Это был очень острый и суровый вопрос, над которым, если думать честно, то думать было трудно. И... я понимаю, почему на Соловьева так взъелись пресса и многие другие...

Когда Соловьев жил в Лавре, в Сергиевом Посаде, он чувствовал себя спокойнее. Он писал, что монахи очень за ним ухаживают, хотят, чтоб он принял постриг. «Но я дешево не продамся», — шутил он. Его, действительно, как ученого тянуло остаться в монастыре, тем более, что жизнь его была такая аскетичная, и заниматься наукой. Только наукой. Но этот соблазн он преодолел.

Невозможно перечислить, что он делал и в каких направлениях. Он писал об экологическом кризисе, о поэзии Тютчева... О чем бы он ни писал, там всегда была глубокая, интересная мысль. Скажем один греческий епископ публикует древнехристианский трактат (I–II века). Соловьев дает его в переводе своего брата и снабжает комментариями. Это не просто ученые комментарии, а это целая... бомба! Потому что он показывает, как было в первоначальной Церкви и что изменилось потом. И всегда ли к лучшему? — ставит он вопрос. Реформатором церковным он быть не собирался, но вопросы эти ставил.

К концу жизни Соловьев понял, что его проект соединения Церквей рушится, что он неосуществим. Он пытается начать работать над теоретической философией. Он написал огромный труд — христианскую этику. Пусть каждый из вас не поленится прочесть эту книгу. Это большой том, называется книга «Оправданием добра». В ней содержится так много важного и ценного! Соловьев говорит сначала об идеалах человеческих. Что такое добро? Внешнее счастье, гедонизм, власть, еще что-то? Он показывает, что все это в конце

концов лопается! И дальше анализирует — научно, философски, богословски, поэтически — сущность того, что мы называем добром.

За несколько лет до смерти он причащается у католического священника. Этим самым он хотел как-то показать, что он лично уже не признает разделения Церквей. Когда он сообщил об этом своему православному духовнику, тот ответил, что этого не надо было делать. Они резко поспорили. И когда Соловьев умирал, он сказал: «Я был не прав». Он писал, что личные унии, личные переходы из Церкви в Церковь не помогут единству христиан, а наоборот, только вносят лишний соблазн.

Все вы знаете парк за Беляевом — это бывшее поместье «Узкое». Там сейчас санаторий Академии Наук. Кто из вас будет в этих местах, пройдите по дороге, ведущей вглубь, к санаторию, и вы подойдете к церкви. Она отремонтирована только снаружи, внутри там свалены книги, в свое время вывезенные из канцелярии Гитлера (они лежат с самой войны). Рядом с церковью, за оградой, дом, типичный помещичий дом. Это имение князя Трубецкого. Сергей Николаевич Трубецкой, бывший недолго ректором Московского университета, умерший через несколько лет после смерти Соловьева тоже достаточно молодым, блестящий философ, острый полемист и критик, благороднейший общественный деятель, — принял его под свой кров в критический момент, когда тяжелые и многочисленные болезни внезапно обрушились на Владимира Соловьева. Но на самом деле он постепенно скитальчеством убивал себя, — и вдруг все вышло наружу. И в кратчайший срок ему стало настолько плохо, что... он уже не мог оттуда уехать, и умер он на руках Сергея Трубецкого.

Перед смертью Соловьев причастился, исповедовался. Умер в сознании. Он читал и писал на еврейском языке, потому что любил всегда к своим молитвам прибавлять язык Христа, чтобы это звучало как связь с христианской древней традицией. Он знал многие псалмы наизусть. Теряя сознание, потом приходя в себя, он говорил: «Трудна работа Господня». Действительно, этот совсем не старый человек нес на себе колоссальное бремя. Простой, как ребенок, и одновременно мудрый. Человек, который вызывал восхищение, зависть, ненависть, поношение, презрение. Человек, о котором потом напишут сотни книг и брошюр, — уже через десять лет после его смерти библиография о нем имела несколько сот названий.

Итак, он умер и был похоронен в Москве... Я хотел бы, чтобы, когда у вас найдется время, вы зашли в Новодевичий монастырь. Прямо напротив входа, по первой же алее, слегка направо повернув, вы подойдете к памятнику Сергею Михайловичу Соловьеву — белому мраморному памятнику с его рельефом. Крест, конечно, сбит. Рядом — могилы его сына и дочери. Памятники, конечно, уничтожены. На могилах Владимира Соловьева и его сестры стоят обломки чужих надгробий, без креста. Но, слава Богу, что и такие стоят. Сейчас обещают к его 90-летию, на средства нашей Московской епархии, нашего епархиального управления восстановить памятник в первоначальном виде.

Туда, к этой могиле, приходили очень многие. Соловьев оказал огромное влияние на Андрея Белого, на Блока, который называл его рыцарем-монахом. Тема прекрасной Дамы у Блока, конечно, навеяна Соловьевым. Вся блестящая плеяда русских религиозных мыслителей — Булгаков, Флоренский, Бердяев, Франк, Евгений Трубецкой и многие другие — были бы невозможны, их трудно представить себе без Соловьева.

Этот странник был зачинателем оригинальной, своеобразной русской религиозно-философской мысли... И вот, когда вы придете на эту могилу, помните, что этот человек жив... Недаром он говорил: «Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови — все, кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви». Это была его глубокая интуиция, это было его глубокое познание. Этот отвлеченный интеллектуал всегда жил верой, всегда жил мистическим прозрением, всегда жил порывом к вечности. И это делает Владимира Соловьева для нас дорогим не только как писателя, как мыслителя, как поэта, но и как неповторимого своеобразного человека, ярчайшую личность, которой может гордиться каждая культура. И отраднo, что сейчас, после стольких лет забвения, наконец о нем пишут, наконец выходят его работы, — пусть робко, но возвращение Соловьева происходит сегодня на наших глазах. Я бы хотел, чтобы этот мой маленький эскиз помог вам, если бы вы захотели познакомиться с мыслью такого замечательного человека. Спасибо.

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ И ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕЦКИЕ

Дорогие друзья! В последнее время у нас стали наконец выходить книги наших христианских философов. В разных журналах появляются отдельные их религиозно–философские работы. Вышли Бердяев и Мережковские. Собственно говоря, книги выходят прямо вслед за тем, как происходят наши с вами встречи. А вот эти два замечательных человека — Сергей Трубецкой и брат его Евгений Трубецкой — пока почти неизвестны. Единственная публикация за последние 70 лет — это статья «Максимализм» Евгения Николаевича, которая была опубликована в «Юности».

Один философ справедливо сказал, что братья Трубецкие, особенно Сергей Николаевич, стоят в ряду основоположников самостоятельной, самобытной русской философии.

Оба они почти ровесники, Сергей Николаевич старше всего на год. Люди особого круга, принадлежавшие к древнему роду Трубецких, князья, аристократы, но не просто аристократы — оба принадлежали к глубоко интеллигентной среде. Сергей Николаевич родился под Москвой, в поселке Ахтырка, по Северной дороге, в 1862 году, а брат на год позже. Они получили блестящее домашнее воспитание, потом учились в калужской гимназии (отец был в Калуге генерал–губернатором). Юные годы их прошли в атмосфере музыки, поэзии, любви к культуре, любви к отечественным традициям. Это были люди уравновешенные, большого роста, крупные, серьезные; уже в юности они производили впечатление солидности. Андрей Белый писал, что Сергей Николаевич похож на верблюда, а Евгений — на доброго медведя. Я говорю о них параллельно, поскольку многое у них было общим не только по рождению и воспитанию, но и по мировоззрению и развитию. Сергей Николаевич умер рано, молодым, в 1905, а брат его, уже в революционное время, в 1920 году, пережив его на 15 лет.

Как и многие люди той эпохи, в юности они пережили увлечение материализмом, народничеством, отрицанием высших духовных ценностей, но очень быстро изучение философии, классиков

философии, сначала привело их к основам позитивизма (по Спенсеру, Конту, Миллеру), а потом, почти без перехода, — к глубокому пониманию значения западной идеалистической, как теперь говорят, метафизики.

Познание тайн мира началось через философию Шопенгауэра. Затем, будучи студентом юридического факультета Московского университета, Сергей Николаевич проштудировал 6 томов Куно Фишера. Куно Фишер — немецкий историк философии, написавший 6 огромных томов (они есть в русском переводе) «Истории философии»; каждый том по 600–800 страниц, посвящен кому-либо из выдающихся философов Европы: это и Спиноза, и Кант, и Шеллинг, и Гегель. И вот это изучение вывело Трубецких из пустого, поверхностного, плоского, скучного мира позитивизма.

И еще одно очень важное событие — знакомство и сближение, наконец, глубокая дружба с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Эта дружба продолжалась до последних дней Владимира Сергеевича, и, если вы помните, умер Владимир Соловьев на руках у Сергея Трубецкого, в «Узком», где теперь Теплый Стан. Там было имение Трубецких, сейчас это дом отдыха Академии наук.

Глубоко отзывчивый ко всему не только отвлеченному, теоретическому, и прекрасному, Сергей Трубецкой погружается в античную философию. И античная философия, осмысленная через метафизику всеединства Соловьева, приводит его к христианству и православию. Как пишет один из его коллег по Московскому университету, Сергей Николаевич был не только православным, но и человеком, глубоко убежденным в своем православии... Я хотел бы привести несколько строк из речи, которую произнес на поминках Сергея Николаевича Трубецкого его коллега Владимир Иванович Вернадский. Это очень важно, важно потому, что впоследствии Вернадский сам развивал идеи, брошенные, как семена, Сергеем Николаевичем Трубецким. Вот что пишет Владимир Иванович Вернадский: «Идеалист-философ, вследствие мистической основы своего миропонимания, в то же время являлся крупным ученым, владеющим всем аппаратом ученого XX века. Я живо помню, как он глубоко и ярко чувствовал эту вековую связь, когда он указывал на значение критики текста Нового Завета, на создание строгой, критически беспощадной научной работы ученых двух столетий, и как

он учился на этой работе историческому пониманию более близких ему областей истории мысли». Упоминание Вернадским Нового Завета не случайно. Для изучения античности и истории мысли Сергей Николаевич едет в Германию и там встречается со знаменитым немецким историком, мыслителем и библейским критиком Адольфом Гарнеком.

Адольф Гарнек (он умер на 10 лет позже Евгения Николаевича, в 1930 году) был корифеем так называемой либеральной протестантской школы. Дело в том, что очень часто в церковных кругах, православных и католических, либо боялись научной критики, критики текста, исследования вопроса о том, когда возникло то или иное произведение Ветхого или Нового Завета, исследования о том, является ли достоверным то или иное житие или древнее сообщение церковных историков, — или же, когда в конце концов этот консерватизм оказывался непереносимым, бросались в обратную крайность. Так было и с Сергеем Сергеевичем Голубинским, который начал писать свою огромную «Историю Русской Церкви» (он тоже их современник), эта работа была построена на пафосе гиперкритицизма — все, что только встречается в истории Русской Церкви, он подвергал сомнению. И, по существу, в первом томе у него одним вопросительные знаки и разрушение традиционных представлений (начиная от крещения Руси и всего другого).

Адольф Гарнек нашел средний, очень выверенный и мудрый путь — он признал значимость острого критического изучения первоисточников, но не позволял превращать это просто в какое-то археологическое занятие, а всегда видел в этом поиск духовных ценностей христианства; и никогда он не впадал в гиперкритицизм. Он не шел слепо за традицией (вернее, за преданиями), но он не шел слепо против преданий. И если критическое чутье ученого (а Гарнек был ученым с мировым именем, создавшим огромную школу) подсказывало ему, что исследование подтверждает древнее предание, то он с радостью принимал это как объективный ученый и христианин.

И вот дружба с Гарнеком, школа Гарнека сыграла огромную роль в формировании молодого Трубецкого. Ему не было еще 30 лет, и он впитывал все с необычайной быстротой. Человек колоссальных способностей, блестящих разнообразных дарований, остроумный, бесконечно добрый, твердый, любитель старины и в то же время

широко открытый в будущее; монархист, не признававший деспотии, бывший глубочайшим демократом, — он всегда шел по пути сбалансированному, (как предшественник, может быть, Георгия Петровича Федотова).

Но с Гарнеком у него были и серьезные разногласия, потому что Гарнек, увлекаясь философией неокантианства, философией, которая пыталась как бы отделить познающего от реального объекта, которая, призывая назад, к Канту, на самом деле выхолащивала из подлинного Канта наиболее ценные моменты его философии, — в конце концов следовал по пути отрицания всякой метафизики.

Уже позже, зимой 1899–1900 года Гарнек прочел для студентов цикл лекций в Берлинском университете, который назывался «Сущность христианства». Там он выразил свое кредо. Эта книга, блестящая по форме и содержанию, однако, оказалась неспособной выразить сущность христианства. Ибо Гарнек не мог вырваться из той гносеологической тюрьмы, в которую его бросил неокантианский скептицизм.

Для Гарнека те вещи, которые мы познаем таинственным интуитивным путем, как бы исчезают; он понимал, что наука не знает и не может знать ответа на вопрос, для чего мы живем и почему существуют мир и человек. Но тем не менее он искал сущность в исторических фактах, что само по себе было уже порочно, ибо сущность любого явления познается интуитивным созерцанием. История дает только набор фактов.

Трубецкой понимал, что путь к реальности для человека не закрыт. В этом отношении у него было серьезное расхождение с Гарнеком, и он пишет несколько работ, посвященных особенностям человеческого познания и обоснованию идеализма, как он его понимал. Не принимая скептической точки зрения неокантианцев, он в то же время показывает, что та концепция, которая была развита, начиная с XVIII века, согласно которой человек познающий (субъект) как бы совершенно одинок, весь мир ему противостоит, — это ложное воззрение.

Немного поясню. Вот, я вижу этот мир, вижу ваши лица, вижу цвет кресел, потолок, это воспринимают мои органы чувств. Я их восприятие перерабатываю своим мышлением. С этого начинается любой субъективный идеалист. В конце концов он говорит, что вещь в

себе, то есть вещь, как она есть, непознаваема, а я (как субъект) являюсь одиноким в мире. Между тем Трубецкой стремился показать в целом ряде работ, проводя эту мысль, что человек складывает свои представления, теоретические и рациональные, только благодаря тому, что он имеет контакт с мышлением двух субъектов, что он не одинок, что он вовлечен в некий поток целого.

Каждый из вас легко это поймет: все наши слова, представления формируются с детских лет на основе контактов. Да, конечно, человек(каждый человек) — это центр воспринимающего мира. Но я напому вам — во времена Трубецкого этот факт не был известен. И когда ребенок воспитывался не в человеческом обществе, скажем, у зверей (как Маугли), — он не получал возможности развития своего субъективного «я» и мышления, и он на всю жизнь, даже вернувшись потом в человеческое общество, оставался идиотом. Таким образом, даже развитие личности, ее психических свойств и мышления, необычайно темно, связано с тем, что сейчас мы бы назвали духовным единством человечества. Трубецкой называл это начало соборностью.

Этот термин он взял у славянофилов, у Хомякова в частности. Безусловно, в этом была его глубокая связь с теми зачатками философской системы, которые мы имеем в раннем славянофильстве. Он не был политическим славянофилом, то есть он не считал, что для России все западное противопоказано. Наоборот, он считал, что, несмотря на своеобразный путь России (а каждый народ имеет своеобразный путь), ее культурные контакты, культурная связь с другими народами, особенно Западной Европы, должны быть, и это — нормально. И в политическом мышлении Трубецкого повторяется его гносеологическое убеждение: не одиная культура, которая всем противостоит, а культура, которая развивается только благодаря органической живой и постоянной взаимосвязи, в обмене, в диалоге с другими культурами. Поэтому он защищал свободу слова, свободу совести, свободу печати. А в то время это была острая проблема...

Соборность мышления, соборность человечества, соборность народа... Поясню, что означает «соборность» в терминологии славянофилов. Есть индивидуализм и его антипод — коллективизм. Индивидуализм необычайно гипертрофирует «я», индивидуум, а коллективизм подавляет ценность личности. Мы знаем и то, и другое. Соборность это третий путь, центральный путь, который славянофилы

усмотрели в идеале христианства, в идеале Церкви, но не эмпирической церкви, конечно, (которую славянофилы очень резко критиковали), а в духе Церкви, в том начертанном в Евангелии принципе, где все объединяются, но никто не теряет своего «я».

Исходя из этого, Сергей Николаевич строит и свою гносеологию. Он говорит, что человек мыслит, потому что он получил материал для мысли от других мыслящих существ. Но все наше мышление в целом возможно лишь потому, что существует некая объективная логика, объективное мышление, объективный дух. И вот здесь мы приближаемся к тем идеям, которые Вернадский впоследствии развил на базе естествознания. Сергей Трубецкой не произнес слово «ноосфера» (сфера разума), но явно уже ее предусматривал в своих воззрениях. Человечество — единый организм не только благодаря генетическому коду, но и благодаря духовному единству и благодаря связи с абсолютным мышлением. Абсолютное мышление приводит человека к Богу. Познать и жить человек может только в соотношении с Абсолютным.

Трубецкого упрекали в пантеизме. Но это был неправильный упрек. К сожалению, умерший рано философ не смог до конца развить многие свои мысли; впоследствии за него это сделал брат. Но тем не менее можно вычленить у него два представления о единстве. Владимир Соловьев учил о всеединении человека и вселенной в Боге. С этим вполне согласен и Сергей Трубецкой. «Мы в Нем живем, и движемся, и существуем», как сказал апостол Павел. Но к этому Трубецкой добавляет некую духовную сущность, которую он называет по-старому, античному образцу Душой Мира. Живое мироздание. Земля живая. Человечество едино. Животные и растительный мир — это некий единый организм. И все Творение — это нечто живое, обладающее душой. Мы знаем, что душа присуща, как какой-то вид сознания, и животным, и по-своему растениям. У нас нет основания считать, — писал Трубецкой, — что камень совершенно лишен его. И в конце концов он приходил к идее некоего пансихизма, то есть одушевленности твари, и находил подтверждение этому в писаниях мистиков, в переживаниях тех, кто любит природу, а впоследствии, скажем, в теориях Тейяра де Шардена и Вернадского. И Тейяр де Шарден и Сергей Николаевич Трубецкой были пансихистами.

Вот это понимание Души Мира, с которой связан человек, является, с моей точки зрения, одной из важнейших основ для экологической этики сегодня. Потому что человек должен понимать, что он живет в живом мире, частью которого он является, и частью ответственной, потому что ему дано сознание. Земля и жизнь на ней — не просто случайное сплетение атомов и молекул, а это есть организм. И страдания этого организма (пусть они и не такие, как у человека) в конце концов коснутся и человека как его части.

Трубецкого очень интересовала проблема, как идея об одушевлении твари преломлялась в античном мире. Он пишет диссертацию «Метафизика в Древней Греции». Это прекрасная книга, в которой он, одним из первых среди русских мыслителей, дает объективную, глубокую, блестяще написанную картину развития духовной мысли в Древней Греции, духовного эллинизма.

Впоследствии он развил те же идеи в большой работе «История древней философии». Вот тут на него сразу напали клерикалы. Протоиерей Буткевич, Антоний Храповицкий стали громить его в печати, грубо и совершенно недопустимым образом, за то, что он видел в античном мышлении, в идеях Гераклита, Пифагора, Платона предчувствие, предвосхищение христианства. В этом он стоял на той же точке зрения, что и его друг, Владимир Соловьев. Соловьев писал, что истина не могла явиться сразу, в готовом виде. Истина подготавливалась, она проходила фазы исторического развития. И поэтому, если мы в Ветхом Завете в древнем Израиле имеем предуготовление мира к принятию Спасителя, то точно так же мы находим это предуготовление, пусть в другой, метафизической форме, в мире древнегреческой философии. И это было не изобретение Соловьева и Трубецкого, а верное следование традиции Святых Отцов. Ибо Отцы Церкви еще во II–IV веках буквально так мыслили и так писали.

Сергей Трубецкой написал одну диссертацию и переходит ко второй. «Учение о Логосе» — это его докторская диссертация. Она вышла за несколько лет до его смерти. В истории русской библеистики и в изучении античности — это уникальное явление. Книга, которая появилась почти 100 лет тому назад (она напечатана в журнале «Вопросы философии и психологии», потом вышла отдельным томом в 1906 году), не устарела и сегодня, несмотря на множество открытий

в этой области. В ней Трубецкой развернул свой талант с полным блеском. Он показал, как человеческий мир предчувствовал Откровение тайны Божественного Слова — Логоса, предчувствовал появление Христа. Потом он обращается к ветхозаветному миру и не пересказывает с наивным лжепослушанием традиционные концепции, освещающие Ветхий Завет, а использует весь блок тогдашней научной исторической критики.

Мы знаем, что историческую критику Библии в XVIII, XIX, XX веках нередко использовали для ее развенчания и уничтожения, поэтому богословы панически боялись ее. Ну а у нас духовная цензура просто-напросто запрещала писать в таком ключе. И даже просто изложение воззрений библейской критики считалось чем-то необычайным, необычайно смелым шагом. Критиковали, конечно, и Штрауса, и Гарнека, и Ренана, и других, но не переводили их на русский язык и не издавали. Была картина, немного напоминающая нашу светскую критику, когда у нас клеймили буржуазных философов, скажем Фромма, Фрейда и других, но не издавали и не переводили; и читатель, если он не мог раздобыть в оригинале эти книги, вынужден был ориентироваться только по этой обличительной литературе. Так было на всем протяжении XIX века в России, и не только в России.

И вот Сергей Трубецкой показал, как естественно и органично смелый критический взгляд сочетается с глубочайшим проникновением в смысл библейского повествования и доктрины. Если бы меня спросили, кто лучше всего изложил основы библейского богословия, я сказал бы, что на русском языке до сих пор никого не было выше, чем Сергей Николаевич Трубецкой.

Разворачивая панораму ветхозаветной истории, показывая конфликты идей, прорывы Откровения за несколько веков до Рождества Христова, он смело подходит к самой центральной последней идее — идее воплощения Логоса в Христе. Он говорит о Нем как христианин, но в то же время как ученый. Когда Гарнек утверждает, что Христос принес на землю только лишь высокое нравственное учение и веру в Бога — любящего Отца, Сергей Николаевич возражает. Он возражает, что не таково учение Христа — Он не был никогда моралистом, который просто утешал людей нравственными сентенциями. Христос утверждал о Себе нечто небывалое, у Него было единственное в истории особое Богосознание,

то есть сознание человеческое в Нем слилось и отождествилось с Богосознанием. Он исходил не из высшего авторитета небесного, а из того авторитета, который был в Нем Самом. И это, говорит Трубецкой, Самосвидетельство Христа есть факт истории; таков Христос в документах наиболее ранних, наиболее древних. Мы можем в это верить или не верить — это вопрос уже иной, вопрос не исторический, а нравственный, духовный, мистический, проблема веры здесь вступает в свои права...

Далее он говорит о том, что мир был застигнут Христом врасплох, потому что явление Бога поставило человека перед необходимостью выбора; и застигло врасплох не только фарисеев и Кайафу, а застигает врасплох человека и сегодня. Потому что, как показывает Трубецкой на историческом материале, люди, сопротивлявшиеся Христу — идеологи, ученые, богословы, несли в себе типологию, непреходящую типологию благочестия, самодовольства, авторитарности, элитарности и всего того, что проходит с течением времени.

Учение о Логосе у древних греков — это учение о безличной силе, подобной закону, который управляет мирозданием. Во Христе Слово Божие, наваро хейму, становится силой личностной, явленной человеку. «Слово Божие произносится в молчании Абсолюта».

Вот этот человек, погруженный в древние тексты, в метафизические изыскания, выходит на общественную арену. Он не может быть кабинетным ученым и принимает активное участие в общественной борьбе. Борьба за свободу, за отечество была для него жизненной программой. По существу, он принес свою жизнь в жертву этой борьбе. Он поразил мир вот этим сочетанием глубокой учености, спокойного, аналитического ума — с твердой верой. Не сюсюкающей верой! Соприкасаясь с нашим церковным миром, он отнюдь не умилялся по любому поводу, а часто сравнивал нас, грешных, с саддукеями. Когда он был в Троице-Сергиевой Лавре, то глядя, как разгуливают там монахи, он говорил своему брату, что вот ходят саддукеи (саддукеи — это противники Христа, жреческая каста в иудействе того времени).

Когда Василий Васильевич Розанов выступил против идеи свободы совести, Владимир Соловьев разразился фельетоном, который назывался так: «Порфилий Головлев о свободе и вере». Это очень остроумно написанный Соловьевым фельетон. Начинается он так: я

знаю писателя Розанова, это очень талантливый умный человек, и вдруг под его фамилией пишет кто-то другой, вероятно, — это Иудушка Головлев рассуждает о свободе и вере. И дальше, взяв этот ключ, Владимир Соловьев не оставляет камня на камне от мракобесных рассуждений Розанова. Когда Василий Васильевич прочел это, он сказал: «Я ничего не могу на это возразить. Он меня убил». (Ну, Розанов был искренним человеком).

Столь же сурово тогда написал и Трубецкой и, в частности, он спародировал взгляды Розанова в стихотворении, которое называлось «Молитва Бутонова (Бутонов — Розанов). Как говорят (но это не проверено), это стихотворение они сочинили вместе с Соловьевым. Я его не помню точно, но начиналось оно так:

Затеплю я свою лампаду,
Душой высокой воспарю,
Я не убью, я не украду,
Я не прелюбы сотворю.
И, духом кроткий, полный мира,
Я дело веры совершу...
(дело веры — этой аутодафе),
...Не сотворю себе кумира -
Чужие храмы сокрушу...
Взорву костелы динамитом,
На воздух кирхи полетят,
На океане Ледовитом
Божницы чукчей затрещат.
Пусть ложной веры кафедралы
Падут, рассыпавшись во прах,
И воют древние шакалы
На опустевших тех местах.
А я пойду, смиренный духом...
Там что-то про людей, и кончается:
... И помолюсь, смиренный духом,
За православный наш народ,
За растворение воздухов
И за святейший правительственный Синод.

Это настроение Трубецкого вполне ясно видно из этого пародийного стихотворения.

Сергей Николаевич был профессором Московского университета (теперь это МГУ). Он считал, что это место, где куется для всей страны интеллектуальная элита, должно быть местом свободы. Вот почему проблема автономии университета, его независимости от правительства, полицейских и прочих инстанций, — важнейший для культуры принцип. И он за него боролся отчаянно, смело, он обращается к царю, обращается к сенаторам, борьба была очень суровой. И в конце концов, пожалуй, она его и сломила. Его избрали ректором Университета. Но его здоровье было сильно подорвано, несмотря на молодость лет... И всего 27 дней Сергей Николаевич пробыл на должности ректора. Он должен был поехать в Петербург, чтобы опять хлопотать по этим делам, и там внезапно скончался от инсульта, пережив, как я сказал, своего друга Соловьева всего на пять лет.

От него осталось пять объемных томов сочинений. Первый том составляет его публицистика, в том числе его блестящий очерк о французском мыслителе Ренане. Второй том — богословские, историко-религиозные статьи, в том числе блестящая работа «Догматика и этика» — короткая, но четкая, где он показывает, что этика (как у нас теперь часто думают) не может висеть в воздухе, что она обязательно уходит корнями в религиозное обоснование; что человек не может найти для этики оправданий в природе, в логике, в законе, в выгоде, наконец: потому что в одном случае выгодно, в другом нет, в одном случае соответствует природе, в другом нет. Поэтому этические принципы имеют происхождение в высшей духовности. Третий том — это метафизика Древней Греции, четвертый том — учение о Логосе. И, наконец, «История древней философии». Как утверждают большинство наших философов и историков русской мысли, Трубецкой не полностью сумел выразить свой взгляд, не до конца он осуществился. Но все основные принципы были заложены. Те из вас, кто любит ясную, хорошую мысль, кто любит свободное, открытое понимание действительности, получит огромную радость, когда будет читать произведения Сергея Трубецкого. Он пишет несложно, четко, прозрачно, как и его друг, Владимир Соловьев. Я надеюсь, что в ближайшем будущем Сергей Трубецкой будет у нас издан (поскольку у нас с вами все время так получается, что после моего рассказа о философах выходят их книги).

И вот он умер. В Университете было создано Общество его имени. На этом Обществе выступали разные люди, вот у меня тут несколько выступлений, в том числе Вернадского. Есть тонкое замечание тогда приват-доцента Сергея Николаевича Булгакова. Выступая, Сергей Николаевич сказал: «Я мало знал Трубецкого, но его звезда ярко светила на моем духовном небосклоне, указывая путь. В ту пору, когда я переживал ломку мировоззрения, проходя свой длинный путь от марксизма к христианству, князь Трубецкой, в числе других религиозных мыслителей, являлся той крепкою и мужественной опорой, которая так нужна человеку, пробивающемуся сквозь чащу современного неверия или, чаще всего, религиозного индифферентизма». И еще Булгаков сказал о том, что драгоценным у князя Трубецкого было его христоцентрическое мировоззрение. То есть для него во Христе открывалось самое главное, что только содержится в христианстве. Но при этом он приводил слова Сергея Николаевича Трубецкого об Откровении и критике: «Твердо убежденный, — пишет князь Трубецкой, — что Откровение никогда не может перестать быть Откровением, я не боюсь истории и не поворачиваюсь к ней спиной. Напрасно думают оградить христианство, выделяя его из истории, но можно таким путем только соблазнить тех, кто обратятся к фактам и увидят, что оно есть средоточение истории. Христианство живет и действует на земле, оно выросло на земле из семени горчичного, оно росло и будет развиваться, доколе не придет в полноту возраста Христова». Тем самым, по словам Булгакова, князь Трубецкой стал русским преемником греческих, египетских, сирийских Отцов Церкви, которые учили о значении разума, знания, науки, философии для осмысления христианского мировоззрения.

Евгений Николаевич Трубецкой был человеком несколько иного склада, он не был так увлечен метафизическими проблемами, но влияние на него Соловьева было столь же сильным, что ему даже приходилось от этого влияния освобождаться. В результате этой внутренней борьбы за свою самостоятельность как мыслителя, ученого Евгений Трубецкой (тоже профессор Московского и Киевского университетов) пишет двухтомную глубокую, насыщенную огромным фактическим материалом работу об общественно-религиозном идеале западного христианства. Я напомню вам, что Соловьев считал, что

христианство должно осуществить на земле теократию — боговластие, некий идеальный строй, в котором божественные законы будут основой общества. Насколько это оправдано, Евгений Трубецкой пытался понять через историю и рассмотрел в этом ключе два пункта: учение блаженного Августина о государстве и учение папы Григория VII, создателя теократической папской державы в XI веке.

В то время жила в Москве красавица, богатейшая женщина, Маргарита Кирилловна Морозова. У нее было несколько домов на Арбате, в частности, один дом с прекрасным залом в Мертвом переулке. Она глубоко полюбила князя Евгения. Эта любовь так и осталась платонической, между ними ничего, в общем, не осуществилось, кроме искренней духовной привязанности. Но я упоминаю об этом чисто личном моменте, потому что он сыграл для русской философии огромную роль. Маргарита Кирилловна была богатая женщина, и она предложила князю Евгению финансировать религиозно–философское издательство и проводить в ее доме религиозно–философские вечера.

Там, в Мертвом переулке, стали собираться лучшие, молодые тогда, представители русской религиозной мысли и масса слушателей. Дом красивый, старинный, залы с угощением для гостей, со специальным помещением для лекций, дискуссий; стены увешаны иконами, тогда еще только–только открываемыми. В эти годы (в начале XX века) реставраторы впервые открыли для себя и для мира яркую политру древнерусской иконы. Ведь до этого считалось, что икона — это что–то черное, черные лики (как вы знаете, эта чернота происходила просто от химических процессов, от потемнения олифы, которой покрывалась икона). Так вот, висели отреставрированные иконы, и там происходили беседы, доклады, читались рефераты. Там ковалось то универсальное русское религиозно–философское движение, которое было потом революцией уничтожено, физически уничтожено, но часть которого успела выплеснуться на Запад и создать там свою школу, духовное наследие которой к нам теперь возвращается.

На собраниях Общества обсуждали самые разные вопросы, а издательство решили назвать «Путь». И в этом издательстве впервые появился двухтомник Евгения Трубецкого о Соловьеве (это и его биография, история его жизни и история его мышления; Трубецкой с

ним как бы и не расставался). Трубецкой показывает в книге, в чем они едины, в чем они расходятся. В издательстве «Путь» впервые вышла книга Флоренского «Столп и утверждения истины», том собрания сочинений Киреевского, впервые изданы сочинения Чаадаева. Можно без конца перечислять книги, которые вышли радениями Маргариты Кирилловны, это целая библиотека, которая драгоценна и сейчас.

Под редакцией Трубецкого выходили очень серьезные книги, и, когда уже началась революция, он суммировал свое мировоззрение в книге «Смысл жизни». На титульном листе он поставил знак издательства «Путь», хотя само это издательство было уже ликвидировано в буре революционных лет. Тогда же в издательстве «Путь» вышла его небольшая книга «Два зверя».

Кто эти два зверя? Это два чудовища — чудовище реакции и чудовище разнузданной тирании «слева» (так называемой «слева»). Он говорил, что эти два зверя одинаково опасны для любой страны, и для России особенно. Но самыми яркими произведениями его этого периода, вышедшими в издательстве «Путь», были несколько брошюр, положивших начало осмыслению древнерусской иконописи вплоть до наших дней. Именно от этих трех брошюр начинается совершенно новое понимание иконы. Брошюры называются: «Умозрение в красках», «Два мира древнерусской иконописи» и «Россия в ее иконе».

Очень интересно основное видение Евгения Трубецкого. Он говорит о том, что мир — это мир пожирания. Он вспоминает, как видел кинокадры о водяном жуке, который пожирал все, что находилось в аквариуме. «Это мне напомнило нашу жизнь», — говорит он (он написал это во время первой мировой войны). Железная военная машина пожирает все — и неужели жизнь такова? Неужели человек обречен так существовать? Дух человеческий открывает иное царство, иное видение, и это видение гениально запечатлели древнерусские иконописцы. И для нас открылось новое, когда сняли оклады, ризы, когда промыли иконы. Он говорит о том, что ризы — это результат благочестия, но примитивного, вульгарного: икона стала темная, ее надо было украсить, чтобы повесить. Он говорит: как бы выглядела Мадонна Рафаэля или Боттичелли, если бы ее одели в ризу? Можно ли это себе представить? Нет. А как же мы одели Владимирскую Богоматерь, Троицу в ризу! Действительно, для Трубецкого, как и для многих людей, это было откровением. Иконы,

прежде бывшие лишь мрачными, темными пятнами на фоне позолоченных риз, заиграли всеми небесными красками, и выяснилось, что каждая краска имеет свою особенность; что солнечный свет обозначен золотом, а напряженность духа — алым цветом; что все эти линии, которые художникам–передвижникам казались просто неумением рисовать, — символы, как бы ноты таинственного видения, которое пришло к святым и которое передавалось через символику и музыку, художественную музыку иконы.

Икона открывает перед нами небесный мир — мир света, красоты; мир, противостоящий нашему черному миру, миру смерти и вражды. И в этом — виденье света и гармонии.

То, что Сергей Николаевич называл всеединством, соборностью, для его брата стало духовной мистической реальностью, которая отображена в иконописи. И он подчеркивал, что в древних храмах, которые сохранили первоначальную роспись, существует некое единство всей композиции и все движения, все лики, все руки святых обращены к одному центру — это гармония мира. Она дана была людям. Но она была потеряна, стены были закрашены, исчезли краски, золотые купола, вознесенные к небу, заменились шариками на тонких ножках, шпилями — это утрата видения. И то, что Трубецкой это уже признавал и говорил об этом людям, — было знаком перехода не только к иному восприятию иконы, но и — мира в целом. И если говорить об аскетизме древнерусской иконы, то аскетизм здесь не мрачный, не тот, о котором говорил Василий Васильевич Розанов («темный лик»), а это преодоление злости мира сего.

Евгений Трубецкой пишет множество памфлетов, статей, и он все время утверждает смысл против бессмыслия. Мировая война, революция, гражданская война — это все бессмыслие, а смысл — это любвединство. Такова была его главная точка зрения, его ощущение. Если мы разобьем картину на куски, она лишается смысла; если мы разобьем статью на куски — она лишается смысла. Только целостный организм имеет смысл. Если мыотрежем от организма часть, то он умирает, потому что он бессмыслен. Вот таково органическое единство мира.

Евгений Трубецкой верил в то, что страна должна пройти через тяжелые очистительные страдания. В это время его друзья уже

покидали отечество, но он мечтал только о том, чтобы умереть на родной земле. И так это случилось. Он уехал на юг, примкнул к Белому движению и умер в Новороссийске от тифа в 1920 году. С этого времени его произведения больше не переиздавались, имя его было вычеркнуто из истории русской культуры, и только сегодня он и его брат начинают к нам снова возвращаться.

Это самый краткий абрис того, что можно было рассказать об этих замечательных людях.

Спасибо.

РЕЛИГИОЗНО–ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Дорогие друзья! Лев Николаевич Толстой не был философом, богословом в полном смысле слова. И сначала я не собирался посвящать целую встречу его религиозно–философским воззрениям. Но все–таки я вижу, что это необходимо. И сегодня мы остановимся на нем — в нашем интересном и непростом путешествии по области, долгое время скрываемой от людей, интересующихся русской религиозной мыслью.

Когда мы с вами говорим о Толстом, то прежде всего имеем в виду писателя, автора романов, повестей, но забываем о том, что он также и мыслитель. Можно ли назвать его крупным мыслителем? Нет, он был крупный человек, он был великий человек. И даже если мы не можем принять его философию, почти каждый из нас благодарен ему за какие–то радостные мгновения, нами испытанные, когда мы читали его повести, его художественные произведения. Мало находится людей, которые вообще не любили всего его творчества.

В разные эпохи нашей собственной жизни Толстой вдруг открывается нам с каких–то новых, неожиданных сторон.

Если это так, то имеем ли мы право рассуждать, как рассуждают некоторые люди: Толстой был гений литературы, а что он там писал что–то скучное по философии и религии — это лучше не затрагивать, и хорошо, что это никогда не включают в собрания сочинений, кроме академического. А академическое — это малодоступное 90–томное собрание, с которым работают в основном специалисты–литературоведы и историки. Поэтому неудивительно, что на протяжении всего периода после смерти Льва Николаевича, особенно в советский период, мало кто серьезно обращал внимание на эту сторону его творческой деятельности.

Но, друзья мои, это великая неблагодарность! Я говорю вам это совершенно искренне. Являясь православным священником, членом той Церкви, которая издала определение, отлучающее Толстого от

Церкви я тем не менее подчеркиваю, что это вовсе не означает, что мы должны быть несправедливы к этому человеку и что мы должны перечеркнуть то, что волновало этого ушедшего из жизни гиганта, может быть, гораздо больше, чем его художественные произведения. Это была его внутренняя жизнь, это было то, что мучило и восторгало его на протяжении всей его долгой жизни.

Те, немногие из вас, кто, возможно, читал его дневники, легко могут убедиться, как рано начал он анализировать свои поступки, как рано он стал задумываться над смыслом жизни, как он думал о смерти, об этических свойствах человеческого бытия и человеческого общества. И оказывается, он не просто писатель, а он действительно некая синтетическая могучая личность.

Когда-то, около 90 лет тому назад, Дмитрий Сергеевич Мережковский написал книгу «Лев Толстой и Достоевский». Он хотел представить Толстого (и справедливо) как полнокровного гиганта, как человека—скалу, как некоего великого язычника; а Достоевского — только как христианина, фанатичного, одухотворенного, спиритуального проповедника духа. Ясновидец духа и ясновидец плоти — любимые антитезы Дмитрия Сергеевича Мережковского. Какое-то зерно истины в них есть. Обычно мы говорим: скорбные глаза Достоевского, мучительная муза Достоевского, мучительный гений Достоевского, страдальческая жизнь. А Толстой — полноводный и полнокровный.

Это ошибка, друзья мои. Ошибка детей, равнодушных к страданиям отцов. Ибо Лев Николаевич Толстой был человеком не менее трагичным, чем Достоевский. И я вам прямо скажу — более трагичным, намного более трагичным. Современники и многие потомки это просмотрели. Я не буду вдаваться в детали. Но вы задумайтесь над тем, что человек, создавший одну из величайших русских национальных эпопей, как «Война и мир», выступал против патриотизма. Человек, который написал страстные, бессмертные строки о любви (и в старости писал, вспомните «Воскресение», момент встречи Нехлюдова и Кати, когда они еще молоды. Это пишет старик! А как он пишет!), и этот человек, описавший любовь в ее разных оттенках и аспектах (любовь—восхищение, любовь—страсть), вообще считал брак каким-то недоразумением и в «Крейцеровой сонате» перечеркнул его.

Человек, который большую часть жизни был проповедником евангельской этики, а последние 30 лет жизни посвятил проповеди христианского учения (как он его понимал), оказался в конфликте с христианской Церковью и в конечном счете отлученным от нее. Человек, который проповедовал непротивление, был воинствующим борцом, который набросился с ожесточением, я бы сказал, Степана Разина или Пугачева, на всю культуру, разнося ее в пух и прах. Человек, который стоит в культуре как феномен (его можно сравнить только с Гете, в Европе), универсальный гений, который, за что бы ни брался — пьесы, публицистика, романы, повести — всюду это мощь! — и этот человек высмеивал искусство, зачеркивал его и в конце концов выступил против своего собрата Шекспира, считая, что Шекспир зря писал свои произведения. Лев Толстой — величайшее явление культуры — был и величайшим врагом культуры.

И наконец, давайте подумаем о личной судьбе его. Достоевский — да, трагедия: в молодости приговорен к расстрелу, трудная семейная жизнь. Но у него была любовь и гармония с Анной Григорьевной. И жил он трудно, но так, как это соответствовало его духу, мысли, стилю его жизни. А Толстой годами терзался тем, что стиль его жизни противоположен тому, что он проповедует, годами восставал против этого — и вынужден был терпеть до конца дней, можно сказать до своего побега и смертного часа. Человек, который убежал из дома, — фигура, безусловно, глубоко трагическая. И это лишь немного из того, что можно было назвать. И именно поэтому мы с вами должны с уважением, бережностью подходить к тому, что терзало, и мучило, и превращало жизнь Толстого в трагедию, в драму.

Теперь поставим вопрос о его религиозно-философских воззрениях. Он писал, очень часто повторяя это в разных вещах, что «я только в детстве имел традиционную веру, а с 14 лет я полностью от нее отошел и жил в пустоте, как все мои современники». Конечно, не надо принимать эти слова буквально. Вера у него была. Но это была вера туманная, расплывчатая, типа деизма. Вы знаете, наверно, что вместо креста молодой Толстой носил портрет Жана Жака Руссо. И это не случайно.

Жан Жак Руссо — великая историческая фигура европейского и общечеловеческого масштаба. Он поставил перед людьми вопрос, который до сих пор не снят, вопрос о том, не является ли цивилизация

нашим врагом? Не является ли путь назад, к простоте жизни, естественным спасением человечества? Жан Жак говорил об этом в XVIII веке, когда не было ни атомных электростанций, ни отравленных рек, ни той уродливой скученности городов, которая превращает столицы мира в какой-то немыслимый человекоубийственный муравейник. Но уже тогда Руссо, как у нас принято писать в учебниках, гениально предвидел всю эту абракадабру XX века. И Толстой это чувствовал. Чувствовал всеми фибрами своей души и впитал это не только из французской традиции (которая была ему родной, т. к. он был европейцем по образованию), но и из русской традиции.

Вспомните, в чем драма «Цыган» Пушкина. Тот же вопрос руссоизма. Но Пушкин его решил мудро и по-другому, потому что колоссальный инстинкт суперчеловека позволил ему открыть перед нами истину: никуда человек от себя не убежит, ни в какие таборы, ни в какие леса. Пушкин именно на своем Алеко и проделал этот эксперимент — побег от цивилизации. А от греха не убежишь! Грех уйдет с тобой и в дикость.

Однако Толстой (впрочем, как и многие другие писатели) все-таки не мог расстаться с этой мечтой. Она была и будет мечтой человечества, пусть на пятьдесят процентов иллюзорной. Когда она появилась? Три тысячи лет назад. Еще в древности китайские философы говорили, что пора бросить все искусственное и перейти на естественное. Уже античные киники (не циники, это теперь мы их так называем), киники-философы жили под девизом: «назад, к природе» — и ходили в чем попало, думая, что тем самым они приближаются к природной жизни. А шутники производили название «кинники» от слова «кинос» — собака, потому что те вели собачий образ жизни. И до сих пор мы с вами, когда вырываемся из города, невольно испытываем чувство облегчения. В нас живет ностальгия по природе, это в нас существует. Но руссоизм — не решение. Для Толстого это было решением.

«Казачи»... Я не буду напоминать сюжет: вы читали, или в крайнем случае, помните эту вещь. Кто такой Оленин? Это тот же Лев Николаевич, молодой офицер. Куда он стремится? Слиться с природой, вернуться. Марьяна для него — это образ Матери-Природы, Земли. Вернуться к этому миру, этим виноградникам, этим горам и диким

животным, за которыми охотится дядя Ерошка, такой же дикий, как и кабаны, которые шастают по зарослям, и к этим горцам, которые стреляют... Куда-то исчезли нравственные нормы, а нравственностью становится закон природы. А потом вдруг выясняется для Оленина, что все это была иллюзия, что не может он назад, не может. И ему это горько, стыдно, жалко. Оленин жалеет, как, вероятно, жалел и Лев Толстой, что пути назад нет, что движение здесь одностороннее.

И вот тогда, задолго до своего духовного кризиса, Лев Толстой начинает искать выход. Он ищет его в труде, в семье, в том, что мы называем счастьем. Но вспомните его тоже раннюю вещь — «Семейное счастье». Мыльный пузырь! Это мрачная вещь. Он воспекает, как настоящий художник, самое дорогое, священное, а потом все это куда-то расплывается, и он хоронит его.

В «Войне и мире», увлеченный великой бессмертной картиной движения истории, Толстой выступает не как человек без веры. Он верит в фатум. Он верит в какую-то таинственную силу, которая неуклонно ведет людей туда, куда они не хотят. Древние стоики говорили: «Судьба ведет согласного. Противящегося Судьба тащит». Вот эта Судьба действует в его произведениях. Как бы мы ни любили «Войну и мир» (я очень люблю эту вещь, перечитывал ее десятки раз), но меня всегда удивляло, как Толстой, такая великая личность, не чувствовал значения личности в истории. Для него Наполеон только пешка, и масса людей действует, как муравьи, по неким таинственным законам. И когда Толстой пытается объяснить эти законы, я думаю, вы все согласитесь, те отступления, исторические вставки, кажутся намного слабее, чем сама полнокровная, мощная, многогранная картина совершающихся событий — на поле брани, или в салоне фрейлины, или в одинокой комнате, где сидит один из героев.

Какая там еще вера, кроме таинственного рока. Вера, что возможно слиться с природой? Опять оленинская мечта. Вспомните князя Андрея, когда он внутренне беседует с дубом. Что такое этот дуб, просто старое знакомое дерево? Нет, это одновременно и символ, символ вечной Природы, к которой стремится душа героя.

Поиски Пьера Безухова... Боже, все бессмысленно. Никому из героев Толстого и в голову не приходит найти христианский путь. Почему это так? Потому что лучшие люди XIX века, после катастроф века XVIII, оказались так или иначе отрезаны от великой христианской

традиции. От этого трагическим образом пострадали и Церковь, и общество. Последствия этого раскола пришли в XX веке — как грозное событие, едва не разрушившее всю цивилизацию нашей страны.

А где же ищет выход Пьер Безухов? Он идет в масоны. Их обряды (вы помните — завязывание глаз и всякие словеса) — что это было? Попытка имитировать Церковь. Общий кризис христианской Церкви в XVII–XVIII веках привел к довольно разрозненной, правда, но повсеместной попытке создать имитацию Церкви на основании простейших догматов: Бог, душа, бессмертие. То есть догматы деизма, который отрицает и откровение, и боговоплощение, и личность Иисуса Христа как откровение Бога на земле, а представляет Его только как учителя и пророка.

Деизм распространился с необычайной силой, и мы знаем, что выдающиеся люди XVIII и начала XIX века примыкали к этим идеям; масонами были и Моцарт, и Лессинг, и Новиков в России, Баженов и многие другие. И герои Толстого также. Не в Церкви он ищет, а в псевдоцеркви, которая вместо священных почти двухтысячелетних символов христианства проводит через систему этих придуманных интеллектуалами... доморощенных символов и обрядов. И, конечно, все это ему очень скоро опостылело, как и Пушкину, который тоже начал с масонства, принял обряды, а потом все это отбросил, как и Карамзин тоже.

А потом — «Анна Каренина». Опять трагедия. Я думаю, что те из вас, кто читал Толстого поглубже, знают, что он хотел изобличить нравственное падение Анны и показать, как вот этот Рок, эта Судьба, этот таинственный Бог, который царит над всем, как Он расправился с грешницей. И поэтому Лев Толстой начал свой роман словами Писания, словами Божьими: «Мне отмщение, и Аз воздам». Эти слова означают призыв Божий к человеку не стремиться к мщению. Ведь до христианства мщение было святым долгом. И иногда этот «святой долг» истреблял целые племена, потому что, если истребили одного, родные должны убить кого-то из этого рода, и так вендетта шла непрерывно, пока иные деревни не становились пустыми, особенно в горах. Так вот, Бог говорит через своего пророка: «Мне отмщение, Я воздаю». Но Толстой истолковал это по-другому: Судьба, то есть Бог, мстит человеку за грех, наказывает.

Толстой рисует историю женщины. И парадокс! Кто из нас не сочувствовал Анне?! Он невольно оказывается на ее стороне, а не на стороне, скажем, ее мужа, которого старался описать объективно. В какие-то моменты мы переживаем вместе с Карениным, особенно тогда, когда он пытался простить Анну: как он трогательно вдруг... оговаривается: «Я так много пелестладар», — говорит он. Вот это косноязычие — у надменного сенатора, привыкшего чеканить каждое слово, вдруг показывает, что за его холодной внешностью что-то там бьется, живое сердце бьется. А все-таки симпатии читателя остаются всегда с бедной Анной! Ничего не вышло у Толстого. Логика, внутренняя логика жизни и героини, нить жизни вошла в соприкосновение и столкновение с его замыслом.

Но потом наступает кризис. Я тут прихватил было томик, чтобы зачитать вам, как он пишет об этом кризисе, но — не буду. Вы все люди грамотные, сами прочитаете. Ему было тошно. Когда он был в Арзамасе (а это было время его расцвета!), он стал чувствовать, что умирает. Это был ужас! Иные психиатры скажут, что у него был приступ острой депрессии. Так почему же он был? Откуда?

Иные люди говорят: Бога и веру человек открывает в себе в трудные минуты. Пресловутое заявление, что «вера для слабых», что только в неудачах люди приходят в Церковь, опровергается хотя бы вот этим примером. Я знаю таких примеров сотни, но этот пример достаточно яркий и убедительный. Когда Толстой стал искать, наконец, Бога и веру? Когда он стал знаменитым писателем, когда он был уже автором великих романов, которые гремели по всему миру. Когда у него была любимая жена, любящая семья, хор благодарных читателей. В конце концов, он был богатым человеком. Он все имел из того, что сегодня любому современному человеку кажется эталоном счастья. И вдруг в этот момент он остановился.

Об этом Толстой пишет с необычайной искренностью в первой своей религиозно-философской книге, которая называется «Исповедь». Эта книга впоследствии должна была послужить прологом к его тетралогии, то есть к четырехтомному сочинению, название которому Лев Николаевич так и не придумал. К этой тетралогии потом примкнула и пятая часть. Это «Исповедь» как прелюдия; «Исследование догматического богословия»; перевод и толкование четырех Евангелий; «В чем моя вера»; дополнительная

книга, называется «Царство Божие внутри нас». Это главная религиозно–философская книга Толстого. Она суммирует его мировоззрение, показывает его в динамике, показывает, каким образом Толстой пришел к этим взглядам.

«Исповедь» — самая волнующая из этих книг. Я должен сразу признаться вам, что читать религиозно–философские произведения Толстого трудно. И не потому, друзья мои, что это возвышенная, усложненная метафизика. И не потому, что это, как у Флоренского, текст, оснащенный какими–то своеобразными словами, обилием иноязычных вставок, ссылок, огромным аппаратом. А потому, что, как ни странно, это литература, обладающая безмерно меньшей силой, нежели художественные произведения Толстого. Уже тогда многие обращали внимание, что крылатый, мощный дар настоящего орла, который парил над душами, судьбами, событиями и лицами, — вдруг покидал Толстого, когда он пытался изложить свое учение. И не подумайте, что я говорю это пристрастно, что мне хочется... унижить философские взгляды Толстого. Великого человека нельзя унижить. Но объективно надо говорить то, что есть. И правоту моих слов вы легко можете проверить сами, читая эти книги.

Сейчас готовится к печати томик Толстого, куда войдут именно эти произведения. Не отмахивайтесь, прочтите. Хотя бы часть. Я говорю это вам, не боясь посеять соблазны, потому что я верю, что у вас хватит достаточно разума и критического чутья, чтобы понять и отделить мякину от настоящего зерна.

Иные мои христианские друзья и коллеги говорят: зачем это нужно было издавать? Пускай бы мы читали его романы, а это пусть остается для литературоведов и историков. Так может говорить только тот, кто боится за истину, а за истину бояться не надо. Она сама себя будет отстаивать. И потом, не надоело ли нам цензурное отношение к литературе, мышлению, к искусству, культуре, религии? По–моему, мы сыты этим, у нас достаточно обкарнывали, искажали картину. Зачем же продолжать эту порочную практику! Вот он перед нами — великий человек. Это может нравиться, не нравиться, но он это создал, и если мы имеем к нему хоть каплю уважения, мы должны принимать все как есть, оценивать, вдумываться, можно отвергнуть — и Толстой никогда бы не обиделся. Но цензурные ножницы — вот это и есть оскорбление

гения. Оскорбление вообще человеческого достоинства. И унижение культуры.

Итак, наиболее удачная вещь — «Исповедь». Почему? Потому что Толстой не пускается там в длинные, отвлеченные, честно говоря, скучноватые рассуждения, а говорит о своей жизни. Он говорит о том, как она остановилась, что однажды он просто умер... Он замечает: вот, я буду иметь столько-то лошадей, у меня будет столько-то земли. А потом что? А что дальше? Ну, я буду самый знаменитый писатель, буду знаменит, как Мольер, как Шекспир. А зачем это? И вот этот страшный, ледяющий душу вопрос — он его потряс до глубины, потому что это был вопрос справедливый.

В чем же смысл нашего существования? Вопрос этот надо ставить перед собой. У нас пытались его заглушать. Два-три поколения пронзительными фанфарами заглушали эти вечные вопросы. Но едва только эти фанфары перестали визжать так громко, как вопрос этот встает снова перед каждым. Зачем и почему? Потомки — они тоже смертны. Будущее — совершенно неизвестно, для кого оно? И потом, чем оно лучше настоящего? Зачем все это? Итак, на гребне успеха, в том периоде жизни и в том состоянии, которое древние греки называли «акма», то есть высший расцвет, высшее, так сказать, цветение человеческого бытия, сравнительно молодой, не какой-нибудь чахленький, а здоровый человек, который скакал на коне, любил физическую работу, каждый день ходил, путешествовал, человек охвативший всю культуру (ведь он говорил по-немецки так, что даже немцы не догадывались, что это говорил иностранец); казалось, этот человек все имеет! И вдруг оказывается — ничего. Все лопнуло, как мыльный пузырь. И решительно остановилось. Он сказал: «И я умер». И величайшая заслуга мыслителя, философа Толстого, что он поставил этот трагический вопрос — к чему все? — перед нами во всей его остроте.

Как человек эрудированный, он стал искать в литературе, в истории человеческой мысли: может быть, там есть что-то? Он обращается к науке — оказывается, наука не знает. Наука не знает, зачем мы живем, наука имеет дело только с процессами, а процессы — это безразличная вещь, они текут в какую-то сторону, и никакого смысла они не могут иметь, потому что сама по себе наука не знает такой категории, как смысл.

Он обращается к философии, читает древних мудрецов. Но, конечно, читает очень избирательно — вы не забывайте, что это ведь Лев Толстой. Он ищет то, что ему нужно, и он находит. Он открывает Библию, и открывает, конечно, на Екклесиасте, где сказано о том, что нет пользы человеку, который трудится под солнцем, род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки, и ветер кружится и возвращается на свое место, все реки текут в море, и море не переполняется; и все суета сует и погоня за ветром. Он открывает писания индийцев и слышит слова Будды, что все распадается: все то, что состоит из чего-то, разлагается. Мир проносится, как мираж. Он обращается к новейшей философии, то есть к философии XIX столетия и, конечно, открывает Артура Шопенгауэра — самого талантливого, я бы сказал, гениального писателя, абсолютного пессимиста, который в своих блестяще написанных книгах утверждает, что мир — это мусор и чем скорее он кончится, тем лучше. И Толстой как бы ограждает себя этой пессимистической философией. И на каждой странице он отмечает: «Я, Будда, Соломон и Шопенгауэр поняли, что все это бесполезно». «Я, Будда, Соломон и Шопенгауэр»... (Соломон — это легендарный автор Екклесиаста).

Наука не помогает... Философия говорит, что все бесполезно. Может быть, вера? А, может быть, все-таки есть смысл, может быть, есть Бог, о котором говорят все поколения? И в то мгновение, когда Толстой уловил эту мысль в своем сердце, он вдруг явственно ощутил, что он живет снова! Жизнь снова вернулась в его душу, в его сознание. Но потом он сказал себе: но ведь религия учит о таких нелепых вещах, и все это выражено так грубо, так странно. И, как только эта мысль возникла, он опять умер. Все стало пустым и холодным. И Толстой делает первый важнейший вывод: вера есть жизнь, без веры человек не живет.

Я сделал несколько выписок из его сочинений. Разумеется, я не буду Вас утомлять, но некоторые слова очень важны. Я прочту выдержку из его (юношеского) дневника, чтобы вы поняли, как давно над ним витала эта мысль. В 1855 году, то есть за четверть века до исхода, духовного кризиса, когда была написана «Исповедь» и другие книги тетралогии, он в дневнике от 5 марта 1855 года: «Разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить

жизнь. — (Видите, а говорит, никакой веры не имел!) Какая же это мысль? — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества: религии Христа, но очищенной от веры и таинственности; религии практической, не обещающей будущего блаженства, но дающей блаженство на земле».

Так, вера — это жизнь, — совершенно правильная аксиома. И второе — это стремление Толстого создать новую религию, которая бы соответствовала современному (XIX-го века) новому популярному мышлению, популярному рационализму, для которого рассудок — это высший судья во всех вещах. Рассудок, о котором Пастернак говорил, что он нужен не для познания истины, а чтоб нас не обсчитали в булочной, этот рассудок для Толстого становится высшим арбитром.

Но как же быть все-таки с этой верой-рассудком? Как все это сочетать? И он делает эксперимент, вполне в его духе. Он не нов, этот эксперимент. Давайте вспомним Платона Каратаева. Мне даже стыдно... Когда я вспоминаю героев Толстого, стыдно за мое поколение, потому что все эти «образы» нам в школе так изгадили, что теперь, когда начинаешь обращаться к роману «Война и мир», начинаешь вспоминать ряды парт и бубнение учителей, которые трудились над тем, чтобы привить нам отвращение к русской художественной литературе и ко всей культуре в целом.

Так вот, Платон Каратаев. Он для Толстого — истинный мудрец, в чем-то выше, чем Пьер и князь Андрей. Как же тут быть? Народ-то верит! (Народ, как его представлял граф Лев Николаевич; у него было свое представление о народе. Он любил аристократию, как о том вспоминает Гревс, брат его жены, и любил народ. Средних он не признавал: он не любил купцов, духовенство — все это были люди не его круга. Или аристократы, или народ — огромное такое дитя.)

Толстой начинает как бы честно проделывать следующий опыт. Он внешне приобщается к церковной вере (как иные у нас теперь неоправославные), начинает ходить в храм, хотя не понимает, что там делается; начинает соблюдать посты; ездит по монастырям, по церквям, беседует с архимандритами, епископами; побывал в Оптиной пустыни, беседовал со старцем Амвросием (ныне он причислен к лику святых), раздражен был на него, но все-таки не мог не признать, что этот больной старик дает больше утешения тысячам людей, которые к нему приходят, чем иные здоровые. Но очень скоро эта игра (я

употребляю это слово, потому что невольно, по воспоминаниям современников, чувствуется, что это была игра, что Толстой хотел доказать, что все это лишнее, ненужное) окончилась ничем: Толстой отбрасывает церковную веру во имя разума. Что ж, вы думаете, он был философом–рационалистом XVIII века? Да и да. Не XIX и не XX, а именно XVIII, с его наивнейшей верой во всеобщую власть здравого смысла — верить в то, что здравый смысл может охватить всю вселенную.

А могло ли богословие того времени удовлетворить интеллектуальную жажду Льва Николаевича? Могло. Уже прошел век Хомякова, Чаадаева, уже появились русские религиозные мыслители — первые ласточки. Толстой был современником Сергея Трубецкого, одного из крупнейших русских мыслителей. Но главное, он был хорошо знаком с Владимиром Соловьевым. Вот уж был действительно рыцарь разума! Но ему разум не помешал быть христианином! Соловьев был универсальным ученым, поэтом, метафизиком, политологом, историком, экзегетом. И ему это несколько не мешало.

Они встречаются. Опять я должен привести одну замечательную выписку. В присутствии одного очевидца происходила беседа Льва Николаевича с молодым Владимиром Соловьевым. Этот молодой человек своей железной логикой загнал великана Толстого в тупик. «Впервые, — пишет очевидец, — Лев Николаевич не мог ничего возразить. Соловьев как металлическими кольцами сдавливал его». И только скромность Владимира Соловьева стушевала как-то неловкость всей ситуации, когда великий непререкаемый авторитет вынужден был сдаться. Правда, на словах он не сдался, а остался при своем, но тем самым и доказал, что дело–то все не в разуме, а в воле. Потому что он хотел этого. Он хотел упрощенную веру деизма объявить единственной истиной.

Лев Николаевич обращается к Библии. Сначала он восхищается Ветхим Заветом как художественным произведением, потом отбрасывает его. Берет Новый Завет — отбрасывает. Только Евангелие! И тут ему открывается, что Евангелие есть истинное учение. Но не подумайте, что речь идет об учении Иисуса Христа. Толстой настаивает на том, что есть единое всемирное учение (которое одинаково неплохо выражено у Марка Аврелия, Сенеки, Конфуция,

Будды, Оливьери, Канта — у кого угодно). Такая туманная, общая вера...

Как ее изложить? Человек сознает себя частью чего-то, что является целым. Это целое мы называем Богом. Он нас послал в этот мир. Бессмертия не существует, потому что личность — это нечто узкое, маленькое. Когда человек умирает, он растворяется в этом целом. Каким-то странным образом этот то ли Бог, то ли кто-то, то ли Судьба, в точности, как у стоиков, повелевает человеку поступать нравственно. И эти рекомендации высшего существа — элементарны, они всегда были даны, через всех учителей, через всех, но особенно — через Христа.

Когда Толстой пытается изложить Евангелие, он не переводит его, он его перекраивает. Боже упаси вас искать Евангелие в книге, которая называется «Перевод Евангелия Толстым». Вот я цитирую дословно, специально выписал это: «Учение Христа, — пишет он, — имеет общечеловеческий смысл (в каком-то смысле верно). Учение Христа имеет простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит людей не делать глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа. Христос говорит: не сердись, не считай никого ниже себя — это глупо». И так далее. «Будешь сердиться, будешь обижать людей — тебе же будет хуже». Дальше я не буду цитировать. Так же он рассматривает все остальные пункты.

Если бы, друзья мои, Евангелие сводилось к такой элементарной, я бы сказал, утилитарной обоснованной морали (тебе же будет хуже), то оно ничем не отличалось бы от других древних афоризмов. Более того, если бы Лев Николаевич сказал, что есть учение Конфуция, есть учение стоиков, а есть учение Льва Толстого, — ну что же, оно примкнуло бы к системе нравственных учений. И никакой трагедии не произошло бы. Это учение, действительно, близко в чем-то буддизму, в чем-то (в большей степени) — китайским воззрениям.

Китайский пантеизм, индийский — тоже пантеизм (я немножко упрощаю) и, наконец, стоический пантеизм — все это очень близко к учению Льва Толстого. Конечно, трудно сказать, какая здесь логика: как может единое безличное начало повелевать человеку что-либо, скажем, повелевать быть добрым. Но Толстой так считал. «Хозяин», — называл он Бога холодным, отчужденным словом.

Итак, Христос на самом деле не внес ничего нового. Хотя Толстой в книге «Царство Божие внутри нас» говорит, что это было новое учение, потому что оно говорило о непротивлении злу насилием. Элементы этого учения были уже в Индии, ничего нового в этом не было. Толстой был не только далек от христианства, но, как говорит Николай Александрович Бердяев, редко кто был так далек от личности Христа, как Толстой. У него было сознание до-христианское, внехристианское. Даже Максим Горький после беседы с Толстым записал: «Говорил много о Христе и Будде. О Христе особенно плохо, сентиментально, фальшиво. Советовал читать буддийский катехизис. О Христе говорил снисходительно, явно не любил его».

Как бы ни относиться к Горькому, он все-таки был человек наблюдательный, и он это верно подметил. Потому что даже пошлый Ренан, который описывает жизнь Иисуса Христа, низводя ее до вульгарного вкуса французского обывателя середины прошлого века, он всегда Христа любил. Даже Ренан! Ничего подобного мы не найдем в книгах Толстого, он всегда пишет о Христе отчужденно и холодно. Главное для него — учение Христа, учение, он это слово повторяет миллион раз на нескольких страницах.

А было ли учение? Младший современник Льва Николаевича, князь Сергей Николаевич Трубецкой, ректор Московского университета, великий русский мыслитель, до сих пор не оцененный по-настоящему, писал, как бы отвечая на тезис Толстого, что Нагорная проповедь — это все христианство. «Нагорная проповедь — это вовсе не нравственная проповедь. Нравственное учение Христа вытекало из уникального в истории сознания Христова, а Его самознание было единственным в мире — сознанием тождества божественного и человеческого. Ибо, когда Христос ссылается на слова Писания, Он исправляет их, как Тот, Кто имеет власть, и говорит: «Древними сказано (сказано в Библии) — то-то, то-то и то-то. А Я говорю вам...». И дальше говорит новую заповедь, как Тот, Кто имеет на это право, внутренне, таинственное, мистическое право, метафизическое право, нравственное право.

Все это прошло мимо Толстого. Вот почему, когда мы читаем первые слова Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово» — Логос, то есть божественная мысль, обращенная к миру, Логос, который все создал... Толстой переводит: «В начале было разумение» — и все

исчезает. «Мы видели славу его», — пишет Матфей. Слава — это сияние, таинственное сияние. Толстой ставит там: «учение». Хорошо, что рядом со своим переводом он поставил традиционный перевод и греческий текст. Любой из вас может легко проверить, насколько далеко он отходил от смысла текста.

Впрочем, такой была судьба не только Евангелия. Наверное, некоторым из вас попадалась книга Толстого «Круг чтения». Она содержит изречения десятков учителей всех веков, стран и народов. И когда я, помню, впервые прочел ее, еще будучи совсем школьником, я подумал: что-то они все говорят почти одинаково? Почти нет разницы в том, что говорил Кант, или Оливьери, или Паскаль. Ужасно похоже. И потом, позднее, много лет спустя, когда мне удалось проверить некоторые цитаты, оказалось, что Толстой их спокойно искажал. Ведь он же был творец! Он рубил по живому! Он создавал из этого материала свое. Тут не причем ни Сократ, ни Паскаль, ни Евангелие, ни Талмуд, который он цитирует, а это Лев Николаевич созидает свое здание из обтесанных камней всех учений, которые попадались ему под руку. Поэтому: надо ли читать «Круг чтения»? Надо. Это интересная книга. Но не вздумайте искать там мысли великих людей или изречения подлинных священных книг. Там все начинается Толстым и им кончается.

Что произошло между Толстым и Церковью? Я повторяю, что если бы он просто говорил, что создал новое учение, то никто бы его не осудил. В России были миллионы мусульман, нехристиан, — никто их от Церкви не отлучал. Были иудаисты и буддисты, но они не говорили, что они проповедуют христианское учение, а Толстой говорил. Мало того, этот человек, учивший о добре, терпимости, правде, справедливости, уважении к человеку; человек, который учил, что в каждой религии есть своя истина, делал только одно исключение, для одной только религии — для христианства, как оно открыто Церковью. Здесь он был беспощаден, и ярость его не знала границ! Грубейшие кощунства, которые оскорбляли чувства бесчисленного количества людей, срывались с уст и пера этого непротивленца. И притом, все это происходило под припев: вот это истинное христианство, а Церковь его искажает.

Более того, вместе с Церковью он нападал на всю современную цивилизацию. Он выбрасывал за борт все: не только искусство, но и

судопроизводство, законы. Якобы он это вычитал в Евангелии. Христос говорит: «Не судите», то есть не делайте себя нравственными судьями ошибок и поступков других людей. Ибо «Кто из вас без греха, — спрашивает Христос, — пусть первый бросит камень». Это — понятно, это естественно, это глубоко справедливо; но какое это отношение имеет к юриспруденции, к законам, которых должно придерживаться общество? Толстой выбрасывает за борт, и армию, и суд, и Церковь. Правда в том, что он выбрасывает клятву, с этим я совершенно согласен, Христос действительно недвусмысленно запретил клясться именем Бога. Он говорил: «Да будет да — да, нет — нет». Но это уже вопрос второстепенный, не существенный.

И, наконец, непротивление злу насилием... Что хотел сказать наш Господь? Он хотел сказать, что зло человеческое, которому мы сопротивляемся, употребляя тоже зло, в конце концов не будет побеждено. Побеждает в итоге только добро. И когда Христос изгонял бичом торгующих из храма, Он не имел в виду, что этим Он вразумил торговцев, — нет: Он просто их убрал оттуда. Апостол Павел, точно выражая мысль Иисуса Христа, говорил: «Не будь побеждаем злом, но побеждай зло добром».

Это не имеет отношения к юриспруденции. Христос говорит об умении прощать, и если Вам нанесли тяжелый урон, если (я приведу экстремальный случай) убили близкого Вам человека, и Вы, проявив какое-то сверхчеловеческое благородство, поняли, в чем там дело, и простили — Вы на высоте. Но закон не может простить. Закон только тем нравственно и силен, что он следует своей букве. Между личной этикой, между личной нравственностью и нравственностью общественной пока тождества существовать не может. И в третьем тысячелетии, и, может, в четвертом — не будет существовать. Потому что мы, люди, — духовные существа, и у нас особая жизнь. А общество еще наполовину живет по природным законам борьбы за существование. И общество обязано изолировать убийцу и бороться с этим механическими способами. И воображать, что это можно слить воедино, — значит питаться иллюзиями.

Если внимательно читать Евангелие, то можно заметить, что Христос никогда не говорил, что социальные, законные средства пресечения зла не нужны. Он просто говорил о том, что так зло не может быть искоренено никогда. И в самом деле, тюрьмы

существуют... тысячи лет (я не могу вам сказать, когда была построена первая тюрьма, но в древнем Египте, в третьем тысячелетии до нашей эры они уже были). И что же, улучшилась ли нравственность человечества от этого, за эти тысячи лет? Нет. Но это вовсе не значит, что закон не должен действовать. Конечно, закон должен приближаться к гуманным принципам, безусловно, все-таки это два полюса, которые еще далеко не сошлись.

Что же, анархический взгляд Толстого на общество, на Церковь, на все структуры человечества — мы должны все это выбросить и считать глубоким заблуждением гения? Черным, нелепым пятном на его прекрасной душе и жизни? И тут я вам скажу — нет. Нет и нет. Церковь обязана была засвидетельствовать, что Толстой проповедует не христианское учение, а собственное. Отсюда постановление Синода, о котором вы все знаете.

Некоторые из вас, наверное, читали рассказ Куприна «Анафема», как бедный дьякон должен был кричать в храме «анафема!» Льву Толстому, но вместо этого бедняга вскричал: «Многая лета!» Даже фильм такой был очень давно. Это все выдумки! Никакой анафемы не провозглашалось. Было определение Синода — небольшой текст на две печатных страницы, где было сказано, что граф Лев Николаевич в гордыне своей поносит Церковь, христианскую веру, выдавая это за истинное учение, и Церковь больше не считает его своим членом. В ответе Синоду Толстой подтверждает правоту Синода. Он говорит: да, действительно я отрекся от Церкви, которая называет себя православной, действительно, я не являюсь ее членом.

Епископ Сергей Старогородский (который через сорок лет стал Патриархом Москвы и Всея Руси) говорил о том, что не надо было его отлучать: он же сам своим учением стоял уже вне Церкви. Спровоцировал весь этот скандал Победоносцев, человек очень противоречивый, сложный. Он нашептывал (скажем так) Александру III, чтобы действовал против Толстого. Александр III, имея личные добрые отношения с Софьей Андреевной, не хотел скандала, но Николай II, будучи учеником Победоносцева (Победоносцев читал ему лекции), он на это пошел.

Я не уверен, что сама форма и вообще все это было очень удачно. Но Церковь обязана была публично, открыто и честно засвидетельствовать, что это учение — не евангельское, не ее учение,

учение не христианское, как его понимают не только православные, но и католики, лютеране и другие протестанты. Любого баптиста спросите, если он откроет толстовское Евангелие, он увидит, что это совсем не то Евангелие. Даже те протестанты, которые считали Христа просто гениальным человеком, пророком, открывшим Бога, они все-таки относились к личности Христа, как к уникальному явлению. Для Толстого Христос не был уникальным.

Я подвожду итог. Что же, нам все это не нужно? Нет, нужно. И было нужно тогда. Потому что в своей борьбе Толстой поставил перед совестью общества, которое считало себя христианским, самые острые проблемы: голод, проституция, нищета, угнетение... Человек, который написал «После бала», — разве он не был христианином? Человек, который написал многие страницы «Войны и мира» с глубоким духовным проникновением в религиозную жизнь людей; человек, который писал: «Не могу молчать!» — был истинным христианином. Он был совестью страны и совестью мира. И поэтому Россия, независимо от литературных произведений Толстого, должна была гордиться таким человеком, как сейчас должна гордиться Сахаровым. Потому что он выступал отчаянно смело против установившихся беззаконий, унижений человеческого достоинства, против того, что царило в обществе.

Конечно, вы скажете, тогда было не то, что теперь. Да, конечно. Конечно, тогда было гораздо меньше беззаконий, чем в наши дни. Но и Толстой зато уцелел, а попробовал бы он говорить в 1937! Я думаю, он бы вообще не дожил до 1937 года. Если бы он был моложе на полвека, он бы не дожил, его выгнали бы из страны или уничтожили еще в первой четверти нашего столетия. Я думаю, вы все согласитесь, что так и было бы.

Человек, который бросал вызов социальному злу общества, человек, который говорил правду о положении вещей (пусть он заблуждался в каких-то вопросах), был смелым человеком. И всегда, когда я думаю о Толстом, мне вспоминаются проникновенные слова Анатолия Кони, публициста, адвоката, знавшего многих знаменитых людей своего времени. Он писал так: пустыня вечером кажется мертвой, но вдруг раздается рев льва, выходит на охоту лев, и путыня оживает; какие-то ночные птицы кричат, какие-то звери откликаются

ему, и оживает пустыня. Вот так, в пустыне пошлой, однообразной, гнетущей жизни раздавался голос Льва Толстого, и он будил людей.

В заключение добавлю: Сергей Николаевич Булгаков (экономист, философ, впоследствии протоиерей и знаменитый богослов, умерший в эмиграции) писал, что хотя и был отлучен Толстой от Церкви, но есть какая-то церковная связь с ним. Потому что слишком много было в нем правдоискания, слишком много было в нем того, что отзывалось на самые большие проблемы человечества. И мы верим, что не только на земле, но и в вечности он не полностью оторван от нас.

ВСТРЕЧА

29 ноября 1901 года в помещении Географического общества на Фонтанке в Петербурге открылось необычное заседание.

Узкий, похожий на коридор зал набит до отказа. В углу огромная, обмотанная коленкором статуя Будды. За столом президиума расположились люди в рясах и клобуках. Рядом слева — светские, преимущественно молодые. Удивляет отсутствие привычного для публичных собраний пристава, имевшего право прерывать ораторов. Атмосфера приподнятая. У всех чувство важного события.

Так начались Петербургские Религиозно–Философские Собрания.

Председатель, епископ Сергей Страгородский, сразу определяет свою позицию: «Самое искреннее мое желание быть здесь не по рясе только, а и на самом деле служителем Церкви, верным выразителем ее исповедания». Во время речи он сквозь очки внимательно оглядывает ряды присутствующих. Поистине все необычно. Кого тут только нет! Здесь и студенты, и профессора, и дамы.

Вот хрупкий человек с подстриженной бородкой, Дмитрий Мережковский. В свои тридцать шесть лет он уже известный писатель, поэт, переводчик, критик. Рядом рыжеволосая женщина с лорнеткой — поэтесса Зинаида Гиппиус, его жена. Вот блестящий театровед, князь Сергей Волконский. Деятели из журнала «Мир искусства»: Сергей Дягилев, Леон Бакст, Александр Бенуа.

Почти всем суждено умереть в эмиграции, и лишь много лет спустя их творчество вернется к соотечественникам...

Вот грубоватый и шумный архимандрит Антонин Грановский. Он станет епископом, спустя двадцать лет возглавит в Москве церковный раскол реформистского направления и уйдет из жизни в 1927 году нераскаянным бунтарем. Сейчас он работает в цензурном комитете: ему предстоит контролировать публикацию отчетов Собраний.

Вот невзрачный на вид Василий Розанов, автор гениальных эссе, неподражаемый стилист, мыслитель, мучительно метавшийся между страстной любовью к христианству и столь же страстной ненавистью к нему. Он угаснет от голода в Сергиевом Посаде в 1919 году, примирившись с Церковью. Вот Антон Карташев — сын уральского

шахтера, доцент Духовной Академии. Ему двадцать шесть. Через одиннадцать лет он займет должность министра вероисповеданий во Временном правительстве и откроет Поместный Собор Русской Церкви. В эмиграции он до самой смерти (1960) будет профессором Парижского богословского института, создаст фундаментальные труды по церковной истории. Среди публики, приехавшей из Москвы, девятнадцатилетний студент–математик с длинными выющимися волосами. Это Павел Флоренский, будущий знаменитый богослов и ученый. Он погибнет в ГУЛАГе.

И, наконец, председатель, сорокалетний архиепископ Сергей, автор смелого по тем временам богословского исследования, он уже успел поработать миссионером в Японии, недавно назначен ректором Петербургской Духовной Академии. Но едва ли кто–нибудь может предположить, что в 1920 годы ему предстоит возглавить иерархию Русской Церкви и позже стать Патриархом...

Но это в будущем. Пока же, на пороге XX века, эти столь разные люди собрались на Фонтанке для первой открытой встречи между представителями Церкви, с одной стороны, и литераторами, художниками, публицистами — с другой. (Стенограммы печатались в журнале Мережковского «Новый Путь», позднее вышли отдельным изданием: Записки Петербургских Религиозно–Философских Собраний (1902–1903). САб., 1906. В тексте есть ряд дополнений цензора. Часть стенограмм опущена.)

Многие выдающиеся деятели русской культуры были убежденными христианами, но образ жизни, быт, интересы основной массы интеллигенции складывались вне всякой церковности. Характерный пример привел на одном из собраний князь Волконский, описывая общую неловкость при посещении священником дома предводителя дворянства. «Ни мы с ним не умеем, ни он с нами не умеет просто разговаривать: он такой, как бы сказать, «неучастник» нашей общей жизни, для него нужны специальные темы, особенный разговор; в присутствии батюшки как бы останавливается наша жизнь, и только по уходе его мы со вздохом облегчения к ней возвращаемся».

Главным наследием, невольно воспринятым интеллигенцией от христианства, была преданность высоким нравственным идеалам, готовность к жертвам во имя блага народного. Однако сама Церковь как институт, подчиненный государству, вызывала протест и

недоверие. Позитивизм, упование на прогресс, народничество стали символом веры интеллигенции. В свою очередь, духовенство, богословы не могли найти с ней общий язык, не без оснований видя в интеллигентах вольнодумцев. Словом, конфронтация была обоюдной. Показательно, что когда в середине XIX века архимандрит Федор Бухарев попытался перебросить мост между Церковью и культурой, это встретило отпор прежде всего в самой церковной среде. При этом светские писатели, выступившие в защиту религии, оказались среди «своих» в одиночестве...

Одним из немногих «окон», через которые интеллигенция заглядывала в Церковь, была Оптиная пустынь. Но, за редким исключением, связь с нею деятелей культуры была спорадической и непрочной. Даже Ф.М.Достоевский и Вл.Соловьев приезжали туда только по разу, и всего на три дня. Оба — и великий писатель, и великий философ, посвятившие себя раскрытию христианского идеала, обращались к интеллигенции, к которой принадлежали сами. Замкнутая среда церковности, мир духовных школ, церковной мысли и жизни были во многом далеки и для них. Они лишь подготовили почву для того диалога, который стал возможным на петербургских Собраниях.

Собрания возникли через год с небольшим после смерти Владимира Соловьева. Их прообразом стали лекции философа, ориентированные на светскую аудиторию. Но задуманы Собрания не им, а Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус.

Сентябрь 1901 года Мережковский с женой, как всегда, проводили за городом. Как всегда, много беседовали, строили планы. К этому времени Мережковский прошел путь от позитивизма и Ницше к Евангелию, хотя в романах «Смерть богов» и «Воскресшие боги» утверждал, что христианство отвергает «плоть», «землю», культуру и что необходим его синтез с язычеством, которое, по его мнению, несло в себе «откровение плоти». Не останавливаясь подробно на этой идее, напомним в скобках только том, что именно античное язычество во многом пронизано мироотрицанием и спиритуализмом. Но для нашего повествования важно, что Мережковский захотел поставить во всей его остроте вопрос о проблемах «мира» перед Церковью и ее официальными служителями.

Зинаида Николаевна однажды высказала надежду, что дело продвинулось бы, если бы «разные люди сошлись, которые никогда не сходились и не сходятся» (Гиппиус–Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951, с.90). Мережковскому эта мысль чрезвычайно понравилась. Действительно, самое лучшее — при обсуждении темы Церкви услышать живой голос «исторического христианства»...

Вернувшись в Петербург, супруги энергично приступили к осуществлению задуманного. Они понимали, что им не обойти «хозяина положения», могущественного К. П. Победоносцева, обер-прокурора Синода. Все знали его как человека консервативных взглядов, не любившего никаких новшеств. Это о его «совиных крылах» писал Александр Блок...

Не без страха пришли на прием пятеро делегатов от будущих Собраний. Это были: Д.Мережковский, В.Розанов, публицист Д.Философов, журналист М.Миролюбов. Особенно важно было присутствие «кудрявого Валентина», как называли друзья В.Тернавцева. Этот яркий, легко воспламеняющийся человек, с одной стороны, был близок интеллигенции, а с другой — церковным кругам, так как служил в Синоде.

Не сохранилось подробных воспоминаний о встрече с Победоносцевым. Но, во всяком случае, он соблаговолил выслушать делегатов. В тот же день отправились в Александро–Невскую Лавру к митрополиту Антонию Вадковскому. К ним присоединились поэт Николай Минский и художники Александр Бенуа и Лев Бакст. Митрополит, первенствующий член Синода, слыл либералом и отличался мягким характером. Он живо откликнулся на идею Собраний. Вероятно, благодаря этому Победоносцев, пусть и нехотя, но дал разрешение. Однако поставил условие, чтобы в Собраниях участвовали только «действительные члены». «Впрочем, это правило обходилось, — вспоминал искусствовед Сергей Маковский. — Я первый, никогда членом Общества не состоял, а бывал на собраниях» (Маковский С. На парнасе серебряного века. Мюнхен, 1962, с.29).

Итак, впервые сошлись для открытой дискуссии духовенство, преподаватели Академии и представители творческой интеллигенции самых разных взглядов.

Разными были и намерения собравшихся. Одни готовились защищаться, другие — идти в наступление. Редактор журнала «Миссионерское обозрение», помощник Победоносцева, Василий Скворцов радовался возможности «вразумлять заблудших». Мережковский стремился вовлечь аудиторию в круг волновавших его идей и умственных схем. Он выступал как христианин, «вопрошавший» Церковь. Розанов время от времени посылал записки с меткими мыслями. Выступать он не любил.

Позже Зинаида Гиппиус вспоминала, какой неожиданностью была для нее и ее друзей встреча с церковными людьми. «Это воистину были два разных мира. Знакомясь ближе с «новыми» людьми, мы переходили от удивления к удивлению. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке: все было другое, точно совсем другая культура. Ни происхождение, ни прямая принадлежность к духовному званию, — «ряса», — не играли тут роли. Человек тогдашнего «церковного» мира, — кто бы он ни был: чиновник, профессор, писатель, учитель, просто богослов, притом одинаково умный и глупый, талантливый и бездарный, приятный и неприятный, — неизменно носил на себе отпечаток этого «иногo» мира, не похожего на наш, обычно-интеллигентский, «светский» (по выражению церковников) мир». (Гиппиус З. Правда о земле (к истории русского христианства). Мосты. Мюнхен, 1961, № 7, с. 306.) Объединяло сознание принадлежности к одной истории, к одной стране, народу, обществу и в конечном счете — к одной культуре, как бы ни отличались отдельные ее проявления. Естественно, сказывалось отсутствие опыта в такого рода дискуссиях. Подчас прения уходили далеко в сторону от основной темы. Нередко кто-то говорил о «своем», не очень-то прислушиваясь к остальным. Так, протопресвитер И.Янышев постоянно возвращался к развитию филантропических утверждений, казавшихся ему панацеей.

Характеризуя роль богословов на Собраниях, С.Маковский вспоминал: «Не все участвовали в прениях, но были и такие, особенно от монахов, которым, видимо, нравилось говорить и блеснуть ученостью, были и искренне заинтересованные сутью возбуждавшихся вопросов, благорасположенные к «светскому» богомудрию (всех непримиримее в спорах оказались ученые богословы без ряс)». Художники, театралы и поэты чаще всего оставались пассивными

слушателями. Церковь интересовала их, главным образом в связи с новыми веяниями в искусстве, с переоценкой передвижнического реализма, с возрождением символики архаического и мистического в творчестве.

Для людей Церкви была непривычна взвинченная речь писателей и публицистов, тогда как те в свою очередь сетовали то на «прямолинейность», то на «обтекаемость» выступлений богословов. Председательствующий, епископ Сергей, приложил много сил, чтобы диспутанты пришли к взаимопониманию.

И все же обстановка на Собраниях вдохновляла. Все ценили возможность открыто говорить о наблевшем, ставить острые проблемы, дискутировать и слушать, не оглядываясь на «начальство».

После вступительного слова епископа Сергея Собрания были начаты докладом Тернавцева «Русская церковь перед великой задачей», который во многом определил характер и стиль диалога.

Тернавцев отметил нарастание глубокого духовного кризиса в стране. Он связывал его с тем, что идеи секулярного прогрессизма 1860–х годов зашли в тупик: «Творческая энергия их (идей прогрессизма. — А.М.) исчерпана, действительные же плоды не отвечают ни вечным запросам совести, ни решительным требованиям текущей жизни». Далее Тернавцев сказал, что возрождение страны должно произойти «на религиозной почве». Огромная ответственность ложится на деятелей Церкви. Готовы ли они к такому делу? Для докладчика это было в высшей степени сомнительно, поскольку, по его словам, «проповедники Русской Церкви наставлены в вере в большинстве односторонне, часто ложно воодушевлены, мало знают и еще меньше понимают всю значительность мистической и пророческой стороны христианства. Но самое главное, они в христианстве видят один только загробный идеал, оставляя земную сторону жизни, весь круг общественных отношений — пустым, без воплощения истины. Эта односторонность и мешает им стать «ловцами человеков» наших дней».

По мысли докладчика, потенциалы, заложенные в Церкви, раскроются полнее, если она будет действовать в союзе с интеллигенцией России. Интеллигенция активна, жертвенна, стремится служить народу. А между тем она явно противостоит Церкви. Люди, которые смело критикуют власть имущих, которые

всегда боролись против несправедливости, которые стремятся к преобразованию жизни на лучших началах, не смогут понять Церковь, если она по-прежнему будет замкнута в себе, останется равнодушной к проблемам культурным, гражданским, социально-нравственным. Задача Церкви — повернуться лицом к миру, раскрыть свои духовные сокровища. «Если она (Церковь. — А.М.) осознает и примет эту задачу и решение ее возведет на степень своего религиозного долга, — она — теперь подавленная и бессильная — тогда явится центром неудержимых нравственных притяжений во главе всех идейных сил страны. Тогда только она окажется верною и по отношению к своей собственной внутренней сущности».

Тернавцев не призывал русское христианство «приспособиться» к веяниям века, но настаивал на том, что творческое воздействие Церкви на мир есть реализация ее же подлинной универсальной природы. «Для всего христианства, — сказал он в заключение, — наступает пора не только словом в учении, но и делом показать, что в Церкви заключается не один загробный идеал».

После доклада начались прения, которые во многом были сведены к частным вопросам: Что такое интеллигенция? Какова роль духовенства в жизни народа? Верно ли Тернавцев отразил положение русской богословской науки? Наиболее принципиальной, на мой взгляд, была краткая реплика епископа Сергия. Он отметил, что возвещая о небесном, Церковь уже тем самым преобразует жизнь земную, что она не должна ставить во главу угла своего служения вопросы социальные. Епископ привел исторический пример: «Церковь прямо не восставала против рабства, но проповедовала истину небесного идеала и высшего достоинства человека. Этим, а не чем-либо иным она постепенно достигла отмены рабства».

На втором заседании был доклад Д.Философова. Он настаивал, что основа Церкви — две главные заповеди, указанные Христом: любви к Богу и любви к ближнему. Интеллигенция, по мысли Философова, восприняла лишь вторую заповедь. «В наших врачах, курсистках, студентах, шедших в голодный год на служение ближнему, была бессознательная «религиозность», поскольку верны они были истинной любви к «земле». Но «религиозность» — не религия. Вера в Бога была подменена у них верой в прогресс, цивилизацию, в категорический императив. И вот на наших глазах сознание общества

выросло, и старые идеалы перестали его удовлетворять. Тщету их наглядно показали Достоевский и Ницше, чтобы не говорить о духовных писателях. Во имя любви к ближнему без любви к Богу не может быть истинного делания на земле. Без Бога не может быть настоящей культуры, охватывающей всю полноту бытия человечества... Церковь в противоположность интеллигентному обществу, поняла и приняла сознательно лишь первую половину заповеди: «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». И не вместив второй, она стала отрицать ее, довела свою любовь к Богу, свое служение Ему — до ненависти к миру, до презрения к культуре. Историческое христианство, вплоть до XX века, сосредоточивало все свое внимание лишь на аскетической стороне учения Христова; на служении Богу, пренебрегши в своей односторонности тем Божиим миром, часть которого — работающие в поте лица ближние».

Эта мысль, восходившая еще к П. Я. Чаадаеву и Вл. Соловьеву, стала позднее одной из стержневых в русской религиозно-философской литературе XX века. Но тогда, на Собраниях, Философова поняли далеко не все. Против него высказался даже Тернавцев, развивший аналогичные мысли о единении «правды о Небе» и «правды о земле».

Наиболее яркой была реакция Василия Розанова. Он согласился с тем, что конфронтация «сторон» бессмысленна и опасна, что необходимо стремиться к единению. Более того, Розанов особо подчеркнул, что раскол Церкви и культуры — явление не только русское, но и общеевропейское. «Вся Европа, — говорилось в его записке, — оплакивает разъединение «культурных классов» с Церковью. Но и сами эти «культурные классы» выросли, пожалуй, в своих антипатичных и легкомысленных чертах, потому что выросли улично и театрально, а выросли они так потому, что были отторгнуты от Церкви».

Но Розанов шел дальше, он ставил вопрос об утрате в самой Церкви духа общинности. Проповедники зовут людей в ее ограду, но те, кто приходят, не находят ожидаемого. Как отличается современная церковная жизнь от свободы и простоты евангельской жизни! «Боже, — восклицает Розанов, — до чего тогда было не похоже на наше! Плакать хочется при сравнении. Мы расселись по канцеляриям

и говорим: «Вот, взгляните на нас, мы — христиане». Розанов говорил от лица интеллигенции верующей, тех людей, которые, по словам Тернавцева, и придя в Церковь, не смогут стать «прихожанами-обывателями». Упрек горький и во многом справедливый. Неизвестно, как на него реагировали. Ответы либо были вычеркнуты цензурой, либо ответом было молчание...

Обсуждению проблемы Льва Толстого были посвящены третье и четвертое заседания.

Тема «Лев Толстой и Русская Церковь» была особенно актуальной, поскольку совсем недавно, за несколько месяцев до начала Собраний, вышло «определение» Синода, в которой было объявлено, что «Церковь не считает его (Толстого) своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею». Вокруг «определения» вспыхнули страсти, рассказывались и писались трогательные истории об «анафеме», которой безжалостно подвергнут престарелый писатель. Между тем сам Толстой в «Ответе Синоду» недвусмысленно признал: «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо». (Цит. по тексту, приложенному к кн.: Л. Толстой. Царю и его помощникам. Ответ Синоду. Берлин (без гизд.), с. 38).

Казалось бы — все ясно. Автор «Войны и мира» создал собственное учение, принципиально отличающееся от учения Церкви. Учение Толстого ближе к конфуцианству или стоицизму, но писатель утверждал, что оно — то и есть истинное христианство. Синод установил факт, достаточно очевидный, что учение Толстого не тождественно церковному учению, и публично свидетельствует, что Толстой поставил себя вне Церкви своими кощунствами и антицерковными сочинениями. Тем не менее в обществе звучал хор голосов, упрекавших Церковь в нетерпимости и оскорблении великого писателя...

Дебаты в Собраниях начались рефератом Д. Мережковского, который работал над книгой «Лев Толстой и Достоевский». Мережковский указал, что война писателя против Церкви — только звено в его тотальном отрицании культуры. «В толстовском нигилизме вся послепетровская культурная Россия... по выражению Достоевского, «стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной». Думая, что борется с Церковью, то есть с историей, с

народом, за свое спасение, — на самом деле борется она за свою гибель: страшная борьба, похожая на борьбу самоубийцы с тем, кто мешает ему наложить на себя руки».

Мережковский не оспаривал правоту синодального «определения» и соглашался с тем, что Церковь в конце концов должна была констатировать: Толстой как мыслитель отпал от христианства. Сам докладчик называл Толстого великим язычником, «ясновидцем плоти». Но в соответствии со своей диалектической схемой: язычество (плоть), христианство (дух) и их синтез в некоем «Третьем Завете» — высказывал предположение, что Толстой как художник может быть принят Церковью, ибо он своим «язычеством» восполняет христианство, подобно тому как его обогащало язычество античное.

Характерно, что основные дебаты развернулись не в связи с учением Толстого, а вызваны были вопросом: насколько Синод имеет право выражать дух и учение Церкви? Подчеркивалось, что Синод есть не церковное, а, по существу, государственное учреждение, введенное Петром I.

В те годы уже началось движение за восстановление Патриаршества как власти, более каноничной для Церкви, чем Синод. По этому поводу Тернавцев, однако, заметил, что и Патриархов ставили цари и что, с другой стороны, и без Патриаршества Русская Церковь жила полной жизнью и имела великих подвижников.

Но все это было очередным отклонением от темы. По существу дела высказался опять-таки епископ Сергей. Он указал, что Церковь не «отлучала» Толстого, поскольку отлучение есть своего рода изгнание человека по той или иной причине из общины церковной. К Толстому это не применимо. Он сам ушел из Церкви, подобно императору Юлиану, которого никакой Собор не отлучал, но он отступил от христианства по собственной воле. «Насколько серьезен этот вопрос, — сказал епископ Сергей, можно видеть, например, из слов Вл.Соловьева: Л.Толстой предлагает нам христианство без Христа. Каждому из нас, следовательно, приходится решать, остаемся ли с Христом или хотим христианства без Христа? Вопрос этот настолько серьезен, что личность Л.Н. совершенно отступает на задний план».

Однако, как можно предполагать, споры о роли Синода и об отношении Церкви к самодержавию заслонили все остальное.

Стенограммы пятого и шестого заседаний цензура не пропустила...

Бурный характер носили прения о свободе совести. Основной доклад читал князь С.Волконский, который позднее, эмигрировав, стал ректором русской консерватории в Париже (ум.1937). Человек широких взглядов, эрудированный, умеренно—консервативный представитель православной интеллигенции, князь со всей остротой поставил проблему свободы Православной Церкви. Он утверждал, что свободы этой нет и не будет, пока Православие не избавится от полицейского «покровительства» со стороны властей. Он привел ряд фактов, когда сектантов лишали родительских прав, когда привлекались к ответственности неофициальные группы по изучению Библии. Он напомнил собравшимся слова Петра I: «Совесть человеческая единому Богу токмо подлежит, и никакому государю не позволено оную силою в другую веру принуждать». Если церковные руководители и духовенство, — сказал Волконский, — не понимают необходимости свободы, то это «только доказывает внутреннюю слабость Церкви, вынужденной цепляться за постороннюю помощь и прибегать к чужим мерам, чтобы заменить бессилие своего меркнущего авторитета».

Смысл доклада не сразу был верно понят его оппонентами. Антонин Грановский заявил, что христианство, будучи абсолютной религией, не терпит «сожительства» с другими вероучениями. Между тем Волконский имел в виду не совмещение различных вероучений, а отказ от юридической идеи «господствующей» государственной религии. Миссионер Скворцов приводил примеры иного рода, доказывая, что законы империи достаточно толерантны к иноверию и инославию. Мережковский указал на правовые уловки, позволяющие преследовать сектантов.

Атмосфера накалялась. «Принцип свободы, — гремел Антонин, — в колорите произвола лежит в демоническом начале. Отсюда возникает вопрос о компромиссе Христа с демонами». И лишь после того, как епископ Сергей подчеркнул, что свобода совести органически присуща христианству, и его поддержали другие богословы, Антонин уразумел, о чем идет речь, и согласился, что насилие в делах совести недопустимо. Свою позицию он определил так: «Когда Христос сказал: «взявший меч, мечом и погибнет», то этим Он сказал, что одинаково погибает Церковь, защищающая мечом свою

жизнь... Когда священники приглашают к содействию полицейских, или когда на дом присылают повестки: иди и причащайся, то Церковь одинаково теряет внутреннюю силу».

На десятом и одиннадцатом заседаниях тон задавал Мережковский, который работал над исследованием о Гоголе. Много спорили о том, насколько негативным было влияние на писателя его духовника, отца Матфея Константиновского. Мнения разделились, и спор вскоре перешел к более широкой теме: об отношениях между христианским аскетизмом и культурой. Богословы — священники Иоанн Егоров, Сергей Соллертинский, преподаватель Академии Владимир Успенский — доказывали, что принимая здравый аскетизм, Церковь не отворачивается от искусства, литературы, «плоти» — культуры вообще.

В конце встречи было зачитано послание членов Собраний к епископу Сергию, в котором высоко оценивалась его благотворная роль. Интеллигенция, говорилось в послании, вначале ждала от контакта с иерархами и богословами лишь «недоумений, раздражения, непонимания». Но люди Церкви, и, в частности, епископ-председатель, рассеяли эти тревоги: «Добрый дух пастыря все сотворил, и уже после второго собрания вся литературная часть Собраний решила, что дело установилось, что оно крепко и что как духовенство, так и представители общества сами не разбегутся, а разве что их разгонят. Как же это сотворилось? Епископ духом своим показал, как надо вести себя: своего не искать, а чужое беречь... Не иерарха и не председателя увидели во главе у себя члены Собраний, а христианина, который, оглядываясь на ведомых, говорил: «и все будьте христианами — и пока вы будете христианами, вы всего достигнете, вы вечно пойдете вперед, будете во всем преуспевать».

Впрочем, не все, видимо, соглашались с подобным мнением...

Двадцать лет спустя Зинаида Гиппиус вспоминала с немалой долей сарказма: «Отцы» уже давно тревожились. Никакого «слияния» интеллигенции с Церковью не происходило, а только «светские» все чаще припирали их к стене, — одолевали. Выписан был на помощь (из Казани) архимандрит Михаил, славившийся своей речистостью и знакомством со «светской» философией. Но Михаил — о ужас! — после двух собраний явно перешел на сторону «интеллигенции», и,

вместо помощника, архиереи обрели в нем нового вопрошателя, а подчас, обвинителя».

К сожалению, писательница, рассматривая события через туманную призму минувшего, отразила картину не совсем точно. В ходе Собраний усовершенствовалось «искусство спора», люди научились слушать друг друга. Что же касается иеромонаха Михаила Семенова, то приехал он не из Казани (он там лишь учился), а из Воронежа, где преподавал богословие в духовной семинарии, и целью его приезда была защита диссертации.

Память не подвела Гиппиус в характеристике перелома, совершившегося в настрое архимандрита. На первых порах он действительно принял интеллигенцию за врага Церкви и начал против нее атаку, видимо, имевшую успех. По словам Андрея Белого, Мережковский в кругу «своих» постоянно восклицал: «О, как я ненавижу его — Михаила!» Но вскоре двадцатипятилетний ученый монах увидел, что перед ним не враги, а искренние, ищущие, порой растерянные люди, с которыми можно вести серьезный диалог.

Вероятно, о. Михаил почувствовал свое родство с «блудными детьми культуры». Он сам был радикалом, готовым идти до конца. Одаренный и плодовитый публицист, в годы революции 1905 года он выступит глашатаем христианского социализма. Будет уволен из Академии, сослан в монастырь, а в 1907 году перейдет к старообрядцам в знак протеста против государственной церкви. Через год Михаил станет епископом и трагически погибнет осенью 1916 года.

На Собораниях он активно участвовал в обсуждении темы брака, которое обнаружило разногласия даже среди богословов. Этот факт констатировал Успенский в своей заключительной речи. «Все главные вопросы, — сказал он, — поставленные в Собораниях, так и остались вопросами. Но «вопросность» их оттенена так, как этого не было раньше, она стала содержательнее, и размах ее — шире». Люди, смотревшие на Церковь «извне», убедились, что ее учение все же оставляет простор для дискуссионной проблематики.

Не потому ли очередные семь заседаний, ставшие последними, были посвящены «догматическому развитию»? Речь шла о том, являются ли догматы Церкви чем-то окончательно завершенным или возможно появление новых учений, которые Церковь примет как свои.

К изумлению «светской стороны» теологи не отменили с порога подобную возможность. Прежде всего, епископ Сергей указал на естественность осмысления веры, толкования ее на протяжении веков. По его словам, религиозные умозрения — это «различные мостки, по которым человеческий разум доходит до истины. Движение богословствующей мысли всегда возможно, и границ этому никогда не будет. Раз мы живем, то должно быть и богословское мышление».

Священник Иоанн Слободской конкретизировал мысль епископа. Он указал, что догматы подобны деревьям, растущим из семян. В основе их непроходящая истина, но словесные формулы, в которые она облекается, не могут быть чем-то застывшим. Ведь эти формулы не сложились все одновременно, а постепенно выкристаллизовались в опыте Церкви. «Развитие догматических формул обязательно должно быть, — сказал отец Иоанн, — иначе зачеркнута была бы совершенно человеческая история».

Эта позиция принципиально отличалась от желания светских писателей внедрить некоторые свои, порой крайне эксцентричные и спорные гипотезы в ткань церковной догматики. Гиппиус готова была обвинить их чуть ли не в позитивизме...

Было бы крайне интересно познакомиться со стенограммами двух последних заседаний (и вообще все сохранившиеся тексты заслуживают переиздания). Но напечатаны они не были.

Над Собраниями уже сгущались тучи. Весь Петербург говорил о диспутах в зале Географического общества. Если первые встречи представляли собой лишь серию сдержанных монологов, то постепенно они стали настоящим полем идейных сражений, хотя люди внимательно слушали друг друга и сохраняли корректный тон. Но темы! Они не могли не смущать «охранителей».

Обер-прокурор следил за событиями с возрастающим раздражением.

В конце концов, как пишет З.Гиппиус, «Победоносцев посмотрел-посмотрел, да и запретил Собрания». Мережковский бросился в Лавру к митрополиту Антонию, памятуя как охотно тот поддержал идею дискуссий. Но хлопоты оказались бесполезными. Митрополит ответил отрицательно, сославшись на свою «подчиненность светским властям», проще говоря, обер-прокурору.

5 апреля 1903 года все было кончено. Сейчас, в новой исторической перспективе пришла пора дать объективную оценку Собораниям. С одной стороны, в них проявилось много незрелого, путаного, смутного, но с другой — было бы неверно считать Соборания лишь мимолетным эпизодом в культурной истории России. Двадцать две встречи, прошедшие за год с лишним, имели немало последствий и принесли определенные плоды.

Николай Бердяев, который тогда только выходил на литературное поприще, вспоминал о Собораниях как «о небывалом еще в русской жизни явлении». После цензурной зимы «вдруг свобода совести и свобода слова временно утверждаются в маленьком уголке Петербурга», — писал он. По признанию самого Бердяева, он получил от посещения Собораний очень много. Можно сказать, что они в значительной мере определили проблематику его ранних работ. Немало и других выдающихся деятелей русской культуры «вышли» из Собораний, которые помогли им найти собственные пути. Среди них поэты и богословы, философы и художники, писатели и критики.

Н.Бердяев и о. С.Булгаков, о. П.Флоренский и С.Франк, Л.Карсавин и Вяч.Иванов, С.Розанов и Г.Федотов, Д.Мережковский и А.Карташев — люди, которых у нас теперь начинают «открывать» заново, — так или иначе ведут свою родословную от Петербургских Религиозно-Философских Собораний.

На Собораниях в первый раз за долгие годы пересеклись различные потоки культуры. В значительной мере были рассеяны предрассудки, недоверие и предубеждения, которые питали друг к другу «стороны». Интеллигенция убедилась, что богословы и духовенство — это не сборище мракобесов. Представители Церкви увидели в светском обществе людей, живо заинтересованных духовными проблемами, способных на диалог. Словом, возможность взаимного обогащения была налицо. А именно так, через живой обмен мнениями, и строится полнокровная духовная и культурная жизнь.

Быть может, не так уж и ошиблась Зинаида Гиппиус, когда в конце 1920-х годов писала: «Если бы вопросы, с такой остротой поставленные в Собораниях, были в то время действительно услышаны, если бы потом не только русская Церковь, но и громадная часть русской интеллигенции не забыла о них вовсе — быть может, Церковь не находилась бы в таком «бедственном положении», а интеллигенция

не вкушала сейчас «горечь изгнанничества». Но, думается, писательница все же недооценила роли Собраний. Их традицию продолжило Религиозно–Философское Общество имени Вл.Соловьева. Оно возникло после 1905 года и просуществовало до революции. Своего рода преемником его стала Вольная Академия духовной культуры, основанная Бердяевым. Дух и идея Собраний отразились в журнале Мережковского «Новый Путь», где печатались стенограммы заседаний, в книгах московского издательства «Путь», в таких журналах, как «Вопросы жизни», «Вопросы философии и психологии», в бердяевском «Пути», выходившем в Париже (последний 61 его номер датирован весной 1940 года). Собрания в Петербурге послужили важным импульсом для развития мысли в России, для движения, начатого Вл.Соловьевым и получившего название «Русского религиозного ренессанса XX века».

Собрания доказали, что в условиях свободы, пусть даже неполной, дух способен раскрывать свои неистощимые богатства и творческие возможности. Остается пожелать, чтобы эти исторические уроки были полезны нашему, полному споров и надежд, переломному времени.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ МЕРЕЖКОВСКИЙ И ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ГИППИУС

Своеобразное место занимает Дмитрий Сергеевич Мережковский в отечественной истории, философии, литературе. Он был прочно забыт в нашей стране, вернее, его прочно забыли (я имею в виду — агрессивно). И вот сейчас он вновь возвращается к нам.

Почему мы с вами говорим о нем? Если Владимир Соловьев был фактически первым профессиональным философом в России, если, скажем, Бердяев был в истории русской религиозно-философской мысли фигурой выдающейся, гигантом — по мощи своего характера, размаху и таланту, то Дмитрий Сергеевич Мережковский—фигура масштаба меньшего, я бы сказал, на порядок. Но мы должны знать его, должны знать этого удивительного человека. И, как отозвался о нем тот же Бердяев, Мережковский был одним из самых образованных людей в Петербурге первой четверти XX столетия.

Что он оставил нам? Этот человек, как бы еще из прошлого века (в начале XX века ему уже было 35 лет), сформировался в эпоху народничества, был лично знаком с Львом Толстым и с многими кумирами того времени. А умер он, когда уже началась вторая мировая война, в изгнании. Эта долгая жизнь была тяжелой, потому что Мережковский был, с одной стороны, одинок; но, с стороны, он и не был одинок, потому что он неотделим от своей жены. История литературы и мысли не знает, пожалуй, второго такого случая, когда два человека составляли в такой степени одно. И он, и жена его, Зинаида Николаевна Гиппиус, признавались, что они не знают, где начинаются его мысли, где заканчиваются ее мысли. Они жили вместе, как пишет она в своих мемуарах, 52 года, не разлучившись ни на один день. И поэтому его сочинения и ее — пожалуй, тоже единое целое. И говорить о Дмитрие Сергеевиче Мережковском, не говоря о Зинаиде Николаевне, по-моему, совершенно невозможно. Я думаю, что их души теперь почти одно, и их нельзя разделить ни в культуре, ни в мысли, ни в истории, ни в их биографии.

Мережковский оставил нам 24 тома своих произведений. Туда входят: стихи, поэмы, переводы со всех европейских языков, переводы античных трагиков, новеллы в духе итальянского Возрождения; трилогия «Христос и Антихрист», первое его крупное беллетристическое произведение, состоящее из романов: «Смерть богов» («Юлиан Отступник»), «Воскресшие боги» (Леонардо да Винчи) и «Антихрист» (Петр и Алексей). Другая трилогия «Царство зверя» («Зверь из бездны»), состоящая из драмы «Павел I» и двух романов: «Александр I» и изданного уже во время революции «14 декабря». «Царство зверя» — о кризисе российской монархии, культуре, народе, будущем России, судьбах трагических... Далее у Мережковского есть роман об Эхнатоне, египетском фараоне, написанный уже на Западе. Есть очень интересная, блестяще написанная книга «Наполеон». Затем любопытная, но очень спорная трилогия о религиозных судьбах Европы, истоки которых искал в древнейших временах: «Тутанхамон на Крите», полуроман, полуэссе, полуистория; «Тайна трех» — о Вавилоне, Египте и Крите и «Мессия»; есть книга, вызвавшая довольно широкий отклик на Западе, называется она «Иисус неизвестный» — большая двухтомная книга о жизни Христа и о Личности Его; цикл биографий святых, западных и восточных: апостол Павел, Августин, испанские мистики, Тереза Авильская, Хуан де ла Крус, Жанна д'Арк. Совсем недавно были изданы книги (за рубежом, конечно) о западных святых: о Лютере; о Маленькой Терезе, французской святой, кармелитке-монахини, умершей в юном возрасте в конце прошлого столетия. Эта книга уже дважды издавалась за рубежом.

Наибольшую известность Мережковский получил как мыслитель и критик, но мыслитель очень своеобразный. Его мысль капризная, подчиненная схемам, своеобразная мысль. Самая, пожалуй, яркая книга — «Лев Толстой и Достоевский». Я не могу найти для характеристики этих его книг слов, непонятен жанр: это и биографии писателей, это и философские, религиозно-философские, даже богословские мысли, это и блестящая литературная критика — все вместе. Это какой-то синтетический жанр огромных эссе. Он был эссеист и блестящий мастер цитаты. В истории русской критики никто не мог в такой мере великолепно владеть цитатой: иногда кажется, что он жонглирует ими, как опытный циркач, всегда находя под рукой

необходимое место. Некоторые критики обвиняли Мережковского в том, что он слишком часто возвращается к своим темам, но это стиль начала века, это стремление, которое было у Андрея Белого, — как бы повторять музыкальную настроенность, музыкальную фразу, начиная с одного и кончая этим же, возвращаясь постоянно к одним и тем же темам.

Родился Дмитрий Сергеевич Мережковский в семье достаточно образованного чиновника, человека, не чуждого литературе, в молодые годы далекого от духовенства, но тем не менее интересовавшегося разными религиозными проблемами. И в юные годы, когда молодой Мережковский уже стал писать стихи, отец, человек фундаментальный, решил проверить: есть ли дар, или нет, есть ли на что ставку делать, или это просто обыкновенное бумагомарание. Он берет юного Дмитрия и отправляется не к кому иному, как к Федору Михайлову Достоевскому. Это было незадолго до смерти Федора Михайловича. Самому Мережковскому тогда, по-моему, не было еще пятнадцати лет. Они приходят в квартиру Достоевского, коридор завален экземплярами «Братьев Карамазовых»... Выходит бледный, с воспаленными глазами, Федор Михайлович, дрожащий мальчик читает перед ним смущенно свои вирши. «Плохо! Плохо, — говорит Достоевский, — никуда не годно. Никуда не годно. Чтобы писать, страдать надо. Страдать!» «Ну, Федор Михайлович, — говорит отец, — пусть тогда лучше не пишет, лишь бы не страдал. Зачем ему это?» Но пришлось Дмитрию Сергеевичу и писать много, и страдать.

Он был, действительно, много пишущий человек. Работал удивительно. Андрей Белый, который в юности был с ним дружен, ядовито описывал его манеру работать: холодный петербуржец, он работал только «от головы» (хотя, в общем, это не так), и, когда стреляла пушка (поверка точного времени — тогда в Петербурге стреляла пушка), Дмитрий Сергеевич бросал перо на половине фразы и выходил прогуляться по Невскому.

Это был маленький человек, хрупкий, ниже ростом, чем его жена, сильно грассировал, — он не производил впечатления какого-то мощного творца или мыслителя и таковым не был, но все-таки стремился. В этом хрупком теле, в этом маленьком человечке бушевали огромные страсти. Но это были страсти не витальные. Более того, парадоксальным мы можем считать и тот факт, что его

удивительный и счастливый брак был, по-видимому, в какой-то степени даже платоническим. Он много писал о любви, о поле, о страсти. Но сам был человеком, по-видимому, достаточно бесстрастным. Чтобы показать странное начало его длительной совместной жизни с женой, я хочу, чтобы вы послушали маленький отрывок из ее мемуаров, написанных незадолго до смерти, в Париже.

Война, холод в сердце. Она безумно переживала его смерть... безумно. Я бы сказал, что эта уже пожилая, естественно, женщина была... убита. Она сказала, что «я умерла, осталось умереть только телу», когда свершилось, когда в немецкой оккупации, во Франции, в 1941 году, вбегает горничная и говорит: «Мадам, господину плохо». Это было такое крушение, что, читая ее дневники, чувствуешь, насколько сильна была ее любовь. Но это была не просто любовь-страсть, в этой любви не было страсти! Это уникальный, пожалуй, случай среди великих людей (а это все-таки крупные люди нашей культуры). Вы будете читать их стихи, их романы, их эссе, а сегодня я хочу, чтобы вы их почувствовали, почувствовали, что это за люди.

Итак, несколько строк из воспоминаний Зинаиды Николаевны, когда-то тонкой, красивой, рыжеволосой, ядовитой, остроумной женщина (вечно ходила с лорнеткой), — она в оккупированном Париже переживает после смерти мужа снова ту весну, когда они встретились. Это немножко забавная история, но она очень важна для понимания характера и Зинаиды Николаевны, и Дмитрия Сергеевича, — о том как они встретились. Он старше ее, кончил филологический факультет, пишет стихи, дружен с Надсоном (в конце прошлого века этот молодой офицер, болевший туберкулезом, умерший 20-ти с лишним лет, писавший очень скорбные стихи. Он был популярен, Мережковский с ним дружил, они были почти ровесники). И юная особа, Зинаида Николаевна, из старинной немецкой обрусевшей семьи... Они встречаются, и начинается их роман (впрочем, я бы это романом не назвал):

«В сущности, весь период первого знакомства с Мережковским был короток — несколько последних дней июня, когда мы приехали в Боржом, и первые десять дней июля, потому что 11 июля и наступила та перемена в наших отношениях... 11 июля, в Ольгин день, в ротонде был танцевальный вечер, не обычный наш, а детский. Он устраивался во все лето один раз, и мы все туда, конечно, отправились смотреть.

Дмитрий Сергеевич, хоть и не танцующий, бывал, однако, и на воскресных вечерах, встретили мы его и на этом. Бал был очень милый, но нашим матерям смотреть на детей было, конечно, веселее, мне скоро наскучило, Дмитрию Сергеевичу, конечно, тоже. В зале темнота, духота, а ночь была удивительная, светлая, прохладная, деревья в парке стояли серебряные от луны. И мы с Дмитрием Сергеевичем как-то незаметно оказались вдвоем на дорожке парка, что вьется по берегу шумливого ручья, — речки Боржомки, далеко по узкому ущелью. И незаметно шли мы все дальше, так что музыка была уже едва слышна. Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор. Самое странное — что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится, «предложение», еще того чаще слышала я «объяснение в любви». Но тут не было ни предложения, ни объяснения: мы, и главное, оба — вдруг стали разговаривать так, как будто это давно было решено, что мы женимся и что это будет хорошо. Начал, дал тон этот, очень простой, он, конечно, а я так для себя незаметно, естественно в этот тон вошла, как будто ничего неожиданного не случилось. После, вспоминая этот вечер, особенно во время наших размолвок (а их потом случалось немало) я даже спрашивала себя, уж не из кокетства ли я тогда ему не возражала и действительно ли хочу выходить за него замуж? Уже бывала, и не раз, «влюблена», знала, что это, а ведь тут — совсем что-то другое! Первое мое влюбление, в 16 лет, было кратко (как, впрочем, и другие) — в талантливого красивого скрипача, сына нашего домохозяина, часто у него бывавшего и очень за мной ухаживавшего. Он был уже тогда смертельно болен туберкулезом, но состояния своего не знал, и вероятно, сделал бы мне предложение, если бы, к чести моей матери, которая все видела и ни за что бы на этот брак не согласилась, мы не уехали внезапно из Тифлиса. Через полтора месяца я все забыла, а мой В. осенью от своей болезни же и умер. Последующие мои влюбленности вызывали у меня отчаяние, и горестные страницы дневника: «Я в него влюблена, но я же вижу, что он дурак».

И вот в первый раз с Мережковским, здесь у меня случилось что-то совсем ни на что не похожее...

Мы вернулись с прогулки, когда вечер уже кончился и мама начала тревожиться, меня не находя. Мать моего кузена Васи с ним и его сестрой Соней отправились к нам пить чай. Вот она (тетя Вера, как

мы ее называли) первая обратила внимание на мой странный, какой-то растерянный вид. Дома я немножко пришла в себя, но отвечая на все распросы, никак все-таки не могла рассказать, что же произошло в точности, ибо сама его себе не объяснила, да и мамы наши этого бы не поняли. И я сказала понятнее, что мол, Мережковский сделал мне предложение. «Как, и он? — засмеялась тетя Вера, зная, сколько у меня тогда было «женихов». И прибавила: «Зина, кажется, и сама удивлена этой неожиданностью».

— Что же ты ему ответила? — спросила мама.

— «Я? Ничего, Да он и не спрашивал ответа!» И, рассердившись, ушла в свою комнату. На другой день, утром, мы, как было условлено, встретились в парке и продолжали тот же разговор. Он рассказывал мне о своей семье, об отце, главное, конечно, о матери. Рассказывал о Петербурге и о своих путешествиях. Молодую живость, увлекательную образность речей он умел сохранить до конца жизни, но у юного, 23-летнего Мережковского была в его речах еще и заразительная веселость, не злая, а детская насмешливость.

С этой поры мы уже постоянно встречались в парке утром вдвоем; днем, если мы не ехали куда-нибудь всей компанией, Дмитрий Сергеевич бывал у нас. Никакого «объявления» о нашей будущей свадьбе не было, но как-то это, должно быть, зналось.

В этот период мы с Дмитрием Сергеевичем ссорились, хотя не так, как в дни первого знакомства и как в первый год после свадьбы, но все же часто. У обоих был характер по-молодому неуступчивый, у меня в особенности. Но в том, что всякие «свадьбы» и «пиры» — противны, что надо сделать все проще, днем, без всяких белых платьев и вуалей, — мы были согласны. Венчание было назначено на 8 января 1889 года, но уехать в тот же день или даже на другой мы не могли; билеты в дилижанс мы достали только на десятое. Я не хотела даже шаферов, но оказалось, что они необходимы: венцы нельзя надевать на головы, как шляпу, надо их над головами держать. Мой шафер был кузен Вася, он только перешел в 8-й класс, а второй — какой-то его товарищ. Утро было солнечное и холодное. Мы отправились с мамой в Михайловскую церковь, близкую, как на прогулку: на мне был костюм темно-стального цвета, такая же маленькая шляпа на розовой подкладке. Дорогой мама говорила мне взволнованно: «Ты родилась 8-го, в день Михаила Архангела, с первым ударом соборного колокола в

Михайловском соборе. Вот теперь и венчаться идешь 8-го, и в церкви Михаила Архангела».

Но я была не то в спокойствии, не то в оцепенении: мне казалось, что это не очень серьезно. В церкви (холодной) мы нашли наших шаферов, свидетелей и двух теток — жену (и ее сестру) покойного дяди. Свидетели были их знакомые, какое-то адвокаты. Нашли мы и жениха. Он был в сюртуке и в так называемой «николаевской» шинели (их тогда много носили), с пелериной и бобровым воротником. Она была петербургская — пригодилась и для суровой тифлисской зимы. В шинели венчаться было, однако, нельзя, и он ее снял. Говорил потом, что не почувствовал холода, ведь все это продолжалось так недолго. Еще бы, ведь не было ни певчих, ни даже, кажется, диакона, и знаменитое «жена да боится своего мужа» прошло совершенно незаметно. Постороннего народа не было, зато были яркие и длинные солнечные лучи верхних окон — на всю церковь. На розовую подстилку мы ступили вместе и — осторожно: ведь не в белых туфельках — с улицы, а это все идет после священника. Как не похоже было это венчание на толстовское, которое он описал в «Анне Карениной» в свадьбе Китти! Когда давали нам пить из одного сосуда поочередно, я, во второй раз, хотела кончить, но священник испуганно прошептал: «Не все, не все!» — Кончить должен был жених. После этого церемония продолжалась с той же быстротой, вот — мы уже на паперти, разговариваем со свидетелями. «Мне кажется, что ничего не произошло особенного», — говорю я одному. Тот смеется: «Ну, нет, очень, очень-таки произошло, и серьезное». Затем мы, так же пешком, отправились к нам домой, свидетели ушли к себе. Дома нас ждал обыкновенный завтрак, только, не знаю кто, мама или тетки, решили все же отметить хоть и не пышную, но все-таки свадьбу, и во время завтрака появилось шампанское... Стало весело, впрочем, и раньше никто не грустил (кроме мамы, может быть — ведь все-таки разлука!)

Затем гости — тетка и шафера — ушли домой, а наш день прошел, как вчерашний. Мы с Дмитрием Сергеевичем продолжали читать в моей комнате вчерашнюю книгу, потом обедали. Вечером, к чаю, зашла случайно моя бывшая гувернантка-француженка. Можно себе представить, что она чуть со стула не упала от неожиданности, когда мама, разливая чай, заметила мельком: «А Зина сегодня замуж вышла». Дмитрий Сергеевич ушел к себе в гостиницу довольно рано, а

я легла спать и забыла, что замужем. Да так забыла, что на другое утро едва вспомнила, когда мама через дверь мне крикнула: «Ты еще спишь, а уж муж пришел. Вставай!»

«Муж? Какое удивление»! Сто лет прошло, сто лет прошло с этого немножко забавного события. Вот видите, как странно: брак, который как-то совершился незаметно, походя, так что Зинаида Николаевна наутро даже и не вспомнила, что вышла замуж, оказался не только прочным, а сверхпрочным. 52 года ни разу, ни на один день они не разлучаются. Думают в унисон. Постоянно в духовном общении. И в истории, в литературе, в философии они неразделимы, поэтому всегда, когда мы говорим о Мережковском, мы невольно говорим и о Зинаиде Николаевне Гиппиус.

Мережковский много ездил, и он не только умел рассказывать ярко о своих путешествиях подруге, а потом жене, — он умел это описывать. И, может быть, не самое лучшее, но... прекрасное в его творчестве — это эссе, которые он потом объединил под общим названием «Вечные спутники». Он описывает свое посещение Греции, Парфенона. Его навсегда заворожила красота античной Греции: голубое небо, белые колонны, прекрасный, совершенный мир. Конечно, это был миф — миф, пришедший откуда-то из XVIII века. Но он жил этим мифом. В нем никогда не угасал огонек христианской веры.

Как это соединить? В те же годы, когда начинается его совместная жизнь с Зинаидой Николаевной, он задумывает исторический роман, в котором должны быть, по его мысли, противопоставлены две правды. Что такое христианство? — Это великое Откровение Божие. Но ведь это аскетизм, это отвержение плоти, это крайняя духовность, которая в конце концов отворачивается от всего прекрасного, что есть в мире. Что такое язычество? — Это песнь плоти, это песнь любви, это песнь земли. Христианство совершенно не интересуется жизнью человеческой, общественным устройством, проблемой искусства или семьи. А в язычестве искусство бессмертно, и язычество воспело любовь еще с времен античных поэтов и философов: Софокл, Анакреон, Платон.

И вот выходит первый роман. Первый роман называется «Смерть богов» — о закате язычества. Две бездны, как любил это называть Мережковский: бездна Неба и бездна Земли, царство Бога и царство

Зверя. Уходит язычество. Император Юлиан (IV век) перед лицом наступающего и уже торжествующего христианства пытается повернуть историю вспять, пытается утвердить в подвластной ему империи обновленное, преображенное язычество — под знаком культа Солнца, который впитал в себя все восточные и античные религиозные традиции.

Мережковский рисует христианскую юность Юлиана. Жестокость при христианском императорском дворе; то, что видел юный Юлиан, — все это нарисовано резкими чертами. Правда, если говорить с точки зрения литературной, живые образы Мережковскому почти никогда не удавались. Он был мастером слова, но никогда не был мастером образа творческого, — это разные вещи.

Я помню, когда сам был совсем юным, когда мне было лет пятнадцать, впервые попалась мне эта книга. Я ровно ничего, как и все мои ровесники, не знал о Мережковском: в словарях его не было, в истории литературы он отсутствовал — он... испарился из нашей культуры. Я начал читать этот странный роман «Смерть богов». И надо признаться, что, несмотря на невежество юности, сразу понял его главный недостаток. Показывая столкновение двух миров, Мережковский не сумел представить христианство. Христианство у него — это... мракобесы, гонители,... невежественные люди, жестокие... А язычники... вот Юлиан — это личность, которой он больше всего сочувствует.

Я понимаю, что в этом был глубокий исторический и литературный смысл. Юлиан был человеком подлинного религиозного сознания. И то, что он пришел к язычеству, — не случайно (но это другая история). Я увидел, что Мережковский, который жил там (он путешествовал по Италии, путешествовал по тем странам), видел все через призму совершенно четких субъективных представлений. Да, Юлиан и его окружение имели основание обвинять христиан во многом. Да, в романе показан, например, церковный Собор, где богословы и клерикалы препираются друг с другом с тяжелой, неприятной, отталкивающей ожесточенностью. Император Юлиан входит на заседание Собора и мрачно, с удовлетворенной усмешкой смотрит на эту толпу архиереев и богословов, которые друг друга анафематствовали, и потом, когда наступила тишина, все увидели

вошедшего императора, который разразился горькой иронической речью: «Вот ваше христианство!...» Христа там нет.

Современниками Юлиана были великие, благородные фигуры в истории нашей Церкви: вместе с ним в Афинском университете учился Григорий Богослов, величайший поэт христианской древности, тончайшая душа, мудрец и святой, и его близкий личный друг Василий Кесарийский, которого называют Василием Великим, человек, которого Церковь ненапрасно чтит на протяжении полутора тысяч лет. Да, Мережковский, он их упоминает, но сквозь зубы, вскользь. Две — три странички он посвящает образам этих людей, которые были связаны с Юлианом, учились одновременно с ним.

Трилогия должна была называться «Христос и Антихрист». Ничего этого не вышло. Потому что Юлиан не был антихристом. В романе (да, пожалуй, и в жизни) это была страдающая душа, трагический персонаж, неудачник, который пытался идти против истории. Так что он — не антихрист. А уж Христа там и подавно нет, в этом романе. Это пристрастная, необъективная книга. Но вопрос, который она ставит, — важный вопрос: действительно ли христианство отвергает плоть? Николай Александрович Бердяев, который некоторое время был близок с Мережковским, отвечал ему так: «В нашей церковности на самом деле слишком много плоти, слишком много приземленности, слишком много быта, а не мало». И не надо было изображать античность как гимн плоти. Все то одностороннее, все то, крайне отрицательно относящееся к телу, к материи, к жизни, — все пришло в христианство из язычества.

Я должен напомнить вам знаменитое крылатое греческое изречение о том, что тело является «гробницей», живое тело. Почему гробницей? Да потому, что, согласно Платону и неоплатоникам, дух заключен в теле, как в гробнице. Это гроб, нечто негативное. Последователь Платона, живший через несколько столетий после него, Плотин (III век) даже боялся раздеваться, он стыдился своего тела! В то время как апостол Павел называл тело храмом Духа Святого, и Библия никогда не имела презрения к телу. Ибо тело создано Богом, как все Творение, оно может быть прекрасно. Конечно, было в язычестве и другое, в искусстве было, действительно, воспевание тела. Но те пессимистические, мрачные, жизнеотрицающие элементы, которые Мережковский пытается навязать христианству, — они

паразитировали на нем и были присущи в большей степени язычеству. Антитеза была ложной.

Впоследствии в предисловии к своей трилогии Мережковский писал: когда я закончил эту книгу, я уже понимал, что небо и земля соединены, что они не противостоят друг другу, но что в Лице Иисуса Христа они нашли свою полноту. Это было вскоре после его женитьбы. Он стал сознательным убежденным христианином и остался им до конца своих дней, до последнего вздоха.

Второй роман «Воскресшие боги» — о Леонардо да Винчи. Мережковский много путешествовал по Италии, отлично знал искусство и историю Возрождения. Но совершил такое же насилие над историей, потому что изобразил представителя подлинного христианского Возрождения, проповедника Савонаролу, на манер какого-то кликушествовавшего безумца: вот, мол, это христианство аскетическое, Савонарола там какой-то идиот, который морочит голову таким же идиотам, как он. А Савонарола был одним из величайших сынов Италии, поэтом, деятелем культуры. Он был монах, но абсолютный защитник демократии. И когда тиран, правивший его городом, умирая, вызвал его, чтобы фра Джироламо дал ему отпущение грехов, сказал: я отпущу тебе грехи, только если ты дашь родному городу свободу, если прекратишь тиранию (а там была тирания наследственная). Савонарола погиб на эшафоте, отстаивая идеалы христианской свободы, он был одним из великих культурных гениев своей страны. А Мережковский его изобразил так, что даже читать стыдно.

Главный же герой, Леонардо да Винчи, рисуется им по образцу некой абстрактной модели, которую Дмитрий Сергеевич вычитал у Ницше: Леонардо да Винчи — человек, живущий по ту сторону добра и зла. Он с одинаковым интересом рисует прекрасные лица и ощеренные пасти толпы, собравшейся вокруг костров, где по наущению Савонаролы жгут великие произведения искусства. Да, жгли, конечно. Но Савонарола приказывал жечь так называемые «суеты» — всякую дрянь, порнографию, он никогда не жег подлинных произведений искусства. А Мережковский в романе изображает, что «Леда», знаменитая картина Леонардо да Винчи, стоит на вершине пирамиды, которую поджигают, а бесстрастный Леонардо карандашиком зарисовывает выражение лиц беснующихся вокруг

безумцев. Да, это было влияние Ницше, но Мережковский постепенно его преодолевал. Ему хотелось поднять достоинство человека, и это было великое движение и стремление. И он хотел, чтобы христианство сказало правду о земле, о жизни, о любви.

И вот однажды (это было осенью 1901 года), Мережковский с Зинаидой Николаевной жили в пригороде; прогуливаясь, она спросила: «Ну, что будем делать зимой? Нам надо кончать разговоры, начать какое-то действие». Они были оба хрупкие интеллигенты и были мало способны к действию, но хотели быть активными всегда. «Давай соберем, — сказала Зинаида Николаевна, — людей самых противоположных идеологий, которые никогда не встретятся. Мы все живем врозь. Давай их соединим». «Отлично», — сказал Дмитрий Сергеевич. К ним присоединился поэт Минский, создатель странной философии, немного напоминающей экзистенциализм. Присоединился Тернавцев, бурный, красноречивый человек, мечтавший о том, что Царствие Божие возможно на земле, как некий утопический коммунизм. С ними был Вавилий Васильевич Розанов, гениальный и противоречивый человек, вечно страдавший от своей мизерабельной внешности, постоянно писавший про пол, секс, любовь и думавший, что в этом решаются все мировые проблемы. Он писал блестяще и всегда себе противоречил. Это была особая фигура, и о нем стоит говорить отдельно. Он был гениальный эссеист и мыслитель, который так никогда и не свел концов с концами.

Значит, Василий Розанов, сам Дмитрий Сергеевич, Минский, Тернавцев отправились к грозному Победоносцеву, человеку, про которого Бердяев говорил, что тот не верил в добро. Победоносцев был фактическим главой Русской Православной Церкви. Это был образованный, умный, глубокий, по-своему одухотворенный человек, со сложной внутренней жизнью. Не случайно он перевел книгу Фомы Кемпийского (католика, а он католиков терпеть не мог) «Подражание Христу» — великую книгу христианского мира, и она до сих пор выходит в переводе именно Константина Петровича Победоносцева. Победоносцев — бледный, лысоватый, бесстрастный чиновник, в очках. Есть картина Репина «Заседание Государственного Совета», он там при всех регалиях, с воротником, как носили сенаторы. Это он инсперировал отлучение Льва Толстого, которое, конечно, имело

определенный смысл, но я бы сказал, сделано это было неудачно (но это уже другой разговор).

И вот они идут к Победоносцеву — за разрешением организовать Собрания. Победоносцев решительно против. Ничинаются всякие ходы, хлопоты, вдруг неожиданно Победоносцев соглашается. И вот осенью 1901 года начинается странное мероприятие, честь создания которого принадлежит именно Дмитрию Сергеевичу Мережковскому.

На Фонтанке есть зал Географического Общества — узкое здание, где в свое время выступал Семенов-Тянь-Шанский и другие знаменитые путешественники. Был там узкий длинный зал, где стояла огромная статуя Будды, подаренная кем-то из восточных людей. И вот там поставили длинный стол, покрыли его зеленым сукном (как это делали в присутственных местах). Во главе сидел архиерей, недавно ставший епископом, 40-летний, в очках, с длинной бородой. Это был Сергей, будущий наш патриарх, которого избрали уже во время войны, в 1943 году, — патриарх Сергей Старогородский. Рядом с ним ректор Академии, молодой доцент Академии Антон Карташов, будущий министр культуры Временного правительства, впоследствии заграницей — крупнейший историк русской Церкви (умер в 1960 году). Зал был полон. Официально на эти ... диспуты могли ходить только члены Общества (но, конечно, ходили все, кто хотел). Главное, что не было пристава, а в старину, в те времена (не забывайте, что это начало нашего столетия) пристав должен был находиться в каждом общественном собрании, и если оратор стал бы вдруг что-то не то говорить, он имел право его перебить и заставить замолчать. Здесь не было пристава. Был только Будда, которого, чтобы не было соблазна у православных, замотали коленкором, и он стоял, как некое такое чучело завернутое.

Прения открыл епископ Сергей, который сказал, что он пришел сюда для того, чтобы найти общий язык с интеллигенцией. Потом Тернавцев произнес блестящую речь. Тон всему задавал Дмитрий Сергеевич Мережковский, он вопрошал Церковь. Уже не просто абстрактную Церковь, а конкретных богословов, конкретных епископов и архимандритов. Но интересен тон этих выступлений: диалог был доброжелательный, это была великая встреча, великое событие в истории.

Бердяев впоследствии вспоминал: вдруг, в уголке Петербурга — свобода слова, свобода совести! — хоть ненадолго. Чуть больше года длились эти собрания. Потом Победоносцев сообразил, что там говорят такие вольные речи, что надо закрывать. Состоялось 22 Собрания. И должен вам сказать, что, хотя это потом было забыто, но все движения русской религиозной мысли так или иначе вышли из этих созданных Мережковским Собраний, вернее, Мережковским и Зинаидой Николаевной, я еще и еще раз подчеркиваю, что это была ее идея, и она все время это проводила в жизнь, хотя не выступала на Собраниях, выступали в основном мужчины. Это были профессора Духовной Академии, духовенство, представители литературы, критики — вся когорта «Мира искусства»: Сергей Дягилев, Леон Бакст, Александр Бенуа. Они пришли необычайно заинтересованные — им открылся новый религиозный мир!

Сергей Маковский, впоследствии литературный критик и искусствовед (он написал книгу «На Парнасе серебряного века», она вышла в Мюнхене в начале 1960-х годов — он тоже ходил на эти собрания. Серебряный век! — век Андрея Белого, Флоренского, Бердяева, Дягилева, Головина, Бакста — перечислять невозможно. Век таких издательств, как «Весы», «Скорпион»)... Маковский вспоминает, что на первом же заседании сидел молодой студент первого курса Флоренский (первого курса математики). Он еще не выбрал своего пути, и я думаю, что присутствие на этих Собраниях (на которых он только молчал и слушал), безусловно, повлияло на его дальнейшую жизнь и духовное развитие. До сих пор не оценены и недостаточно изучены эти Собрания, хотя после 1905 года, когда прекратился нажим цензуры, были созданы уже целевые общества имени Владимира Соловьева в Москва, в Петербурге, в Киеве... Но начало всему положил Мережковский.

Третий роман его, который был написан уже после закрытия Собраний, назывался «Антихрист». Это роман о Петре I. Роман богословский, философский, тяжкий. Тяжкая, мучительная книга. Все то черное, что можно сказать о Петре, там собрано и сказано с большим знанием дела. Здесь уже наконец ему Антихриста показать удалось. Но Христа там не было. При всем его желании показать Христа в лице тех, кто противостоял реформе Петра, он не смог. Старообрядцы? — он не сумел их изобразить, хотя очень

интересовался ими. Царевич Алексей? — да, у Мережковского он фигурирует как носитель веры. Он разговаривает с философом Лейбницем, знаменитым немецким философом, который говорит: «Почему у вас в России все так неблагополучно?» И Алексей отвечает: «Ну да, мы пьяные, нищие, голые, но в нас — Христос». Но в романе этого нет. Есть там ужасная сцена, когда царевич, погибая в застенке, в присутствии своего отца, Петра I, проклиная отца, предсказывает, что за это его род, его династия погибнет в крови. Это было написано в самом начале нашего столетия.

Мережковский ищет истину, изучая Гоголя. Потому что Гоголь для него — жертва христианской односторонности. Отец Матфей Константиновский, который был в последние годы духовником Гоголя, нарисован Мережковским как некий демонический антипод. Историческое христианство не могло найти общего языка с писателем и подрубило его творчество. Это тоже было неверно, несправедливо. Отец Матфей, на которого так много клеветали в истории и литературе, совсем не собирался подсекать творчество Гоголя... Кризис у Гоголя был внутренний, спонтанный. И на самом деле речи отца Матфея не сыграли решающей роли. И не отрицал он его писаний, наоборот, он хвалил то, что Гоголь писал раньше. Отцу Матфею не нравились образы 2-го тома «Мертвых душ». Он не был литературный критик, он был простой священник, протоиерей из города Ржева. Гоголь ему носил «Мертвые души», 2-й том, ему не нравилось, — это было его право. Так ведь и Гоголю тоже не нравилось — вы думаете, он сжег, потому что с ума сошел? Он сжег, потому что ему не нравилось. И сейчас, читая то, что осталось от этого тома, мы чувствуем, что да, там что-то было неблагополучно, он не справился с этим.

Книга, которую я упоминал, «Лев Толстой и Достоевский», ставит ту же самую проблему о христианстве и язычестве. Кто здесь язычник? — Лев Толстой. Ясновидец плоти — так его представляет Мережковский. А Достоевский — это ясновидец духа. Опять та же упрощенная схема. Тезис: плоть, язычество — в данном случае это Лев Толстой. Антитезис: дух, потрясающий плоть, — в данном случае это Достоевский. Синтез? — синтез впереди. Был Ветхий Завет. Ветхий Завет говорил нам о плоти (и вместе с язычеством). Пришел Сын Человеческий, дал нам Новый Завет, но Он только о духе

говорил. Нужен Третий Завет, в котором полностью откроется священная полнота божественности.

Мережковский ступил на путь какого-то странного богословства. Думается, что не без Розанова он пришел к мысли, что любовь мужчины и женщины является прообразом какой-то божественной тайны. В широком богословском смысле слова это, несомненно, так. Ибо замысел Божий, как мы знаем, есть соединение разделенного в мире. Но не смешение, не нивелировка, а соединение. Все то, что распадается и разделяется, — это сатанинское, смерть. А гармония, единство — это божественное. Поэтому любовь есть величайшая сила. Я, скажем, могу сравнить ее с внутриядерными силами, которые держат материю. Они должны быть огромными, недаром при своем освобождении они дают такой колоссальный разрушительный эффект.

Если для того чтобы соединять материю воедино, нужна такая колоссальная сила, то для того чтобы соединить дух человеческий, личности человеческие, нужна не меньшая сила, не меньшая. Когда-то шел фильм «Хиросима, любовь моя», где говорилось о трагедии Хиросимы и о любви двух людей, — это не меньший взрыв, только в другом плане. Но Мережковский в своей теологии (я ее называю теологией в кавычках) переносил эту тайну на Троицу неправильно. Он ухватился за тот факт, что на древне-еврейском, на арамейском языке дух («руах») имеет женский род. И для него это стало тайной Трех: Дух, который, соединяясь с божественным Отцом, рождает Сына. В треугольнике отец-мать-дитя (сын) отразилась вечная троичная тайна. На все лады во всех своих произведениях он возвращается к этой мысли. В ней очень мало богословского и философского обоснования — это намеки, эмоции...

Рождение человека не является плодом любви; плодом любви является единство душ, которое было, скажем, у него и Зинаиды Николаевны. Рождение человека может совершиться, как и рождение и зачатие любого живого существа, без любви. И кроме того, не обязательно, чтоб было трое — детей-то может быть много. Короче, аналогия эта не работает совершенно. Но она мучительно преследовала его всю жизнь.

Затем у него возникает мысль о том, что старый мир должен быть разрушен, и, для того чтобы приблизить третий Завет, необходимо революционное преобразование мира. Он носится с идеей

религиозного, богословского обоснования революции. Грядет царство хама... «Грядущий Хам» — одно название этой книги Мережковского уже заслуживает внимания. Он обрушивается в ней на историческое христианство.

Мы должны быть достаточно честны, мы должны признать, что в христианство на протяжении веков неоднократно просачивались элементы мироотрицания, которые Евангелию не соответствуют. Просачивались они, и это давало горькие плоды. Но восставать против исторического христианства — значит восставать вообще против христианства, ибо оно живет и являет себя в истории, а не где-то в абстрактной идее.

Мережковский постоянно жил за границей, там он писал свои последние романы, в частности и «Царство зверя», — о разрушении империи. Безумный Павел I — фигура очень противоречивая. Не сумел, по-моему, Мережковский увязать двух сторон личности Павла. Вторая часть, замечательная! — про декабристов, называется «Александр I», написана под сильным влиянием Достоевского. И наиболее мощная — «14 декабря» (тоже под влиянием Достоевского). Это полотно тех событий, напоминающее многое в нашем времени. Люди, не подготовившиеся, которые вышли раньше времени ... как-будто смотришь в зеркало нашей эпохи...

Супруги Мережковские часто уезжали за границу и иногда возвращались, ненадолго, в Россию. Это несколько оторвало их от общественной, от философской жизни и от Церкви. У них была маленькая тайна (почти никто не знает о ней). В литературе она почти не отражена. Это придумала Зинаида Николаевна. Она говорила: раз историческая Церковь так несовершенна, будем создавать новую Церковь. Такая мысль могла родиться в голове только у дамы. И они стали создавать сначала маленький кружок, туда приходили лучшие люди эпохи: Бердяев, Карташов, Рачинский и многие другие. Потом она создала совсем интимный круг: Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Философов, их ближайший друг, и она. И они стали совершать дома некое подобие малого богослужения. Ставилось вино, цветы, виноград, читались какие-то импровизированные молитвы — это была как бы евхаристия. Когда Бердяев узнал об этом, он совершенно... взбесился, и это послужило поводом к окончательному вхождению в православие. Он сказал, что он православный и не может этой

доморощенной церкви ... выносить. Как бы от противного его толкнули к Церкви вот эти своеобразные события.

Критика встречала Мережковского довольно прохладно, люди часто не понимали его проблематики.

Андрей Белый в книге «Начало века» дает гротескную картину выступления Мережковского в зале Московского университета. Его откровения кажутся философам, профессорам нелепыми, а сам он в сатирическом изображении Андрея Белого просто смешон.

Это гротескное видение выступления Мережковского в Москве показывает, насколько чужд он был академической среде. Они действительно его не понимали, и он не понимал, куда он шел. Это были два мира: классики XIX века — и он, обращенный к каким-то будущим зорям, как тогда любили говорить.

Наступление революции Мережковский воспринял совершенно однозначно. Из всех русских религиозных писателей, мыслителей он был самым непримиримым антисоветчиком. Как говорил Евтушенко, «из песни слова не выкинешь...» Он говорил это по поводу Гумилева; Гумилев был монархист, однако служил и считал своим долгом служить в государстве, принципы которого его не очень устраивали. Но Мережковский был, я думаю, под определенным влиянием Гиппиус, которая была совершенно непримиримой, так и умерла.

В 1920 году они бежали из России, познакомились с Борисом Савинковым, одно время были близки с ним и к кругам эсеров. Потом отошли от них и остались вдвоем необычайно одинокими в эмиграции. Правые считали их революционерами, левые — не знали, куда их приткнуть, — они никому не подошли. Постоянно искали некоего пристанища политического. К Пилсудскому примкнули, он их разочаровал. Даже Муссолини! даже Муссолини, когда они жили в Италии, вызывал у Мережковских надежду. Я читал их переписку, Дмитрий Сергеевич пишет: «Цезарь» обещает меня принять («Цезарь» — это условное название Муссолини). Но и «Цезарь» их разочаровал.

Когда началась вторая мировая война, многие эмигранты, и среди них и Бердяев, и Булгаков, — стояли на позиции патриотической. Гиппиус не стояла на этой позиции. Она написала книгу «Царство Антихриста», где изобразила революционную жизнь, события в

Петрограде и вообще в России, в Москве с самой негативной точки зрения. Не надо ничего приукрашивать или обелять — так это было...

Для чего понадобились Мережковскому в дальнейшем его философско-литературно-исторические эссе? Чтоб развивать ту же самую мысль: христианские идеи не реализованы в мире. В Евангелии заложена идея братства человечества — великая идея. А кто ее пытается реализовать? — Наполеон! Человек с демократической судьбой. Очень интересно, ярко написана книга о Наполеоне. Человек, не имевший в себе христианского духа, пытается создать единое человечество. Неизвестно, насколько исторически это правда, но так изображает Мережковский.

Два Завета... пора их преодолеть и идти к новому. Третьему Завету. В этой драме изображается и апостол Павел, и Хуан де ла Крус, знаменитый испанский святой.

Центральная книга Мережковского, написанная в изгнании, изданная в 1932–1933 годах в Белграде, — «Иисус Неизвестный». Одно из самых странных и оригинальных произведений на евангельскую тему. Писатель пытается дать новое освещение тайны Христа, используя огромный арсенал апокрифов. Никто до этого не придавал им такого значения. И название-то какое, заметьте, — «Иисус Неизвестный». Мир не понял Христа, мир Его не познал. Это, правда, — то евангельские слова, но тем не менее хотя в Евангелии сказано, что Он в мире был, мир Его не познал, но кто-то Его принял и кто-то Его познал. Для Мережковского Иисус не понят ни Церковью, ни миром. Один из парижских критиков назвал рецензию на эту книгу «Церковь забытая» (Иисус Неизвестный, а Церковь забытая). Если бы дух Христов не реализовался в Церкви, то не было бы того, что дало христианство миру.

Мережковский великолепно, на уровне крупнейшего ученого знал всю новозаветную историческую литературу. Книга написана ярко, очень субъективно. Это огромное трехтомное эссе, которое начинается с описания, как выглядит его личное Евангелие, которое он возит с собой еще из России, потрепанное, но он боится его переплести, потому что не хочет с ним расставаться ни на один день.

И остался Мережковский при тайне пола. Он нашел в одном из апокрифов слова Христа: «Когда будет Царство? Тогда будет одно: женское будет мужским, мужское будет женским».

В те времена, в начале века, которые определили философское мышление Мережковского, был популярен один, по-моему, не совсем психически здоровый австрийский писатель, покончивший с собой, Отто Вайнингера, написавший книгу «Пол и характер» (она у нас была переведена в те годы и пользовалась большой популярностью). Он много рассуждал о полярности двух полов, о том, что в каждом человеке заключена какая-то частица другого пола (если он мужчина — в нем есть элемент женщины, если это женщина — в ней есть элемент мужчины). Об этом много спорили еще с того момента, когда Владимир Соловьев написал книгу «Смысл любви»...

На самом деле... Мережковский заблудился между простыми вещами. Потому что пол не есть явление вечное. А полнота человека способна открываться во всем. И если это индивидуум, который принадлежит, скажем, к мужскому полу, совершенно не обязательно, что он должен нести в себе и женский элемент. Духовно человек стоит выше пола, поэтому апостол Павел говорит, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Но для нашего единства, для нашей любви друг к другу обязательно должно быть различие: в характере, в типе мышления, в типе эмоциональной жизни. Но на самом деле это не столь существенно, чтоб об этом можно было писать и размышлять всю жизнь.

Правда о земле — это было то, что действительно достойно из наследия Мережковского. Да. И мы (мы, христиане, мы, богословы) должны честно признать, что он был прав в том, что на протяжении истекшего времени, двадцати столетий, нередко бывало так, что христиане и руководство Церковью не уделяли достаточно внимания проблемам жизни, проблемам мира сего. Понять это можно и простить можно, потому что люди хотели сохранить и развить в себе силу внутреннюю, силу духа, чтобы пойти в мир, но в процессе развития духа потом забывали, для чего это делается. И в мир не шли. Вероятно, многие из вас знают о святом Серафиме Саровском. Он много лет прожил в затворе, он много лет не общался с людьми, но когда в нем созрела духовная сила, сила Благодати Духа Божия, — он открыл дверь своей хижины для людей. Он понес свое сердце, наполненное Святым Духом, людям. Вот это и есть та диалектика христианства, которая не отрицает мир и не принимает его огульно.

Христианство не становится мирским, омирщвленным: всегда есть откат, для того чтобы принять, для того чтобы преобразить, для того, чтобы одухотворить. И вот этот синтез, который совершается в истории Церкви, и будет совершаться, и был совершен раз и навсегда в лице Христа, — он мыслился и представлялся в философии Мережковского как нечто расколовшееся, не соединенное, как то, что должно соединиться в каком-то грядущем Третьем Завете. И мы сегодня говорим ему: нет, Новый Завет есть Завет вечный. Третий завет ни Церкви, ни миру не нужен, но христианство сегодня, как и вчера, несет в себе потенциальную возможность освящения, постижения, проникновения во все сферы мира.

Нет, друзья мои, ничего светского, нет ничего, находящегося вне Бога. Вне Бога находится только небытие. Все связано с Ним, и все находится перед Его Лицом. За много сотен лет до нашей эры первая заповедь, которую дал Господь Аврааму, нашему отцу, отцу всех верующих на всей земле, была: «Ходи передо Мной. — Передо Мной! — И будь непорочен». «Ходи передо Мной»... — вот основа для христианской деятельности, для христианской любви в семье, для христианского воспитания, для христианского искусства — для всего того, что есть. «Ходи передо Мной» — что бы ты ни делал: колол бы ты дрова, сидел бы у постели больного, или рассказывал друзьям смешную историю, чтобы поднять их дух, чтобы они не унывали, — безразлично. Все то, что не является грехом, совершается перед Лицом Божьим. Но... мы должны быть благодарны этим искренним людям, которые мучились, страдали и поднимали эти вопросы.

В заключение я хочу прочесть несколько строк одного из лучших, с моей точки зрения, стихотворений Мережковского. Это стихотворение называется, как и стихотворение Державина, «Бог». Едва ли, пожалуй, в русской литературе можно найти подобное простое, без всякого декадентского привкуса, стихотворение о самом важном, о самом последнем, о самом прекрасном, о самой сущности нашей жизни и о Том, перед Лицом Которого должны мы все ходить.

О Боже мой! Благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир,
Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю.

Пускай мученья мне грозят -
Благодарю за этот миг,
За все, что сердцем я постиг,
О чем мне звезды говорят.
Везде я чувствую, везде,
Тебя, Господь, в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.
Я Бога жаждал и не знал,
Еще не верил, но любя,
Пока рассудком отрицал, —
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне.
Ты мир, Ты все, Ты небо и вода,
Ты голос бури, Ты эфир, Ты мысль поэта, Ты звезда.
Пока живу — Тебе молюсь, Тебя люблю, дышу Тобой.
Когда умру — с Тобой сольюсь,
Как звезды с утренней зарей.
Хочу, чтоб жизнь моя была -
Тебе немолчная хвала.
Тебя — за полночь и зарю,
За жизнь и смерть благодарю.
Спасибо, друзья мои!

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРДЯЕВ

В Петербурге в начале XX века произошло важное событие — начали свою работу Петербургские Религиозно-Философские Собрания. Эти встречи наиболее ярких представителей интеллигенции с представителями Церкви происходили по инициативе выдающихся деятелей русской культуры — Дмитрия Сергеевича Мережковского и его жены Зинаиды Николаевны Гиппиус.

Николай Александрович Бердяев приезжал туда, и впоследствии, на протяжении многих десятилетий, темы, которые бурно дебатировались на Собраниях, постоянно присутствовали в его произведениях.

Первый сборник его статей назывался «С точки зрения вечности». Он ставит вопрос о важности духовной культуры, о важности человеческого достоинства. Это для него не условность, эти человеческие достоинства вытекают из высочайшей духовной природы человеческого «я», личности. Бердяев называл себя впоследствии персоналистом. Он считал, что в личности выражается одна из главных особенностей духа. Не в толпе, не в сумме, а — в личности. Личность осуществляет то величие человека, которое является его природой. В толпе, когда люди теряют себя, они отбрасываются назад. Он размышляет в этой книге над судьбами России, над судьбами интеллигенции, — вопросы, которые всегда волновали его.

Бердяев приезжает в Москву. Некоторое время он скитается, но в конце концов поселяется на Арбате, в Большом Власьевском, и сближается с молодыми, оригинальными, энергичными людьми, которые ищут возвращения в лоно православной традиции. Здесь и Рачинский, очень своеобразный переводчик, доморощенный мыслитель; и уже известный писатель Василий Васильевич Розанов, который мечется между страстной любовью к православию, христианству и столь же страстной ненавистью к ним. Здесь Сергей Николаевич Булгаков — марксист (не просто по кружкам, как Бердяев, а фундаментально), автор огромного исследования «Капитализм и земледелие», человек, который прошел в начале столетия путь от

марксизма к идеализму, а потом от идеализма к православию, к христианству. Они настолько сближаются, что их зачастую называют братьями Диоскурами, но это разные люди.

Булгаков, выросший в орловской провинции, сын провинциального священника, вышедший, вырвавшийся из низов, рвущийся к знаниям, огромный эрудит, горящий, пламенеющий, немного наивный, несмотря на свою политическую образованность, — и Бердяев, аристократ, который никогда не мог ни к чему примкнуть, слово «мы» ему было чуждо! Это было, конечно, трагедией его жизни. Он отошел от революционных кружков. После революции 1905 года он уже вполне определенный христианин, для него истина является в Личности Христа, Личности, в Которой воплощено личное Божественное начало, и перед Личностью Божественного стоит отображающая в себе эту божественность личность человека. Поэтому, став христианином, Бердяев не мог стать человеком церковным в каком-то обычном смысле этого слова. Он приезжал в монастыри, он молился в храмах, он приступал к Святым Тайнам, но когда раскаявшиеся интеллигенты ехали к разным старцам и принимали любое их слово за вещание оракула, — Бердяев этого вынести не мог, он считал, что это не его путь. И он всегда оставался не столько богословом, хотя все темы его были религиозные, сколько свободным философом. Он говорил так: «Я размышляю независимо, я иду от своего «я» и своего собственного интеллектуального опыта и интуиции».

В 1911 году он сближается с группой «Путь». В Москве, недалеко от храма Христа Спасителя, был особняк миллионерши Маргариты Кирилловны Морозовой, которая свой капитал отдала на благое дело — издание русских и переводных книг религиозно-философского содержания. В издательстве «Путь» впервые вышел знаменитый том Флоренского «Столп и утверждение истины»; в этом издательстве впервые же вышел почти полный, по тогдашнему времени, Чаадаев; в нем выходил и Соловьев, недавно умерший, и Булгаков, и Бердяев...

В доме его постоянно собирается много народу, сам он охотный участник различных кружков. В 1911 году он пишет книгу «Философия свободы». Это книга молодого человека, которому еще нет сорока. Но мне кажется, если не вдаваться в детали, эта книга уже содержит в себе все то, что в дальнейшем было темой Бердяева. А

писал он много. Он умер в 1948 году. И за эти годы он написал десятки томов, сотни, если не тысячи статей. Библиография его (только перечисление его трудов) составляет обширную книгу (она вышла в Париже). Переведен Николай Александрович на двадцать языков, во многих странах собираются симпозиумы и конгрессы, посвященные изучению его творчества. Сам он перед смертью говорил с горечью: мне готовят Нобелевскую премию, я имею теперь звание доктора, я стал известен во всем мире, кроме своей родины. И вот спустя сорок лет его мечта вернуться на Родину осуществляется.

«Философия свободы» недавно вышла в нашей стране. И каждому из вас, кто хотел бы познакомиться с основами христианской философии, я бы настоятельно рекомендовал прочесть эту книгу со всем вниманием. Заранее предупреждаю о трудности чтения. Бердяев — блестящий стилист, он публицист, он пишет ярко, афористично, но его огненный темперамент, его дух, который все время клоочет, как вулкан, давит словами, он может повторить пятьдесят раз одно и то же слово на одной и той же странице. Он «выкрикивает» некоторые книги, как говорили его друзья. И поэтому из-за отсутствия некоторой систематичности, последовательности, связи частей, его не всякому легко читать, но это великая философская поэзия, глубокая мудрость! Мне иногда казалось, что из одной фразы Бердяева можно было построить целое сочинение, — столько там закодировано мудрости.

Книга «Философия свободы» развивает главный тезис Бердяева: в основе лежит дух; дух — это то, что нельзя определить; дух — это та подлинная реальная сила, которая скрыта в нас; и никогда рациональное отвлеченное познание не будет в состоянии его замкнуть в какие-то точные определения. Дух реализуется в жизни. Но всегда, когда он реализуется, или, как говорил Бердяев, «объективируется», он нечто теряет. Я бы привел такое сравнение (я не помню, есть ли оно у Бердяева, но оно вполне ему подходит): дух — это несущаяся вода реки, а объективация — это та же вода, но замерзшая.

У Бердяева было некоторое чувство... отталкивания от жизни, от действительности. Он очень болезненно переживал униженность человека, безобразия жизни, все скверное, тяжкое, даже то тяжкое, что есть в нашей плоти. Это был дух, который можно назвать «пленным духом» (так Марина Цветаева называла Андрея Белого, знакомого

Бердяева). Так вот, это был «пленный дух», который томился в своей тюрьме. Поэтому он и любовь понимал очень своеобразно. Прочтите его письмо к невесте Лидии, оно напечатано в небольшом сборнике произведений Бердяева, изданном издательством «Прометей», под названием «Эрос и личность».

Любовь для Бердяева была тоже духовным актом. Вообще он был как будто вне быта, вне материи. Он всегда тяготился действительностью, при этом мир он безумно любил. Он не был ни анахоретом, ни человеком отрешенным, он наслаждался природой, любовался ею. Как вспоминает одна его знакомая, он не мог пропустить ни одной собаки на улице, чтобы с ней не поговорить. Другая его знакомая рассказывала мне, что, когда они жили в Париже, Бердяев всегда на улицу выходил с собакой или с двумя, у него были огромные псы. И был кот (в Париже уже) Мурри, которого он стильно любил. Этот кот умирал у него на руках. Бердяев агонию этого животного пережил так, что в своей глубокой философской книге пишет об этом и рассказывает про своего кота с полной серьезностью, как через смерть этого любимого живого существа он постигал ужас небытия, ужас умирания.

Люди по-разному видели Бердяева. Большинство любовалось им в те годы. Было в нем, конечно, и нечто горделивое, но, с другой стороны, Марина Цветаева вспоминает, что не было более приветливого человека, открытого. Он прекрасно мог общаться с крестьянами, ремесленниками, он ходил в «Яму» и там беседовал с разными сектантами («Яма» — это трактир, где собирались народные богоискатели). И как барин он находил с простым народом язык быстрее, чем интеллигент.

Одно время (я сейчас говорю о периоде до первой мировой войны) Бердяев был близок с Дмитрием Сергеевичем Мережковским. Но постепенно кружковщина Мережковского его стала тяготить. А Мережковский, разочаровавшись в историческом христианстве, в исторической Церкви, задумал со своей женой Зинаидой Николаевной Гиппиус (вернее сказать, это жена задумала) создать свою «Церковь». И они дома собирались и совершали некое самодельное богослужение: ставили цветы, приносили вино — какая-то псевдоевхаристия... Понимаете, это же была эпоха декаданса! Эпоха, когда буйствовали символисты, за ними шли акмеисты, все кипело! Мережковский

привел Бердяева к православию. Каким образом (Мережковский стал приглашать его на эти радения, встречи. И вдруг! Николай Александрович почувствовал, что это фальшь, что-то ненормальное, самодельное, что нужна настоящая, подлинная Церковь. И он как бы от противного (и до конца своих дней) стал православным человеком. Такой был у него парадоксальный путь.

Несколько строк сейчас о его облике вы услышите из уст его современницы, Евгении Казимировны Герцык, писательницы, которая очень его любила, ценила и понимала. Как сама она написала, из всех, кого она потеряла в то время (начало 1920-х годов), его она потеряла «больше всех». Несколько строк, чтобы вы увидели эту личность, этого человека. Это из ее мемуаров:

«Вечер. Знакомыми арбатскими переулочками — к Бердяеву. Квадратная комната с красного дерева мебелью. Зеркало в старинной овальной раме, над диваном. Сумерничают две женщины — красивые и привлекательные — жена Бердяева и сестра ее. Его нет дома, но привычным шагом иду в его кабинет. Присаживаюсь к большому письменному столу: творческого беспорядка — никакого. Все убрано в стол, только справа и слева стопки книг. Сколько их! Ближе — читаемые, заложенные, дальше — припасенные вперед. Разнообразие: Каббалла, Гуссерль и Коген, Симеон Новый Богослов, труды по физике, стопочка французских католиков, а поодаль непременно — роман на ночь, что-нибудь выисканное у букиниста... Прохаживаюсь по комнате. Над широким диваном, где на ночь стелится ему постель, распятие черного дерева и слоновой кости — мы вместе его в Риме покупали. Дальше на стене — акварель: благоговенной рукой изображена келья старца, рисовала бабка Бердяева, родовитая киевлянка. Совсем недавний христианин, в Москве Бердяев искал сближения в той, не надуманной в литературных салонах, а подлинной и народной жизнью Церкви... Но как отличался Бердяев от других новообращенных, готовых отречься и от разума, и от человеческой гордости! Стоя крепко в том, что умаление в чем бы то ни было не может быть истиной во славу Божию. Он утверждает мощь и бытийность мысли, борется за нее. Острый диалектик — наносит удары направо и налево. Душно, лампадно с ним никогда не было. И чувство юмора не покидало его. Случалось, мы улыбаемся с ним через головы тогдашних единомышленников его,

благочестивейших Новоселова и Булгакова. Философскую мысль Бердяева так и хочется охарактеризовать как рыцарственную. Решение любой проблемы у него никогда не диктуется затаенной обидой, страхом, ненавистью, как было, скажем у Ницше, Достоевского... И в жизни он нес свое достоинство мыслителя так, как предок его, какой-нибудь Шуазель: потрясая драгоценным кружевом, считая, что острое слово глубине мысли — не укор, без тяжести, без надрыва, храня про себя одного муки, противоречия, иногда — философского отчаяния. В этом и сила его, и слабость».

Когда завершился этот период, Бердяев написал оду из итоговых книг своего довоенного периода, которая называлась «Смысл творчества». Творчество было для него не простой функцией человеческой мысли и жизни, а самой жизнью. Он писал: «Дух есть творческая активность. Всякий акт духа есть творческий акт. Но творческий акт субъективного духа есть выход из себя в мир. Во всяком творческом акте привносится элемент свободы, элемент, не определяемый миром. Творческий акт человека, всегда исходящий от духа, а не от природы, предполагает материал мира, предполагает множественный человеческий мир. Он исходит в мир и вносит в мир новое, небывшее. Творческий акт духа имеет две стороны: восхождение и нисхождение, дух в творческом порыве и взлете возвышается над миром и побеждает мир, но он также и нисходит в мир, притягивается миром вниз. и в продуктах своих соотнобразывается с состоянием мира. Дух объективируется в продукции творчества и в этой объективации соотнобразывается с данным состоянием множественного мира. Дух есть огонь! Творчество духа огненно. Объективация же есть охлаждение творческого огня духа. Объективация в культуре всегда означает согласование с другими, с уровнем мира, с социальной средой. Объективация духа в культуре есть его социализация».

Далее Бердяев говорит о том, что наши привычные понятия о Боге, о долге человека очень часто социоморфны, то есть построены по образцу социальной жизни, отражают угнетение, или самоутверждение, или еще какие-то иные моменты человеческого бытия. Необходимо снять социоморфную оболочку, чтобы проникнуть в глубину бытия и человека, и божественного.

Для Бердяева тайна Бога всегда была тайной непостижимой. В этом он был полностью согласен с христианским богословием. Но и

тайна человека оставалась столь же непостижимой. Тайна человека оказывалась у него необычайно тесно связанной с тайной божественного. Здесь одна из уязвимых сторон бердяевской метафизики. Он пишет: «Согласно Библии, Бог вдохнул в человека дух. Поэтому дух не есть творение, а есть порождение Бога». Это очень неточно. Это крайне спорно. Это фактически отождествление нашего духа с Духом божественным. Но Бердяев говорил об этом в пылу полемики, пытаясь возвысить дух, который постоянно унижался, — и материализмом, и религиозным мышлением. И он в своей парадоксальной полемике доходил до таких высказываний: «Нам дорога не только Голгофа, но и Олимп». Конечно, на первый взгляд читателю кажется странным — что тут общего? Но он хотел показать, что красота мира, красота плоти имеет ценность для Бога (даже если она воплощена в языческом Олимпе), потому что она тоже есть форма творчества.

Является ли целью жизни человека спасение? — спрашивал он. Если понимать под этим нечто чисто утилитарное, а именно: попадет ли человек в «хорошее» место после смерти или в «плохое», попадет ли он в рай или в ад, — Бердяев радикально выступал против такого понимания спасения. Он говорил, что задача человека — вовсе не спасение, не эгоцентрическое, эгоистическое, не поиск какой-то радости, а творчество. Бог заложил в человека огромный потенциал, и человек должен творить, и тогда из этого вытекает и высокое нравственное понимание, и благородство духа. Трудно было, конечно, выслушивать эти резкие, парадоксальные, далеко не всегда удачные высказывания Бердяева в кругу его единомышленников.

Он пишет книгу «Новое религиозное сознание и общественность», поднимает там вопросы пола, социальные вопросы, размышляет о революции. Он говорит о том, что революция может быть реакцией. Он имевший уже некоторый стаж революционной борьбы, приводит замечательные слова Михайловского, народника, с которым он много полемизировал. А слова эти вот такие: Михайловский говорит, я беден, у меня дома ничего нет, кроме полки с книгами и бюста Белинского. Но это мое. Я это буду охранять. Если даже этот народ, служению которому я отдал всю свою жизнь, ворвется сюда, чтобы сжечь мои книги, разбить этот бюст, — я буду защищать это до последнего дыхания. И вот эти слова Михайловского

были необычайно близки Бердяеву. Он говорил о насилии, которое идет сверху, со стороны власти имущих, и снизу, со стороны тех, кто не задумывался над правами личности человека, — попирает свободу можно с двух сторон.

И вот наступает революция. Бердяев ждал ее. И ждал многих бурных событий. Еще в 1909 году он участвовал в сборнике «Вехи». Он был неплохой пророк. В 1917 году он участвует в сборнике («Из глубины»), который подводит черту всей минувшей эпохе. Он активно участвует в общественной жизни. Его избирают в университет. У меня есть близкие люди, которые слушали лекции Бердяева, видели, как он выступал. Он производил огромное впечатление на аудиторию. (Единственное, что мешало, это нервный тик на лице, который его несколько портил.) Он участвовал в Вольфиле (Вольная ассоциация культуры), Вольной Духовной Академии. Напряженно думал.

В те годы немецкий философ Освальд Шпенглер написал книгу «Закат Запада» (или, как у нас переводят, «Закат Европы») — книгу, которая потрясла Европу и мир. Она говорила о неизбежности для цивилизации периода упадка: как организм проходит периоды детство — юность — старость, как в природе имеются весна — лето — осень — зима, так и цивилизация неизбежно приходит к упадку, который ничто и никто не остановит. Запад сегодня, писал Шпенглер, находится на закате. И Бердяев вместе со своими друзьями-единомышленниками ответил на эту книгу блестяще! Он показал, что фатум — исторический рок, — который действительно может вести цивилизацию к гибели, не есть единственное, что стоит перед человечеством. Дух может побеждать рок. Христианство, говорит Бердяев, бросает вызов судьбе и никогда не может примириться с маханическим, мертвящим, фатальным.

Можно сказать, что в Бердяеве бессмертие жило как актуализация того, что есть всегда. В нем постоянно бурлили мысли. Можно привести массу интересных идей, которые приходили ему в голову. Скажем, его трактовка разделения Церквей. Существовали трактовки: хомяковская: отпали грешные латиняне; старокатолическая: отпали недостойные схизматики, раскольники; тех, кто хотел соединить эти распадающиеся части и скорбел по поводу разделения Церквей. Бердяев первым по-настоящему глубоко взглянул на эту проблему. Он показал, что христианский Запад и христианский Восток имели свои

собственные осознания и реализации духовной жизни. На Западе всегда было сильно стремление к Богу, ввысь, вверх, как бы, как выражается Бердяев, влюбленность в Христа, подражание Христу как чему-то внешнему. Отсюда, говорит он, устремленность, вытянутость готических храмов, стрельчатых окон. Между тем Восток чувствует Христа присутствующим здесь, близко. Поэтому восточные храмы как бы охватывают входящего, огонек горит внутри, внутри присутствует Дух Божий. Эти два типа духовности должны были развиваться независимо, и зло разделения христиан было использовано Божественным Промыслом для того, чтобы не смешалось христианство в безликую однородную массу по всей земле, а чтобы конкретность многоцветья христианства в конце концов расцвела, несмотря на печаль разделения.

Итак, в 1922 году Бердяева высылают из России. К этому времени он уже автор многочисленных статей, автор книг «Символ творчества» и «Философия свободы» и ряда других. Некоторое время он находится в Берлине и потом попадает в Париж. В Кламаре, под Парижем, он остается надолго. Там он пишет свои важнейшие произведения, перечислять их было бы слишком долго. Я назову только главные.

«Философия свободного духа», двухтомная книга, написанная необычайно ярко, — это развитие идей его философии свободы. Особенно обращает внимание в этой книге его метафизическая трактовка свободы. Он говорит о том, что свобода находится глубже Бога, что это некая тайна. Здесь он питался источниками немецкого мистика XVII века Якоба Беме о некоей Бездне, которая лежит в основании всего. Для Бердяева это понятие было не совсем отчетливо, иногда он его отождествлял с Богом. Бог находился по ту сторону понимания добра и зла (так у Беме). Но Бердяев потом отделил Бога от Бездны и отождествил Бездну с тем порывом, чудовищным, иррациональным, бессмысленным, но мощным, порывом свободы, которая не может быть определена ничем. Это дуалистическое представление едва ли может быть разделено христианством, потому что Бердяев говорил, что Бог создал мир из ничего, но «ничего» — это не «ничто», а тот темный хаотический мир несозданной свободы, которая нетварна, как Бог.

Мы с библейских времен все-таки стоим на той точке зрения, что ничего нетварного, кроме Творца, не существует. На одном из

конгрессов, изучавших наследство Бердяева, в Париже, говорилось о том, что стремление Бердяева дать такую интерпретацию коренилось в его желании создать новую теодицею, концепцию, которая бы примиряла тайну Бога и тайну страдания. Тайна зла была для Бердяева необычайно острой, он всю жизнь ею мучился. И он говорил так: Бог не повинен в мировом зле, Бог не всемогущ. Он не властвует в мире, а Он побеждает темное хаотичное начало, которое совечно Ему, то есть оно всегда было.

Вы скажете, а что оно собой представляет? Бердяев отвечал: ничего, это нельзя назвать, это то, что находится за гранью мысли. В самом деле безумное, иррациональное стремление ко злу довольно трудно привести в какой-то логический порядок. И Достоевский, которого Бердяев так любил, часто показывал иррациональный, безумный характер зла. Безумный... Так вот, раз Бог не всемогущ, а только побеждает тьму, Бердяев выдвигает другую, спорную, с точки зрения христианской, концепцию, что Бог нуждается в мире, что Бог ищет в нас, в человечестве, Себе поддержку.

Однажды Бердяев услышал слова французского писателя Леона Блуа о том, что Бог — это Великий Одинокый, и он пережил это как какой-то внутренний опыт. Не полноту Божию почувствовал, а некое божественное метафизическое страдание. И страдание мира от переживал как... нарушение Божественного одиночества. Нам нужен Творец, но и мы Ему бесконечно нужны. Есть много поразительного, глубокого, загадочного и тонкого в этих суждениях Бердяева, хотя, с точки зрения богословия, они представляются, конечно, спорными.

Бердяев был глубоко эсхатологически напряжен, для него существующее состояние мира было мертвым, объективированным! История — это статуи и трупы... Реализуется все тогда и только тогда, когда мир сбросит с себя вот это окостенение объективации. Поэтому осмысление истории — только там, где она кончается. Смысл истории — в ее аннулировании, ее снятии; в том, что мы устремлены, как стрела, к будущему, где мертвенность объективированного бытия будет побеждена, где будет торжествовать полностью творческий дух, где он будет играть, где он будет расцветать! Поэтому эсхатология, то есть учение о конце мира, для Бердяева не была чем-то зловещим, мрачным, устрашающим. Он говорил о том, что человек должен

приближать конец мира, что человек должен стремиться к этому моменту преобразования бытия. И все темное будет уничтожено.

Люди неправильно понимают идею Промысла, говорит Бердяев, они понимают слова Христа Спасителя буквально, что вот Он над каждым бдит. Нет, если человек к Нему стремится, осуществляется единство Христа и человека. Но вообще в мире Бог не царствует. Нет Царства Божьего в мире. Он не царствует в холере, в чуме, в предательстве, катастрофах. Мир наполнен злом! В этом отношении Бердяев прав. И трудно не согласиться с ним, что Бог не реализовал Себя, скажем в армянском землетрясении или американском землетрясении. Конечно нет! И здесь его глубокая правота.

Христианское богословие рассматривает это с другой позиции: что свобода дана нам как умаление Божества. Бог какое-то пространство в своем бытии уступил нам, и в этом пространстве действуют уже (тут уже Бердяев совершенно прав) и Воля Божия, и воля человеческая, и слепые стихии, и судьба (судьба не в мистическом смысле, а в смысле предопределенности, физической, психологической, исторической, социальной).

Бердяев был историсофом. Его книга «Смысл истории» — одна из замечательных! Она вышла уже в эмиграции. Для него история была движением вперед, но он подчеркивал радикальное отличие библейского мировоззрения от античного, древнеиндийского. Индия и Греция не знали истории как движения. Только Библия говорит нам о том, что у мира есть цель.

Бердяев также написал книгу, которая у нас долго считалась крайне одиозной, — «Философия неравенства». Он писал ее в революционные годы, в начале 1920-х годов, здесь, на родине, он писал для тех представителей интеллигенции, которые готовы были, как Блок, идти навстречу темной разрушительной стихии. Он называл их предателями духа, предателями культуры, разрушителями, соучастниками преступных деяний. И мы знаем сегодня, что деяния эти были преступны, но Бердяев возвысил голос и кричал об этом тогда.

Надо сказать, что Бердяев принимал какие-то общие принципы социализма, буржуазность ненавидел. Он считал, что буржуазность — это духовная болезнь. Еще до революции он писал о ней, как о принижении сознания, отступлении от человечности. Духовная

буржуазность — примитивизация, успокоенность, остановка духовного потока в человеке — были для него столь же враждебны, сколь и атеизм.

Личность Христа всегда была для Бердяева бесконечно ценной. Ибо в Нем реализовалось Божественное в полноте, и в полноте того, перед чем он преклонялся, — перед личностью человека... Христос открыл нам человечность Бога. До сих пор мы думали, что Бог не человечесен, а вот через Христа мы это poznали. Тайну Троицы Бердяев постигал через динамику, для него жизнь в Божестве была динамична! Хотя, конечно, человек не может проникнуть в эту тайну.

Для Бердяева познание мира, познание Бога, познание тайн — это не просто логический процесс, не просто манипуляции одного рассудка, а это акт, который осуществляет вся природа человека, все его существо! — интуиция его, боль, чувство, все вместе связано. Только так мы постигаем реальность, целиком, а не в отдельных проявлениях. Вот это интуитивное, живое, целостное восприятие и было главной особенностью философии Бердяева.

Многие люди поражались масштабам этого человека, ибо в той же Франции было немало философов, историков, богословов, публицистов, но каждый немножко сидел на своем шесте. А Бердяев свободно ходил по всем мирам. Его краткое замечание по какому-нибудь узловому моменту христианского богословия было иногда ценней целого тома. Ну, скажем, он говорил о библейской критике — указывал на очищающее ее значение. Я не буду отвлекаться сейчас, но эту фразу можно раскрыть и показать, как он угадал самое главное для нас в сфере познания Писания.

Ему не так просто жилось. Потому что была и бедность, были и трудности. Но он не уступал. Он создал журнал «Путь», который издавался с 1920-х годов до самой войны. Это не журнал, это сокровище мысли! Шестьдесят номеров его составляют действительно богатство, наследие, которое мы сегодня принимаем, и дай Бог, чтобы это дошло до наших потомков.

Он собрал, сгруппировал вокруг себя представителей христианской мысли. Там участвовали и Франк, и Булгаков, и Николай Лосский и Борис Вышеславцев, замечательный мыслитель, очень мало сейчас известный, умерший в 1964 году, и многие представители

свободной философской мысли, протестанты, католики, но в основном православные.

Любопытно, что коренные моменты истории Бердяев переживал в обстановке войны личной. Что произошло в 1917 году? — Он должен был попасть в тюрьму, его спасла Февральская революция. Что с ним произошло в канун второй мировой войны? — Его все гнали и проклинали. Первый раз, в 1917 году он вступился за монаха Афонского монастыря, которого Синод преследовал. Николай Александрович написал статью «Гасители духа», за которую его привлекли к уголовной ответственности. А перед второй мировой войной началась травля его ближайшего друга, профессора Парижского Богословского Института — Георгия Петровича Федотова. За что его травили? — За активность. Мы с вами отдельно потом будем говорить о Федотове.

Федотов позволял себе давать объективные оценки — советской политике, Сталину, очень взвешенно, очень продуманно. И его сочли за красного (или «розового», как тогда говорили), хотя это было совершенно неверно. В конце концов его вытеснили, выгнали, можно сказать, из Богословского Института, причем многие сотрудники, профессора, зная, что он ни в чем не виновен, труслили и подписали определение. Это был тяжелый мучительный момент. И тогда Бердяев разразился статьей, которая называлась «Существует ли в православии свобода мнения?» И он с необычайной яркостью и пафосом, свойственным его перу, обрушился на этих трусливых людей. Сам он был бесстрашным.

В 1937 году он написал книгу «История и смысл русского коммунизма». Эта книга дает достаточно глубокий анализ ситуации. Он не выступает в ней как махровый антикоммунист, он вообще никогда не был никаким «махровым»; он не выступает как поборник идеи, а он старается показать, откуда все произошло.

Бердяев был непримирим ко всякой диктатуре, и конечно, нацистской, франкистской, сталинской, и когда немцы заняли Париж, он, как тогда уже очень известная фигура, сделал все, чтобы показать людям, насколько для него неприемлема эта нацистская власть. Он много писал против нацистской идеологии, выступая открыто и резко. Его собирались арестовать, но нашлись люди, даже в гестапо, которые знали его известность и не решились. Он тщательно следил за

сводками с фронта. Душой он был вместе с Красной Армией, вместе с Россией, всегда желал ей только победы, несмотря ни на что.

Когда кончилась война, у него уже возникла мысль, а не вернуться ли домой. Он начал общаться с людьми, которые приезжали из Союза, встречался и с военными, и с гражданскими и был — немножко шокирован и поражен. «Оказывается, у них еще материализм, — говорил он шутя, — а я думал, что все это уже отброшено во дни моей юности». Он говорил: «Да неужели они революционеры? — Теперь такие все вельможные, с погонами». Эти встречи для него были интересны, в чем-то трагичны. Он не смог вернуться, может быть, и не решился: все-таки он был уже пожилой человек. Но он работал до конца и умер за письменным столом.

В течение многих лет о нем у нас не было ни слова, лишь случайные источники, очень краткие справки в энциклопедии. Потом появилась одна критическая работа, и вот сейчас наступает новая полоса. Я, можно сказать, завидую каждому из вас, кто сейчас будет читать Николая Александровича. Это глубокое наслаждение для мысли и для сердца, когда проникаешь в мир этого свободного, этого прекрасного, возвышенного мышления, в мир этого человека, философия которого о личности, о творчестве, о свободе несет на себе печать несравненного благородства.

Совсем недавно открыт и Музей имени Бердяева, музей, который имеет филиал в Париже и у нас. Пока он, конечно, почти только на бумаге, но сам факт отраден и потрясающ. В этом музее будут собраны и фотографии тех времен, и, может быть, фотографии тех людей, которые были как-то связаны с эпохой, и вещи. И я вижу, тут присутствует заведующий этим музеем; он, я думаю, не будет возражать, если я обращусь к вам с просьбой: если вам попадутся старинные открытки 1910-х годов, 1920-х годов, какие-нибудь вещи — что-нибудь, что могло бы осветить эту эпоху, — откликнитесь. Музей начинает с нуля. Парижский филиал будет основан, я надеюсь, в той комнате (она пустует сейчас), где Николай Александрович скончался.

Его книга «Самопознание» выходила дважды: сначала в парижском издательстве, а потом вышла в качестве первого тома парижского собрания сочинений. Это собрание сочинений пока еще имеет только три тома. Но готовится уже и советское издание этой

замечательной книги, где личность, образ, трагичность этого одинокого, прекрасного, борющегося и такого обаятельного человека даны во весь рост. Издание делается впервые по оригинальному тексту, ибо архив Бердяева сейчас в значительной своей части перевезен в Москву.

Сегодня я вам дал только некоторые намеки, наброски, путеводные огоньки, которые вас могут привести к познанию творчества этого великого писателя, мыслителя, критика.

А в заключение я хочу привести вам несколько его афоризмов, чтобы вы почувствовали, как он привык выражать свои мысли:

«Власть это есть — (он говорит о настоящей власти) — обязанность, а не право»; «Вера и знание — одно», то есть обладание полнотой реального бытия (он часто говорил парадоксами); «Критерий истины в духе есть само явление духа»; «Евангелие есть учение о Христе, а не учение Христа». «Толстой не знал Христа, он знал лишь учение Христа»; «Любовь есть разделение жизни в Боге»; «Причиной зла является не осуществленное добро»; «Не только злоба против добра, но и злоба против зла разрушает духовный мир человека»; «Существование зла есть доказательство бытия Божия, доказательство того, что этот мир не есть единственный и окончательный»; «Необходимость есть падшая свобода». «Нравственное сознание началось с Божьего вопроса «Каин, где брат твой Авель?», а кончается оно Божьим вопросом «Авель, где брат твой Каин?» — (Я не комментирую, я хочу, чтобы вы сами почувствовали смысл этих высказываний.); «Не религия должна быть моралистична, а мораль религиозна»; «Религия есть отношение к Божеству греховного человечества»; «Свобода есть свобода не только от господ, но и от рабов»; «Существует не одна, а две свободы: первая и последняя — свобода избрания добра и зла и свобода в добре»; «Самодержавие народа — самое страшное самодержавие, ибо воля одного и воля немногих не может так далеко притязания, как воля всех»; «Не человек требует от Бога свободы, а Бог требует ее от человека»; «Бытие рождается от свободы, а не свобода от бытия».

Что такое совесть по Бердяеву? — «Это воспоминание о Боге»; «Совесть есть глубина личности, где человек соприкасается с Богом». Что такое смирение по Бердяеву? «Смирение есть раскрытие души для реальности»; «Считать себя самым страшным грешником — такое же

самоуверенность, как и считать себя святым»; «Смирение есть не уничтожение человеческой воли, а просветление и свободное подчинение ее истине»; «Социализм есть последняя правда и последняя справедливость буржуазии»(парадокс!); «Страдание есть последствие греха и искупление греха»; «Смысл Голгофы не в обоготворении страдания, а в победе над смертью и страданием».

Таков Николай Александрович Бердяев. Я хотел, чтобы вы почувствовали его душу и его стиль. Книжки вы будете еще читать. Но мы можем считать сегодня праздником всей нашей культуры, что этот человек возвращается к нам. Мне просто повезло в жизни, что я его мог читать с юных лет, но тогда это действительно была случайность. Сейчас он встает перед нами во весь свой рост.

ОТЕЦ СЕРГИЙ БУЛГАКОВ

Это происходило на рубеже XIX и XX веков. По залам Дрезденской галереи, как всегда, сновали туристы, перед картинами стояли более внимательные и углубленные созерцатели. И среди них был молодой человек, в сюртуке, темная бородка клинышком, огромный лоб, нахмуренные брови, — он подходил, внимательно вглядываясь в Сикстинскую Мадонну, отходил и как замороженный опять подходил к ней. И было видно, что с ним происходит нечто необычайное, что это не искусствовед, не эстет, не просто ценитель искусства, а человек, который переживает созерцание этой картины как встречу, как подлинную, глубокую, внутреннюю встречу.

Этот человек не был ни мистиком, ни визионером — он был социал-демократом, он был политэкономом, он был русским марксистом легального толка. И приехал он в Германию вовсе не для того, чтобы созерцать образ девы Марии, а для того, чтобы учиться у других социал-демократов, чтобы обсуждать с Карлом Каутским проблемы экономического развития мира, классовой борьбы, соотношения рынков при капиталистическом производстве. И вдруг что-то схватило его и остановило... Можно сказать, что с этого мгновения начался его поворот к детству.

Каждый человек в какой-то степени, является не только порождением самого детства, но и все лучшее, все драгоценное, все священное, все те искорки, которые есть в детстве у большинства из нас, — и есть та духовная родина, к которой мы стремимся. Правда, человек уже умудрен опытом, изранен жизнью, но все-таки к этому первозданному опыту идет душа. И так происходило с этим человеком, которого звали Сергеем Николаевичем Булгаков.

Вероятно, многие из вас слышали это имя. Сейчас появляются первые публикации в журналах, страну уже облетела репродукция со знаменитой картины Нестерова «Философы».

Один из них, человек молодой, в белой рясе, с посохом — это отец Павел Флоренский, а второй — ученый, опутивший голову, наполненный борющимися в нем идеями, — это и есть Булгаков, Сергей Николаевич.

Двадцать восемь томов произведений. Сотни и сотни статей! Всего его творения охватывают двадцать тысяч печатных страниц. Он переведен почти на все европейские языки. Свыше тысячи страниц занимают только переводы Булгакова на европейские языки. Экономист, историк, эссеист, литературный критик, философ, богослов, комментатор Библии, человек необыкновенно разносторонний, и наконец, священник, профессор Парижской Духовной Академии, — вот таков Сергей Николаевич Булгаков. Человек, родившийся на исходе XIX века и скончавшийся на исходе второй мировой войны. Столетие его рождения в 1974 году у нас никак не отмечалось. Будем надеяться, что следующее поколение лучше сумеет оценить по достоинству этого человека. Я хотел бы помочь вам представить себе эту удивительную фигуру.

Булгаков родился на Орловщине, в семье потомственного провинциального священника. Огромный род Булгаковых, происходивший от каких-то татарских князей, был широко расселен по России. Среди Булгаковых были и многие церковные писатели, историки, богословы, среди них — отец знаменитого писателя Михаила Булгакова, Афанасий Булгаков. Знаменитый митрополит Молсковский прошлого века, Макарий, тоже из рода Булгаковых. Но Сергей Николаевич родился в семье бедного священника, в семье, где было трудно жить, они мучительно перебивались. Семья была большая, и к тому же, как сам Сергей Николаевич вспоминал, удрученный бедностью отец частенько пил... Мальчик тем не менее сохранил какие-то органические, сердечные, бытийственные, трогательные воспоминания об этой среде. Друзья про него потом говорили шутя, что он родился в епитрахили, то есть родился священником. И он сам говорил о себе, что «во мне течет левитская кровь» (левиты — по Библии наследственный, потомственный род, служивший у алтаря).

Он поступает в семинарию, духовное училище. Очень быстро удивительные способности продвигают его вперед. Но там же, в орловской семинарии, с ним происходит... крушение.

Начало 1880-х годов. Студенты читают Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Очень живо обсуждают атеизм как весьма правдоподобную гипотезу. Все готовы служить народу, служить Богу — для них пустое слово. В конце концов, у Булгакова, человека

необыкновенной искренности, ранимости, я бы сказал, чувствительности, религиозное сознание превращается в пыль, остается только нравственное сознание. Для него старина, быт, бурса, богословие — все это сливается воедино. И он видит... правду: консервативные силы, включая церковные, держат народ в состоянии стагнации, неподвижности. И если мы сейчас идеализируем прошлое, то люди XIX века тоже идеализировали народ, крестьянскую общину; жизнь в маленьких городах, в селах России все-таки была тяжелой. Тяжкой!

Вспомните то, что вы читали у Островского, у Чехова, — ведь недаром Добролюбов называл это «темным царством», он сам был из священнической среды. Да, идейные, духовные катастрофы нашего столетия были подготовлены тяжелыми негативными процессами прошлого, которое теперь мы называем застойным, — это очень подходящее слово для того времени. И движение вперед, к лучшей доле, лучшей жизни, связывалось у молодого Сергея Булгакова с освобождением людей от этой затхлой, несправедливой жизни.

Как сын священника, он не имел права поступать в университет — тогда тоже была дискриминация. Но законы изменились, он поступает в университет. Куда же он поступает? — Конечно, на юридический, конечно, он хочет заниматься политэкономией. Почему? Потому что он сталкивается с идеей народников о том, что есть возможность преобразить хозяйственную жизнь народа, а следовательно, сделать ее более счастливой. Но как ее преобразовать? Здесь ему светит марксизм. Что привлекло студента Сергея Булгакова в марксизме? — Притязания этого учения на то, что оно открыло и знает точно закономерности развития общества; более того, знает те закономерности, которые ведут общество к прогрессу и процветанию. Не хаос в мире, не столкновение случайных сил, а некоторые объективные законы, которые якобы открыты Марксом.

Булгаков, человек необычайной работоспособности, углубляется в «Капитал». Ему кажется, что в этой огромной книге эти законы как раз и найдены. И по окончании университета посвящает себя целиком политэкономии в марксистском плане. Это был легальный марксизм, который не связывал себя с работой в сфере политической оппозиции. Это была научная попытка понять развитие, как марксисты говорили, «экономического базиса» общества.

Он защищает диссертацию, довольно крупную работу о рынках при капиталистическом производстве, он преподает в коммерческом училище, потом он читает лекции в университете. Следующая его диссертация «Капитализм и земледелие»(он уже глубоко проник в марксистскую литературу) была попыткой разобраться в тех очевидных противоречиях, которые возникли между аграрными проблемами и решением их в марксизме. И пытаясь доказать правоту марксизма, он все больше и больше убеждался в надуманности, отвлеченности, схематичности его концепций.

Булгаков не был фанатиком политических мифов, он не был верующим марксистом (вы понимаете, что я имею в виду) — он был ученым! И когда он последовательно и настойчиво проанализировал все, он понял, что здесь больше мифа, чем подлинной науки. И в процессе этих исканий он начинает обращаться к литературе, к проблемам вечности. Он пишет работу «Душевная драма Герцена» — о пути Герцена, который ведет в никуда.

Булгаков пишет небольшую, но глубокую работу «Иван Карамозов как философский тип» и ставит проблему страдания невинных — как может быть эта тайна понята. И в этот период он чувствует, что его зовет кто-то. Мы бы сказали, зовет его детство, зовет тайна его жизни, которая скрылась от него в момент увлечения экономическими теориями.

Я не могу удержаться, чтобы не зачитать вам несколько строк из его дневника, из его воспоминаний. «Мне шел двадцать четвертый год. Но уже почти десять лет в душе моей подорвана была вера, и после бурных кризисов, сомнений в ней воцарилась религиозная пустота. Душа стала забывать религиозную тревогу. Погасала самая возможность сомнений, и от светлого детства остались лишь поэтические грезы, нежная дымка воспоминаний, всегда готовая растаять. О, страшен этот сон души! Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлости. В ней воцарялись какие-то серые сумерки, по мере того как все потухал свет детства. И тогда неожиданно пришло то. Зазвучали в душе таинственные зовы и ринулась она к ним навстречу...»

В это время он поехал на Кавказ: «Вечерело. Ехали южной степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные

багрянцем благостного заката, вдали синели уже ближние Кавказские горы. Впервые видел я их. И вперя жадные взоры в открывавшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупою, молчаливою болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покровом красоты, как под обманчивой маской; помимо собственного сознания она не мирилась с природой без Бога. И вдруг, в тот час, заволновалась, зарадовалась, задрожала душа. А если есть, если не пустыня, не ложь, Не маска Не смерть, — но Он, благой и любящий Отец, Его ризы, Его любовь. Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам...

Вскоре опять «то» заговорило, но уже громко, победно и властно. И снова Вы, о горы Кавказа! Я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, алеющие под утренней зарей, в небо вонзались эти пики, и душа моя истаевала от восторга. И то, что на миг лишь блеснуло, чтобы тотчас погаснуть в этот степной вечер, теперь звучало и пело, сливаясь в торжественном дивном хорале. Передо мной горел первый день мироздания. Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости».

Вот такие мгновения глубинного опыта постепенно ломали в его душе те баррикады из мусора, которые сложила материалистическая концепция. И в самом начале века выходит сборник его статей, который уже называется «От марксизма к идеализму». В нем Булгаков показывает, что кроме экономических, хозяйственных проблем существуют совершенно отличные от них — проблемы духовные. Их нельзя пренебрежительно назвать надстройкой, потому что они и составляют суть и ядро нашей жизни. И если в этой сфере не происходит глобальных изменений, никакие хозяйственные перемены не могут помочь. Без возрождения духа, возрождение социальное и хозяйственное невозможно.

В 1911 году выходит его книга «Два града». С моей точки зрения, это самая лучшая из его довоенных дореволюционных книг. В этой книге собраны работы поразительной силы. «Карл Маркс как религиозный тип». Булгаков показывает ту внутреннюю направленность, ту волевую интенцию, тот аффективный стратегический элемент, который был скрыт в психологии основателя марксизма, то, что лишь как бы камуфлировалось наукообразностью,

объективностью, диалектическим методом. Он показал страсть этого великого человека, страсть титаническую! Титанизм — это восстание против высших ценностей, когда человек только себя хочет признать богом.

Там есть замечательная работа о значении духовной личности для культуры, о значении христианства для истории, развития и возрождения культуры. Великолепная работа, которая не утратила своей свежести и сегодня, — о первохристианстве. Она показывает: когда христианство вошло в мир, вошла новая сила, но не экономическая, не политическая, не социальная, а сила Духа! И Булгаков справедливо утверждает, что в сфере духовной культуры изменения происходят внутри, и они часто подчиняют себе окружающий мир. Они меняют облик человечества, вокруг них происходят все главные бои.

В работе «Апокалиптика и социализм» Булгаков показывает, что наука не знает концепции светлого будущего. Не знает. Наука не может утверждать достоверно, что общество и мир развиваются в положительную сторону. Более того, исторический опыт показывает, что человечество без конца вращалось по кругу: от демократии — к тирании, от тирании — к олигархии, потом опять к деспотии, потом опять — к демократии. Не было поступательного развития общества от менее справедливого порядка к более справедливому. Тот, кто думает так (кстати, нас так и учили в детстве, в школах), нисколько не считается с реальными историческими фактами.

Далее он показывает, что вера в прогресс, заложенная во всех видах социализма (не только марксистского, но любого), является не наукой, а верой, вероучением. Ибо христианство, в отличие от всех религиозных учений, открывает миру впервые тайну о том, что воля Творца ведет мироздание (и венец мироздания — человека) к совершенству! Ведет к высшей жизни, ведет к тому, что в Библии называется Царством Божиим! Но это — Откровение, это не экономика, и не политика, и не философия в отвлеченном смысле слова. И когда вера в прогресс, которая вошла в нашу плоть и кровь, пытается утверждать, что она научна, — это заблуждение, самообман. На самом деле учение о светлом будущем есть светский вариант христианского учения — эсхатологии.

Библия говорит о том, что Бог ведет мир к свету, — наука этого не знает. и социальные утопии, которые возникли со времен Томаса Мора, Кампанеллы, Оуэна, Фурье и других, — все невольно, контрабандой, так сказать, утаскивали из христианства идею совершенствования мира и эту идею помещали совсем в другой контекст.

Эта тема достаточно актуальна и сегодня. Не только для нашей страны. Мысль о том, что человечество обязательно движется в лучшую сторону, из христианства действительно похищена самыми различными концепциями прогресса. Еще французский писатель Кондорсе, погибший от террора во время революции, развил это в целую стройную теорию — что мир движется обязательно в положительную сторону, от варварства к Просвещению и цивилизации. Наступил и XVIII век, и просвещение, — и Кондорсе, как и многие другие, попал под гильотину...

Все это крайне спорно. Недаром Сталин говорил: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Он эксплуатировал нашу надежду, что жизнь должна стать лучше. Люди, встречавшие XX век, говорили: вот, грядет столетие науки, столетие прогресса! Кто мог тогда предвидеть, что это будет век геноцида, ядерных войн, бесчеловечного разгула беззакония по всей земле! Эта проблема, безусловно, связана с развитием духовной культуры. Потому что никакая история не может нам доказать, что автоматически все движется в положительную сторону. Этому вопросу посвящено очень серьезное исследование Булгакова, написанное, кстати сказать, достаточно доступно, легко, для интересующихся он приводит библиографию.

Далее, в статье «Героизм и подвижничество. Из размышлений о религиозном периоде русской интеллигенции» Булгаков анализирует трагедию русской интеллигенции. Утративши религиозную основу, веру, она сохранила стремление к добру, к служению народу. Вот этот раскол между верой и жизнью создал трагедию. «Героизм и подвижничество» — статья, которая у нас сейчас была перепечатана в нескольких изданиях, впервые вышла в сборнике «Вехи». Я думаю, вы все слышали об этом сборнике. Он появился в 1909 году и обозначил действительно важнейшую веху в духовном и философском развитии России. Булгаков и его друзья Бердяев, Франк и другие написали книгу—предостережение, они сказали, что только духовное

возрождение может привести страну на другие рельсы. Внешние переломы ничего не дадут.

Путь Булгакова продолжался. Он историк и экономист, все больше увлекает его философия. В 1912 году выходит его книга «Философия хозяйства». По названию можно подумать, что это экономическая книга. Но нет, это книга созерцателя, мудреца и философа. Это одна из интереснейших книг (не закончена, правда, вышел только 1-й том. Он получает за нее докторскую степень). Хозяйство, объясняет Булгаков, — это великое творческое предназначение человека. Когда в Библии мы читаем, что сотворил Бог человека по образу Своему и подобию, и да владычествует он над живыми существами, — человек объявляется хозяином. Хозяин — это не тиран, не диктатор, а это существо, внедренное в мироздание, для того чтобы его очеловечивать.

Булгаков первым вносит этот термин — «очеловечивание». Потом, спустя несколько лет, этот термин употребляет Тейяр де Шарден: гоминизация, очеловечивание природы, одухотворение природы! Здесь у Булгакова уже впервые появляется идея духовного ядра мира, он называл это Премудростью Божией или по-гречески Софией.

В то время он познакомился с Бердяевым. Они настолько подружились, что друзья в шутку их называли братьями Диоскурами, близнецами, или Бергаковым и Бурдяевым, — вот так они всегда фигурировали вместе, хотя темперамент, и многое у них отличались.

В это время в Москве, недалеко от Волхонки, был салон миллионерши Маргариты Морозовой. Эта умная прекрасная женщина была влюблена в князя Евгения Трубецкого, тоже чудесного человека, мыслителя, писателя, искусствоведа и философа. И любовь толкнула ее на большой жертвенный шаг: она на свои средства создала издательство и финансировала религиозно-философские собрания. В ее богатом доме и собирались Булгаков, Бердяев, Франк, Мережковский — приезжали из Петербурга и многие другие мыслители, и было создано издательство «Путь», просуществовавшее до 1916 года.

Первые книги были изданы перед первой мировой войной. Это были и классические произведения русской философии, там впервые был напечатан полностью «Столп и утверждение истины» Флоренского. Там впервые были напечатаны: полное (по тогдашнему

времени) собрание сочинений Чаадаева под редакцией Гершензона, книга Бердяева «Философия свободы», которая сейчас наконец вышла и у нас. Это блестящая книга юного еще мыслителя (Бердяеву тогда было около тридцати лет), и многое другое. В этом издательстве трудился Булгаков, в «Пути» вышли его «Философия хозяйства» и «Два града», и целый ряд других его работ, в частности, предисловие (очень важное предисловие) к книге Игнатия Зайпеля, католического австрийского ученого, «Хозяйственно–этические взгляды Отцов Церкви». Эта ставшая отныне классической книга является хрестоматией, антологией всех высказываний Отцов Церкви, в подлиннике и в переводе, по вопросам труда, собственности, богатства, бедности и так далее; книга, которая сейчас является настольной для всех, кто занимается этими вопросами.

Когда Булгаков читал лекции в Университете, в Коммерческом институте (на Большой Серпуховской улице), он написал очерк «История экономического учения». Любопытно, что начал он с библейских пророков, с апокалиптиков, с Ветхого Завета. Он показал, что в Библии уже содержатся первые основания для преобразования общества. Но основания эти были крепчайшим образом связаны с духовными аспектами бытия.

И наконец, перед самой революцией была кончена рубежная книга Булгакова «Свет невечерний». Рубеж проходит по самой книге. Первую половину пишет философ, ученый, он ставит вопрос по-кантовски: как возможна религия, как возможно познание высших миров? «На что мы можем надеяться?» — как говорил Кант. Вторая половина — это уже другой Булгаков, Булгаков — созерцатель тайн, который сам творит, не думает о ком-то, о чьих-то древних или новых мыслях, а сам творит свое мышление.

В это время он уже является активным церковным деятелем. На Всероссийском Церковном Соборе, который был открыт в 1917 году в Кремле, он являлся секретарем, составлял важнейшие документы. Собор не мог состояться до революции, поскольку старое правительство и обер-прокуроры его препятствовали ему, и поэтому в течение многих поколений Соборы не собирались. И вот в 1917 году, после падения самодержавия, Временное правительство разрешает открыть Собор. На нем избирают Патриарха Тихона, ныне причисленного к лику святых. Он высоко ценит Сергея Николаевича

Булгакова, и когда тот обращается к нему с просьбой о рукоположении в священный сан, святитель отвечает: «Сергей Николаевич, Вы нам в сюртуке больше нужны». Он имел в виду, что общественная, политическая, научная, публицистическая, философская деятельность Булгакова была для Патриарха очень важна. Но! Сергей Николаевич продолжал настаивать, и вскоре, уже в самые революционные дни, совершается рукоположение Булгакова.

По поручению святителя Тихона его рукополагает епископ Федор, и Булгаков описывает, как он впервые шел, окрыленный, что стал священником. Это было как будто возвращением к его исконному призванию, к его собственной природе.

Но события развиваются бурно, становятся все более и более трагическими. Булгаков с семьей (у него жена, дети, один мальчик умер в раннем возрасте; Булгаков это очень тяжело переживал эту смерть, нашел утешение в Оптиной пустыне, куда он потом любил ездить), уезжает в Крым. Там он пишет философскую драму «На пиру богов», собирает вокруг себя разных людей. Они все обсуждают судьбу России. «На пиру богов» — это реминисценция из стихотворения Тютчева:

«Блажен, кто посетил сей мир,

В его минуты роковые:

Его призвали все благие,

Как собеседника на пир».

Боги призвали его на пир, посмотреть, что в мире происходит. В конце концов, ему приходится покинуть Россию и вместе с эмигрантами отправиться в Константинополь. Та же самая судьба, которая вам всем знакома по прекрасной картине «Бег», созданной по мотивам книги другого Булгакова. Сергей Николаевич в Константинополе. Страданий много, сын остался в России; он не знает, что с ним случилось. Сын так и остался тут, он женился на дочери Михаила Васильевича Нестерова, знаменитого художника, и прожил еще долго, хотя жизнь его была, естественно, не простая. Нестеров и написал Булгакова в Сергиевом Посаде, где он часто бывал.

Потом — глубокий церковный кризис сердца! Первое: русское церковное руководство не справилось с революционной ситуацией, все упустило из рук. Он приезжает в Константинополь, находит греческое

церковное руководство, оно совершенно коррумпировано, оно совершенно равнодушно, оно являет картину полной деградации! И в тайных строках дневника Булгаков пишет, что Восток гибнет, единственная сила в Церкви остается только на Западе. Он на грани того, чтобы войти в католическую юрисдикцию. В конце концов, побеждает его вера в Церковь: нет, Церковь в катастрофе, в кризисе, но на Востоке она все-таки не погибнет. С этой верой он и отправляется в путь в Западную Европу.

Сначала он в Берлине, потом в Париже. В Париже в это время митрополит Евлогий, возглавлявший эмиграцию, не хотел примыкать ни к правым — монархистам, ни к просоветским группировкам, хотел сохранить нейтральную линию, вошел в подчинение Константинопольскому Патриарху. Вот эта церковная евлогианская группировка и основала Свято-Сергиевский институт в Париже. Там Булгаков служит в церкви, преподает, ведет кафедру догматического богословия, там он создает свои грандиозные произведения, уже в сфере богословской.

Художественное чутье толкает его на эстетический путь. Его огромные книги, написанные за рубежом, это как бы своего рода иконостас. В центре трилогия о богочеловечестве, три огромных тома «Агнец Божий», «Утешитель» (О Духе Божьем), «Невеста Агнца» (О Церкви). Сбоку — книга об ангелах, личная, таинственная книга, «Лестница Иакова». С другой стороны, как на иконостасе, книга о почитании Иоанна Крестителя — «Друг Жениха», о почитании Девы Марии — «Купина Неопалимая», об апостолах — «Петр и Иоанн первоверховные апостолы», книга об иконописи. Не оставляет он и философии, тогда же им написана трагедия философии — «Философия имени». Уже посмертно были опубликованы его комментарии к «Апокалипсису» Иоанна. У него было 80 записанных проповедей, большая часть теперь уже издана посмертно.

Булгаков был человеком, впервые пробившим окно в диалоге между христианами. Когда начались первые конференции, конгрессы Всемирного Совета Церквей, Булгаков представлял там Православную Церковь. Я читал его дневники: как он волновался, когда шел на эти первые контакты, к которым мы теперь более или менее привыкли. Он свидетельствовал о ценностях и духовных традициях православия — в Лозанне и в других городах, где собирались эти конференции. Один из

его учеников рассказывает, как он увидел дух Булгакова, как бы почувствовал его в странный вечер: он шел по Парижу, около Сакре-Кер, шум, толпа, — и вдруг он увидел идущего в рясе священника, по-видимому, из России, с длинными волосами (Булгаков в память о старинном обычае своих предков не стриг коротко волосы); он шел, ничего не замечая кругом, от всего отрешенный, углубленный в себя, и вот этот человек вдруг почувствовал, ощутил смятенный дух отца Сергия...

У него было много учеников. Мне посчастливилось знать многих из них, людей, которые рассказывали о его необыкновенной теплоте, душевности, мудрости, необыкновенной эрудиции. Он, в частности, собирал у себя дома семинары для обсуждения важнейших церковных и богословских вопросов. К нему можно было прийти каждому, он не был профессором-начетчиком; проблемы, которые он трактовал, были проблемами, волновавшими его полно, до конца, до глубины души! — Это была его жизнь.

В 1930-е годы разыгрывается трагедия. Дело в том, что правые, монархисты (церковные), отклонившиеся от нашей Церкви, считавшие, что Русская Православная Церковь в России — это все одни ... энкавэдисты, — ненавидели Булгакова, потому что он не примкнул к их лагерю. Что касается просоветских группировок, они тоже относились к нему отрицательно, по той же причине — он не принимал их (хотя политика его уже в то время особенно не волновала). И вот они начинают догматический подкоп под него, чтобы обвинить его в ереси, чтобы превратить его в создателя лжеучения. Такой ум гигантский, безусловно, поднимал массу спорных вопросов! Он был уязвим! Уязвим, как каждый большой человек... Неуязвим только глупец, который говорит азбучные истины: дважды два четыре — как тут можно быть уязвимым? А тот, кто поднимает проблемы, конечно уязвим! И таковым был Булгаков.

И вот на него обрушивается поток критики. Карловацкий зарубежный монархист пишет толстый том о софиологии Булгакова (Софии — Премудрости Божией). Действительно, я не могу сейчас вам рассказывать, в чем смысл этого учения, потому что я сам чужд его, далек от этого учения, я никогда его не принимал, но я сознаю, что эта концепция имеет место как богословское мнение.

Так вот, карловчане Булгакова топтали и обвиняли в ереси. Московская Патриархия тогда находилась под обстрелом сталинских репрессий, но и она, находясь в таком мученическом состоянии, успела издать против Булгакова документ. Это было накануне 1937 года. Даже парижский богослов Владимир Лосский, искренний, тогда еще молодой человек, который всегда был верен нашей Московской Патриархии, он включился в эту полемику и написал, я бы сказал, такую избобличительную книгу о софиологии Булгакова. Лосский потом сам стыдился этой книги, потому что это было одностороннее, несправедливое, ожесточенное, агрессивное нападение на человека, который отнюдь не высказывал новых догматов, а который мыслил вслух. С ним можно было не соглашаться, но топтать его как еретика, было несправедливо.

В настоящее время, к счастью, отношение к Булгакову изменилось, и у нас в «Богословских трудах» впервые напечатана его биография, довольно подробная, с библиографией его трудов (кстати, за рубежом она составляет целый том). Там, правда, указано, что его мнения о Софии — Премудрости Божией вызвали критику, но на этом акцент сегодня не ставится.

Все-таки я скажу два слова, в чем там дело. Булгаков считал, что творение мира должно было иметь в своем основании некое духовное начало: Бог создал Душу Мира (ну, назовем это так). Эта Душа Мира очень тесно связана с самим божественным началом, она как бы мысль Божия, пронизывающая творение (я очень упрощенно излагаю). Но это иногда можно было понять так, что между миром и Богом нет пропасти, что Абсолют и тварное как-то плавно переходят друг в друга. Получалось, что творение — не акт, чудо, когда из Небытия рождается Бытие, — а из мысли, которая находится в Боге, из Небесной Софии — Премудрости Божьей рождается духовная основа мира, а из нее — мир. То есть мир более связан с Богом, чем всегда считало христианское богословие. Здесь было много соблазнов: например, уклон в пантеизм. Но Булгаков никогда не выдвигал это как догмат, это было только богословское мнение. Богословские мнения допускаются в Церкви и всегда допускались, если они не претендуют на абсолютную истину.

В последние свои годы Булгаков был болен раком горла, ему сделали операцию, и он не мог уже читать лекции и служить. Только

близкие понимали его шепот. Но он продолжал работать, непрерывно, много работать! До сих пор издаются его неопубликованные произведения.

Впечатление, которое оставила эта личность в людях, его знавших, неизгладимо. И мне рассказывал человек, который присутствовал при его смерти, что это была не смерть, а — преобразование. Именно так и говорил о себе Сергей Николаевич: «Я не умру, а преобразусь». В течение нескольких часов от лица его шел необыкновенный свет, и все это видели. Это была не агония, а вознесение духа... Он как бы переходил, он созерцал те миры, в которых всегда внутренне жил... И в этом созерцании он перешел грань, отделяющую этот мир от того мира...

Многие десятилетия после смерти имя его у нас не упоминалось. В философском словаре, вышедшем в 1952–1953 году, вы не найдете имени Булгакова. Впервые оно появляется лишь в философской энциклопедии 1960–х годов — краткая справка. И вот сейчас совершается его возвращение к нам. Правда, возвращение более медленно, чем возвращение Владимира Соловьева, Николая Бердяева и других философов. Потому что Булгаков во второй половине своей жизни больше уделял внимания проблемам собственно богословским, а не философским. Поэтому издание его трудов, вероятно, должно быть делом церковных академических инстанций и учреждений. Но, так или иначе, заговор молчания кончился, так или иначе, эта величественная, светлая фигура кроткого, мудрого, просветленного человека, человека гигантского ума, огромной веры, человека, жизнь которого была исканием, и не только исканием, но и обретением, полнотой обретения, — сегодня он снова с нами.

Многие относятся к нему, как к святому. Я бережно храню, как реликвию, некоторые предметы, которые лежали у него на столе, которыми он пользовался, и мне кажется, что духовное возрождение сегодняшнего времени происходит не только под влиянием трудов, которые он и его сподвижники оставили нам, но и под непосредственным влиянием его личности. Ибо такова привилегия великих душ — уходя из этого мира, продолжать воздействовать на него, продолжать участвовать в становлении Царства Божьего на земле.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ

Итак, Павел Флоренский. Подробно, в деталях рассказать о литературной, научной и философской работе такого человека едва ли возможно за десять встреч, а тем более — за одну. Но задача моя будет проста. Как и в предыдущие разы, я хотел бы, чтобы вы почувствовали, увидели образ этого человека, стиль его мышления, могли бы окинуть взором его творческий и жизненный путь.

Это фигура особая, особая — по своей судьбе. Потому что большинство из русских религиозных мыслителей, о которых мы с вами говорили, было изгнано или добровольно покинуло отечество, и судьба их была связана с русской эмиграцией. Флоренский был один из немногих, кто остался здесь. Более того, Флоренский — это человек, которого никак нельзя однозначно охарактеризовать. Инженер? — да, тридцать патентов на изобретения в советское время. Философ? — да, один из ярчайших интерпретаторов платонизма, один из ярчайших русских платоников. Поэт? — да, может быть, не крупный, но все-таки создавший стихотворения и выпустивший книгу стихов, друг Андрея Белого, росший в атмосфере символистов. Математик? — да, ученик знаменитого профессора Бугаева (отца Андрея Белого), создавший очень интересные концепции в этой области; человек, который одновременно со знаменитым теперь петроградским ученым Александром Фридманом, параллельно с ним, независимо пришел к идее искривленного пространства. Фридман — отец теории расширяющейся вселенной, которую он построил на основании уравнений Эйнштейна. И Флоренский очень близко подошел к этой теории точно в то же время в 1922 году, работая совершенно в другой части страны.

Мысль Флоренского простиралась на историю искусства, что было, можно сказать, его второй профессией (или третьей, или десятой). Флоренский был утонченным богословом. Эрудитом. Протоиерей Василий Зеньковский, автор монументальной «Истории русской философии», говорит о его давящей учености. Люди, которые знали Флоренского, рассказывали мне, что можно было получить от

него обстоятельный ответ практически на любой вопрос в самых различных областях гуманитарных и технических наук.

Флоренский — историк, хотя историческая тема мало присутствует в его произведениях, но он историк–археолог, он автор многочисленных небольших монографий, статей по исследованию древнерусского, средневекового творчества, иконописи, мелкой пластики. Работает неутомимо. Человек, которого уважал и ценил Вернадский. Они шли в одном русле научных исследований.

К сожалению, не все еще опубликовано из произведений Флоренского. Но сегодня можно сказать, что эта фигура, хотя и вызывавшая и вызывающая сегодня споры, безусловно, огромного масштаба. А споры вызывали все — и Пушкин, и Леонардо да Винчи... Тот, о ком не спорят, никому не интересен.

Флоренский связан с Московским университетом, с планами и с институтами по электрификации страны; Флоренский — преподаватель Московской Духовной Академии, профессор истории философии; одновременно он редактор журнала «Богословский вестник». Многосторонность его интересов возникла еще в детстве. И его называли русский Леонардо да Винчи. Но когда мы говорим «Леонардо да Винчи», нам представляется величественный старец, как бы взирающий с высоты своих лет на человечество. Флоренский умер молодым. Он исчез. Арестованный в 1933 году, он исчез, и родные (жена и дети) не знали, где он и что с ним, очень долго не знали, поскольку в 1937 году его лишили права переписки. И я помню, когда мы с матерью шли по Загорску во время войны, она здоровается с женой Флоренского и говорит: «Вот эта женщина несет огромный крест». И объяснила мне, что она не знает, что с ее мужем (отец мой в это время тоже только что освободился из заключения, и я, хотя и был достаточно юн, понимал, что это значит). А на самом деле Флоренского в это время уже не было в живых. При Хрущеве в 1958 году его жена подала на реабилитацию и получила справку, что он умер в 1943 году — то есть тогда, когда кончился его 10–летний срок (в 1933 ему дали 10 лет, как великому преступнику — такой срок дают за крупное преступление — 10 лет заключения). Да, когда мы с матерью говорили о его судьбе, его уже не было в живых. Вот свидетельство о смерти, полученное уже сейчас, в ноябре прошлого года. «Свидетельство о смерти (стандартное)... Гражданин Флоренский Павел

Александрович... умер 8 декабря 37-го года... Возраст — 55 лет (неверно — 56)... Причина смерти — расстрел... Место смерти... — Ленинградская область», 56 лет.

Человек, который за несколько месяцев до этих событий, находясь в адских каторжных условиях, продолжал активную научную работу; человек, который жил глубоко духовной, умственной жизнью, который свои богатые знания передавал детям (до 1937 года разрешалось писать, и даже были моменты, когда семья могла к нему приехать), — таким человеком может гордиться любая цивилизация. Он стоит на одном уровне с Паскалем, с Тейяром де Шарденом, с многими учеными, мыслителями всех времен и народов. И он был расстрелян как последний преступник — будучи абсолютно невинным!

Среди русских философов Флоренский был наиболее аполитичен. Весь ушедший в мир своих мыслей, погруженный в работу, он всегда стоял несколько в стороне от общественной жизни. Он был невинен и был нужен стране — как инженер, как ученый, как бескорыстный работник. Но его предпочли расстрелять. Вместе с этим свидетельством комитет государственной безопасности передал родным копию акта «Приговор тройки ОНКВД по протоколу ! 199 от 25 января 37-го года в отношении осужденного к в.м.н. (то есть высшей мере наказания) Флоренского Павла Александровича приведен в исполнение 8 декабря 37-го года, в чем и составлен настоящий акт». И подписи, как во всех канцеляриях. И фотография приложена — человека со следами избиения на лице, человека, который весь ушел вглубь, потому что его терзали и пытали. Вот такова наша эпоха.

Здесь перед вами репродукция известного теперь всей Москве полотна «Философы». Художник Нестеров писал ее у нас в Загорске, в саду отца Павла, когда они беседовали с Булгаковым. Они прогуливались по его саду, и Нестеров тогда написал эту картину. А здесь — Флоренский в молодые годы, в период, когда решался вопрос о его дальнейшей судьбе, за два года до рукоположения в священники.

Итак, немного о его жизни. Он родился по новому стилю 22 января 1882 года. Родился на территории современного Азербайджана, близ местечка Евлах. Отец его происходил из духовного звания (Александр Иванович Флоренский). Он был инженером, образованным культурным человеком, но утратившим связи с Церковью, с религиозной жизнью. Мать, урожденная Сафарова, принадлежала к

культурной армянской семье, обитавшей в Тбилиси (Тифлисе). Флоренский учился в тифлисской гимназии с двумя впоследствии выдающимися деятелями русского религиозного ренессанса — Ельчаниновым и Эрном. ЭРН умер в 1916 году от туберкулеза, а Ельчанинов уехал за рубеж, стал священником, он несколько лет был священником в Париже, умер в 1934. Всему миру известна его книга «Записи» — это собрание небольших афоризмов, которое составили близкие после его смерти.

Это была большая дружба. Тем не менее, по воспоминаниям Флоренского, которые у нас частично опубликованы — в журнале «Литературная учеба», «Прометей» — мы видим, что он жил как бы... на особом острове. Он больше воспринимал природу, чем людей. У него была особенная любовь к камням, растениям, краскам; в этом отношении он очень похож на Тейяра де Шардена, который тоже в детстве проявлял нежность к материи, я бы сказал — влюбленность в материю. У Флоренского это было с детства. Быть может, даже мир людей был ему чужд и порой тягостен. Некто доктор Бохгольц, человек истово православный, начал было составлять с Флоренским словарь символов, и кто-то спросит у Бохгольца: «Что у Вас общего с этим человеком?» — «Мы оба не любим людей», — сказал Бохгольц. Ну, он, конечно, за себя говорил, едва ли можно было так сказать о Флоренском. Сегодня, читая его письма к близким, жене, детям, мы видим, какой огромный запас нежности, внимания, подлинной, удивительной какой-то любви скрывался в этом сердце. Но это было сердце не распахнутое, а наоборот, скорее закрытое, через которое не раз проходили болезненные трещины.

Не менее трех душевных глубоких кризисов потрясли жизнь Павла Александровича. Первый был благотельным кризисом в период юношества, когда он, выросший в семье нерелигиозной, далекой от Церкви, однажды понял несостоятельность материалистического взгляда на мир и страстно стал искать выход из этого.

Другой кризис был тяжелый, как бы личный, когда он себя пытался выстроить. Такому человеку нести собственное бремя, бремя самого себя, было очень непросто. Один человек, знавший его, рассказывал мне, как Флоренский шутя говорил ему, что логически он способен доказать, и очень убедительно, вещи совершенно

противоположные. Его интеллект был колоссальной машиной, но вместе с этим это не был только отвлеченный, человек это был человек глубоко страстный, теоретик. Бердяев вспоминает, как в монастыре у одного из старцев, куда его привезли благочестивые друзья, он видел молодого Флоренского: тот стоял в церкви и рыдал, плакал... Это была очень непростая жизнь.

И, наконец, когда ему было 42 года, был еще один кризис, если не считать кризиса перед самой революцией, который мало отмечен биографами. Это было перед революцией, в 1916 году, когда он написал книгу о Хомякове. Собственно, не о Хомякове, это было критическое исследование по поводу работы о Хомякове. И в нем он выдвинул целый ряд положений, которые вызвали резкую реакцию со стороны его ультраправославных друзей, в частности Новоселова (бывший толстовец, ставший православным, человек очень добрый и очень отзывчивый, но, конечно, не философского склада ума, очень высоко ценил Хомякова). Критика Хомякова вызвала у него такое смятение души, что он помчался в Сергиев Пасад к Флоренскому и всю ночь его там ... пилил, пока отец Павел не уронил голову и сказал: «Я больше не буду ничего писать о богословии». Чтобы такое признание вырвалось у такого человека, автора столь знаменитой книги, как «Столп и утверждение истины», — это должно быть непросто. И в самом деле, после этого Флоренский больше не пишет на темы религиозно-философские. Последнее его как бы прощание с сугубо богословским миром — это его лекции по философии культа. Они были изданы лишь много-много лет спустя, посмертно, и, пожалуй, вызвали самую резкую критику.

Сложный и противоречивый человек был отец Павел. Он кончил Московский университет как блестящий математик, его оставляли при кафедре. Математика была для него своеобразной основой мироздания. В конце концов, в дальнейшем он пришел к мысли, что вся видимая природа в итоге может быть сведена к неким незримым опорным точкам. Вот почему он так любил Платона, ибо для Платона невидимое было источником видимого. Всю жизнь Павел Флоренский любил Платона, изучал Платона, толковал его. И надо сказать, что это не удивительно. Английский философ Уайтхед говорил, что вся мировая философия является лишь подстрочными примечаниями к

Платону. Платоновская мысль раз и навсегда определила главные направления человеческого духа и человеческого мышления.

Немалое влияние на Флоренского в студенческие годы оказал Владимир Соловьев. Надо сказать, что оба они были платониками, обоих волновали проблема духовной основы бытия и тема таинственной Софии — Премудрости Божией. И, может быть, поэтому Флоренский старался оттолкнуться от Соловьева, он почти не ссылается на него, если ссылается — то критически. Между тем в истории мысли они стоят очень близко, ближе, чем подозревал сам Флоренский.

Но математика не стала его подругой на всю жизнь. Он оставляет научные занятия, переселяется в Сергиев Пасад, поступает в Духовную Академию. Андрей Белый, который знал его в эти годы, нежно и иронично говорит об этом юноше с длинными волосами, он говорит, что его называли «нос в кудряшках», потому что у Флоренского было смуглое лицо, доставшееся от армянской матери, гоголевский нос и длинные курчавые волосы. Он был небольшого роста, хрупкого сложения. Говорил тихо, особенно потом, когда поселился в монастыре, он невольно усвоил себе такой ... монастырский стиль поведения. Когда в 1909 открыли памятник Гоголю (настоящий памятник Гоголю — не этого истукана, который сейчас стоит, а тот, который теперь во дворе), так вот, когда сняли материю, один человек воскликнул: «О, так это же Павлик!» Действительно, и эта согнутая фигура, и эти волосы, и этот нос — это все было удивительно похоже.

Сергей Иосифович Фудель, церковный писатель, умерший лет 15 назад, сын известного московского протоиерея Иосифа Фуделя (который был другом Константина Леонтьева), в юные годы сталкивался с Флоренским. Он описывал мне его внешность, жесты и говорил, что больше всего он походил на ожившую египетскую фреску. Можно было долго слушать его тихий разговор с отцом, рассказывал он; не всегда было понятно, о чем они говорили, но там мешалось все: и дамские моды, которые являются точным индикатором, определяющим стиль данной цивилизации; и какие-то оккультные опыты; и тайна красок икон; и какие-то тайные, глубинные значения слов — Флоренский на всю жизнь сохранил

филологический и философский интерес к смыслу того или иного слова.

У него был друг — Сергей Троицкий, к которому Флоренский в юности был очень привязан. Разлука с этим другом его ранила жестоко: Троицкий уехал в Тифлис и там через несколько лет трагически погиб. Ему и была посвящена главная из напечатанных (до сих пор) книг Флоренского, которая называется «Столп и утверждение истины».

Книга вышла в 1914 году, но имела большую предысторию. Когда он учился в Духовной Академии, его интересовало все. Он погрузился в библиотеки, изучал древние манускрипты, символы. Андрей Белый вспоминает, как Валерий Брюсов внимательно слушал его разъяснения, когда он толковал ему какие-то эмблемы, монограммы. Флоренский очень любил генеалогии. Владимир Фаворский, известный художник (я думаю, вы все его знаете), впоследствии нарисовал для Флоренского экслибрис, который изображал рыцаря, пронзенного стрелой, в руках у него — свиток с генеалогией. Каждый может это понимать, как ему вздумается, но рыцарь всегда напоминает об аристократизме и внимательном отношении к предкам.

Флоренский хотел в своем творчестве быть только интерпретатором огромного наследия — литургического, литературного, философского, богословского. В «Столпе» он просто прячется за этим. Но это только лишь метод, особый метод — ну, скажем, назовем его «литературно-научным измерением». У него были свои мысли, свои подходы, и надо только уметь находить и прочитывать, что кроется за тем обилием материала, который он дает.

Очень влекло его ко всему таинственному. По некоторым сведениям, в молодости он занимался и спиритизмом, и всякого рода оккультными вещами; естественно, потом он от этого оттолкнулся. Одна из ранних его статей как раз и направлена была против оккультизма. И для него оставалось проблемой, как познать оккультные вещи, не прикоснувшись к ним на опыте. Это всегда было для него камнем преткновения и какого-то рода своеобразным соблазном.

В Сергиевом Посаде он становится преподавателем истории философии — по одной простой причине. Я полагаю, что его учителя не могли не заметить оригинальности его мысли и боялись, что, если он станет преподавать богословие, не внесет ли он слишком много

своего. И потому он был (правда, очень корректно) оттеснен на историю философии.

Надо отметить, что миф о том, что выдающиеся иерархи того времени относились к его теории враждебно, мало обоснован. Прежде всего, ректор нашей Академии епископ Федор — человек весьма ортодоксальный — высоко оценил главную работу Флоренского «Столп и утверждение истины» (эта работа стала его диссертацией). Она действительно наполнена массой спорных концепций, неожиданных выводов, нетривиальных подходов. Но епископ Федор показал здесь свою широту. Говорили, что знаменитый Антоний Храповицкий, митрополит, человек с очень острым языком, сказал, когда прочел «Столп», что это букет ересей или хлыстовский бред. Неизвестно, точно ли это, но по документам, по письмам известно, что впоследствии Антоний относился к Флоренскому с большим уважением, как и многие ученые, богословы, философы. Булгаков — так просто любил его горячо. Розанов Василий Васильевич, человек огромного таланта и ума, но совершенно неуправляемого пера, метавшийся от глубокого анти-христианства к глубокой любви по отношению к Церкви, буквально уцепился за Флоренского (он жил в Загорске, и умер там от голода в 1919 году). Флоренский часто посещал его.

Но таковы были не все. Возглавлявший кафедру нравственного богословия профессор Михаил Михайлович Тарев (тоже довольно крупная фигура в русском религиозном возрождении) считал все направление, которое поддерживал молодой Флоренский, чистым бредом. И заметьте, какова была широта богословской мысли: под крышей одной Академии два профессора заведовали кафедрами, рядом, не разделяя взглядов друг друга. Конечно, оба они были христианами, оба были православные, оба были талантливые. Но на дух не принимали друг друга! Флоренский принадлежал к миру романтики начала века, он был близок к Нестерову, к тому романтизированному образу православия, который тогда только стал возникать в сознании интеллигенции; он был ценителем и эстетом, любителем старины, любителем древней эмблематики, символов. Тареев считал все это гностицизмом, мусором в христианстве, признавал только Евангелие и главным образом — его нравственные основы. Для него «Столп» — это был один вздор. Между ними шла

борьба. Крупная борьба. (Тареев был несколько старше, он умер в 1934). Но эта борьба всегда была все-таки в рамках, я бы сказал, джентельменства. Во всяком случае они продолжали до самой революции работать бок о бок, хотя это было очень трудно. Надо сказать, что вместе с революцией победил Тареев. Флоренский был снят с поста редактора журнала «Богословский вестник» и стал им Тареев; но журналу уже оставалось существовать недолго: все эти дискуссии были решены смертельным недугом, который овладел всей культурой.

Когда Флоренский учился и потом работал в Академии, на него повлияли два духовные лица: Серапион Машкин, совсем почти никому неизвестный монах, философ, так сказать, доморощенный; и старец Исидор из Гефсиманского скита под Загорском. Оба они в скором времени скончались. Их мысли и дух каким-то образом отразились в книге «Столп и утверждение истины». Таково название книги, данное человеком, прошедшим через бурю сомнений. Эта буря в ней запечатлена. Подзаголовок — «Опыт православной теодиции» («теодиция» — это старинное слово, придуманное Лейбницем в XVII веке — «богооправдание», то есть как совместить благого Бога и зло в мире). Если вы думаете, что это трактат, в котором последовательно и систематически излагается какая-то концепция, вы ошибаетесь. Здесь нет глав, а есть письма, обращенные к другу. И это намеренно. (Это, кстати, вызывало большое недовольство в академических кругах.) Флоренский при издании книги потребовал, чтобы она была напечатана особым шрифтом. В каждой главе были виньетки, взятые из латинского трактата XVIII века, виньетки с подписями, очень лаконичными и трогательными. Почти каждая глава открывалась лирическим вступлением. Ученейшая книга, научные комментарии которой занимают почти половину текста, с тысячами и тысячами выдержек из авторов древних и новых, написана как лирический дневник! Что это, каприз? Нет, не каприз, это то, что в скором времени в Европе назовут экзистенциальной философией. Это не философия теории, а философия человека — живого человека.

Это очень личная книга. Книга, написанная от лица автора, как заметки. Мы находим тут выдержки из произведений древних и новых, из святых, подвижников, поэтов; тут же сложные логические выкладки. Лирическая увертюра — она должна была играть особую

роль: ввести читателя в то состояние души, которое переживал автор, когда создавал ее. Мы должны помнить, что это огромное произведение, «Столп и утверждение истины», было создано человеком, которому едва исполнилось двадцать с небольшим.

В 1908 году была первая публикация. Флоренский приходит к выводу, что истина есть интуитивно познаваемая, но одновременно разумно осмысляемая реальность. То есть, на его языке истина есть интуиция—дискуссия (через тире), то, что познается интуитивно и разумно.

Но вдруг он видит, что во всем, что ему известно, в конечном счете кроется противоречие. Он рассматривает ... ну, скажем, мнимые числа в математике. Масса фактов в природе говорит о недостаточности формальной логики, приводит человека к мысли о том, что парадокс, или антиномия (антиномия, то есть глубочайшее противоречие, тезисы, исключающие друг друга), есть свойство бытия.

Особая глава «Противоречия» написана с гениальной силой. И сегодня физика подтвердила (концепции Нильса Бора и других физиков): в фундаментальных свойствах природы мы находим логические неснимаемые противоречия. И здесь возникает принцип дополнительности, который позволяет описывать явление с двух сторон, не давая им единой интеграции. Но это не значит, что Флоренский считал, что истина не существует как целое. Он образно выражался так: целокупная истина, падая с неба, разбивается здесь на противоположные элементы, что есть возможность охватить целое, но для этого необходимо какое-то особое проникновение в реальность. И это проникновение идет за счет восприятия таинственного опыта Церкви.

Познание догматов Церкви, согласно Флоренскому, — это не просто интеллектуальное опознание некой системы взглядов, а это... вхождение в некий мистический опыт, через который потом ты изнутри приходишь к пониманию тайны Церкви. Церковь — это не просто организация, не какой-то институт, а это таинственное соединение людей с Богом и между собой. И в этом единении, когда «я» и «ты» открываются друг другу, и наконец — Высшему «Ты», рождается Любовь.

Многие, в том числе Бердяев, Тареев и другие религиозные философы того времени подвергли «Столп» резкой критике. Но,

пожалуй, самая ... жестокая статья о Флоренском была написана именно Бердяевым. Она называлась «Стилизованное православие». Флоренский — человек, выросший вне религиозной традиции, — весь входит, он хочет войти в нее до конца. Ученики Флоренского в Академии рассказывали мне, что он всегда поражал учеников тем, что, идя по коридору, всем студентам низко, по-монашески кланялся: ему хотелось во всем принять ... формы традиционные.

Бердяев был другим — для него достоинство человека было выше всего; и став христианином, он оставался таким же демократом и аристократом одновременно, и никогда бы не стал вот так себя вести. Это были разные люди. Нельзя судить одного или другого. Надо понимать, что многообразие — это украшение жизни. И Флоренский — тихий, скромный, с глазами, опущенными вниз, как говорит ядовитый Бердяев, «говоривший искусственным голосом»; и Бердяев, который грохотал, огромный человек, со своим нервным тиком, — это все разные люди, и это богатство, и ни в коем случае нельзя нас лишать этого богатства.

Что же там, в «Столпе», есть такого главного, специфического? Попытка найти (я грубо сейчас буду говорить) — попытка найти Бога в этом цветке. Он называл это впоследствии конкретным идеализмом. Он все больше и больше убеждался, что теория не витает где-то в облаках, а что все взаимосвязано и взаимопроникается, что Божественный Дух рядом со всем, в обычном, в мелочах.

Единственное, что было Флоренскому, по-видимому, плохо доступно, это исторический взгляд на вещи. Он был внеисторичным человеком, его называли александрийцем, он как бы принадлежал прошлому, пришел из прошлого. Однако, как отмечает известный наш современный историк философии Гальцева, он принадлежал авангарду, хотя пришел из прошлого. Человек, который душой больше понимал Андрея Белого, чем иные его друзья, конечно принадлежал к тому российскому авангарду, который породил и символизм, и все это, любопытное, полумистическое, с оттенком какого-то таинственного эротизма, движение.

Десятые годы несли на себе совершенно определенную печать. Мы должны воспринимать их как удивительный феномен. Это не были люди, лишенные, как некоторые хотят их изобразить, слабостей. Да, они поддавались веянию времени, какому-то запаху утонченного

тления, который тогда носился в воздухе. Это естественно. И Блоку это было свойственно, и Брюсову, который играл во всякую чертовщину, и Сологубу, и художникам, которые работали вокруг. Это была определенная среда. Но Флоренский не принадлежал ей целиком, он принадлежал другой среде — богословов Сергиева Посада, где его приняли, любили, несмотря на выходки Тареева и его партии.

Волков, один из учеников Флоренского, рассказывает, как набивалась студенческая аудитория, когда Флоренский читал свои лекции по истории философии. Как он ходил бочком, становился за стол (на кафедре никогда не был) и тихим голосом, часто опустив глаза, он рассказывал, все слушали. Правда, некоторые говорят, что они не понимали ни-че-го. «Вы поняли?» — спрашивал Флоренский. «Честно говоря, Павел Александрович, ни слова». И я вам скажу от себя, что дело было не в сложности мысли Флоренского. Да, она была сложна, но достаточно ясна, чтобы ее мог понять каждый человек, серьезно подумав. Надо сказать, что в послесловии «Столпа» написано, что эта книга общедоступная — это некий юмор ученого. И люди поняли его.

Сергей Иосифович Фудель рассказывал мне, что когда он в 1914 году прочел эту книгу, он вернулся к Церкви внутренне. Потому что он жил душой в символической богеме, и церковный мир казался ему миром устаревшим, окоченевшим, склеротичным — что-то такое от Островского. И вдруг он увидел, что о Церкви можно писать таким же изощренным способом, как пишут символисты, как пишет Андрей Белый. И я могу это подтвердить на своем примере. Я был студентом 1-го курса, когда впервые прочел «Столп и утверждение истины» (это было в год смерти Сталина), и книга меня потрясла, но потрясла именно тем, что, подобно Соловьеву, Флоренский предстал как человек, стоявший на вершине культуры, а не пришедший в нее откуда-то со стороны и пользующийся ее плодами только для своих нужд, что он сам был культурой. И Флоренский, и Соловьев — это сама культура олицетворенная. И она-то свидетельствует о Церкви, о Христе, о христианстве.

Когда в «Столпе» развивается мысль о том, что истина парадоксальна, антиномична, — нас подводят к главной тайне догмата. Я думаю, что многие из вас знакомы с основными христианскими догматами. И вы сразу же заметите, что именно парадоксы

пронизывают все: Бог един — но Он же в трех лицах; Христос — человек — но Он же — Бог; он подлинный человек — и истинный Бог. И так далее. Ну, скажем, человек свободен, но в то же время Бог все предвидит. На парадоксах строится все. Иба истина парадоксальна так же, как парадоксальна сама реальность бытия. И огромная заслуга Флоренского, что он, молодым еще человеком, сумел это показать.

Он принял священный сан в 1911 году. Едва ли его тянуло к службе просто на приходе. Один из современников рассказывает, что Флоренский очень не любил церковного быта (в дурном смысле слова) и, как человек глубоко интеллигентный, рафинированный интеллигент, вероятно, томился бы, если бы его отправили куда-то на приход. Но его судьба уже была предрешена. Он был ученым, профессором Академии. До самой революции он служил в Сергиевом Посаде. Был также полковым священником — на некоторое время, в 1915 году, во время первой мировой войны, его отправили на фронт, и он очень ярко описывает свои переживания.

Незадолго до того, как он принял сан, он женился на сестре своего друга, Гиацинтовой, молодой сельской учительнице. Я ее смутно помню (с детства), но хорошо помню ее племянницу, которая была близкой подругой моей матери. Анна Михайловна Гиацинтова действительно понесла подвиг, выйдя замуж за гения (все уже тогда понимали, что этот человек — гений). И трудная жизнь, и впоследствии горькая судьба. Умерла Анна Михайловна уже в 1970-х годах. Кстати сказать, дом не только сохранился, но и сейчас, если вы пойдете по Пионерской улице, за кинотеатром вы увидите надпись, старую, 1920 годов, номер дома и надпись: «Хозяин П.А.Флоренский». Эта надпись каким-то чудом уцелела и пережила своего хозяина. Дети и внуки Флоренского стали учеными, один из внуков — крупный ученый Павел Васильевич, другой — монах и биограф его, исследователь.

В «Богословском вестнике» Флоренский печатал ряд интересных работ, тоже спорных, работ об идеализме. Его всегда интересовала магия. Он говорил о магическом происхождении платоновской философии, о влиянии человека на землю. Эта тема его привлекала необычайно. Поэтому он страшно интересовался старинными поверьями, народными обрядами. Почему? Потому что центральной интуицией (я подчеркиваю, постарайтесь это уловить) центральной

интуицией философии Флоренского было всеединство — то, что было у Соловьева. Все взаимосвязано. Весь мир пронизан едиными силами. И божественная силы входит в мироздание, нет ничего отделенного, а все переплетено, в одном месте болит — в другом чувствуется. На этом основании он пытался построить свою философию культа. Для него культ был не просто символом нашего внутреннего состояния (как обычно мы понимаем культ — это внешний знак, знак психологический, эстетический, ритуальный знак моей веры, моей встречи с Богом) — для Флоренского это было нечто большее. Культ был бы чем-то связующим реальность с символом. И он создавал необычайно сложную систему. Уже после революции он провел цикл «Философия культа», где число таинств он выводил из природы. В этих его лекциях было много спорного, очень много спорного.

Когда наступила революция, он пытался войти в общественную жизнь. Каким образом? Надо сказать, что еще во время революции 1905 года он вместе со своими друзьями создал Христианское Братство Борьбы — такое религиозно-революционное движение. Когда Флоренский был уже в Академии, он произнес проповедь (студентам не разрешалось произносить проповеди), она называлась «Голос крови» и была опубликована. Это обличительная речь по поводу казни лейтенанта Шмидта. (За это Флоренского арестовали.)

После революции он не эмигрировал и никогда не высказывал открыто своего отношения к власти. Он работал. Он осознал себя ученым, который будет трудиться для своего отечества. Лавру ведь закрыли не в один день: сначала в ней хотели сделать музей, и Флоренский вошел в состав комиссии, которая изучала памятники музея. И в своей работе, посвященной деятельности этой комиссии, он пытался доказать, что целокупная эстетика Лавры не может существовать без монахов, без богослужения. Если хотят сделать музей — пусть делают, но чтобы оставить там и службу. Конечно, это было наивное предложение, никто тогда не собирался службу оставлять, и Лавра, и Академия были закрыты. Но до конца 1920-х годов он читал отдельные лекции студентам, которые ютились уже вне Загорска, в одном скиту. Но он продолжал работать.

Одна из выдающихся работ Флоренского была посвящена диэлектрикам, мнимости геометрии — одна из последних его философских научных работ. А потом шли только исследования в

области инженерии. Он читал лекции по эстетике и по самым различным инженерным проблемам. Служить он уже не мог. Потому что человек, находящийся на советской работе, даже если он духовное лицо, не имел права священнического служения. Но чтобы доказать, показать людям, что он... не отрекся, он приходил на лекции в рясе.

Мой отец учился у него и вспоминает, что было странное зрелище: конец 1920-х годов, Технологический институт, входит такой маленький, в рясе, длинные волосы. Но — все его очень уважали. Был даже случай, когда Лев Троцкий спросил, а почему он ходит в рясе? Флоренский ответил: «Я не снимал с себя сана, поэтому я не могу иначе». Троцкий сказал: «Ну, пусть ходит». И более того, они потом даже ездили вместе на машине, Троцкий брал его к себе в открытый автомобиль, и москвичи видели такую картину: Троцкий, как Мефистофель, в пенсне и рядом с ним Флоренский в своем подряснике ехали по Москве, и все ужасались. Каменевы тоже хорошо к нему относились. Флоренский был широко известен в самых разных кругах, но это не помогло ему спастись.

Когда началось приближение сталинизма, его один раз ссылали в Нижний Новгород, а потом в 1933 году он был арестован. Отправлен на БАМ (БАМ ведь долгострой, его строили еще тогда), где он был ограблен, жил в очень трудных условиях. Его письма жена бережно сохранила. Потом Флоренского отправили в лагерь, на мерзлотную станцию, где он работал по вечной мерзлоте, а впоследствии был переведен в Соловки, где работал по проблемам добычи иода. В тех тяжелых соловецких условиях он создал машину, аппарат, который помогал добывать иод, облегчить чудовищный труд рабочих. В письмах Флоренского к детям, к жене — он весь в науке. В этих невероятных условиях он погружен в исследования. Он писал о Моцарте; он, который раньше был скорее меланхоликом, пессимистом, вдруг утверждал радостного Моцарта! Он восхищался Расином; в письмах (которые напечатаны, я вам уже говорил, в журнале «Наше наследие») он присылал рисунки тех водорослей, которые он изучал.

Трогательно, с большим интересом, Флоренский описывает жизнь животных соловецкого края; детям своим пишет о том, что родились морские свинки, как вел себя лис чернобурый. 24 января 1935 года он писал, что позавчера праздновал свой день рождения, 54 года, пора подводить итоги. В скором времени он набрасывает в одном из писем

перечень того, что он сделал, в каких направлениях двинул науку. Вот его строки. Впрочем, перечислять даже, может быть, и не стоит, потому что очень много — двенадцать пунктов только по математике, электротехнике. Да и сам он очень осторожен, потому что все смотрели цензоры.

И вот горькие слова, которые мы читаем в этих письмах: Флоренский пишет, что «обществу не нужны его знания». «Ну что ж, тем хуже для общества». И это было — правда, потому что пострадало наше общество. «Фактически, — пишет он, — уничтожение опыта всей жизни, который теперь только и созрел, мог бы дать полные плоды. На это я не стал бы жаловаться, если б не вы. Если обществу не нужны плоды моей жизни и работы — пусть остается без них. Это еще вопрос, кто больше наказан — я или общество — тем, что я не проявляю того, что мог бы проявить. Но мне жаль, что я вам не могу передать своего опыта, и главное — не могу приласкать вас, как хотелось бы и как мысленно всегда ласкаю». Пройдет всего два года, и пуля убийцы-палача прервет эту прекрасную жизнь.

Особая тема — толкование Флоренским проблемы Запада и Востока. Он чувствовал, что развитие западной цивилизации несет в себе немало опасных уклонов. И что уклон, который захватил Россию как часть Европы, начался с эпохи Ренессанса, который он резко отрицал. Хотя он как философ со своим всеединством был очень близок к ранессансным мыслителям такого типа, как Парацельс, Беме и другие.

В книге «Иконостас» он пытался противопоставить Восток и Запад. Но сделал это не совсем точно, потому что он противопоставлял Запад ренессансный Востоку средневековому — Руси и Византии. А между тем в Средние века на Западе тоже было символическое искусство, тоже было иное мировидение. А когда Ренессанс проник к нам, на Восток, то также внес свою грубость, чувственность, посюсторонность. Флоренский всегда был настроен антизападнически, и в этом смысле антиэкуменически. И только когда он увидел, что, как и всегда, конфронтация христиан привела к колоссальной катастрофе Русской Церкви, которая осталась одна, в изоляции, и ее сокрушили, потому что никто не мог ей помочь, то стал пересматривать свои взгляды.

Вот об этом последнее свидетельство. Это 1923 год — он пишет небольшие заметки о православии. Называется одна из заметок «Христианство и культура». Он пишет о том, что разделение между христианами происходит не потому, что есть разные догматы, обряды и обычаи, а из-за отсутствия настоящей веры, настоящей любви. «Христианский мир, — пишет он, — полон взаимной подозрительности, недоброжелательных чувств и вражды. Он гнил в самой основе своей, не имеет активности Христа, не имеет мужества и чистосердечия признать гнилость своей веры. Никакая церковная канцелярия, никакая бюрократия, никакая дипломатия не вдохнет единства веры и любви там, где нет его. Все внешние склейки не только не объединят христианского мира, но, напротив, могут оказаться лишь изоляцией между исповеданиями. Мы должны сознаться, что не те или другие различия учения, обряда и церковного устройства служат истинной причиной раздробления христианского мира, а глубокое взаимное недоверие, в основном, вере во Христа, Сына Божия, в плоти пришедшего». И в заключение Флоренский говорит о том, что поиск необходим для единства и «необходимо, пишет он, выработать особые, более честного характера тезисы объединения с Римско-Католической церковью. Главным образом тут должно быть сформулировано первенство чести и всехристианской инициативы, по праву принадлежащее римскому епископу». Это писалось в 1923 году, летом. В лагере ему пришлось сидеть вместе с многочисленными христианами всех исповеданий, с верующими и неверующими. Опыт был горький, трудный. Как он его преломил, мы не всегда можем понять, ибо письма его, разумеется, все пронизаны внутренней цензурой. Но, я думаю, прав был младший современник и ученик Флоренского, Алексей Федорович Лосев, который сказал, что Флоренский никогда не изменял себе, что, приняв какую-то начальную интуицию христианского платонизма, он пронес ее до конца своих дней, вплоть до своей мучительной кончины.

Насильственно вычеркнутый из анналов отечественной культуры, философии, великий богослов, великий ученый, великий инженер, великий деятель культуры сегодня снова возрождается. Вы знаете, что недавно в ЦДЛ была выставка документов, прошло множество симпозиумов, конференций, посвященных ему, как у нас, так и за рубежом. Я думаю, что знакомство с таким человеком через его книги,

которые скоро выйдут, для тех, кто любит философию (а философия есть любовь к мудрости), будет большим праздником и немалым открытием. Даже те, кто не согласится с многими идеями Флоренского (а это совершенно необязательно, он и не настаивал на этом), немало обогатятся от чтения и размышлений над страницами его книг.

Спасибо.

СЕМЁН ЛЮДВИГОВИЧ ФРАНК

Семен Людвигович Франк походил на древнего мудреца, на человека, который пришел из каких-то отдаленных веков, огромного роста. На этой фотографии (на сцене — большой портрет Франка) вы видите его уже глубоким стариком. Но мудрецом он казался и в молодости. Медлительный, нескорый в словах, основательный в суждениях и мыслях, абсолютно невозмутимый, и только, как замечает его друг Струве, — особые лучистые глаза, из которых как бы лился свет, мудрость, радость и теплота... эти глаза подчеркивают все те, кто знал Семена Людвиговича Франка.

Протоиерей Василий Зеньковский, историк русской философии, умерший в Париже, писал, что среди мыслителей этого поколения Франк был самым философским — в прямом смысле этого слова. Это был мощный философский интеллект. Он не был публицистом, не был богословом, хотя, конечно, приходилось ему писать и острые публицистические статьи и в ряде своих книг прямо выходить на богословские темы. Это был человек мысли, подобный многим классикам мировой философии. Сам он шутливо о себе говорил: «Я промечтал всю жизнь». Это, конечно, не праздное мечтание, а глубокое созерцание. Он как бы нырял в океан мысли, в океан отвлеченных схем все глубже и, наконец, достигал самого дна реальности.

Семен Людвигович родился в 1877 году на Пятницкой, в Москве, а детство провел в переулках между Маросейкой и Покровкой. Отец его был военным врачом и жил в Вильнюсе, как военврач он участвовал в обороне Севастополя, был награжден орденом Станислава. Умер он рано, и Франк его, собственно говоря, не помнил. Мать у него была умная образованная женщина. но особое влияние на него имел дед. Семья была еврейская по происхождению, из Прибалтики. Дед был глубоко религиозным и по-своему образованным человеком. Он блестяще знал древнееврейский язык, Библию, старинную священную литературу; когда он умирал (Семену было тогда 14 лет), он взял с него слово: всегда изучать Писание, древнееврейский язык и богословие. Философ впоследствии вспоминает: формально я его завет не выполнил, но то, к чему было

устремлено мое сердце, мой разум, мои духовные поиски и, наконец, мое христианство (он принял православие в 1912 году), — все это было естественным и органическим продолжением тех уроков, которые я получил от своего деда.

Поскольку отец умер рано, мать вышла замуж, и его отчимом стал человек народнических настроений. Это был еще один элемент его воспитания. Он окончил юридический факультет (тогда юридический факультет не готовил узкоспециализированных правоведов, это был широко-гуманитарный факультет, на котором училась половина знаменитых людей конца XIX — начала XX века).

В юности, как и Бердяев, Булгаков и Трубецкие, он увлекся идеями социал-демократии. Будучи еще гимназистом и позднее студентом, он интересовался марксизмом, потому что его уверили, что марксизм дает наконец-то научное объяснение всем общественным процессам. Эти посулы марксизма соблазнили не одного Франка, а очень многих, и поэтому мы не должны удивляться, что большинство представителей русской религиозной философии прошли через марксизм в молодости. Франк с удовольствием штудировал «Капитал» (тогда вышел только первый том) его, как и любого юношу с развитым интеллектом, привлекало, что это огромная книга, что написана она тяжелым гегельским языком и что в ней надо разбираться, кто ее изгрыз, тот достиг каких-то вершин. Я должен подчеркнуть, что впоследствии, став довольно крупным социологом, Франк полностью разделался с этой философией и с этой социологией, показав их беспомощность, вненаучность, что все эти слова, которые вокруг писались, и толстые тома — на самом деле рождали мышь...

Социальная проблема и социальная тема остались надолго в мыслях и творчестве Франка, можно сказать, до конца его дней (он умер в 1951 году в Лондоне).

В юности он начинает заниматься в каких-то кружках, изучает проблемы социал-демократии, его далее арестовывают, некоторое время он проводит в тюрьме, потом оказывается высланным. Но, в конце концов, в 1890 годах он порывает со средой революционеров (в основном это были эсеры и народники), потому что его основательное научное мышление уже тогда давало себя знать. И он вдруг увидел, что в марксизме нет того основательного подхода к действительности, который его мог привлекать.

В это время Франк начинает изучать (он блестяще знал немецкий язык) многотомную работу Куно Фишера «История новой философии» (кстати, эта работа переведена на русский язык, почти вся). Каждый том огромной величины посвящен одному философу. Это самая крупная монография, которую мы имеем сейчас, на русском языке, выходила она в начале нашего столетия.

Порывая с марксизмом, Франк ищет чего-то другого в качестве основы для своего мирозерцания. И вот странная вещь. Прорыв в какое-то иное видение произошел под влиянием Ницше — человека, исповавшего материализм, который уже тогда казался Франку подозрительным. Но тревога Фридриха Ницше, его восстание против мертвенности, обывательщины, против ничтожности мира, каким-то таинственным образом подействовали на молодого студента, и с ним произошло нечто вроде обращения, обращения к царству духа.

В одно мгновение он вдруг почувствовал, что есть иная реальность, которую не может полностью исчерпать интеллект, который все разлагает и расчленяет. И вот в этой первичной интуиции — вся философия Франка. Недаром одна из его книг, написанная прямо перед войной, называлась «Непостижимое». Это очень характерное название. Подлинная реальность, говорит он, — это нечто Непостижимое, в том смысле, что человек может это чувствовать, всегда постигать, но никогда не постигнуть до конца. Никогда не сможет человек охватить непостижимое до конца.

В 1900 году, то есть когда ему немногим больше 20 лет, он уже автор некоторых работ, пишет критическую работу о марксизме, теории ценности Маркса, и в скором времени полностью отходит от своих первоначальных увлечений и ищет иных путей.

В 1908 году он женится, работает над диссертацией, в которой поднимает важнейшие вопросы теории познания. Когда будет издан Франк то, если вам доведется его читать, запомните, пожалуйста, одну вещь. Если у Бердяева можно прочесть одну страницу, и каждая фраза его будет организмом в самом себе, целый законченный мир, если у Бердяева можно читать отдельные темы, отдельные абзацы, и их можно переставлять, то у Франка все построено иначе. Он верный ученик Владимира Соловьева, и надо сказать, что никто, пожалуй, не был так близок (с философской точки зрения) к Соловьеву, как его прямой продолжатель в XX веке — Франк. Если вы начинаете следить

за ходом его мысли, вы не должны бросать ее на середине — у него все строго и стройно, логически связано, одно вытекает из другого. Это неторопливые, внимательные наблюдения, и наблюдения в том числе над самой тайной процесса мышления.

В 1915 году вышел «Предмет знания», он получил за эту работу степень магистра.

Для западной философии огромную роль в то время играла проблема субъективного идеализма. Вы знаете, что против него ополчился Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме». Собственно, ради этого и книжка была написана, очень поспешно. Субъективный идеализм развивался в то время по разным направлениям, но преимущественно по кантианскому. Ленин писал, что эта точка зрения не может быть опровергнута, но поскольку она совершенно глупа, то ее надо отбросить. Франк смотрел на это иначе. Он считал, что есть серьезные философские и логические аргументы против субъективного идеализма. Субъективный идеализм исходит из «я», которое стоит в центре мироздания. При диалоге с миром человек открывает в себе нечто — то, что можно назвать «ты». Но есть и иное — то, что мы называем «мы».

Подобно своим предшественникам, Сергею Трубецкому и Соловьеву, Франк подчеркивал, что человеческие сознания, человеческие «я» не отрезаны друг от друга. Реальное познание, реальное бытие возможны лишь тогда, когда между людьми возникает контакт, возникает единство. Мы живем не на изолированных островах, а мы живем на едином материке. И вот этот-то материк, который объединяет всех нас, и есть последний и подлинный предмет познания. Человек познает не только отражение своих собственных чувств, а познает некий субстрат, глубину. Позднее немецкий философ Пауль Тиллих, наш современник, писал, что Бог — это не небо над нами, а глубина бытия. Так вот, первым это сказал Франк.

В 1917 году он выпускает замечательную книгу (она потом не раз выходила на иностранных языках; Франка переводили на многие языки, включая японский, чешский, польский, немецкий, английский, — он и сам писал книги на этих языках) «Душа человека», где он блестяще анализирует вопрос о единстве духовной жизни, которую нельзя разрезать, нельзя разделить. Это единство касается не только нашего «я», но и того поля, в котором находится

«я». То есть «я», потом «мы» и, наконец, некий таинственный субстрат, который и есть непостижимое.

Наступает революционное время. У Франка уже семья, он становится профессором Московского университета, но тут голод, разруха... Я знал людей, которые были его слушателями, студентами. Завороженно студенты–философы и филологи слушали его медлительную речь, когда, как они описывали, один момент ясно вытекал из другого, другой — из третьего. Но — времена были суровые; быстро сдали все экзамены, заранее, досрочно, и все разъехались. Франку предложено стать деканом философского факультета в Саратовском университете.

Это был последний очаг интеллектуальной свободы. Туда были приглашены и Федотов, и некоторые другие выдающиеся деятели. Но потом Семен Людвигович возвращается в Москву. В 1922 году он с семьей жил на даче в Пушкино — с женой и тремя детьми. (Сын его, Виктор Франк стал известным историком, писателем зарубежья.) На один день он поехал в Москву, его арестовали и вместе с семьей выслали из России. Он плыл на том же самом пароходе, на котором плыли Бердяев, Степун и еще двести человек, которые составляли красу и гордость русской культуры и мысли.

Европейский мир был для Франка достаточно своим, поскольку он свободно говорил на нескольких языках. Он читал лекции в Берлине, в Париже, много работал. Написал замечательную книгу «Смысл жизни», обращенную к молодежи; «Крушение кумиров», в которой он развенчивал марксизм и многие старые концепции. Написал книгу «Свет во тьме». Особенно важной была книга «Духовные основы общества», тема ее и сейчас весьма актуальная для нас. Франк показывал, что здоровым общество может быть только тогда, когда оно имеет духовный субстрат. Общество людей — это не просто явление материального мира, но одновременно и явление мира духовного.

В 1930 годы его лишают кафедры в Германии (при нацистах), он уезжает во Францию, и в конце концов (после немецкой оккупации) вынужден был эмигрировать в Лондон, где и прожил последние послевоенные годы, и умер. О его смерти, естественно, у нас нигде не писали и, как я уже говорил, ни книг, ни статей его не издавали. И вот скоро будет сорок лет со дня его смерти и появятся первые издания.

Для тех людей, которые способны оценить и любят сферу чистой мысли, чтение книг Франка будет подлинным наслаждением. Созерцателем, основательным и медлительным, он остался до конца своих дней. Если Николай Александрович Бердяев был человеком крайне субъективным, всегда писал о своем, страстно говорил от своего лица и мог в философской книге привести какие-то моменты из своей личной жизни, то Франк в этом отношении был совершенно иным человеком. Он стеснялся говорить о себе и всегда говорил только о вещах внеположенных, и даже в своих автобиографических записках, созданных в последние годы жизни, он все равно целомудренно оберегал свою внутреннюю духовную жизнь. И надо лишь угадать, какие бури в нем происходили.

Для Франка было очень важным соотношение науки и религии. Потому что он был не только философом, но и социологом, и религиоведом. У него есть одна книга, небольшая, но принципиально важная, которая называется «Религия и наука» (она много раз издавалась на Западе). Поскольку она вышла в те годы, когда велась ожесточенная антирелигиозная пропаганда, Франк кратко отвечает на те вопросы, которые ставила эпоха. «Мы утверждаем, — говорит он, — в противоположность господствующему мнению, что религия и наука не противоречат и не могут противоречить одна другой по той простой причине, что они говорят о совершенно разных вещах. Противоречие же возможно только там, где два противоположных утверждения высказываются об одном и том же предмете». Немножко отвлеченно, но если вы подумаете, то речь идет как раз об этом. Он поясняет свою мысль на ряде конкретных примеров. Человек сидит в поезде, сидит неподвижно; сосед обращается к нему и говорит: «А Вы можете посидеть неподвижно?» Тот говорит: «Извините, я и так сижу неподвижно». Кто из них прав? Прав, конечно, человек, который говорит, что он сидит неподвижно. Но и тот, который его упрекнул, тоже прав, потому что он же несется на большой скорости — с поездом. Они говорят в разных плоскостях. Подходы к одному и тому же явлению могут быть настолько разными, что невозможно ставить их в одну плоскость.

Также в отношении науки и религии. Вот его слова: «Наука берет мир как замкнутую в себе систему явлений и изучает соотношения между этими явлениями вне отношения мира как целого, а

следовательно, и каждой, даже малейшей части к его высшему основанию, к его первопричине, к его абсолютному началу, из которого он произошел и на котором он покоится. Наука берет как рабочую гипотезу, что мир — это готовая замкнутая система. Религия же познает именно отношение мира, а следовательно, и человека, к этой абсолютной первооснове бытия, к Богу, и из этого познания черпает уяснение общего смысла бытия, которое остается вне поля зрения науки. Наука как бы изучает середину, промежуточный слой или отрезок бытия в его внутренней структуре. Религия познает эту середину в ее отношении к началу и концу, к целому бытия или к его целостной первооснове».

Далее, он поднимает вопрос о чуде, которое обычно вызывало резкую критику со стороны антирелигиозной пропаганды. Он говорит так: когда человек отрицает явление, непостижимое для него, он заранее уже старается себе построить модель мира. Но есть ли основание утверждать, что модель — это точное соответствие действительности? Семен Людвигович Франк опирается на слова Блаженного Августина, который писал, что религия противоречит не законам природы, а известным нам законам. А далеко не все законы нам известны.

Особенно большое внимание, как я уже говорил, он уделял наукам социальным. И это вовсе не означало, что естественные науки были для него чем-то второстепенным, просто для него научный подход был лишь частичным подходом. Вот он говорит: «Тот не ученый, не человек науки, для кого весь мир исчерпывается непосредственно видимым, кому кажется, что он обзревает всю реальность, что она лежит перед ним как на ладони и что очень легко и просто все узнать. Напротив, лишь тот ученый, кто чувствует таинственные глубины бытия, кто непосредственно вместе с Шекспиром знает: «Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам». Знание своего неведения, выраженное в словах Сократа: «Я знаю только то, что я ничего не знаю», — есть начало и постоянная основа научного сознания. Великий Ньютон, проникший в тайну строения и движения вселенной, говорил о себе: «Не знаю, чем меня признают потомки, но себе самому я представляюсь маленьким мальчиком, который на берегу безграничного океана собирает отдельные ракушки,

выброшенные волнами на берег, в то же время как сам океан и его глубины остаются для меня по-прежнему непостижимыми».

В 1939 году выходит его книга «Непостижимое, или Введение в философию религии». Несколько книг, развивавших потом эту тему, вышли посмертно: «Реальность и человек», богословские размышления «С нами Бог» — глубокое и блестящее обоснование христианской Надежды и Веры. Кроме этого выходило множество его небольших работ. Одна из них была посвящена онтологическому доказательству бытия Божия, тому, что человек имеет в своем непосредственном опыте связь с этой великой тайной бытия.

Были у него и полемические работы: «По ту сторону правого и левого». Он одним из первых христианских мыслителей показал ценность фрейдовского психоанализа, но подчеркивал, что Фрейд, открыв бессознательное, совершенно не знал, что с ним делать. Он не владел никакой разумной теорией, а пользовался остатками старого вульгарного материализма — это и помешало ему создать настоящую, подлинную теорию культуры.

Таким образом, разнообразные темы пронизывают творчество Франка. Я не знаю, будет ли издана его книга «Смысл жизни» в России (очень важная для молодежи), очень хотелось бы, но во всяком случае ее переиздали сейчас в Бельгии в Центре Восточного христианства.

Политическая позиция его была принципиальна. Когда в конце войны Бердяев, в знак солидарности с воюющей Россией, хотел принять советское гражданство и невольно увлекся призывами тех, кто приезжал из Советского Союза и говорил, что теперь-то у нас настанет свобода, теперь у нас будет все хорошо, Франк был возмущен. Я знал людей, которые получали задание — привлекать эмигрантов. Один иерарх, которого я знал, в общем благородный человек, поехал в Париж с целым мешком русской земли: он бросал ее с балкона, ее ловили эмигранты со слезами, брали советские паспорта и уезжали прямехонько в лагерь. Это была трагедия многих людей. Одни хотели верить, другие не хотели верить, было подозрительно: уезжавшие исчезали, как будто в воду канули, от них переставали приходить всякие сведения. Но момент был... радостный — победа близилась. У Франка с Бердяевым произошла по этому поводу острая размолвка, Франк писал Бердяеву, что тот поддался влиянию и думает, что там, за кордоном все хорошо, но он, Франк, в это не верит, считает, что

тирания продолжает свое дело, несмотря на победу народа. И мы знаем, что Франк оказался прав.

Кроме Бердяева, он был очень близок с Петром Бернгардовичем Струве — одним из видных политических и общественных деятелей России тех лет. Струве издавал блестящий и богатый по содержанию журнал «Русская мысль», который был, естественно, в 1917 году закрыт. Франк вел в нем философский раздел. Сейчас номера этого журнала появляются в букинистических магазинах, я думаю, что это замечательное чтение.

Теперь несколько выдержек из творений Франка, чтобы вы составили себе представление о его стиле мышления. Вот как он говорит об отношении в обществе к свободе и о том, как мы должны пользоваться плодами цивилизации: «Существовали общества, основанные на рабском труде. Фактически во всяком обществе есть люди, доведенные до рабского состояния, но тогда они и не являются участниками и деятелями общественной жизни, и в лице их общество содержит в себе некий омертвевший осадок, никакой дисциплиной, никаким жесточайшим дроблением нельзя заменить спонтанного источника сил, истекающего из глубин человеческого духа. Самая суровая военная и государственная дисциплина может только регулировать и направлять общественное единство, а не творить его, творить свободной воли. Всякая попытка парализовать общественную волю, поскольку она вообще осуществима, приведя к потере человеком своего существа как образа Божия, тем самым ведет к параличу и омертвлению жизни, к разложению и гибели общества. Всякий деспотизм может вообще существовать лишь поскольку он частичен, и, со своей стороны, опирается на свободу. Всякая диктатура сильна и жизнеспособна, лишь поскольку она сама творится свободой нравственной воли. Вот почему социализм в своем основном социально-философском замысле: заменить целиком индивидуальную волю волей коллективной, поставить коллектив на место личности или слепить и склеить людей в одно сплошное тело массы есть бессмысленная идея, нарушающая основной и неустрашимый принцип общественности и могущий привести только к параличу и разложению общества. Он основан на безумной и кощунственной мечте, что человек ради планомерности и упорядоченности своего хозяйства и справедливого распределения хозяйственных благ способен отказаться

от своей свободы, от своего «я» и стать целиком, без остатка винтиком общественной машины, безличной средой действия общих сил. Фактически он не может привести ни к чему иному, кроме разнузданного самодурства, деспотической власти и оцепелой пассивности или звериного бунта подданных». Так писал Франк около полувека тому назад.

И, наконец, в своей философии Франк показал, что религиозное мировоззрение, христианство отнюдь не является чем-то иррациональным. Сейчас нередко бывает, что человек, обратившись к христианской вере, думает, что ради этого он должен выбросить за борт свое мышление, свою логику, свой разум. И вот такие люди, как Владимир Соловьев, Сергей Трубецкой или Семен Франк, показывают, что мощная работа разума не только не подрывает основ религиозного мирозерцания, но, напротив — дает ему осмысление, а порой даже и обоснование. Конечно, глубочайшим обоснованием и для Франка был его опыт, глубинный опыт постижения реальности как целого, глубинный опыт соприкосновения с божественным, как с чем-то, никогда не определяемым человеческим языком. Но этот опыт, общий для всего человечества, для всего христианства, он пропустил через кристаллизирующие ворота разума и сумел рассказать о нем не только на языке поэзии, на языке мистики, но и прозрачным, ясным языком мудреца-философа. И он остался мудрецом не только на страницах своих книг, но и в своем облике — человека спокойного, ясного, невозмутимого, счастливого, несмотря на скорбные страницы его жизни (изгнание, скитание по Европе), несмотря на всю горечь нашего столетия... Он шел по нему и был похож на горящую свечу, которой не колеблет ветер.

Он всегда был прям. И его жена (я помню, она еще была жива и выступала по западному радио) рассказывала, что он (в молодости, когда они встретились) поразил ее вот этой просветленной мудростью. И когда вы обратитесь к его сочинениям, я бы хотел, чтобы вы почувствовали за этими чеканными, неспешными конструкциями дух этой просветленной мудрости. Он свойствен был не только самому Семену Людвиговичу Франку — он был свойствен вообще тому потоку мышления, который мы называем русским религиозно-философским возрождением. И должен сказать, что этот поток не только не уступал западным поискам в этом направлении, но во

многом, я вам уже об этом говорил, во многом превосходил его. Потому что все эти личности, о которых мы с вами говорили, и многие оставшиеся невольно вне нашего поля зрения, — это были крупные фигуры. Они не были просто профессора университетов, копавшиеся в своих бумагах, — это были фигуры, как будто высеченные из камня, фигуры, которыми может гордиться любая цивилизация в любую эпоху.

Спасибо.

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ФЕДОТОВ

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами встречаемся с еще одним замечательным человеком, который для нас как бы открывается вновь, — это Георгий Петрович Федотов. Совсем недавно в журнале «Наше наследие», который как бы по крохам собирает многое из того, что было рассеяно, рассыпано и уничтожено, появился отрывок из его книги «Святые Древней Руси», с предисловием замечательного историка культуры Владимира Топоркова. Прошло почти семьдесят лет с тех пор, как последняя работа Федотова была опубликована в России.

Федотова часто сравнивают с Герценом. Действительно, он умел облекать исторические, историко-философские проблемы в яркую публицистическую форму. Но он не стал легендой при жизни, как Герцен, хотя и был эмигрантом и умер на чужбине. И не был, подобно Бердяеву и отцу Сергию Булгакову, достаточно известен в России до своей эмиграции. Совсем недавно, в 1986 году, исполнилось сто лет со дня его рождения.

Истоки Георгия Петровича — на Волге. Он родился в Саратовской губернии в семье чиновника, служившего при градоначальнике, родился в той самой среде и обстановке, которая описана у Островского. Мать его, женщина тонкая, чуткая (она была учительницей музыки), очень страдала от бедности, которая вошла в их дом вскоре после смерти ее мужа, Петра Федотова. Им помогал дед, который был полицмейстером. Она перебивалась уроками музыки.

Федотов был хрупкий, маленький, небольшой ростом, нежный мальчик. Такие люди часто бывают изломаны комплексами, у таких людей часто бывает комплекс Наполеона: им хочется доказать всему миру свою значимость. И вот как бы опровергая это, в общем справедливое наблюдение, Федотов с детских лет проявлял поразительную гармоничность характера, в этом отношении его невозможно сравнить ни с кем из натур великих мыслителей, о которых мы с Вами говорили. И бурный, гордый Бердяев, и страдающий, порой мятущийся, но целеустремленный, страстный отец Сергей Булгаков, и Мережковский с его противоречиями: «Бог —

зверь — бездна», и Толстой с его титаническими попытками найти новую религию — у них этого не было... Георгий Петрович, по воспоминаниям его школьных друзей, поражал товарищей, поражал всех своей доброжелательностью, своей мягкостью, приветливостью, все говорили: «Жорж самый добрый у нас». При этом — колоссальный интеллект! Он мгновенно схватывал все! Обывательский волжский быт его тяготил. Он с самого начала был там белой вороной, но никогда этого не показывал. Просто в его гармоничной душе зрела спокойная и уверенная мысль: так дальше жить нельзя, жизнь нужно радикально менять.

Он учится в Воронеже, потом возвращается в Саратов. В это время он уже начинен идеями Писарева, Чернышевского, Добролюбова. Почему это так? Почему он, давший впоследствии самую уничтожающую объективную хладнокровную критику их идей, был увлечен ими вначале? По той же самой причине: они звали к преобразованию, а он честно, искренне, умом и сердцем понимал, что так дальше жить невозможно.

Он хочет служить народу, но не так, как Булгаков, который занялся политэкономией, — он хочет заняться инженерией, чтобы поднять индустриальный уровень отстающей страны... Но прежде чем заняться действительно наукой, он, как и многие молодые его сверстники, начинает приходить на собрания революционеров, народников, марксистов, хранит у себя нелегальную литературу, и кончается это тем, что приходят его арестовывать, и жандарм шепчет: «тише, тише» — чтобы не разбудить деда (дед — полицмейстер). И так, не разбудив деда, тихонько уводят Жоржа, под руки.

Но хлопоты деда привели к благоприятным результатам, за нелегальную подрывную деятельность он получил не очень суровую меру — его выслали в Германию... где он жил в Иене и других городах, слушал курсы в университетах и впервые заинтересовался историей. И вдруг он, с его могучим цепким умом, уже тогда, на рубеже столетий, понял, что лозунги, утопии, политические мифы — все это никуда не ведет, все это не может изменить мир и не может привести к тем результатам, о которых он мечтал.

Он знакомится с работой немецких историков, главным образом медиевистов, специалистов по Средним векам. Его интересует эта эпоха, потому что он уже тогда понял, что разобраться в сегодняшней

ситуации можно только проследив все этапы ее возникновения. Европейская ситуация, как и российская, уходят в средневековые модели — политические, социальные, культурные и даже экономические. И, возвратившись после ссылки в Петербург, он поступает уже на исторический факультет.

И тут ему повезло: его профессором стал знаменитый петербургский историк Гревс, немало получил он от Владимира Ивановича Герье — это были крупнейшие специалисты, блестящие педагоги, мастера своего дела. Они помогли Федотову не только искать в Средних веках какие-то реалии, но и полюбить эту эпоху и стать специалистом высшего класса. Но, когда он кончает Петербургский университет, грянула первая мировая война и медиевисты стали не нужны.

Он устраивается работать в библиотеку, все время думает, изучает, что-то отбрасывает. Это время — годы его учения в высоком гетевском смысле. И когда наступает Февральская революция, а затем Октябрьская, Георгий Петрович, молодой человек, еще холостяк, встречает ее с полным пониманием ситуации, как настоящий историк. Проводя глубокий сравнительно-исторический анализ, он говорил о том, что насильственные действия — не путь к свободе. Анализируя ситуацию Французской революции, он одним из первых объяснил, что Французская революция не была колыбелью свободы: она создала централизованную империю, и только военный крах империи Наполеона спас Европу от тоталитаризма XIX века.

Далее, он отметил, что в предшествующих формациях (будучи хорошо знаком с марксизмом, он любил употреблять эти термины, он прекрасно ориентировался в марксистской историографии), средневековых и капиталистических, уже содержались многие элементы свободного развития социальных структур, экономики и политики. Средневековые ковали автономии и независимость городских коммун, и предшествовавшее Французской революции капиталистическое развитие сделало для свободы гораздо больше, чем кровопролитие, учиненное Робеспьером, Дантоном и их приспешниками. Напротив, события Великой Французской революции отбросили страну назад, и это кончилось бы очень трагично для Франции, если бы не было пресечено ликвидацией Робеспьера, а потом и Наполеона.

Не надо думать, что Термидор, когда был убран Робеспьер, — это был путь к свободе: нет, «смерть Робеспьера очистила, — говорит Федотов, — путь для «маленького капрала» — Наполеона». Ушел кровавый диктатор—романик XVIII века и пришел новый диктатор XIX века — они всегда приходят, когда общество впадает в состояние дестабилизации.

Российскую революцию (Февральскую, Октябрьскую) Федотов называл великой и сравнивал ее с Французской революцией. Но необычайно сдержанно оценивал перспективы происходящего. И то, что он говорил о Французской революции, позволяло ему предвидеть в ближайшем будущем возникновение того, что мы сейчас называем административно—командной системой. История научила его, позволила быть прогнозистом (Конечно, не сама история, а внимательный и объективный подход к событиям.)

В это время он женился, ему надо кормить семью. Наступает разруха, голод, из Петербурга он едет опять в Саратов — там еще можно было жить в это время. И вот перелом! Вещь невинная, казалось бы. Университеты тех лет (начала 1920-х годов) вступали в шефские отношения с различными крестьянскими и рабочими объединениями — брали под свое покровительство, те их подкармливали, эти им читали лекции (фантастические были вещи!). К слову сказать, Мережковский, когда бежал из России, в 1920 году, имел на руках командировку читать в частях Красной Армии лекции о древнем Египте (это нарочно не придумаешь!). Какие-то подобного рода лекции и какие-то такого рода отношения возникли между Саратовским университетом и рабочими объединениями. Но при этом происходили митинги, на которых вся профессура должна была выступать и... тренироваться уже в тех верноподданнических речах, которые Федотову совершенно не импонировали. И он сказал, что на компромисс он не пойдет! Даже ради куска хлеба. В нем, в этом маленьком, хрупком человеке, было что-то рыцарское. Это продолжает в нем удивлять: другое дело Бердяев, который был действительно потомком рыцарей, могучий человек, а этот — тихий, скромный интеллигент — сказал: нет! И он бросает Саратовский университет и с семьей уезжает в Петербург. Нищий, голодный Петербург 1920-х годов!

Он пытается печатать свои работы. И тут он встречает замечательную, интересную личность — Александра Мейера. Человек философского склада ума, проницательный, с широкими взглядами; еще не христианин, хотя по рождению протестант, из немцев, но очень близок к христианству. Мейер чувствовал себя хранителем культурных традиций. Нам сейчас это кажется донкихотством. Когда кругом были голод, разруха, безумие, расстрелы, Мейер собрал вокруг себя горсточку людей, в основном это были интеллигентные люди, которые систематически читали доклады, рефераты, духовно общались. Были среди них христиане, не верующие, но близкие к христианству, — это не было какое-то церковное объединение, а был маленький очажок культуры. На первых порах они даже пытались издавать газету (помоему, она вышла в 1919 году, но ее тут же прикрыли).

Мейер (он был на десять лет старше Федотова) в конце концов сформировался как христианский философ. О его трудах мы узнали совсем недавно. Дело в том, что арестованный и погибший в местах не столь отдаленных Мейер сумел каким-то образом свои труды оставить, сохранить и рукопись была всего несколько лет назад извлечена на свет божий и издана в Париже в однотомнике. Вероятно, это издание появится и у нас.

В Петербурге находился Сергей Безобразов, молодой историк, друг Федотова, который прошел сложный путь от туманной пантеистической религиозности к православию. Безобразов работал в петербургской библиотеке (ныне имени Салтыкова-Щедрина) вместе с Антоном Карташовым (бывшим одно время министром культуры во Временном правительстве, потом знаменитым историком в эмиграции), и Карташов привел его к порогу православной Церкви, в буквальном смысле слова. Впоследствии Безобразов эмигрировал и стал ученым, исследователем Нового Завета (он умер в 1965 году). Ему принадлежит редакция нового перевода всего новозаветного корпуса, который вышел в Лондоне.

Безобразов стал говорить Федотову и Мейеру, что пора уезжать, скоро все здесь погибнет. Мейер отвечал: «Нет, я родился здесь. Нет ли в этом промысла какого? Торчи, куда воткнули», — такая у него была поговорка. Дискуссии были острые...

Георгий Петрович становится все ближе и ближе к христианству. Собственно говоря, материализма для него больше не существует: это

поверхностная доктрина, которая не отражает главного, специфического, что является сутью человеческой жизни и истории. Он пытается раскрыть христианскую историографию, христианскую историософию.

Начало его деятельности как публициста скромное. В 1920 году издательство «Брокгауз и Ефрон», которое тогда еще существовало, так сказать, по милости победителей (недолго, правда), выпускает первую книгу Федотова о знаменитом французском мыслителе Пьере Абеляре.

Пьер Абеляр жил в XIII веке. У него была необычайно трагическая судьба, он любил одну женщину, и судьба их развела (я не буду в это углубляться), кончилось все это очень плачевно: в конце концов и Абеляр и Элоиза вынуждены были уйти в монастырь. Абеляр был основателем средневековой схоластики (в хорошем смысле слова) и рациональных методов познания. И Георгий Петрович не случайно обратился к Абеляру, потому что для него всегда разум был острым и важным божественным оружием.

Порвав с марксизмом, он остался демократом — на всю жизнь. Занимаясь наукой, он никогда не отрекался от веры. Став христианином, он никогда не отрекался от разума. Вот эта поразительная гармония, слившаяся в одном человеке веру, знания, доброту, алмазную твердость, принципиальный демократизм, необычайный накал любви к отечеству, полное неприятие какого-либо шовинизма, — все это черты, характеризующие облик Федотова как писателя, мыслителя, историка и публициста.

В это время он пишет работу о Данте, но она уже не проходит цензуру. И это для него служит сигналом: он понимает, что должен либо идти на компромисс, либо... замолчать. Он предпочитает уехать. Для изучения Средних веков он получает командировку на Запад и там остается. Некоторое время — скитальчество, как у большинства эмигрантов, но в конце концов он сближается с кругом замечательных людей: это Бердяев и Мать Мария, Кузьмина-Караваева (или Скобцова), — поэтесса, знавшая Блока и получившая его одобрение, общественная деятельница, в прошлом активная деятельница партии социалистов-революционеров, не сдавшаяся ни перед кем. В то время она стала монахиней. Как вы знаете, она погибла в немецком лагере незадолго до конца второй мировой войны. Во Франции она считается

одной из величайших героинь Сопроивления. У нас о ней писали, даже был фильм. Я слышал от людей, лично знавших Мать Марию, об их глубоком огорчении этим фильмом. Но мне он понравился, потому что наконец такую замечательную женщину показали, и даже некоторое внешнее сходство актриса Касаткина сумела передать, судя по фотографиям. Но тот глубокий религиозный, духовный накал, который двигал этой женщиной, передать невозможно! Мать Мария была идеологом! Она создавала определенную идеологию, которая вытекала из знаменитой фразы Достоевского в «Братьях Карамазовых» — «великое послушание в миру», — она стала монахиней, для того чтобы служить людям в миру, она была поборницей активного, действенного христианства, жизнеутверждающего, светлого, героического. Такой она была и до своего монашества, и в монашестве. Служила людям и умерла за людей — значит, за Христа. Федотов был ее самым близким другом, кроме отца Дмитрия Клепинина, который тоже погиб в немецком лагере.

Бердяев, Фондаминский и Федотов находятся между двумя лагерями. С одной стороны, это монархисты, люди ностальгические, люди, которые уверены, что в прежнем мире все было прекрасно и что надо только реанимировать ушедший порядок. С другой — люди, сочувствовавшие во всем революционным изменениям и считавшие, что наступила новая эра, которая должна покончить со всем старым наследием. А Федотов не принимал ни тех и ни других. И он начинает издавать журнал «Новый град».

«Новый град» — это журнал социального идеала. Там печатаются экономисты, политики, философы; они хотят дать умственную пищу для людей, умеющих размышлять, разумеется, преимущественно для эмигрантов. Точнейшие политические прогнозы! (В основном этот журнал наполнен статьями Федотова.) Мне посчастливилось перечитать всю подшивку этого журнала, который выходил до войны, в Париже. Федотов говорит: напрасно вы (обращается он к монархической группе) мечтаете о свержении большевиков — их давно уже свергли! Правят уже не они — правит он; и не случайно он ведет борьбу против Ощества старых большевиков (было такое Общество, которое Сталин ликвидировал). Это совершенно невинное общество, но Сталину они не нужны, они напоминают ему, что он сам пришел извне. Все те характеристики сталинизма, которые сейчас

наполняют публицистику, и серьезные исследования были даны Федотовым в то самое время, когда это происходило. На расстоянии! Я читал его статьи 1936–1937 годов — все прогнозы, все описания событий совершенно точны.

Федотов замечательно умел улавливать самые главные тенденции истории. Но чем замечателен он как мыслитель? Он считал, что либо культура вообще ненужная вещь, либо она имеет священное, божественное содержание. Он стал первым крупнейшим русским богословом культуры. Будучи демократом и человеком абсолютной национальной терпимости, он тем не менее подчеркивал, что культура должна приобретать конкретные национальные формы, что в каждой культуре имеются свои индивидуальные черты, и это есть творчество. Каждый художник должен создавать свое, потому что он индивидуум. И Федотов подчеркивал, что культура в целом — тоже своего рода коллективный индивидуум.

Для того чтобы понять, в чем смысл и особенности культурного целого в России, он обращается к прошлому и пишет, может быть, одну из главных книг своей жизни, которая называется «Святые Древней Руси». Обратиться к ней его подтолкнуло преподавание в Парижской Духовной Академии. В этой книге он показывает, что, приняв от Византии аскетический идеал, русское христианство начинает вносить в него элемент каритативный, элемент служения, элемент милосердия — тот, который в Византии был меньше проявлен. Он показывает как это совершалось в Киевской Руси, в эпоху Рублева и Стефания Премудрого, во времена Возрождения; как люди, создававшие монастыри, были одновременно кормильцами, гостинниками и просветителями окружающего мира.

В книге «Святые Древней Руси» показана огромная культурно-экономическая работа монастырей. Но не подумайте, что эта книга — односторонний панегирик! В ней есть раздел о трагедии русской святости. Трагедия заключалась в том, что в определенную эпоху, в XV–XVI веках, церковное руководство, стремясь к активной социальной каритативной (милосердной) деятельности, стремилось одновременно к богатству. Казалось бы, это понятно. Святой Иосиф Волоцкий говорил: монастыри должны иметь земли, должны иметь крестьян, чтобы поднимать страну, чтобы содействовать ее экономическому расцвету, чтобы помогать людям в моменты голода и

трудностей. Задание было хорошее, но вы сами легко можете понять, к каким злоупотреблениям это все приводило. И против этой иосифлянкой тенденции выступает группа заволжских старцев.

Сам волжанин, Федотов очень любил их. Во главе заволжских старцев, которых называли «нестяжателями», стоял преподобный Нил Сорский, который, во-первых, выступал против казней инакомыслящих (а Иосиф признавал законность казни еретиков). Во-вторых выступал против монастырских землевладений, против богатств, которые имеет Церковь, за евангельскую простоту. Он настолько был противником всего церемониального, лишнего, обременяющего Церковь, что даже сделал... как бы такое абсурдное завещание... Он сказал: мне не нужно ни пышных похорон, ничего, даже тело мое пусть пойдет зверям, бросьте его в лесу (голодные волки его обглодают — по крайней мере будет польза). Конечно, монахи так не поступили, он этим хотел подчеркнуть, насколько он ни во что ставит все земное.

Православную Церковь, Византийскую, Болгарскую, Сербскую и Русскую как одну из крупнейших Православных Церквей, нередко упрекали в социальной пассивности. И вот Федотов решил показать, что это не верно.

Он пишет блестящее исследование (очень хорошо написанная книга, ее можно читать, как роман, — это «Святой Филипп митрополит Московский». В ней Федотов говорит, что если Церковь в лице митрополита Алексия, духовника Дмитрия Донского и друга преподобного Сергия, содействовала укреплению Московского государства и власти московского царя, то, как только эта власть отступила от евангельских заветов в лице Ивана IV (Ивана Грозного), так эта же Церковь в лице митрополита Филиппа начала борьбу против тирании. Вся книга пронизана пафосом борьбы, потому что Филипп, митрополит Московский, для Федотова — образец негибаемого служителя Церкви.

После этих книг, в различных изданиях выходит целый ряд статей, посвященных проблеме происхождения русской интеллигенции. Федотов с блестящим литературным мастерством показал, как в эпоху Петра I в лоне одного народа создались два народа. Они говорили на разных языках, фактически имели разные мировоззрения, одевались в разные одежды, у них была разная психология; они жили бок о бок,

как два чужих племени. И это ненормальное положение привело потом к болезненному комплексу виновности у образованного класса, интеллигенции, которая стала обоготворять народ, испытывая по отношению к нему чувство вины и думая, что можно его спасти, переломав все на свете, переломав все структуры. Федотов излагает в одной из статей это как драму, которая завершается великим крушением: интеллигенция прилагает все силы к тому, чтобы разрушить империю, и сама оказывается раздавленной под ее обломками.

Что предлагал Федотов в это трудное, бурное время? Творчество и работу. Созидание, говорил он, — это божий дар и божий призыв.

Объективность его была потрясающей! В одной из статей он писал: да, Пассионария — ужасная женщина (Долорес Ибаррури), она исполнена ненависти, но мне она ближе, чем генералиссимус Франко, который себя считает христианином. Когда вышла эта статья, в эмиграции разразился такой скандал, что профессора вынуждены были высказать ему порицание. Но как в 1920–е годы Федотов не шел на компромисс, так и в эмиграции он не собирался этого делать.

Оценивая политику Советского Союза, он всегда был объективен. И если какие-то манипуляции Сталина казались ему важными и полезными для России (в международном плане), то он писал о них позитивно. Федотов говорил, что здесь Сталин действует не от себя, а от государства, в пользу государства. Опять раздались вопли, и кончилось все это тяжелой сценой — собранием Духовной Академии, где всех заставили подписать петицию, что это «красный» человек, что он, значит, не может быть терпим, он должен публично покаяться, короче, микропартийное собрание. Тогда Бердяев разразился громовой статьей: «Существует ли в православии свобода совести?» Статья была убийственной! Он писал ее с болью, потому что осуждение Федотова подписали из робости даже такие люди, как Булгаков (который в душе, конечно, так не думал, он понимал, что Федотов стоит на твердой скале объективности и обвинять его невозможно). Академию ему пришлось покинуть. Тут грянула война и поставила всех на свое место.

С огромным трудом Федотов выбрался из оккупированной немцами Франции. Мать Мария, друг его, была арестована, отправлена в лагерь. Кругом идут массовые аресты. Отец Дмитрий Клепинин,

арестованный по обвинению в выдаче документов для евреев, которые пытались вырваться из оккупированной Франции, тоже брошен был в лагерь и погиб. Федотов, после длительных приключений, благодаря содействию различных комитетов в конце концов оказался в Америке... Больше ему в Париже делать было нечего...

Он становится профессором духовной семинарии (ныне существующей) имени святого князя Владимира. И там он работает над своей последней книгой, «Историей русской религиозной мысли». Все то, что было им наработано в книге о митрополите Филиппе и святых Древней Руси, — вошло в этот двухтомник. Увы! Эта книга издана только по-английски. Я полагаю, что Георгий Петрович писал ее по-русски, и существует, вероятно... оригинал, и можно надеяться (его родные еще живут в Америке), что он еще будет найден, и тогда, даст Бог, он будет издан и у нас, на русском языке.

Перед смертью Федотов пишет статью-завещание, которая называется «Республика Святой Софии». Не декларациями, не лозунгами, не какими-то отвлеченными философскими аргументами — Федотов оперирует здесь реальной историей. Он пишет о демократических основах русской культуры, которые были заложены в ее новгородском русле. Республика Святой Софии — это Новгород. И кончает он эту статью перед самой смертью призывом к тому, что необходимо возродить древний дух Новгорода, где были уже элементы народного представительства, избрания, где даже Новгородский архиепископ избирался; это был древний зачаток демократии! А как показал Федотов в своих исследованиях, любая культура в конце концов питается из соков своей истории. И нет основания считать, что культурная традиция России жестко обусловила тиранию и тоталитаризм. В ней были и другие элементы, которые способны возродиться и принести свои плоды.

Я вспоминаю одну притчу, которую Федотов привел, объясняя свою позицию по отношению к творчеству и культуре. Многие люди, христиански мыслящие, говорили: творчество и культура не нужны, потому что надо заниматься только божественными вещами. Федотов приводил историю одного католического святого: когда тот был семинаристом, он играл в саду в мяч; к нему подошел один монах, который решил его испытать, и сказал: «Что бы ты сделал, если бы

узнал, что завтра будет конец света?» И тот ответил: «Я бы играл в мяч».

Что это означает? Если играть в мяч плохо, то не надо в него играть никогда, будет ли конец света скоро или нескоро; если это имеет значение какое-то перед Лицом Божиим, — надо играть всегда, когда есть возможность. И он переносит это на культуру. Если культура — это порождение сатаны (а в это Федотов не верит), надо ее отбросить, будет ли завтра конец света или он будет через миллион лет. Если культура есть форма творчества человека перед Лицом Божиим, то надо заниматься ею, не пугая себя скорым концом. Ибо так пугали себя столетиями люди, которые не хотели работать, не хотели творить, которые говорили: а, все равно конец света. И в результате они оказывались в положении тех, кто расточил и потратил свои дары напрасно. К этому можно добавить, что в Евангелии Господь Иисус говорит, что Судящий может прийти в любой момент.

Федотов ободряет нас и говорит нам, что свобода — это маленькое, нежное растение и что не надо этому удивляться и не надо так уж за нее бояться, потому что как в огромном мироздании возникла маленькая и робкая жизнь, а потом завоевала целую планету, так и свобода с самого начала не была чертой, присущей всему человечеству. (Это все точно соответствует действительности. Я не буду приводить фактов, но это было именно так.)

Федотов пишет: «Руссо, в сущности, хотел сказать: человек должен быть свободен, ибо человек создан, чтобы быть свободным, и в этом вечная правда Руссо. Но это совсем не то, что сказать: человек рождается свободным. Свобода есть тонкий и поздний цветок культуры. Это нисколько не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое драгоценное — редкое и хрупкое, но человек становится вполне человеком только в процессе культуры и лишь в ней, на ее вершинах, находят свое выражение его самые высокие стремления и возможности. Только по этим достижениям можно судить о природе и назначении человека».

Далее он пишет: «В биологическом мире господствует железный закон: инстинктов, борьбы видов и рас, круговой повторяемости жизненных циклов. Там, где все до конца обусловлено необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органическая жизнь приобретает социальный

характер, она насквозь тоталитарна: у пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной стае есть абсолютная власть вожака».

Все, что пишет Федотов, точно соответствует действительности. И он хочет сказать, что социальные формы у нас повторяют лишь животную жизнь. А свобода — и есть привилегия человека. «Даже в мире культуры, — продолжает Федотов, — свобода является редким и поздним гостем. Обозревая тот десяток или дюжину высших цивилизаций, нам известных, из которых складывается для современного историка мир, некогда казавшийся единым историческим процессом, мы лишь в одной из них находим свободу в нашем смысле слова».

Я поясню. Он говорит о том, что деспотии существовали в Иране, на берегах Хуанхэ, Янцзы, в Месопотамии, в Ираке, в древней Мексике, Египте — повсюду существовали тирании, — и только в маленькой стране Греции возникает идея демократии. Как некоторого рода историческое чудо.

«Личность, — продолжает он, — везде подчинена коллективу, который сам определяет формы и границы своей власти. Эта власть может быть очень жестокой, как в Мексике или в Ассирии, гуманной, как в Египте или в Китае, но нигде она не признает за личностью автономного существования. Нигде нет особой священной сферы интересов, запретной для государства. Государство само священно. И самые высшие абсолютные требования религии совпадают в этих моделях с притязаниями государственного суверенитета...

Да, свобода — исключение в цепи великих культур. Но сама культура — исключение на фоне природной жизни. Сам человек, его духовная жизнь — странное исключение среди живых существ. Но ведь и жизнь, как органическое явление, — тоже исключение в материальном мире. Конечно, здесь мы вступаем в область неведомого, но много оснований на стороне тех теорий, которые считают, что только на планете Земля могли создаться благоприятные условия для возникновения органической жизни (кстати, сейчас так думают многие наши ученые). Но что значит Земля в Солнечной системе, что значит Солнце в нашем Млечном Пути, что значит наша Галактика во Вселенной? Одно из двух: или мы остаемся на внешне убедительной естественно-научной точке зрения и тогда приходим к пессимистическому выводу: Земля, жизнь, человек, культура,

свобода — такие ничтожные вещи, о которых и говорить не стоит. Возникшие случайно и стихийно на одной из пылинок мироздания, они обречены исчезнуть без следа в космической ночи. Или мы должны перевернуть все масштабы оценок и исходить не из количества, а из качества. Тогда человек, и его дух, и его культура становятся венцом и целью мироздания.

Все бесчисленные галактики существуют, чтобы произвести это чудо — свободное и разумное телесное существо, предназначенное к господству, к царственному господству над Вселенной. Остается неразрешенной важная загадка — значение малых величин! Отчего почти все ценностно великое совершается в материально малом? Интереснейшая проблема для философа! Свобода разделяет судьбу всего высокого и ценного в мире. Маленькая, политически раздробленная Греция дала миру науку, дала те формы мысли и художественного восприятия, которые даже перед сознанием их ограниченности со сих пор определяют мирозерцание сотен миллионов людей. Совсем уже крохотная Иудея дала миру величайшую или единственно истинную религию, не две, а одну, которую исповедуют люди на всех континентах. Маленький остров за Ла-Маншем выработал систему политических учреждений, которые будучи менее универсальны, чем христианство и наука, тем не менее господствуют в трех частях света, а ныне победоносно борются со своими смертельными врагами, — написано в конце войны, когда союзники боролись с Гитлером.

Ограниченность происхождения еще не означает ограниченности действия и значения. Рожденное в одной точке земного шара может быть призвано к господству над миром, как всякое творческое изобретение или открытие... Не все ценности допускают такое обобщение. Многие остаются навсегда связанными с одним определенным культурным кругом. Но другие, и самые высшие, существуют для всех. Это о них сказано, что человеческий гений — чудо. Все народы призваны к христианству, всякий человек в большей или меньшей степени способен к научному мышлению... Но не все признают и обязаны признавать каноны греческой красоты. Все ли народы способны признать ценность свободы и осуществить ее? Этот вопрос сейчас решается в мире. Не теоретическими соображениями, а только опытным образом можно решить его».

Таким образом, Георгий Федотов ставит перед народами вопрос, кто будет способен на свободу, а кто останется в рабстве.

МАТЬ МАРИЯ

Елизавета Юрьевна Кузьмина–Караваева (ее девичья фамилия Пиленко) родилась в 1891 году в Риге. Юность ее прошла близ Анапы. Она родилась в семье высокоинтеллигентной, с интересным прошлым. Один из далеких предков ее Конне был, странно сказать, последним комендантом Бастилии, он участвовал в наполеоновском походе, попал в плен и остался в России — это из семейных анналов будущей матери Марии, Елизаветы Юрьевны Пиленко. Ее отец был ученым — агрономом, садоводом, впоследствии, уже после ее рождения, стал директором известного всем Никитского ботанического сада. Поселок, где они жили, назывался по фамилии отца — Пиленко, а потом стал называться по имени отца — Юровка. Сейчас я хочу нарисовать вам ее общий портрет.

Она была первой женщиной — вольнослушательницей Петербургской Духовной Академии. Но корни ее — не в церковности, потому что мать ее, намного ее пережившая, не была тесно связана с традиционной церковностью. Старый мир для будущей матери Марии олицетворялся Константином Петровичем Победоносцевым — всесильным в конце прошлого, — начале нашего века обер-прокурором Святейшего Синода. Маленькая Лиза любила его, и весь старый мир у нее был связан с образом старика Победоносцева.

Те из вас, кто читал «Петербург» Андрея Белого, должны знать, что главный герой, сенатор Облеухов, в какой-то степени списан с Победоносцева. Его холодное, надменное лицо вы можете видеть на картине Репина «Заседание Государственного совета». Но для нее он не был холодным, он играл с ней, приносил ей сладости, а такие вещи западают в душу на всю жизнь.

Старый мир не был для нее слишком страшным. Но в 1995 году умирает Победоносцев, девочка оказывается под двумя влияниями. С одной стороны, это эстетствующая молодежь, те, кого называли тогда декадентами. Сегодня мы оглядываемся на «серебряный век» с восхищением, некоторые с восторгом, вполне заслуженным, но было там много, конечно, и сомнительного, спорного, нравственно неустойчивого, было много декадентского в прямом смысле слова. А с

другой — влияние тех, кто страдал за народ. Народ был божеством интеллигенции конца XIX — начала XX века. Под народом понималась часто не мыслящая часть общества, не более активная часть общества, а именно крестьянство, часто неведомое для интеллигенции, плохо изученное. Отсюда «хождение в народ», готовность пострадать за него. Елизавета Юрьевна восприняла и то, и другое.

В юные годы она встретила с Блоком. Конечно, он был кумиром тогдашней молодежи. Когда ей было лет пятнадцать, в нее был влюблен Николай Гумилев. Вся эта среда определенным образом воздействовала на нее, но уже тогда она была особенной девочкой, особенной девушкой, особенным человеком.

Вот образ ее, начертанный тогда Блоком:

Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите,
И презираете свою красоту -
Что же? Разве я обижу вас?..
Сколько не говорите о печальном,
Сколько не размышляйте о концах и началах,
Все же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и небе.
Право, я буду рад за вас,
Так как — только влюбленный
Имеет право на звание человека.

Ее воспоминания о Блоке были опубликованы. Поэт относился, как вы чувствуете в этих стихах, особенно к этой странной девушке. Казалось, она в расцвете сил — энергичная, остроумная, веселая, — и одновременно что-то лежало на ее сердце тяжкое. Это было страдание

за мир, у нее всегда было острое ощущение чужого страдания, и вот оно—то впоследствии и привело ее к революционерам: она стала членом партии социалистов–революционеров. Был даже случай, когда ей поручили террористический акт, но она почувствовала, по-видимому, что это для нее невозможно.

Вместе с молодежью того времени она ждала и звала бурю. И буря пришла, и она в этой буре участвовала, но уже в тот момент она чувствовала, насколько страшная вещь насилие, что злом добра не создашь. Она становится заместителем или, как тогда говорили, товарищем городского головы в Анапе, а потом и просто городским головой. Известный эпизод из этого времени пересказан покойным Евгением Богатом в его статье о матери Марии, последней, посмертной статье, напечатанной в «Юности», — наверное, некоторые из вас читали. Когда анархисты подступили к Анапе, они хотели получить право буйствовать в городе и расправиться с теми, с кем им хотелось. Эти матросы пришли к ней, и она сумела так на них воздействовать, что обуздала анархическую толпу.

В 1920 году она уезжает на Запад. В Париже ее христианское мировоззрение постепенно принимает законченную, цельную форму. Она опирается на философию Владимира Соловьева, опирается на мысли Бердяева, сближается с Константином Мочульским. Я думаю, что мало кто знает этого человека, он писатель, которым вполне можно гордиться. Умер тоже в эмиграции, автор замечательных монографий о Соловьеве, Блоке, Андрее Белом, Гоголе и других. Мочульский был мыслителем и писателем очень широкого диапазона и был совершенно чужд фанатизма, узости — это и привлекало к нему Елдиизавету Юрьевну.

В конце 1920–х годов она расстается со вторым мужем. Их пути расходятся. Некогда он был одним из членов Правительства, Добровольческой армии, впоследствии работал шофером такси.

А она потеряла сначала одну дочь; потом другая дочь ее, старшая, Гаяна, уехала в Советский Союз и тоже умерла. И в духовном и нравственном опыте будущей матери Марии возникает ощущение всеобщего материнства — она пережила его, сидя у постели умирающей девочки. Для нее страдание мира стало чем-то, что должно искупить, в чем должно участвовать. Я бы сказал, что во всей религиозной философии последнего столетия никто так внутренне не

пережил тайну Голгофы, тайну Гефсиманской ночи, тайну Искупления, тайну сопричастности страданию, как Елизавета Юрьевна. Она находила для этого выражение пока еще в стихах:

«Искала я таинственное племя
Тех, что средь ночи остаются зрячи,
Что в жизни отменили срок и время,
Умеют радоваться в плаче.
Искала я мечтателей, пророков,
Всегда стоящих у небесных лестниц
И зрящих знаки недоступных сроков,
Поющих недоступные нам песни.
И находила нищих, буйных, сирых,
Упившихся, унылых, непотребных,
Заблудшихся на всех дорогах мира,
Бездомных, голых и бесхлебных...»

Философское и богословское наследие матери Марии невелико, но до сих пор оно даже не собрано воедино. «Задача сегодняшнего и завтрашнего дня, — писала она, — создание новой утопии, но в хорошем смысле слова, которая бы соединила в себе небо и землю». Она оправдывает это, опираясь на Соловьева, идеей «богочеловечества». Человек призван стать богочеловеческим существом, чтобы в нем освятились и плоть, и дух. Мы — несовершенные люди, но мы — не духи, мы связаны всеми своими нитями с природой, которая тоже создана Богом; пусть она падшая природа, пусть она извращена, но она богозданна — создана Богом. Перед человеком, перед его внутренней, духовной жизнью стоит огромная задача освящения бытия. Кроме того, полный аскетизм внутри невозможен для социального строительства. Она утверждала, что социальное действие, забота о ближнем есть величайший нравственный долг человечества, человека, и Церкви в том числе. Она твердо опиралась при этом на Евангелие — попытка синтеза. И для того, чтобы осуществлять это на практике, на деле, она начинает ходить уже не в народ, а спускается в ад русской эмиграции.

Люди, потерявшие все, — часто близких, почти всегда — имущество, потерявшие родину, свой дом, профессию, многие опустелись, огромное большинство нищенствует, озлоблены — это была очень мучительная среда. И вот она рассказывает один случай.

Она пошла к каким-то рабочим из эмигрантов и стала с ними проводить беседу, а один из них мрачно сказал: «Чем с нами беседы проводить, лучше бы вымыли нам полы». И она не обиделась, она поняла вдруг правоту этих слов, немедленно повязала что-то вместо фартука и начала скоблить и скрести эту грязную лачугу. И видя это, рабочие как-то смутились, смирились, потом пригласили ее к обеду, и она с ними сидела. и поняла, что служить людям надо полностью, до конца. Она поняла, что только так можно жить, что нельзя жить наполовину, вчетверть, вполсилы — только до конца, до смертного отдания себя...

Она создала группу «Православное дело», которая имела своих преемников и наследников. С некоторой иронией митрополит Евлогий говорил, что в своей монашеской деятельности она сохранила замашки революционной женщины, борца — ему все это казалось странным. Но пострижение ее совершилось. В 1932 году даже невозможно было найти для нее монашеского подрясника, и нашли мужской, от какого-то сбежавшего монаха, и она со смехом говорила, что надо эту старенькую одежду освятить, раз у нее такая печальная история. И только позднее она смогла раздобыть себе настоящий монашеский апостольник и все остальное.

С самого начала монашество для нее было не уходом в келью, не уходом за стену, не уходом из мира, а стремлением послужить миру вдвойне. Все то, что было когда-то для себя, уходило, одно за другим уходило из ее жизни. Она читала лекции, она ездила к бедным, ходила за больными, и когда она стала монахиней, вся ее деятельность сосредоточилась на помощи нуждающимся. Она создает приюты для девушек, для нищих, создает дешевые столовые. Нам трудно это сейчас представить, но это были 1930-е годы, и эмигранты были действительно нищими. С утра она уже в своем апостольнике ходила по рынку, собирала остатки капустных листьев, и иногда сама, подолгу, по многим дням, готовила для всей этой братии.

Мать Мария была многосторонний человек, все умела, у нее были золотые руки — она и стряпала, и вышивала. Она делала для церкви красивое вышивание, это была последняя ее работа в жизни — в концлагере перед смертью она вышивала икону, которую не успела закончить. Писала, печаталась. Я специально не говорю о ее поэзии, которая целиком философская, часто это поэзия Иова...

Итак, основная концепция в том, что христианин — это человек, воплощающий в себе Христа, что человек должен себя отдать целиком, — это не декламация. Когда она приняла пострижение с именем Марии, она сказала: «Ну, теперь время для декламации кончилось». Интересно, что когда в революционные годы речь шла о том, что она пожертвовала свое имение под Анапой народу и ее спрашивали в суде: «Почему вы это сделали?» — Она сказала: «Это красивый жест». Не осталось теперь времени для красивых жестов, а только труд, непрерывный труд. И с каким весельем, с какой энергией, с каким остроумием, с каким отсутствием какого-либо ханжества она все это совершала! Для нее не было чужих, вот почему и стихи, и те философские работы, которые она опубликовала в различных эмигрантских журналах, — это не было теоретизирование, это не была заумная, заоблачная философия, а это был кристаллизованный опыт души самоотверженного человека.

Надо сказать честно, что многие православные люди смотрели на нее с недоверием, с насмешкой. Мне рассказывали некоторые бывшие эмигранты, что ее считали сумасшедшей, чудачкой, обвиняли в том, что она позорит монашескую одежду, что идет к таким вот людям, что она общается с сомнительными и отверженными. Ну, скажем, вот такой момент. Какая-то девочка попросила дать примерить ее монашескую одежду, она со смехом дала, они были обе довольны. Но все говорили: как она может! Ханжи ее не переваривали.

На одной вилле находилось ее благотворительное учреждение, Центр духовной и материальной помощи. Характерно, что она всегда старалась и духовно, и материально помочь людям. При Центре была церковь, и там служил ученый монах отец Киприан Керн, суровый сторонник строгих традиционных правил, и он был в ужасе от того, что творила эта женщина. Им было необыкновенно тяжело вместе.

В скором времени все стало легче, потому что вместо отца Киприана Керна (кстати, это был родственник пушкинской Анны Керн) пришел отец Дмитрий Клепинин, молодой священник, 1904 года рождения, сын архитектора, брат погибшего у нас в 1939 году историка Клепинина, тоже молодого, который, живя в эмиграции потом решил приехать в Советский Союз, чтобы как-то наладить мосты между эмигрантами и советской Россией, приехал в 1937 и

погиб через два года (он автор книги про Александра Невского, которая скоро должна у нас выйти).

Отец Дмитрий Клепинин был человеком глубокой веры, необыкновенно нежного сердца, твердых убеждений, всецело разделяющий воззрения матери Марии. Он содействовал ее работе в «Православном деле», ее бесконечной заботе о страдающих, он стал ее незаменимым помощником, духовным руководителем и стал ее сомучеником, ибо погиб в том же месте, где и она, то есть в немецком концлагере Равенсбрюк. Сегодня здесь (нам так повезло) присутствует Антон Аржаковский, родной внук отца Дмитрия Клепинина, я думаю, что в конце нашей беседы он, может быть, что-нибудь расскажет о своем дедушке.

Они работали вместе и тогда, когда начался трагический момент оккупации Франции. Сидеть дома, опять запереться в какой-то башне — никогда! И мать Мария и отец Дмитрий становятся активными деятелями Сопротивления. Уехав из России, и он и она никогда не теряли любви к своему отечеству. Однажды за обедом кто-то сказал, что при наступлении немцев погибло столько-то тысяч советских солдат, и один из присутствующих заметил: «Это еще мало». И тогда мать Мария сказала: «Убирайтесь вон, а адрес гестапо вам известен». Она всегда верила в победу русской стороны. И в конце концов это кончилось арестом обоих в 1943 году.

Я не буду останавливаться на подробностях, в кинофильме это все изображено достаточно ясно, хотя и, конечно, искажено. Например: есть замечательные воспоминания о том, как она находилась в концлагере. Она ведь туда попала еще до ареста, когда на велодроме собрали детей из еврейских семей для того, чтобы их потом увозить в концлагерь. Она туда пробралась и как-то пыталась помочь людям: тысячи людей, один водопроводный кран, все просто погибали от голода, жажды и скученности. Сестра генерала Де Голля вспоминает, что в самых адских условиях мать Мария окружала себя людьми и начинала с ними беседы, дискуссии, это был вызов — в адских условиях концлагеря сохранять духовную жизнь, сохранять интеллектуальные интересы, сохранять любовь друг к другу. Об этом вспоминают многие, кто находился с ней в те дни. Одна из ее союзниц вспоминает также, что они беседовали о чем-то, и подошла эсэсовка, и ударила мать Марию по лицу, а та даже не повернулась и продолжала

разговаривать, как будто это была муха, — она хотела этим показать, что не замечает этих людей.

Вместе с отцом Дмитрием и матерью Марией был арестован и сын ее Юрий — все трое погибли: отец Дмитрий и Юра от болезни и истощения, а мать Мария от истощения, может быть, умерла бы вскоре, но перед самым захватом лагеря, когда уже кончалась война, ее отправили в газовую камеру. Она была истощена до последнего предела. Об этом сохранилось множество легенд. Одна из них приводится в публикациях о том, что она якобы поменяла свою одежду с кем-то из заключенных и пошла в газовую камеру вместо кого-то. Это легенда характерная. Она не подтверждается историей, и вместе с тем она, действительно, пошла туда вместо кого-то, потому что, если бы она избрала себе путь «кельи под елью», если бы ее философия была только забавой для ума или пищей для интеллектуального наслаждения, она бы не оказалась в лагере. Но она хотела осуществить свою философию синтеза на практике, она хотела, чтобы люди видели, что Крест Христов — это не просто знак, который мы носим, а это полная отдача, и отдача за смерть...

Мы с вами, дорогие друзья, не затронули сегодня и сотой доли того огромного таинственного духовного богатства, которое содержит эта личность, но я надеюсь, что тот, кто мало знаком или совсем не знаком с этой поразительной фигурой, сегодня задумается и постарается найти материал о ней.

Итак, мы с вами прощаемся. И для меня очень важно, что мы последний штрих сегодня сделали у этого портрета, потому что, повторяю, русская религиозная философия не была никогда камерной, кабинетной, оторванной от жизни, отвлеченной. Все ее представители были мужественными свидетелями Истины, исповедниками Евангелия, все они так или иначе вступали в борьбу в жизни, все они запечатали — каждый по-своему — свои взгляды не только на бумаге, но и в жизни. Они были святыми нашей культуры, не канонизированными, но действительно образцами, на которые могут равняться нынешнее и будущие поколения.

Отдать себя до конца — вот это и есть совершить евангельский подвиг. Только этим спасается мир. Когда десятилетия тому назад, в дни юности матери Марии, был другой лозунг: «взять все» — он привел к крушению, крушению духовных и материальных ценностей.

Когда же люди учатся отдавать, они исполняют великую заповедь Христа, а эта заповедь должна распространяться и на материальную жизнь, и на жизнь общества — на все, даже на хлеб, который родит земля, ибо земля перестает родить тогда, когда становится недостойным ее человек.

Итак, эта философия, религиозная философия, упирающаяся в каменное основание христианских истин, уходящая корнями в самые основы бытийственные, через которые нам открывается величайшая тайна жизни — тайна Божественной Любви, которая создала мир и которая не только создала мир, но его к Себе привлекает. И привлекает не вообще какие-то анонимные безликие поколения, а привлекает каждого из нас.

Мать Мария благоговела перед тайной человеческой личности, и в этом она разделяла убеждения своих друзей Николая Бердяева, отца Сергия Булгакова, отца Дмитрия Клепинина, Франка, Георгия Федотова — все они были великими представителями христианского персонализма, который ставит личность на ту высоту, которую дал ей сам Создатель.

Спасибо большое.

ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ

Попытки историков объяснить торжество христианства в античном мире, как правило, неудовлетворительны. Языческий мир был миром, решившим относительно свои социальные проблемы. Это была беспримерная, устойчивая, огромная империя. Из конца в конец через три материка шли одни и те же порядки, законодательство, суд, общие языки, латинский и греческий. Было огромное литературное наследие, от которого мы сейчас имеем лишь часть; были великолепные традиции, греческие, римские и восточные; интересные мифы, религиозные сообщества, тайные общества мистерий; люди, которые занимались восточными учениями, как теперь увлекаются йогой, — тогда это все было. И приходили из Индии учителя, которые занимались пропагандой восточных методов созерцания. Были развиты естественные науки — оттуда, из античного мира, к нам пришли и математика, и физика, и астрономия.

Богатый был мир, и удивить его, потрясти было исключительно трудно. Больше того, скажем, древние культы и особые мистерияльные общества имели возможность широкой по тем временам пропаганды. Выражаясь современным языком, это была пропаганда изобразительного искусства: все города, поселки, дороги были уставлены чудесными изваяниями, фресками, рельефами, о всех событиях говорили мастера всех жанров и искусств. Римский театр был великолепен, он унаследовал традиции греческого театра. И, наконец, спорт, бани, которые тогда имели гораздо большее значение, чем теперь, как вид отдыха, форма общения.

В общем завоевать духовно такой мир было исключительно сложно. И когда появились первые христианские общины в античном мире, в Риме и в других городах, казалось, они теряются — у них нет перспектив, ни интеллектуальных, ни экзотических. Ведь даже когда приходили проповедники буддизма, они могли привлечь чем-то необычным: бритые головы, далекая Индия, страна, где живут сказочные животные и т. д. Христиане не пришли из экзотической страны, они проповедовали в рамках Римской империи, и их религия зародилась вчера на территории этой империи, да еще в довольно

захудалой провинции. Более того, в провинции, которая все время конфликтовала с имперским правительством, и последнее вечно подавляло ее, а в 70 году там и разорение устроили. И тем не менее в 111 году по Р.Х. известный Плиний, губернатор одной из провинций Малой Азии, пишет императору, который был его личным другом, что вот тут появились эти христиане — у нас храмы буквально запустели, я их преследую. И спрашивает, как надо с ними поступать, нужно ли принимать анонимные доносы, нужно ли наказывать тех, кто отрекся или признался и т. д.

Что же такое произошло? Значит, существовали общины, которые обладали силой, перетянувшей всю эту мощь античного государства. Для того чтобы определить эту силу, мы должны назвать одно только слово. Вы скажете — Евангелие? Да, но все-таки не совсем так. Когда мы говорим Евангелие», мы чаще всего представляем книгу. Но книга способна завоевать мир лишь в более поздний период, в период книгопечатания. Скажем, когда в XIX веке в Америке переводили Евангелие, то настолько в других городах ждали этого перевода, что каждую главу передавали по телеграфу в ряд американских городов. Сейчас в общем любая книга может быть пропагандирована, мы живем в книжной цивилизации, усложненной еще видеоцивилизацией. Тогда, по-видимому, все-таки так не было, книг не могло быть так много, грамотность, хотя и была сравнительно высокой, но не настолько, чтобы книги могли играть такую роль.

Поэтому если речь идет о слове «Евангелие», то только как об «учении», а ключевое слово для того, чтобы понять происшедшее — «Экклесия», «Церковь». Победила Церковь. Она создала Евангелие. Она выиграла эту битву. И если мы войдем в еще большую глубину, то мы скажем, что победило таинство Христова присутствия среди людей. Не проповедь доктрины одиночкой, а реальное соединение людей силой Духа Божия. Людей соединить по-настоящему трудно, если мы говорим не о случайном порыве, не о случайном образе, когда какой-то временный энтузиазм может разогреть их и они бегут, шумят, кричат, нет, а когда что-то прочное входит на всю жизнь, провожает человека до его могилы и уходит с ним в вечность.

Церковь и таинства. Таинство для нас очень важное понятие, потому что оно есть символ Церкви. Церковь символизирует присутствие Христа через таинства. Конечно, у нас бывает так:

приносят ребенка — мы его покрестили. Конечно, это таинство, но оно формальное таинство. А, по существу, таинство есть действие всей Церкви. И все остальные таинства есть действия Церкви.

Что же такое Церковь? Конечно, определение здесь давать трудно. Один богослов справедливо сказал, что старинное определение человека как существа без перьев, но ходящего на двух ногах верно, но в каком-то смысле неполно. И поэтому, если мы определим Церковь как общину верующих, это будет верно, но в достаточной степени неполно, потому что мало ли какие существуют общины верующих. Можно подчеркнуть, что это община верующих во Христа, но это тоже будет неполно. Поэтому я не стану здесь приводить перечисления различных попыток этого определения. Но важно одно: если человек хочет совершенствовать свою физическую природу, он может заниматься упражнениями один; если человек хочет совершенствовать свою психическую природу, он может заниматься упражнениями один или под руководством учителя, этого достаточно. Если человек хочет идти за Христом — это путь вместе, поэтому слово «экклесия» здесь было употреблено. На греческом языке этот термин применялся, когда речь шла о народном собрании. И Церковь пришла в мир в виде собрания верующих, о котором Деяния апостолов говорят, что это было нечто, где была «одна душа и одно сердце». Почему? Не потому, что это были идеальные люди, нет. Вы знаете из Деяний апостолов и Посланий, что это были отнюдь не идеальные люди, но потому что сила Божия в них осуществлялась: верные завету Христову, они жили вместе.

Конечно, здесь всегда была опасность превратиться в секту, в группу, в какой-то кружок. Почему Церковь не является сектой? Потому что она открыта всему миру. Сектантская психология закрывается от людей, как бы сворачивание, коллапс происходит: весь мир считается либо погрязшим в грехе, либо недостаточно достойным этих избранных, либо уже определенным Богом на уничтожение и многие другие вещи. Такое психологическое отношение может быть у людей, которые считают себя православными, баптистами, кем угодно. Пусть там мир горит синим пламенем, это нас не касается, — такова психология секты. — Вот мы, избранные, спасемся. Если бы Церковь изначально рассуждала так, она бы никогда не вышла из той сионской горницы, где Дух Божий на нее сошел, и где хорошо им было, когда

пришел к ним Господь. И когда Дух Божий сошел, они должны были вместо того, чтобы говорить языками, сказать: Ни шагу отсюда! Здесь обитает Дух Божий, а все те за пределами этого дома — пусть они погибают... Но этого не произошло. Как известно, они вышли и говорили, как могли.

И вот нам становится, конечно, любопытно, а как же жили вот эти первые христиане? Они жили в вере, в надежде и в любви, и еще София—премудрость. Как бы банальная триада, но тем не менее это так. Они жили в вере, потому что собирались вместе за Евхаристией и переживали единство не просто как единство друзей, единомышленников, а как какое-то особенное единство, которое Господь им давал. Они жили в надежде. Вначале надежда принимала грубые формы ожидания, что вот-вот будет конец мира. Но постепенно люди поняли, что надежда шире и глубже этих расчетов, на самом деле это надежда на то, что конец пришел, наступил, что апокалипсис начался в мире с того момента, когда Иисус Назарянин провозгласил: «Покайтесь, приблизилось Царство Божие». И начался апокалипсис мира. И все, что происходило в мире в это время, — кризис христианской империи, приход ислама, катастрофы всевозможные — было судом и апокалипсисом и имело уже не то значение, сравнительно нейтральное, какое имели восстание и гибель империи за тысячу лет до Р.Х. «Ныне суд миру сему» — мы живем в апокалиптическую эпоху, и будем жить, и будут жить наши дети, вероятно, и еще совершенно неизвестно, сколько она будет длиться, возможно, тысячу лет. Но для глобальных масштабов апокалиптическая эпоха — это когда Бог стоит перед человеком — сегодня и здесь. Христос никуда не уходил. Он остался, и поэтому каждый раз мы решаем: будем ли мы с Ним или мы будем вне Его.

И еще жили они в любви. Историки исследовали вопрос о влиянии христианской общины на окружающий мир. Заметим, что всех поражали отношения христиан между собой. Тертуллиан приводит знаменитые слова о том, что, конечно, все они суеверны, но какие женщины у этих христиан. Римляне еще не потеряли уважения к твердости нравов, сама твердость была утрачена, но оставался у них еще идеал. Этот идеал они находили в христианских женщинах. В Евангелии было дано задание: По тому узнают, что вы Мои ученики,

если будете иметь любовь между собой. И первые христиане задание выполнили.

Конечно, вокруг было много соблазнов. Был театр, куда первые христиане могли пойти со своими друзьями, но где, во-первых, они должны были все время сталкиваться с язычеством, во-вторых, со всевозможными непристойностями, которыми славился античный театр. И христианин должен был как-то решать: не стать полностью аутсайдером и в то же время не раствориться в этой толпе. Очевидно, они умели это решить. Есть статья одного исследователя о том, как жил христианин II–III века. Он начинает с утра: вставали рано — все, потому что электричества не было; как солнце встает, так все и вставали, и дальше начинается быт. Вот первые христиане на молитве, потом они идут на работу, потом у них отдых. Вот игорные дома, — все играют в кости! Там люди проигрывали целые состояния. Это был большой соблазн. Отделиться от друзей? Полностью невозможно, тем более что с ними были связаны, очевидно, и профессиональные дела. Значит, надо было сохранять свое христианское достоинство, находясь в недрах этого мира. Короче, все эти проблемы стояли тогда, как и теперь.

Первохристиане сумели сохранить свое лицо, не превратившись в секту и не отделившись от других, а нашли какое-то особое положение. Они были такими людьми, на которых смотрели, если даже с ненавистью, то и с определенной завистью, и в конце концов, хотели быть на них похожи. И это было главной причиной христианизации Римской империи, потому что вовсе не императоры об этом заботились. У императоров была другая религия. Многие историки говорили, что императоры приняли христианство, как наиболее удобное. Нет, была более удобная религия, и вы уже знаете из некоторых книг об этом: религия митраизма, исключительно популярная религия, она больше подходила для империй, для правительств, вообще для всех. Но митраизм не мог выиграть поединка с христианством. Этап второй. Начиная с момента раннего Средневековья христианство распространилось всюду. Строятся большие церкви, уже за столом не совершается Евхаристия, уже литургия совершается так, что неизвестно, где там этот священник, и уже постепенно теряются знакомые слова, потому что они произносятся на языке, который забывают народы. Церковь теряет дух

общности, и это приносит ей колоссальные утраты, огромные провалы, превращая Средневековье в полосу церковных кризисов.

Находили два выхода из этой ситуации: первый — это создание сект. Действительно, Реформация началась не с Лютера, а со Средних веков. Уже тогда стали появляться последователи Петра Вальдо, Арнольда Брешианского, Виклифа, Савонаролы, очень много было их и в России. Их преследовали, но они создавали секты. Это были люди выдающиеся, иногда мыслящие почти церковно, иногда уклонявшиеся от христианства далеко в сторону, но, несмотря на весь талант этих героев, многие из которых кончили на костре, как Гус, Савонарола, в них не дышала все-таки полнота Церкви. Они избрали свой путь, заявили, что он единственный, и все остальное отвергли — модель секты сохранилась.

А был найден средневековый компромиссный вариант: находиться внутри Церкви, но возродить дух еkkлeсии — это были монастыри, монашеские ордена. Когда люди, которые хотели всерьез быть христианами, а общество было христианским внешне, а по существу безобразным, они уходили и создавали свои общины. Иногда удачно, иногда неудачно, но каждый раз, когда возникал орден, он, я грубо скажу, становился как бы Церковью в Церкви, как мы говорим, государством в государстве. И эта обновляющая сила была огромная.

Я не буду входить в исторические детали. Сама реформация, протестантизм, очень много сделала для того, чтобы вернуть общинность церкви, и поэтому протестантские подразделения создавались как братства. Протестанты создали первые коммуны, коммунистические поселения в США, христианские. Протестанты создали первые братства, где была общность имущества, — они все время над этим работали. Но каждый раз у них это срывалось, потому что они становились узкими, и в конце концов, дух сектантства побеждал, а дух сектантства бесплоден. Возрождать монашеские ордена? — это делают, но в современных условиях это решение уже устаревшее, оно не может охватить все.

И поэтому в современной Церкви, начиная с конца XIX века, начались попытки возврата к Церкви как к общине верующих. Для этого пытались создавать различные православные братства, которые проходили под весьма разными девизами, включая даже общество трезвости. Они были связаны совместной молитвой, общей для всего

сообщества, особым трудом для конкретной цели. Особенно прекрасны были общества, которые посвящали себя заботе о больных, о беспризорных и т. д. На Западе они широко распространились, методология была разработана рядом лиц, уже в XX веке. В нашем веке вот такие небольшие приходы старались дух братства оживить прежде всего, совместной молитвой, трапезой, литургией на национальном языке, чтением Священного Писания, которое должно было вернуться в Церковь снова. Писание, взаимопомощь, совместная молитва — так были устроены общества очагов церковного возрождения. Мы не можем создавать никаких орденов, никаких братств — нам это не нужно, у нас есть Церковь. Но мы всегда должны помнить, что полнота Церкви осуществляется в братском единстве — в том же самом, что было: в Вере, в Надежде, в Любви и в Софии. Вера — это (мне всегда радостно) когда вы вместе причащаетесь, вера это Слово Божие, в которое мы углубляемся. Надежда — всегда смотреть выше и вперед, не замыкаясь в повседневности, ведь мы можем покрыться плесенью, уйти в глубину мелких забот и вообще не жить, не жить, а волочить жизнь. И в Любви — слово, конечно, невероятно затащенное, но другое нам придумывать ни к чему... а вот подумайте: пройдет много лет, разные люди будут в вашей жизни, но те, с кем вас связывало что-то духовное, останутся — это связь особенная, она ничем не может быть заменена, потому что она вечная. Мы всегда ориентируемся на временные вещи, вот как школьники, студенты объединены вместе, все это хорошо — но это временное. И только если что-то такое глубокое связывает их, тогда связь сохраняется. Есть ли здесь какие-то препятствующие факторы? Конечно. Если посмотрите Послания апостолов, вы увидите, что были и у первых христиан соперничество, и ревность, и грехопадения, была даже простейшая жадность, поскольку все приносили еду, но некоторые, принеся много, думали: я принес, а этот ничего не принес и будет есть — и скорей пытались наесться. Смешно, но апостол Павел об этом пишет просто с отчаянием...

Таким образом, у нас в жизни есть определенный эталон, это не значит, что надо его имитировать. Один французский писатель-атеист предположил, что если бы сегодня апостол Павел прошелся по современным городам, то он бы узнал христиан только в баптистских собраниях, все остальное он, вероятно, принял бы за языческие

богослужения. Это верно внешне. Безусловно, баптисты имитируют, довольно удачно и успешно, первохристианские общины. Они стремятся выйти из сектантского замкнутого круга, они хотят ассимилировать христианскую культуру России — это очень положительный штрих...

Значит, для того чтобы быть христианином в Церкви, надо не быть сектантом и в то же время не быть человеком, который служит двум господам. Вот — Сцилла и Харибда. Сцилла — сектантство, православное или баптистское, когда мы говорим: все это светское, все это нам не нужно, все это нам чужое и т. д. А Харибда — это мимикрия полная, когда они матерятся и ты материшься, они озорничают и ты тоже, как бы из солидарности, конечно, но это плохая солидарность.

Значит, христианин должен быть другом язычника, но христианином, должен сказать: я за тобой пойду всюду, но вот здесь, извини, я должен остановиться... Не обязательно в такой именно форме, но по существу это так.

И еще одно: так было задумано изначально. Ибо первые слова о человеке, которые Бог говорит: нехорошо ему быть одному; и когда Он создает ветхозаветную Церковь, то призывает Авраама, и тут же говорит, что из него произведет целый народ; речь, конечно, идет о народе Божием, о народе, не об отдельных избранниках Божиих, которые ходят среди толпы, а о народе, народе не в этническом смысле слова, а в смысле особенном, духовном. Потому что кроме этнических народов есть народ Божий, который охватывает десятки всяких этносов. В сущности говоря, народ Божий может быть даже тогда, когда он насчитывает единицы; когда существует один приход, он уже есть Церковь, в нем есть все: в нем есть Христос, Священное Писание и Таинства, которые и есть присутствие Христа. Если рассматривать не административно, не регионально, не организационно, не инстанционно, а реально. И так говорили и Отцы Церкви: каждая поместная Церковь, т. е. каждое место, где совершается Литургия, это уже есть Церковь во всей своей полноте вот такая, как она есть. Как вам это пояснить? Если взять какой-то организм, то часть его, которая содержит весь набор хромосом и т. д., то эта часть уже своего рода организм в миниатюре, она содержит всю модель целиком...

Вот вкратце о том, как выглядели первохристиане, что делали люди, когда Церковь стала государственной, и как первохристианские модели стали возвращаться и в Россию и на Запад.

НАДЛЕЖИТЬ БЫТЬ РАЗНОМЫСЛИЮ

В Новом Завете есть слова: надлежит быть между вами разномыслию. Что это означает? Это означает, что христианство, единое по духу, единое по корню своему, единое по своей богочеловеческой, мистической основе, — на уровне человеческом, интеллектуальном, социальном — многообразно.

Попытку пренебречь этим мы имеем в столь почтенном институте, как единый латино-католический христианский мир. Попытку сделать единый стиль жизни: молитвы, богослужения, идеологии — во всем христианском мире. Это, конечно, прекрасно. Прекрасно потому, что в этом внешнем единстве проявлялось единство внутреннее. И человек, приезжающий с берегов Средиземного моря в холодные снега северных Скандинавских стран, мог услышать тот же напев латыни и видеть статуи тех же святых, которые видел в своих краях. Но на самом деле эта попытка в значительной степени искусственная. Намерение ее благое, плоды часто бывали неплохие; кстати, только этим и держалась Европа в Средние века, тем, что Церковь была едина организационно, но, как известно, это привело к восстаниям и мятежам среди различных христианских группировок с разным стилем жизни, стилем душевным, стилем цивилизации. Восстание северных племен в виде Реформации, откол азиатских племен в виде монофизитских несторианских церквей, обособление Восточноправославной Церкви как определенного этнопсихологического ареала, который впитал в себя наследие Византии и ряда славянских стран.

Не все славянское тождественно с православием, например Польша. Польша — довольно сильная по цивилизации славянская страна, принадлежащая другому этнопсихологическому ареалу. Сейчас эти границы переместились, смешались и мы не можем уже сказать, хотя часто слышим, что вот эта страна имеет единый стиль и дух. Нет такой страны, которая имела бы один и тот же стиль и дух, потому что XX век — век бесконечных перевоплощений и влияний. Тем не менее, если смотреть с птичьего полета, эти пятна географические остались.

Что же нас сегодня интересует? То, что внутри Православной Церкви уже давно намечалось многообразие ее ликов и форм. И мы не должны смотреть на те формы, которые нас не устраивают, которые кажутся нам устаревшими, как на нечто дегенеративное или же как на пережиток минувших веков. Мы должны на это смотреть как на одну из форм духовности. Более того, здесь нам становятся понятными слова Нового Завета: «Надлежит быть разномыслию». В столкновении различных идей, установок мы яснее понимаем свои позиции. Поехав впервые на Запад уже с церковной установкой, Владимир Соловьев говорил, что вернулся он «более православным, чем был». Почему? Он увидел Запад, который знал по книгам, он увидел людей, почувствовал, что по своей душе, по своей психологии все-таки принадлежит Востоку. И, будучи пионером экуменизма, одним из первых, кто принес жертву на алтарь соединения Церквей, он осознал очень прочно свою связь с восточной традицией. Значит, знакомство с чужим — не бесполезно...

В мироощущении человека дохристианского было два полюса — динамический и статический. На статическом полюсе находились мировоззрения очень высокие, очень продуманные, с большой традицией, с высокой интеллектуальной культурой; они рассматривали бытие, в котором мы существуем, как нечто данное раз и навсегда. В любом виде — подчеркиваю. Либо это бытие угасает и потом возрождается вновь, как на Востоке, в индийской или же греческой философии; либо оно просто пребывает неподвижно, как у египтян. Но величайшие умы человечества — от первых жрецов древнего Востока до философа Аристотеля — этой идеи придерживались. Почему такая идея глубоко укоренилась в человеке? Она соответствует тому, что мы наблюдаем в окружающей нас природе, циклам : зима, лето, восход, закат и т. д. Вторая точка зрения — мы будем называть ее динамической — родилась не как размышление, не как вывод из некоторых позитивных данных природы или чисто интеллектуальных отвлеченных процессов.

Идея динамики родилась из Откровения, разум вовсе ее не подсказал. Нам теперь кажется это несколько странным. Когда мы имеем перед собой картины эволюции звезд, эволюции растений, эволюции материи и т. д., нам кажется, что динамизм присущ природе. Но до н.э. никто не подозревал, даже Аристотель, который стоял

буквально рядом — один шаг ему до эволюционизма. Поскольку он всю градацию живых существ как бы просмотрел, ему и в голову не приходило, что мир — это движение. Мир был статичен. Ни о какой динамике люди не догадывались. Значит, в Библии учение о мире становящемся было откровением, внушенным Богом через вдохновение, а не данным в виде некоей рефлексии — размышления над фактами, которые человек уже тогда имел в руках. Христос, пришедший на землю, идею динамизма усилил вдвойне, т. е. поставил идею Царства Божия в центр. Мир идет к свершению, мир идет к полноте, мир идет к тому, что все люди станут сынами Божиими. Царство Божие у Христа символизируется ростом. Смотрите, как Он любил притчи о семени. Семя произрастает, поднимается закваска — все это увеличивается, направляется вверх, определяется целью. Есть великие религиозные системы, есть великие приближения к Богу. Бог отвечает человеку: Да, Я слышу тебя. Но Я говорю, что впереди у тебя бесконечная цель, ты еще не достиг того, что Я хочу тебе дать.

Такова основная идея Библии — идея становления, — хотя идей в ней очень много. Современные философы называют это линейной концепцией развития, идущей вперед и вверх. Секулярным, светским, внерелигиозным детищем этого мировоззрения является учение о прогрессе, возникшее в послеренессансную эпоху. Учение о коммунизме как вариант такой доктрины полагает, что мир должен прийти к светлому будущему. Психологически это совершенно понятно, потому что из поколения в поколение сотни лет наша цивилизация — европейская и русская — воспитывалась на христианских основаниях и поэтому верит в светлое будущее. Между тем наука времен Аристотеля или Платона не имела никаких оснований верить в светлое будущее. И само по себе знание совершенно не обязывает верить в то, что все будет хорошо. Напротив, имеется столько аргументов в науке, что мир сгорит, замерзнет, рассыпется в прах или эпидемии уничтожат человечество. Не только нет никаких гарантий светлого будущего, но, напротив, очень многое опровергает его. Между тем — эта вера есть. И она наследие христианства. Философ Лукреций видел мир умирающим. Если кто-нибудь из вас заглядывал в его книгу «О природе вещей», помнит, что он говорил: наступает мировая осень, мир клонится к закату. Так чувствовали все язычники. И греческий поэт Гесиод в «Трудах и днях»

выстраивает свою систему веков. Первым был век золотой, а дальше все хуже и хуже... Тот, в котором живет он, — век железный. Все приходит к концу, к естественному угасанию мира. В древности все было лучше.

А христианство говорит, что лучше будет впереди. И это основывается на Священном Писании. Когда Евангелие пришло в античный мир, начался процесс взаимопроникновения. Это — не отвлеченность, друзья мои, не история. Мы сейчас продолжаем питаться духовно, церковно и интеллектуально продуктами этого взаимопроникновения.

Церковная жизнь времени Константина была периодом взаимопроникновения язычества и христианства. Взаимопроникновение началось еще раньше, со II века. Можно ли считать, что это катастрофа, что это провал, что это неудача христианства? Ни в коем случае! Можно ли считать, что это замечательно и прекрасно? Тоже нельзя. Однозначного ответа нет. Принимая в себя элементы язычества, христианство тем самым освящало все то прекрасное, что было в наследии веков от Индии до Нового Света. Мы можем сказать, что мимо Бога не прошло ни одно сердце, которое обращалось к нему на протяжении тысячелетий. Мимо мировой красоты не прошла ни одна искорка прекрасного, которая была в истории искусства.

Где бы ни рождались языческие концепции, они несли в себе нечто такое, что христианство могло принять не из соображений компромисса, конъюнктуры, а принять потому, что это было достойно.

Если некоторые наши песнопения имеют отзвуки гимнов Озирису, то меня это только радует, потому что до нас дошло вечное предчувствие воскресения, которое древний египтянин переживал на берегах родной реки. В окружении бесплодной пустыни он вдруг видел, как из глины, из этой земли, из этого ила поднимаются первые ростки. Он видел, что солнце вытягивает их вверх, и пел «Озирис смертию смерть поправ». И эти прекрасные слова мы повторяем, Церковь их берет. Опять-таки скажу, что в Церкви было достаточно поэтов, чтобы придумать свое. Но это было слишком хорошо, это была дань уважения, если хотите, любви и приятия ко всему внебиблейскому миру, который мы называем не совсем точно язычеством. Но этого мало. Есть нейтральная символика — например,

наши крашеные яички, наши куличи, наши пасхи, всевозможные западные обычаи, которых вы не знаете, но которые взяты из язычества. Это нейтрально, и это — прекрасно. Почему прекрасно, потому что связано с плотью, с миром, с природой. Рождественские елки, прорастающий в ящичках овес и лежащие там крашеные яички — это с детства западает в душу, в этом есть некий гимн природы, связанный с нашим духовным пониманием Богоприсутствия в мире. Но было в таком соединении немало и отрицательного. Были и прямые компромиссы. Взять в христианский гимн великие слова «Смертию смерть поправ» — компромиссом не было, а вот взять в христианскую жизнь и христианские законы правила, которые прямо противоречат Церкви и Евангелию, — это уже опасно. Я сейчас не буду развивать подробно эту мысль, развитую достаточно у Владимира Соловьева в его реферате «Об упадке средневекового мировоззрения». Резюмирую второй тезис. Христианство, рассматривая себя в мире, усвоило частично статическую модель. Дальше не развиваю, это ясно.

Третий тезис: возникает средневековое мирозерцание, которое, с одной стороны, сохранило еще библейское стремление вперед, в Царствие Божие. Здесь есть учение аббата Иоахима Флорийского о трех заветах — Ветхом Завете, Новом Завете и будущем Вечном Завете. Но, с другой стороны, восторжествовала идея мира остановившегося. Может быть, кто-нибудь из вас любопытствовал, просматривал современные книги о Средних веках, где эта идея выглядит так: сверху Бог, внизу ангелы, ниже король, потом еще святые вокруг Него, бароны... такая статическая иерархия. Небесная иерархия и земная, связанные между собой, отраженные одна в другой. Законченное и остановившееся общество. То есть повторение того, что было на Древнем Востоке.

Следующий тезис касается общества, которое пыталось изобразить, что воля Божия в нем уже совершилась, а людям от него стало тяжело. Средние века вовсе не столь прекрасны, как их романтически теперь представляют, и мне всегда нравилась сказка Андерсена «Галоши счастья» про волшебные галоши. Помните, как один человек восхвалял Средние века, а потом внезапно перенесся на средневековую улицу, потонул там в грязи, и еле выбрался оттуда. Так вот, эта картина — будем называть это советским языком — феодального гнета, который освящался именем Церкви, — мрачная

картина, весьма. Надо сказать, что самые большие зверства инквизиции осуществлялись государством. Испанская инквизиция была именно королевской. Тогда возникает страшная идея, пессимистическая, которая тянется красной нитью через все средневековое мировоззрение до наших дней. Идея неудавшейся истории. Пришел Господь и что-то обещал нам. Он принес нечто необычное в мир, что никак не осуществляется. И тогда возникает напряженный апокалипсизм и эсхатологизм, говорю так для краткости. Вы понимаете: мир не вышел, мир не удался, и единственное его спасение, что суд Божий все это разломает и выбросит вон. Отсюда возникают революционные секты, движения, всякие анабаптисты, старообрядцы, перечислять не буду — вы знаете. Отсюда возникает и очень рано развившийся аскетизм, причем аскетизм не евангельского духа, а аскетизм, который идет уже под знаменем мироотрицания.

Евангелие учит нас, что любовь Предвечного к этому миру столь велика, что Он отдает Себя, силу Свою отдает, чтобы мир был спасен. И вдруг оказывается, что мир — это нечто ужасное, что его надо только наказывать. Геенна огненная. Отсюда происходит бегство из мира, начавшееся в александрийскую эпоху в IV веке, в Средние века бурно развившееся. Я не хочу сказать, что заимствованное у языческих религий монашеское движение не имело значения в Церкви. Имело — и для углубления духовной жизни, для развития молитвенной и созерцательной практики, для сохранения духовных, научных и богословских ценностей и ценностей культурных. Монастыри были местом, где писались фрески, создавались книги, сохранялись и разрабатывались научные теории и достижения. Тем не менее сама идея, что мир погиб, погряз в грехе, а мы, тут собравшиеся, спасены, — эта идея, конечно, была Евангелию чужда. Совершенно чужда Тому, Кто говорит о пастухе, оставляющем 99 овец, чтобы отыскать одну. Что же, христианство не было аскетично? Нет, оно, конечно, элемент аскезы внесло. Однозначного ответа не существует. Но если вы хотите найти однозначный ответ, то его можно изобразить диалектически: отказ от мира для того, чтобы вернуть мир на другом уровне.

Для тех кто читал индийские книги, можно легко пояснить, что мир не ради мужчины дорог, а ради атмана дорог мужчина, что через Бога все возвращается к нам в лучшем виде, иными словами:

преображение мира. Наиболее ярко это можно видеть в личности и жизни святого Франциска. Он дошел до предела аскетизма. Оставил отца, дом, профессию, превратился в нищего. Не так, как иные монахи. Он потерял все. Казалось, что для него мир прогорк насквозь. Между тем не было человека в средневековых святцах, более любящего каждую козявку, каждого человека, каждое животное, каждое явление природы, — он относился к ним как к братьям и сестрам, вы знаете. Так вот это—то и есть подлинное евангельское отношение. Франциск Ассизский проповедовал заново Евангелие средневековому миру, забывшему его по вполне понятным причинам. Заново. Аскет, который любил мир.

На Востоке жил один святой, не буду называть его имени, — очень прославленный. Он не мылся сорок лет, обвязал себя веревками, тело его гнило, к нему невозможно было подойти из-за дурного запаха. Но это был политический реакционер, поддерживающий исключительно репрессивные действия против язычников, иудеев; к нему за советом обращались императоры. Когда же они пытались действовать по своим законам, не в христианском духе, он сразу направлял послов из своей пустыни с соответствующими инструкциями. ... Не нам, конечно, судить о святых, но — Евангелию. Оно судит о святости. При свете Евангелия видно, что все это не нужно. Нам не проповеданы ни гнилые веревки, ни столпы... Человек не может стать святым, если он не ходил в баню сорок лет... Так рассказывает предание.

В результате трудных испытаний Церкви с неба был дан великий дар — и вы не улыбайтесь, дар этот — а т е и з м. Воинствующий атеизм и все антихристианские движения. Случилось бы самое страшное для Церкви, если бы этих движений не было, если бы не было атеизма. Боюсь, тогда действительно христианский мир задушили бы атеисты, имеющие облик христиан. Я имею в виду всяких «великих инквизиторов». Достоевский в силу своей исторической ограниченности считал, что таковыми должны быть прелаты латинской Церкви. Но это совершенно международная категория, интерконфессиональная. Такими могли быть и кальвинистические пасторы, очень могли быть. Могли быть и православные... Значит, атеизм — дар Божий. Это вовсе не поражение христиан. Это великая, исцеляющая, оздоравливающая нас сила. Мне

могут возразить: «Отец Дмитрий Дудко говорит иначе». Но мы толкуем о разных вещах. Он поносит безбожников, и — за дело. У меня же иная точка зрения. Более, так сказать, высокая. Конечно, плохо, что закрывают церкви. Кто скажет, что хорошо? Плохо и с точки зрения закона, и с точки зрения верующих. Но я уверен, что ни один храм не был закрыт без воли Божией. Всегда отнималось только у недостойных. История Церкви есть та же самая библейская история, где действовал закон условного обетования. Вам даны жизнь и смерть, говорится в книге Второзакония, избирайте сами себе путь. «И не говорите себе, что у нас храм Господень, — предупреждает Иеремия. — Будет уничтожен и храм, и о ковчеге никто не вспомнит». Казалось бы, храм — место, где обитает Сам Господь. Он выбирает его для Своего невидимого мистического присутствия, и Он же превращает его в место, где будут бродить шакалы. Относится ли это только к храму Соломона или к храму Ирода Второго? Нет, это относится к любому местопочитанию Богооткровенной религии. Это относится ко всем храмам. Конечно, мы жалеем храм Христа Спасителя, который был разрушен. Бесспорно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что было что-то в нашей жизни христианской, позволившее его разрушить. Конечно, мы жалеем о том, что храм Ирода, столь великолепный, был разрушен. Но он был разрушен, потому что так случилось. Такова была карма, так сказать, историческая. И поэтому я считаю, что одна из главных установок сегодняшних христиан, есть не борьба с атеизмом. С атеизмом боролись много. Я недавно читал стенограмму диспутов 1920-х годов. Очень хорошо там Александр Введенский разбивал Луначарского. Это была борьба с атеизмом. Но это внешняя борьба. Внешняя. А нам нужно гораздо больше бороться с лжехристианством внутри каждого из нас, это важнее. Потому что атеизм приходит как продукт нашего недостойства. Сегодня Церковь должна услышать призыв, обращенный к себе: «Врачу, исцелися сам». Я понимаю, гораздо легче говорить: мы хорошие, мы — носители истины; они — носители лжи, они — гонители, а мы — гонимые и так далее... Это легче — раз, во-вторых — внешне это подтверждается фактами. К тому же приятно. Понимаете, приятно! Нарцисстический комплекс присущ людям, всем незрелым существам. И приятно говорить о себе, о своей группе, о своей общине, о своей Церкви, о своем народе, приятно говорить

приятное. Но это все относится к области незрелого мышления, незрелого душевного строя. Да. И вы можете это легко проверить. Проверить, какое доставляет удовольствие поносить противника, даже нашего идеологического: как его разделали! Это так, но это не решение проблемы. Мне бы хотелось, установка моя такая, чтобы мы решили прежде всего свои внутренние проблемы, чтобы мы могли быть готовы к свидетельству перед миром. Потому что у меня всегда есть опасение: Вот завтра... Дай нам полную свободу и выведи нас на площадь(беседа происходит в брежневское время. — Прим. ред.), мы такого петуха дадим, что стыдно будет. Лучше обратно в катакомбы бежать, завернувшись с головой в пальто. И я думаю, что Господь Бог, просто жалея нас, не дает нам возможности особенно выходить на поверхность. Потому что мы похожи на богачей, которые не знают, как воспользоваться собственным богатством, похожи на того скупого рыцаря, который умирал от немоги и голода, а на самом деле имел все.

Теперь следующий пункт. Что же может лечь в основу обращения к самому себе? Во-первых, во-вторых и в-третьих. То, что называется Богочеловечеством. Слова такого нет в Новом Завете, но оно лежит в его основе. Христианство есть религия союза Бога с человеком. Завета. Мы — участники Божественных деяний. Мы не просто потребители, праздные зрители, недоумки, нуждающиеся в некоем патронате. Это тоже принято и свойственно людям. Хочется, чтобы Церковь была матерью. Расчет инфантильного сознания: кто-то будет нас пасти, кто-то будет водить... Как сказал мне один ученый муж, люди очень хотят быть даже обманутыми. Этого не должно быть в Церкви. Мы все несем за нее ответственность, за то сокровище, которое нам вручено. Можем ли мы сейчас, на пороге третьего тысячелетия, на пороге второго тысячелетия крещения Руси, возвращаться к средневековому состоянию христианского мышления? Некоторые люди, особенно молодые, сегодня готовы к этому. Готовы по лености мысли, по невежеству. Они полагают, что в XVII веке было лучше, чем теперь. Однако, если бы они попали в какой-нибудь застенок XVII века, посмотрел бы я, каково им... Сплошь и рядом мы встречаемся, сталкиваемся с непониманием мысли о Богочеловечестве. Несвобода. Людям хочется несвободного христианства, люди тянутся именно к рабству — это страшно и встречается каждодневно, и мы с этим

непрерывно сталкиваемся. Люди не хотят свободы. Причины разные, но — это факт.

Между тем Новый Завет устами апостола говорит: «К свободе призваны вы, братья! «Призваны к свободе. Людям же хотелось всегда иного. Под куполами древних соборов сохранился Христос в виде Пантократора, который как бы нависает, гигантский, со страшными глазами, нависает над толпой. Насколько мало он похож на Христа, который пришел в мир и сказал: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Он, скорее, Зевс-громовержец, Перун, все, что угодно, но не Христос. Художник, конечно, волен изображать свое представление, но важно, что в этих образах запечатлелась тенденция, рождающая несвободу. Я вовсе не говорю о том, что человек может быть фамильярен с Богом и пренебречь благоговением. Тот, кто не знает благоговения, никогда не приблизится к Богу; оно — обязательнейшее условие духовной жизни.

Итак, несвобода. Мы с вами, и особенно старшее поколение, знаем, что такое несвобода на практике. Люди, страдающие сейчас ностальгией по прошлому, напоминают мне рабочих, которые переговариваются в поездах: Вот Сталин — это был хозяин. Многие уже не застали той эпохи, но они нуждаются в хозяине. Понятны человеческое чувство, человеческая стихия. Но нам это не нужно. Это из звериного мира. У нас есть Господь. Он вовсе не хозяин. Он Тот, Который умер за нас и каждого призвал быть Его соучастником. Каждого. Вы скажете, это трудно, не все люди активны. Сказано каждого — значит, способен каждый, в той или иной степени, в той или иной мере своего существования — найти свое место на этом пути.

От теории перейдем к практике. Обозначим принцип, трудный принцип — открытость. Открытость к проблемам, внутренним и внешним, открытость к противникам и к миру. Положение, конечно, трудное и неудобное. Похоже на замок, в котором открыты все двери, — сейчас придут враги и овладеют замком. Но нет, если он принадлежит сильному господину, господин может совершенно спокойно спать, ибо достаточно силен.

Сейчас мы не имеем возможности двигаться в направлении реформ, они сегодня не возможны, но многое, по-видимому, уже стучится в нашу жизнь... Все вы духовно и умственно воспитывались

не на схоластике, вы читали не догматическое богословие Макария, по которому учились раньше, вы читали произведения новой, преимущественно русской религиозной мысли. Русская религиозная мысль шла под знаменем свободы, открытости, готовности решать проблемы мира, решать богословские проблемы. Она была очень жизнеспособной, очень смелой, гораздо более смелой, чем современные западные религиозные мысли. Значит, в этом отношении уже было что-то сделано.

Далее — совместная молитва. Храмовое богослужение — это лишь одна из сторон церковной жизни. Некоторые мои знакомые христиане говорят: чтобы быть христианином, достаточно работать на своем месте, а в воскресенье приходить в Церковь, помолиться и уйти. Изредка, в определенное время приходить к Таинству. В некотором смысле это не лишено основания, как хоть какая-то почва для всего. Но на самом деле Церковь задумана не просто как помещение, где собираются люди, а как общение. А общение дело — трудное. Люди различных характеров, разных настроений, иногда занудливые, самые непохожие и совсем не ангелы. Некоторые из вас, приходя в Церковь, думают, что здесь все так крылышками и шуршат, а потом оказывается, что здесь нет крылышек, тут хвостов не хватает ... Поэтому мы должны быть готовы, как говорит апостол, тяготы друг друга носить с величайшим терпением, иначе — чего мы стоим?

Далее — общение. Общение в молитве, общение во взаимопомощи. Кто-то скажет: «ну, взаимопомощь... какое это дело?! Тимур и его команда! «Мне этот Тимур — укор, как веткой в глаза. Потому что Тимур, вроде бы чуждый нам по идеологии, поступал как христианин, а мы из-за своего антисоветского снобизма, простите, или я не знаю, как это назвать, хорошие вещи представляем плохими. Мы уже не умеем отделить хорошее от плохого лишь потому, что все как-то усвоено, утилизировано в газетах. Одному молодому человеку я объяснял простую вещь — необходимость трудиться. Я ему говорил: Тебя ждет моральный распад, если ты не будешь работать. Разве сачковать на работе или быть «профессиональным» халтурщиком, ни на что не способным человеком в своей области, — это христианская добродетель?!

Раньше приход составляли люди, жившие неподалеку от храма. У них были общие дела. Сейчас же — мы все из разных мест. В

настоящее время приход становится эквивалентом общности людей совершенно другого типа.

Теперь относительно возможностей общения. Кроме общих дел, молитвы и познания христианских истин, необходимо знать Священное Писание. Вовсе для этого не нужно быть богословом, вовсе не нужно быть специалистом, библиистом. Каждый христианин должен знать Священное Писание. Очень хорошо. Этому можно учиться совместно. Всю жизнь его можно читать и всегда находить нечто совершенно необыкновенное. Если мы этого не будем делать, мы окажемся в положении людей, которые знают все, что угодно, кроме самого главного. В процессе такой новой христианской жизни, которая не столько оглядывается назад, сколько смотрит вперед, сами собой будут вырабатываться новые способы жизни в XX веке. Вы понимаете, сейчас дуют очень холодные ветры, сейчас мир становится другим, и многим хотелось бы сделать свою веру теплым прибежищем — убежищем от этого бурного и неуютного мира. Может быть, в этом и есть что-то справедливое. И все-таки вера нужна нам не как опиум, а дана нам как сила жизни, сила борьбы и сила упования, а не еще одно анестезирующее средство. И если мы не докажем Марксу, что религия для нас не опиум, мы будем плохими христианами. Я считаю, что он был вдохновлен Богом на эти слова, чтобы бросить нам вызов. Бросить вызов христианам. Как же мы его принимаем?..

Итак, вот вам маленький эскиз наших христианских установок. Должен заметить, что, если бы на моем месте был о. Дмитрий Дудко, он говорил бы о другом; если бы здесь был о. Всеволод Шпиллер, он тоже говорил бы иначе; если бы здесь был... и так далее. Каждый говорил бы свое. Значит ли это, что я не хочу считать справедливыми их слова, а они — мои? Нет, не значит. Я закончу тем, чем начал, — многообразна, как говорит Писание, Премудрость Божия. Пути должны быть многообразны. И если Церковь когда-то раскололась, раскололась именно потому, что люди не могли понять: многообразие и единство — условия совместимые. Мы должны понять это сейчас. Да, многообразие будет, но оно не должно превращаться в антагонистические, разрывающие друг друга группировки, а также в расколы и секты. Если вам встретятся типы христианства иные,

призываю вас к терпимости, хотя это и трудно. Спорить бесполезно.
Каждый должен трудиться — рассудит же всех Бог.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИИСУСА

Вопрос о человеческой индивидуальности Иисуса некоторым людям кажется совершенно неважным, потому что внутренне воспринимая Христа Спасителя, видя Его внутренне, они полагают, что уже совершенно не имеет значения, каков Он был в глазах окружающих Его людей. Но догматически, богословски, глубинно это на самом деле очень важно. Потому что иной подход как бы сползает в сторону монофизитства — древней ереси, которая видела в Христе только Божественное, но не видела в Нем человеческого. И именно Вселенские Соборы настояли на том, что Христос был совершенный Человек. Совершенный не в том смысле, что Он был каким-то совершенным, прекрасным человеком, — это и так очевидно, а в том, что Он был полностью человеком. Во всем, кроме греха, Он был человеком. Если мы это воспринимаем во всей тайне Богочеловечества, которая для нас так важна, то разве может существовать человек без каких-то ярких индивидуальных черт, без каких-то особенностей, которые Его личность обрисовывают?

Разумеется, в прямом смысле слова в Евангелии мы этого не найдем. Потому что Евангелие написано как книга не беллетристическая, не историко-описательная, там нет Его портрета, нет каких-то черт, которые мы привыкли находить в романах или у античных авторов: Он делал то-то, Он выглядел так-то. Поэтому довольно трудно обрисовать Его образ, как нас учили когда-то в школе, скажем, как образ Кутузова в романе «Война и мир».

Образ Христа в Евангелии трудно найти в такой полноте, как писали выдумывавшие, создававшие Его образ люди. Но тем не менее, поскольку нам это важно, мы можем все-таки вычленить в Евангелии такие моменты, которые для нас дороги. Иногда дороги принципиально, потому что Его способ жизни и действия является для нас примером и живым образцом. А с другой стороны, дороги просто сами по себе, как, скажем, Его излюбленные способы выражаться — это вовсе не значит, что мы должны выражаться именно так, но Иисус нам становится ближе, когда мы понимаем, какие у Него были привычные, избираемые Им слова. Для того чтобы не выдумывать, а

именно найти подлинные черты, конечно, требуется некоторая работа. Но вот вам набросок.

Его легко увидеть по контрасту. Возьмем пророка — он ходит в какой-то необычайной одежде: Илья-пророк ходит во власянице, Иоанн Креститель в шкуре верблюжьей. Назареи не стригут волос, духовенство носит свою одежду, философы имеют свою форму (в древности у философов была форма — такой плащ короткий, и все знали: вот идет философ). То есть люди как-то выделяются. Примечательно, что у Христа ничего подобного не было.

Дальше. Мы очень редко находим у Него такой исключительно возвышенный пафос, который был у пророков, у поэтов. Он говорил очень простым языком. Хотя сейчас в Евангелии, которое переведено в XIX в., это не так заметно, потому что евангельский текст стал для нас священным, но на самом деле в оригинале речь очень проста, ее даже передать трудно.

Что Он любил? Он любил гиперболы. Надо же было придумать про верблюда и игольное ушко; сколько толкователей говорили, что это не верблюд, а канат из верблюжьего волоса, что это были такие узкие ворота, которые назывались игольными ушками, и что в них не может пройти верблюд, а Он имел в виду обыкновенного здорового верблюда и настоящее маленькое игольное ушко. И когда Он говорил, что фарисеи отцеживают комара и проглатывают верблюда, — это опять излюбленный Его способ выражаться. И когда Он говорил, что зерно горчичное — самое маленькое из всех зерен, — это тоже гипербола; совершенно не обязательно, чтобы оно было ботанически самое маленькое, но важно, что оно вырастает в такое большое дерево. Вероятно, это не баобаб выростал, но, вы понимаете, это образ по контрасту. Некоторые детали, которые при первом чтении должны бросаться в глаза, оказываются опять гиперболами. Женщина, которая замесила тесто, положила туда закваску и взяла определенное количество муки — тем количеством муки, которое там указано, можно накормить не семью, а целый полк. А почему? Потому что она берет горсточку этой закваски и берет кучу муки. И, конечно, здесь был элемент педагогический — чтобы это запомнилось. Понимаете, это ярко! У Него не было стертых изречений, таких максим — стандартных, среднеарифметических. И «до неба вознесшийся, до ада

низвергнешься» — это тоже очень характерное для Него высказывание.

Мы даже образ жизни Его можем почувствовать. «Утром вставши рано, когда еще не восходило солнце, пошел, уединился в молитве» — значит, Он вставал рано. Он любил уединяться; можно найти много мест о том, что Он любил уединяться, но когда за Ним приходили, Он тут же откликался, Он не говорил: о, оставьте! Есть старинное предание об одном подвижнике, который сидел на высоком столпе и там предавался созерцанию; это был великий подвижник, но, когда к нему пришли мать, родные, он сказал, что не будет иметь с ними дела, «умрох бо миру», как говорится там. Мы, конечно, уважаем его, но у Христа мы не находим этого, Он сразу спускается. Вот, например, в рассказе Марка Он ушел, уединился, но тут же собрался народ, и Петр к Нему побежал: «Все Тебя ищут». Он ответил: «Я для того и пришел» и пошел туда. И евангелист Марк говорит, что собрался народ, так что некогда было и поесть. Это значит, что жизнь Его была насыщена все время.

Или если проследить географически Его пути по карте: встал и пошел, и пришел, скажем, в Самарию. Это все пешком, в условиях довольно жаркого климата, огромные расстояния. И только в одном месте Евангелия, как вы все помните, сказано, что Он утомился во время жары — жара бывает там до 40–50 градусов, — когда Он сел у колодца в Самарии. Значит, мы не можем Его представить каким-то хрупким, воздушным, как Его изображали на слащавых католических картинках прошлого столетия. «Пошел и удалился туда-то» — это значит десятки километров прошел.

Некоторые авторы подчеркивают: Христос никогда не смеялся. Прямого текста, где было бы сказано, что Он смеялся, нет, но юмора и иронии в Его речах очень много. Кстати сказать, Христос создал жанр притчи, потому что в Ветхом Завете слово «притча» означало афоризм (было такое слово машаль, оно означало «краткая мысль»; мы его переводим как «притча»). А маленькая новелла, рассказ почти не встречались, бывали такие случаи, но их буквально считанные единицы во всем толстом Ветхом Завете. И Христос был первым, кто эти маленькие новеллы превратил в изложение каких-то высоких истин. А зачем, почему? Потому что это было слово жизни. А какое же «слово жизни», если сказать, что «все народы равны»? Это общее

место. Он рассказывает притчу, скажем, о милосердном самарянине. И заметьте, что в этих рассказах, этих новеллах вывода почти никогда не бывает (как в баснях: «Мораль сей басни такова...» — этого не бывает). Почему? Это не случайно. Потому что в притче Он дает ситуацию, и человек должен внутренне, как говорят, экзистенциально, почувствовать эту ситуацию и найти ответ. Свой ответ. Ведь в притче о милосердном самарянине на вопрос «кто ближний?» книжник же нашел ответ! Христос просто рассказал, что была такая ситуация, и спрашивает, кто ближний? Собеседник говорит: тот, кто сотворил ему милость. Тогда Он отвечает: ты иди и твори то же самое. Вот сегодня в Евангелии читалось слово Христово, Он объяснял ученикам модель притчи о сеятеле и сказал: вам дано все ясно, а им в притче. Почему? Потому что Он учеников готовил быть проповедниками, и Он им показывал эту схему, каркас, на котором притча держится. А когда Он ее давал людям, она должна была звучать без этого заднего плана, чтоб люди сами нашли ответ. Кстати, и тайну своего служения Он не декларировал, а спросил: за кого принимают Меня люди? За кого вы Меня почитаете? То есть Он всегда ждал активности со стороны людей, чтобы они нашли этот ответ.

Так вот, возвращаясь к иронии, к юмору, я бы сказал, что семьдесят процентов притч должны были быть произнесены и услышаны с улыбкой. Начиная даже с маленького примера, когда Он говорит: «Ну, ничем не угодишь им. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, живет в пустыне — говорят: «в нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет — говорят: «вот, обжора и пьяница»". И дальше Он говорит: «Вы похожи на детей, которые играют в игру», и спел им детскую песенку из какой-то неизвестной нам игры: «Мы вам пели печальные песни, а вы не плакали, мы вам веселые песни пели, а вы не смеялись»; то есть «до вас никак не доходит».

Теперь дальше. Скажем, когда человек устает, когда он чувствует, что не может до Бога достучаться, Христос приводит ему историю почти чеховскую, о том как вдова «достала» судью, который Бога не боялся и людей не стыдился, но вот с этой вдовой ему пришлось считаться, так как он понял, что она вообще не даст ему жизни. Это вовсе не значит, что Он предлагал людям, так сказать, заниматься таким сутяжничеством, Он просто показал, что такое истинная настойчивость.

Или о человеке, который должен был принять гостей, но у него ничего не было и он побежал к другу, к соседу, а тот: я уже сплю, я не могу встать... А этот все равно стучит, и тот подумал: он же мне спать не даст, — пошел и дал. А почему, для чего это нужно было? Потому что люди, воспринимая эту картину, как-то вспыхивали. Они не сидели занудно, слушая какие-то нравоучительные истории. Они, наверняка, улыбались, когда Он это рассказывал. У нас эти тексты сакрализированы. Они и сохраняют свою сакральность, но сакральность раскованную, сакральность, я бы сказал, с улыбкой. И очень многие притчи таковы. И даже та притча, которая кажется нам трогательной, — она, учитывая нравы людей Востока, тоже с улыбкой слушалась. Женщина потеряла деньги. Но, когда она подметала пол и нашла их, она не просто сказала: ну, слава Богу, — и положила их; она побежала к соседям: слушайте, смотрите, я же нашла деньги, что потеряла, — это живая сценка. (У нас об этом очень хорошо написано в «Богословских трудах», в эссе, которое называется, если я не ошибаюсь, «Евангельские мотивы».) Понимаете, это была и Его жизнь.

Теперь посмотрим притчи, которые дают другие учителя великие, те, чьи мысли сегодня живут в религии, в философии нашего столетия. Возьмем притчу Платона о пещере и людях, которые сидят в пещере. Картина романтическая и фантастическая: люди, которые закованы в пещерах, смотрят в стену, а там проходят тени и т. д. Он пытался передать таким образом, что мы видим реальность только отраженно. Или буддийские притчи, они обычно сказочно-фантастичны, там действуют разные фантастические животные, возникают какие-то необычайные ситуации, там почти нет ничего обыденного. Между тем притчи евангельские все очень просты по сюжету. Единственная притча, которая как бы выходит из этого жанра, — это притча о богаче и Лазаре. В ней фигурируют уже и тот свет, и этот, и пропасть между ними, но это единственная притча, в которой Господь как бы обыграл уже существовавший, расхожий сюжет; единственная притча, где Он воспользовался как бы готовым материалом. Подобные тексты есть в египетских памятниках, это, конечно, был бродячий сюжет.

Очень хорошо писал Чарлз Додд, один из крупнейших современных толкователей Библии, директор издания «The New English Bible» (было такое большое издание, в котором участвовали десять протестантских церквей): есть известное изречение, что

стиль — это человек; и вот когда мы читаем наиболее древние тексты Евангелия, то есть те, которые могут звучать как наиболее аутентичные, мы в них начинаем видеть Того, Кто это говорит. Как многие современные толкователи, Чарлз Додд сделал обратный перевод — перевел греческие тексты Нового Завета на арамейский или древнееврейский языки (на каком языке Христос говорил с народом, вопрос спорный). И выяснилось, что большинство речений Иисуса были ритмичными, они все говорились, как стихи, произносимые вслух. Это были почти поэмы. И если вы внимательно читаете некоторые речения Христовы, вы сразу увидите, что в них присутствует поэзия. Ритмичность заметна даже в русском переводе. То есть произносилось это на арамейском или древнееврейском, потом переводилось на греческий и, наконец на русский — и вы все равно чувствуете: «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное; Блаженны плачущие...» — это явная ритмика, которая указывает на поэтический прообраз.

Но нужно заметить, что на Востоке поэтическая структура отличалась от западной. Скажем, у греков был четкий размер, к примеру, гекзаметр; рифмы бывали реже. В европейской поэзии рифмы стали нормой. В поэзии средневекового Востока были очень своеобразные рифмы: рифмованные двустиишия, в которых рифмовалось предпоследнее слово, а последнее слово было одно и то же. (Если вы возьмете Алишера Навои или Низами, то увидите там это очень часто. Подобным образом писал и Шота Руставели.)

На древнем Востоке одним из признаков поэтической структуры была игра образами: в двустиишии в обеих строчках повторяется одна и та же мысль, но данная по-разному. Или мысль повторяется в антитезисе — противопоставлении, или в нарастании. Я могу открыть любое место в Библии, и вы сразу увидите, как часто это встречается. Когда толкователи выясняют, где в Библии поэтическая часть, где прозаическая, то этот самый параллелизм выявляет поэтическую часть.

Я могу взять любой текст. Вот, открываю псалом 1:

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых
и не стоит на пути грешных
и не сидит в собрании развратителей...»

— это трехстишие, в нем варьируется одна и та же мысль. И далее двустишие:

«но в законе Господа воля его,
и о законе Его размышляет он день и ночь!».

Так было на всем древнем Востоке.

Так вот, в Новом Завете это очень часто присутствует в речах Христа. Значит, не отвлеченное философское рассуждение, а целостное поэтическое видение присутствует в речах Христовых.

Если мы возьмем начало Евангелия от Иоанна, то увидим, что и сам евангелист начинает свой текст явно поэтически. Поэзия звучит даже в тройном переводе (вероятно, подосновой Евангелия от Иоанна тоже был арамейский или древнееврейский текст):

«В начале было слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть,
и без Него ничто не начало быть, что начало быть...
И свет во тьме светит,
и тьма не объяла его»,
— это всюду присутствует.

А сколько можно найти в тексте Евангелия всевозможных черт Христа! Вот, например, евангелист ничего не говорит о свойствах Его взгляда. Но! Он подходит к берегу и говорит будущим ученикам (они занимаются своим делом): «Следуй за Мной», — и они тотчас же, оставив все, пошли за Ним. Значит, что-то такое произошло. Или, неоднократно говорится: «Иисус взглянул на него» — и сразу что-то подействовало.

Есть еще одно косвенное соображение. Древнехристианские писатели, пытаясь представить себе тайну уничижения Бога во Христе, говорили, что Он обладал каким-то невзрачным видом, что у Него были какие-то телесные недостатки, — они исходили из пророчества Исайи, гл. 53, где говорится о страдающем праведнике: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Но, будьте спокойны: если бы что-то такое было, то в полемике этого времени (раннехристианского) Его противники это обязательно бы использовали. Но мы не находим нигде ничего, даже

малейшего намека на что-то. Уж что там, Тамерлан немножко прихрамывал, так он даже прозвище получил — «Хромой». А здесь не было ничего...

Особого богословского значения этот поиск не имеет, но он дает нам возможность увидеть Его живым среди живых людей.

Мы никогда не видим колебаний у Него — это признак полной, абсолютной уверенности: решает — и делает; никакой раздвоенности: апостол Павел размышляет, думает, просит, чтобы Бог его вразумил, — Он никогда. Апостол Павел ссылается на Писание, как бы опирается на него, а Христос говорит: «вот, в Писании сказано, а Я говорю вам...».

Если некоторые критики прошлого века, да и нынешнего, пытались доказать, что в Евангелии Христос показан только человеком, что все это (то есть Божественное)росло потом, то ведь Нагорная проповедь — это один из древнейших текстов. И уже из этого текста явствует, что Христос говорил о Себе совершенно в ином духе. Заметьте, что Он никогда не употреблял формулу, которую постоянно, традиционно употребляли пророки. Пророк, выступая в храме, всегда начинал свою речь сакральной формулой: «Так говорит Господь», — и дальше он уже говорил от лица Божия. То есть тем самым он подчеркивал, что является только рупором, только глашатаем, только передатчиком. Между тем, все проповеди Христа идут только от Него Самого...

Видите, как много можно найти в Евангелии, если поразмыслить.

А одна история Отрока Иисуса в храме чего стоит! Это Его характер и Его юность — все вместе. Ведь Он так увлекается разговором с этими учителями, что забывает обо всем на свете. Он просто беседовал с ними о Законе Божиим и забыл и про родителей, и про всё. И Мать говорит Ему: «Мы с болью (с болью!) Тебя искали!» — а Он сказал: «Мне должно быть в доме Отца». Значит, Его тянуло сюда, в дом Божий...

Причем сразу ясно, какова разница между Евангельским текстом и традиционной интерпретацией этого места, скажем, в иконописи: на иконе в центре — Отрок Иисус, большого размера, вокруг какие-то старцы сидят, маленькие фигурки, а Он сидит и их поучает. Теологический смысл этих изображений понятен. Таковы же возрожденческие картины, картины XIX в.

Но в Евангелии совсем не так: Он слушал их, Он задавал им вопросы, и «Они дивились Его уму» — всё.

Он был глубоко проникнут в религиозную традицию, это доказывают сейчас исследования древних текстов, которые Он очень часто цитирует, не называя их, — реминисценции старых молитв и так далее. Тем не менее, ни к какой официальной школе Он не принадлежит. Что, кстати, было одной из причин, почему на Него так обрушились законники — потому что там были школы, там все учителя, как говорится, были дипломированные, только они принадлежали к разным направлениям. А таких «партизан» не было, пророков не было, считалось, что этот институт уже упразднен. А тут: как Он знает Писание, не учившись? Буквально — «не пройдя учение». А что это значит? Что Он не прошел школы. Речь здесь идет не о грамоте: грамоте учили всех детей; Иосиф Флавий пишет, что детей с самого начала учат грамоте, чтобы все умели читать Библию.

И есть еще очень маленькие штрихи, которые в русском синодальном переводе не всегда заметны. «И тяжело вздохнув, Он сказал: «О род неверный!»»; «Посмотрев на них с гневом, Он сказал: «О род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? ""»; или: «Возмутился духом», — то есть пришел в печальное состояние.

Или когда богатый юноша пришел к Нему, сказано: «Иисус, взглянув на него, полюбил его», то есть Он сразу его полюбил, Он был способен к этому. И по существу, после казни Иисуса все, что оставалось у учеников, это привязанность к Нему, потому что уже надеяться было не на что. В одном рассказе Чехова (он называется «Студент»), показано, что эта удивительная особенность Христа именно как человека, делает эти строки бессмертными.

О ВНУТРЕННЕМ ШАГЕ

У каждого из вас есть свои причины — внешние и внутренние — этой усталости. Надежды на то, что ситуация какими-то способами — когда наступит наш отпуск, скажем, или еще что-то — радикально изменится, напрасны. Потому что мы уже не раз ходили в отпуск, и столь же согбенны ковыляли дальше.

Мы все молоды — вы, во всяком случае. Наш век — славный, счастливый, я не жалею, что живу в этот век, но все-таки он для homo sapiens — тяжелое испытание. Тем более, что мы живем в большом городе. Значит, на нас лежит, как камень, напряжение. Ну что тут делать?

Есть всякие рекомендации — аутотренинг и прочее. Я изучал их и практически, и теоретически. Я выяснил, что только тот, кто располагает избытком свободного времени, может этими вещами заниматься — в сущности, весьма неплохими. Факторы, которые на нас действуют, может быть, даже нам неизвестны. Мы знаем, каков процент врожденной наследственности, каков процент бесконечных столкновений на работе и дома — в общем, трудно. Мы молоды и должны быть полны жизни, но у нас с этим делом плохо. И для нас естественные пути регенерации, возрождения работают слабо или почти не работают. Поэтому я просто хочу вам напомнить то, что вы знаете без меня отлично, что есть сверхъестественные пути, что у нас другого нет ничего. Только через рычаг духа можно в конце концов получить дополнительную силу, можно преодолеть душевную вялость, душевную слабость и прочее. Для этого не нужно, как в аутотренинге, особых методов концентрации, особого какого-то продолжительного времени. Для этого нужно, как вы хорошо знаете, — я просто напоминаю общеизвестные вещи — не меньше 6–10 минут в день (я беру сейчас все по минимуму) для молитвословия, в любом состоянии — просто читаешь, читаешь. Не меньше времени — для Евангелия и вообще Священного Писания, Евхаристия и молитвенное общение. Четыре этих вещи. Это не теория, это проверено прочно на практике.

Очень многие люди, приходя ко мне с этой немощью, нашей общей, потом говорят: «А я этого не делал». Я не знаю в этот момент, что им сказать. Потому что это происходит подобно тому, как врач человеку говорит: у тебя больная печень, ты не должен есть жирное, соленое и прочее, а он приходит и говорит: доктор, я каждый день наворачиваю сало и ем каждый день селедку. Доктор разводит руками...

Существуют определенные методы, они дают определенные результаты. Понимаете, это практика, причем она не личная моя, она вековая, тысячелетняя, двухтысячелетняя и дальше.

Но главное — это держать все четыре момента. Это очень хорошо запоминается по сравнению, которое я вам приводил. Стоит стол: одна ножка выпадает — он колеблется, ломается вторая — он падает. Но все-таки мы должны себе напоминать, что дар Божий, и благодать, и благословение Божие — это не есть панацея или лекарство какое-то. Потому что в таком случае наш эгоцентризм, наше требование к Богу будет на первом месте стоять. Не мы хотим быть чем-то для Него, а хотим, чтобы Он стал чем-то для нас, служебным чем-то. Итак, с этой установкой получается плохо. Получается в общем, но плохо.

Здесь необходим какой-то огромный внутренний шаг. Я не могу его описать. В одной трагедии у Байрона описывается потоп. И там стоит человек на скале и говорит монолог. Он говорит, что он так доверяет Богу, что пусть даже все потонет, но он все равно умирает с полным упованием. Это очень хорошо сказано. Вот если вы почувствуете, что у нас нет точных сведений ни о бессмертии, ни о том, ни о другом, но есть воля Божья, которая направляет все — как, мы не знаем. И что мы оттого лишь имеем смысл, что она направляет это все, и что мы имеем в этом потоке значение постольку, поскольку к Нему мы причастны. Если мы не хотим превратиться просто в мусор истории, который завтра исчезнет, мы должны быть к этому причастны. Значит, Его тайна на первом месте, она главная. А не то, что у меня болит голова и я хочу помолиться, чтобы голова прошла. Бывает так, что и проходит. Но все-таки, это установка неверная. Значит, я начал с того, насколько это нужно, глубоко нужно, но я хочу это скорректировать: такой эгоцентрический, потребительский подход не может быть всецело правильным. Здесь нужно что-то еще принять, искать не только для себя. Но это уже дальнейший шаг.

Теперь еще одно. У нас есть три главных молитвы. Это прошение (самая наша любимая молитва), покаяние и благодарение. Прощение благословенно и заповедано. И в «Отче наш» есть прошение. Но заметьте, что начинается молитва «Отче наш» не с прошения, а с чего-то совсем другого. С принятия, согласия: «Да будет воля твоя», «Да приидет Царствие твое». А уж потом сказано: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Понимаете, в этом есть какое-то раскрепощение внутреннее. Мы не свободны, и мы должны начинать с того, чтобы как-то освободиться от всего, расправить свои душевные «плечи», которые сторблены под бременем. Не помню, кто-то сказал, что если соблюдать хотя бы наполовину Нагорную проповедь, то все комплексы проходят. Это в самом деле так. Нас все время грызет что-то, правда ведь? Все время грызет. Причем, это превращается уже в невроз: это надо делать, это надо делать, все надо делать. И потом становится не помощью, а помехой, потому что превращается в навязчивую идею, превращается в тяжелый фон озабоченности. И вот тут вспомните, что мы смертные, и что жизнь коротка, и что Господь сказал: не заботьтесь о том, что есть завтра, что пить. Но Он сказал именно в таком смысле. Глаза страшатся, руки делают. Сегодня делают. Даже если мы составляем планы на будущее, они должны быть свободным эскизом, а не давящей какой-то вещью, которая тебя делает рабом.

Мы свободные, и потом мы счастливые, несмотря на те немощи, которые нас сгибают, потому что мы причастны тайне благодати Божией, нам открывается много удивительного и замечательного. Кроме того, у нас есть братья и сестры, они есть здесь, они есть в храме, они есть по всему городу, они есть по всей земле. Мы включены в вечное божественное. И еще одна удивительная вещь. Мы можем через божественную призму рассматривать все — научные формулы, любые феномены — все, что хотите. Я сегодня утром, когда убирался, включил телевизор, увидел там осьминога. Божественное зрелище, просто божественное зрелище. И эти несколько секунд — фильм, к сожалению, быстро кончился, я включил его в самом конце — просто привели меня в состояние полного восторга. И любая вещь может вызывать в нас восхищение. Мы должны не терять этой способности, способности свежо посмотреть на вещи, на своих близких, на окружающий мир и стараться быть легкими на поворотах, легче жить. Уметь отодвинуть от себя, когда нужно, удручающие нас

обстоятельства, подняться над ними и быть вольными странниками. Мы же странники. Мы вообще здесь гости, пришельцы. Апостол Павел говорит: все мы на земле только странники, только гости и пришельцы. В одном апокрифическом Евангелии Господь Иисус говорит, что мир — это мост, по мосту ведь переходят.

Вот мы говорим об Отце, Который на небесах, а что такое Отец? Это наше родство, это Тот, Кто нам родственен больше всего. И что значит — «на небесах»? В ином измерении бытия наше отечество. «Отечество» я имею в виду не в смысле земного рождения или какой-то душевной привязанности, тут другое дело совсем. Душевная привязанность может быть к твоей улице, к твоему дому, к твоему языку, к твоему городу, к твоей стране. Это естественное свойство человека. А есть иное, то, что мы называем отечеством. Трудно это передать, но Лермонтов пытался передать в известном стихотворении про душу, которую ангел нес на землю, когда она должна была родиться, и в ней навсегда остались звуки пения ангела. Это в данном случае только образ, но образ очень глубокий, потому что у нас есть другая родина. Нас связывает нечто с миром духа, поэтому мы гости, поэтому нам иногда бывает неуютно в этом мире; и частично это правильно, потому что мир полон грубой материи, мир во зле лежит, мы с ним сталкиваемся, и он нас ранит. Тем более нам важно, понимаете, призвать Духа.

А Дух приходит, особенно когда мы вместе. Поэтому мы собираемся в храме, поэтому молимся вместе, как можем. И вот приближаются к концу пасхальные дни, это время кончается, и мы как бы снова все это переживаем. И вновь воскресший Господь приходит к нам, как в Эммаус, когда Он пришел к ученикам. Он говорит: «Мир вам». Мир вам — это было не просто древнееврейское приветствие. Конечно, Он и поздоровался с ними, но Он в это вкладывал и еще нечто очень глубокое. На древнееврейском языке слово «шалом» (мир) означает не просто «без войны», а особое состояние благословения, особое состояние мира души, близости к Богу, и вот этот мир мы и просим у Него. Мир с Богом, мир между собой. И будем так молиться, чтоб понять, что он и сейчас с нами, сейчас с нами. И слово Божие будет с нами, и мы его понесем домой, и оно будет в нас жить, и в конце концов давайте жить светло и в уповании. Мы — счастливы, которые своим счастьем не пользуются, и богачи, которые своим

сокровищем не располагают и не употребляют для себя. Поэтому сегодня все смоём — наши обиды, наши огорчения, наши тревоги и ожидания, наши грехи, наши тяготы. И будем просить, чтобы Господь нас укрепил.

В этом самое главное. А сейчас помолимся:

Христос воскрес из мертвых
смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав.

Отче наш, Иже еси на небесех.

Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим,
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого.

Воскресение Христово видевше,
поклонимся Святому Господу Иисусу,
единому безгрешному,
Кресту Твоему поклоняемся, Христе,
и святое воскресение Твое поем и славим,
Ты бо еси Бог наш,
разве Тебе иного не знаем,
имя Твое именуем.

Приидите, вси вернии,
поклонимся святому Христову воскресению,
се бо прииде Крестом радость всему миру,
всегда благославяще Господа,
поем воскресение Его,
распятие бо претерпев,
смертию смерть разруши.

Господи Иисус Христе!

В этот вечерний час, в этом городе, где почило
Твое благословение, среди всех страданий и грехов и бед,
Ты, страдавший и принявший на Себя

язвы человеческого рода,
потому что возлюбил нас, Ты, пришедший сюда,
будь с нами,
Господи, Ты нес Крест,
научи нас нести ради близких страдания и труд.
Господи Иисусе Христе,
Ты видишь наши язвы и наши немощи,
влей в нас силу, сделай нас твердыми, мужественными,
достойными
свидетелями Твоего Божественного Евангелия.
Господи Иисусе Христе,
дай нам в те дни, которые Ты нам отпустил,
пронести, как знамя, Твой Крест.
Господи Иисусе Христе, помоги нам.
Благодарим Тебя за все чудесное,
что Ты даешь нам в Природе, в храме, в Таинстве,
в Твоем Священном Писании, в том, что написали люди,
вдохновленные Тобой, в наших близких,
в наших любимых, во всем том,
что нас увлекает, волнует, удивляет.
За все благодарим Тебя, Господи.
Дай нам быть истинными носителями Твоего Имени.
Аминь.

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Что дает нам Дух Божий в Церкви? Разумеется, те, которые будут ориентироваться на церковный бытовизм или посредственность, никуда не продвинутся. Будут говорить: ну, другие ходят в храм и не лучше нас, не хуже нас. Такой подход, конечно, совершенно не годится для нас. Почему? Потому что, если мы действительно хотим хоть искру усвоить из этого огня, тогда нам надо ориентироваться только на самые высокие идеалы. Вы скажете: мы же не способны, мы слабы — у каждого есть свое что-то: семейные обстоятельства, болезни, черты характера.

Бог может из самого неспособного сделать способного, только надо желать, надо, чтобы воля к этому была, и все. Более того, из самых, может быть, негодных могут получиться наиболее пригодные, чтобы люди не думали, что это только их заслуга. Апостол Павел говорит: «Посмотрите, много ли вас призвано премудрых и разумных?»

Итак, немощных избрал Бог. Может быть, мы с вами будем себя считать премудрыми и разумными, потому что у нас есть дипломы? Но, в сущности, много ли они значат?

Надо сохранить внутреннее единство между собой, потому что на этом стоит также и Церковь. «Сколь добро и сколь красно, когда братьям жить вкупе». Понимаете, человек, который считает себя православным, приходит в храм, находится там среди чужих людей, уходит домой и остается один. Он живет в Церкви всего на несколько процентов. И не потому мы знаем друг друга и вместе как-то живем, что это наша прихоть, или что это моя выдумка, или ваше желание скрасить кому-то одиночество.

Это изначальный замысел:

«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди вас».

И если вы проследите историю Церкви в тот момент, когда в ней действовали непосредственные ученики Христовы, вы увидите, что она строилась не на колоколах, не на колокольнях, не на иконах, не на пышных храмах, не на барочных алтарях, не на блестящих облачениях,

не на премудром богословии — она строилась на общении людей, в вере, молитве и взаимной помощи.

Почему мы должны постоянно обращаться к истокам Церкви? Потому что каждый человек как бы очищается, возвращаясь к истокам своей душевной жизни, своего рождения, своего детства, или к истокам своего духовного детства, когда он сделал первые шаги по духовному пути. Мы как бы всегда на это ориентируемся, мы как бы выправляем по ним свой путь, и мы свой путь христианский, церковный, выправляем по Евангелию.

История Церкви — исключительно меланхолическая наука, она изображает в основном грехи людей. История Церкви — по фактам — преимущественно история отпадения людей от Христа, измены Ему на уровне слов и дел. Часто история Церкви — это история искусства, история культуры, история философии, история войн, история конфликтов, гонений инакомыслящих и т. д. И найти в истории христиан подлинную историю Церкви с большой буквы — это искусство, искусство не простое. Мы это можем сравнить с большой рекой, которая после наводнения или какой-то катастрофы несет мусор, трупы, бревна, где же там чистая вода?.

Мы всегда должны ориентироваться на первоначальное евангельское апостольское христианство — так учили нас Отцы Церкви. Отцы Церкви являются основателями, основой Церкви как структуры, и у них было два ориентира: первый, они всегда оборачивались на апостолов, всегда; второй, они всегда были открыты к миру. Проблемы, которые волновали мир, волновали и их — социальные, культурные, даже политические проблемы очень их затрагивали. Некоторые люди, ориентируясь на Отцов Церкви, думают, что надо вернуться просто подражанием. Но надо вернуться не на имитации, а в духе их. Когда мне какой-нибудь псевдоправославный ортодокс говорит: «Ну, что вы читаете светскую литературу! Надо читать святых Отцов!»

Обычно эти персонажи святых Отцов не читают. Если бы они читали, тогда знали бы книгу святого Василия Великого, одного из замечательнейших Отцов Церкви, имя которого носит литургия. Специальная книга написана им о пользе для юношества чтения языческих сочинений, языческих авторов. Значит, Василий Великий думает так, а они, ссылаясь на святых Отцов, думают совершенно

иначе. Этим прикрывается не только косность мысли или что-то другое, этим прикрывается язычество, глубоко живущее внутри каждого из нас. Язычество в нас живет.

Язычество есть естественная религия, язычество есть порождение человеческой психики, стремление человека установить связи с таинственными силами, которые существуют, и каждый из нас язычник. В трудные минуты мы всегда готовы гадать, волхвовать. Если бы в соседней комнате находился хиромант, который точно предсказывает будущее, все бы либо пошли, либо не пошли только от стыда, но хотели бы пойти узнать свою судьбу. Язычник заключает сделки с таинственным собеседником, он находится в мире, который ему непонятен, он хочет им таким образом управлять. И в нас, где-то глубоко в душе, это живет — мы перед лицом неведомого, как у Блока, «страшного мира».

Христианин это разрывает, потому что он с доверием идет, и для него не существует страшный мир, это то, что у него под ногами. Язычник в нас сидит потому, что в каждом из нас находится сорок тысяч лет язычества — и только две тысячи лет христианства.

Язычество нам всегда легче, естественная религиозность всегда проще. Она свойственна людям. И часто то, что люди выдают за православие или другую христианскую религию, есть просто естественная религиозность, которая является своего рода опиумом народа. Она работает как вид духовной анестезии, является типом приспособления человека к окружающей среде. И тогда над всем этим можно выставить лозунг: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». И множество людей, которым холодно на этом свете, стремятся в это тепло и представляют себе христианство в виде... ну, если не бани какой-то, то, по крайней мере, какого-то исключительно теплого места, в виде лежанки, где можно согреться.

Это все не так! Даже если бы я был мусульманином и пришел к вам, просто изучив ваши христианские книги, я бы сказал: Господа, это не так! Ваша религия в этом совершенно не заключается. Бог ваш — огонь пожигающий, а не печка теплая, и Он вас зовет в место, где дуют все холодные ветры. Так что ничего подобного нет. Вы приспособили, вы адаптировали к своим потребностям человеческим какое-то совершенно иное учение. Вы сделали его обычной народной религией.

Религия вырастает из психологии человека, народа — народ — это не значит, крестьянин или рабочий, — она вырастает в человечестве. Проблема язычества в христианстве очень сложна. Почему я сделал такое отступление? Потому что я хотел бы, чтобы вы, общаясь, хоть в малой степени нашли бы в себе силы двигаться к истинному христианству. Есть такое слово, есть даже такая книга у святителя Тихона Задонского «Об истинном христианстве». До него протестантский писатель Иоганн Арнд написал книгу (очень популярную в России и в других странах в свое время), которая тоже называлась «Об истинном христианстве». Значит, христианство может быть и истинным, и псевдоистинным. Псевдо всегда удобнее, всегда нас больше устраивает, и поэтому в религиозной жизни наших современников очень часто господствует церковная нечестность, когда человек предпочитает то, что ему удобно, спокойно и хорошо, что его оправдывает, успокаивает, что ему нравится. Совсем не к этому призвал нас Господь, Который сказал, что «врата тесны» и «путь узок». Еще и еще раз нужно понять, что вот этот дух — не тепло, а огонь. Это огонь.

Если мы будем жить в этом огне, который будет в нас сокровенно гореть, сокровенно, мы тогда сможем идти по холодным местам и не замерзнем. Христианство похоже не на печку теплую, а на ядерный реактор, в котором внутри происходят непостижимые для человека процессы, которые как бы стимулируют огромные ступени, зависящие от этого ядра.

Значит, такая цель — найти в себе истинное христианство, я подчеркиваю, найти в себе. Я был бы очень огорчен, если бы вы подумали: «Ага, он говорит, что мы — истинные христиане, а эти, дундуки, они — не истинные». И сразу линия между овцами и козлищами пролегла бы таким образом, что на стороне овец оказались бы мы, а на стороне козлищ все те, кто нам не угоден. Я нарочно подчеркнул, что язычник живет в нас. Истинное христианство нужно найти в себе...

Вот как можно сформулировать: честность, беспощадность к себе, прежде всего вместе находить то, что от нас хочет Господь в конце концов, что мы должны сделать на земле за эту короткую жизнь. И устремляясь к этому, мы найдем именно истинный путь. И будем честно себе говорить, что это в нас говорит совсем другое, это

работает как механизм компенсации, самооправдания... Помню одного человека, который крестился незадолго до того, как я с ним познакомился. Он был фанатик, страшно нетерпимый. До этого он был нетерпимым коммунистом, потом фашистом, потом еще кем-то — менял очень много разных нетерпимостей. И вот он пришел в Церковь. И я вижу, что у него пена возникает, когда он говорит о неправославных и атеистах. Он не был честен по отношению к себе и не заметил, что, по существу, этот нелепый фанатизм крылся, конечно, в его характере, в его эмоциональной структуре, в чем-то физиологическом. Вместо того, чтобы понять, что это порок, с которым надо бороться, он поставил на нем крестик или, вернее, православный крест восьмиконечный, и заржал тем же самым голосом, только другой текст был, но интонация—то была та же самая. Это такой очень яркий случай, мы все этим так или иначе страдаем и как бы перекрываем путь для источника Божьего, который должен бы в нас бить.

Вот цель наша, ваша: совместная молитва, общение, понимание...

РОЛЬ ЦЕРКВИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Если мы задумаемся о роли Церкви в современном мире, обществе, во всем Советском Союзе или хотя бы там, где большинство населения православные, то у нас возникает картина сложная или, я бы сказал, малоотрадная. Потому что в разных слоях населения есть глубокая, постоянно растущая потребность в духовных ценностях, потребность в поиске, в осмыслении веры, которая распространена в массе населения; нельзя сказать, что у нас распространился атеизм: у нас воцарилось глубочайшее религиозное невежество, или язычество, а стремление к чему-то высшему, стремление к духовным вещам осталось. Ответ на это стремление дает Церковь. Потому что Церковь является инструментом Христа, инструментом христианства. Она обязана проповедовать то, что Христос нам дает. Она должна продолжать Его жизнь на земле: проповедь, служение и воплощение через таинства, т. е. ее присутствие должно быть присутствием Христа в мире.

Если мы, положив руку на сердце, спросим, является ли присутствие христиан подобным присутствию Христа в мире, то ответ будет, конечно, отрицательным. Я отлично понимаю, что в порыве апологетического рвения многие из нас, особенно неопиты, готовы говорить о неверующих в черных тонах, а слово «верующий» считать эквивалентом свету, но это упрощение, которое возможно только в горячей полемике, психология такая боевая: «черное» — «белое», «наши» и «чужие», те все плохие, эти — все хорошие.

Но я думаю, что нам надо посмотреть глубже, серьезнее и суметь признать в том, что на запросы, которые существуют в обществе, Церковь, т. е. мы, христиане, не отвечаем в достаточной мере по тем направлениям, о которых я уже сказал: проповедь, свидетельство и присутствие. Пожалуй, единственное, что в какой-то степени есть, — это присутствие, потому что в основном Евхаристия не потеряна, хотя между верующими и таинством очень много преград поставлено, так сложилось исторически.

Даже те замечательные, помогающие человеку эстетически обрядовые формы, в которые облачается богоприсутствие, — а ведь обряд, искусство издавна, с Ветхого Завета, были неотъемлемой частью богоявления; все свое умение, талант, любовь к красоте человек вкладывал именно в это — даже и они находятся на уровне, мягко говоря, ниже среднего. Потому что если мы обойдем московские храмы, то увидим церкви, расписанные халтурщиками по французским или немецким картинкам конца прошлого века, церкви с разноразмером икон, где изумительные древние иконы висят рядом с совершенно невозможными изображениями. Если снаружи храмы и стали как-то постепенно приводиться в порядок, внутри выглядят плохо; чин богослужения оставляет желать лучшего. Лишь в единичных храмах мы можем видеть и слышать богослужение в какой-то своей церковно-эстетической оболочке.

Кроме того, всевозможные бытовые обычаи, которые у нас вкрались в Церковь, в церковную жизнь, разрушают эстетику церкви. Я не буду сейчас перечислять, их все знают достаточно хорошо — пойдите в любой храм, они сразу бросаются свежему человеку в глаза и мешают ему. Как это получилось? Как дошли мы до жизни такой? В общем, это положение, присущее всему Востоку, всему восточному христианству свойственно такое уничиженное состояние церковной жизни. Конечно, многие говорят, что это уничижение Церкви есть как бы уничижение Христа. Бесспорно, это справедливо с какой-то точки зрения. Там, где Церковь страдает, или там, где Церковь, христиане, несут на себе бремя тяжких обстоятельств, там уничиженный Христос.

Если преподобный Сергей служил, имея лишь деревянные сосуды, одевался в облачения из рогожи, то это был уничиженный Христос. Но там, где храмы могли бы быть святилищем церковной красоты, а превращаются в какие-то размалеванные, не знаю, как все это назвать, — причем, это не дикость ведь: существуют архиереи, благочинные, существуют какие-то понятия, книги, традиции — то тогда это не уничиженный Христос, а просто... беспечность, равнодушие, в общем, понятно, откуда это происходит. И здесь мы не имеем права говорить об уничижении Христа, а имеем право говорить об унижении нами нашей веры в ее внешних проявлениях. И это характерно для восточно-христианского мира. Я никогда не был в Иерусалиме, но слышал много рассказов от людей, которые там

побывали, смотрел множество кадров, фотографий, читал много книг об этом — и нигде это совершенно позорное для христианства уничижение не явлено так, как в самом Израиле. Как бы отсюда начинается этот скорбный путь Церкви. Самая величайшая святыня христианства — Гроб Господень, и над ним стоит мрачный, безобразный храм.

Да дворцы, дома аристократов, архиереев выглядели изящней, чем эти грубые провинциальные претензии на какой-то псевдостиль, и тут есть некий рок, потому что, когда даже в новое время стали строить, тоже не удавалось: в Назарете построили храм, новейший, в честь Воплощения, и также получился неудачный. Очевидно, Восток, место зарождения нашей Церкви, — зеркало состояния христианства. И нигде так не бушуют страсти разделения, как у Гроба Господня, как будто какой-то демон там заставляет христиан сталкиваться друг с другом, являя мусульманам, иудеям и неверующим позорнейшую картину взаимной грызни. Вот в этих картинах и в том, что потом происходило в христианском мире, ответ на вопрос, который часто тревожит совесть христиан, православных, католиков, баптистов, протестантов и других: почему Господь не дает Церкви путей более легких? почему так мало успеха она имеет на протяжении столетий?

Я, конечно, не сказал бы так радикально, что Церковь имеет мало успеха, я думаю, что Царство Божие совершает свое шествие по-прежнему, но измена закону Божию никогда не была безнаказанной, всегда было некое возмездие за отступничество. И не надо думать, что это устаревшие идеи Ветхого Завета. Вспомним слова Христовы о Иерусалиме, когда Он говорил: если бы ты знал о часе посещения твоего... Если бы Содом и Гоморра покаялись, то стояли б до сих пор, т. е. Христос связывает судьбы народов, городов, цивилизаций с их духовным и нравственным состоянием. И падение Византии, Александрии, Российской империи, падение многих других христианских центров есть не только мученичество христиан, но есть перст Божий, указание на то, что путь был ложный, что в этом пути было больше зла, чем добра, иначе бы Господь сохранил эти очаги. Это я говорю о прошлом, но цель у меня все та же: ответить на вопрос, как дошли мы до такого положения здесь. Россия является частью восточной церкви, она приняла христианство с Востока и несет в себе все положительные и отрицательные стороны этой формы

исповедания Евангелия. Когда пали древние апостольские центры, то Россия как раз оказалась одним из наиболее серьезных оплотов православия. И даже теперь по количеству православных в мире она стоит на первом месте. Что же происходило в русской Церкви? Как получилось, что эта страна стала первой страной массового атеизма?

Быть может, я повторю то, что уже всем известно, но еще раз могу напомнить, что принятие христианства на Руси, которое произошло тысячу лет назад, было принятием целого комплекса, целой цивилизации. Киевские князья, приняв христианство, вместе с ним приняли всю византийскую традицию, с греческим языком, иконой, литургией и многим другим. Мы знаем, что в Киевской Руси все иконы подписывались по-гречески, духовенство было греческим по происхождению, Церковь русская была частью, филиалом греческой Церкви. И принеся в Киев цивилизацию, христианство вначале оказалось исключительно действенным, потому что в мир пришли новые нравственные ценности, новый тип духовной жизни, который, конечно, мог лишь постепенно овладеть народом. И здесь Церковь должна была выступать (в данном случае я говорю о Церкви как о христианской иерархии) как учащая, в западной терминологии «учащая церковь», должна была выступать как непрерывный воспитатель нации. Делала она это? Бесспорно, делала.

Если мы посмотрим работы С.Соловьева, Ключевского и многих других историков, мы увидим, как много для просвещения Руси, особенно в киевский период, сделали иерархи, особенно монастыри. Но потом, как вы знаете, татарское иго и возвышение Московского царства многое изменили. Представители иерархии, духовенства, монашества понимали, что сейчас самое важное для страны — объединиться, создать национальный очаг и освободиться от ига. Этому патристическому благородному долгу было отдано очень много сил. Митрополит Алексей, конечно, трудился над просвещением народа, переводил Новый Завет на церковно-славянский язык и т. д., но, в общем, это был период серьезного одичания, надо было миссионерствовать заново, но этого не делали. В основном усилия иерархии заключались в поддержке московского князя. Может быть, по-человечески рассуждая, эта патристическая работа оправдала бы себя и в духовном смысле, если бы возникшая в результате этих усилий Церкви и других общественных сил монархия сумела оценить

это и отдать должное Церкви христианской. Но монархия восприняла христианство просто как одно из орудий собственного правления, одно из средств для поддержания своей власти. Когда патриарх Филарет поставил на престол своего сына, то тот мог еще его слушаться, потому что это был его родной сын, а следующий царь уже не хотел слышать критики патриарха Никона.

Патриарх Никон был человеком суровым и страстным, и в чем-то он заблуждался, но тем не менее нельзя отрицать, что он не хотел допустить, чтобы Церковь превратилась в инструмент государственной власти. Он обвиняется в папизме и т. д., но все это уже история. Важно то, что Алексей Михайлович, низложив патриарха, добился того, что Церковь стала инструментом власти, и этот процесс был завершен, как вы все хорошо знаете, Петром I. С этих пор в русской Церкви произошли чудовищные перемены. Официально, на бумаге, за подписью высшего духовенства главой Церкви была признана императрица, т. е. Екатерина. Царь стал как бы священным лицом, он мог запрещать или разрешать Соборы, т. е. все уродства так называемого константиновского периода в XVIII–XIX и даже в XX веках расцветали махровым цветом, карикатура церковь, душа ее и превращая в послушное орудие государства. Все талантливые иерархи убились, либо отправлялись в далекую провинцию, и только те, которые с крестом в руке благословляли крепостное право и величали монарха, те, которые настаивали на том, чтобы имя Божие писалось с большой буквы, а имя царя в богослужебных книгах писалось все большими буквами — вот те и оставались на месте. Духовенство, иерархия были глубоко дискредитированы в глазах общества образованного. Образованное общество имело свои изъяны, но нам сейчас интересно посмотреть на собственно церковные изъяны.

Живые силы в русской Церкви были постоянно. Об этом говорят сонмы святых, подвижников, богословов, проповедников, писателей. Но мы должны признаться, что жизнь их всех была исключительно трудной. Когда мы говорим «Оптина пустынь», мы упускаем, что оптинские старцы были всегда гонимы от архиереев, высылались, считались людьми в прелести, чудаками. Мы знаем, что лучшие религиозные философы запрещались в XIX веке, запрещалось публикование их. Хомяков, Вл. Соловьев, Чаадаев — все запрещались. И кого бы мы ни взяли: правого или левого — Леонтьева или того же

Чаадаева — все они были как бы в оппозиции, все неуютны, потому что имели собственное мнение, имели собственные мысли. Вот такая церковь, которую, надо сказать, вовсе не злорадно, изображал Перов на своих картинах, потому что он был православным человеком и изображал то, на что ему тошно было смотреть. Такая церковь не могла ни свидетельствовать, ни по-настоящему проповедовать. Проповедничество в русской Церкви стало возрождаться только в конце XIX века. В середине же века, при Филарете, проповедовали только епископы, священники поголовно молчали во всей многомиллионной стране. Это значит, что народ не слышал слова Божия, народ, который в большинстве своем был неграмотный, даже устного слова не слышал. Социальная роль Церкви все время ограничивалась, духовенство находилось в таком бедственном состоянии, что иногда в деревнях священники стояли на одном уровне с бедняками — многодетные, оделенные кусочком земли, жалкие. Они задыхались под гнетом своих благочинных, консисторий — достаточно, например, прочесть книгу Лескова «Соборяне», где он очень ярко показывает эту картину.

После демократических реформ 1860-х годов, начинается некоторое возрождение, которое идет с трудом, а в XX веке стали появляться активные деятели, в частности во главе Синода митрополит Антоний (Вадковский), люди, которые хотели бороться за независимость Церкви. И борьба эта направлялась на то, чтобы Церковь перестала быть государственной. Многие говорили о необходимости освободить Церковь от опеки.

Владимир Соловьев доказывал, что насильственное православие — это худший враг Церкви. Когда от людей требовали при принятии на работу справки о причастии, когда гнали самым чудовищным образом старообрядцев, когда использовали Церковь в совершенно посторонних целях, разве могло быть это похоже на свидетельство? И вполне понятно, почему в России так бурно развивалось сектантство. Оно вспыхнуло, за какие-то короткие двенадцать лет, с 1905 по 1917, расплодилось с необычайной быстротой, причем самые разнообразные толки были. Грозный призрак стоял перед Россией — всей стране стать сектантской. В известном романе Андрея Белого «Серебряный голубь» это как бы символически дается: интеллигент, который ищет правду, попадает к

сектантам, а перед этим представлена картина провинциальной церкви, где священник мух ловит, в общем, одно вытекает из другого. Когда обрушилась катастрофа на русскую Церковь, то в значительной степени, хотя мы сейчас не имеем права так говорить, это была такая же Немезида, как войска Магомета II под стенами Константинополя. И Карловацкий Собор показывает, насколько не готово было высшее духовенство к этим переменам. Веками связанное со старой государственной властью, оно не хотело с ней расставаться, и поэтому по отношению к новой власти занимало позицию самую бессмысленную: или совершенно нелепого идеологического отрицания, или попытки превращения ее в такого же хозяина, каким была царская власть, — сначала обновленцы, а потом их преемники.

Я специально говорил сейчас только о теневых сторонах, потому что только они могут нас побудить задуматься, а не заниматься ностальгическими восторгами о старине. Хорошего о самих себе сказано очень много, а мы говорим как раз о том, что надо уметь каяться и видеть прошлое, каяться друг за друга. Если бы это была только история, все выглядело бы совершенно иначе. Трудно нам сейчас каяться за древних людей, которые жили много тысяч лет назад, никто не чувствует себя причастным к вине египетского фараона или даже Иисуса Навина — все это безмерно далеко. И даже не хронологически далеко, а далеко религиозно, нравственно, человечески. Между тем то, что происходило в начале XX века, в XVI, в XIX веках — это пока еще все та же цивилизация, в которой мы живем и сегодня; пока еще для нас близкими являются писатели, художники, которые работали тогда; идеи философские, политические, которые господствовали тогда; все соотношения сил, которые сейчас мы имеем в России, в зачатке были в то время. Недаром Салтыков-Щедрин так здорово рассказал о будущем — он видел все уже тогда.

Один современный выдающийся писатель задал однажды вопрос толковому журналисту : как случилось, что Россия, православная страна, стала страной массового атеизма? И тот ему ответил следующим образом: Церковь не выполняла в ней той роли, которую Господь ей дал — проповедь, свидетельство, присутствие. И теперь, если мы будем говорить о будущем и зададим себе вопрос: чего ожидает от нас Господь в оставшееся время? Чтобы мы, т. е. Церковь, обратили внимание сейчас именно на эти моменты.

Проповедь. Это значит, что мы должны найти общий язык с людьми нашего времени, не отождествляясь с ними полностью и не отгораживаясь от них стеной архаики. Это значит, что мы должны поставить — заново, свежо, как бы открывая впервые, — все те вопросы, которые ставит перед нами Евангелие.

Свидетельство. Это значит, что мы должны решить — мы еще не решили — жизненную задачу, найти свою позицию в жизни, свое место... не в обычном смысле слова, а свое отношение ко всем жизненным проблемам.

И наконец, Присутствие. Чтобы мы все время учились молитве и чтобы углубляли в себе опыт таинств, чтобы наше свидетельство было не свидетельством об идеологии, а свидетельством о живом присутствии Бога в нас.

К этим трем пунктам, я думаю, можно вполне свести задачи будущего. Конечно, могут спросить: как должна реагировать Церковь на общественные явления нашей жизни и т. д. Могу сказать только одно: вовсе не это требуется от нас специально. От нас требуются только те три пункта. Заметим, хотя древние пророки часто говорили о политических событиях своего времени, — Христос о них не говорил никогда. Он говорил о том, что относится ко всем временам. И вот, мы должны быть одновременно и вписаны в наше время, и ему не принадлежать. Если нас спросят: что ж вы сделаете для общества современного? Спросит это и конформист, и диссидент, спросит это и активный человек, и беглец — мы всем ответим одинаково: если мы будем свидетельствовать Христа и Евангелие, если мы будем жить в Его духе, то в какой-то степени будем участвовать в том, что Он задумал, а Он задумал никогда не покидать эту землю. Он это осуществляет и без человека, но Он хочет, чтобы это осуществлялось и при помощи человека. Значит, мы будем действовать вместе с Ним. А следовательно, этим самым будет исполняться и все остальное, каждое общество будет получать от этого только добро.

ПАСХАЛЬНАЯ ТАЙНА ЦЕРКВИ

Явление Христа с самого начала было осуществлением надежды, с самого начала евангельская история связана для нас с катастрофой, из которой рождается победа; разочарование, упадок, уныние, растерянность — и вдруг неожиданное действие чудесной силы Божией.

В этом удивительное отличие христианства и жизни на земле самого Христа от всех священных событий и историй мира. Потому что здесь было восхождение, казалось бы, к какому-то венцу, и вдруг провал и катастрофа полная, так что ученики, Его оставивши, бежали, так что один Его предал и отказался, другие никак не хотели Ему помочь и Церковь с самого начала была подавлена. И римский историк Тацит, один из первых внехристианских свидетелей, изображая историю возникновения христианства, писал, что основатель этого суеверия был некто Христос, распятый при Понтии Пилате, и подавленное на время суеверие, однако, все равно вспыхнуло.

Христианство было тем, что было подавлено в зародыше, но вспыхнуло и воскресло. Вернее, я здесь говорю неточно — это не христианство, а Христос, они неотделимы. Ибо как человек, явившийся в мир, Он вошел в мир, выражаясь по-человечески, с риском испытать все самое худшее, что есть в этом мире. Этот риск был почти фатальный, потому что мир таков, что он обращается против доброго всеми своими сокрушительными силами. Поэтому Боговоплощение было почти наверняка богостраданием. И вот здесь Христос не только повторил судьбу гонимых пророков, но Он как бы сошел на самое дно, в самый ад уничижения тем, что дело Его казалось совершенно разрушенным.

Он не был поддержан церковными властями, у Него не оказалось множества последователей, те последователи, которые были, оказались очень слабы, робки и растерянны. Все было против Христа, и, когда Он был введён на Голгофу, Он был брошен всеми — это было самое последнее поражение, которое себе только можно представить. Ничего более глубокого, в смысле неудачи, изобразить было невозможно. Не только не было последователей, но даже женщины шли вдалеке,

близкие женщины, евангелист прямо говорит: они издалека следили, следовали за Ним, близко не было никого, только Симон Киринейский, который нес Крест. А близко были торжествующие архиереи, тупые палачи, которым было все равно, которые делили Его одежду; и поистине можно было сказать — в корне задавлено только что начавшееся движение. Год или, может быть, три года — это очень мало для того, чтобы создать мировую религию. Мы знаем, что Будда проповедовал до глубокой старости и обходил очень много дорог. Христос прошел как молния, сверкнул на историческом горизонте — молодой, не получивший ни в ком опоры и никаких санкций.

Таким образом, Его историческое уничтожение было полным — настолько полным, насколько полной была Его внезапная победа. Можно сказать, что христианство есть религия смерти, которая тут же сменяется жизнью. И слова апостола Павла, которые он впоследствии говорил о себе и о Церкви, как бы показывали, насколько исполнилась жизнь Христа в жизни Его учеников: «Нас почитали мертвыми, но вот мы живы». Это он говорил уже тогда, и это повторялось постоянно. Постоянно в истории Церкви были невероятные разочарования, и она много раз, казалось, была подавлена, но силой Божией воскресала столько раз, сколько торжествовали над ней ее враги, внешние и внутренние.

Причем внешних врагов было, оказывается, гораздо меньше, чем внутренних. Когда читаешь Послания апостола Павла, видишь, какие страсти, какие споры, какие распри раздирали Церковь изнутри, какие трудности были в общинах, что иногда сам апостол приходил в отчаяние. И замечательно, что, когда он умер и когда прошло некоторое время после его проповеди, апостол был забыт, и в тех городах, в которых он основал Церкви, уже его не помнили и Церковь исчезла. Многие из городов, где были основаны Павлом первые общины, впоследствии ничего не дали для христианства. Он проповедовал в основном в Греции, между тем первоначальное христианство не дало знаменитых центров в Греции; апостол Павел не проповедовал в Египте, а там развилось христианство более интенсивное. Мы знаем, что самыми великими Церквями послеапостольской эпохи были александрийская, египетская, антиохийская, иерусалимская, но у последней было особое положение; а в Малой Азии, куда апостол Павел вложил все свои силы, куда апостол Иоанн вложил все свои

силы, Церковь дала меньше, но потом она снова воскресла. Вот из этого пепла явились новые учителя Церкви. Из Капподакии, о которой тогда говорили, что там живут люди самого низкого уровня, о ней говорили, что змея укусила одного капподакийца и подохла, вышли Василий Великий, Григорий Нисский и другие святители. В Малой Азии возникали большие духовные движения — как бы на пустом месте христианство постоянно воскресало.

Когда христианство ослабевало в греческих странах, оно внезапно начинало давать свои плоды в странах славянских языков; когда Римская империя была внезапно разрушена варварами, слово Церкви стало проникать именно в среду этих самых варваров; когда самые драгоценные наследия Римской империи — право, правовое сознание, были разрушены вторжением гуннов, готов, Церковь Римская сохранила правовое сознание, была оплотом, замком среди бушующих вод, несущим это римское право, римское понятие о единстве, о порядке. Когда на Церковь наступали еретики, бывали моменты, когда казалось, что все будет разрушено. В начале IV века, когда выступил Арий, дошло до того, что почти все епископы перешли на сторону ариан, и только дьякон Афанасий держался на стороне православия — и потом православие вновь торжествует.

Затем приходит новая опасность умерщвления христианства, совершается роковое: императоры становятся христианами. Может быть, для нас это роковое, для тогдашних людей все иначе выглядело. Я помню, как после войны люди с восторгом встречали открытие церквей; я думаю, с неменьшим восторгом встречали дело Константина христиане Римской империи. Но роковым было то, что Константин не дал свободы вероисповедания, а дал Церкви статус государственной религии, вернее, сначала он дал свободу вероисповедания, но постепенно все свелось к этому, что было закреплено потом другими императорами и его преемниками. Началось ужасное обмирщение Церкви. Если раньше быть христианином значило подвергаться дискриминации, быть иногда даже в опасности, испытывать что-то трудное в своей жизни, то теперь, чтобы стать царедворцем, надо было быть христианином, даже еще ревностным, и люди в погоне за чинами, за наживой, за милостью императора стали креститься, посещать храмы, жертвовать на базилики, воздвигать алтари вокруг мощей и т. д.

И казалось бы, тут-то могут торжествовать язычники, Церковь задохнется под тяжестью собственного здания — и именно тогда в Церкви появляются борцы против этого обмирщения, беспощадный Иероним, бичующий с желчью даже римское общество, Иоанн Златоуст, монах на престоле византийских патриархов. И борцы эти, которые часто гибнут в неравной битве, приостанавливают это движение, сохраняют в Церкви то русло, по которому течет здоровая кровь. А те, что не могли бороться, уходили в пустыню — монашество создало тот ковчег, который сохранил дух Церкви в момент затопления ее мирскими силами. А потом приходят императоры-иконоборцы, императоры-цезарепаписты, которые пытаются задушить Церковь.

Сколько раз бывали случаи, когда уже полностью можно было ожидать крушения, и каждый раз Бог посылал своих пророков и спасал свой народ. И наконец, мы подходим к рубежу нового и средневекового мира. Здесь процессы идут очень сложные и интересные. Остановимся на них.

Наступает поворотный момент, рубеж XV–XVI веков. Поддержанные народом иерархи обретают самостоятельность. Но церковные деятели не понимают того, что люди вступают в новые фазы развития. Только отдельные представители духовенства, монашества, вожди Церкви понимают это. Это чувствовали Савонарола, Ян Гус, Мейстер Экхарт, преподобный Сергий и другие, кто возрождали русскую Церковь, они ощущали, что наступает новая пора. В целом же иерархи «не узнали часа посещения Божия», не поняли, что мир вступает в иную сферу, и тут наступает драма, катастрофа, отпадение христианства в языческий Ренессанс. Язычество становится более привлекательным, чем христианство.

Но и тогда неожиданно Господь не дает погибнуть Церкви. На Западе Он воздвигает реформаторское движение, которое, несмотря на все свои крайности, играет существенную роль, возрождает дух, силу веры. На Востоке тоже происходят серьезные поиски, но опять приходят темные времена — XVII–XVIII века, когда царит разум, возведенный в степень божества, когда люди вместо духовного ищут материальных оснований для мира, ищут формулы для мира — машины, этим заражается сознание и мыслителей, и широких масс. Тем не менее на фоне материализма, просветительства, энциклопедизма, революций Церковь потихоньку начинает находить

новые источники жизни. Незаметные, пока еще как ключи. Святой Серафим Саровский в России и его современник кюре Дарс во Франции параллельно находят эти ключи, ключи начинают бить.

Вольтер, выступая в одном из домов Парижа, говорил: через сто лет Библию найдут только у антикваров как памятник глупости предшествующих поколений. Проходит сто лет. Именно в этом здании, по иронии судьбы, было основано всемирное Библейское общество, которое распространяло Библию в сотнях, тысячах экземпляров по всему миру. В то время, когда это общество было основано, немецкий поэт Генрих Гейне писал: слушайте голос органа — это вздохи умирающего католицизма. Между тем многие теперь уже забыли о поэте и о «вздохах умирающего католицизма», а западная Церковь живет и действует, действует настолько смело и решительно, что не боится вводить свой корабль в самые узкие проливы, проводить над самыми острыми камнями, вызывая самые резкие потрясения своего корабля, только корабль, управляемый надежным кормчим, способен проходить через такие проливы.

Все думали, что первый Ватиканский Собор окончательно опорочит Западную Церковь в глазах всего мира. И действительно, слово «католицизм» в эпоху Бисмарка считалось ругательным, считалось ультрамонтанством, т. е. суеверием. «Ультрамонтанство» означает веру в папу, живущего за горами. И именно после этого, казалось, позора, когда Пий V издал свой силлабус, в котором он показал себя мракобесом и человеком, не понимающим духа времени, — именно после этого Бог посылает католической Церкви таких пап, как Лев XIII, Пий X, Пий XI, которые сразу возвращают ей почти тот авторитет, коим она обладала в Средние века.

Православная Церковь с XVIII века находится под пятой самодержавного государства, которое делает все для того, чтобы эту Церковь растлить, унижить, сделать своим ручным псом, отравить ее. Главой Церкви объявляется император. Екатерина II пишет, что отныне она является главой Церкви, священники становятся платными чиновниками государства, тайна исповеди нарушается: они обязаны доносить о том, что говорится на исповеди, если это касается государства. Дети духовенства не допускаются ни в какие учебные заведения, кроме семинарий. Разрушается вера, потому что насаждается насильно. В XIX веке у лучших людей России все это

вызывало крайнее отрицание, и такие явления, как Лев Толстой, были не случайными. И только очень тонкие люди, подобные Достоевскому, могли увидеть, разглядеть под этими развалинами подлинный дух Церкви, увидеть там свет. Но мало того, государство, некоторое время внешне еще державшееся христианской формы, потом сбросило ее и предстало в своем подлинном виде без христианской оболочки, и открыто объявило Церкви войну, сказав, что ее не должно быть на земле. И Церковь должна была умереть, потому что перед этим ее слишком долго пытали, подобно тому как Христос умер на кресте так рано(Пилат даже удивился), так как Его распятию предшествовало бичевание, муки и пытки.

Вековое унижение Церкви не позволяло, по-видимому, ей перенести всех этих ударов, и она должна была рухнуть. И тем не менее, когда все было истреблено, когда все было оплевано, осмеяно... Я вспоминаю журналы того времени, с чудовищными кощунственными карикатурами, сделанными людьми, которые когда-то ходили в храмы и были верующими; с садистским наслаждением они топтали святыню, как только могут делать люди, которые были причастны к святыне, такие художники, как Моор и другие делали что-то невообразимое. Вспомним о карнавалах, которые устраивали в церковных облачениях, когда в филонях и митрах плясали на эстрадах(впоследствии это было запрещено). А были времена, о которых свидетельствует и наша литература, когда ходили по улицам, распевая похабные песни, с кадилами, наполненными навозом, и в митрах катались на коньках — все это не могло не разрушать Церковь. Более того, стремление лучшей части духовенства реформировать Церковь привело к обновленчеству с его уродливыми формами и с уродливой установкой. Конфликты между церковными юрисдикциями (русская Церковь распалась на несколько враждующих между собой юрисдикций), поносящими друг друга, совсем уронили ее авторитет. Внутри все разрушалось, снаружи все уничтожалось: были закрыты все духовные учебные заведения, постепенно закрывались почти все храмы, Церковь была изгнана из школ, не было ни литературы, ни просвещения, прекратились издания Священного Писания и религиозной литературы, всякая активная проповедь каралась сурово и беспощадно — земля была выжжена, гроб был готов, камень завален и стража была приставлена.

Но удивительно то, что после этого Церковь снова ожила. Я помню, как это происходило после войны, когда всего 100 храмов было на территории всего Союза, но только разрешили открывать храмы, как сразу подали заявления 25 тысяч общин. Помню толпы народа, которые повалили в Елоховскую церковь, в Лавру, в которой в это время находились какие-то учебные заведения, общежитие. Один храм открывали — вся площадь была запружена народом. Люди стремились к Богу, хотя иерархи, духовенство в это время не могли ничего дать им: ни подготовленных священников, ни достаточно подготовленных епископов — ничего не было, просто были открытые храмы, где совершалась литургия.

На Западе была другая опасность: материализм практический, погоня за комфортом, шум, треск, взбесившаяся цивилизация, которую вы можете себе представить, посмотрев посмертный фильм Ромма «И все-таки я верю», кажется, он так называется. Эта взбесившаяся цивилизация является также существенной опасностью. И вот именно там, где цивилизация больше всего торжествует, возникают новые движения — католических пятидесятников, движения Сынов Божиих, Учеников Иисуса, Джизус Револушен, — все время возникают очаги новой духовности. Каждый раз, когда гроб закрыт, завален и опечатан, — новый взрыв и спрашивает Ангел: «Что вы Его ищете среди мертвых? Он восстал, Его здесь нет».

К этому дню, Пасхе, мы все готовились в силу своих возможностей, готовились воздержанием, молитвой, чтением, в общем, старались это время использовать для углубления своей духовной жизни. К сожалению, иногда бывает так, что с наступлением праздника усилие ослабляется и потом невольно катимся назад.

Но не нужно забывать, что Пасха — не конец, а только начало, начало призыва: Господь потом призывает учеников, приближается праздник Пятидесятницы, Духа Божия, которого Он посылает на каждого из нас. Значит, к нему мы тоже должны готовиться, готовиться к дню Пятидесятницы не менее серьезно. Если в это время нет строгих правил, пищевых и т. д., то должны быть введены усиленные молитвы, чтения, упражнения, совместные беседы для подготовки к празднику Пятидесятницы.

ВЛАСТЬ ЦЕРКВИ

Когда мы говорим о власти, которую Господь оставил Церкви, мы прежде всего должны изгнать, исключить, полностью перечеркнуть, что эта власть подобна земной. Сейчас забудем о том, что, скажем, церковные власти в течение Средних веков, Нового времени иногда становились государствовоподобными, управляли так, как правят барон, князь, император, диктатор, президент. Это власть совершенно другой природы, невозможно даже сравнивать.

Когда Господь говорит: кто хочет быть первым, да будет всем слуга, не называйтесь владыками, учителями, отцами — не владычествуйте, значит, Он в корне отрицает социальную власть Церкви.

" Да будет всем слуга » — даже Папа Римский вынужден в результате в своем титуле носить выражение «слуга слуг Божиих», т. е. он всем слуга, хотя бы формально, но все-таки должен им быть. Значит, эта оговорка должна быть прежде всего. Если власть церковная не должна быть властью деспотической, тиранической и административной, то исторически складывалось, что она именно такой и становилась. Но идеал всегда оставался, и во имя него происходило постоянное обновление, он всегда светил. Любое искажение есть не более чем искажение. И у нас есть критерий, по которому мы можем это мерить.

Почему поставлен Петр? Во-первых, апостолы были избраны из людей невысокого социального ранга и у нас есть все основания думать, что это сделано было намеренно. Потом пришел Павел, пришли люди влиятельные, образованные, потом пришли и власть имущие. Уже во времена апостола Павла в городе Коринфе государственный казначей был христианином, человеком, имя которого начертано на памятниках, найденных в Коринфе, он фигурирует в Посланиях. Значит, прежде всего Господь избирал людей, лишенных социального истеблишмента, не пользовавшихся общественным признанием, уважением, которые не занимали в мире какого-то почетного места, «не книжных и простых», как пишут о них Деяния. Тем не менее, по-видимому, наибольшим авторитетом мог

пользоваться мытарь Матфей, который, очевидно, был более грамотным, чем все, или юный Иоанн, который был близок к первосвященнику, вероятно, был не просто рыбак и к тому же человек с определенным достатком.

Поставлен Петр. В этом — тайна его души, потому что Господь говорит: Ты блажен, Симон, это тебе открыла не человеческая плоть и кровь, а Отец на небесах. Когда Петр увидел в Иисусе Мессию, это было прозрение. То, что он всегда стоит первым, — свободное избрание, мы не можем считать, что оно обусловлено известным нам фактором. Бог взял человека некнижного и простого и поставил его для того, чтобы было ясно, что Церковь родилась не благодаря энергии, таланту, образованности и каким-то другим дополнительным качествам первоучителей, а силой Духа Божия.

Конфуций с начала своей проповеди пытался найти князя-покровителя, потому что он понимал: надо опираться на какую-то реальную государственную силу; Будда был сам князем; Платон тоже искал, пытался найти политическую опору.

Христос никакой опоры политической не дает, все они политически ничего не стоят, экономически ничего не стоят, и именно поэтому проявилась сила Божия. Он построил Церковь на вере обычных людей, чтобы никто, самый последний изгой мира, не мог сказать: ну, конечно, это они, апостолы. Да нет. Они были люди не богатые, не влиятельные, не знатные, не мудрые особенно. Это вовсе не значит, что надо быть дураком, чтобы быть христианином. Потом были и умные, тут же пришел Павел-мудрец. Но вначале были люди такие, чтобы никто не мог сослаться на свою немощь, на свое низкое положение в обществе и сказать: это не для меня. Причем, это ведь началось с образа жизни самого Христа, который не был экстраординарным. Понимаете, когда говорят: вот некий йог дышит десять раз в сутки и ест горсточку риса и все — это прекрасно для некоторых, но сразу выводит его за пределы обычных человеческих мерок. Люди говорят: это чудесно, но это не для нас. Никто не может сказать об Иисусе — «не для нас». Пришел Иоанн Креститель — аскет, постится, люди говорят, что в нем бес. Пришел Христос — ест, пьет, им опять не нравится, но именно Христос подчеркивал, что Он вел обычный образ жизни. Но это не снимает всех вопросов. Главный вопрос такой: Церковь, эта семья, которую Господь основал на земле,

разрастаясь, невольно принимает формы социальные — это, конечно, община. А в социальной общине, как в организме, уже начинают действовать какие-то функциональные элементы. И апостол Павел приводит биологическую аналогию: он говорит, что тело имеет различные органы, органы имеют различные функции, так и в Церкви — все ли апостолы, все ли учителя, все ли исцеляют, все ли имеют дар говорения? Для того чтобы существовало такое сообщество, оно должно быть структурированным, в нем должна быть дифференцированность, по мере роста должна появиться дифференцированность институтов Церкви.

Прежде чем возникает такая структура, есть некая тайна: когда мы, служащие, несем настоящее евангельское слово, — то это слово не наше, а слово Его: «Кто слушает вас, Меня слушает». Разумеется, есть различия. Мало ли что мне придет в голову, что я могу сказать. Тогда, конечно, это утверждение неправильно, ни в коем случае. Но если наше служение соответствует — а мы всегда можем знать и чувствовать, в какой степени оно соответствует Евангелию — то тогда это так, потому что Он как бы нам завещает, чтобы через нас все существовало. Смотрите, Он хочет что-то делать в этом мире. Он говорит: Я продолжаю оставаться и буду действовать. Да, Он будет действовать, но через нас. Следовательно, мы все наделяемся властью служителей Божиих, служителей Христовых, священников, как говорит апостол Петр: Вы царственное священство, род избранный. Значит, мы все посвящены Богу. Дальше идут функциональные различия внутри церковного организма.

Теперь вопрос о том, почему «свяжете и развяжете», это старинное выражение, обозначающее как бы уставы, постановления, т. е. «вы говорите то-то — значит так; вы отрицаете — значит так». Но здесь может естественно возникнуть вопрос: а если какое-нибудь постановление не соответствует Евангелию? Оно автоматически теряет свою силу, оно теряет свою внутреннюю благодатность, потому что оно не есть слово Христово, сказанное через пастыря или через архипастыря — кого угодно. Это уже только их слово. Но все-таки слово должно сохраняться живым через людей, потому что одних книг недостаточно, потому что есть — и каждый из вас знает — особая сила, которая передает от души к душе. У книги есть свое преимущество, но у книги есть и свои минусы, потому что есть вещи,

которые нельзя передать только словами. Заметьте, поэтому Христос ничего не писал. Он не писал, чтобы не обоготворили букву; Он не создал точно регламентированной церковной организации, поэтому до сих пор спорят католики, православные и протестанты, как организовать Церковь.

Католики считают, что надо строить ее как единый организм во главе с единым пастырем; православные считают, что каждая нация должна иметь своего пастыря, протестанты идут еще дальше — каждая община может быть более или менее партизанской. А Христос не оставил своих указаний, чтобы устав не был нами канонизирован и чтобы у нас не было культа этого устава, потому что есть человеческая сторона. Даже Священное Писание не было заповедано Им. Ведь это пародийно, но вот в «Jesus Christ Super Star» поют ученики вначале: вот придет время, напишем Евангелие — это пародия! Вы не найдете в Священном Писании слов, где бы Господь сказал: Ну, теперь идите и напишите Евангелие, сделайте это. Нет, нет — Он сказал: «Идите и научите», что вовсе не означало писать. «И творите сие в Мое воспоминание» — т. е. совершайте Евхаристию. Все! Больше никаких заповедей Он не оставил. «И чтобы не было у вас, как у язычников», где цари властвуют. «У вас пусть каждый будет слуга». Все остальное развилось в естественном процессе: и Евангелие нам было нужно — через него Дух Божий действовал, и все другие стороны были нужны. Но они, естественно, в процессе истории заражались преданиями старцев. Самый опасный враг — предания старцев. Ведь Господь мало кого обличал, но предания старцев и фарисеев обличал. И поэтому Церковь всегда находится в состоянии Страстной недели: она всегда умирает — и воскресает вновь. И вся история Церкви идет так: человеческие начала ее погребают, забивают крышки в гробе, потом этот гроб лопается, и она оттуда выходит все снова и снова. Чешский марксистский историк Зденек Неедлы говорил: «Революционный яд Евангелия действовал всегда в течение Средних веков и Нового времени». Он это трактовал социально, но это неверно, конечно, это гораздо более широко, нежели социально. Поэтому реформистские тенденции Церкви, которые иногда бывали и крайними, и уносились куда-то влево, они все-таки всегда были оправданы, ибо остается непреложным слово Иоанна Златоуста: Церковь вечно обновляется. И когда мы говорим, что мы Церковь традиции и Церковь предания, то

это можно понимать и искаженно, что мы Церковь, которая умерла, Церковь, которая остановилась и застыла, как мумия, — но нет. Это Церковь, которая развивает изначально ей данный Дух. Что касается Петра как главы апостолов, то проблема эта относится к области веры. Если верят католики, что Бог действует через преемника Петра, то Он так и действует. Это доказать исторически, научно невозможно. И когда мы в полемике против католической структуры начинаем выдвигать такую концепцию, что раньше такой власти не было, то протестант может развить нашу аргументацию и сказать: раньше не было венчания, не было икон. Не было ведь, значит что? упраздним их? — и многое другое.

Патриарх Сергей покойный говорил, что Церковь развивалась по линии от плюрализма к единству, что вначале общины были все независимо разбросаны, потом они об'единялись, потом возникли епископаты, митрополии, потом возник патриархат — и все это движение носило характер безусловно центростремительный. Организационно был один шаг до того, чтобы Церковь превратилась в единый государственный организм. Но промысел Божий этого не допустил. Он использовал грехи человеческие, распри между латинянами и греками для того, чтобы сохранить плюрализм хотя бы на двух полюсах Римской империи; и возникло два типа благочестия, а теперь и три. На самом деле есть несколько типов христианства, их должно быть не менее четырех, поскольку четыре типа человеческого характера существуют по традиции. И мы должны сказать, пародируя как бы, что протестанты — это холерики, что православные — это флегматики, вернее меланхолики, что католики — это сангвиники и т. д. Я очень это огрубил, но, если вы покопаетесь, вы увидите, что иной человек, который числится православным и по всем приметам такой, в душе он — совершенный баптист, а есть баптисты, которые совсем православные. Есть иудей, такой, что — сдери с него шапочку, надень на него что-нибудь другое — ну истинно православный человек, вот прямо ортодокс. Это типажи человеческие.

Значит, всегда возникает вопрос — опять мы возвращаемся к исходному, — почему же Господь вручил эту власть? Ну нет этой власти. Заслуга А. С. Хомякова в том, что он показал, правда с левыми загибами, но показал, что в Церкви нет внешнего авторитета. Загибы были в том, что он потерял чувство реальности, забыв, что Церковь —

это и союз людей. А любой союз требует дисциплины определенной, иначе все будут грести, как лебедь, рак и щука. Но мы должны всегда помнить, что дисциплина эта не божественная, а конвенциональная, условная.

Мы подчиняемся ей ради свободного послушания, ради того, чтобы сохранять структуру Церкви как общины. Одному не нравится одно, другому — другое, одному не нравится иконопись, другому живопись — нужно идти навстречу друг другу. Но, по существу, он был прав: в Церкви внешних авторитетов не должно быть, только духовные. Мы свободно принимаем авторитет Евангелия, авторитет Христа — это не внешний авторитет. Они, конечно, для нас авторитет, но в смысле высшего, это носители высшей истины, но это не то, что нас давит, а то, что мы восприняли свободно, открыв себя этому потоку. Это не так просто выразить, и Хомяков над этим бился, и Бердяев потом бился, но все-таки это заслугой Хомякова остается утверждение, что здесь свобода чад Божиих...

Ко мне недавно приходил один юноша, учитель из соседней деревни, крещеный, хотел в храм ходить, разобраться и спрашивает об инквизиции и прочем. Я говорю ему: это самое простое дело. У нас есть критерий, когда мы можем отличить подлинное от мнимого. Вот в романе Г. Грина «Сила и слава» очень точно сказано в разговоре героя с лейтенантом, который ведет его на казнь. Герой говорит: если у вас будут плохие люди, то все пропало, потому что у вас все стоит на людях. У нас могут быть плохие люди, но на самом деле у нас все живет другим. Он сказал буквально: «У нас Бог из камней делает сынов Авраама, и всегда их найдет». Чтобы было ясно, что это все-таки дело — нечеловеческое.

И поэтому меня глубоко изумляют рассуждения многих западных богословов, которые говорят о будущем христианства. Они рассуждают в той же терминологии и в той же психологической атмосфере, в которых можно рассуждать о судьбах какой-нибудь организации или партии. Как там она? преуспееет или нет? Будет она иметь рынок сбыта своим идеям или нет? Да, плоховаты дела... Абсолютно бессмысленные рассуждения, потому что если этих господ пригласить в те времена, когда жили апостолы, то что тогда бы они сказали, какие там были социальные условия?! «Распят мятежник!» — помните, есть такое стихотворение «Против течения» А.К.Толстого,

очень хорошее и они там говорят: «Распят мятежник» — и все! Конечно, будем спокойно теперь отдыхать. Но оказывается нет, все вышло на поверхность. И также говорил Лев Х, что это какая-то монашеская склока... Так что о Церкви судить только на основании социологии — совершенно близорукое решение. Именно поэтому мы и говорим о ее двойственности, о богочеловеческой природе.

Вот мы, члены Церкви, ее инструмент, но то, что с нами происходит, это в общем всегда чудо, всегда чудо. Мы вовсе не клуб по интересам, хотя, конечно, у нас с вами много общего, в жизни, в характере, в устремлениях, тем не менее есть некая тайна, которая будет связывать нас и далее, потому что «где двое или трое собраны во имя Мое, Я среди них», — и это преодолеет наши немощи. Она не формализована, тайна, и власть действительно дана, но дана условно, до тех пор пока... «кто хочет быть первым, будь слуга...» Надо сказать, что это ведь действовало и в ветхозаветной церкви.

Когда мы начинаем читать историю, мы видим, то народ бунтует, то какие-то недостойные цари — все очень непросто, диалог идет сложно и напряженно. А что касается идеи первосвященника, то, рассуждая социологически, конечно, в ней есть большой смысл. Разумеется, удобнее, когда церковное руководство находится вне государства, когда оно обладает автономией, когда оно обладает огромным аппаратом богословов и т. д., поэтому более мобильно. Но в этом есть и своя опасность. И мы должны всегда видеть, где Христова Церковь, а где ее внешние стороны.

БЕСЕДА ОБ ИСКУПЛЕНИИ

В древнем мире проблема искупления решалась достаточно просто, потому что древнее сознание находилось во власти определенных юридических представлений об отношении между нами и Богом. Люди жили этими представлениями в своей повседневной действительности. Существовали вассально–сюзеренные отношения: человек, который оскорбил своего сюзерена, обязан был дать ему сатисфакцию, удовлетворение. Понятие о чести при феодальных отношениях и после было также тесно связано с представлением о сатисфакции, удовлетворении. Оскорбленная сторона требовала от вассала или от равного партнера, чтобы было возмещено оскорбление действием. И эти представления были перенесены на богословские понятия и на тайну искупления.

Против этого активно выступил в конце прошлого века будущий патриарх Сергей, написав интересную книгу «Догмат искупления», где он со всей категоричностью отверг как не соответствующие духу Писания, духу Нового Завета, духу Евангелия эти юридические представления о том, что люди должны были искать какую–то сатисфакцию оскорбленному Богу, и поскольку они не нашли, то Христос удовлетворяет Своим подвигом оскорбленный гнев Божий, и тем самым решает эту юридическую проблему. На самом деле в Священном Писании господствуют символы иного порядка, символы, скорее, органические, биологические, где тайна искупления ощущается как некий процесс очищения, процесс вживания, процесс присоединения человека, привития человека к иной, Божественной жизни.

Это чем–то напоминает заботу садовника, который прививает здоровые организмы к больным, для того чтобы победить болезнь. Но юридическое понимание догмата искупления, различные его формы в какой–то степени основывались на букве Писания, потому что сам термин «искупление», если его перевести с церковно–славянского на русский язык, означает выкуп. Он, конечно, выглядит юридическим. Термин этот применялся обычно при античной работорговле, когда кто–то освобождал человека, выкупал его из рабства. Он делал его

вольноотпущенником, не сам освобождая из рабства, а выкупая его для себя. Это не значит, что сначала человек был рабом одного, потом стал рабом другого. Нет, он был рабом одного, но выкупленный, купленный он стал нравственным должником другого, он стал свободным человеком, но нравственным должником. Есть еще один очень важный аспект этого термина. В символике Ветхого Завета слово «выкуп», «искупление», встречается в связи с проблемой и темой Исхода; Бог говорит: Я вас выкупил и сделал Своим уделом. Это означает, что Бог избранных людей, предназначенных для Его замысла, избавил от зла — но не просто пустил потом в степь, а Он сделал их Своим уделом, т. е. тем местом, на котором Он будет совершать Свои деяния, тем полем битвы, той творческой лабораторией, тем центром применения высших Божественных сил, которые Он основывает на земле.

И это слово повторяет потом апостол Петр, обращаясь к Церкви, что вы народ избранный, удел Божий. А когда Моисей говорит: вы будете царством священников и народом святым — что здесь имеется в виду? Что эта группа людей должна служить Богу. Царство священников — народ святой, т. е. посвященный Ему на служение, вот буквальный смысл. Таким образом, Бог принимает искупленных, выкупленных, вырванных из рабства для Себя. И эта модель в дальнейшем распространяется на деяния Христа, который людей вырывает из царства зла и ведет их туда, где они могут создать Божий удел. Так изображает нам Священное Писание. Возникает некий организм, живущий по иным принципам. В нем Христос воплощается, этот организм — сами верующие, Церковь. Он хочет, чтобы мы были Его телом. Что значит тело? Тело — то, что живет, действует, движется, проявляет активность.

В нас должна быть Божия активность осуществлена — в этом идея апостола Павла, что Церковь есть Тело Христово. «Вы имеете ум Христов, — говорит он. — Живу не я, но живет во мне Христос» — это значит, что мы Им приобретены, искуплены из рабства, освобождены. Значит, тайна искупления — это, прежде всего, тайна освобождения. Второе — это тайна присоединения к уделу Божию, где Бог действует. И третье — это тайна несения на себе бремени.

Здесь мы должны перейти в историко-космический масштаб. Вселенная возникает и развивается по двойственным законам:

вселенная развивается, с одной стороны, по замыслу Божию, а с другой — в нее все время вторгаются элементы, этому замыслу противостоящие. Я формулирую это кратко такой фразой: слеп, кто не видит гармонии мира, — но столь же слеп, кто не видит дисгармонии того же самого мира. Если гармония мира проистекает из высшего замысла Творца, если Бог ее видит при сотворении мира из вневременной точки, когда говорит, что «мир прекрасен весьма», добротен (слово, которое употреблено в Библии, непереводаемо по-русски, «тов меод» — значит очень хороший), так это Бог видит, а в историческом процессе происходит еще столкновение полярных сил, поляризовавшихся внутри самого творения. То, что силы, противоборствующие Божественному замыслу, существуют — очевидный факт. И эти силы в Библии описаны всегда символическим, иконным, картинным языком: бушующее море как символ хаоса; дракон, который это море олицетворяет; змей, который искушает Адама, и т. д.

В плане физического мира мы будем называть это хаосом, потоком, влекущим мир к смерти, в энтропийное состояние. И таким образом, история мироздания, космогенеза, становится историей борьбы, борьбы между хаосом и Логосом, Божественным разумом, который кодирует свои мысли в мире. Почему диалектика Гераклита, диалектика Гегеля находят в мире противоречия? Почему еще заратустрийская религия увидела в мире чередование света и тьмы? Потому что мир биполярен: один полюс идет от созидającego Бога, другой полюс от деградирующей силы твари. Здесь возникает вопрос: откуда возникло это стремление от Бога, побега в ничто? Описать его в рациональных терминах — значит его осмыслить, а осмыслить бессмысленное невозможно. Осмыслить можно его только условно, только поэзия дает нам картину этого иррационального порыва в ничто, только образы художественных произведений; например, картины зла, которые рисуют Достоевский и Бодлер, показывают, что есть воля ко злу, но объяснить ее логически невозможно.

Побег во тьму. Наиболее интересную такую попытку давал Бердяев, основываясь на учении Шеллинга и Якова Бёме. Его точка зрения заключалась в следующем: свобода как абсолютная потенция, как абсолютная возможность идти куда угодно, в том числе в бездну небытия, не зависит от Бога, потому что она является как бы

сущностью, внеположенной Богу. И поэтому, когда Бог созидает мир, этот полюс остается и он все время как бы отравляет бытие. Но Бердяев выражается тоже мифологемами, так же как Шеллинг, он явно пользуется мифологическим языком. Яков Бёме говорит, что «ungrund» — первоначальная необъяснимая, неопишуемая бездна, в которой пребывает Божество, из которого рождается Бог как личность, содержит в смешанном виде и зло и добро — это интуиция, это прозрение, это поэзия, это миф, это не то, что возможно рационально, по-настоящему описать.

Но фактом остается, что в творении Божиим есть противоборствующие стихии, столь же тварные, как и все остальное, но сопротивляющиеся Богу и почему-то Богом допускаемые. Мы можем, конечно, догадаться почему. Потому что тварь — это есть единое целое, и чтобы преодолеть этот антибожественный вектор, этот импульс, идущий во тьму, она сама должна быть свободна, сама тварь. Но у твари в целом свободы нет, свободен должен быть тот, кто ее олицетворяет, а олицетворяет ее человек. Он возникает после столкновения между хаосом и Логосом, при рождении, организации структуры, элементарных законов для элементарных частиц; при создании жизни, которая разрушается, но передает эстафету дальше своим потомкам, и, наконец, при создании человека, когда жизнь уже передает информацию дальше без генетического кода, просто передает.

Я очень люблю слова немецкого поэта Новалиса: «Человек — это мессия природы». Человек вводится в природу, дух человеческий в сочетании с плотью, чтобы нести в каждой своей клетке море животных, растений, — мы же микрокосм, мы все в себе несем, в нас живут все существа, и мы призваны участвовать в борьбе хаоса и Логоса, включаясь в Логос, в просветление. Но человек не выполнил этой миссии, и тогда начинает действовать Бог Сам через человека. Не только Божественная информация с большой буквы, не только Логос творящий, а наконец, Логос воплощающийся в человеке начинает действовать в мире.

В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос стал плотью, — читаем мы у апостола Иоанна. Стал плотью — что это значит? Человеком стал, на библейском языке слово «плоть» означает человека. Таким образом, мировые эволюции, если мы назовем это

так, Бог все время стимулирует, особенным образом стимулирует при создании духовного существа, человека, и наконец, когда Сам Он входит в мировой процесс, Он берет на Себя зло мира как Крест, и Он двигает дальше этот мир, возглавляя шествие к Царству Божию. Христос берет на Себя страдание мира. Бог впервые включается в эту борьбу, но включается по Божественному принципу. Божественный принцип — постоянное умаление, как бы сокращение Божественной силы перед лицом твари, чтобы дать ей свободу проявления, свободу самоосуществления. И человек приходит в мир, в котором ему надо бороться, бороться с искушениями и с окружающей природой, в которой царит зло.

Что соблазняет человека? Его соблазняет воля к власти. Воля к власти — самый серьезный импульс и самый тяжелый грех человека. За всеми социальными, политическими, культурными битвами стоит воля к власти.

Фрейд напрасно думал, что в основе всего — либидо, секс. Ничего подобного. Миллионы людей отказывались от секса, миллионы людей отказывались от брака — но от власти никто никогда не отказывался, это всегда нужно помнить. И человеческая цивилизация построена на грехопадении, на первородном грехе, она сохранила в себе этот импульс власти, и поэтому вся магия была построена именно на стремлении властвовать над природой, как и наша цивилизация техническая. С точки зрения воли к власти, с точки зрения властолюбия, можно описать всю мировую историю, и это будет правда.

Проанализируйте любое выдающееся событие, и вы увидите, какую колоссальную роль играла жажда власти, воля к власти. Дело в том, что этот импульс не оставляет человека до старости. Человек может уже не интересоваться пищей, он может не интересоваться массой жизненных удовольствий, он может еле двигаться — но власть остается единственным и последним, что ему мило и радостно.

Грехопадение — это и был первый момент, когда в человеке восторжествовала воля к власти, потому что, я подчеркиваю, познание добра и зла в библейской символике означает не знание интеллектуальное, а владение, ибо глагол «даат» означает «близкое соприкосновение» и употребляется в применении к владению мастерством, к супружеским отношениям и другим подобным вещам.

А термин «добро и зло» является идеомой, «тов ве—ра» — это короткое слово означает добро и зло и не имеет ничего общего с моральными категориями, потому что «тов» означает добротное, приятное, полезное, а «ра» значит мерзкое, ядовитое — это два полюса бытия, идеома, которая означает просто все бытие как таковое, природа как таковая, мир как таковой.

И когда Бог включается в поток человеческого рода, Он находит Себе там людей, которые отказываются от этой власти, которые говорят «да будет воля Твоя». Кто это? Это Авраам; это Моисей, который в общем не по своему желанию все делает, он только повинует; — это пророки. И наконец, это происходит в лице Христа — с полной, совершенной отдачей: «Я не творю волю Мою, но волю пославшего Меня Отца».

Почему Церковь так настаивает на том, что Христос был абсолютный, совершенный Человек? Потому что без этого все потеряло бы смысл. Христос был не только воплотившимся для нас Богом, но Он был одним из нас, Он был человеческим братом, Он был нашим братом по плоти и крови, Он был частью человеческого рода — и от лица человеческого рода Он сказал Богу «да». Благодаря этой тайне мир двинулся дальше. Почему апостол говорит, что Христос не захотел «ни восхищения ни пщева»? Это славянский оборот. Он не захотел похитить звания Божия, а Он смирил Себя, умалил до образа раба. Здесь апостол противопоставляет Адама, который захотел быть как Бог, Христу, Который отказался от всего, Который принял на Себя судьбу осужденных, изгоев.

Он не был священником — заметьте, как сказал один писатель, единственный истинный священник никогда не был священником, — Он не был власть имущим, Он не принадлежал ни к какой категории, Его царственное происхождение чисто символическое, Он не учился в каких-то особых академиях, Он жил самым обычным, Он спустился на дно жизни, был оплеван толпой, был осужден гражданским религиозным судом, Он был в конце концов богохульником и мятежником — Он принял на Себя все страдание мира, включился в него. И тем самым, два мира, мир Божественный и мир страдающего человечества и страдающей твари, соединились — в удел Бог взял Себе мир вновь. И Христос, несущий крест, как бы продолжает нести на Себе всю человеческую эволюцию дальше. Ведь Он вознесся — это

значит, что Он проник во все формы мироздания. Очень важные слова в Символе веры, который мы повторяем: "и сидящего одесную Отца». Мы должны отбросить пластическое представление об этом сидении одесную Отца — это значит, что Христос пребывает там, где Бог, а Бог пребывает всюду.

Таким образом, Богочеловек становится плотью мира, и плоть мира, мироздание, становится плотью Богочеловека — Он освящает все. Понимаете, Человек Иисус, идущий по пустыне, — это не изолированный фантом в космосе, а существо, являющееся частью биосферы, ноосферы, частью природы. Связанный с ней, Он ест, пьет — Он весь тут. И тем самым, поскольку Он включен в единство мироздания, через Него Божественное включается в свое творение. И здесь поэтому искупление является тайной, которая продолжает акт творения. Никакой средневековой сатисфакции, никакой юридической подмены, замены, игры и процесса. Нет судебного процесса, а есть процесс исцеления человечества, который связан с общим замыслом миротворения.

Если Бог исцеляет материю, закладывая в нее силы эволюции, исцеляет мертвое, давая ему импульс жизни, исцеляет умирающую жизнь, вкладывая в нее человека, несущего такую духовную бессмертную информацию, и, наконец, исцеляет историю мира и человека, входя туда Сам, — вот это и есть тайна искупления человеческого рода и всего мира, ибо апостол Павел говорит загадочные слова, что вся тварь стенает доныне и мучается, ожидая откровения сынов Божиих. То есть в таком болезненном состоянии несовершенства, незавершенности находится вся природа, которая стонет в ожидании этого дня. И Христос, хотя и пришел для людей, но раз Он воплотился в этом мире, — значит, так или иначе, Его искупление распространится на все мироздание. Это подтверждается словами Священного Писания: не только нового человека увидел ясновидец Иоанн — возрожденного, воскресшего, приобретшего, по замыслу Божию, великие силы, — но также увидел он новое небо и новую землю, ибо старые миновали. Вот в чем смысл. Вот, в двух словах, что такое есть искупление. Но опять-таки — это все слова и символы. Мы не можем передать это с адекватной ясностью.

ВСТРЕЧА С ХРИСТОМ ВОСКРЕСШИМ

Анна–пророчица, увидев Младенца Христа и услышав слова старца Симеона, засвидетельствовала, что спасение пришло. И вот подумайте, какое слово стоит над всем этим, слово нам знакомое — Сретение. Это не только храмовый праздник, а еще и самое великое слово в нашей внутренней жизни. Потому что для всех нас важнейшим моментом является встреча, личная встреча с Господом, личная встреча. И все мы пришли к Нему и пришли в храм именно потому, что эта встреча произошла. Быть может, она происходит у каждого человека: я уверен, что Господь к каждому человеку стучится, часто не называя Себя. Но человек может оттолкнуть Его, может повернуться к Нему спиной, может не захотеть этой встречи. И для нас, кто на эту встречу откликнулся, каким бы слабым не был наш голос, все–таки самое драгоценное — что мы на своем пути Тебя, Боже, встретили. И, подобно Анне, мы можем засвидетельствовать, что это придало нашей жизни бесконечную глубину, огромные горизонты, такие пласты, которые не исчерпаются никогда, что это дало нам импульс для борьбы, хотя мы увидели множество трудностей на своем пути, но зато у нас начался путь вверх. Для вас, достаточно молодых людей, не всегда ясна ценность пути вверх, потому что пока еще чисто житейски, физически вы идете вверх. Но когда человек доходит до определенной критической точки своей жизни, он начинает идти вниз. И когда вы это почувствуете, вы узнаете, как драгоценно то, что Евангелие, сила Духа Божия, встреча с Христом дает нам возможность идти вверх всегда — до такой степени, что как бы мы ни ползли, как бы мы ни делали зигзаги, как бы мы ни спотыкались, как бы мы ни пятились назад, — все равно мы приобретаем. Естественный, внедуховный человек всегда только теряет, теряет, теряет, а мы приобретаем. Если бы мне сейчас предложили вернуться в двадцатилетний возраст, я бы ужаснулся, потому что, вспоминая этот возраст, я бы почувствовал себя просто нищим, обворованным, обворованным по отношению к тому, что за истекшие годы пришло ко мне и с этим сокровищем было

бы расстаться уже трудно. И поэтому всегда эта встреча для нас есть стимул, движение, призыв вверх.

Так вот — о Встрече. Эта тайна очень глубокими корнями связана с тайной Воскресения Христова. Вы помните, что апостол Павел, когда рассказывал о явлении ему Христа, о действительной встрече, такой встрече, как будто бы он натолкнулся на невидимую преграду и упал, — этот поворотный момент своей жизни поставил на одну доску с явлениями воскресшего Христа апостолам в пасхальные дни. Из этого мы должны сделать самый важный вывод: что на самом деле всякая наша внутренняя встреча с Ним есть встреча с Христом Воскресшим, что на самом деле Воскресение было не просто событием, которое локализовано во времени и пространстве. Оно не то чтобы зачеркнуло, нет, это было бы неверно, Христа во времени и пространстве, но это бытие Христа во времени и пространстве для нас ценно преимущественно потому, что есть иной аспект Его бытия, который поднимается над временем и пространством. Если бы Христос был, как был Сократ, то для нас существовало бы только воспоминание. Но Он не просто был, а Он остался с нами до скончания века. И Воскресение — таинственная, глубочайшая, реальная, потрясшая окружающий мир метаморфоза, которая из узкого круга преходящей истории вывела евангельские события в то измерение, которое видно с любой точки земного шара, из любого столетия.

Мы с вами можем встретиться с Христом, который идет из Вифании в Иерусалим, в памяти, в тексте, в воображении, в кинофильме, в книге. Но с тем Христом, Который восстал из мертвых, мы встречаемся внутренне, потому что это и есть голос Бога, очи Бога, облик Бога, соотнесенность вечного с временным, бесконечного с конечным, божественного с человеческим. Вот недавно я посмотрел фильм про Моисея. В нем знаменитый режиссер пытался образно представить, как Моисей переживал встречу с Богом на горе Синай. Там поднимается огненный смерч, совершенно аморфный, пылающий, как будто извержение вулкана, и из этого снопа искр, и из пламени звучит голос: «Я твой Бог».

Нечеловеческое существо, соответствующее нечеловечности космоса, бесконечности мироздания во всех его направлениях (бесконечный — не обязательно пространственный, а какой-то

необъятный для нашего воображения). И если представить себе действительно реальность Творца, то лучше не скажешь, чем сказал Ломоносов. Вы помните, о чем он размышлял, когда видел колоссальные в небе сполохи северного сияния, которое посетило тогда город, и что он думал, когда его потрясло явление Венеры на Солнце. Когда он увидел Венеру и вдруг понял, что у нее есть атмосфера, он вообразил — пускай он ошибался, — что это такой же мир, как наш, и об этом написал замечательную статью, в которой говорил о возможности существования там человека, о духовных проблемах, которые связаны с этим человеком, о том, как соотносится Благая Весть Христа с этим человеком. Его всегда волновала проблема: «Скажите ж, сколь велик Творец».

На самом деле грандиозность природы, грандиозность всего мироздания в нас не влезает и не может втиснуться, потому что мы — люди, мы меньше и в то же время мы бесконечно больше. И для того, чтобы вот это нечеловеческое, неопишное Нечто, создавшее мироздание, движущее им и теперь, чтобы оно стало для нас кем-то и могло с нами говорить, — должно обрести свой голос и свой язык. Предпосылкой этому является то, что мы есть образ и подобие, что мы несем в себе — не в прямом смысле, а метафорическом — искру духа, мы Ему подобны, оказывается, мы соотнесены с Ним, понимаете, и в этом вообще смысл нашей жизни. И тут есть возможность и предпосылки вот для этой встречи. Слабое, немощное млекопитающее позвоночное животное, обуреваемое страстями, обуреваемое атавизмами, тем не менее имеет в себе орган восприятия божественного. Но, для того чтобы этот орган начал действовать, Бог приходит к нам и становится с нами на тот уровень, на котором мы можем воспринимать Его. И это и означает Воскресение.

Христос воскрес, чтобы Его человечность и божественность стали для нас реальностью сегодня, здесь, в душе каждого отдельного человека. Что это — спасение, Спаситель? что значит слово «спасение»? Это значит выйти из ничтожества, из бредовой, фантастической жизни и жить жизнью настоящей. Человек есть амфибия, человек-амфибия, понимаете, существо, которое по природе своей призвано жить в двух измерениях, в двух мирах. Мы не духи, но мы и не просто биологические существа, мы принадлежим иному измерению. И это связано не просто с какими-то домыслами, идеями,

идеологиями, а с тем фактом, что Бог, открываясь... диффузно, открываясь в природе, в мудрости человеческой — во всем, открылся лично в Христе Иисусе, Который сначала локализовался в определенном месте, в определенном историческом отрезке, а потом эта локализация взорвалась...

Воскресение прекратило ее, Воскресение вместе с Вознесением — это есть собственно одно и то же в данном случае — локализацию кончило. И сегодня для нас Господь — здесь и теперь. И поэтому Он сказал: Я не оставляю вам каких-то письменных заветов, но Я остаюсь с вами во все дни до скончания века. Вот то, что мы сейчас читаем: Я остаюсь... И это есть возможность для каждого из нас, это есть основа христианского опыта. Понимаете, есть опыт просто неопределенной мистики, есть опыт всех религий, в каждой есть своя ценность, все это прекрасно, все руки, простертые к небу, — это чудесные руки, достойные человеческого звания, потому что это руки существа, образа и подобия Божьего, которые тянутся к своему Первообразу. Но Христос есть рука, протянутая вниз, как на древних иконах иногда изображается, — оттуда протянута нам рука. И на этом строится все — но найти подлинную встречу с Богом можно только во Христе. Вот где тайна Иисусовой молитвы. Потому что все медитации древности, которые были связаны с повторением каких-то текстов, мантр и т. д., использовавшие особенности человеческой психики, сверхобычные явления — здесь подчинены имени Иисуса, чтобы никогда эта молитва не превращалась в беспредметное созерцание, в нечто абстрактное, в нечто безликое, чтобы всегда в центре нашего внутреннего предстояния Богу стоял Господь Иисус. Если бы этого не было, то вся христианская мистика растворилась бы и перестала бы отличаться от мистики дзен-буддизма и проч. Значит, именно поэтому Христос в Писании говорит: Я есть Альфа и Омега — начало и конец.

Если вы хотите найти что-то настоящее в христианстве, то ищите это только через Христа Воскресшего. И второе: Воскресение есть победа. Оно означает, что Бог включился в нашу человеческую войну, в великую войну духа против тьмы, против зла, против насилия, против всего. Тот, Кто был отвержен, осужден, убит, опозорен, Он в Себе как бы сосредоточил все несправедливости мира, все зло человеческого рода — и над всеми восторжествовал.

Бог в слабости, в Распятии явил Свою силу — и Он являет ее сейчас. Последнее, что должен вам напомнить, вы все это должны знать прекрасно, что апостол Павел сказал, что мы все Воскресение — вот эту особую встречу с Богом переживаем, обязательно должны переживать сейчас, в этой жизни, но это неотделимо от Распятия. Он говорит, как в Апостоле, который читается при крещении, что мы сораспяты со Христом, что мы как-то с Ним делим страдания, которые выпадают каждому из нас, внутренние мучения, внешние скорби — у каждого из вас есть свои трудности, которые вы несете в жизни, — если понять их как соучастие в страдании Христа, который страдает за весь мир, у которого кровоточит сердце, потому что в этом сердце все сердца человеческие. Умереть с Ним для того, чтобы с Ним воскреснуть. Апостол переживал это особенно, и опыт такого умирания непередаваем, сказать об этом довольно трудно, вернее, почти невозможно. Но каждый из вас, находясь в критической ситуации — болезнь, тяжкое состояние, — пусть вспомнит, что мы можем это состояние освятить, сделать его крестом. Всегда нужно помнить, что около Христа двое распятых — один просто страдал, а другой сострадал Господу и слышал слова: «Ныне же будешь со Мною в раю».

Значит, Воскресение — не то, что было когда-то, что засвидетельствовало ученикам победу Христа, — оно имело место, но оно имело место две тысячи лет назад, а встречи продолжали происходить, они все время происходили. И именно то, что увидел Христа внутренним оком апостол Павел, т. е. человек, который не ходил с Ним, который был от Него отдален, который не был Его личным учеником, — это есть надежда для дальнейшего пути всех христиан. Павел сказал: благоволил Бог открыть во мне Сына Своего. Вот то, что Бог открывается нам через Сына, — опыт неповторимый, это и есть переживание опыта Воскресения. Тогда мы — вместе с Марией Магдалиной, которая верила в Него, тогда каждая Пасха для нас — сегодняшний день, и не обязательно Пасха. Потому что нет дня, когда бы присутствующий в мире Господь не был бы нашим собеседником, не ждал бы нас, не стучал бы в двери нашего сердца: «се стою у двери и стучу». Вот в чем смысл Воскресения, сегодняшний смысл, актуальный, не исторический, не для прошлого, а для сегодняшнего дня. И сам Господь говорил: если Я не уйду, то не

будет для вас Духа. Если бы Он не ушел из мира как локально очерченный и ограниченный в пространстве, то не было бы того, что произошло потом, фактически, не было бы вселенской Церкви и христианства. Он начал действовать вопреки человеческим слабостям, вопреки всем историческим обстоятельствам, и Он действует сегодня опять вопреки человеческим слабостям и опять вопреки историческим обстоятельствам. Он будет побеждать всегда, и Он только начал Свою работу, только начал, потому что Его замысел — Преображение мира, Царство Божие, а мы должны только его предвосхищать, предчувствовать. Царство Божие — это то, что Господь нам возвестил, это реальность нефутурологическая и незагробная (хотя и то и другое); Царство Божие — это то, что в нашем внутреннем бытии есть, когда Бог царит, царствует, господствует, когда Он в центре, когда Он освящает все наши отношения, когда в конце концов Он является корнем наших поступков, мыслей и чувств, когда слабое, греховное находится на периферии нашего существования, а оно находится в центре. Вот о чем нужно молиться, к чему нужно стремиться, что является для нас главным, ибо в Воскресении Царство Божие начинает прорасти и торжествовать.

Вот все, что я хотел вам кратко сказать об этой большой тайне. Других слов здесь не найдешь, можно говорить много отвлеченных слов, но они никогда не передадут самого главного, а самое главное — встреча. И если каждый из вас серьезно подумает о своем внутреннем пути — как Бог его вел, как таинственные сцепления обстоятельств, пересечения людей, книг, жизненных ситуаций, как все это велось, — он поймет, что Господь как бы продолжает ходить по миру, стучать в бесчисленные сердца и звать людей за Собой и к Себе. И Он звал каждого из Вас, поэтому биография каждого из вас есть своего рода маленькая часть истории Церкви. Она осуществляется в каждом из вас по-своему, но тем не менее имеет общие черты, ибо один Господь, одна вера и одно крещение.

ХРИСТИАНСТВО

Лекция

(прочитана 8 сентября 1990 года, за несколько часов до гибели)

Итак, мы с вами идем к завершению нашего путешествия по эпохам, по кругам мирозерцания, и мы подошли к вершине, к тому самому сверкающему горному роднику, в котором отражается солнце, которое называется — христианство.

Конечно, христианство бросило вызов многим философским и религиозным системам. Но одновременно оно ответило на чаяния большинства из них. И самое сильное в христианской духовности — это именно не отрицание, а утверждение, охват и полнота.

Если буддизм был пронизан страстным стремлением к избавлению от зла, стремлением к спасению, если Будда говорил, что как воды морские пропитаны солью, так и его учение — карма — проникнуто идеей спасения, то эта жажда спасения, обетование спасения присущи христианству, Новому Завету.

Если в исламе есть абсолютная преданность человека Богу, который является суверенным властелином космоса и человеческой судьбы, то это самое мы находим и в христианстве.

Если в китайском мирозерцании небо — Цянь — является чем-то ориентирующим человека в жизненных вещах, даже в мелочах, в различных оттенках традиций, то и это есть в христианстве.

Если, наконец, пантеизм утверждает, что Бог во всем, что Он, как некая таинственная сила, пронизывает каждую каплю, каждый атом мироздания, — то христианство и с этим согласно, хотя оно не ограничивает воздействие Бога только этим пантеистическим всеприсутствием.

Но мы бы ошиблись с вами, если бы считали, что христианство явилось как некая эклектика, которая просто собрала в себе все элементы предшествующих верований. В нем проявилась колоссальная сила чего-то нового. И это новое было не столько в доктрине, сколько в прорыве иной жизни в эту нашу обыденную жизнь.

Великие учителя человечества — авторы «Упанишад», Лао-цзы, Конфуций, Будда, Мухаммед, Сократ, Платон и другие воспринимали истину как вершину горы, на которую они поднимаются с величайшим трудом. И это справедливо. Потому что истина — это не та вещь, которая дается легко в руки, она действительно похожа на высокую гору, куда надо восходить, тяжело дыша, карабкаясь по уступам, порой оглядываясь назад, на пройденный путь, и чувствуя, что впереди еще крутой подъем.

Я никогда не забуду замечательных слов об истине, которые сказал простой гималайский горец, шерп по национальности, по имени Тэнсинг, который восходил на Эверест вместе с англичанином Хиллари. Он говорил, что к горам надо приближаться с благоговением. Так же — и к Богу. Действительно, горы требуют особого душевного настроя, чтобы понять их величие и красоту. Истина закрывается от тех людей, которые идут к ней без благоговения, без готовности идти вперед, несмотря на опасности, пропасти и расселины.

Восхождение — такова история человечества. Вы легко мне возразите: а сколько было ступеней, ведущих вниз? Да, конечно, на первый взгляд, ступеней, ведущих вниз, больше. Людей, которые падали и катились вниз, в бездну, больше. Но для нас важно, что человек все-таки поднимался в эти надоблачные вершины. И он тем и велик, человек, что он способен был подняться туда, где, как говорил Пушкин, «соседство Бога», в горы умственных и духовных созерцаний.

Человек имеет две родины, два отечества. Одно отечество — это наша земля. И та точка земли, где ты родился и вырос. А второе отечество — это тот сокровенный мир духа, который око не может видеть и ухо не может услышать, но которому мы принадлежим по природе своей. Мы дети земли и в то же время гости в этом мире.

Человек в своих религиозных исканиях бесконечно больше осуществляет свою высшую природу, чем когда он воюет, пашет, сеет, строит. И термиты строят, и обезьяны воюют, — по-своему, правда, не так ожесточенно, как люди. И муравьи сеют, есть у них такие виды. Но никто из живых существ, кроме человека, никогда не задумывался над смыслом бытия, никогда не поднимался выше природных физических потребностей.

Ни одно живое существо, кроме человека, не способно пойти на риск, и даже на смертельный риск, во имя истины, во имя того, что нельзя взять в руки. И тысячи мучеников всех времен и народов являют собой уникальный феномен в истории всей нашей Солнечной системы.

Но когда мы обращаемся к Евангелию, мы попадаем в иной мир. Не в тот мир, который дает нам картину волнующих поисков, порыва к небу, а мы оказываемся перед тайной ответа. Двадцать пять лет принц Сиддхартха Гаутама, будущий Будда, проводил в аскетических усилиях, чтобы достигнуть созерцания. Так же трудились умственно, духовно и психофизически йоги, философы, подвижники.

Но Иисус Христос приходит из простой деревни, где Он вел жизнь рядового человека. В Нем все было готово, Он никуда не поднимался. Он, наоборот, спускался к людям.

Каждый великий мудрец сознавал свое неведение. Сократ говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю». Величайшие святые всех времен и народов ощущали себя грешниками гораздо более остро, чем мы с вами, потому что они были ближе к свету и каждое пятно на жизни и совести им было видней, чем в нашей серой жизни.

У Христа нет сознания того, что Он чего-то достиг, а Он приходит к людям, неся им то, что в Нем самом есть изначально, от природы.

Я должен сразу обратить ваше внимание на то, что Иисус Христос не начал проповедовать христианство как некую концепцию. То, что Он возвестил людям. Он назвал «бесора», по-гречески «евангелион», что значит «радостная весть», «радостное известие». В чем же заключалось это радостное известие?

Человек имеет право не доверять мирозданию. Человек имеет право чувствовать себя в чужом и враждебном мире. Такие современные писатели, как Альбер Камю, Жан-Поль Сартр и другие, часто говорили о страшной абсурдности бытия. Нас обступает нечто грозное, бесчеловечное, бессмысленное, абсурдное, и доверять ему невозможно. Холодный, мертвый или мертвящий мир. Правда, я оговорюсь: эти писатели, романисты, драматурги, философы выступали с позиции атеистического мировоззрения — это атеистический экзистенциализм у Сартра и Камю, — они как-то не заметили одну вещь. Когда они говорят, что мир абсурден, то есть бессмыслен, они это знают только потому, что в человека заложено

противоположное понятие, понятие смысла. Тот, кто не знает, что такое смысл, не чувствует, никогда не поймет, что такое абсурд. Он никогда не возмутится против абсурда, никогда не восстанет против него, он будет с ним жить, как рыба в воде. И именно то, что человек восстает против абсурда, против бессмыслицы бытия, и говорит в пользу того, что этот смысл существует.

Так вот, древнее библейское провозвестие говорит нам о том, что мы можем совершить внутренний переворот и сказать бытию — да, довериться тому, что кажется страшным и грозным. И тогда через хаос, через абсурдность, через чудовищность жизни, как солнце через тучи, глянет око Божье, Бога, который имеет Личность, и Личность, отображенную в каждой человеческой личности.

И контакт с Ним возможен как союз между подобными существами. Весь смысл человечества — это удивительная его аналогия с Тем, Кто создал мир. Чарльз Дарвин говорил, что, хотя он воспринимает мир не механически, как процесс, все же, задумываясь над его сложностью, он не может понять: неужели слепая случайность смогла все это породить и не следует ли нам за всем этим видеть некий разум, в чем-то аналогичный нашему? Можно к этому добавить: не просто аналогичный, но безмерно превосходящий наш разум.

И в ветхозаветной библейской религии, о которой мы с вами говорили уже, возникло понятие о вере—доверии. Не вере как некоем теоретическом, философском или религиозном убеждении, а вере как акте прорыва через мертвящую, абсурдную действительность, когда человек говорит Богу: я принимаю и внимаю. Так возник древний Завет между Богом и человеком, древний союз.

Но, конечно, союз между примитивным, древним человеком и Божественным не мог быть окончательным и совершенным. Это было воспитание человеческого рода, детство человеческого рода, потом юность, и в VII веке до нашей эры пророк Иеремия сказал: «Так говорит Господь: Я заключу с народом новый завет («брит хадаша», новый союз), не такой, как прежний. Он будет начертан в сердцах».

И вот ночью совершается жертва. Через семьсот лет после пророка Иеремии в маленькой комнате собираются двенадцать человек, и совершается жертва. Обычно жертва совершалась с употреблением крови. Кровь была символом жизни. А жизнь принадлежит только Богу. И члены собравшегося общества были

окропляемы кровью жертвенного животного. Так было издавна у всех народов, вплоть до глубоко первобытных времен, до палеолита. И Моисей, когда заключал Завет народа с Богом, окропил всех кровью жертвенного агнца.

А вот в эту ночь, о которой я говорю, которая произошла весной 30 года первого столетия нашей эры, Иисус Назарянин в окружении двенадцати совершает обряд воспоминания о свободе, которую Бог дарует. И крови здесь нет, а есть чаша с вином и хлеб. И Он разламывает этот хлеб и раздает всем и говорит: это Мое Тело. Как жертвенный агнец за людей. И Он обносит чашей учеников и говорит: это Моя Кровь, которую Я проливаю за вас, это новый завет в Моей Крови.

Таким образом, в этой священной трапезе, о которой мы с вами говорили, когда касались литургии. Бог и человек соединяются уже не в реальной физической крови, но в символической крови земли, ибо виноградный сок, вино — это есть кровь земли, а хлеб — это есть плоть земли, это природа, которая нас кормит, это Бог, который отдает Себя людям в жертву.

И вот Иисус Назарянин совершает эту жертву. И с того мгновения, с той священной ночи чаша не перестает возноситься и совершается евхаристия. Во всех направлениях христианства, во всех Церквях и даже сектах — всюду этот знак присутствует.

Иногда говорят, что Христос возвестил новую мораль. Он сказал: заповедь новую даю вам — любите друг друга, как Я возлюбил вас. И раньше существовала заповедь о любви, и слова «люби ближнего, как самого себя» принадлежат Моисею. А Христос придал ей совершенно особое звучание — «как Я возлюбил вас», потому что ради любви к человечеству Он остался с нами на грязной, кровавой и грешной земле — только чтобы быть с нами рядом. Его любовь стала любовью самоотдающей, и поэтому Он говорит: кто хочет за Мной идти, тот пусть отвергается себя. То есть своей самости; не своей личности, отнюдь, личность — святое, а ложного самоутверждения, самости. Отдаст себя, возьмет свой крест, то есть свое служение, страдание в радость, и тогда за Мной идет.

Христос призывает человека к осуществлению Божественного идеала. Только близорукие люди могут воображать, что христианство уже было, что оно состоялось — в XIII ли веке, в IV ли веке или еще

когда-то. Оно сделало лишь первые, я бы сказал, робкие шаги в истории человеческого рода.

Многие слова Христа нам до сих пор непостижимы, потому что мы еще неандертальцы духа и нравственности, потому что евангельская стрела нацелена в вечность, потому что история христианства только начинается и то, что было раньше, то, что мы сейчас называем историей христианства, — это во многом еще неумелые и неудачные попытки реализовать его.

Вы скажете: ну а как же, у вас были такие великие мастера, как неведомые иконописцы, Андрей Рублев и т. д.! Да, конечно, были и великие святые, это были предтечи, они шли на фоне черного моря грязи, крови и слез. Очевидно, это главное, что хотел (а может быть, невольно так получилось) показать Тарковский в своем фильме «Андрей Рублев». Вы подумайте, на каком фоне создано это нежнейшее, феерическое, божественное видение Троицы! То, что изображено в этом фильме, было правдой. Войны, пытки, предательства, насилие, пожары, дикость. На этом фоне человек, не просвещенный Богом, мог создавать только «Капричос», какие создавал Гойя. А Рублев создал божественное видение. Значит, он черпал это не из действительности, которая была вокруг него, а из духовного мира.

Христианство — это не новая этика, а новая жизнь. Новая жизнь, которая приводит человека в непосредственное соприкосновение с Богом, — это новый союз, Новый Завет. И в чем же тут тайна, как понять это? Почему, как магнитом, человечество притягивает к личности Иисуса Христа, хотя Он пришел в мир униженный? И не было ни таинственности неких мудрецов, ни поэтической экзотики восточной философии.

Все, что Он говорил, было просто, ясно. И даже примеры Его притч были взяты из обыденной жизни. Это тайна, которую Он раскрывает в коротких словах, мы их слышим в Евангелии от Иоанна. Филипп говорит: покажи нам Отца. Тот, кого греки называли Архэ (Первоначало), — где Он? И Иисус отвечает, как не отвечал ни один философ на земле: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца». Такие слова Он говорил не раз, и многие люди поворачивались к Нему спиной и в негодовании

уходили, потому что это был всегда вызов. Надо было понять особую тайну.

Никогда прямо Христос не формулировал эту тайну. Он только спрашивал людей: за кого Меня принимают? — За пророка, за воскресшего Иоанна Крестителя. — А вы? — Ты Помазанник, Царь, Мессия, Сын Бога Живого... Здесь опыт должен какой-то внутренний открыться. И Он это спрашивает до сих пор, спрашивает каждого, потому что это говорит Бог человеческими устами.

Иисус Христос — это человеческий лик Бесконечного, Неизъяснимого, Необъятного, Неисповедимого, Безымянного. И прав был Лао-цзы, когда говорил, что имя, которое мы не произносим, и есть вечное имя... Да, Безымянное и Непостижимое. А тут Он не только называемый, но даже называемый по имени, даже называемый человеческим именем. Тот, Кто несет вместе с нами тяготы жизни. Вот в этом центр и ось христианства.

Когда мы от Евангелия переходим к Деяниям и Посланиям, мы должны обратить внимание на вторую личность Нового Завета. Как говорил один французский ученый, Новый Завет состоит из двух биографий: Иисуса Христа и его последователя Павла Тарсянина, апостола Павла. Разумеется, любой из вас, переходя от Евангелий к посланиям Павла, будто падет с неба на землю. Хотя Павел во многом превосходил евангелистов.

Это был человек огромного таланта, духовной мощи, образования. Этот человек создавал личностные произведения. Его послания — это написанные кровью сердца вещи. Но сравнить их все равно с Евангелиями трудно. Потому что Евангелия отражают не столько литературный дар апостолов-евангелистов, сколько тот образ, который они видели перед собой. И если апостол Павел перед нами — это только человек, то Христос есть Откровение Божие.

Но чем важен для нас апостол Павел? Почему Церковь поставила его рядом с Христом в Новом Завете? Почему большая часть посланий — четырнадцать—написана от его имени? Почему в Деяниях Апостольских его биография занимает львиную долю? В том-то и дело, что апостол Павел, очевидно, никогда не увидел лица Иисусова во время Его земной жизни. Хотя есть исторические гипотезы, что они могли пересекаться в Иерусалиме.

Сам Павел родился в первых годах нашей эры в Малой Азии, но в Иерусалиме учился, тогда мог видеть Иисуса. Но все-таки достовернее будет считать, что он Его не видел никогда. Я думаю, что это-то и привлекает Церковь к его личности. Ибо мы тоже не видели Этого Лица. Но Христос явился Павлу с такой достоверностью, которая значительно превосходит любое внешнее соприкосновение.

Внешне Христа видели и его враги, и книжники, и фарисеи, и Пилат. Но это не спасло их. А Павел тоже был врагом, но Христос его остановил на дороге в Дамаск и призвал стать апостолом. Это событие изменило не только его судьбу, но судьбу всей ранней Церкви, потому что Павел стал одним из тех, кто понес Евангелие из Сирии и Палестины по широкому миру. Его называли апостолом народов или апостолом язычников.

Воспитанный в иудействе, он прекрасно знал ту истину, что с Богом слиться невозможно, что человек Востока, который думает, что он, переживая экстаз, уже слился с Абсолютом, находится в заблуждении. Он лишь соприкасается этому, ибо в недрах Божества кипит вечный огонь, который все растворяет в себе. Между Творцом и тварью лежит бездна, как бездна — между абсолютным и условным, ее нельзя перепрыгнуть ни логически, ни бытийственно.

Но есть мост, который перекинут над этой бездной. И почувствовал этот мост сам Павел, потому что он увидел Христа и внутренне с Ним соединился, бесконечной любовью был к Нему прикован так, что ему казалось, что он носит раны Христовы на себе, что он с Ним вместе на кресте умирал и с Ним воскрес. Он так и говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» — вместе с Ним я умер, и вместе с Ним восстаю к жизни.

Если с Богом нельзя слиться, то с Богом-человеком можно, ибо Он принадлежит одновременно двум мирам — нашему и запредельному. И на этом построен весь путь христианских мистиков от Павла до сегодняшнего дня. Путь к Отцу только через Сына. «Азь семь дверь», — говорит Христос. «Я есть дверь, врата в небо».

Повторяя различные молитвы, христианские подвижники могут быть уподоблены восточным, индийским, которые повторяют разные мантры. Здесь есть сходство и параллель. Но одна из главных молитв христианского подвижничества называется «Иисусовой молитвой», где

повторяется постоянно имя Родившегося, Жившего на земле, Распятого и Воскресшего.

И вот эта Христоцентричность главной христианской молитвы радикально отличает ее от всех остальных медитации и мантр, потому что здесь происходит встреча, не просто концентрация мысли, не просто сосредоточение, не просто погружение в некий океан или бездну — духовность, а встреча личности с Лицом Иисуса Христа, Который стоит над миром и в мире.

Мне вспоминается стихотворение в прозе, написанное Тургеневым, когда он стоял в деревенском храме и вдруг почувствовал, что Христос стоит рядом. Повернувшись, он увидел обычного человека. И потом, когда отвернулся, он опять почувствовал, что Он здесь. Это правда, так оно и есть. И Церковь Христова потому и существует и развивается, что Он стоит внутри нее.

Заметьте, что Он не оставил христианству ни одной строчки написанной, как Платон, который оставил нам свои диалоги. Он не оставил нам скрижалей, на которых начертан Закон, как Моисей оставил скрижали. Он не продиктовал Корана, как Мухаммед. Он не образовал ордена, как сделал Гаутама — Будда. Но Он сказал ученикам: «Я с вами остаюсь во все дни до скончания века».

Когда они чувствовали, что расстаются с Ним, Он произнес слова вешние и вечные: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам». И это продолжается и происходит сегодня. Весь глубочайший опыт христианства на этом строится, все остальное — это как бы поверхностные слои. Во всем остальном христианство похоже на прочие религии.

Религии в мире есть часть культуры. Они вырастают вместе с порывом человеческого духа к вечности, к непреходящим ценностям. Здесь же поток идет свыше, с неба, и поэтому один из теологов нашего столетия имел право сказать: «Христианство — это не одна из религий, а это кризис всех религий». Оно поднимается над всем, потому что, как говорит нам апостол Павел, никто не спасается делами Закона, а только верой во Иисуса Христа.

В заключение я должен эту ключевую фразу вам объяснить. Что такое дела Закона? Это система религиозных обрядов, правил. Нужны ли они? Да, нужны как воспитательное средство. Они создаются людьми. Иногда по великим прозрениям, иногда просто в силу

традиции, иногда по заблуждению. Иногда эти законы идут от Откровения Божьего, как в Ветхом Завете. Но — для определенной фазы умственного и духовного развития.

А что значит — спастись? Это значит — соединить свою эфемерную временную жизнь с бессмертием и Богом. Вот что такое спасение — приобщение к Божественной Жизни. Жажда этого приобщения живет в нас, в каждом человеке. Она спрятана, скрыта, мы можем ее куда-то затолкать внутрь, но она все равно есть в человеке. Так вот, апостол говорит, что Закон свят. Ветхозаветный Закон свят и благ, и Бог дал его, но приобщиться к Жизни Божественной можно только через веру в Иисуса Христа.

Опять-таки, что значит вера в Иисуса Христа? Вера в то, что жил такой человек на земле? Это не вера, а знание. Современники помнили, что Он жил. Евангелисты оставили нам достоверные свидетельства. Историк сегодняшней нам скажет, что да, такой был. Попытки разных пропагандистов утверждать, что Христос — это миф, давно разрушены. Только в нашей стране, как в заповеднике всяких чудес, сохранилась эта концепция. Что же это означает — в Него верить? Вера в то, что Он был, значит, не вера? Верить в то, что Он пришел из других миров? Это тоже правда, но это все же теория.

И здесь мы должны вспомнить о той вере, которая декларирована в Ветхом Завете; доверие к Бытию. Еще когда Авраам сказал Богу «да», вернее, не сказал, а молча повиновался его призыву, — вот тогда и родилась вера.

На древнееврейском языке слово «вера» звучит как «эмуна» — от слова «омен», «верность». «Вера» — очень близкое понятие к понятию «верность». Бог верен своему обещанию, человек верен Богу, — слабый, грешный, он все-таки верен Богу. Но Богу какому? Сокровенному, грозному, как мироздание, порой далекому от человека, как океан.

Но Христос открывает иной вид Бога через Себя. Он не иначе называет Его как Отец. Иисус Христос никогда почти не произносит слово Бог. Он всегда называет Его Отец. И в Своей земной жизни Он употребляет для этого такое слово, нежное и ласковое, которое дети употребляют на Востоке, обращаясь к отцу. Это непереводаемо, но это так.

Христос открывает Бога как нашего небесного Отца. Тем самым Он создает братьев и сестер, ибо братья и сестры возможны лишь тогда, когда у них есть общий отец.

И вот общий духовный Отец — это Бог. А открытость сердца Вести Иисуса Христа — это и есть тайна Евангелия.

Потому что любой из нас отлично знает, насколько человек запутан, слаб, насколько в нем свили свои гнезда всевозможные комплексы и грехи. И есть сила, которую Христос оставил на земле, она выдается нам даром. Она так и называется — благодать. Благо, которое дается даром. Не зарабатывается, а даром.

Да, мы должны прилагать усилия, да, мы должны бороться с грехом, да, мы должны стремиться к самосовершенствованию, помня, что сами себя за волосы вытащить мы не сможем. Это работа только лишь подготовительная. Здесь коренное отличие христианства от йоги, которая думает, что человек, может добраться до Бога и вломиться к Нему, так сказать, по собственному желанию.

Христианство говорит: ты можешь себя усовершенствовать, но до Бога добраться невозможно, пока Он сам к тебе не придет. И вот Благодать превосходит Закон.

Закон — первая стадия религии, которая начинается у ребенка: это нельзя, это можно, какие-то правила, какие-то нормы. Нужно это? Да, конечно. Но потом приходит Благодать — через внутренний опыт встречи с Богом. Это как любовь, как ликование, это как победа, как музыка сфер. Благодать — это новая жизнь.

И апостол Павел говорил: «Вот спорят между собой люди. Одни — сторонники сохранения обрядов старинных, ветхозаветных, другие — против этого. А ведь ни то, ни другое не важно. А важно только новое творение и вера, действующая любовью». Это подлинное христианство. Остальное в нем — историческая оболочка, рама, антураж, то, что связано с культурой.

Я вам говорю о самой сущности христианской веры. Бесконечная ценность человеческой личности. Победа света над смертью и тлением. Новый Завет, который возрастает, как дерево из маленького желудя. Новый Завет сквашивает историю, как закваска тесто. И уже сегодня вот это Царство Божие тайно является среди людей.

Когда вы творите доброе, когда вы любите, когда вы созерцаете красоту, когда вы чувствуете полноту жизни. Царство Божие уже

коснулось вас. Оно не только в далеком будущем, не только в футурологическом созерцании, — оно существует здесь и теперь. Так учит нас Иисус Христос. Царство придет, но оно уже пришло. Суд над миром будет, но он уже начался. «Ныне суд миру сему», — говорит Христос. Ныне, то есть тогда, когда Он впервые провозгласил Евангелие.

И Он еще сказал: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму». Этот суд начался во время Его проповеди в Галилее, в Иерусалиме, на Голгофе, в Римской империи, в средневековой Европе и России, сегодня, в XX веке, и в XXV веке, и во всей истории человечества. Суд будет продолжаться, потому что это христианская история, это история, когда мир идет рядом с Сыном Человеческим.

И если мы еще раз зададим себе вопрос, в чем же заключается сущность христианства, мы должны будем ответить: это Богочеловечество, соединение ограниченного и временного человеческого духа с бесконечным Божественным. Это освящение плоти, ибо с того момента, когда Сын Человеческий принял наши радости и страдания, нашу любовь, наш труд, — природа, мир, все, в чем Он находился, в чем Он родился как человек и Богочеловек, — не отброшено, не унижено, а возведено на новую ступень, освящено.

В христианстве есть освящение мира, победа над злом, над тьмой, над грехом. Но это победа Бога. Она началась в ночь Воскресения, и она продолжается, пока стоит мир. Вот на этом я закончу...